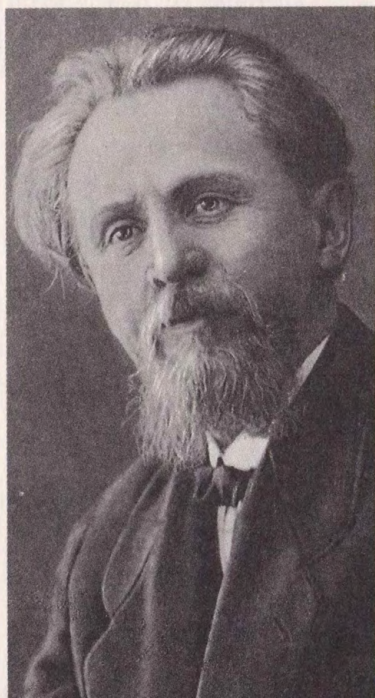


# Ж. Д. А. Н. О. В.



ЖАНА







Scan Kreyder - 24.05.2018 - STERLITAMAK







СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

---



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1994





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ ПЕРВЫЙ

---

**ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ**

*Историческая хроника в двух романах*

**ТРЕТИЙ РИМ**

**ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ**

**НАСЛЕДИЕ ГРОЗНОГО**

*Историческая повесть  
Из эпохи самозванщины*



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1994

ББК 84Р1  
Ж42

Составитель Т. ПРОКОПОВ

Художник Л. ЧЕРНЫШОВ

**Жданов Л.**

**Ж42** Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1/Сост., вступ.  
ст. Т. Прокопова. М.: ТЕРРА, 1994. — 752 с. —  
(Библиотека исторической прозы).

ISBN 5-85255-652-1 (Т. 1)

ISBN 5-85255-651-3

Среди исторических романистов начала XIX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864—1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы-хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет.

В первом томе читатели познакомятся с дилогией Жданова «Царь Иоанн Грозный» (романы «Третий Рим» и «Грозное время») и повестью из эпохи самозванщины «Наследие Грозного».

**Ж** 4702010100-253  
А30(03)-94 Подписное

**ББК 84Р1**

ISBN 5-85255-652-1 (Т. 1)

ISBN 5-85255-651-3

© Издательский центр «ТЕРРА», 1994

## «САМЫЙ ЧИТАЕМЫЙ» ЛЕВ ЖДАНОВ

Когда в 1904 году маститый российский книгоиздатель А. Ф. Девриен выпустил в свет два роскошно иллюстрированных тома исторических хроник Льва Жданова «Царь Иоанн Грозный» и «Царь-опричник», к писателю пришла слава настолько же шумная, насколько и неожиданная. Безвестный до того, но весьма плодовитый литератор, многие годы скромно пробовавший свои силы и в драматургии, и в театральной критике, даже писавший стихи, только теперь, в свои сорок лет, наконец-то проснулся по-настоящему знаменитым и стал самым читаемым в начале века. С этого времени воодушевленный успехом писатель начинает самоотверженно, подчас с исследовательской дотошностью осваивать самый популярный жанр литературы.

К сожалению, энциклопедии и справочники донесли до нас крайне скудные сведения о том, как прожил свою жизнь этот именитый в начале века исторический беллетрист. Не любил о себе рассказывать и он сам. Известно только, что Лев Григорьевич (Леон Германович) Гельман (Лев Жданов — главный из его восемнадцати псевдонимов) родился в Киеве в семье актера 8 мая 1864 года. Однако и с этой датой вышел казус: даже такие авторитетные издания, как словари С. А. Венгерова и И. Ф. Масанова, ошибочно назвали год рождения писателя — 1854-й. Уточнение на десять лет внесли позже, а комментаторы двухтомника «Иван Бунин. Литературное наследство» в 1973 году в числе первых установили дату смерти Льва Жданова — 1951 год.

Из наиболее значимых событий в его творческой биографии — участие в острой дискуссии, развернувшейся в газетах и журналах в 1901 году после постановки на сцене МХТ пьесы А. П. Чехова «Три сестры». В ту пору не все ее поняли, а потому встретили в штыки. К чести Льва Жданова, он был в числе первых, кто едко высмеял и отверг предвзятые суждения о спектакле. Более того, он взялся страстно отстаивать это вершинное произведение в чеховской драматургии. Оригинальными и точными показались современникам его суждения (они цитируются и сейчас) о том, что в Ольге,



Маше и Ирине изображены «не отдельные личности», а «три собирательных, типичных образа, в какие выливается, вообще, не только русская, но и всемирная женщина»; что для постановки этой пьесы — «такой простой, но такой трудной по своей простоте» — требуются новейшие принципы театральной режиссуры (Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1986. Т. 13. С. 451).

Свои первые романы из российской истории Жданов написал в пору, когда еще не отшумела слава выдающихся русских исторических беллетристов второй половины XIX столетия, когда еще продолжали издаваться и увлеченно читались книги Е. Карновича, Е. Салиаса, Вс. Соловьева, Д. Мордовцева, Н. Каразина... Вписать свое имя в этот ряд блистательных романистов было задачей непомерной сложности, но осуществить ее Жданову удалось ценой не только напряженного творческого горения, но и усидчивого изучения многих тысяч томов архивных документов, трудов ученых, мемуарных свидетельств.

Творческим девизом писатель избрал для себя слова Екаторины II: «Изобретать легко, делать открытия трудно». «Меня манит именно эта трудная дорога, — объясняет Жданов свой выбор в предисловии к одной из своих хроник. — Если, описывая истинные, весьма занимательные и яркие сами по себе события, если, воссоздавая былую действительность, я успею вскрыть внутренний смысл событий и явлений, мне это послужит полным удовлетворением за упорную, кропотливую работу многих дней. Да, полагаю, и читатель больше будет доволен этим, чем игрой самого необузданного, даже гениального вымысла мнимоисторических романов школы Дюма и его последователей».

И вот один за другим в лучших издательствах России выходят его романы. И конечно же их самой примечательной особенностью является высокая историческая достоверность, выросшая из кропотливого освоения малоизвестных источников. Современники Жданова отмечали также их необычайную занимательность и драматургичность. Писатель мастерски владел диалоговой формой, что позволяло ему интересно, увлекательно выстраивать самые трудные, самые многоплановые сюжеты и этим властно удерживать читательское внимание. Вот где сказался его опыт драматурга!

Романы Льва Жданова несколько не устарели и сегодня. Они и современному читателю открывают какие-то новые грани российской истории, дают ему возможность по-новому взглянуть и на важнейшие события из прошлого России, и на хорошо нам известных исторических деятелей.

Казалось бы, что еще можно рассказать нам об Иване Грозном, о котором столько написано прекрасных книг! И все же... «Кто не особенно подробно знакомился, — говорит автор, — с историческим обликом царя Ивана, представляют

себе его злым по природе, больным, безумным извергом, бесчеловечным тираном. Даже все доброе, чем отмечена известная «светлая» пора его царствования, — общее мнение приписывает это заслугам попа Сильвестра и Адашева. Врожденное людям стремление к прекрасному присвоило упомянутым двум деятелям сияние безукоризненных правителей народных, умевших управлять даже таким «нечеловеком», как Иван IV. Меж тем на деле не совсем так...

Именно этим «не совсем так», а порой и «совсем не так» интересны нам и сегодня не только дилогия об Иване Грозном, но и другие хроники и повествования Жданова. В их числе — вторая его дилогия «Русь на переломе» и «Отрок — властелин», которую издательство впервые почти через девяносто лет возвращает российскому читателю.

В ней автор верен своему кредо — писать, «не прибегая ни к каким преувеличениям, всегда оставаясь в рамках исторической правды». И наряду с этим — он по-прежнему стремится делать свои микрооткрытия. Для достижения большей правдоподобности изображаемого автор прибег даже к стилизации речи, восстановив тот язык, каким изъяснялись русские люди XVII века.

Во многих частностях, в сотнях интересных бытовых подробностей перед нами предстает та эпоха, когда у трона московских государей появилась жестокая и самоуправная стрелецкая сила. Зародившись во времена Алексея Михайловича Тишайшего, она обретает все большую власть при Федоре Алексеевиче, а также в годы соцарения юного Петра I с его братом Иваном. Жданов особенно акцентирует читательское внимание на том, какой человеческой трагедией оборачиваются попытки честолюбивой и многомудрой царицы Софьи вырвать у братьев власть с помощью стрелецких бунтов. В предисловии автор подробно рассказывает нам, чем он руководился, избрав для художественного воссоздания именно эту эпоху кровавых драм, предшествовавшую петровским преобразованиям.

Из петровского времени в дальнейшем Жданов снова берет для изображения малоисследованное: это страницы жизни окраинной России. Двухтомный его роман-хроника «Былые дни Сибири» — увлекательное повествование о многотрудных проблемах, встававших перед Петром I в налаживании управления огромными землями, простирающимися от Урала до Тихого океана.

В числе лучших (а мы рассказываем здесь именно о них) произведений Жданова — его четырехтомный роман-хроника о цесаревиче Константине Павловиче: «В стенах Варшавы» (2 книги), «Осажденная Варшава» и «Сгинула Польша!» В них предстают события и время, о которых и до сих пор еще мало написано и в России, и в Польше, хотя это и была пора, по словам автора, «самая блестящая и

многозначительная» — пора увлечения конституционализмом. «А в Варшаве и во всей Польше 1830—1831 годов, — пишет Жданов, — это увлечение развернулось таким рядом тяжелых жертв и самопожертвований, что одно это стоило самого подробного описания и разбора, заслужило полного увековечения в памяти людей».

Своеобразным подведением итогов — к 50-летию юбилею писателя — стало издание его Собрания исторических романов-хроник в четырнадцати томах, а также трехтомника его пьес и переводов. В этом же, 1914 году он был представлен претендентом на знаменитую премию А. С. Пушкина Российской Академии наук. Однако автор и те, кто его поддержал, как оказалось, ошиблись в выборе произведений на соискание почетной награды. Его исторические поэмы «Гипатия» и «Мирра. Драматические картины древней Индии» попали на отзыв к самому взыскательному литературному судье — И. А. Бунину. Эти пьесы, написал в отзыве академик Бунин, «не заслуживают, на мой взгляд, никакого одобрения...».

После 1917 года творческая активность Жданова заметно убывает. Из наиболее значимого в это время он издает книгу «Николай Романов, последний царь. Исторические наброски», а в 1929 году выходит его последний роман-хроника о первых веках христианства «Крушение богов» — отголосок его давнего увлечения героическим образом женщины-философа Гипатии, ученицы знаменитого античного диалектика Плотина.

Когда-то Лев Жданов, размышляя об избранной им стезе беллетриста-историка и о своей сверхзадаче, написал: «Чтобы стать наряду с лучшими произведениями этого ряда, известными во всемирной литературе, русский исторический роман должен иметь блеск журнальной статьи, силу драмы и убедительность архивного документа». И далее: «Исторический роман, в сущности своей, должен не только «знакомить», но и «научать». Современный читатель, прочитав романы Льва Жданова, безусловно, придет к справедливому выводу, что свою сверхзадачу писатель осуществил, что его книги продолжают и «знакомить» и «научать». Оставаясь, может быть, на периферии российской словесности, не поднимаясь до ее высот, где царили гиганты «серебряного века» литературы, исторические романисты, а в их числе и один из самых популярных Лев Жданов, добросовестно и небесталанно служили делу непреходящей значимости — с помощью слова приобщить миллионы к великой российской истории.

*Т. Прокопов*

# ТРЕТИЙ РИМ

•

РОМАН-ХРОНИКА

(1526-1552 гг.)







## ОТ АВТОРА

*Не только в русской, но и во всей нелегendarной истории человечества образ царя Иоанна Грозного является одним из самых непонятных, разнотолкуемых.*

*В повести моей я попытался собрать все, что по древним летописям более или менее достоверно известно об этом государе, и пересказал в цельном виде, ни убавляя, ни прибавляя ничего существенно важного. Лишь кое-где, стараясь выяснить связь между событиями, воссоздавал и рисовал я, не отмеченные в древних летописях, звенья и картины, как сам их видел в своем воображении.*

*Если простым моим, неприятзательным пересказом будут хотя немного выяснены личность и деяния жестокого, грозного, несомненно, но и всю свою жизнь несчастного правителя, я сочту, что выполнил хотя бы отчасти мудреную, трудную задачу, подсказанную мне ходом жизни и волею случая, того самого случая, который правит нами больше, чем мы желали бы допустить.*

*Все почти, кто не особенно подробно знакомился с историческим обликом царя Ивана, представляют его себе жестоким по природе, тираном, больным, безумным и бесчеловечным. Даже все доброе, чем отмечена известная «светлая пора» его царствования, общее мнение приписывает это заслугам Сильвестра и Адашева. Врожденное людям стремление к прекрасному присвоило помянутым двум деятелям сияние безукоризненных правителей народных, умевших управлять даже таким «нечеловеком», как Иван IV.*

*Между тем на деле — не совсем так. Случайно попала мне на глаза выборка из небольшой рукописной хроники, гласящая, что ревнивый к власти, самодержец*

до мозга костей, царь Иван поставил временно в цари крещеного татарского князька, Саина Бек-Булатовича, а сам почти три года жил на положении частного человека, «князя Ивана», и писал «челобитные» этому же своему ставленнику, царьку Симеону, подписывая их: «Твой раб Ивашка с детишками Иванцом и Федькой...»

Событие меня поразило. Я стал его разрабатывать, желая нарисовать этот непонятный и малоизвестный случай из бурного царения Ивана IV. Но чем глубже я вникал в древние рукописи, чем больше перечитывал обширную историческую литературу, созданную вокруг этого имени, — тем больше новых, неожиданных выводов возникало и скоплялось в моем уме. В хрониках говорится, что годам к тринадцати в Иване развилась особенная жестокость: он мучал животных, сбрасывал их с высокого крыльца, из теремов, загонял лошадей... К тому же времени относится пора особенного угнетения, испытанного ребенком от Шуйских и других бояр. В это время сослан его наперсник Ф. Воронцов и многие другие. Письма самого Ивана свидетельствуют, как тяжело ему было сознавать в это время свое унижение.

Детство Ивана... Мы его почти не знаем, разве с внешней стороны. Он губил животных и даже людей, будучи еще ребенком. Почему? Как он рос? Как содздался его характер? Был ли он зверем от природы? Любил ли он искренно кого-нибудь когда-нибудь? Почему только известную кучку бояр, определенное число гнезд, родов княжеских и боярских «извел» Иван<sup>1</sup>?

---

<sup>1</sup> По хроникам и по двум Синодикам можно легко проследить, что кроме некоторых «ближних» людей, богатых безмерно или возбудивших подозрение к измене, Иван систематически изводил следующие, особенно беспокойные и опасные для него династии, княжеские роды: князей Ярославских, Кубенских, Сицких, Горбатовых, Суздальских, Морозовых-Тучко, Шаховских, Глебовых-Засекиных, Прозоровских, Троекуровых и Сисеевых. Все это — потомки Владимира Мономаха, правнуки Давида и Василия Грозного, удельных князей Ярославских. По женской линии — они все потомки Ивана Калиты, дочь которого была женою Василия Грозного. Вот чего боялся Иван. Затем пали под его ударами князья Старицкие (последние удельные), Ростовские, Хохолковы, Гагарины (Рюриковичи), Кафтыревы-Ростовские и кн. Спячие (потомки князей Черниговских), Кропоткины (Смоленские), Шуйские — личные враги Ивана, Тулуповы, новгородские князья. Дашковы, Оболенские, Татищевы, Бабичевы, Цыплятевы, Дорогобужские и Бутурлины — вот все остальные знатные жертвы, отмеченные в Синодиках, кроме вышеперечисленных. Губить своих разбогатевших «чиновников» и богатых

*Что породило в нем слепую ненависть к Пскову и Новгороду, к своим русским городам, когда Иван умел быть великодушным и с татарами, и с ливонскими врагами? Откуда и как явились Адашев и Сильвестр? Почему они пали?.. Эти и ряд других вопросов зародились во мне. Посильные ответы я постарался дать в своей книге. Насколько я прав, решит, конечно, суд критики и голос публики, который, как «глас народа» в его лучшем смысле, есть высший судья<sup>2</sup>.*

*Л. Ж.*

---

обывателей, чтобы забрать в казну их богатства, — это бесчеловечное, жестокое средство было в ходу и в Европе до очень недавнего времени. Новгород и Псков слишком озлили больного, жестокого царя, и он дал там волю своей дикой ярости. Затем идут имена казненных низших слуг Ивана и челяди опальных бояр. Замечательно, что в Синодиках Ивана *нет двух имен* Андрея Шуйского и митрополита Филиппа (Колычева).

<sup>2</sup> Считаю нужным для интересующихся привести наиболее важные из источников, которыми я пользовался, кроме тех, какие помечены в тексте книги: К. Аксаков, Бантыш-Каменский, Бестужев-Рюмин, В. Белинский, Кавелин, Костомаров, Ключевский, А. Майков, Маскевич (Мемуары), Ковалевский П. (Псих. очерки), Погодин, проф. Платонов (лекции), А. Н. Попов, Небольсин, Тьеполо (Narratio), И. Толстой, Н. Кондаков (Русск. Древности), П. Самарин, проф. Сергеевич, Сибирские летописи (Кунгурские), кн. Щербатов (Ист. России), Хомяков.

# Часть I

## ДЕТСТВО ЦАРЯ

(ВМЕСТО ПРОЛОГА)

*Год от сотворения мира 7034 (1526)*

Чудный осенний день почти на исходе.

С ясного, прозрачно-синего неба ветер согнал последнюю тучку из их несметного полчища, которое чуть не две недели скрывало сияющий лик солнца от земли. И теперь лучи его, ласковые, нежащие, не жгут, как летом, но все пронизывают: и поределую листву дремучих лесов, которые с северо-запада подбежали почти к самым стенам дивно обновленного стольного, древнего града Москвы, и ветви отдельных старых деревьев, которые кудрявятся в больших тенистых садах. А сады с огородами обступают отовсюду обширные боярские жилища в самом Кремле и дома посадских да торговых людей. Посады эти московские широкой, темной, неправильной полосой деревянных строений обещали, словно подковой обогнули Кремль и легли вокруг твердыни, поднимающей свои теремные и бойничные башни и золоченые главы церквей на крутом прибрежном холме. Золотыми, тонкими стрелами сыплется с неба лучи, пронизывают сквозные бойницы башен крепостных и узкие оконца церковных куполов, осеняющих новые, белокаменные храмы Господни. То загорится блик света на кистях красной, спелой рябины, что перекинулись, свесились через садовый забор, над грязной колеей, в переулочке узком, и без ветерка колыхаются, ждут лишь первых заморозков, чтобы «дойти»... То скользнет лучом своим солнце и отразится в широкой подорожной луже, блестящей и гладкой, как зеркало, не взбаламученной сейчас ногами прохожих или рябью от ветерка... И загорается зеркальная лужа; а зайчики от нее играют на соседней, на темной и мшистой стене и на темных дуплистых стволах. Это — липы столетние, как часовые, стоят в соседнем саду за надежным тыном, за пáлями острыми.

Даже в мрачные извороты и закоулки торговых рядов ухитряются заглянуть осенние ласковые, косые лучи в этот предвечерний час...

И среди затихающего торгового гомона и говора, среди суеты человеческой, которая так и кипит всегда в проходах между ларями, лавками и палатками, чем-то чистым и неземным отблескивают заблудившиеся золотистые нити лучей, скользящие по выступам бревенчатых строек, по щелистым рядам дощатых балаганов.

Усталые, мрачные или озлобленные лица людей, на которые падают эти лучи, сразу светлеют, словно проясняются внутренним светом. Морщины сглаживаются, брови распрямляются; невольно перестают хмуриться и торжники, и смерды, и господа — всякого звания люди, и с улыбкой произносят:

— Эка... и денек же нынче выдался... краше летнего!

И, словно воспрянув силой и духом, живее берется каждый за ту же работу, которую вяло выполнял за минуту перед тем, лишь бы довершить обычный дневной свой урок.

Особенно щедро осыпан лучами, обогрет теплом высокий Детинец московский.

Радостно сияют золотые главы церквей... Высокие звонницы облиты солнцем...

И печально, мерно несется с этих звонниц какой-то необычайный, словно похоронный перезвон.

Заслыша редкие, протяжные удары тяжело гудящих набольших колоколов, москвичи кто просто осеняет себя широким крестом и шепчет:

— Помилуй и спаси, Господи... защити достояние Твое!

Другие же обращаются к знакомым и незнакомым с тревожным вопросом:

— Что прилучилось? Али негаданно помер кто на княжом дворе?..

— Помер?.. Не помер, а все едино; даже хуже... Постриг великой княгине дают... Ай не слышал?.. Не тутушний?..

— Нё! Слыхать-то слышал... Да все не верилось?.. — отвечает вопрошающий и молча, тоже осеняя себя крестом, проходит дальше.

Во всех кремлевских церквах — соборных и мона-



стырских — началось служение. В набегающих сумерках под сводами храмов причудливо сверкают бледные призрачные сейчас огни паникадил и лампад и свечей у киотов... Где в окна сильнее ударяет свет погасающего дня, там огни, зажженные руками людскими, кажутся совершенно умирающими, бесцветными, беспламенными. Только в более темных углах, в приделах, за колоннами, багровое пламя светилен, сожигающих масло и воск, бросает трепетные полосы света и теней на все вокруг: на золотое и серебряное сияние венчиков у икон, на дорогие самоцветы и молочно-белую низь жемчуга, обрамляющего темные лики вместо окладов.

Душно, мрачно... и полутьма царит в обширной горнице, где совершается пострижение в инокини великой княгини Соломонии, двадцать долгих лет безупречно и мирно прожившей с великим князем Василием Ивановичем всея Руси, а ныне — разведенной с супругом, так как не дал им Бог наследников — детей.

С тяжелым сердцем сидит князь у себя в горнице... слушает звон похоронный, что мерно несется над Москвой, сам думает:

— Не мертвую хоронят, живую... Стольколетнюю люблю мою... Как мирно-то прожили... Кроткая ведь, тихая была... Терпела все... Все прощала... Чем виновата, что Бог ее посетил бесплодием?.. Да ведь и царство мое не виновато тоже, надо сказать?.. Отцы и деды и я сам — на то ли кровь свою и ближних, и вражескую кровь ручьями лили, ночей не спали, зной, стужу выносили, чтобы все теперь братьям али племянникам отдавать? Нет, не будет того!.. Ино братья и своих уделов не умеют устроить! Где же им на Москве быть?..

И смахивает князь невольные слезы, набегающие ему на глаза.

Внутренним взором, минуя тесные, кривые переходы и лесенки теремные, проникает государь в большой, низкий покой с окнами в глубоких амбразурах, похожих на бойницы...

Там идет обряд пострижения.

Много здесь народа столпилось, все ближние люди и бояре Васильевы в полном наряде.

Тут и престарелый Иван Кубенский, князь, свояк государев, женатый на двоюродной сестре Василия; и Воронцов, тезка княжой, Василий Федорович, чей предок, Теодор Воронец — двести лет тому назад приехал

от Варяжской земли на Русь... И доселе еще по обличью видно, что не славянин по роду князь Иван: темноволосый, быстрый, сухой весь...

И брат его здесь, Данилка. Князь Дорогобужский с ними же... И Федор, князь Овчина, роду Телепневых-Оболенских. Пониже старика местом, красуется дородный, статный, пригожий, кровь с молоком, родной сын его, юный княжич Иван Федорович. Этого особенно любит великий князь Василий. Много помогал он государю в сближении с намеченной новой супругой, красавицей литвинкой, Еленой Глинской.

Вельможный князь Бельский, Иван, ближний и родич и слуга царский, стоит чуть поодаль от всех. Видимо, тяжело князю глядеть на все, что сейчас происходит перед глазами. Но кроткий и справедливый боярин чтит волю цареву и пришел, поневоле глядит. Пальцы порою готовы ухватиться за рукоять широкого боевого меча, но тут же опомнится молодой, горячий воин и вспомнит, что не в доспехах, а в боярском наряде, безоружным явился он на эту печальную церемонию.

Нет среди этих вельмож одного из главнейших князя Курбского, Семена.

Не склонился князь безмолвно перед решением государя и приспешников его; стал настойчиво уговаривать Василия: не гнать от себя кроткой, святой женщины, ничем не повинной перед мужем.

И поплатился вечным изгнанием за такое свое пристрастие.

Хуже еще досталось Вассиану, иноку Симонова монастыря, родом ставшему от Гедиминовичей, а из семьи он Патрикеевых.

В миру звался инок князем Василием Ивановичем, по прозванию — Косой. Пылкий, прямой, истый державный Гедиминович по крови, первую опалу снес он еще от Ивана III в ту пору, когда в 1449 году примкнул к сторонникам юного внука великокняжеского, Дмитрия, грудью стал против новшеств гречанки Софьи Палеолог, вступился за старый наследственный порядок, за права дружины княжеской, которым грозил урон.

Желая на ближних явить пример строгости, Иван III и Василия Косого, и отца его, Ивана Патрикеева Большого, велел постричь.

Первый в совете и на войне Василий захотел одним

из первых остаться и при своем невольном монашестве: принял схиму и удалился от мира; в глухой «пустыни» заперся старцем-молчальником на много лет. Оскорбленная, гордая душа решила порвать всякое общение с греховным миром, где не дали простору смелым порывам ее.

Прошло много лет. Воцарился все-таки Василий Иванович. Венчаный княжич, Дмитрий Углицкий был заточен, долго томился в темнице, а потом, по приказу бабки, и удушен там.

Воцарившийся на Москве великий князь Василий Иванович, сведав про святое житие родича своего Вассиана, забыл старую вражду, вызвал его в Москву и поместил в Симоновом монастыре, часто прибегая к нему за благословением и советом. Не изменился и в иноческой мантии прямой характер Вассиана. Он сурово восстал теперь против развода Василия с Соломонией. И сослал его вторично московский князь, но не в любимую стариком «мать-пустыню», а в Волоколамский Иосифов монастырь, отличавшийся суровым, тяжким уставом жизни и угрюмостью своих монахов. Покорные приказу великого князя отцы-иосифляне сумели сократить жизнь строптивого, непреклонного старца.

Был сослан и заточен и другой сильный заступник за Соломонию Афонского Вартапедова монастыря монах Максим, прозвищем Грек, родом из Арты, города в Албании.

Приблизился он к князю и прославился переводом многих греческих священных книг на славянский язык. Озлобленный его супротивными речами по поводу развода князь распорядился нарядить суд над бывшим любимцем-толковником. А судьями назначил непримиримых врагов Максима: тех же монахов-иосифлян и присных им.

Обвинителем был сам Даниил, митрополит, недовольный Максимом за ту власть, которую присвоил себе при дворце ученый монах. Даниила поддержали, в первых: Вассиан, Топорков прозванием, епископ коломенский, муж злобный, тоже потом попавший в ссылку за многие проступки. Затем — Иона, чудовский архимандрит. И сослали Максима Грека в Тверской Отрочь монастырь, на строгое послушание, так как он был признан еретиком и «блазнем», портившим, а не переводившим правильно священные книги церковные.

И многих других также разослал или заточил Василий, кто только решился стать на сторону постригаемой, разведенной жены.

Когда в обширный, слабо освещенный, низкий покой ввели осунувшуюся, постарелую, но все еще величественную и прекрасную, несмотря на годы и жгучие страдания, княгиню Соломонию, урожденную Сабурову, она почувствовала, что стоит одинокой среди этой тесно сплоченной, сверкающей парчовыми нарядами толпы бояр и служилых людей.

А в переднем углу, окруженный черным и белым духовенством, в богатой ризе и клобуке, с пастырским посохом в руке стоит и он, Даниил, ее главный недруг. Не согласись он — князь, может быть, и отложил бы свой замысел... И полным ненависти взглядом окинула владыку несчастная женщина, поруганная жена, развенчанная великая княгиня.

Сейчас же с той же лютой ненавистью взор ее перешел и на другое, не менее ей враждебное лицо. Впереди всех, важно поглаживая бороду, стоит главный приспешник князя, холоп и любимец его, боярин, «советник» Иван Шигоня.

Сам не очень чтобы знатных родов, он опередил многих и многих, посановитей и родовитей себя, только потому, что умел читать в душе повелителя, понимать мысли его и творить по воле Василия все, как тому хотелось.

Теперь ведь тяжкие времена пришли для боярства и дружины княжеской. Не по-прежнему московские князья раду свою ближнюю честят и слушают. Все больше по своей державной воле творят. Такие советы к сердцу берут, какие им самим по мысли. И хмурится старое боярство. Порой и заговоры заводит. Да не везет что-то им! Глядишь, или как вот Берсень Беклемишеву при Иване III, языки у них режут или последние маёнтки да вотчины отбирают в казну, а самих чуть не на посад в тяглые люди ссаживают.

Горькие времена настали для старого боярства. А вот толстый, пузатый Шигоня, поглаживая свою окладистую бороду, стоит поперед всех и величается, вошедшей великой княгине еле поклон отдает!

Как же: ведь вместо князя он наряжен нынче! При постриге стоять, порядок вести и князю потом про все доложить он обязан.

Медленно Соломония взошла, скорее возведена двумя монахинями, поддерживающими ее, на небольшой, черным сукном перекрытый помост, устроенный среди кельи.

Начался обряд... отпевание человека заживо. «Ныне отпускаеши с миром душу рабы Твоея...» Как печально звучат напевы!

Княгиню не спрашивают ни о чем, как привычно в таких случаях. За нее отвечают, за нее молитвы творят, за нее действуют, пригибая когда надо непокорную шею княгини для поклона...

Она, бледная как мертвец, даже сопротивляться перестала, как это было до сих пор. Широко раскрыты ее черные и без того большие, прекрасные глаза; как затравленная серна, озирается она с тоскою кругом и ждет: не явится ли откуда-нибудь спасения, не пошлет ли Бог чуда? Нет! Ярко озарены огнями лики темных икон... Кротко глядит Спаситель; скорбно улыбается Мать Его... Сам Саваоф, грозный и всемогущий, простер длани и благословляет мир, «сияя на злыя и на благия» всеми солнцами своими. В небесах — правда, и мир, и покой! Но здесь, на земле, нет ей помощи, ни от кого нет спасения. Он, даже он, в кого княгиня так верила, кого любила, несмотря на все измены, на болезни и на лютость нрава порой, — он, Василий... князь... он сам жену свою оторвал от себя. И место ее займет другая... хитрая литвинка!..

Кровь татарских князей, кровь предка Соломонии, мурзы Четала, опять вспыхнула в жилах. Бледные до сих пор щеки сразу побагровели. Мрачно горевшие, заплаканные глаза сразу засверкали, как раскаленные угли.

Грудь, которая перед этим была словно камнем тяжелым сдавлена, опять ходуном заходила, заволновалась. Какой-то клубок подбежал, подкатился из глубины — к самому горлу. Давит княгиню, больно ей.

Красные от жары и напряженного состояния бояре, стоявшие поближе, зашептались между собой:

— Гляди, никак на нее находит. Пожалуй, не удастся по чину и обряда доправить?!

А уже на нее собираются возлагать облачение иноческое.

Вот вместе с епископом Давидом к Соломонии приблизился Даниил.

Почувствовав его дыхание почти на своем лице, Соломония вздрогнула, невнятно застонала.

— Смирися, жено! Не твори соблазну! — раздается ненавистный властный голос.

Приняв ножницы из рук иерея, епископ Давид коснулся распущенных волос княгини.

Та громче застонала и забилась в истерических рыданиях.

Две сильные монахини, выбранные и приставленные здесь нарочно, поддерживают под руки несчастную; но теперь еле-еле могут удержать Соломонию, так порывисто и сильно рвется и трепещет она всем телом у них в руках.

— Нет... нет... не... хочу... не изволю сама... на это!.. — с визгом вырывается из груди у Соломонии, губы которой до сих пор словно судорогой были сжаты.

Но ее не слушают.

Клир старается громким пением покрыть жалобы, крики и плач женщины, а Давид быстро и сильно смыкает концы ножниц над волнистыми прядями ее волос, которые черным блестящим каскадом падают вниз.

— Ну, ладно. Чего не так, потом достригут! — произносит он, кое-как исполнив обычный обряд пострижения.

Подана мантия, кукуль...

Стоит надеть его — и все кончено! Мир земной со всем и навсегда закрыт для бывшей великой княгини. За что? Она ли виновата, что Бог не дал наследника Василию?

А Давид в это время совсем вплотную подошел...

— Возьми кукуль сей и возложи на тя, жено, аки подобает по велению святых отец...

И он уж сам готов был возложить вместо вечного савана монашеский кукуль на княгиню.

Но тут дикое безумие окончательно овладело ею.

Сделав движение, словно желает склониться, она сразу вырвалась у монахинь, державших ее, вскрикнула, взметнула кукуль кверху, бросила его на землю и стала топтать ногами, истерично выкликая хриплым, надорванным голосом:

— Сама... на себя? Живой в могилу? Не лягу!.. Слушайте, люди! Христиане, слушайте!.. Слуги князя и мои! Не по воле сан принимаю... Не охотою, но силою, вопреки закону Божескому и человеческому постригае-

ма. И вот... вот... вот как топчу я кукуль сей... и насильников моих топчу... Вот... вот!..

И вместе с дикими криками пена слетала с побелевших уст у несчастной.

— Что делаешь, безумная! — устремившись к Соломонии, грозно прикрикнул Шигоня, когда увидел, что Давид, видимо оробев, отступил от исступленной женщины.

Сильно схвативши за локоть, он пригнул ее к земле, словно принуждая поднять брошенный кукуль.

— Нет, не возьму!.. Не хочу... Прочь с ним вместе, дьявол, слуга дьявола... Плюю на тебя...

И она брызнула ему пеной прямо в лицо.

Шигоня, побагровев от гнева, поднял было свой тяжелый посох боярский, но вовремя спохватился, заметив, как двинулись вперед и Бельский князь, и Кубенский Иван, словно решили защитить несчастную от опасного удара.

Быстро оглядевшись, боярин выхватил из-за ближайшей божницы пук лозы вербной, с недели Ваий здесь оставленный, и, нанося сильные удары по обнаженным рукам и плечам Соломонии, закричал:

— Смирися! Войди в себя, богохульная жено!.. Что ты творишь, подумай?!

Все окаменели на миг.

От неслыханной обиды и сама исступленная женщина мгновенно пришла в себя.

Поднялась, трепеща мелкой дрожью, до крови стиснула зубами край своей губы, изнемогая не столько от телесной боли, сколько от позора и негодования.

Прежде чем она успела сказать что-нибудь грубому палачу, Шигоня, желая по возможности загладить дурную сторону жестокого, необдуманного поступка, угрюмо произнес:

— Как смеешь ты, жено, противиться воле государя, великого князя нашего? Дерзаешь ли не исполнять приказаний его?

— А ты как смеешь, ты — холоп, бить меня, свою княгиню? — негодуящим, твердым голосом только и спросила Соломония.

Но от этих простых слов, от величавой осанки, которую безотчетно приняла несчастная, от искаженного скорбью лица ее повеяло чем-то таким необычным и грозным, что мороз пробежал у всех по телу.

— Именем великого князя наказую тебя за непокорство, а не своей рукою и волею! — нашелся ответить надменный боярин и быстро отступил, давая знак продолжать обряд.

Явное замешательство воцарилось вокруг.

— Можно ли так? Не донести ли великому князю? — робко, неуверенно зашептали иные из присутствующих.

— В монастырь али в изгои (в изгнание) захотелось? — отвечали им товарищи. — Дома жить надоело?

Смолк ропот. Обряд пошел своим чередом.

Но Соломония, улучив эту минуту замешательства и тишины, ровно, негромко, с потрясающим, роковым каким-то спокойствием, обведя всех глазами, проговорила:

— Стоите?.. Молчите?.. Рабы лукавые, неверные! Нет ли ножей под полою кафтанов, чтобы тут же и зарезать, как овцу бессловесную, княгиню свою былую, «милостивую». Так ведь вы прозывали меня! Я ль не заступалась за вас? От скольких от вас государев гнев отвела, от опалы избавила; милостей добыла... И никто не вступится?! Да? Будьте же все вы прокляты!.. Богу в жертву против воли приносите меня... Нет, не Богу... В жертву княжой прихоти! И обрек вас Господь. Человекоугодники, не слуги вы прямые княжеские... И горе вам! Бог помстит за меня. Вижу гибель вашу!.. Не пурпур и золото — кровь ваша и язвы и лохмотья покроют тела ваши, аки тела слуг нерадивых, выпустивших на волю дьявола!.. Жены ваши и дочери — поруганы, пострижены насильно, как и я!.. Дети ваши, нерожденные, изгублены на лоне материнском. Не терема высокие — виселицы построятся для вас, и вóроны черные обовьют боярские головы взамен шапок горлатных... Вот мое слово последнее... мое заклятие на вас! На детей ваших! Великое самое преступил князь великий: совесть теперь свою преступил ради стяжания царского. Вас ли пощадит?! Помните же и трепещите, ехидны, змеи-предатели. А ему скажите...

Но тут и Шигоня, и Потата, писец ближний и «печатник» княжой, и Рак, Феодорик, советник его, онемевшие сперва, когда раздалась мерная, зловещая речь княгини, произносимая каким-то необычным, даже не свойственным ей, металлически-звонким голосом, — теперь все эти вельможи пришли в себя.

Дан был знак. Громко запел клир. Надрывались ба-



сы... дисканты краснели от усилий подняться на крайнюю, доступную им высоту... загудели чтецы... монахи, священники стали подпевать тоже...

А среди этого чтения, и напевов, и рокота прорезался зловещий голос Соломонии, сулившей болезни, горе и беды бывшему супругу и всему грядущему роду его.

Но голос ее стал слабеть... Она зашаталась, сразу опять помертвела... И если бы не поддерживали ее теперь две монахини, так и рухнула бы, потеряв последнее сознание.

— Что с ней? — спросил Шигоня, видя, как навалилась Соломония на свою соседку-держальницу.

— Сомлела, кажись, боярин.

— Ничего... Тем лучше...

— Вестимо! — отозвался и Даниил. — Господь видит сердца наши, во сне ли, наяву ли мы или в бесчувственном состоянии. Сердце чисто у княгини. Бес вселился в нее и глаголал. А там, очнется-опаматывается, — и сама же порадуется чину своему ангельскому...

И обряд пошел своим чередом, быстро теперь, без помехи.

Через несколько минут из кельи уведена была, все так же без памяти, не великая княгиня московская Соломония, а инокиня, старица Софья, которую готовились везти в указанный ей Покровский девичий монастырь, что в Суздале.

*Год 7038 (1530), 25 августа*

Веселый, радостный перезвон так и стоит над Москвой златоглавою, словно в Светлое Христово Воскресенье! Не успеют затихнуть колокола в одном месте, как в ином, тем на смену, начинают заливаться другие...

А самый большой, соборный «боец-колокол» без устали так и гудит, словно шмель между пчелами, пуская свою басовую ноту: дон-дон... дон-дон!

И, как на густом фоне, ярко вырезается в его гудении малиновый перезвон монастырских небольших, но серебристых колоколов: динь-динь-динь! Динь-динь-динь! Динь-динь, динь-динь, динь-динь-динь!

О чем говорят, о чем поют-заливаются колокола, эти спутники жизни людской, христианской?

Отчего толпы московского люда, хоть и не празд-

ник, но запирают лавки, покидают торжища, бросают все дела и работы и бегут, валом валят туда, к Кремлю, из которого подан был первый сигнал к необычному благовесту?..

Радость великая для Москвы, для всей земли русской: у государя, великого князя Василия, и молодой княгини Елены, роду Глинских, сын родился.

— Да сын ли? — спрашивает на бегу немолодой посадский другого из толпы, который тоже спешит к Кремлю, уже на ходу надевая на себя кафтан понаряднее.

— Сын, сын, Кириллыч! Уж так было сказано. Да нешто по звону не слышишь, что сын?.. Ведь вон и старец блаженный, юродивый Христа ради-для, прорицал нашей княгинюшке: «Родится у тебя сын — Тит, широкий ум!..» Конечно! Сын!.. И Тита нынче память аккурат, угодника... 25 августа...

— Слава те, Господи. Не сиротеет земля!..

И оба бегут дальше, а сзади еще и еще катятся и набегают народные волны... И все не с горы, а в гору катятся... туда, к высоким теремам кремлевским.

— Слышь, — орет один парень другому, — пото-рапливай! Столы от князя ставить будут... Место бы получше захватить!..

И все бегут... И женщины, и дети, и старухи... Иные падают от усталости, но опять подымаются и мчатся вперед.

А из Москвы гонцы скачут... Боярам-наместникам, разным воеводам и тиунам весть подавать: кого следует, светских людей и пастырей духовных, на крестины звать... Радость великая совершилась! Долгожданный наследник дарован великому князю и всей земле. И попутные жители, селяне и горожане, мимо которых, проносясь, развешали желанную весть гонцы, — все, от радости, обнимались и целовались по-братски; без праздника — пир и праздник снаряжали. Всем близка была радость княжая, долгожданная.

Ведь шутка ли, четыре бесконечных года ждать пришлось.

Царь Василий — совсем угрюмый, словно ночь, темен ходил. И подумывать уже стал:

— Неужто права была Соломония? Ужели сбылось ее слово, проклятие страшное, какое в злобе она изрекла?! Ведь до чего озлилась баба!..

Вспомнил все Василий и вздохнул.

Третий год шел к концу после брака его второго, а все бездетной оставалась и вторая жена, Елена, новая княгиня великая.

Чего-чего ни делал Василий! И лекаря восточного звал... И к ворожеям, к наговорницам, презрев запрет христианский, ездил и ходил темной ночью государь, таясь от людей... Ничего не помогало.

Приходили к Елене знахари и знахарки много раз — и все говорили:

— Здорова княгиня. Будут чада у вас.

— Дай Бог! Род мой без потомства не может остаться, пресечься не должен! Не хочу я! Не бывать этому!

И самые странные мысли порою западали в голову полубольному князю, который только и старался, что пободрее выглядеть при красавице — молодой жене.

Нередко с невольной завистью посматривал Василий на любимца, постельничего своего, на молодого богатыря, Ваньку Овчину, князя Телепнева-Оболенского. Кроткий, тихий и незлобивый, хотя и храбрый в бою, Иван не одному князю был близок и мил. Отличала его и молодая великая княгиня. Но всегда держала себя, как и надо быть госпоже с любимым слугой мужниным. Овчина обожал молодую княгиню чисто, по-юношески, даже не скрывая этого. И был с нею так почтителен, как больше требовать нельзя.

Покачивая седеющей головой, высокий станом, но исхудалый от болезни, погнувшийся, Василий думал про себя:

— Да, вот была бы пара Елене! Не тебе, старому, чета. Да, не судил им Бог!

И даже тени досады или сомнения не шевелилось в сердце старого, «грозного», как порой прозывали его, великого князя.

Между тем внешние светлые зори сменялись знойными, темными летними ночами. Шли месяцы, годы. Три их ровно прошло. Все остается бездетной Елена. И стала она ездить по разным ключам чудотворным, воду пить... По местам святым, по монастырям, которые славились чудотворными иконами, мощами святых целителей или живыми молитвенниками-схимниками, известными жизнью строгой, святой и непорочной; всюду бывала. И молила там княгиня за себя и за му-

жа... Просила даровать ей чадо. Вклады богатые делала и поминки давала... нищих кормила, оделяла.

В этих поездках порой сопровождал ее сам Василий, а за недосугом посылал провожатым кого-нибудь из приближенных, чаще всего — кроткого и преданного Овчину. Сестра же его была в приближении у Елены. Искренно расположенная к брату, Елена старалась приласкать и отличить во всем его сестру, Аграфену, жену боярина Челяднина.

Однажды государь сказал Елене:

— Что бы ты не съездила к святому Пафнутию? Далеконько, правда... Да ведь и матери ж моей, сказывают, святитель в таком деле помог.

— На край света поеду, лишь бы в угоду тебе, государь! — отозвалась Елена.

Сборы были недолгие. Несмотря на конец сентября, погода была чудная. И вскоре по дороге в Боровский Пафнутьев монастырь выступил длинный поезд, центром которого являлась колымага Елены.

Сам Василий, за недосугом, поехать не мог, а послал с ней князя Михаила Глинского, дядю ее, да Овчину Ивана с людьми.

Вся поездка прошла как миг один, как сон для княгини молодой. Вокруг, не считая челяди, все люди близкие, родные, ее дядя, сестра Ивана Телепнева, Аграфена. Этикет дворский, все разряды и чины — забыты... Осеннее ясное небо над головой. Сжатые нивы желтеют по сторонам... Золотятся рощи березовые, покрытые пожелтелым осенним покровом. Дрожит багряными листьями осина по перелескам... Тянут стаи птиц на юг...

— Туда бы и мне за ними! — вырвалось как-то у княгини, заглядевшейся ввысь. — Они пролетят над Литвою далекой, над родиной моей...

— Да разве так уже плохо тебе с нами здесь, княгинюшка светлая? — отозвался Иван, ехавший поручь колымаги.

Елена взглянула на него ласково и промолвила:

— Нет. Сейчас — хорошо!

Прибыли, наконец, в обитель.

Приняли их честь честью. Княгиня с устатку отдохнуть пошла. Князь Глинский и Овчина, по зову настоятеля, явились на трапезу.

Тут, конечно, зашла речь о цели приезда великой княгини.

— Пафнутий — святитель, скоропомощник во всем. Он исполнит желание князево! — отозвался убежденным голосом настоятель, отец Иллариий.

— Верим, отче!.. Все от Бога. Он все посылает, — подтвердил князь Михаил Львович Глинский.

— Да, бывает... Все от Бога! — кивая задумчиво головой, повторил игумен.

А Овчина сидел погруженный так глубоко в какие-то размышления, что и не слышал, как кончилась трапеза, и опомнился только, когда ему сказали, что молиться надо.

Настала ночь. Горячо помолившись, Елена с Аграфеной Челядниной сидела у окна отведенной ей кельи, выходявшего прямо в тенистый, чудный разделанный монастырский сад. И дивилась: отчего он так пуст? Отчего ни монахов, ни послушников не видно здесь в такую теплую, дивную осеннюю ночь. Но потом она вспомнила, что двух-трех часов не пройдет после минувшей долгой, утомительной церковной службы, и снова выйдут из своих келий разбуженные братья, и снова потянутся под звуки колокола в ту же душную церковь, на новое долгое, утомительное бдение... Но показалось ей, или кто-то ходит в саду?..

Нет, не ошиблась она. Овчина Иван, ее верный слуга, скользит тихо-тихо по аллеям темного монастырского сада, желая охранять келью, где спит она, госпожа и повелительница его.

— Ты, Ваня? — спрашивает княгиня слугу.

— Княгинюшка светлая... Ты... не спишь?.. — смешавшись почему-то, еле выговорил этот могучий, статный витязь, сейчас робеющий, словно ребенок.

— Не сплю... Мои все заснули... А мы с Аграфеной вот сидим под окошечком, тоскуем. Подойди, покалякаем.

Он подошел... Поговорили немного. Там Аграфена и окно закрыла. Обе улеглись на покой.

Только Иван Овчина еще долго бродил по темному саду, не находя сна...

Утром княгиня Елена все святыни обошла монастырские, везде приложилась... Схимник, старец Савватий, благословил ее, просфорой одарил, напроорочил много хорошего...

Весела и радостна приехала княгиня домой.

Все добрые приметы да пророчества ей были по пути.

Скоро и сам князь великий Василий Иванович просиял, порасцвел, словно моложе лет на тридцать стал... И 25 августа 1530 года весело зазвонили все колокола московские, оповещая мир о радости великокняжеской, о рождении первенца, нареченного по деду — Иваном, четвертым в роду князей московских.

Забыл государь всю немочь, за последнее время одолевшую его, и крамолу боярскую, которая нет-нет да и подымет голову, словно василиска-змея, из-под пяты... И все нелады и прорухи на литовской, на татарской границе... Все забыл, ходил светел, радостен... Богатыми дарами дарил кого только мог... Мамкой княжичу назначил все ту же Аграфену... Крестины справил — миру на удивленье. Быки целые жареные на площадях для народа стояли, вина и меду бочки были выкачаны из погребов... А в княжеском дворце — дым коромыслом две недели шел...

Любимые монахи из Иосифовой Волоколамской обители Кассиан Босый и Даниил Переяславский были восприемниками княжича от купели, отцами его духовными назначены и приняли с рук на руки, на убрус белый от самого митрополита.

И не только люди, сама земля русская приняла, казалось, участие в великом событии: в позднюю осеннюю пору грозы пронеслись над Русью надо всей... Земля во многих местах колебалась именно в тот день и час, как родился великий княжич Иван Васильевич.

— Грозный будет волостель! — толковали при этом, покачивая головой, старые люди. А молодые веселились и радовались.

И немолчно звенел-разносился малиновый звон над Москвой златоглавою...

*Год 7041 (1533) 22 сентября — 4 декабря*

Тихим осенним утром 22 сентября выехал из Москвы государь великий князь Василий Иоаннович к Волоку-Ламскому, в гости к дворецкому своему Тверскому и Волотскому, к Шигоне, да в монастыри заглянуть в попутные, да поохотиться.

Чует Василий, что засиделся в душных покоях кремлевских, теремных, натрудил голову думами государскими, счетами да расчетами, заботами хозяйствен-

ными и семейными. Николка Люев да Феофил-фрязин, оба лекаря царских, одно говорят:

— Обветриться бы надо, государь...

Кроме челяди охотничей, ловчих, сокольничих, псарей и выжлятников, много бояр ближних и воевод поехало на охоту с царем.

И оба брата царские тут же: Андрей да Юрий Ивановичи, хотя последнему что-то не доверяет старший брат.

Из бояр — Иван Васильевич Шуйский, Димитрий Федорович Бельский, князь Михайло Львович Глинский и многие другие, блестящей вереницей, кто верхом, кто в колымагах и каптанках, едут в царском поезде.

Из молодых бояр здесь скачут на аргамаках, кроме неизменного Овчины, два князя Димитрия: Курлятев и Палецкий; Кубенский князь Иван; Федор Мстиславский, племянник государя, и многие другие. Иван Юрьевич Шигоня, с братом Михайлой, тоже в поезде и прихватили трех дьяков про всякий случай: Цыплетева Елизара, Колтыря Ракова и Афанасия Курицына, кроме двух «ближних» дьяков царских Григория Никитича Путятина и Федора Мишурина и стряпчего Якова Мансурова. Да всех не перечесть.

Государыня Елена с трехлетним Ваней и годовалым Юрой в крытом возке большом едут. Боярыни ближние с ними: Анастасия Мстиславская, Елена да Аграфена Челяднины, золовка да невестка; Федосья Шигонина, Аграфена Шуйская, сама княгиня Анна Глинская, матушка Елены. И веселы, рады все, что из душных светлиц своих вырвались: так и стрекочут всю дорогу.

Погостив деньков пять у Троицы, к Волоку тронулись. Государь — все верхом больше. А на левом бедре у него давно уже зыблется опухоль подкожная, холодная пока, не болезненная. И вот до села Озерецкого еще не доехали, как беда стряслась. Седлом, что ли, растравило болячку, но появилось в середине у нее пятнышко небольшое, багровое. Болеть — не болит, но весь словно разбитым стал чувствовать себя Василий. Миновали Нахабино, Покровское-Фунниково. Царь уж, гляди, и с коня слез, с царицей в колымаге едет.

В Покровском Покров Богородицы справляли, задержались дня на три. На Волок-Ламский совсем нездоров приехал Василий. В пятницу еле сидел на пиру

у Шигони. В субботу, 4-го, еле-еле и в мыльню сходил, помылся, попарился: не легче ли станет? Стол уж в постельных хоромах накрыли больному царю. За два денька отлежался, поправился. Чудное выпало утро во вторник. Не выдержал Василий.

— Федю Нагѡва позвать мне! Бориса Васильева Дятлова! Ловчим велеть изготавиться. В поле сегодня хочу пуститься!..

Лекаря царские, оба, — так руками и всплеснули.

— Государь!.. — начал было Люев.

— Ладно, знаю... Лучше мне сейчас! А погода, гляди, какова? Без лекарства поправлюсь, гляди. Вам бы небось не хотелось? На что вы мне оба тогда?.. Ну, не мешайте...

Подали коней, загремели рога, и пустились в поле все, на Колп, на село, где охота богатая.

— Что, государь, али не можется? — спросил у Василия князь Мстиславский, скакавший за дядею, видя, как морщится царь на скаку.

— Что-то оно не того. А терпеть все же можно...

— А не вернуться ли нам на Волок, государь?

— Ну вот, была нужда! — ответил Василий. — Стоило из ворот выехать, чтоб от угла да назад повертатъ. Хорошо полеванье! Ехали ни по што, приехали ни с чем? Таков ли я? Сам знаешь. Что в большом, что в малом — люблю дело до конца довести... Да и хворь-то пустая: нога болит! Давно она у меня, лихо бы ей, — знать себя давала. Подурит да и перестанет. Ведь своя, не удельная! — пошутил князь.

И поехали дальше. Любит на кречетов царь поглядеть.

К полудню в Колп все вернулись. Столы уже накрыты. Почти и есть царь не стал. А все же дал знать брату Андрею, чтобы поспешал и тот сюда. После обеда псовая охота началась.

Трех верст от Колпа не отъехали, с царем что-то неладное случилось.

— Федя... Андрей! — громко стал звать вдруг Василий племянника и брата.

Напуганные, те подскакали вплотную и еле поддерживали Василия, который в беспамятстве уже валился с лошади.

На землю положили попону, сверху покрыли своими кафтанами, уложили бережно Василия.



— Княже, что с тобой?.. — тревожно спросил его Мстиславский, как только сомлевший князь раскрыл глаза.

— Сам не знаю... что-то сердце замутилось... И в ногу, в недужную, ударило... Погляди: что с ней?.. Стой... Не трожь... Больно! — вдруг крикнул он, едва Мстиславский взялся за сапог, желая разуть князя.

— Как же быть, княже?.. Сам велишь поглядеть...

— Да, правда. Ну, делай, как знаешь. Потерплю...

Но Мстиславский догадался: обнажил свой остро отточенный охотничий нож, запустил конец его осторожно за голенище княжего сапога, провел книзу, распорол кожу — и сапог сам свалился с больной, распухшей и посинелой ноги.

Всех сразу так и поразил тяжелый запах, пахнувший им в лицо.

Взрезав также мехом подбитый чулок, надетый на Василье, разрезав платье исподнее, Мстиславский с ужасом увидел, что опухоль на бедре, утром еще покрытая воспаленной кожей, теперь прорвалась в середине, где видно небольшую, словно железом каленым выжженную в теле, круглую язвочку. Скрывая охвативший его ужас, Мстиславский быстро снова окутал кое-как ногу князя от свежего воздуха и, поднявшись немного с земли, но не вставая совсем, сказал:

— Оно пустое, княже: прорвало там... А все бы домой тебе скорей поспешить. Да не к Волоку, а на Москву... Залечить надо, худа бы не было... Больные ведь давно ноги твои.

— Домой?.. К Волоку — можно, пожалуй... Только как же?.. Трудно мне... на коня сесть... Как быть?..

— Ну, вот пустое... Сейчас все наладим!..

И, правда, пяти минут не прошло, как на древках двух рогатин было прикреплено рядом хорошее, которое нашлось в тороках, на рядом положены попоны мягкие, перекрыты изрядно, — князя уложили осторожно на эти широкие, удобные носилки, и весь поезд быстро двинулся в путь, стараясь в то же время, чтобы не потревожить как-нибудь больного государя.

Вершники и доезжачие посменно — четверо сразу — носилки несли так бережно, ступали так легко и неважно, что Василий, едва миновала его дурнота, даже заснул, убаюканный колыханием, словно младенец в люльке.

В испуге навстречу носилкам вышла Елена.

— Что было? Что с государем случилось?..

— Пустое, голубица моя! — предупреждая других, заговорил быстро Василий. — Ногу, вишь, ушиб, в яму оступился с конем... Жилу растянул... Через день все пройдет.

Успокоилась Елена. Василия в его опочивальню отнесли. Осмотрели врачи язву вечером, ничего не сказали.

— Утром, при свете поглядим, государь.

Утром долго глядели, рассматривали: и Люев, и Феофил.

Лица вытянутые у обоих.

— Плохо, что ли? Правду говорите.

— Плохо — нельзя сказать. Долго затянется.

— Что же делать? Недельки через три в Москву надо ворочаться. Хоть к той поре оздороветь бы.

Качают головами...

— Ну, четыре, пять недель...

Молчат и головами качают...

— А! Домовой бы вас придушил, леший бы унес с глаз моих и навечно! Онемели вы обои или злить меня сговорились? Так глядите!..

И он протянул руку за посохом, часто гулявшим по спине не только у лекарей-басурманов, но и у первых бояр и князей...

— Государь, не гневись... Послушай! — заговорил более смелый Люев. — Мудреный ты вопрос задал. Мы знаем, что болезнь вот, как твоя, и на полгода затянуться может, и в месяц ее выгнать можно... А если мы скажем, срок назначим и ошибемся, ты же нам верить перестанешь. Без веры куда трудней будет лечить тебя... Сам ведаешь...

— Сам понимаю я, что шуты вы гороховые, а не лекаря ученые. Попам вера нужна! А с вас будет и знания... Ну, да шут с вами... и то, обозлить вас, так вы мне такого поднесете, что кишки все вымотаете!.. Тьфу! И я, дурак, связался с басурманами, да еще с лекарями. Вон у нас: лекарь да аптекарь — хитрей цыгана да жида почитаются. Нешто вы правду скажете? Лечите уж, как знаете сами... Не обижу...

— А еще, государь: княгиню-государыню тебе лучше на Москву отправить вперед... Ты заметил: дух нехороший от язвы. И все тяжелее он будет... пока мы

не вылечим тебя. Хорошо ли, чтобы государыня... С царевичами?.. Лучше, право, не быть им при тебе...

— Сам понимаю... Сам о том думал...

И, подготовив понемногу Елену, он через две недели отослал ее с детьми на Москву в сопровождении части своей свиты...

К этому времени язва, раньше сухая, стала выделять больные ткани... Окружность ее росла хотя медленно, но неудержимо.

Больше и спрашивать не стал Василий, опасно ли он болен. Аппетит пропал... Силы тают с каждым днем. А нелюбимый брат Юрий так и вьется у постели.

Не выдержал Василий:

— Ты бы, брате, к Дмитрову, к уделу своему, поспешал. Давно, гляди, не был там...

— Да я так думал, брат-государь, болен ты...

— Что ж, ты лечить меня станешь али залечивать? Так вон у меня своих таких двое! — указал на лекарей государь. — Морить куды горазды!..

— Шутить все изволишь, брате-государь... Ин не стану супротивничать, поеду, коли не хочешь видеть меня. Благослови, брат-государь, в путь-дорогу.

— Бог благословит.

Юрий уехал. Вдохнул свободней Василий.

Сейчас же тайком, чтобы жена не знала даже, послал Мансурова и Путятину (Меньшого) в Москву.

— Вот ключи... В подвале, в Архангельском соборе, сундук железный... Протопоп Иван знает. А в сундуке — ларец... А в ларце — духовные грамоты отца и деда нашего... Привезите... Видно, пора и свою писать, как по старине полагается...

Когда привезли грамоты, долго толковал со своими советниками тайными Василий. Была написана и его духовная. Подписал ее царь. Пришлось звать и свидетелей для подписки. Бельский, Шигоня, Шуйский и Кубенский подписались и крест целовали на том, что до срока — никому ни слова не проронят о грамоте.

14 ноября в тревоге, ночью, заглянул к больному другой брат, Андрей, с которым всегда был дружен Василий.

— Не спишь, государь? Слышу: читают тебе псалмы божественные... Я и заглянул...

— Рад, рад... Не спится теперь по ночам. Днем все

так вот и спал бы. А ночью душно, тяжело. Грудь совсем заложило... Плохо лечат, проклятые...

— А ты бы других...

— И то... Вон за гетманом Яном послал. Он — казак. А у них тайные есть зелья, разные... Пусть пользуется. Он много народу на Москве выпользовал. Да что ты такой, словно напуган?

— Чудо творится, брате... Дождь огненный с неба.

— Что ты?.. Где? В какой стороне? Как бы лесов да деревень не пожгло... Убытки, гляди, будут какие?!

— Нет, брат-государь, не то чтобы огонь простой... Звезды с неба так и сыплются...

— А! Ну это не опасно... И много?

— Видимо-невидимо. Да вот взгляни, пожалуй, государь.

И Андрей поднял занавесь у окна, оттолкнул тяжелый ставень и указал больному брату рукой на темное, синее, ночное небо.

Было новолуние, и звезды, не затемняемые месяцем, ярко сияли, переливаясь мерцающим блеском в прохладном, влажном воздухе. Полевей от окна, в южной части неба происходило нечто удивительное. Падали звезды. Не изредка, как это бывает всегда, а блестящим частым огненным дождем...

В глазах начинало рябить и пестреть, если долго не отрываясь глядеть на восхитительное зрелище...

Долго смотрел Василий, то прищуривая, то снова широко раскрывая глаза.

— Пятница нынче?..

— Так, государь.

— Завтра Димитриевская суббота... Понял, понял...

— Что понял, брат-государь?

— Великая звезда скоро с земной вершины скатится... Туда, в бездны... Помилуй мя, Господи, по великой милости Твоей...

— Э, брат-государь, пустое! Оздоровеешь скоро, вот увидишь.

— Ладно. И то хорошо. Прикрой ставень... Полы-то спусти оконные... Зябну я все... Ну, с Богом, ступай спать, Андрейко. Може, и я усну.

И Андрей вышел из опочивальни...

Словно напроорочил облегчение брату Андрей.

Наутро громадный стержень вышел из раны у Василия. Князь словно ожил, повеселел, стал надеяться на

выздоровление. Лекарь-казак, гетман Ян, приехав, мазями своими и опухоль согнал с больной ноги. Не лежит она больше такая неподвижная, огромная, как прежде, словно бревно, мешая дышать, не давая сделать ни малейшего движения. Глубокое воспаление, поразившее ткани, разрешилось теперь; но части распада остались в ране и вызвали новую беду. Появился антонов огонь... Опухоль, еще не совсем удаленная мазями, медленно стала распадаться. Язва зияет не маленьким устьем, как раньше, а широкая, черная, страшная... Настоящая «гагрина» (гангрена) с омертвелыми краями, покрытыми серым налетом. И воздух в покоях наполнен от нее тяжелым запахом тления!..

— На Москву, на Москву скорее! — молит теперь Василий.

Ясно: спасенья нет!..

Медленно движется печальный поезд. Василий в каптанке едет, уложенный на мягкой постели. Повернуться он сам не может. Курлятев и Палецкий едут с государем, помогают ему.

Везде по пути рыдают люди, узнав, кто этот умирающий боярин, которого везут на Москву.

Скорей бы можно добраться туда, да приходится остановки очень частые и долгие делать. Дороги еще не установились. Как осторожно ни едут кони, а все потряхивает больного. И он мучительно страдает.

Только 21 ноября к Воробьевым горам дотащились. Здесь два дня пришлось переждать. Митрополит Даниил к государю пожаловал, помолиться за его здоровье и дать свое благословение... И владыка Вассиан Топорков Коломенский, друг царя... И попы, и бояре: Шуйские, Воронцов Михаил, Петр Головин, казначей верный царский... Слезы, рыдания раздаются... Лекаря всех попросили уйти и не тревожить больного.

Но сам Василий удержал главных бояр:

— Мост на реке строить велите... Туда вот, прямо у спуска с гор с Воробьевых... К завтраму ночью чтобы и готов был... Ночью я в Кремль проеду, чтобы не знал никто... Народу тьма кругом, послы у нас ждут чужеземные... Негоже будет, если днем я поплетуся... Дела у нас теперь с чужими государями немалые... Посланцы-то ихние, поганцы, — что воронье, сразу учуют: плох старый государь! Ваня мой мал... И подумают: самая пора пришла поживиться на Руси... Сейчас своим

государям отпишут: «Собирайте ратных людей. Поми-  
рает старый государь. Легко можно у юного малолетка  
и у вдовицы государыни из вотчины чего оттягать!..»  
Знаю я их... Да и свои люди не должны в гнусе таком  
видеть меня... Так пригоняйте, чтобы нам в глухую  
ночь, в самую полночь Москву миновать, до Кремля  
доехать...

Закипела работа на реке. Лед еще не окреп. Рубят  
его, наскоро сваи, как раз против спуска с горы, вбива-  
ют в дно речное, балки кладут, доски стелют... Хоть и  
не к субботе ночью, но к воскресенью на рассвете —  
мост был готов.

— Так с Богом везите меня! — приказал Василий,  
когда ему доложили о том.

Скользит с горы тяжелая каптанка, влекомая гусем  
восьмеркой крупных, сытых коней, по два в ряд. Пере-  
довые вершники туго держат вожжи. Рынды царские,  
молодые парни, боярские дети и княжата голоусые, по  
десять человек с каждой стороны у каптанки идут,  
поддерживают в опасных местах, на поворотах и косо-  
горах. Двое на передке каптанки сели на всякий слу-  
чай. Заартачится первая пара коней — удержать бы их  
было кому, кроме вершников...

Все шибче и шибче по раскату скользят полозья,  
как ни сдерживают возницы могучих лошадей. Те же  
совсем на задние ноги осели, хвостами снег метут...  
фыркают, головами мотают. Дивятся, что им ходу не  
дают... Вот последний перевал. Там и на мост надо  
въезжать... Дорога здесь поровнее... Шибче пошли ко-  
ни, завизжали, заскрипели полозья по цельному, плот-  
ному снегу...

Сразу первых четыре могучих коня-санника на мост  
вбежали, копытами грянули раз, другой... и только эти  
первые две пары оказались на мосту, подальше от бе-  
рега, зашаталось все под ними... Одна свая наклони-  
лась, другая за ней...

Наспех строенный, мост так и стал валиться на лед,  
увлекая царских лошадей за собой... А за лошадьми —  
и сани царские мчатся туда же, в хаос обломков, на  
лед, который трещит и ломается под ударами копыт  
тонущих коней, опутанных гужами и постромками...  
Вот уж не больше полуаршина отделяет тяжелый во-  
зок от воды...

В это самое мгновенье двое рынд, с обеих сторон,

вынув свои ножи, сумели обрезать гужи у задней пары коней, а остальная молодежь, напрягая последние силы, прямо на руках успела поднять и остановить тяжелый возок, нависнувший слегка над водою... Василий видел всю опасность, но не растерялся.

Он уж давно готов умереть. А все-таки вздох облегчения вырвался у него, когда дверца раскрылась и Курлятев, выглянув наружу, сказал:

— Все слава Богу, государь... Только кони утонули... Не все... Четверо вон убежали... А четверо под воду пошли.

— Вижу, вижу... Спаси вас Бог, детушки, паренечки, за помощь, да службу верную... Тебе, Курбский, тебе, Шереметев. Всем вам... Не забуду... А теперь где бы нам перебыть, пока рассудим, что теперь начать?..

— Гляди, государь: монастырек невелик виден... Туда не снести ль тебя?..

— Ин, ладно... А кто мост-то строил такой надежный для государя своего?

— Да уж не гневайся... Наспех... Приказчики городовые: Митька Волынский да татарин с ним, Ассей Хозников... Взыщется с них, государь, строго взыщется...

— Нет, нет, не надо... Оно всегда так: скоро, да неспоро!.. Мороз, где тут мосты мостить... Чай, руки зябли на воде... Столбы вбивать... Доски стлать оледенелые... Пожури от меня обоих... А наказывать не смей. Бог спас, Милосердный. Будем же и мы милосердны...

— Слушаю, государь! — отвечает Шигоня, вникая непривычно кротким речам господина...

Царя осторожно, на постели на его, к монастырю недалекому, скромному так на руках рынды и понесли...

С самого утра плохо больному Василию. И тряска в пути, и волнение тяжелое унесли остатки сил этого могучего всю свою жизнь человека.

— Как можешь, княже? — осторожно подойдя к ложу, на котором лежит, полузакрыв глаза, великий князь Василий Иванович, спрашивает ближний его боярин и давний друг и тезка, князь Образцов — Симский Хабар.

Зимний, короткий, но ясный и морозный день совсем уж догорел.

В маленькое, слюдой затянутое оконце кельи подго-

родного Данилова монастыря, где сейчас лежит Василий, глядит пурпурной полосой потухающий закат.

Неугасимые лампы теплятся у иконы... Светец на столе не зажжен еще. В покое, низеньком, тесном и бедно убранном, царит полумрак. Пахнет особенно, по-монастырски: сушеными травами, росным ладаном, лампадным маслом... Но все перебивает тяжелый запах, который несется от лавки, застланной «тюшаком» (тюфяком).

Сверх тюшака перинка положена, перекрыта белым, чистым холстом. На мягких подушках лежит здесь больной Василий Иванович, царь московский, первый принявший этот титул.

Поверх одеяла теплого шубой на лисьих черевах накрыт. А все знобит больного. Мысли то просветлеют, то замутятся, словно забытье находит на него.

Он лежит в одежде. Только исподнее платье на левой ноге разрезано. Обнаженная больная нога обвита повязками.

Запах тления от язвы, зловещий этот запах растет все и растет. Теперь, сдается, он проникает даже сквозь деревянные, ветхие стены скитских построек и отравляет кругом чистый, морозный воздух лесной.

Сам больной задыхается от этого «тяжкого духа».

Лицо у него осунулось, помертвело, приняло совершенно землистый вид, губы посинели... Десны вздулись, и зубы словно готовы все выпасть из своих гнезд.

— Страшен я? Скажи, Ваня, — обратился он еще днем, задыхаясь от усилий, к Мстиславскому.

— Нет, княже. Известно: болен человек. А болезнь не красит. Домой бы тебе скорей. Дома и зелья добрые найдутся, и все... Дома, княже, знаешь: стены помогают...

— Да... Домой, домой... Только ночью... Как я сказал... Чтобы Ваня, сын, не видал... Испугается отца... Мне больно станет.

— Вестимо, государь! — ответил Мстиславский и вышел распорядиться, чтобы к ночи носильщики были... и гонцов послал к митрополиту, к Елене.

Люев и Феофил между тем заявили шепотом боярину, что очень плохо царю... Гляди, до утра не доживет...

— Так надобно звать всех навстречу князю... Сыну пусть хотя даст свое благословение... Разве же можно?



И шлет во все стороны снова гонцами вершников и детей боярских князь Мстиславский.

А Хабар Симский, заметив, что Василий смежил глаза и затих совсем, так и встревожился... Неужто умирает?.. Нет, вот снова из-под тяжелых, медленно поднявшихся ресниц и век проглянул тусклый, свинцовый взгляд недужного царя.

И князь Симский вторично тихонько окликнул царя:

— Как можется, царь-государь? Не лучше ли тебе?..

— Лучше? — вдруг раскрыв широко полузакрытые до этого глаза, переспросил Василий. — Верно, друже, скоро полегчает мне. Совсем.

— Что ты, государь? С чего взял?.. Тебе ли, при мощи твоей и годах непреклонных, язвы ножной не снести! — стараясь ободрить и успокоить больного, убедительно заговорил воевода.

— Нет... молчи... Слушай, что скажу... Трудно ведь и... говорить-то мне, не то что спорить... Прошли споры мои с вами... с боярами... Всю ведь жизнь... как отец мой еще наказывал, не давал я воли вам. А теперь — буде... Ныне отпускаеши...

— Да что ты, княже... И не думай про...

— Говорю — молчи... слушай лучше... Сейчас видение мне было...

— Господи, прости и помилуй!.. — неожиданно вздрогнув, произнес Хабар и осенил себя широким крестом, чуя, что мороз пробежал у него от затылка змеей по спине. — Видение, княже?..

— Да... Удостоил Господь... Вы тут стоите да шепчетесь с лекарями... А я все слышу... Все ваши речи... И вижу, хоть глаза совсем прикрыты у меня, — а вижу, как в дверь кельи, вот как она заперта сейчас, ее не раскрываячи, прошли два инока лучезарных. Только без мантий... в скуфейках домашних... И подошли к ложу... И узнал я их... святителей присноблаженных: Алексия да Петра... И говорит один другому: «Час, что ли?..» А другой отвечает: «Скоро! — говорит. — Прослушает десятую заутреню — и час тогда пробьет рабу Божьему, князю Василию Иоанновичу... И многогрешному... и прапрославленному... И все сие — на детях его... Сказано бо есть: до седьмого колена...» Глядь — и растаяли в воздухе... И нет ничего... А ты тут пристаешь все: как мне можется? Да легче ли?

Слышал: одиннадцатой заутрени не услышать уж мне... Готовиться надо... Шли еще гонца, следом за Мстиславским... Пусть уж и сын встречается... Не хотелось мне пугать младенца... Да пусть уж! Теперь все равно... как мертвый я...

— Княже, родимый... Государь милостивый... Греза-то была сонная... Что к сердцу брать? А потом, и так скажем: я тоже Василий Иванович, хошь и негоже мне с государевым именем равняться. Может, мне и сулили святители... И скоро кончина моя, а не твоя. Я же хошь и немного, а постарше тебя...

— Да и поглупее, вот вижу я... — вспыхнул, несмотря на страдания, Василий. — В самом деле, не вздумал ли равняться со мной? Как же: боярин ближний! Да, нешто святители придут блаженные о твоей смерти пророчить? Довольно с тебя будет и иной приметы какой, полегче. Да не толкуй зря... Когда можем мы к городу dospеть?

— Да с тобой, княже, часа через полтретья к Боровицким подойдем...

— Ну, так берите меня, несите... Поторапливайтесь... много еще перед смертным часом поговорить да наладить надо...

И, снова закрыв глаза, Василий умолк.

А новый гонец-вершник уж сломя голову скакал на лучшем аргамаке в Москву предупредить обо всем великую княгиню Елену и митрополита Даниила.

Час спустя из ворот монастыря показался весь княжеский поезд, среди которого четверо здоровых парней бережно несли широкие мягкие носилки с великим князем и царем всея Руси, лежащим в полном забытии. Медленно подвигалось печальное шествие в печальных сумерках зимнего дня.

Протяжно, глухо с другой стороны Кремля в морозном воздухе прозвучало и донеслось до Боровицких ворот девять ударов башенного часового колокола на Фроловских воротах, что ныне Спасские.

В это самое время шествие с больным князем миновало неширокий в этом месте пригородный посад и подошло к Боровицкой башне, ворота которой, несмотря на такой неурочный час, были раскрыты. Подъемный мост тоже опущен.

Всадники с факелами, составляющие свиту больного князя, идут тихо, без говора, соразмеряя ход коней с

шагом носильщиков, несущих князя; но обитатели посада, собравшиеся было уже на покой, услышали необычный шум, легкий лязг оружия, мерный топот десятка-другого конских копыт по мерзлому насту зимнего проезжего пути.

Наскоро накинув тулупы, иные отмыкают калитки и выбегают на улицу поглядеть: что случилось? Кое-где выходят на улицу оконца изб и домов, затянутые пухом в жилищах победнее или слюдою у тех, кто богаче. Жадным, пытливым взором обладатели подобных оконцев припекают к этим отдушинам на свет Божий, теперь полузанесенным снегом, полуокованным льдом. И, напряженно вглядываясь в ночную тьму, стараются разгадать напуганные посадские: что значит этот кровавый, зловещий свет факелов, которые медленно движутся по дороге вместе с тенями какой-то многочисленной толпы конных и пеших людей?.. Почему ночью, в такое непогодное, позднее, необычное время кто-то приближается к «городским», кремлевским воротам. Ведь в крепость, какую служит для Москвы Кремль, кроме великого князя, святителя-митрополита да семьи княжой, и не пустят ночью никого. Кто же эти ночные странники?

И, строя тысячи самых фантастических предположений, долго не может уснуть в той окрестности встревоженный посадский люд. И никто не решился, конечно, поближе подойти, поглядеть и разузнать: в чем дело? Слишком тревожное время переживает Русь. Каждый боится за себя и дрожит за свою шкуру.

У самых ворот Боровицких, где широкое место вдоль стены и дальше было совсем не заселено, пустовало на случай вражеского нападения, — здесь тоже виднеются багровые языки дымных, ветром колеблемых факелов.

Великая княгиня там с сыном, с митрополитом, с ближними своими ждет больного государя.

У княгини глаза распухли от слез, но она крепится, опираясь на руку преданной Аграфены Челядниной, приближенной своей наперсницы и мамки ее первенца, княжича Ивана.

Самого княжича, укутанного в теплую женскую шубейку, спящего, несмотря на мороз, держит на руках мощный красавец, брат Аграфенин, князь Иван Овчина роду Телепневых-Оболенских. Тут же и Шигоня, и

Михаил Глинский, дядя государыни, и Головины: Иван да Дмитрий Владимировичи, казначеи большой казны государевой, и многие другие.

Тихо, печально стоят ждут, пока приблизятся к ним подходящие к стенам городским огни и люди княжеского поезда.

Вот круг света от факелов, которые несут за больным, яркий этот круг слился на грани своей с кругом света, порождаемого факелами, которые держат в руках провожатые Елены. В сторону тихо отъезжают словно подплывающие в полутьме всадники, едущие впереди носилок; вот и самые носилки забелели на свету. А на них темнеет вытянутое, мощное тело великого князя.

Жив ли он еще?..

Этот вопрос молнией проносится в мозгу у всех.

Очень уж он неподвижно лежит.

Обок с носилками, держась рукой за их край, словно оберегая больного от неожиданных раскачиваний и толчков, идет с поникшей головой воевода Хабар Симский.

И у него глаза красны. От ветру, от слез ли — кто разберет? Благо, не светло очень.

— Жив? — с надеждой и тоской спрашивает тихо-тихо, почти беззвучно Елена у Симского.

А сама вся склонилась над носилками, впивается взором в страшно измененное лицо мужа.

Хабар делает ей утвердительный знак и в то же время движением руки советует сдержаться.

И, глотая, подавляя рыдания, подступающие к устам, Елена делает усилие, с улыбкой наклоняется над страдальцем и шепчет:

— Здрав буди, княже мой любимый. Что с тобой? Аль в пути недугу дали разойтись очень?

Но тут же она чувствует, что ее всю мутит: тяжелый, невыносимо резкий запах тления ударил ей в лицо. И непроизвольно подносит Елена к лицу руку, стараясь рукавом опушенного соболем охабня защитить себя от этой одуряющей волны неприятного, отталкивающего запаха.

Но тут же опомнясь, поднимает руку выше и, словно стирая слезы с глаз, опять опускает ее.

— А, ты здесь, голубка! — раскрывая глаза, произнес Василий. — Что, узнала? Не испугалась?.. А Ваня? А Юра? Здоровы?..

— Здесь Ваня... Вот... А Юру побоялась студить, младенчика...

И княгиня при этом указала на спящего первенца, которого Овчина поднес почти к самым носилкам.

Василий зашевелил ослабевшей рукою. Елена поняла движение. подхватила руку мужа, целуя ее на пути, и возложила на головку спящему княжичу.

— Да благословит тебя Господь, сын мой первородный, княжити и владети на многая лета.

— Многая лета!.. — словно гулкое, но негромкое эхо, подхватили все стоящие вокруг.

— Здесь ли отец митрополит?

Митрополит Даниил выступил вперед, ярко озаряемый красным огнем факелов, весь черный, с белым своим клобуком на голове, с пастырским, раздвоенным сверху посохом в руке, с четками на другой.

— Благослови, владыко! — стараясь лежа склонить голову к груди, произнес Василий.

— Во имя Отца и Сына и Духа Святого, сим животворящим Крестом благословляю тя, чадо, на телесное оздоровление и во искупление всех грехов...

И, приняв крест из рук у стоящего рядом архиерея, он осенил широким крестным знаменем больного.

— Аминь... — опять зарокотало людское эхо...

— Вот, спаси тебя Господь... Сразу словно легче стало... Чую, теперь доживу до утра... Увижу еще раз солнце красное... — пролепетал Василий. — А я было боялся...

Княжич Иван в это самое мгновение проснулся и от холода, проникавшего к нему за шейку, и от людского говора. Ведь у него в опочивальне тихо так ночью... Только и слышно: светильни в лампадах потрескивают да сам он ровно, тихо дышит... А тут совсем другое...

Оглянулся — испугался... уже заплакать готов... Вдруг увидал отца... Хотя и не часто и не подолгу приходилось занятому государю пестовать первенца, но любили они очень друг друга. И сразу рванулся княжич Иван к отцу:

— Тятя!..

Осторожно приблизил Овчина ребенка к лицу Василия. Пока тот пересохшими губами прикоснулся к волосам своего первенца, ребенок разглядел страшную перемену, происшедшую с князем, сразу отшатнулся от

отца, оглянувшись, увидел мамку Челяднину и так рванулся к ней, что чуть не выпустил его из рук князь Овчина.

— Мамка... мамушка... боюсь... Страшный тятя какой!.. — И зарыдал ребенок.

Быстро схватила Аграфена Челяднина на руки питомца, нежно прижала его к груди, стала пестовать, утешать и шептать:

— Помолчи, милый, желанный мой... Не надо... грех так... Болен тятя... Богу молиться надо... чтобы выздоровел... Вот так! Сложи ручки и скажи: «Отче наш...»

Ребенок понемногу утих и быстро снова заснул.

Великий князь, в душе которого больно отозвался искренний возглас неразумного ребенка, вздрогнул было, но осилил себя и снова заговорил:

— Агра-фена... помни... слушай, о чем в мой смертный час прошу и наказываю тебе... Богом клянись... и святым Распятием Его... И безгершной Кровью Христовой: береги и холити младенца, наследника моего... На пядь единую не отойти от него... Душу свою и себя загубить, смерти себя предать... но его от всякого лиха хранить и береги... Клянешься ли?

— Клянусь и крест на том целую! — положив руку на крест, протянутый Даниилом, а затем и прикладываясь к святыне, громко поклялась мамка, и так без ума любившая своего выкормка.

— Ладно. Верю. А вы, бояре, ближние, синклиты, стратеги и други мои... все клянитесь и крест целуйте на царство сыну моему первенцу, великому князю и царю всея Руси, Ивану Васильевичу...

— Клянемся и крест святой целуем на верность и царство великому князю и царю всея Руси, Ивану Васильевичу! — опять зарокотало людское эхо.

— А удел Юрия и прочее по царству как быть — о том воля моя писана... И княгиня великая опекой и обороной сыну моему до его лет пятнадцати... Клянитесь в том же... — с последними усилиями произнес Василий.

Повторно зарокотали глухие голоса слова присяги.

— Ладно. Крепко теперь будет. Братьев распрю какую затевать с княгиней и с княжичем али до спору не допускайте. Им своего довольно... Тебе, князь Михайло Глинский... Тебе, Шигоня... И тебе, Иван Юрьич, как

набольшие вы, с докладом по делам царским ко княгине ходить... Пока сам царь в свое государево дело не вступится... Вот и все пока... А теперь в терем... в палаты несите меня...

И, окончательно обессилев, Василий замолк.

Дрогнули носилки... Покрылись обнаженные было во время присяги головы... Колыхнулись конные... Двинулись пешие... Теперь уже по обе стороны носилок идут провожатые: справа — Симский Хабар, Шигоня, Михаил Глинский, Юрьев Михаил.

Слева — княгиня сама... Овчина позади нее... Головины тут же...

Аграфена с царевичем новоставленным, так и не проснувшимся, в сани крытые села и скорее во дворец поехала.

Гулко в морозном воздухе пронесся один удар с Фроловской далекой башни. Полчаса всего прошло. А как много за это время совершилось: новый царь, Иван Четвертый, Грозный по прозванию в грядущем, дан русской земле.

Десять дней в борьбе со смертью мучится Василий. Настало 3 декабря. С утра у постели больного великого князя, по его желанию, в большой палате собрался весь синклит боярский, думские и приказные и служилые воеводы и митрополит, а с ним духовенство знатное, высшее... И все близкие: братья, дядья, другие родичи царя... Полна палата... Окна, несмотря на мороз сильный, настежь раскрыты, ради духа тяжелого, что от больной ноги идет.

День в приказаниях, в увещаниях да в присяге прошел.

Ежечасно омовения и перевязки целебные делают теперь врачи... И ножом резали язву... И огнем прижигали, каленым железом... И острыми кислотами жгли — все напрасно. Поздно! Первые дни, в лесах, без хорошей помощи, все дело сгубили. Кровь уже загорелась. По всему телу пошли темные пятна — признаки тления заживо... Где под кожей жилы бегут — так и видно там омертвление... Поздно.

Василий это сознает, но спокоен. На вид, по крайности. Делает свои распоряжения. Заставил братьев и бояр и воевод присягу сыну Ивану повторить... Княжича в покой привели. К себе его царь поднести приказал. Поднявшись с трудом, благословил его на царство

крестом Петра Чудотворца и крестом Мономашьим. для которого взят кусок от Древа Господня.

— Буди на тебе и детях твоих милость Божья из рода в род, святые два креста да принесут тебе на врагов одоление... И все кресты, и царства, и державы мои — тебе, сын мой и наследник, отдаю!..

Увели ребенка.

Духовенство готовит посвящение во схиму умирающего государя.

У ложа его братья теперь остались, великая княгиня Елена и бояре ближние.

— Сына старшего благословил ты, государь. Благослови же Юрия! — горячо просит великая княгиня. — Челом тебе бью о том, государь!..

Небольшим уделом: Угличем и Полем, двумя городами всего, — благословил малютку Василий. Не любит он Юрия.

Рыдает растроганная Елена, сдерживая вопли. Но государь словно и не слышит ничего. Молит и заклиняет обоих братьев слабым, рвущимся голосом:

— Братья, храните свято присягу великую... Не зовите беды на Русь... на самих себя! Вспомните времена Шемяки окаянного... Недавно еще бывало все!.. По правде каждый своим володей и в чужое не вступайся... Такова правда Божия. Ежели и грешил я в том, тяжко Милосердный теперь карает меня. Его Святая воля.

— Полно, брате! Клялись ведь мы! — успокаивают его братья.

— Ин, ладно... Верю вам... А ты бы, князь Михайло Глинский, — передохнув немного, сказал он, обращаясь к дяде Елениному, — ты за моего сына, великого князя Ивана, за мою княгиню родную тебе... и за сына моего, княжича Юрия, кровь бы свою пролил!.. Тело бы свое на раздробленье дал...

Поникнул молча головой старый Глинский.

— Слушай, жена... Перестань... — обращаясь к жене и боярам, продолжал князь. — Дело буду говорить... Успеешь наплакаться на поминках еще... Бояр береги, слушай советов их — и они тебя оберегут. Сама своего ума не теряй, что́ на пользу Ване увидишь. А все же советов проси... Город я укрепил... Наполовину дубовым от батюшки принял, белокаменным его сыну сдаю. Сама покуда, — и он потом, — мастеров за-



морских вы к себе маните, крепите и украшаете город... Да и посадки тож... Особливо торговый. Торговыми людьми, как и ратными, земля крепка. Эх, рано смерть идет... Задумано-почато дело у меня... Стены там круг посадов, как и круг города, такие ж поставити... Шигоня, ты знаешь... Митя... — обращаясь к Головину, сказал он, — у тебя столбцы все: столько на что серебра потребно... Скажешь... А то бы никто на свете Москве не страшен был за четверной каменной стеной, за молитвами угодников Божьих... Да и звоницу мою новую, великую, что в прошлый год я закладывал, — довершите... на помин души моей... Колокола тамо есть знатные... Вон Фрязинский в полтыщи пуд... Да в тыщу пуд его же... Недаром пусть наш град стольный, аки третий и непреходящий вовеки царственный град Рим, ото всех стран, ото всех народов православных почитается... Вырастет сын — попомните ему эти слова мои... Да, на «берег...», на́ «берег царства»<sup>1</sup>, на Оку, добрых воевод посылать... И сторожу... Да... еще...

Но тут забытье овладело больным... Елену с детьми увели... Пора посхимить умирающего. Явились попы и митрополит для свершения обряда. Всю ночь они так и не уходят из дворца. Принесли переманашку, рясу... Возложили на Василия... Творят молебны.

Уже началось моление, когда Василий очнулся... У него Евангелие и схима на груди. Рад государь!.. Умрет иноком.

— Время сколько? — спросил он.

— Четвертый скоро! — отвечал кто-то. — Гляди, к заутреням скоро ударят.

— А... ныне отпускаеши!.. Одиннадцатой заутрени не услышу я... — залепетал слабеющими устами Василий.

Перекреститься хочет — рука отнялась... Шигоня поднял ему руку, и Василий перекрестился.

Через полчаса его не стало.

Пока плакальщицы и богомолки выли и голосили, чуть княгиню не потревожили, на миг уснувшую, — в это время митрополит сам омыл тело царя и, облачив, уложили Василия на возвышении в соборе. Под заут-

---

<sup>1</sup> Ока, пограничная со степью кочевой река, звалась «берегом» царства.

ный звон колоколов еще до рассвета потянулся народ без конца к соборному храму Пречистыя Богородицы, что в Кремле.

Здесь же, на площади, как разноцветные волны, колебались утром 4 декабря ряды полков княжих в разноцветных кафтанах. Белое знамя передовому полку и хоругвь белая... А там — и зеленые, и пурпурные, и лазоревого цвета хоругви и кафтаны, колпаки блестящие... На хоругвях — и иконы, чудно вышитые, и орел византийский, приданое Софии Палеолог, матери Василия Ивановича... И драконы огнистые, и всякие страшила... Стройно подходят и равняются полки...

Рынды в собор прошли, словно снегом блестящим облиты, в кафтанах парчовых, белых, с топориками...

На царское место, на помост пурпурный, поставил митрополит младенца Ивана Васильевича. Стоит он, личиком побелел, глаза темные широко раскрыты, словно в испуге. Все на мать да на мамку Аграфену оглядывается... Тут же обе стоят... Кивают ему, улыбаются, чтобы не плакал... А у самих слезы в глазах.

Подходит митрополит... Причт весь соборный и кремлевский главный тут же... Бояре... христиане православные... Торжественно осеняет митрополит Даниил крестом младенца-царя и произносит громко, отдельно:

— Бог, Держатель мира, благословляет своей милостью тебя, по воле родителя усопшего твоего, государь, князь великий Иван Васильевич, володимирский, московский, новгородский, псковский, тверской, югорский, пермский, болгарский, смоленский и иных земель многих, царь и государь всея Руси! Добр, здоров будь на великом княжении, на столе отца своего.

И он приложил холодный крест к пунцовым горячим губкам ребенка.

В то же мгновение многоголосый, стройный хор грянул, словно сонм ангелов: «Многая лета...» К детским звонким голосам присоединились гудящие октавы голосов... Стекла задрожали, огни замерцали в панникадилах.

Царь-ребенок окончательно растерялся... А тут бесконечной вереницей потянулись разные люди, все такие нарядные, в парче да в рытом бархате... и здравствуют ему на царстве... Челом бьют, руку целуют... И складывают к его ногам и меха, и сосуды кованые, и ларцы, и

одежды богатые... кто что может. Еле успевают при-служники уносить вороха мехов и груды драгоценных вещей... Уж ребенок еле стоит... Великая княгиня тут же... И Аграфена-мамушка... И Овчина, которого он так любит... Стал боярин перед ним, сбоку немного, на колено, словно поддерживает царя... А сам попросту посадил его к себе на колено. Теперь легче, удобней Ивану... Только устал ребенок... От массы впечатлений, красок и лиц, от огней ярких в глазах рябит, они слипаются.

— Не спи, постой еще, миленький... Недолго уж... — говорит ему мать.

— погоди, желанный... не спи... Вот леденчик!.. — шепчет мамка Аграфена и сует что-то в руку...

Но он уже дремлет на коленях у дяди Вани, склонясь головкой к широкой груди его...

А из ворот Москвы первопрестольной, третьего Рима названного, скажут во все стороны царства гонцы и бирючи: присягу отбирать да и клич кликать, что воцарился на Руси великий князь и царь ее, Иван Четвертый по ряду, Васильевич отчеством, Грозный по прозванию в грядущем.

*Год 7044 (1536), 9 января*

У юного царя Ивана в Столовой палате боярский совет собрался: о казанских делах ряда идет.

Недобрые вести из Казани пришли. Джан-Алихан сын Кассаев, верный друг и подручник царей московских, убит.

Крымчак Сафа-Гирей, заведомый и давний враг Руси, брат еще раньше сверженного нами хана Казанского Магмет-Амина, занял престол. Значит, по весне жди уж если не войны, так разбою с той стороны, с Булака да с Казанки-реки. Плохая речушка, сиротская, а столько из-за нее русской крови пролито и татарской, что можно бы всю ее полным-полно налить, да еще и прольется немало!

Первые вести о делах казанских из Касимова-городка пришли. Недаром цари московские, великие князья и хозяева всей Руси, поставили Касимов-городок, словно на страже, на самом «берегу» царства, на Оке-реке, в Мещерской земле.

«Ворон ворону глаз не клюет!» — говорит послови-

ца. Да, только к татарину оно не относится. Самые лютые враги они друг другу.

Улус с улусом, бек с беком враждуют. А ханы и султаны не то своих же подданных, простых татар, братьев и сестер родных, отца и мать режут, если приходится за богатство, за власть поспорить.

«Око за око!» — вот их закон. Кровавая родовая месть так страшит каждого, что, убив одного человека из рода, властитель торопится убить, извести весь род до последнего зерна, опасаясь отмщения.

Если же пощадит кого, сам потом покается.

Это испытал и хан Еналей, как называли попросту хана Джан-Али на Москве.

Как только вести о казанских делах дошли до родственного Казани Касимова, сейчас же свела о них и Москва, осенью 1535 года, когда убили Еналея.

Много от Москвы в Касимове тайных и явных слуг, дьяков, приставов... И ратных людей, стрельцов, казаков немало. Но первую весть подал татарин-касимовец Юнус-Бек, один из ближних советников царька касимовского хана Шиг-Алея Нур-Девлетова сына.

— Нельзя, надо поторопиться!.. — подумал Юнус. — Русские деньги — хорошие деньги! А тут их можно без крови много получить!..

И сам поскакал налегке татарин.

Еще за ним потом вестовщики отправились по знакомой широкой дороге к Волоку-Ламскому...

Да Юнус-Бек бывалый старик. Первый поспел...

И прямо знал, куда кинуться, к Ивану Федоровичу к Оболенскому-Овчине пришел.

— Важнай дело есть! — в пояс поклонившись боярину, объявил Юнус хотя и ломаным, но понятным русским языкам.

Много лет с Москвой водясь, денежки русские получая, и говору русскому выучился татарин.

— Говори: какое важное дело?.. — поглаживая бороду, спросил красавец боярин.

— Четыре пятниц нет, как Джан-Али хану в Казан «секим башка» делали, как баран резали!

— Еналея убили? Врешь, Юнуска! Быть того не может! Как же? А наши стрельцы?.. Пищальники? Они чего глядели?.. Отчего вестей нет?..

— Никакой вести не будит! Харашо дела делали! Сам хан виноват! Магмет-Амина хана сестру, Арзад-

салтанэ, живою оставил... Сумела баба обойти хана!.. Она все и устроил!.. Ночью патихонька иму горла резал, никто не слыхал... И всех тваих казаков захватил... Напайл их харашо!.. Буза давал... Кумишка давал... Типерь — ани в яме сидят... Выручать их придется...

— Да ты же откуда узнал? Кто помогал хитрой твари? Не сама же она, царевна эта ваша?.. Горшадка самая?

— Ну, канечно, не сам... баба только за брат свой помстила. Закон у нас такой. А сама баба на ханство ни может садиться... Из Крым Сафа-Гирей султан близко Казан сидел, слово одно ждал... Он типерь хан казанский стал. Ему Арзад-салтанэ вести прислал...

— Крымчак Сафа?.. Гм, для нас это не очень гоже... Ну, да пождем: какие еще вести будут. А тебе за верную службу спасибо, Юнус! Царского жалованья, великокняжеского, жди себе за правду и дружбу крепкую...

И, опустив Юнуса, князь Овчина-Телепнев прошел к правительнице.

Выслушав его, она задумалась.

— К добру или к худу оно для князя нашего малого? Скорей к худу; как думаешь, Ваня?

— Нет худа без добра, княгинюшка. Не наша то беда, чужая... Авось ее руками разведем!.. Есть у меня догадка одна... Да еще соберем наших бояр. Что седые бороды скажут?..

— Да, надо побеседовать... Покойник мой говаривал: «На татарина — два татарина высылай, пусть грызутся, а нам — барыш...» И всегда по его слову бывало. Поглядим, что ныне станется?.. А я, правду молвить тебе, больно за сына боюсь... Поневоле старик вспоминается... Он уж всю повадку государскую знал. Что нам теперь и боярам приходится думу думать, а он, бывало, утром встал и говорит мне порой: «Аленушка, помнишь: дело вчерась меня досадило мудреное... А я во сне и надумал: как с ним быть... Да почище совету Шигонину!» И правда: так все рассудит, что и бояре диву даются. Так как же, свет ты мой Ваня, такого хозяина не вспомнить! Не в любви тут дело... Сам ты знаешь...

После этих слов, уже порасправив брови, вышел главный боярин, думу на совет созывать велел.

Первая дума была — вестей ждать побольше, повернее.

И, правда, вести скоро пришли.

С самой Волги, от Казани казаки подъехали из стражи Джан-Алиевой, те, которым убежать привелось.

Еще татары городецкие, касимовские пришли...

И вести привезли не плохие. Может, правда, худа без добра не будет... «Лишняя свара в Казани — лишняя свая в Москве!..» Не мимо говорится это слово.

Не все беки, уздени и другие улусники пристали к царевичу крымскому, севшему на трон.

Половина почти царства, половина юрта Казанского отделилась. Иным дороги были «поминки» — подарочки богатые московские, которыми награждали щедро великие князья своих сторонников, иные из кровной и поместной вражды не хотели мириться с новым ханом и его новыми приближенными людьми.

— Приезжали к нам, — говорил один седой, чубатый казак с Вольского городища, — приезжали казанские люди, знатные и простые... И бики, князья ихние... И просто мурзы, люди ратные, не черной породы, а получше которых... Всех — человек шестьдесят прискакивало. Говорят: «Дома еще таких наших боле, чем четыре сотни, своей поры да времени ждут... Не хотим Сафая... Чужак он... Вот имена свои сказываем и рукобитье Москве даем и князю вашему великому, Ивану Васильеву. У него жив, мы слыхали, брат Аналеев, Шигалей!.. Пусть того царевича прирожденного, казанского, нам на ханство вернет... А Сафая, Крымчака — не надобно!» Про присягу еще говорили, что жалованье господарское, какое им шло от покойного князя господина Василия Ивановича. И от нашего княжати Ивана Васильевича, милостью Божьей... Видимо, не врут татарове, вправду Шигалея хотят... Вот еще что мне сказать велели мурзы и бики: «Знаем мы: вина-измена на Шигалее супротив Москвы великая. Да пусть государь бы хана нашего пожаловал, вину ему простил, на Москву бы к себе из места ссыльного быть повелел! Тогда все мы, и с родичами, за него, за Шигалея, станем, вон из Казани Крымчака погоним!..» Вот, бояре, как мурзы да посланцы нам ихние сказывали и перенести вам велели! — закончил свои речи старый казак, умолк и стал степенно гладить седой ус, ожидая, что ему дальше скажут.

Отпустили его. Он поклонился и вон пошел.

Дальнейшие все вести на одно сходились. Посланцы

и свои, и татарские одинаково подтверждали, что полцарства за Шиг-Алея стоит.

Потолковали старшие бояре: Мстиславские, Глинские, Бельские и Шуйские тут же.

Позвали и царевича казанского крещеного Петра Абрамовича, или Худайкулу Кайбуловича, как его до крещения звали.

Крестил Петра Василий Иванович, великий князь, да женил на сестре родной, на Евдокии... И не было слуги другого вернее у Москвы, чем царевич этот казанский Петр Абрамович... Брат его, Шиг-Алей, забывал порой милости русские, изменяя, делал по-своему или как учили его татары.

А Петр только о благе Москвы и думал. И так верил ему Василий, что, уходя в 1522 году на войну, Петра вместо себя правителем на Москве поставил, власть ему свою сдал над царством надо всем!..

Подумал Петр, покачал головой и сказал:

— Правду мурзы и беки говорят. Вся их надежда на брата Шиг-Алея. Я вот по именам ихним вижу: все такие улусники брата зовут, которых Сафа-Гирей не потерпит, которые с ним хлеба не вкусят, кумысу пить не станут!.. Надо брата звать из Белоозера... Не для него — для Москвы, для князя великого на пользу. Шиг-Алей в Москве будет, — большую опору тогда все в Казани получают, кто против Сафа-Гирея стоит. А бояться Москве Шиг-Алея теперь нечего. Он теперь видел, как Москва сильна! Побоятся вперед лукавым обычаем жить... Вот мой совет.

Подумали бояре и согласились:

— Самая пора новый уголок под казанские стены подложить. С Литвой война ослабела... Саин-Гирей крымский с турским салтаном тягается; с Ислам-Гиреем, братом своим, тоже спор ведет, не будет у него много силы любимого брата, Сафа-Гирея, на Казани подпереть! А мы тут Шигалея и натравим на Крымчака!.. Пусть грызутся... Двое грызутся — третьему корысть, старое слово сказано.

В декабре уж Шиг-Алей был переведен из Белоозерского своего заточенья в Москву.

Бил челом малолетнему князю прощенный изменник, Шиг-Алей хан, принят, обласкан был.

Уходя стал просить:

— Государь великий князь! Позволь увидеть очи

светлые княгини матушки твоей! И мне, и царице Фотиме, главной кадине, жене моей!..

Заморгал глазками ребенок-царь, когда услышал просьбу. Все заранее ему растолковали: как принять толстого этого татарина, как здороваться, где посадить, что сказать.

А про матушку ничего не сказано.

— Матушку повидать? Княгиню великую?.. — переспросил он и запнулся. Знает, что каждое его слово важную силу имеет и нельзя слова зря промолвить.

Шесть лет — седьмой годок пошел великому князю. Рослый, смысленный он. А теперь в тупик стал.

Зато Овчина Иван Федорович тут как тут. Перешепнулся он с кем след и шепчет царю Ивану малолетнему:

— Ты бы, государь, пожаловал, — сказал царю Шигалею, что матушку нынче ж спросишь... Как ее воля и обычай господарский будет.

— Как матушкина воля и обычай господарский будет!.. — звонким голосом повторил Иван-царь. — А я нынче ж матушку, княгиню великую, попрошаю, а на чести — спасибо! — от себя уж добавил мальчик. — Прости, брат наш, царь Шигалей! Иди с Богом!.. А жалеем мы тебя на прибытии еще шубой с нашего плеча!..

И отпустил Шиг-Алея хана на подворье, где тот был помещен со всей его челядью.

Было это 7 декабря. 10-го Елена с боярами совет держала.

— А что же, княгиня-матушка, хоть и не в обычае княгинюшкам у нас бояр да царей принимать, да наш-то царь, гляди, как ни разумен, а больно юн еще, продли, Господь, ему лет и здоровья!.. Ты у нас всему делу голова, словно матка в улье... Тебе и царя Шигалея принять вместно! И кидыню его, Фотьму-царицу. Особенно если добрые вести для хана из Казани будут. Еще малость подождем: до новых вестей.

Эти вести скоро пришли. И через месяц, 9 января 1536 года, состоялся прием.

С полуночи почти начались сборы, приборы да возня на половине у княгини великой.

Кажется, все чисто да хорошо да богато.

Нет, еще чего-то не хватает... Да не забыто ль что из кушанья да из поминков... да по обиходу? Ближние



боярыни просто с ног сбились. Сами себя подхлестывают:

— Татарская царица в гости припожалует, Фотья казанская. У себя, поди, на сальных тахатах валяется... А тут все повысмотрит. Потом на Казани пересмеивать будет, скажет: «Ай да боярыни московские! Княгине великой служить не умеют!»

И с ног просто сбились бедные, чтобы лицом в грязь перед татаркой не ударить!

Рано, еще едва брезжило по зимнему времени, только ранняя обедня отошла, вершники подскакали к крыльцу.

— Царь пресветлый казанский Шигалей к ее царскому здоровью, великой княгине Елене, на поклон жалует.

Все зашевелилось в новом обширном дворце, недавно еще покойным государем Василием отстроенном.

Люди высыпали на крыльцо и у крыльца сгрудились.

Впереди всех, в высоких шапках, в шубах дорогих, с посохами в руках два боярина набольших: первым князь Василий Васильевич Шуйский, что на двоюродной сестре самого царя Ивана женат, на Настасье, дочери Петра Абрамовича, и вторым, конечно, сам Иван Федорович Оболенский-Овчина-Телепнев. Два думных дьяка за ними стоят, важные, толстые. Только зорко вокруг поглядывают: нет ли где беспорядка, нестроения?

Но все хорошо.

Стража стоит в ряд... Народу немного, а все-таки собралась толпа постепенно.

Кто из церкви идет, кто на рынок спешит... И оставливаются. Особливо бабы. А иные нарочно пришли. Услыхали от кого из дворцовых, что нынче казанский царь матушке великой княгине приедет челом бить, да потом и женка его... Вот и собрались, стоят чинно поодаль от крыльца, ждут-дожидаются. Только руками хлопывают, с ноги на ногу перескакивают: морозец утом больно лют!

Вот, окруженные мурзаками и казаками, показались сани большие, широкие, коврами и мехами устланные; в санях важно так сидит, величается нареченный казанский царь.

Дрогнула толпа!.. Вперед все подались: каждому поближе на татарина взглянуть хочется.

С бердышами, с пищалями стражники, расставленные у самого крыльца, осаживают народ, не дают порядка нарушить.

Остановились сани. С трудом вылазит из них Шиг-Алей. Высокий, грузный, хоть и не стар еще, а медлителен, ленив в каждом движении...

Отвесив поясные поклоны по уставу, Шуйский и Овчина приняли царя:

— Мир тебе, господине, царь казанский Шигалей!.. В час благой добро пожаловать!..

Дьяк один по-татарски передал привет царю от бояр.

— И с вами мир! Да благословит этот день Аллах Милосердный!.. — отвечал царь и, поддерживаемый под руку боярами, ступил на крыльцо.

За ним его два ближних советника: почтенные, важные татары с подстриженной бородой, с ногтями, выкрашенными в красновато-коричневый оттенок особенной краской, «хна» — по-ихнему.

Чинно все поднялись по ступеням. В сени в первые вступили. Тут хана встретил сам царь-малютка, окруженный боярами. И дьяк царский тут, и пристав посольский, который татарскую речь хорошо знает. И казначей Головин, Владимир Васильевич, ближний боярин, тут же. На всякий случай: может быть, пожалуют чем гостя? Так чтобы казначей мог записать и выдачу сделать.

Низко поклонился царственный гость державному юному хозяину. Пальцами пухлой, жирной, не совсем опрятной руки коснулся до пола, потом ко лбу ладонь прижал и к сердцу.

— Салам алейкум! (Мир с тобой!)

— Алекум-селям! И с тобою мир! — учтиво отвечал Иван, кланяясь гостю, затем подошел к нему, и оба взялись за руки. Крохотные ручки царя так и потонули в подушкообразных руках Шиг-Алея-хана.

После обмена приветствиями царь-ребенок двинулся вперед, указывая дорогу гостю.

Идет и так рад, так горд малютка.

Ради гостя-хана разрядили его на славу просто, хотя и постоянно рядит своего царечка княгиня Елена, словно куколку.

Терлик на Иване горит-переливается, жемчугами убран по борту, лаллами индийскими и шнурами с кистями золотыми. Шапочка невысокая, соболем опушен-

ная, вся камнями самоцветными разубрана, а посредине, где дрожит-горит султанчик из перьев дорогих, у райской птицы снятых, бриллиантками осыпанных, там внизу, на темном фоне меха, огнем пурпурным сверкает редкий рубин. Рубашечка шелку самого лучшего, из-под коротких рукавов терлика да на вороте выглядывает. Пуговицы на ней тоже жемчуга, лаллы крупные.

Из-под длинных пол терлика видны мягкие, разными узорами тисненные сапожки сафьяна турецкого, с медными подковками на каблучках.

И так бойко выстукивает малолетний царь этими подковками, ведя гостя по сеням и переходам в палату разубранную, где ждет их великая княгиня Елена.

У последних дверей приостановились все.

Двери распахнулись, приподнялись тяжелые ковры. Иван первый прошел и занял свое место по левой руке от трона матери, стоявшего среди горницы, у задней стены ее. Для «береженья» по бокам князя два боярина с оружием стоят. И рынды тут же. У самого сиденья великой княгини и князя стоят боярыни, разряженные, в киках дорогих, причем жемчужные сетки-подниси ниспадают до самых бровей, черно-начерно подведенных. И глаза у всех подведены, и щеки густо, явственно нарумянены, по обычаю. А толстый слой белил покрывает все лицо и открытую часть шеи у всех: у старых и молодых, у красивых и безобразных.

Сквозь ниспадающие складки полупрозрачной опущенной фаты словно грубо намалеванные, а не живые, выглядят женские лица.

По стенам, на лавках, уселись, по чинам и знатности рода своего, бояре, думцы, дети боярские, дьяки.

Пристава посольские и приказные и другие — тоже здесь поодаль стоят. Совсем как на приеме большом у великого князя. Полную почесть будущему союзнику и хану казанскому пожелала великая княгиня оказать, по совету боярскому. И темные, загорелые лица мужчин, примасленные прически, не совсем аккуратно приглаженные у иных, словно слегка взъерошенные бороды и усы, — все эти живые, мужественные, смиренно сидящие, но, очевидно, очень напряженные люди представляют удивительно сильный контраст с застывшими фигурами и намалеванными лицами боярынь, стоящих словно ряд раскрашенных буддийских изваяний.

Медленно передвигая толстыми ногами своими, обу-тыми в мягкие чувяки, подошел хан Шиг-Алей и остановился шагах в трех-четырех от царского места. Вот осторожно стал он склоняться на колени, чтобы бить челом Елене, как полагается. Видно, и непривычно тяжело самовластному хану проделывать это, да ничего не поможет: сила солому ломит.

Поднявшись после земного поклона с помощью двух приставов, он отер свое потное, побагровелое от усилий лицо и огляделся немного.

Два советника ханских, быстро и ловко проделав земное метание, стоят сзади, отступя еще шагов на пять, и сложили руки на груди. Лица бесстрастные, словно окаменели.

Десятки взоров устремлены на хана. Ждут, что он говорить начнет? Дьяк приготовил прибор свой; писать собирается, в большую царскую книгу внесет все, что сказано и сделано будет в этот знаменательный день.

Жарко в палате, хотя и велика она, особенно по сравнению с покоями казанского и касимовского ханских дворцов.

Люстры медные, чеканенные, вроде паникадил церковных, висят с полусводов и сверкают огнями зажженных восковых, в разные цвета окрашенных, свечей.

Лампады, словно звездочки, теплятся в переднем углу перед божницей, заставленной темными ликами святых в чеканных золотых, серебряных и в бархатных окладах. Последние — сплошь залиты, ушиты и жемчугами, и алмазами, и камнями самоцветными.

— Богата Москва! — думает татарин. — Вон на стену какие тысячи навешаны!.. Сильна Москва! — думает он. — Я, хан, потомок царей Золотой Орды, могучих на свете владык, должен вот женщине, литвинке полоненной, в ноги кланяться! Когда у нас каждый правоверный, только встанет утром, и Аллаха благодарит: «Велик Аллах, что не создал меня женщиной!» Да, плохие времена пришли...

И, думая в душе все это, раскрывает хан Шиг-Алей свои толстые, полуотвислые губы и мягким, льстивым голосом начинает говорить давно заученную, покорную речь свою.

Пристав посольского приказа восточного переводит слова хана, дьяк их записывает.

Почти то же повторяет татарин, что месяц тому назад, стоя вдобавок на коленях, говорил он вот этому шестилетнему ребенку, в котором сейчас олицетворена вся мощь великого московского царства.

Вот что говорит Шиг-Алей:

— Государыня, великая княгиня Елена! Взял меня государь мой, князь Василий Иванович, молодого, пожаловал меня, вскормил, как детинку малого...

— Как щенка! — переводит усердный пристав.

Оба советника, стоявшие за ханом, да и сам он поняли унижительную неточность перевода и бровью даже не повели.

Первые два стоят совсем как живые изваяния. Хан тягуче, бесстрастным и сладким голосом дальше речь говорит. И все три думают:

— Потешайтесь, гяуры! Величайте себя, унижайте ислам! Будет и на нашей улице праздник!..

И дальше говорит Шиг-Алей-хан, претендент на корону казанскую:

— Жалованьем меня своим великим князь пожаловал, как отец сына, и на Казани меня царем посадил, подмогу давал и казной и силой ратною. Но, по грехам моим, в Казани пришла в князьях и людях казанских несогласица. Меня с Казани сослали, и я сызнова к государю моему на Москву пришел, молодой и мало-мощный; государь меня снова пожаловал, города давал в своей земле. А я грехом своим ему изменил и во всех своих делах перед государем повiniлся гордостным своим умом и лукавым помыслом! Тогда бог, Аллах всемогущий, меня выдал, и государь князь Василий Иванович меня за мое преступление наказал! Опалу свою положил, смиряя меня. А теперь вы, государи мои, великий князь да княгиня-государыня, меня, слугу своего...

— Холопа своего! — опять умышленно неточно переводит усердный пристав.

— Слугу своего, — продолжает хан, — пожаловали, проступку мою мне отдали, меня, слугу своего, пощадили и очи свои государские дали мне видеть. А я, слуга ваш, как вам теперь клятву даю, так по этой своей присяге до смерти своей крепко хочу стоять и умереть за ваше государское жалованье, как брат мой Джан-Али умер, чтобы вины все свои загладить!

И, положив руку на свиток Корана, который под-

несли хану оба советника, Шиг-Алей громко произнес формулу присяги.

— Присягнул татарин, може, не совет? — шепнул Морозов князю Александру Горбатову-Суздальскому.

— А и совет, недорого возьмет! — отвечал воевода боярину. — Да ничего, тогда тесаками разочтемся!..

После легкого шелеста и ропота, который пробежал в палате, когда окончил присягу хан, снова воцарилось мертвое молчание.

Заговорила княгиня Елена.

Сейчас же юный царь Иван впился глазами в нее, ожидая, что скажет матушка? — хоть и раньше знал, какова будет речь.

А до того, пока сладким, тягучим голосом говорил Шиг-Алей, Иван глядел и думал:

«Батюшки, какой же это царь? Баба совсем! Толстый, губы отвислые... Жирный-жирный такой, словно боров у матушки откормленный... Большой, чай, много лет ему, а и бороды не видать... И усы мочалкой. Далеко не то, что у моих бояр, даже молодых... Да и у меня, когда вырасту, будет большая борода, вон как у Овчины!.. Кудрявая... И на колени я ни перед кем не встану... Тогда все цари придут и передо мной на колени становиться станут... Вон как перед Соломоном-царем... что мне показывал дядька в книжице...»

И важно сидевший мальчик еще надменной откинул кудрявую головку свою. Даже бровки принахмурил, словно видя перед собой покоренную и покорную вереницу подвластных царей.

Но стоило заговорить матери, и личико ребенка все просияло, блестящие, смышленные глазки так и впились в красиво очерченные губы княгини Елены, ловя каждый слетающий с них звук.

— Царь Шигалей! — заговорила Елена, повторяя тоже заученную, заранее составленную речь. — Великий князь Василь Иванович опалу свою на тебя положил, а сын наш и мы пожаловали тебя юности твоей ради. Милость свою показали и очи свои дали тебе видеть. Так ты теперь прежнее свое забывай и вперед делай так, как обещался. А мы будем великое жалованье и бережение к тебе держать. Мир тебе в дому и в земле нашей!..

Выслушав речь, снова земно поклонился хан княгине и царю-ребенку и занял приготовленное для него

место, по правую руку от княгини, на первой лавке, впереди всех бояр и князей.

Хоть и татарин, да царь прирожденный, так ему и честь.

Принесли тут богатые «поминки», которыми княгиня и Иван дарили хана.

На подушке шуба, бархат «бурской», ворсистый, словно плюш теперешний, на соболях вся, «земли» большие, с узорами ткань, шелк «червчат да зелен»... цена тогда семьдесят рублей, а теперь бы и вся тысяча... Кубок серебряный, двойной, золоченый, цена тридцать пять рублей, то есть пятьсот нынешних... Камка бурская, разные шелки с золотом, с узорами затканными, камки венецианские, червчатые, что из Венецианской земли купцы-сурожане, итальянцы иначе, привозят... Тут же и «портище», отрез сукна на шальвары, scarlatu червчатого, мерой в четыре аршина, и постав сукна мужского, червчатого, и сорок соболей, как водится, благо, всего двадцать пять рублей они тогда стоили. Да на золоченом блюде двое приставов кучу золотых денег подают: тысяча алтын всего или тридцать рублей. Сума по времени великая!

Щедро, богато одарили хана за покорность, за слова его умильные.

Кончилась церемония. Домой на подворье Шиг-Алей собирается. Подарки все уже погружены на подводу, вперед отправлены под крепким караулом.

Прощаются хозяева с гостем.

И говорит Елена:

— А что хотела кидыня твоя набольшая Фотьмасалтанэ очи наши видеть, — и то мы дозволяем. Нынче к обедам пусть жалует...

Поклонился хан еще раз, поблагодарив за все, грузно в сани ввалился, сопровождаемый до них первыми боярами, и тронулись застоявшиеся кони. Невесел едет домой обласканный, одаренный хан.

А кажется: с чего бы?

Оставшиеся в палате бояре, пользуясь тем, что княгиня с Иваном вышли, шутят:

— Пустили мы нынче воробья под застреху казанскую... Он там пожару поразведет не хуже, чем в Коростень-городе!

— Воробья?.. Индюка разве, вернее будет молвить. Ишь, сытый какой!..

— Гладкой татарин!.. И больно, сказывали, ихних жен обижают! Его за то из Казани и выгнали... Ни простых, ни знати не щадил. Татарва и вскинулась, и погнали его.

— Поделом: не озорничай... А на войне, толкуют, сам словно баба: за окопы да за спины чужие рад прятаться... Какой он царь?..

— Самый такой, какой для Москвы у казанцев и надобен! — вмешался в разговор князь Василий Шуйский. — Ну, да будет зубы чесать... Вон княгиня жалуется. Значит, царица подъезжать изволит, Фотьма-салтанэ. По местам, бояре!..

И на самом деле на площади перед дворцом показался поезд царицы казанской, старшей жены Шиг-Алея, ханши Фотьмы-салтанэ.

Так же принята была царица, как и хан, супруг ее. Только в сенях сама княгиня гостью встречала.

В палату вошли. Там все по старым местам уселись. Фотьму-салтанэ на ее особое место, рядом с княгиней, усадили, на возвышении. Тогда в палате и юный царь Иван со своими боярами появился.

Встала царица с места своего, сошла навстречу государю. Низко поклонилась:

— Салам-алейкюм!..

— Табук-селям! — зардевшись, отвечал отрок и трижды облобызался с гостьей, как учили его.

Потом сел на свое место, между княгиней и царицей, по правую руку от последней.

— Какой красавец наш царь! — с искренним восхищением отозвалась Фотьма. — На тебя схож, княгиня: и глаза такие... и губы... Как луна на небе, — такое чудное дите тебе Аллах послал!..

Княгиня приветливо улыбнулась, закивала царице, поняв речь ее даже раньше, чем толмач перевел. Дрогнуло от гордости сердце матери.

— Благодарение Господу! Наградил он меня в сыне моем не по заслугам! Да спасет мне его Господь навеки!.. И тебе спасибо на добром слове, царица. Хлеба-соли откусать прошу!.. И я, и сын мой!

Перешли все в столовую палату.

Царица, княгиня и царь Иван за особым столом сели. Прочли молитву. Стали блюда подавать... Тут же, в стороне монахи сидят, среди тишины, царящей во время трапезы, читает житие, какое на этот день приходится.



Кончилась трапеза; царю подали руки омыть. И княгине, и царице татарской — тоже.

Здравицы князя великого Ивана, и княгини Елены, и гостьи-царицы пили. Не забыли и мужа ее отсутствующего, Шиг-Алея.

На загладку сама княгиня гостье чашу поднесла, не с вином — с медом сладким, на «мушкате» сыченном. Мед просила выкушать и у себя на память оставить чашу.

И, кроме того, много подарков дорогих увезла в колымаге своей татарская царица, из гостей уезжая домой.

Казначей Головин, дневную запись расхода проглядев, только в затылке почесал.

Заметил это Шуйский и говорит:

— Не тужи, Владимир! Нонешние «поминки» наши Казань будет помнить... с годами, по времени вдесятеро отдаст...

И не ошибся старый, умный боярин.

Усталые, но довольные расходились бояре.

Усталая Елена, уходя на покой, крепко расцеловала сына.

— Умник ты у меня нынче был, Ваня! Настоящий царь!..

И, сдав сына дядькам, ушла.

— Настоящий царь! — шептал, засыпая, Иван.

И чудные сны грезились в эту ночь ребенку.

Ликовала и Елена.

Русь крепла у всех на глазах. По завещанию князя Василия, каменной стеной, в пять верст длиною, обвели Белый, или Китай-город. На окраинах восточных, откуда кочевые орды шли, там новые, крепкие городки, а то и целые города поставлены... Подати да оброки людские не прибавлены, а убавлены. Людей больше стало, а трата меньше пошла.

Суд правый наряжать решили бояре, обидчиков-воевод и наместников сократить, чтобы народу легче вздохнулось... Денежная неурядица тоже наладилась. Со всего царства собиралась монета серебряная, резаная, легковесная, порченная. С «копьем» стали серебро в гривенки чеканить. Сидит на коне великий князь с копьем в руке. И те новые гривенки полновесные везде пошли и копейными называют. Не стало брани и драки по торгам из-за того, что вместо трех полных рублей полтора их только в гривенке. А весом новая

«копейка» тяжелее, выгодней даже прежней... Рад торговый люд.

А кто, по лихости, резаной, старой деньгой промышлял или поддельные гривны сбывал, тех казнили нещадно, олово расплавленное в горло им вливали, головы рубили, четвертовали по площадям.

— Еще год-другой, — думала Елена, — и заботы сами спадут. В покое заживу... с милым моим... А там сын, Ваня, подрастет... спасибо нам за все скажет...

И сладко уснула Елена, убаюканная надеждами!

*Год 7046 (1538), 3 апреля*

Минуло ровно четыре года и четыре месяца со дня кончины великого князя Василия Ивановича и воцарения первенца его, трехлетнего Ивана IV Васильевича.

Конечно, воцарение это и по завету покойного, и по самой силе вещей было только на словах, а царством правит мать осьмилетнего государя, Елена Глинская, которой и самой-то едва ли лет двадцать шесть — двадцать семь минуло.

Помогают молодой правительнице нести бремя государственных забот все те бояре, которых назначил Василий, за исключением одного — Михаила Глинского.

Другой занял его место, окончательно вытеснив из числа дворцовых вельмож родного дядю царицы Елены, князя Михаила.

Этот другой — юный и, казалось бы, безобидный на вид князь Иван, прозваньем Овчина-Телепнев-Оболенский.

Быстро пошел он в гору еще в последние годы жизни князя Василия. Когда умер отец Овчины, старый князь Федор Телепнев-Оболенский, сын, как бы в утешение и для возвеличения рода, был назначен главным конюшим.

Когда же воцарился трехлетний Иван IV, или, вернее, мать его, правительница Елена, баловень судьбы и ближайший любимец государыни, вдовствующей великой княгини, вознесся на такую высоту, о которой и не мечтал.

Ни порода, ни заслуга, ни звание или сан высокий, священный, не могли дать на Руси никому того, что давало доверие временной властительницы.

Правда, и князю Овчине, как самой Елене, приходилось считаться с мнением думных бояр, с властным голосом митрополичьим, с неизбежно отлитыми формами, в которые уложили так быстро и пышно народившееся самодержавие московское великие собиратели земли русской от прадеда Ивана Калиты начиная и кончая отцом малолетнего Ивана, князем Василием Ивановичем. Но Елена всегда стояла за интересы и желания своего баловня горячее и упорнее, чем за свои собственные. Да и желать теперь ей, обладающей всем почти, не приходилось ничего. Разве чтобы ее Ванюша — сынок и властитель — был здоров да рос хорошо. А дела шли своим чередом.

Бояре ведали их, люди наряженные и выборные... дети боярские, которых в думу еще покойник великий князь посадил вместе с людьми земскими для большого приближения к трону всей земли русской.

Овчина был скромн, ему не мешали, он другим не мешал. По крайней мере, ему боялись высказать открыто вражду или обиду, зная, что за это дорого можно поплатиться.

Пример, и самый яркий, был перед глазами.

Дядя родной Елены, благодетель ее, принявший к себе сироту после смерти брата, приютивший ее вместе со снохой своей Анной, матерью Елены, сыграл видную роль в сближении князя покойного с будущей княгиней московской и не проиграл при этом. Так же сначала благоприятствовал он доверию тоскующей племянницы к Телепневу-Овчине, надеясь окончательно забрать в свои руки все нити правления и, кто знает, если не слить Москву с Литвою, то воссоздать здесь новую династию — не Рюриковичей, а Ольгердовичей, к которым причислял себя Глинский... Ребенка легко удалить... Овчина прост, племянница покладлива и сама по себе, а еще больше по чувству благодарности... И мало-помалу, верховный соправитель, он, Михаил Глинский, возложит на себя и венец и бармы Мономаховы, воцарится в богатой, могучей Москве, в «третьем Риме», которому предстоит такая блестящая будущность! Особенно если ввести единение церквей, слиться с Древним Римом по вере... Открыть широко двери для западных искусств, наук... Здесь, среди обильных даров природы краев!..

И дух занимало у поседелого уже воина и диплома-

та от тех картин, какие реяли перед его мысленным взором.

Но он забыл одно: если и не стало в живых строителей царства русского, если правит землею литвинка именем трехлетнего сына, то все же жив дух усопших Рюриковичей... Живы в своих раках и ковчегах серебряных и позолоченных святители русские: и Алексей, первый вдохновитель князей московских, выразитель воли народной, заступник от гнета татарского. И Петр Святой, земли охранитель... словом, за минутным событием, за смертью главы государства, умершего и рано и некстати, Михаил Глинский проглядел самое государство, как строение народное, уже доведенное, подобно церкви Иоанна Лествичника, до кровельного пояса. Если один строитель, зачавший эту церковь, великий князь Василий, не успел покрыть кровли, то это должны сделать другие: Иван ли IV, когда возмужает, другой ли кто, кого судьба и народ русский поставит на череду... Но это свершится. Кровля должна быть выведена до конца.

И пытавшийся разрушить почти достроенное здание Михаил Глинский поплатился опалой, ссылкой, самой жизнью, наконец... Ужаснее всего, что Елена, подписывая приговор близкому своему, дяде, благодетелю, должна была сознаться, что иначе нельзя!

Еще большую муку вынесла эта «княгиня-еретичка», как враги прозывали ее, когда пришлось огорчить и бороться даже с самим другом своим сердечным, с Иваном Федоровичем. И бороться тогда, когда он был чист, прав... более: велик и благороден; а она совершала дурной, с личной точки зрения, поступок, но необходимый для блага и спасения государства, которое ревниво берегла Елена для сына. Дело было так. Чуть затихли стоны плакальщиц, умолкли зауспокойные напевы и медленный, печальный, похоронный перезвон по усопшем великом князе, как начали сбываться опасения его, высказанные на смертном одре. Отовсюду поднялись затруднения. Литовские послы, ехавшие для подписания мира с Василием, нагнавшим страх на кичливых соседей, радостно ели поминальную кутью на его тризне. Подобно Михаилу, своему единоплеменнику, они решили: пора пришла и Литве пожить в отъезде от Москвы, как доселе эта сильная соседка жила от Литвы и ляхов, новгородцев и псковичей...

Вместо заключения мира пошли проволочки да затруднения, а под рукой круль литовский, престарелый Сигизмунд, хоть не любил шуму бранного, а все же и к войне готовился и так путями разными, лукавыми Москву обойти да обессилить старался, ногойцев и крымцев и Казань на Москву подымал.

Началась война с Литвой и шла с переменным счастьем.

Тяжело это было, да сносно. Но с другой стороны худший враг поднялся. Свои на своих восстали. Конечно, не без того, что бояре, желая выслужиться, сильных своротить, самим в силу войти, сами смуту между Еленой с сыном и дядьями царскими посеяли. Но как бы там ни было, сразу, чуть ли не на девятый день после смерти Василия, был схвачен и посажен первый брат его, Юрий Старицкий. А через два года, после разных размолвок, и второй брат, Андрей, послал по городам грамоту.

Князь Андрей писал:

«Люди русские государевы! Князь великий Иван, племянш мой, молод. Держат государство бояре, а как лихо — вам самим ведомо. Священство — продажное, митрополиты — и те за сребреники ставленные. Тиуны да наместники не у старост, по ряду, что им следует берут, а сами дерут, мздоимством живут... В неволю люд продают за ничто! А боярам и любо. Четь — государю они, три чети — себе в мошну. Чего же вам, люди, надеяться? Чего ждать? У кого служить? Идите ко мне. Я же рад вас жаловать».

Послушал народ, замутилась земля. И дошло до того, что встали полки великокняжеские против полков Андреевых у Березни-реки, неподалеку от Едровского Яма, перегону конского. Братья готовились братнюю кровь проливать, чего давно уж не бывало на Руси.

И заслал тут Овчина Иван, который в главном полку воеводой был, к князю Андрею: нельзя ли мириться?

А тот и сам рад.

— Забудем все... Поверну я на мир, вернуся на Москву, если княгиня ваша и великий князь дадут мне опасную грамоту, не станут зла помнить, уделы мои брать или как иначе мстить...

— Господи! — отвечал Иван, прямой и добрый по душе. — Да может ли иначе быть? Сейчас, с места не

сходя, я, начальник, стратег первый великокняжеский, тебе за них клятву в том даю. Знаешь: немало слово мое на Москве значит...

— Знаю! — угрюмо отозвался князь. — Не от людей всякое дело — от Бога. Клянись... И я полки свои распушу...

Поклялся Овчина. Доверился ему Андрей.

Приехал он на Москву в четверг. Приняли его честь честью... А в субботу уж сидел он в железных наручниках в особой палате, нарочно устроенной для знатных узников, где и Димитрий Угличский и другие в свое время сидели.

И жену князя, княгиню Евфросинию, и сына Владимира тоже заключили, только в другом месте, порознь от отца и мужа.

Бояре и дружинники, близкие советники князя, схваченные с Андреем: двое Оболенских же, только роду Пенинских князей, Пронский князь, Палецкий да и многие еще князья и дети боярские, которые с Андреем вместе на Москву пошли, — все пытаны были, на площади кнутами и батожем биты в торговый день, для острастки; а там и по городам дальним глухим, в монастыри да по острогам разосланы...

А новгородских волостелей, горожан именитых, так человек тридцать, которые со всей своей челядью к Андрею примкнули против ненавистой обидчицы — Москвы и деньги на войну давали, тех попросту кнутами отстегали, а там и повесили на шляху, на битой дороге от Москвы, вплоть до самого Новгорода. Что ни двадцать верст, то висел в петле добрый молодец, воронье своим телом кормил!

Андрей только шесть месяцев и пожил в тюрьме. И своя скорбь душу томила, и тюремщики постарались, чтобы не зажился князь, опасный враг младенцу-царю...

И вот как только узнал Иван Овчина в роковую субботу, что схвачен князь, которому он с клятвой свободу и полную безопасность обещал, бурей ворвался боярин в светлицу к Елене.

Не одна сидела правительница. Старушка мать тут же с внуком тешилась да о чем-то с дочкой толковала. Сейчас же смекнула она, что не с добром ворвался коняший и наместник Елены, боярин Иван Федорович.

Отвесив поклон, как следует, боярин негодующим, но сдержанным еще голосом заговорил:

— Государыня-княгиня! Поговорить бы тебе надо о делах государских... Так не улучишь ли часок?

Догадалась и Елена, что творится с Овчиной. Знала, чем и огорчен он. Подумав немного, она спокойно ответила:

— Ладно, боярин. Матушка, не прогневайся, возьми государя с собой... Ко мне в опочивальню пройди на малый часок.

— Да, дочка, что помешаю я? Не чужая, мать родная тебе. И в государских делах не выдам, и в твоих дочку не обижу. Может, при мне боярин сказывать станет?

Овчина только глазами сверкнул. Редко видала его Елена в таком гневе. Всегда спокойный, кроткий, ласковый. Совсем не узнать первосоветника.

— Нет, уж прошу тебя, матушка!..

— Как скажешь, доченька. Ты — хозяйка у себя...

Кряхтя и ворча, поднялась бодрая старуха.

— Князенька, внучонок дорогой, пойдем... Гонют нас с тобою... Вишь дела... государские... — не могла удержаться, чтобы не уколоть, старуха.

— Нет, я тут, с дядей Ваней, останусь! — упрямо залепетал мальчуган. — Он меня на коня посадит... Мы с ним поскачем татар бить...

И Иван кинулся к Овчине. Тот едва удержался, чтобы не оттолкнуть своего властелина, своего любимца-баловня, которого ласкал всегда и тешил больше, чем любой отец родной. Только ногою слегка притопнул боярин.

Елена тоже не сказала ничего. С мольбою еще раз поглядела на старуху, мол: «Уведи скорей!»

— Пойдем, пойдем, баловень... Я там велю муштачка твоего, аргамачка малого, седлать, по двору тебя повозить.

Знала старуха, что сказать. Мигом внучек прижался к ней.

— Веди, веди.. Идем, бабуня!..

И они пошли, причем старуха поторопилась поживее захлопнуть за собою тяжелую, сукном обитую дубовую дверь.

Не успели они еще переступить за порог, как в горнице гневно заговорил боярин:

— Ты как же это могла, княгиня?

— Тише, Иван! Помолчи! Сейчас все скажу... Все узнаешь!.. Успокойся. Выслушай меня раней!

Добрый Овчина сразу сдался. И брови разошлись, нахмуренные грозно, и кровь сразу прилила к лицу, от которого раньше хлынула было целиком к сердцу.

— Да ты знаешь ли, о чем я, княгиня?

— Ну, как не знать? О князе Андрее да о жене и княжиче его...

— А! Знаешь? — снова заволновался Овчина. — Так как же ты могла?! Ведь я клятву давал... Ведь я?..

— Постой! — уже холодным, властным тоном заговорила в свою очередь Елена. — Ты сносился ль с нами раньше, чем за меня да за государя — великого князя ручаться и клятвы давать?

— Нет, не сносился. Когда ж тут было? Бой не ждет. Не поклянись я — сотни, тысячи христиан православных жизни бы друг друга лишили... Семьи бы обездолились... Земли бы втуне пролегли... Дети-сироты, вдовицы жалкие... И все свои... Знаешь, не трус я, государыня! Ни своей, ни вражьей крови жалеть не привык... А тут — жаль в душу зашла... Рука не поднималась на своих! Так плохо ли я сделал, если мирно врага вам смирил, крест на верность целовать заставил и...

Но он не договорил. Звонким смехом разразилась Елена и вкрадчиво заговорила:

— Добрый ты, боярин... мой... Витязь ты отважный, храбрый да жалостливый!.. Лих, доверчив больно. А который это раз Андрей «на верность» нам крест целовал? Не попомнишь ли, скажи? Не то — третий, не то — четвертый. Так ему неустойка, он не то нам, султану турецкому крест целовать станет! А будь его верх, так и нас, и тебя он на кресте на том самом раздернет... А ты со злодеем, с крамольником хочешь по чести?.. Э-эх! Овчина ты мой милый... Не мимо люди слово молвили. Метко у вас, у русских, присловья дают.

— Постой! — уже окончательно сбитый со своего пути пытался довести спор до конца Иван Федорович. — Дела мне нет: кто там да кто там? Плуты мне не указ. Я, князь Телепнев, твой боярин ближний, царев слуга первый, клятву дал... И должна она свято доблюстись. А ты со своими приспешниками потайно от меня, слова не сказавши, такую вещь затеяла!.. На весь свет меня опозорила. Князь, скажут, конюший, вождь полка большого! Как же? Вор и клятвопреступник ведомый! Русь вся это скажет!.. В чужих землях загудет, словно в вечевои колокол. Из рода в род покоры да



стыд ожидают меня... Как же ты того не подумала, княгиня-осударыня?..

— Думала, княже, думала!.. Оттого и делалось все в потай от тебя. Все это знают... Кричать можешь, бранить и меня, и думу всю государеву... К суду нас царскому позывай... Как хочешь, обеляйся. А и мы правы. Добрый ты, умный... да на государстве не сиживал. Государства для сына малолетнего не охранивал. У тебя — своя правда, боярская, воеводская, особая... У нас, с думой царской, не с приспешниками моими — своя правда, государская, русская, всеземельная, всенародная! Сделали мы, как царю малолетнему, как всей земле лучше и поспокойнее. И пусть судят нас, кто понять не может! Вот что князь. А еще я тебе слово отвечаю: мало ты любишь Ивана... Мало нашего царя-младенца бережешь!.. Люби ты его больше, вот как я, литвинка, сына своего, русского государя, люблю, и в мысли бы не запало тебе думать: кто да что там о тебе скажет потом?! Почету еще больше ты увидишь и узнаешь теперь, когда сильнее наша держава стала... Чужие послы к тебе же за миром и за войной придут, как и доселе хаживали? Чего же еще? Скажи боярин? Да вот, еще скажу слово тебе малое. Сам ты навел меня на то... Говорил... жаль тебе стало, что за распрю княжую тысяча христиан православных, братьев по вере и крови, смерть друг дружке дадут! И мне их жаль. Так надо змию голову отсечь. Крамолу с корнем вырвать. Десяток казним — тысячи спасем. Понял ли, боярин?

И, глядя ему в глаза, ожидала ответа Елена Глинская, теперь — не прежняя робкая женщина, полуробеночек, юная жена больного, старого мужа, а стройная, полная мощи духовной и телесной, двадцатилетняя повелительница царства Московского.

Постоял, помолчал Овчина, потом тихо прошептал:

— Нет... Что-то не то душа говорит!

Тихо поклонился княгине — и вон пошел.

— Ничего, стерпится — слюбится! — глядя вслед князю, прошептала Елена и двинулась к другой двери, через которую недавно ушла бабушка Анна со своим царственным внуком.

Елена не солгала. Последние соперники были скоро удалены с ее пути, то есть такие, кто дерзал поднимать открыто голос против княгини-правительницы. После

Михаила Глинского пали Бельские, Воронцовы... Чисто стало вокруг трона от мятежных, гордых стародавних бояр, жались к трону тоже роды старые да такие, кто посмирней, помягче был... и высился надо всеми один верный слуга княгини, Иван Овчина-Телепнев.

Радуюсь за себя, гордюсь за него, торжествовала литвинка победу, только рано, как оказалось.

Крамола, даже хуже — личная ненависть в тиши готовила смертельный удар.

Чтобы видеть, откуда он был нанесен, надо заглянуть в тесную монашескую келью старицы Софии, Соломонии в миру, бывшей великой княгини московской, первой жены Василия Ивановича.

В далеком, тихом Суздале, колыбели князей московских, живет Соломония за крепкими стенами Покровского Девичьего монастыря, не то в почетном заточении, не то на положении схимницы. Впрочем, ей можно было видаться с приезжающими изредка прежними друзьями, знакомцами и ближними слугами. При ней были свои девки да бабы-прислужницы...

И вот в эту пору, ранней весною 1538 года сидит насильно постриженная княгиня-затворница в своей келье. Волосы побелели, лицо обрюзгло, тело от сидячей жизни одрябло, ослабело... Восемь лет беспрестанной пытки душевной<sup>1</sup> пронеслось над головой затворницы, как разрушительный ураган. Только по-прежнему мрачным огнем горят, хотя и заплаканные, полуослепшие от слез, но еще темные и выразительные глаза Соломонии... Все долгие, тяжкие восемь лет бесследно минули для жгучей жажды мести, которую таит в душе своей эта женщина против другой, хитрой, низкой, лишившей ее и мужа, и царства, и всего!..

— Елена!

При одном воспоминании об этом имени холодное, немое бешенство наполняет Соломонию, ее треплет как в лихорадке, и горечь ощущается в пересохшей гортани, во рту...

— Елена!..

И сколько казней, сколько мук мысленно заставляет выносить эту литвинку мстительная старуха.

От этих мысленных казней еще больше разгорается старая ненависть.

Долго ждала и жила своей местью и ненавистью Соломония. Жадно ловила каждую дурную весть о де-

лах царства, каждую худую молву о сопернице... Выжидала, искала... Берегла каждый пенязь, получаемый ею с большого села Вышеславского, записанного на нее великим князем вскоре после пострижения... Копила деньги для какой-то неведомой, заветной цели и, наконец, дождалась.

Ночь на дворе. По кельям разошлись сестры, и матушка-игуменья, и казначея. Оконца келий, выходящие в густой монастырский сад, еще не раскрыты. Разметавшись на жестких постелях, томясь от духоты в кельях и от неясных собственных томлений, особенно гнетущих весной, спят невесты Христовы, девушки-инокини и послушницы...

Не спит одна Соломония. Лихорадочным румянцем горит ее лицо, необычным огнем сверкают глаза. Сидит на ложе своем она, простоволосая и страшная-страшная в том припадке кровожадной радости, какая сейчас обуяла старуху.

На низенькой скамеечке, обитой кожей, которая обычно служит во время молитвы старице Софии, а теперь придвинута к кровати, сидит у ног бывшей княгини средних лет женщина в монашеском одеянии, полная, благообразная на вид, с ласковым, но трусливо-бегающим взором маленьких, заплывших маслянистых глаз.

И, приподняв голову, впиваясь глазами в старицу, слушает Досифея-сестра, что говорит ей Соломония.

— Верно, говорю тебе: время пришло... Шуйские — против... Бельские — против же... Молчат только. Вишь, помогает колдун-дьявол, второй любовник ее, после Ваньки-то Овчина... Литву свою же родную Еленка дозволила Ваньке чуть не дотла разорить... Волшбой да клятьбой, да делами содомскими помогала своему курячему воину, кудряту глуздуумному... теперь на Крым, на Казань снаряжаются... И тут если им посчастливит, не будет тогда и равного Ваньке... И ей самой... Долго ли тогда глупого мальчонка со свету сжить. Овчина — царем, она — царицей станет... Полюбилось ей это дело... так, слушай... Клялась ты мне... Еще поклянись: на пытке слова не вымолвишь лишнего...

— Матушка-княгинюшка, да как же еще? В церкви ведь на мощах на святых... Вся твоя раба... Что уж тут... За твое неоставление!

— Не оставлю... Много ты получила... И в десять раз больше дам. Все твое... Видела, сколько я припасла за восемь лет? Все тебе. С себя последний шугай сниму... сорочку ostatнюю. Все тебе. Только — сослужи...

— Господи, твоя раба. Только и ты помни: жива буду — мне дать. Коли умру... запытают, на месте ли убьют — дочке все... Одна у меня дочка... Дороже жизни, дороже глаз во лбу!

— И я тебе клялась... Слово мое давала... Чего ж еще?! А, стой... Зелье-то от времени силу свою не отменит ли?

— Десять лет пролежи хоть в огне, хоть в воде — дай человеку, и в день человека не станет!..

— Ладно. Так и ты не бойся ничего... Вот столбчики тебе... Видишь, каким боярам первым подписаны... И доступ получишь... И ото всех напастей сберегут, ежели что... Видишь ли? Бери, спрячь.

Бережно взяла из рук старицы монахиня три свитка-письма, перевязанных шелком и печатью восковой припечатанных. Подойдя вплотную к большой неугасимой лампаде, горевшей перед образом Божьей Матери Всех Скорбящих, Досифея стала разбирать крупно начертанные сверху буквы под разными титлами: имена и прозвища тех, кому надо было на Москве передать послание.

— Пенинские?.. Свои против своих, значит? Оболенских же они... Ну да, видно, свои грызутся — чужая не приставай... Да! Все люди знатные!..

И с этими словами Досифея завернула в платок свертки и спрятала их на груди.

— Береги цидули-то. Хоть и нет там ничего ясного, да будет того, что мною посланы... И себя, и всех забудешь, коли раньше срока объявится дружба наша. А потом все равно из гробу не встанет литвинка, чтобы крамолу казнить... Когда едешь?

— Завтра же, княжушка.

— Инь, ладно. Не проговорись где по пути, али на самой Москве, что была в этой стороне. Что со мной виделась... Ну, с Богом!..

И с обычным поклоном, исполнивши метание, удалилась Досифея из кельи старицы Софии.

А старуха сейчас же кинулась ниц перед образами и стала молиться, ударяясь лбом о каменный помост кельи.

— Господи, — молилась она, — помоги! Научи... Вразуми... Дай гордыню врага сокрушить. Милосердный, попусти Еленке смерть принять мучительную... Дозволь еретичку извести!..

И горячо, со слезами до рассвета молилась насильно постриженная старица София, прося у Неба одоления на врага.

Было это в самый день Благовещения, в понедельник 25 марта.

Быстро и Светлый праздник Христов, Пасха припела. Ранняя она была.

Радостно снова гудят колокола над Москвой, стольным городом... Подвешенные на новой колокольне каменной, еще Василием начатой и теперь только отстроенной, медные великаны-колокола гулко звенят, словно за весь народ радуются. И поют их медные зевы под ударами тяжких языков хвалу Всевышнему...

Отошла Великая всенощная в церквах. Опустили улицы и площади кремлевские, где перед каждым ярко освещенным храмом темно от народа было. Дозорные только на стенах стоят, словно истуканы чернеются, дремлют, опершись о древка секир или на стволы пицалей.

Зато необычные для такого позднего времени шум и оживление царят в ярко освещенных, новых каменных палатах дворцовых. Разговляется там царь у себя со своими боярами ближними, с дворней, стражей дворцовой и прочей челядью... христосуется с сотрапезниками, как по обычаю.

И Елена тут же.

Уже к концу пришла святая трапеза. Руки царь омыл. Глазки слипаются.

— Мамушка! — негромко говорит он матери. — Спать хочу больно. Устал ведь. Можно ли?

— Можно, сынок, можно... Прощайся, отпуская всех...

И прощается царь.

В это время подошла к Елене мамка царева, слуга ее близкая, сама Аграфена Челяднина.

— Пожалуй, государыня-матушка...

— Что надо, говори.

— Богомолица тут одна... Старица Досифея... Из Вознесенского монастыря...

— Знаю, видывала. Что же ей? Руга<sup>1</sup> пойдет им царская, как водится...

— Не то, государыня... На Афоне была она... и до Иерусалима-града Святого сподобил дойти Всевышний... Памятку оттоль тебе принесла. Просфора при Гробе Господнем свячена... Да яичко красное. Не побрезгуй... Дозволь челом бить...

— Как можно святыней такой брезговать?.. Пусть подходит. Где она?

— Здесь сейчас... Я и кликну ее.

— Здесь? — задумавшись, переспросила княгиня. — Да как она добилась к тебе? Почему не завтра поутру?..

— На короткое время, на разговенье отпущена царское из монастыря... только ради просьбы ее, что тебя видеть надобно. Сама ты еще когда поизволишь в монастырь... Ведь дорого, бают, яичко ко Христову дню... А мне о ней Плещеева боярина женка шепнула. Знаешь, дружны мы с ней.

— Плещеева? Ну, это ничего... Проведи Досифею сюды... Я приму от нее дар, пока царь с гостями прощается...

Так, сама ничего не зная, уговорила преданная Аграфена Челяднина Елену принять посланницу Соломонии, взять просфору и яйцо красное из рук отравительницы.

Набожно на чистый плат приняла святую дань обруселая уже Елена.

А Досифея сладко приговаривает:

— Сподобил Господь... Вкуси, как Бог велел, натошак завтрава... Еще краше да здоровей, чем есть, государыня, станешь...

— Спасибо, спасибо... Знаю уж, — отвечала Елена.

Одарила монахиню, чем пришлось, и скрылась, исчезла та из виду; так же незаметно, как пришла, смешалась с толпой челяди, которая повалила из дворца за отъезжающими боярами.

Проводивши всех, сдавши дьяку-приставнику на руки ребенка-царя, ушла к себе и Елена.

Под иконы, за занавес киотный, положила она дар Досифеи.

На другой день, 31 марта, поздно встала княгиня,

---

<sup>1</sup> Руга — подачка монастырям от царей, месячина и «жалованные», случайные кормы.

сейчас же оделась, боярынь принимать и бояр пришло, которые на поклон сошлись. И забыла про вчерашнее подношение Досифеи.

Только на второй день Пасхи, утром 1 апреля, подойдя к божнице, развернула платочек, увидела подарок, вспомнила.

— Грех какой... Уж поела я... завтра не забыть бы разговеться с утра! — подумала про себя княгиня.

И только во вторник, равно встав с первой молитвы утренней, бережно отделила Елена кусок просфоры, освященной самим Иерусалимским патриархом... Съела часть с молитвой и святой водой запила, что в сулейке чеканной тут же в киоте стояла. И яйцо свяченное очистила, разрежала на части и съела вместо раннего завтрака.

В это самое время вбежал к матери сын старший, ведя за руку младшего братишку.

Юрий, младший сын Василия, не походил на бойкого, живого и из себя пригожего Ивана.

Чрезмерно упитанный, с прозрачно-бледным, одутловатым лицом, он еле переваливался на своих изогнутых ножках, тупо глядел на все вокруг голубовато-серыми, прозрачными глазами и плохо даже говорил, несмотря на пятилетний возраст. За ними степенно, в сопровождении той же мамки Аграфены вошла и двоюродная сестра царевичей, Евдокия Шуйская, на год моложе братца Ивана, данная ему в подруги, не красивая, но тихая и послушная девочка. В руке она держала нарядно разодетую куклу.

— Мама, что ешь? Дай нам! — поздоровавшись с матерью, стал просить Иван.

— Да уж нечего. Видишь, яичко доедаю... Досифеино!.. — обращаясь к Аграфене, заметила Елена. — А вот, разве просфоры хочешь...

— Дай, дай... И Юре... И Докушке...

— А вы натошак ли, деточки?

— Нет, матушка-княгинюшка... Молочком уж, известно, теплым поены... и с калачиком! — отозвалась мамка.

— Ну, так нельзя... Другой раз... Вот это пока берите...

И, подойдя к особой укладке, вынула и подала детям по писаному прянику.

Обрадованные, шумно двинулись обратно дети к се-

бе. Здесь принялись разбирать игрушки: литые фигурки да кораблики со снастями, которые подарены были им к празднику, да яйца раскрывные, куда через слюдяное оконце глядеть можно и Вознесение Господне увидишь.

Играл солдатиками один Ваня. Юрий, опустясь в углу у печки на ковер, сосредоточенно сосал данный ему пряник. Евдокия как девочка возилась с куклами, в колыбельку их спать укладывала.

Оставшись одна, Елена позвала свою ближнюю боярыню, что всегда голову княгине чесала, а сама подумала:

— Что за притча? Горечь особливая у меня во рту... Не хворь ли какая приближается?! Надо матушкиного лекаря-фрязина спросить...

Вошла чесальница, стала волосы разбирать, расчесывать да собирать.

Вдруг Елена вскрикнула.

Чесальница задрожала даже вся.

— Что с тобою, государыня? Али дернула ненароком за волоски? Так уж прости Бога для.

И отвесила земной поклон.

Но, поднимаясь и взглянув робко в лицо Елены, она и сама вскрикнула:

— Государыня-матушка, да что с тобой?..

Елена сидела откинувшись, бледная, с неестественно расширенными зрачками сверкающих глаз. Губы вдрагивали, словно хотела она что сказать, да не могла.

Наконец, кое-как справясь со спазмом, перехватившим ей дыхание, княгиня еле пролепетала:

— Матушку... Лекаря... За Овчиной скорее...

Чесальница стрелой кинулась. Минуты не прошло, как покой княгини переполнился встревоженным, бледным, напуганным лицом, все больше женской прислугой дворцовой. Явилась и Анна Глинская, взглянула на дочь и затряслась даже вся.

— Что с ней? Говори скорее... Не мучь, — обратилась она к своему итальянцу-лекарю, осматривавшему поверхностно княгиню.

— Сейчас скажу... Прикажите выйти всем... Надо раздеть больную...

Все вышли по приказу старухи. Аграфена Челядни-на, заглянувшая было тоже сюда, кинулась к детям, чуя недоброе и желая охранить их от неведомой беды...



Бурей ворвался в покой Овчина.

— Что случилось? Кто сгубил ее? — забыв этикет и всякое стеснение, подбегая к постели, где врач уложил и исследовал Елену, вскричал первый боярин.

— Сгубили, верно!.. А кто — не знаю, — ответил, пожимая плечами, итальянец. — Что ела она сегодня?..

Пока звали постельницу княгини, чтобы допросить, князь Овчина, склонясь у изголовья Елены, лежавшей неподвижно, словно в столбняке, обливал ее руки слезами и тихо уговаривал:

— Очнись, княгиня!.. Приди в себя... Скажи, что с тобой?.. Хоть глазом укажи... кто злодей?! На части разорву своими руками...

И словно услышала его больная, узнала верного слугу своего... Еле вздрогнули веки... слезы сверкнули в углах глаз и остановились, застыли там, как и вся застывшая лежала Елена.

— Не иначе, как индийский яд тут один! — тихо произнес, ни к кому не обращаясь, итальянец... — В чем только дали?..

Случайно взор его упал на небольшой поддон, покрытый белым платом. Здесь лежала початая просфора, освященная не в Иерусалиме, а в келье Соломонии... И скорлупа от яйца, там же крашенного, там же ядом пропитанного.

Не говоря ни слова никому, отослав женщину, которая явилась к допросу, врач распорядился делать горячие припарки и класть к ногам больной, всю ее обложить раскаленными кирпичами, обернув их толсто, чтобы тело не жгли.

Сам же кинулся к себе в лабораторию. Ясно как день стало ему, что в просфоре и в яйце заключался сильнейший яд, «столбняковый», как зовут его. И Елене вряд ли дожить до вечера.

Так и сказал он Овчине, всем боярам, спешно собравшимся на большой государев совет.

Самого восьмилетнего государя, конечно, здесь не было. Порывался он к маме, да уговаривали его:

— Больна-де... Просит повременить!..

Когда Аграфена узнала, что сама же она Досифею, отравительницу, к княгине подвела, чуть с ума не сошла мамка! Волосы на себе рвала. В ноги брату, князю Ивану, и всем боярам кинулась.

— Моя вина... Я виновата, окаянная! — заголосила... и рассказала, как дело было.

Кинулись Досифею искать. Но в монастыре ее и не видели от Светлой заутрени от самой... И словно сквозь землю баба провалилась, хотя Овчина и другие бояре всю Москву вверх дном поставили...

На другой же день, как сказал доктор, 3 апреля, почти не приходя в сознание, скончалась Елена Глинская, полонянка-литвинка, умевшая полюбить Русь и охранять ее пять тревожных долгих лет, хотя и при помощи боярской. Чутье матери помогало правительнице. А случай избавил от ужасного дела: отравиться не только самой, но отравить и обоих детей своих... Сразу внести горе и смуту в юное, недавно устроенное царство всероссийское.

Когда привели сыновей прощаться к умирающей матери, впервые за сутки шевельнула она рукой, словно желая благословить малюток. А слезы, тяжелые, редкие медленно покатались по щекам, принявшим уже фиолетовый оттенок.

Малютка Евдокия Шуйская кинулась к тетке, обхватила ее тонкими ручонками, зарыдала, забилась... Так и унесли девочку...

Юрий тупо глядел на мать, на всех собравшихся вокруг... и не выпускал конца телогреи мамки Челядниной, которая привела детей.

Иван, сильно побледневший, напуганный видом больной матери, поцеловал ее руку, как ему сказали, прижался плечом к Аграфене, которая на коленях у постели Елены целовала умирающей ноги, и стоял... Стоял ребенок, и смутно вспоминалась ему иная пора, зимняя ночь... Огни... Черные тени вокруг саней... и на каком-то странном ложе лежит человек... Отец его, князь великий... и тоже — лицо страшное... И что-то силится сказать его глаза... Рука, тяжелая, холодная, вот, как мамина сейчас, касается волос... А там — туман...

И вдруг, в непонятном ему самому ужасе, ребенок дико вскрикнул и затрепетал весь, потрясаемый приступом судороги...

Быстро схватила на руки мамка выкормыша и помчалась, в кроватку уложила, черным прикрыла, все лампы зажгла... крест с мощами, которым отец, умирая, благословлял на царство Ваню, в изголовье кро-

ватки поставила. А сама кинулась к иконам и, до крови ударяясь лбом о помост, громко стала взывать:

— Прости, Господи! Помилуй, Господи!.. Отпусти прегрешения все, вольные и невольные... Спаси, защити и помилуй!..

А над телом усопшей княгини черный клир соби-  
рался отходную петь...

Только колокола кремлевские не отозвались сейчас же на печаль в доме царском: ликующий пасхальный перезвон, дрожа в весеннем воздухе, словно твердил:

— Нет смерти в мире... Только жизнь вечная под разными видами... И самая смерть ведет к жизни вечной!..

*Годы 7046 (1538), 10 апреля —  
7051 (1543), 9 сентября*

Тяжелое время настало для малютки — господаря московского.

Семь дней только минуло, как мать у него так без-  
временно умерла, а уж стали «большие бояре», враги Овчины, недруги Глинских и всей дружины прежней великокняжеской, свою власть-силу показывать.

10 апреля спал еще Иван, когда почувствовал, что будит его мамка ближняя, Аграфена.

Это очень понравилось ребенку. Хотя и ласков был к мальчику дядька, приставленный с пяти лет, по обычаю, смотреть за царем, но, конечно, ребенок пестунью свою несравненно больше любил.

И теперь в полусне, почуяв ее руки на своей голове, заслышав ее голос, он, не раскрывая глаз, притянул мамку к себе за шею, нашел ее ухо и капризным тоном забормотал:

— Грунька, злая... Не буди... Спать хочу! Не встану вот и не встану... Рано, поди...

И, оттолкнув Челяднину, он снова готовился уснуть.

— Ой, проснись, государь! — тревожно, но тихим, сдержанным голосом заговорила Аграфена. — Коли ты нас оставишь, кто же защитит? Я ли тебя грудью своей не питала, не выкормила?!

Иван сразу вскочил:

— Обидеть! Тебя? Кто хочет? Кто смеет? Да я голову велю срубить... Я сам...

И он поднялся не одетый на кровати во весь рост, стиснув зубы, сверкая темными живыми глазками, словно волчонок, у которого берут матку-кормилицу...

— Ой, вели... Ой, покрой, заступись за нас... За Ваню, за брата моего любезного... Сам же жалуешь его, Ванюшка... Как отец, и он любит тебя... а его в ночи пришли, схватили... В каменный мешок вкинули, что под двором твоим новым... Там хотят голодом уморить...

Хотя мальчик и не понял весь ужас того, что говорила мамка, но суть ясна: обидели лучшего человека после мамы и мамки Аграфены: куда-то увели Овчину-Телепнева.

Ребенок задыхался от негодования и злости, вдруг стихийно проснувшейся в груди.

— Кто смел?! Кто посмел?! — только и мог выговорить он.

— Посмели, Ванюшка! Птенчик, государь князь милостивый... Люди смелые, могучие... Да тише ты говори... Прокралась я к тебе... Ведь и меня хотят взять от тебя... сослать, в монастырь заточить, а то и совсем покончить, как с братцем, князь Иван Федорычем.

Тут мальчик даже и сказать ничего не смог. Отнять у него Аграфену? Да разве это мыслимо? Или он не царь? Не читал сам все указы, какие от его имени писались, его печатью скреплялись?! Не ему послы и воеводы и бояре первые руку целуют, за жалованье благодарят?! Не он царь всея Руси?! Юн он еще, правда, но он самодержец. И мама-покойница, и все толковали ему это. Маму смерть взяла. Смерть сильнее государей. А из людей, из русских и чужих даже, кто посмеет не послушать его?..

И топнув босой ногой, властно ребенок выкрикнул:

— Пусть попробуют!.. Пусть посмеют взять тебя!

— Шуйские ли испугаются?! — отвечая на крик царя, питомца своего, зашептала Челяднина. — Да Палецкие, да Вельяминовы, да Бельские... Мало ли их, крамольников... И брата, и меня, вишь, винят... Поклеп взводят: будто мы на здоровье государыни матушки твоей усопшей помышляли... Да если бы знали они?.. Да мне все равно, что на себя руку поднять, то и на нее было бы... Еще тяжелей... Спаси, не дай в обиду...

— Да не плачь ты, мамушка. Говорю: не дам!.. Стой, кто там идет?.. Много их! — чутко насторожив уши, поизнес почему-то оробевший ребенок.

Челяднина, та вся так и задрожала.

— За мной, ох, за мной это они, злодеи... Проведали, где я... На тебя последняя надежда... Спаси, не дай... Выручи!..

И, рыдая, припала она, словно к подножью креста, к ногам Ивана.

Правда, вошли люди, бояре: Бельский один да Шуйский, победоносный воевода, Василий Васильевич, былой последний «волость» вольного, вечового Новгорода, пока не «добыл» его себе, не покорил Василий, великий князь. За дверьми — звон оружия слышен... Алебарды поблескивают, пищали дулом о дуло задевают, звенят.

Хотя вошли «большие бояре» без доклада всякого, без сказа за дверью обычного, но низко поклонились ребенку.

— Челом бьем тебе, государь, великий князь. Каков царь в здоровье своем?

Не отвечая на здорованье, мальчик, нахмурясь, произнес:

— А што же вы, бояре, без зову, без доклада пришли? Не было так еще... Что надо? Рано... спать я хочу.

— Спи, государь. А у нас дело неотложное. Вот ее нам и надобно! — указывая на Аграфену, отвечал Василь Васильевич Шуйский.

— Ее? Зачем? Кто смеет?! Не троньте ее... Моя мамушка и ничья больше! — начиная дрожать, звонким, рвущимся голосом стал выкрикивать ребенок.

— Да ты не тревожься, государь! — выступая вперед, мягко, вкрадчиво стал уговаривать Иван Шуйский мальчика. — Твоя она мамушка, и будет так. Сама же похвалялась, что знает бабу, которая твою усопшую родительницу испортила! Помяни, Господи, душу княгинюшки... Так теперь на очи надо их для правды друг дружке поставить... Для твоей же пользы государевой, по царскому твоему велению и по Судебнику...

Мальчик уже знал, что Судебник нечто важное в государстве, чему и властитель порой покоряться должен. Но слезы и растерянный, напуганный вид мамки лишали его всякого соображения.

Обхватив ее руками, он решительно сказал:

— Не дам! Сюда эту бабу ведите... Пусть здесь судят...

— И того нельзя, невозможно никак, господине. У владыки-митрополита, на очах его суд идет... Так и дойти там должен до конца... Отпусти мамушку на малый час... Она ведь не ребенок малый, поймет, что волей-неволей, а надо идти... сама пойдет... Пустите ее...

— Нет, не пущу! — крикнул еще громче мальчик.

— Не пускай, не давай! — взмолилась, рыдая, Челяднина.

Но одним сильным движением оторвал Шуйский Василий рыдающую женщину от ребенка и отшвырнул ее к двери... Там уж ждали, подхватили, мгновенно увели ее... Ушли и бояре, пропустив к ребенку Анну Глинскую, бабушку его. Стояла до сих пор старуха за дверьми в смертельной тревоге, но не смела войти...

Долго старалась привести в себя иступленно рыдающего и вздрагивающего всем телом внука старуха... Так и заснул он опять на своей постельке, обессилев от слез и судорожных рыданий.

А Челяднину и Ивана Овчину настигла их злая судьба. Первую быстро постригли и заключили в далекий, суровый по уставу Каргопольский монастырь. Второго же забыли в том каменном мешке, куда посадили боярина, сведя несчастного чуть не с самого трона... И вспомнил о нем только Бог: на десятый день послал за душой Ивана вестника своего... Умер голодной смертью всевластный любимец Елены... С искованными, изгрызанными до костей руками вынут был долго спустя труп конюшнего, первого боярина московского, из темной глубины каменного мешка, что у Ризположенских ворот<sup>1</sup>.

После описанного здесь пережитого отроком-царем тяжелого мгновенья настало некоторое затишье, хотя сравнительно и очень краткое... Да и то тоскливо тянулись теперь дни юного Ивана Васильевича. Главный боярин, Василий Шуйский, и дядьку прежнего согнал от царя, своего человека приставил... чтобы доносил тот: кто и с чем без Шуйских самих к государю заявляется?

Ничего не сказал на это притихший, напуганный мальчик. Молчал, думал больше, глядя в цветные оконницы дворца на проходящий и мимоедущий вольный торговый и ратный люд. Верил Иван: все они готовы

---

<sup>1</sup> Теперь — Троицкие.

голову за него сложить... Но как добраться туда? На эту площадь людную?.. Как сказать?.. И ребенок в голове складывал свои жалобы, речи целые вспоминал, что говорили ему и мать-покойница, и Овчина, и Аграфена — все, словом, кто толковал ему о величии его царском. И что теперь стало?!! На советах дворцовых домашних и в большой думе, где сажали его на место царское, во время приемов посольских пышных он уж привык молчать. Но раньше мама слово скажет... Ваня Оболенский-Телепнев... Все люди, любившие его... И верил Иван каждому их слову... а теперь?.. Нет, никому не верит он... А сидит молчит. Не знает, как ему самому речь начать. Запугали его. Вон вчера как играл он в спальне великого князя покойного с братом Юрой и с Евдокией... Свободно, светло там... И Шуйский Иван дочь проведать сюда же пришел. Разлегся на лавке... и нога на кровати, на отцовой, на царской... А раньше самые важные бояре, входя сюда, и стояли-то голову опустя, вот как в церкви стоят... А Тучко, боярин, из князей Курбских... Скарб мамушкин, княгини Елены, для чего-то перебирали они с Шуйскими... «Надо решить, говорят: что — куда? В большую ли казну, или малую?.. Или в терему, в похоронки...» Раскидали охабни, душегреи ее, в которых еще так недавно, балуя ребенка, царица сына кутала. И Тучко-боярин швыряет милые вещи концом сапога. «Это, говорит, старье... Хлам... нам не надобно!» Кому «нам»? Мамины были вещи, значит: его теперь, царя Ивана, они!..

Думает ребенок все о том, что видит, и молчит.

Повадился он в Чудов монастырь, в митрополичьи покои ходить. Сперва к Даниилу, а потом и к Иоасафу... Тихо там, хорошо, лучше, чем во дворце теперь великокняжеском, стало... Ни Шуйских, ни Тучкова, ни Бельских — никого из обидчиков здесь не видеть.

А если и приходят, так чинно, тихо себя ведут, вот как при матушке, при великой княгине, покойнице... Как, верно, и при отце Ивана себя вели... Что же, разве если мал он еще, так и не царь?.. Неправда... Он им всем владыка!

Рад малютка, что принимает его ласково Иоасаф. Спросит только Ивана после взаимных приветов:

— Что, государь, как наставник твой и духовник, отец протопоп Благовещенский: доволен ли тобою? А, Ваня? К Слову Божию прилежен ли? Скажи, чадо.

— Прилежен, святой отче! — отвечает мальчик, бойко глядя доброму владыке в глаза. А глаза у того ясные и все окружены морщинками. Но это нравится Ивану.

Что еще особенно нравится здесь ему, это столбцы писанных хартий и стопки тисканных книг, которые везде по келье у владыки разложены. Поглядит, поглядит царь да и скажет:

— Благослови, владыко, в книжки да и в столбцы почитаться...

— Бог благословит... Да разберешь ли ты только книги мои? Ну, скажем, Библия... Апостол... А то ведь и эллинская премудрость попадается... Непристойного не поймешь ты, мал еще, государь!.. А и пристойного, гляди, не поймешь...

— Пойму, отче! — бойко отвечает Иван, не робеющий, не глядящий здесь волком, не молчаливый мальчик, а ребенок, каким надо быть в девять лет... — Все пойму... особливо скажи: что про царей где есть? Все мне про царей знать хочется...

— Да что же тебе?..

— Да все... Как жили... воевали... людей судили... Как их люди слушали... а они карали за непокорство, за невежество...

— Ого-го! Вон оно куды пошло... Ну, читай... Вот книга Царств... А то — Титуса Ливиуса на нашу речь перетолковано... Читай, поучайся...

И жадно по целым часам читает мальчик... И про Александра Македонского, и про Августа, и Юлия Цезаря... И про судей еврейских и царей, перед которыми трепетали, которых все боялись, даже беззакония творящих... Читает Иван, благо, правители-бояре и не забоятся: где и что государь?

— А не поздно ли? Шел бы домой... С братом побыл бы, с сестрицей Дунюшкой...

Покорно встает, прощается мальчик. А сам говорит:

— Святой владыка: скучно мне с ними... Девчонка сестра... И роду не нашего... Шуйских она... А брат... Какой-то он... и не пойму я... Есть бы ему только да рюмить, чуть что... А я бы, кабы воля моя, умер бы, а не заплакал... Иной раз и сам не рад, что плакать приходится...

Гладит его по голове старец и говорит:

— Терпи, Ваня... Всем нам плакать приходится



здесь на земли... Сам Господь Бог, Христос Спаситель мира, здесь во плоти терпел, не слезы — кровь из глаз лил... Терпи, дитятко... Иди с Богом!.. Бог защитит тебя!..

Благословит и отпустит.

И легче на душе сделается у мальчика... Словно просветлеет там...

А во дворец вернется — снова душа замутится, закипит досада, обида в груди. Уж наверное кто-нибудь чем-нибудь да затронут все, самое дорогое ребенку... А в памяти столько злобы, обиды и горя, что довеку не забыть... И опять сожмет губы, замолчит, волчонком ходит и глядит девятилетний великий князь московский Иван Васильевич. Так и прозвали «волчонком» его, кто смел это слово сказать. А митрополит-старик, по уходе ребенка-царя, судит и думает:

— Чудное дитя государь наш малолетний... Чует детская душа, что невзгода и на него, и на Русь пришла... Да что поделаешь?.. Как оборонять и царя, и землю?.. Он мал, бояре сильны и грозны... Потерпеть еще надо... Эхе-хе... Да, надо, надо терпеть, пока Бог грехам терпит... Вот хоть бы насчет силы боярской, сдается, скорпии сами себя с хвоста грызть починают... Вишь, как нужно было им Овчину да со всеми его присынами убрать, так Шуйские и Бельских наперед поставили... Из тюрем, из неволи их повыпускали... Мол, все пополам!.. А как медведя-то свалили, пришла пора шкуру делить, — гляди, сами зубы друг на дружку оскалили... Боярам Бельским одоление Господь бы послал. Все же люди, не хищные враны, как эти Шуйские... Василий Шуйский погрознее, да стар и хвор... А Иван — та гадина опасная, хитрая... Ну, да что там?! Что было, то видели; что будет, поглядим еще... На все воля Господня...

Вздохнул и за книги свои принялся.

Старик ясно видел, в чем горе для Руси.

Каждый из союзников, какими явились два знатнейших рода — Бельских и Шуйских — пожелал прочнее в свои руки власть забрать, если не совсем, то хоть до того времени, когда государю пятнадцать лет стукнет и, согласно завещанию родительскому, снимется с него опека боярская, сам володеть всем начнет, как предки правили...

А для укрепления власти в эти давние времена был

один прямой путь: везде и всюду «своих» людей насаждать, и земель побольше, и угодий, и денег, и почету тем доставить, кто и мечом, и словом в трудную годину подсобит, выручит...

Шуйские своих тянут, Бельские — своих...

Сперва Шуйские одолели. Но году не прошло, как умер Василий, старший воинственный брат, герой литовского похода: от гнева ярого ударом скончался старик.

Иван Шуйский ему наследовал как глава рода. Тут и окрепли Бельские. Патрикеевых к себе, Хабаров, Иван Ивановича прилучили. Тучковы-бояре с ними же... И стали везде своих друзей сажать.

Было положено начало смуте еще в 1538 году, при Данииле-митрополите. Собрались, сговорились тогда Шуйские... Напали на Бельских с ихней дружиною... Кого по тюрьмам рассадили, кого в деревню выслали. А дьяка Мишурина, ближнего слугу покойного царя Василия, прямо без приказа государева нагим раздели и голову прочь! Тут же у тюрем, где Бельский был посажен. Даниила на житие в дальний монастырь выслали, а на его место Иоасафа поставили.

Выше мы видели, что думал год спустя, в 1539 году, митрополит Иоасаф, хотя и поставленный Шуйскими, но не любивший их.

Летом же 1540 года, то есть еще год спустя, когда десятилетний царь пришел в один из больших праздников с митрополитом здороваться, тот ему и сказал, подавая какую-то бумагу:

— Прочти, государь... Что молвишь?

Прочел Иван, заблестели глаза. Уж многое он ясно понимать стал, не по годам даже.

— Бельского на волю пустить? Господи! Да конечно! Все же я обиды такой от него, как от Шуйских, не знал и не видел... Да как Шуйские? Разве позволят? Вон дядя Иван и меня самого, было, раз чуть не прибил... Никого близко не нашлось... заступиться было некому, так он...

— Ничего, государь. Теперь на них, на Шуйских, все! Больно они каждому, — простым и вельможным людям, — больно солоно достались. Подписывай с Богом... Найдем, как дело сделать...

Подписал Иван, отдал и от радости даже руку пасырку облобызал.

— Праздник для меня нынче истинный...

— Вижу!.. Не заросли плевелами семена добрые в сердце твоём, чадо! Бог помилует тебя за это!

И Бельский неожиданно был освобожден.

Зашипел от злости Шуйский. Но дознался, что тут митрополита рука, отступился. Даже на совет государев ездить перестал. Дальше вести борьбу духу не хватило. Далеко ему до покойного дяди, Василия Шуйского.

А там, у царя, и рады, что не видно злого гордеца...

Скоро новая беда постигла Шуйского с присными.

Прибежали к нему приспешники из дворцовых, продажные души, да и говорят:

— Плохо дело твое, боярин! Чего только бояре Бельские и Захарьины и Патрикеевы задумали да у царя молодого выпросили! Андрею, князю удельному Старицкому, жене его, тетке твоей, сыну их Владимиру — всем темницу раскрыли. На ихнем дворе старом, в Кремле, на воле и жить государь повелел... Только не отъезжать никуда да на светлые очи царицы покуда не показываться.

Потемнел Шуйский, а сам криво так улыбается.

— Ничего. Еще поглядим-посмотрим, чья возьмет? У отца моего кобылка была, без меры ела и пила, пока не лопнула. На свою голову литовский «волчонок» волю забирает да врагов своих лютых на волю пускает. Что дальше? Поглядим!..

А дальше — больше пошло.

С митрополитом, с боярами заглянул Иван в одну из мрачнейших тюремных келий особой, крепкой палаты, где много-много лет в тяжелых оковах сидел Дмитрий, удельный князь Углицкий. Юношей посадили князя. А теперь дряхлый старец угасает в тюрьме...

Таков уж обычай был у московских великих князей в годы возвышения Русского царства: как воцарялся новый князь, так дядьев, братьев, всех ближайших соперников, всех родных, которые могли бы за престол в спор вступить, скорее таких по тюрьмам да в схиму сбывали...

Сжалось сердце у мальчика, когда он увидел дряхлого князя Дмитрия, родича своего. Волосами узник оброс... Борода как у лесного отшельника. От воздуха спертого, тяжкого желтый лицом старик, как остов, худ и страшен.

Сказали ему, кто пришел. Совсем отвыкший от ми-

ра и от людей, полуодичалый старец поднялся и, гремя цепями, отвесил поклон юному великому князю.

Вздрогнул от звука этих цепей мальчик. Сам быстро-быстро Бельскому зашептал:

— Снять... снять с него эти цепи скорей... прошу тебя, князь.

Дал знак боярин, живо расклепали наручники, ножные кандалы сняли.

Старик стоит не шевельнется. Словно и не ему милость оказана.

— Что мне сделать? Как порадовать его? — шепчет снова мальчик боярину.

— Сам подумай... Его спроси...

— Да, да. Князь Димитрий, чего хочешь? На волю? Или чего? Скажи... Я все сделаю...

— Ты кого... спрашиваешь?.. — с трудом, отвыкнув почти от членораздельной речи, зашамкал старик. — Димитрия, князя Углицкого? Так нету его... Давно помер!.. А мне, рабу Божию, ничего не требуется. Смерти жду... Скорее бы пришла... Да вот разве, Псалтирь новый... Затрепал я свой... Хоть и так весь знаю, да все лучше бы... А больше ничего... Жизни не вернешь мне... А без нее и свобода мне ни к чему... я здесь прижился...

И умолк. Снова стоит, словно мощи живые...

Вышли тихо все, как из склепа могильного, из кельи той тюремной...

Послал Иван старцу лучший, любимый Псалтирь свой и другие книги божественные... И от стола посылал блюда. Но сравнительная свобода и радость, после полувека страданий, словно подкосили последние силы старика, и он тихо угас, все время почему-то твердя:

— Не столько радости будет о девяности девяти праведниках, сколько об одном раскаявшемся грешнике.

И так затих.

Но еще это не все. По дальнейшему «печалованию», по просьбам Иоасафа, дозволил царь дяде Андрею с женой и детьми на Святой Рождественский вечер во дворец прибыть, за стол его с собой посадил. И здесь великую милость явил.

После трапезы подозвал дядю и говорит:

— По доводу святого отца-митрополита, с решения царской думы нашей и нашим хотением, возвращаются тебе, государь-дядя наш, князь Андрей Иванович Ста-

рицкий, все уделы твои, как дедом Иваном еще было жаловано. Отпускаются вины и измены прошлые, а напредки тебе нам верой и правдой служить, как крест целовал.

Сказал, а сам горит, лицом зарделся весь, исподлобья выглядывает, в лица окружающих всматривается: так ли, хорошо ли, складно ли сказал, все ли упомянул, что митрополит да бояре ему сказывали? И видит: ропот хороший кругом пошел... Старики головами кивают. Молодые между собой перешептываются... Значит, все хорошо. От восторга даже слезы невольные выступили на глазах самолюбивого, чуткого мальчика.

И все так хорошо прошло, да недолго, жаль. Году не прошло, а 3 января 1542 года гроза нагрянула, все от того же повета, от двора Шуйского. Извелся князь Иван Шуйский, думу думаячи. Сердце одна мысль только и жжет: растет, крепнет царь Иван. Говор про дела ребенка милосердного в народе пошел. Раньше словно и не знали на Руси об Иване Четвертом, царе-отроке. А теперь, где тот ни появится, толпа собирается. Здравствуют, многая лета кричат... Еще два-три года так пойдет, и с «волчонком» веки не справиться. Бельские совсем одолеют, хоть на Литву всему роду Шуйских уходить... Не может быть этого.

Решился тут Иван Шуйский на последнее. Из Владимира, где жил теперь после опалы князь, засновали гонцы. И в Москву скачут к заговорщикам-боярам, к друзьям Шуйских, к недовольным новыми порядками... И в Новгород, в прежнюю вотчину Шуйских, в бывлой вольный город вечевой вестники поскакали...

Все новгородцы на клич сошлись. В ночь со 2 на 3 января Шуйские в Москву прибыли, в город проникли. И триста человек с ними дружины, сильной, на все готовой, оружием увешанной...

Сторожа во дворе Бельского кто спал, кто подкуплен был, других — сразу захватили: крикнуть, тревогу поднять не дали.

Проснулся, вскочил Бельский, когда уж в соседней горнице шаги раздались.

— Кто там? Ты, Алексеич? — спрашивает.

Думает: дворецкий по делу какому спешному. А уж полночь пробило давно.

— Василич, а не Алексеич! — вбегая со своими приспешниками, крикнул Шуйский.

Опомниться Бельский не успел, к оружию не поспел кинуться, как уж связан был, кой-как одет, в телегу брошен и вон из Москвы с рассветом вывезен. В заточение далеко увезли его, в крепость на Белоозеро... А потом, чтоб совсем спокойно спать, поехали в мае туда трое холопей Шуйского и удушили князя. На сеновале спрятался он было... Здесь и нашли его, в сено сунули головой, сами навалились сверху, пока не задохся несчастный. Князя Петра Щенятева и Хабарова Ивана, вдохновителей Бельского, тоже забрали, по городам рассадили.

В испуге вскочил юный царь Иван, крепко спавший давно, когда влетел к нему бледный, окровавленный весь Щенятев-князь... А за ним и новгородские буяны, пьяные, срамные, с криком да гомоном, в шапках, к Ивану в покой ворвались... Не было довольно стражи во дворце.

— Стойте, холопы... Что вы?! Как вы смеее? — крикнул было царь.

— Ишь ты: холопы!.. Как поет! Тоже приказывает! Молод еще. А мы и сами с усами, гляди: нос не оброс!

И с глумлением, с прибаутками потащили вон Щенятева. Часу не прошло, вбежал сам митрополит Иоасаф, очевидно не зная, что здесь произошло.

— К тебе прибегаю, государь!.. К владыке земному... Агаряне нечестивые в Чудовом обложили меня. Я в Троицкое подворье... Там запрუსь, думаю. Да ведь черно от силы от ихней идумейской, дьявольской!.. И сам антихрист, Шуйский Иван ведет... Спаси, государь... Стражу кликни...

Но стража ни к чему не послужила. Малое число людей Бельский ставил во дворце, опасаясь дать отроку Ивану в руки много ратных людей. Теперь сам заплатился за это.

Вторично с криком и гомоном ворвалась буйная, дикая, полупьяная ватага в покои Ивана Васильевича.

Во главе — Шуйский, князь Иван.

— Как посмел ты без приказа моего с Владимира съехать? — перепуганный насмерть, но бодрясь еще, спросил строго юный великий князь и выступил вперед...

Толпа назад подалась. Иоасаф в это время успел через другую дверь вон убежать и кинуться в Троицкое подворье.

Шуйский на слова отрока грубо оттолкнул его от себя и крикнул:

— Молчи!.. «Волчонок» молодой... Иоасафа лучше головой нам выдай! Изменник он земле, и сместить его надобно, иного пастыря стаду дать...

Вне себя от обиды, от грубого толчка, мальчик обезумел... С пеной у рта схватил со стола у постели тяжелую книгу с застежками в кожаном переплете и ударил ею обидчика.

Шуйский успел уклониться... Слегка только поцарапало висок ему углом... Злобно схватил боярин мальчика и швырнул его на кровать. Падая, тот весь вытянулся, затрепетал, и сильнейший, еще небывалый у ребенка припадок судорог тут же начался...

— Ну, ладно, выздоровеешь, — крикнул бездушный крамольник и кинулся со всеми по следами Иоасафа, к Троицкому подворью...

Совсем дикая сцена разыгралась там.

В Кирилловом Белоозерском монастыре заключили Шуйские Иоасафа, а на митрополичье место посадили «старателя своего» — новгородского же архиепископа Макария, давнего друга покойного царя Василия.

Главное было сделано: власть вернулась в руки Шуйских. С ними ликовали и Палецкие, и Кубенские. Но душа заговора, князь Иван, не пожал плода от злодеяний своих: через год его не стало. Отравили, говорят...

На первое место встали Иван да Андрей Михайловичи Шуйские да Шуйский-Скопин, князь Федор Иванович...

Год прошел еще.

С той ужасной ночи и после сильного припадка своего круто опять изменился великий князь. Замолк, побледнел, осунулся... Не слышно стало смеха частого, который так и звенел раньше в каждой горнице, где Иван с братьями играл или с ребятами голоусыми. Это все были дети бояр и дворян значительных, которые «наверху», в царских покоях воспитывались...

Отстал от игр царь-отрок. Читает только по-старому, много. Еще больше прежнего.

Из верхних ребят особый любимец у него объявился, старше его года на три, на четыре: Федор Семенович Воронцов, испорченный, ленивый мальчик, царский рында (заменяющий пажей при московском дворе).

Скоро Иван также обленился, позабыл и любимые книги свои, и прежние забавы, словно совсем отупел, — только и делал, что по саду бегал, играл со своим товарищем. А припадки чаще повторяться стали...

Скоро враги Шуйских с друзьями своими смекнули, что тут можно сделать. Через отца Воронцова, падкого на подкуп, стали они мальчика Федю учить, как надо вооружать Ивана-царя против правителей.

— Знаешь, Ваня, — мягким голосом, с ленивою манерою стал нашептывать раз вечером Воронцов Ивану, — Шуйские-то всю казну отца твоего себе перетаскали... И сейчас не столько добытку в твою казну идет, сколько к их рукам прилипает. Ты бы отца моего к казне большой приставил... Вот тогда заживем мы с тобой...

— Ну, что ты?! Не видел разве, миленький, как они со мной? Не чинятся ничуть... Словно они — государи, а я ихний вотчинник.

— Да сам виноват!.. Пригрозить не умешь.

— Чем грозить-то?

— Вот на! Да откуда сила у них? — повторяя на твержденный отцом урок, заговорил Федор. — В чем сила, знаешь ли? В имени твоём царевом!.. Напиши на лоскутке бумаги имя свое... Да хоть мне или отцу моему в руки дай... Я любому воеводе прикажу перехватать их да удавить... Ныне же... А то скажи им раньше: «Мол, если не сделаете по-моему — на площадь выду... На Лобном месте стану, клич кликну: «Народ православный, люди московские! Кто заступится за меня, спасет от боярского своеволия?..» И струсят они тут же! Уж помяни мое слово!..

— Хорошо, Федя... Хорошо, миленький! — пообещал царь-мальчик другу. И скрепил поцелуем обещание.

Все исполнил, все повторил при первом же случае Иван, что Федя ему говорил. Дело было в Столовой палате, на обычном совете государевом 9 сентября 1543 года.

Нахмурились Шуйские, зароптали Кубенские, Пронские, Басманов Михаил с ними и Федька Головин.

— Что за речи негожие? Откуда их взял ты, государь, не потаи!..

— Ниоткуда не взял! — упрямо хмурясь, ответил государь. — Сам я так надумал, решил... Сам так и



сделаю... Пиши, дьяк, — обратился он к дьяку палатному.

Тот, не зная, что делать — писать или нет? — переводил глаза с Шуйских на Ивана и обратно.

Андрей Шуйский, теперь стоящий первым в роду, только бровью повел — и дьяк застыл в своей прежней бесстрастной позе, словно и не слышал слова царского.

— Пиши, говорю, холоп! — крикнул, бледнея, отрок.

— Потерпи малость, государь... Все будет написано и сделано. Да обсудить же малость дай... Не простая вещь... Вишь, Воронца Сеньку — к большой казне приставить... Волка — вечно стадо стеречи... Не изменишь ли волю свою государскую?

Тринадцатилетний, но много в жизни изведавший мальчик почуял, что глумятся над ним. Он постарался не выйти из себя, чтобы не потерять преимущества над мучителями.

— Нет, не перемену моей воли государской, — спокойно по виду ответил Иван. Только какая-то больная струна зазвенела в звуках голоса.

— Что делать, видно, исполнить придется, — мигнув единомышленникам, опять мягко процедил Шуйский. — А еще, отче митрополит, ты попроси, не уважит ли твоей просьбы пастырской строгий наш царь-государь.

— И то, сыне! — медленно, убедительно и плавно заговорил ставленник Шуйских, волей-неволей покорный им Макарий. — Не отменишь ли? Казна твоя большая хорошо оберегается... И малая — тож... За какую провинность людей сменять? Не водится... Ну, скажем, если уж так тебе твой слуга люб, иначе чем возвысь его...

— Царь я, не царь я? — крикнул мальчик, забывая даже почтение к сану святителя. — Его, вот его, — указывая на сидевшего словно на горячих углях Семена Воронцова, заговорил быстро царь, — его к казне... Ныне же приставить... Не то клич кликну... Народ на вас подниму, на мятежников...

— Вот оно что! — бледнея от ярости, заговорил Шуйский. — До того уж дошло... Царь на верных слуг своих, на бояр на первых, народ натравить желает... Ну, как по-твоему не сделать теперь?! Его? Его вот к казне

к большой?! Ну, а змееныша этого, наушника, — указывая на стоявшего за местом царевым Федора Воронцова, загремел боярин. — Его куды?.. Уж не на мое ли место?.. Сказать народу, за что он тут от царя посажен!.. Что народ скажет? А?.. Иди садись, голубчик...

И, вплотную подойдя к оробелому от неожиданного поворота дел Феде, Андрей Шуйский повлек юношу к своему месту, прочь от Ивана...

Окружающие поняли маневр... Вскочили... Кто окружил великого князя Ивана, другие стали тащить прочь из покоев Федю Воронцова... засверкали ножи в руках.

— Убить... Убить гадину, что промежду царя и бояр рознь сеет! — первый крикнул Шкурлятев-князь.

С воплем рванулся на помощь другу Иван, но плотной стеной стояли тут бояре: и Пронские, и Палецкий...

Затем когда уже увели Воронцовых, сына и отца, совсем вон из палаты, и эти бояре вдогонку побежали...

Оборванный, избитый, бледнее смерти, мотался в руках палачей Федя и молил о пощаде. А те все тащат вперед, из горницы в горницу, на дворцовое крыльцо...

Иван кинулся на колени перед митрополитом:

— Святитель! Заступись... только бы они, злодеи, не убили его... Пусть все будет по-ихнему!.. Беги скорее... Как хотят, стану покоряться им!.. Только бы не убили его, Федю несчастного!..

Встал, пошел Макарий, высокий, сухощавый, на ходу слегка раскачиваясь...

К Морозовым, сидевшим тут же, в стороне, печальным и молчаливым, к ним кинулся юный князь.

— Вас чтут бояре, чтит народ... Ради Спасителя, молю: застойте за Федю...

Встали Морозовы, пошли на выручку...

В сенях дворцовых, видят, сгрудились все. Угрозы звучат... Ножи в руках...

Стал просить Макарий:

— Чада мои: Бога вспомните!.. Не проливайте крови под сенью царевой... Молод, глуп парень... Со слать — и то кара будет ему!

И Морозовы голос подали:

— Опомнитесь, бояре... До народа еще долетит о нас худая молва. Что хорошего? И царь не всегда в молодых годах пребудет. Попомнит услугу вашу.

Потешившие свою душу над обоими Воронцовыми, бояре успели остыть на воздухе.

— Ну, ин ладно! — отозвался запевала — Шуйский Андрей. — Взашей их с крыльца... Эй, стража, подбери-ка казначеев княжевых, господарских!..

И когда кубарем слетели со ступеней, сброшенные вниз, оба Воронцова, их подхватили стражники Шуйского и повели в тюрьму.

Великий князь Иван видел это в окно. Не успел вернуться в столовую палату митрополит, как отрок кинулся к нему:

— Спасибо, отче... Видел я: вызволил ты несчастных. Век тебя не забуду... Еще прошу: поди от меня Шуйских моли: недалеко бы их... В Коломну бы их, чего лучше?.. Пусть там пока что проживают... Воронцовы, если уж из Москвы их выбить задумали... Вон шумят бояре на крыльце... Толкуют, видно: как дальше им быть?.. Скорей иди, отче!

Опять вернулся Макарий на крыльцо.

— С чем опять? — крикнул ему Фомка Головин, особенно не любивший Воронцовых и недовольный, что не дали ему прикончить недругов.

Макарий передал просьбу царя.

— В Коломну?! Ишь ты!.. А то еще в Тверь, благо Москве она дверь! — с издевкой подхватил Фомка. — Поди скажи княжати своему: не бывать тому!.. Ступай, ступай...

Яростно надвигаясь на Макария, чтобы заставить того уйти, Фома тяжелым, подкованным сапогом наступил на край его мантии, и затрещала, разрываясь, крепкая ткань.

Макарий не сдвинулся.

Так же мягко, плавно и внушительно, как всегда, он произнес:

— Да сбудется реченное пророком: разделили ризы мои между собою и об одежде моей бросали жребий.

Услыхав такой упрек, сравнение их с мучителями Христа, бояре сдержаться захотели.

— Иди, отче, с миром к царю и скажи: в Коломну — больно близко для изменников, доносчиков и воров ведомых... На Кострому мы их сошлем, — сказал Андрей Шуйский.

Молча выслушал ответ бояр Иван, без звука, низко поклонился святителю — и прочь пошел в свою горницу.

Не плакал уж он, не приходил в ярость, как в другие разы... Шел медленно, словно и не видал ничего вокруг... Вот уж у себя в покое он...

Сидящий здесь десятилетний Юрий, которого всегда любил и ласкал государь — брат старшой, тот, несмотря на всю тупость свою, когда увидел страшное, перекошенное злобой лицо Ивана, не осмелился даже подойти к нему. Притихла и Евдокия Шуйская, двоюродная сестра Ивана, тут же, как мышка, прикорнувшая под надзором няньки, боярыни неважной...

И хотела — и боялась она подойти спросить: что с братцем, всегда таким веселым и ласковым с ними с «малышами», как звал Иван ее и Юру, гордясь своим старшинством.

Молча дошел Иван до окна, в глубокой нише которого были два выступа по бокам сделаны, словно скамейки две, и ковриками перекрыты...

Не сел он, а так, стоя глядел на площадь в раскрытое окно.

Слышит, что-то живое, мягкое завозилось у ног его.

Взглянул он: кошечка, любимый котенок это Евдокии, которого и сам Иван порою баловал. Теперь котенок подобрался к ногам княжим, стал лапкой за кисть сапожка сафьянового потрагивать-поигрывать; мурлычит еле слышно, ласково...

Вдруг с каким-то яростным, глухим, горловым взвизгом, скорей похожим на вой зверя, чем на крик человеческий, поднял ногу Иван и с быстротою молнии опустил ее прямо медной подковкой на головку бедного зверька... Тот и не мяукнул... раздался череп... А Иван все топтал зверька и приговаривал глухим, хриплым шепотом:

— Андрею так... Фомке так... И Алешке... И Шкурлятеву... И Кубенским... Так... так... так...

И вдруг, нагнувшись, схватил истоптанное животное и с каким-то необычайным, залихватским хохотом швырнул из окна туда, вниз, в шумную народную толпу, снующую перед дворцом...

Нянька в испуге выбежала... дала знать митрополиту и большим боярам, что с государем неладное тво-

рится что-то... Евдокия сначала окаменела от страха и жалости за свою кошечку, но вдруг опомнилась... Кинулась сперва к братцу... Потом к дверям... Словно побежать хотела туда, на площадь, где, окровавленное, лежало тельце ее любимицы... Но тут ее переняла возвращавшаяся нянька.

А Иван, заливаясь все тем же больным, неудержимым хохотом, повалился на выступ у окна — и по телу, по лицу у него стали пробегать частые судороги, предвестники обычного припадка.

## Часть II

# СВЕТЛАЯ ПОРА

*Год 7051 (1534), 29 декабря*

Большое «гостеванье», пир честной идет в новом доме дьяка посольского, богатого новгородского вотчинника Федора Григорьевича Адашева.

Очень недавно приехал Адашев со всей семьей на Москву, а повезло ему. И службу хорошую доброхоты доставили, и двор такой, хоромы новые вывел он, каких в Новгороде не имел.

Положим, не зря снялся дворянин со старого своего пепелища и поехал нового счастья в новом краю искать.

Кроме различных торговых и родственных связей, какими зачастую новгородцы обзаводились среди москвичей, среди этих хотя и менее богатых, но более могущественных соседей, у старика Адашева нашлось два особливых помощника, два добрых давних приятеля в Москве Белокаменной, которая теперь не одной силой и значением государственным, но и красотой своих новых строений стала затмевать древний «град Св. Софии».

Один из этих двух — сам Макарий, бывший архиепископ новгородский, теперь — митрополит московский и всея Руси.

Другой — коренной новгородец, земляк и старинный благожелатель Адашевых, Сильвестр, отец протопоп Благовещенского собора кремлевского, переведенный сюда еще Иоасафом, но дружный и с Макарием, новым митрополитом московским.

Года полтора-два всего, как переехал иерарх верховный Макарий из Нижнего на Москву.

И тогда же, в числе нескольких других сторонников своих, уговорил он и Адашева переселиться за собой.

— Все же «свои люди» там будем, не совсем одни в

чужой стороне! — полушутя-полусерьезно объявил умный пастырь Макарий, когда узнал о своем назначении на митрополичий престол.

— Оно, слова нет: сам князь Ондрей меня ставит... Да сказано: «Не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие...» Нынче князь Шуйский таков, завтра — инаков. А оно — чем выше сести, тем больней упасти. Не так ли, отец протопоп? — обратясь к Сильвестру, бывшему при разговоре, продолжал Макарий, глядя на него открытыми, ясными глазами и медленно перебирая на руках зерна топазовых четок, похрустывавших своими острыми гранями.

— Тебе ли не знать, отче?.. Видали мы, куды из митрополичьих-то покоев угодить можно! И скоренько!..

— То-то ж! А твой сын и ты, Федя, мне же надобны будете... — снова обратился к Адашеву пастырь. — Ты — правая рука мне в делах... А сын — в книжной премудрости помощник... Светлый разум ему Господь дал. Если когда захочет священный сан принять — до большого достигнет. И разумом светел, и духом чист!.. Люблю его, прямо тебе говорю, Федя! — обратился Макарий к Адашеву.

Тот только низко поклонился на добром слове:

— Твои люди, владыко. Как прикажешь. Хошь завтра ж сберуся, опричь хором, со всем двором, и с чадью, и с домочадцами!..

Сказано — сделано.

На Москве сперва Адашев всей семьей у дружка одного встал, благо широко строились тогда люди, которые побогаче. Труд — почти даровой, кабальный по большей части. Лесу — за алтын — на рубль навезут. Круг Москвы леса стоят, взглянуть на верхушки деревьев — шапка валится.

Двух месяцев не прошло, осень еще не подкатила вплотную, а уж Адашев новоселье справлял.

А теперь вот год спустя опять большой пир у него. Третьего декабря Федора, ангела своего, чествует хозяин.

Все исправил он честь честью. В шестом часу утра стоял уже с двумя челядинцами в сенях митрополичьих со своим именинным пирогом. Тут немало уже набралось и другого люду. Кто — с такой же нуждой, как сам Адашев. Кто — благословенья на свадьбу детей, на постройку новых хором или на иное какое жи-

тейское дело у владыки испросить. Всем двери раскрыты.

Отошла ранняя служба. Впустили в палату просителей и поздравителей. Макарий уже был предупрежден, кто — зачем? Служки всех опросили и доложили ему.

Для всех и каждого нашлось ободряющее слово пастьырское. За дары иконами всех мирян одарил владыка. На строение на новое — тоже иконами благословил.

С Адашевым особенно долго и ласково толковал Макарий.

Отпуская уже его с благословением и передавая образок великомученика Федора, князя черниговского и ярославского, митрополит спросил:

— Так нынче, думаешь, все порешите?..

— Нынче, отец святой. Нынче. Так все толковали...

— Ну, в добрый час. Оно давно пора... иди с миром!..

Осенил его крестным знаменiem и отпустил.

Двор Адашева, как человека пришлого и незнатного, ютился не в самых стенах Кремля, где имели свои хоромы только старые дружинники да бояре знатные или родичи и слуги цареvy.

Построился Адашев у Никольских ворот, неподалеку от земского двора, по эту сторону высокой Кремлевской каменной стены, от моста недалеко тоже, что через Неглинку-реку перекинут был и сообщал Китайгород с Заречною частью, с Занеглименем.

Мост этот, широкий, с крытыми лавками и помещениями по бокам, наполовину деревянный, наполовину каменный, вел в Белый город. Здесь всегда кипела торговля и жизнь. Словно гнезда ласточек, лепилось жильё человека по бокам широкого мостового проезда.

Откупив для себя довольно изрядный клочок земли, Адашев основательно обстроился, обведя высоким, крепким тыном тот поселок, каким явился его новый двор. Всего тут было: и собственные жилые палаты, и женские терема, и даже особая хранина вроде часовни или «крестовой палаты» больших бояр, где утром и вечером, а то и трижды в день собиралась на молитву вся семья с чадами и челядинцами.

Для последних тоже были вытянуты людские избы, попроще: летники и зимники; там же, в глубине двора, тянулись стойла и конюшни, и амбары, и клето-



вушки. Словом, все как быть должно, включая и сад, довольно густой и обширный, с прудом и беседками.

Все отдельные срубы, кроме черных, людских изб, соединялись галереями, ходами, переходами и лестницами. Более низкие жались к высоким; пристройки и приделочки были налажены всюду и понемногу еще росли, по мере надобности или увеличения семьи и средств у хозяина.

Здесь в миниатюре повторялось то же, что с пала-тами царскими, митрополичьими, боярскими... Что со всей Русью творилось в этот период ее нарастания и устройства. Жилось широко, и прилаживался каждый к своему вкусу и норову, не заботясь особенно о соседе или хотя бы о вопросах общественной целесообразности.

Впрочем, и смысл был в таком раскинутом построении. В случае пожаров, которые были часты и сильны в те времена, если часть деревянной усадьбы и погорала, другая часть могла уцелеть и дать приют, пока там заново хозяева отстроятся.

С прошлого вечера приборка шла в доме: наутро знатных гостей ждут. Правда, сам не велик боярин Адашев, да пришлый он, с ним не так чинятся, с выходцем новгородским. Известно: новгородцы — люди мирские, вольные... Да и сам митрополит к нему, Федору Григорьевичу, как-то изволил пожаловать. Сын Федора, Алексей, — один из любимых юношей-дворян у митрополита. А это много значит для набожных бояр.

И сразу словно своим стал незначительный посольский дьяк у таких родовитых князей и бояр, как Глинские, Челяднины, Годуновы; даже у самих Мстиславских и Шуйских — Адашеву прием и почет.

Все-то они нынче обещали «побывать» на часок, именинного пирога откусать, хозяину здоровья и долголетия пожелать за чарой вина доброго...

И собрались рано, по обычаю... после полудня.

Все почти тут: Григорий и Михаил Юрьевичи Захарьины-Юрьевы, боярин Юрьев, Роман, отец Анастасии, будущей царицы московской... Челяднин Иван Андреевич, охотничий царский любимый, молочный брат юного царя, хотя и много старше он Ивана Васильевича; князь Михайло Курбский пожаловал, Иван Годунов с ним, отец Бориса, будущего государя самоставленного; Воронцовы: тут Илья да Матвей, дальние родичи со-

сланных недавно, любимцев царских: Федора и отца его... Михайло и Юрий Васильевичи Глинские пожаловали, дядевья царские, давние враги Шуйских. Курлятевых двое, Бельский Яков, Ховрины-Головины, старинный род, из Суража-града выходцы, родня тем Головиным, что Шуйского руку держат, только не заодно они с родичами. Князь Хованский Андрей Федорович здесь, тесть будущий Владимира Андреевича, Старицкого князя, двоюродного братца царского.

Федор Бармин, как один из самых почетных гостей, в переднем углу сидит. Он духовник юного царя.

Не любит поп нового митрополита, не любит и Глинских, которые среди всех собравшихся — первые; но сильнее всего не любит он Шуйского Андрея.

Обманул верховный боярин Бармина. Архиерейство за постоянную помощь, а там — клобук митрополичий попу обещал, да все водит, все манит... Решил порвать с первосоветником Федор. А для этого надо с Глинскими подружиться.

Федор Михайлович Мстиславский князь, прямой Рюрикович, с сыном приехал, с юным Иваном, кравчим и очень близким человеком у юного царя. Старик — тоже один из первых в думе после Андрея Шуйского. Недаром покойный царь Василий Иванович женил князя Федора на единокровной племяннице своей Анастасии, рожденной от крещеного царевича казанского Петра и от Евдокии, родной тетки царя Ивана малолетнего.

Таким образом, Иван Федорович, рожденный от брака Мстиславского с Анастасией Петровной, хоть лет на семь и старше юного царя, но доводится тому троюродным племянником.

Заглянул на пирушку и родич князя Федора, молодой стольник Иван Дмитриевич Мстиславский.

Сабуров-боярин тут, Иван Иванович, Замятня-Кривой прозвищем. С другими приехал и смелый воитель, происходящий от древнего колена суздальских волостелей и князей, отважный воевода князь Александр Горбатый, Кубенский Иван и немало других еще, богатых и знатных.

Конечно, припожаловали и сослуживцы Адашева по приказу, но, видя, в какое блестящее общество попали, не стали очень засиживаться. Да и столы для почетных гостей стояли отдельно от общих, где помельче люд сидел.

Этим-то накрыли столы и в сенях, больших и светлых, заменявших в те времена в доме приемную комнату, и в трапезной людской, большой чистой горнице, особенно парадно прибранной и изукрашенной теперь. Полы застлали циновками и полавочки полстяные набросили на деревянные лавки, что вдоль стен тянутся.

Перед каждым крыльцом везде рогожи большие, штук по несколько разостлано: ноги от снега отирать, чтобы в хоромаш не наследить. Рогожами новыми, чистыми переходы и полы везде устланы. А в иных покоях, где знать перед обедом собираться должна, и в самом столовом покое даже циновки узорчатые и дорожки белые положены. Недаром из Суража и Адашев родом. Знает, как надо дом обрядить по-хорошему. И то про итальянцев-суражан толк идет, что у них порой хоть и в брюхе щелк, да на брюхе шелк. Умеют товар лицом показать! Стены в покойчиках «собинных» у Адашева и коврами увешаны, и вещами дорогими разными затейными заставлены.

Шубы да охабни свои гости на крытом крыльце да в обширных сенях снимали, сами в кафтанах за стол пошли. У шуб люди стоят, наготове и для береженья, чтобы путаницы не вышло.

Самый пир тоже не зря налажен. Поклонился Адашев боярину Мстиславскому, доброму и ласковому, тот отпустил своего дворецкого домом править у Адашева на весь день. Ключники и слуги домашние помогают важному, толстому распорядителю, который ростом и дородством любому вельможе не уступит.

Обещал ему именинник «поминки» хорошие. Да и есть за что. Накануне еще осмотрел Молчан Всячина, так звали дворецкого, поле сражения: запасы и вина приготовил, поварам, тоже принатым, приказы отдал. А теперь, видя, что дворня Адашева, хотя и большая, все же неопытна и с порядком не справится, отобрал из челяди, которая во множестве за господами приехала, по одному, а то и по два от каждого гостя и к делу приставил. Все как по маслу пошло. Привычны челядинцы к боярским пирам широким, и каждый знает свечаи да обычаи господина своего: что любит, что не любит тот да как ему служить. Все дворецкому говорят. Тот слушает и налаживает. А челяди любо: и самим подоночки перепадут, и алтын-другой подарит уже хозяин за услугу.

Так все хорошо и чинно пошло, словно бы равный равных у себя принимает, а не случайник-угодник боярский своих покровителей и милостивцев чествует.

Сияет Адашев. Всюду поспевает, повинуюсь указанию толстого Молчана Всячины. Два сына: Андрей да Данилко-подросток — помогают отцу.

Шум и гам на дворе и в избах людских; в поварнях — сущий ад! Двор людьми и колымагами заставлен.

Даже на улице перед широко раскрытыми, обыкновенно же крепко притворенными воротами сани и возки стоят. И внутри двора, в саду, где он граничит с задворками, здесь место немного порасчищено, верховые кони стоят тех гостей, кто верхом приехал. Сено всем лошадям брошено, овес даден. Иные гости свои запасы привезли, другим клюшник выдал. Стоят, терпеливо ждут кони, изредка вздрагивают, ушами поводят, фыркают.

Конюхи и кучера, что сторожат коней, в кучки сбились, толкуют, пьют и закусывают тут же, благо и о них вспомнили. Молодые парни галдят, борются, шутки шутят. И стон стоит во дворе и в избах людских, где челядь, приехавшая с гостями, тоже ест, пьет и угощается.

Как поели, стемнело уж, лучины и каганцы тут зажгли, домры и балалайки зазвенели, пляс и песни начались... Не отстают черные люди от бояр и князей, поминают Феодора, ангела хозяйского.

Столованье в палатах хозяйских тоже уж отошло. Свечи в люстрах и лампадки большие везде зажжены. Немало гостей разъехалось, особенно из тех, кто попроще. А знатные бояре разошлись вовсю и не думают восвои собираться.

Все как-то «свои» подобрались, словно по уговору, и как дома себя чувствуют. Смехи, шутки...

Люди здесь все не старые: кому тридцать — сорок, редко кому пятьдесят. И выпить охочи, как все тогда это делать любили. А погреб у Адашева на редкость! Недаром он и самому митрополиту фряжские вина выписывал! Только пьют-пьют гости, а сами друг на дружку поглядывают, словно ждут чего. Толкуют все про дела и семейные, и государские. Туго что-то жить стало.

Конечно, хвалят все отсутствующего первосоветника и чару про его здоровье пили после чары государевой...

Нельзя иначе. Здесь, за столами, расставленными покоем, много сидит заведомых «ласкателей», «похлебников» князя Андрея Шуйского... Да, верно, и среди челяди, шныряющей за услугой между столов, немало есть «послухов», подкупленных шпионов властолюбивого князя. Известное дело: чуть человек у царя в силу вошел, он везде старается глаза и уши иметь, чтобы знать все: что где говорят или делают?

Как дома устроено, так Москва и в иных краях поступает: у султана турецкого, у ханов казанского и крымских везде свои слуги у Москвы есть. А касимовский подвластный царек так шпионством опутан, что и шагу ступить не может, чтобы отклика в теремах московских не было.

Так уж дома у себя люди сильные, полномочные зорко и за друзьями, и за врагами следят.

Правда, слишком незначителен Адашев, чтобы думать о нем первосоветник, слишком все естественно и ловко сложилось сегодня, чтобы он заподозрить что-либо мог, но «береженого, говорят, Бог бережет!».

И каждое слово счетом и с опаскою говорят бояре, даже злейшие враги Шуйского, хотя и раскраснелись их лица, сверкают глаза и расстегнуты ворота шелковых, богато расшитых косовороток-рубаш.

И не столько наружная теплынь и духота покоя томит застольников, сколько внутренний огонь, жажда неукротимая.

Только странная вещь: чем больше заливают они огонь, чем больше утоляют жажду, осушая кубки и стопы одну за другой, тем сильнее духоту и жажду чувствуют.

Много мест опустело за столами, уставленными вдоль всей обширной горницы.

Кто за добра ума уехал, кто свалился под стол и храпит. Других слуги заботливо вынесли, уложили в сани, в колымагу ли и домой на отдых повезли.

А кучка бояр, из тех, кто выше назван, все сидит, словно чего-то дожидается.

Человек двадцать — двадцать пять их, которые нет-нет да и переглянутся или на остальных гостей посмотрят, на человек пятнадцать — двадцать, тоже «питухов знатных», которые, очевидно, могут пить вино, словно воду.

Устав от хлопот, присел и хозяин. А сыновья его с

тремя-четырьмя княжатами да боярскими детьми, что помоложе, пошли после стола на конюшни нового аргамака смотреть редкой аравийской породы, которого за большие деньги в Астрахани для сына Алексея, любимца, старик Адашев через знакомых купцов приобрел. Потом, налюбовавшись на красавца скакуна, перешли в покои, где редкие заморские часы «боевые» и «воротные», на цепи, на шее висящие, красовались, жбаны и чаши редкой чеканки, болваны, идолы восточные, оружие редкое... Все, что предки Адашева из Суража вывезли или он сам потом в Новгороде торговом от проезжих торговых людей накупил...

А старики все сидят, речи веселые толкуют...

— А что же верховный боярин наш, князь Ондрей, не пожаловал? Пира-беседы не почтил? — вдруг спросил кто-то.

Адашев повел бровями и ответил поспешно:

— Просил я, как же, просил его честь. Да, конечно, люди мы незнатные!.. «Недосуг, говорит. Коли справлюсь с делами — загляну. А лучше не жди!» И на том спасибо, конечно! Люди мы маленькие! Уж как духу хватило просить о чести — не знаю! — как-то странно улыбаясь, закончил свою речь хозяин.

— Эка вывез!.. А еще умный ты человек считаешься, Федь! — угрюмо отозвался вдруг молчавший почти весь день князь Андрей Федорович Хованский.

Хоть и трезв он был совсем, в рот вина не брал нынче по приказу лекаря, потому хворь одолела боярина: камчуг на ноги пал, еле ходить дает, пальцы горой раздуло, и сейчас в меховом чулке одна нога, а не в сапоге, — да не смолчал на слова Адашева.

— «Честь»... Просить как посмел?! А как же мы? Как же нас? Али мы хуже Андрюшки Шуйского?..

Все, кто сидел за столом, насторожились. Сидели тут хоть и без чинов, но группами, невольно подбираясь приятель к приятелю.

Настроение у всех групп было разное: кто о чем толковал, как на кого хмель действовал.

Но тут ясно выразилось два течения.

Одни, «свои», перечисленные выше, гости словно остановиться хотели взглядами некстати разговорившегося самолюбивого и раздражительного боярина, особенно подвинченного припадками подагры и невольным воздержанием, когда все так аппетитно пили вокруг.

Из второй половины, «чужаков», как их в уме называли первые, кой-кто просто стал вслушиваться, слышав смелое слово, а иные, даже вида не подавая, так и наострились, чтобы не пропустить ни звука, особенно когда беседа приняла столь интересный оборот.

Эти последние, все друзья и присные Шуйского Андрея, даже сугубо стали осушать кубки, болтать с соседями, а сами все слушают. Один из них вдруг, словно совсем опьянелый, поник головой на скатерть, залившую, заваленную объедками, кусками, и захрапел.

Адашев все это сметил. Не проглядели и другие.

— Слышь-ка, тезка! — прервал князя Хованского, очевидно собравшегося продолжать свою речь, князь Андрей Дорогобужский, старый, почтенный, поглаживая серебристую, большую бороду. — Брось, милый! Вон и не пил ты, а горше нас вздор мелешь. Хуже мы, не хуже его, а он — первый в царстве, значит, ему и честь такова... Его дело, кого ему хочется жаловать...

— То-то и дело: жалует царь, да не жалует псарь! — уже негромко, сквозь зубы проворчал упрямый, не привыкший сдаваться скоро князь. — Э, видно, домой мне пора!..

И он стал подниматься при помощи слуги, который неподалеку наготове стоял.

— Да, уж, видно, пора! — раздались и еще голоса, больше «чужаков».

Хозяин последних не стал особенно удерживать. Прощаться начали, кланяться. Проводы до сеней пошли.

— А только вас, гости дорогие, — обращаясь к группе «своих», сказал Адашев, — не пущу я так скоро. Такая мне радость!.. В кои-то веки всех моих печальников да доброхотов в моем доме повидать пришлось!.. Уж не пущу! Хошь ворота на запор!

— Ладно, посидим еще! — за всех отозвался Милославский.

— Да не здесь... Я вот гостей дорогих провожу. А потом в другую горницу перейдем. Хоть и помене она, да прохладнее там. И топить нынче не сказано... Туды нам и подадут все...

Быстро проводив уезжающих, вернулся хозяин к пирующим. Поодиночке по просьбе хозяина поднимались «свои» и в сопровождении Алексея, пришедшего с отцом, направились во внутренние покои, в терем.

Хозяйка и дочка Адашева со всеми девушками и мамками ушли из этой половины. В светлице девичьей, гостей ради, сидят теперь, свою беседу ведут.

А два больших покоя убраны хорошо, столами уставлены, словно и ждали, что сюда кто придет.

Так вышло, что наверх только человек двадцать «своих» попало: остальным Адашев с поклонами заявил:

— Эка жаль! Не вместимся все там! Видно, здесь догостюете! Вот сынок Алеша послужит дорогим гостям. В угощение отлички не будет, не сумлевайтесь!..

— Ну, вот! Нешто мы не знаем хозяина ласкового? — раздалось в ответ.

И волей-неволей все нежелательные люди остались тут, внизу.

Когда Адашев сам поднялся наверх, там уж шел пир горой, словно затем только и собрались все эти первые вельможи московские.

В передней горнице бубен гремел, цимбалы залились... Девки дворовые, еще раньше позванные хозяином, песни лихие пели...

Гости, сидевшие во второй комнате, подтягивали пенью, пили... Кто-то помоложе даже по горнице в плясовую пошел.

В раскрытые двери все видно. И завтра же, если еще не сегодня, первосоветник знать будет, как весело ангела своего Федька Адашев справлял, как кутили бояре, соперники Шуйского в делах правления, а в жизни радые только выпить и поплясать где бы то ни было, хоть бы и у такого худородного вотчинника, как пришелец новгородец.

Час или два так дело шло. Но потом картина изменилась. И кто заглянул бы теперь в покой, заметил бы, что не пьют гости Адашева, что не хмель да не бабьи песни держат их здесь так долго.

Сидя за столами, под звон и гром музыки, под громкое пенье голосащих баб, какую-то важную вещь обсуждают бояре.

Губы сжаты решительно у всех, брови принахмурены. Голоса негромко, но внушительно и твердо звучат.

— Кажись, никого чужих? — оглядевшись, заговорил Федор Бармин. — Можно и присягу дать?

— Можно... давай! — слышались голоса.

Все сгрудились вокруг попа. Двое-трое только и сам хозяин стояли в дверях, словно любясь на пляски, а в



сущности затем, чтобы не дать любопытному или подкупному глазу разглядеть, что тут делается. Слуг тоже не было во втором покое.

В первом их всех поставили, без зову входить не велели.

Бармин уже двинулся к божнице в углу и хотел взять большое, окованное серебром Евангелие, как вдруг увидал в полуосвещенном пространстве какую-то фигуру, лежащую на полу, почти наполовину под лавкой.

— Что такое, хозяин? — обратился поп к Адашеву. — Кого ты здесь раней нас поштовал? Вон уж одно мертвое тело лежит...

Адашев быстро подошел.

— Эге! — наклонившись над лежащим, сказал он, разглядывая лицо несомненно пьяного человека, которого хмель свалил здесь и кинул под лавку.

Затем, поднявшись, объявил:

— Кабальный это мой недавний. С полгода, как записан. Сам, говорит, из духовных детей... и здоров пить. Раней, толковал, конюхом на дворе у Шуйских служил. Да за слабость согнали... К вину слаб... Видно вот... допился.

При имени Шуйских все многозначительно переглянулись. А пьяный мужичонка лежал неподвижно, словно мертвый, только тяжело, неровно дышал, с присвистом каким-то. Рот полураскрыт, язык виден... Вином несет... Борода, седеющая уж, вся взмокла, взъерошена... Лицо космами волос полузакрыто. Противный, грязный... Мертвецки пьян.

— Что же? Сказано: веселие есть пити!.. Не нам одним! — подмигивая соседям, заговорил Годунов. — Бог ему простит. Пусть лежит здесь. Не помешает...

— Конечно! — ответил в тон Годунову Бельский.

— Ну, вот! — морщась отозвался Глинский Михаил. — Холоп смердящий тут будет валяться, где я веселиться хочу... Вон его!.. Велика убраться, хозяин!..

— И то! — переглянувшись с Глинским, поддержал Мстиславский. — Лучше бы воздух очистить.

Адашев дал знак двоим из челяди.

Слуги вошли и стали у дверей.

— Растолкайте-ка Тереньку да помогите ему ноги уволочь. Ишь, для ангела моего переложил да не в своем углу и свалился.

Подошли два дюжих парня, стали толкать спящего, тот лежит и не шелохнется.

Привычным делом, чтобы немного отрезвить товарища, один стал неистово тереть пьяному уши и за ушами, да так, что ушная раковина захрустела. Налилось кровью лицо пьянчужки, а все лежит, не двинется. Не умер, дышит, а недвижим.

— Уж не оставить ли его?.. Пусть валяется! — опять спокойным тоном заметил Годунов. Только легкая усмешка прозмеилась по устам. — Ведь и то, не крамолу, не заговор мы вести собрались... повеселиться, душа на распашку. Так смерд ежели и увидит што непристойное, болтать не посмеет...

— Просто вынести его! — заметил Адашев, начавший раздражаться, но под взглядами остальных сохранивший внешнее спокойствие. — Возьмите-ка!

— Стойте! — вмешался Воронцов, значительно переглянувшись с другими. — Попытаем малого: крепко ль спит? Вот ему фряжского вина хорошего. Коли парень выпить не дурак — почует, выглохчет!..

И, взяв большую стопку с крепким ромом, боярин стал лить жидкость в рот пьяному.

Тот не глотал, и питье пролилось, еще больше смочив одежду, бороду, волосы спящего.

— Вот бы теперя подпалить гада этого! — желчно сказал тогда Воронцов, отбрасывая опустелую стопку и направляясь неверными шагами к столу за свечой. — Вот потеха будет!..

— Что ты, боярин! — остановил Горбатый. — Да ежели он вправду так пьян, тут на месте и сгорит!.. Утушить не успеешь...

— Туды и дорога доводчику Шуйских! — сквозь зубы проворчал Воронцов и взял огарок.

— Загорится — вскочит! Тут мы и узнаем правду его. А сгорит, я кабальные гроши хозяину внесу!.. И, не удержанный никем, Воронцов швырнул огарком в лицо несчастному шпиону, который все время так прекрасно играл свою роль и теперь только собирался убежать, ввиду грозящей опасности.

Убежать горюн не успел. Огонь коснулся волос, смоченных алкоголем, вспыхнула борода, волосы, вся одежда на несчастном, и, дико закричав, этот живой факел, ослепленный, обезумевший, стал метаться по комнате, задевая людей, скамьи, столы,

ища выхода и грозя распространить пожар по всему дому.

Князь Горбатый, один не потерявший присутствия духа при неожиданном финале дикой шутки, быстро сбросил с себя кафтан, раньше надетый на одно плечо, подбежал к метавшемуся холопу-предателю, окутал ему плечи, голову, грудь своим кафтаном и крикнул:

— Еще одежды скорей!..

Остолбенелые в первую минуту, бояре опомнились. Несколько рук протянулось с кафтанами. Окутали, как мумию, горящего человека, затушили пламя.

Тут два челядинца подхватили несчастного, издававшего жалобные, душу надрывающие стоны, и унесли прочь...

— Теперя никуда не пойдет... Никому ничего не скажет! — прерывая воцарившееся тяжелое молчание, произнес все тот же Воронцов, довольный, что хоть чем-нибудь насолил Шуйскому.

— Присягу давай! — угрюмо обратился к Бармину Хованский, на трезвое сознание которого особенно тяжело повлияла дикая сцена.

Теперь только бояре оставались во втором покое. Девки, бабы, музыканты убежали из соседней, первой горницы, чуть вспыхнуло пламя.

— Горим! Горим! — завопили челядинцы.

Адашев вышел унять суматоху, поднятую ими в доме, и успокоить всех, что пожара не случилось.

Когда он вернулся, бояре уж почти столковались о том деле, ради которого сошлись сегодня здесь.

— Ты, Федор, раньше присягал... Слушай уж, как решено! — обратился к нему Бармин.

Говорил Мстиславский старик:

— Все мы видим, каковы любви да милы царю юному Шуйские. Нет их — весел и радушен он, птенчик малый, солнышко наше красное... А войдет Ондрей ли, другой ли кто из ихней шайки, и задрожит весь, в лице переменится свет Иван Василич, государь наш. Сам не кажет своего страху и горести. Ведь и за это терпеть приходилось ему. Не раз мы видели. И царя, и Русь, и нас, первых людей, обижают, теснят да грабят Шуйские. Не бывать тому!

— Вовеки не бывать! — зазвучали полные сдержанной ярости, заглушенные голоса.

— Так вот, Ваня... И ты, Никита!.. — обращаясь к

юноше, сыну своему, Ивану Федорычу и к Никите Романовичу Юрьеву, молодому стольнику цареву, недавно еще в «робятах верховых» бывшему, продолжал князь Мстиславский. — Вот вы обое часто царя с глазу на глаз видаете. Вместе игры играете... И улучите час. Расскажите, что сейчас слышали. А для верности, если усумнится в вас... мол, не Ондреем ли вы подосланы, скажите: «Царь-государь! Вот святки близко. Все у тебя перебывают, о ком говорим мы. У каждого, только впотай от Шуйских, одно слово спроси: «У Адашева пировали ль?» А тебе по одному все одинако ответят: «Врагам царевым на пагубу!..» Ты как это слово услышишь, спознаешь: кто да кто за тебя? Можно ль тебе бояться Шуйских? Или пора пришла и на них плетку взять». Поняли?

— Вестимо... Все поняли! — в один голос ответили оба сверстника царева, гордые, что на их долю выпала такая важная задача.

— И мы бы ему поговорили! — вмешался Глинский Михаил. — Не кто другой — дядя родной царю... Верит он мне... И брату Юрию... Да так ловко обставили племянша Шуйские, что в ухо дунуть малому ничего не можно. Все кто-нибудь поблизу да вертится. Скажешь слово, а тебя по пути домой в сенях царевых схватят... И жив не будешь до утра!..

— Конечно... Видали виды!.. — отозвался Курлятев.

— Много они крови нашей пролили! — стукнув по столу, пробормотал Челяднин.

— А вы — ребята голоусые, почитай... За вами так следом следить уж не станут... Вы и скажите... И чтобы на гайтане у царя завсегда приказ его был подписной готов... Без приказа — тоже никто на такое дело не пойдет... Он царь, ему нет суда. А Шуйские со всяким потягаются. Так чтобы нам оправка была: слово и подпись государева. А мы уж скрепим ее, как надобно... И печати тиснем по череду... Вот слышите?..

— Слышим! — отвечали оба молодые боярина, может быть обреченные на смерть при неудаче, но радостно взявшиеся за общее, свое, боярское дело.

Быстро род Шуйских стал все роды забивать. А для бояр и князей, для дружины и рады московской одного господина, Рюриковича, довольно. Тот — исстари властелин. Не смеют Шуйские из рядов выдвигаться. Так,

чего доброго, и на трон влезет один из них. Благо царь молод, припадочен...

И чтобы помешать одному из «своих» стать выше всех, бояре идут на тяжкие жертвы: царскую власть, и без того не в меру окрепшую, еще укрепить готовы, своими детьми, собой рискуют, но Шуйским тяжелый удар будет нанесен!.. И, разъезжаясь далеко за полночь с веселого адашевского пира, каждый из заговорщиков на свой лад рисовал себе личное торжество и унижение гордого, опасного всем врага.

Почти месяц после этого пира миновал.

Задумываться что-то особенно сильно стал отрок-царь. И раньше чудной он был: то проказит, как шалый, а то убежит, в угол забьется и не глядит ни на кого. А теперь и понять нельзя, что с ним? Даже складка на лбу у мальчика между бровей легла. И озорство свое бросил. Часами куда-то словно сквозь стену глядит... А позовет его кто — вздрогнет ребенок, побледнеет даже от непонятного испуга; но сейчас же овладеет собой и улыбается... Особенно Шуйскому Андрею.

Совсем переменялся к нему юный царь. Раньше, как ни старался наученный горьким опытом ребенок скрывать свой страх и неприязнь к первосоветнику, а все-таки сквозили они и в глазах и в звуках голоса, когда приходилось Ивану говорить или выслушивать князя.

Теперь все как рукой сняло. Слушает царь его спокойно, улыбается ласково и сам прямо в глаза страшному боярину глядит, порой даже по руке того погладит... По той самой руке, на которой, рассказывают, много крови, изменой пролитой, застыло!

И только порой, словно молния, прежний страх провьется-промелькнет в глазах мальчика. Но сейчас же все исчезнет, и царь еще доверчивей, еще ласковей и покорней говорит и слушает боярина. Не надивится Шуйский.

— Умнеть стал наш царь! — говорит он окружающим. — Видит, чувствует, кто нужен да хорош для него, для всего царства-государства московского!

— И то умнеет, — ответил поспешно Иван Годунов, поблескивая своими восточными глазами. — Кто же здесь важнее тебя? Не мы же, выходцы ордынские, не цари касимовские или казанские, какими покойный

князь Василий двор запрудил... Не бояре наши, ленивые бражники...

— Эй, мурза, не хвались! — самодовольно усмехаясь, заметил Шуйский. — Слыхали мы, как и ты пировал у Одашки-дьяка... С платочком по горницам выплясывал... Хе-хе!.. Скоренько вы, татары, все свычаи-обычаи наши спознаете.

— Был грех, каюсь... Да было — молодцу не укор!.. Что ж у смерда и не похороводиться? Не думал я только, что тебе все станет ведомо.

— Видишь, иначе! Помни, мурза: нет ничего тайного... Мне нужно все знать: малое и великое! Кормчий я кораблю али нет? Я царство веду! Так и знать мне все надобно!..

— Вестимо, вестимо! — кланяясь, ответил Годунов. — За таким кормчим спокойно можно спать... и плясать хоть ночь до зари! — усмехаясь, добавил он.

— То-то!.. А Челяднин — бражник, с той поры, как зачертил, и трезвым его не видать... Кабы не заступка царя да отца-богомольца нашего, Макария, давно бы его выбить из Кремля!..

— Конечно! Никчемный человечиска! — поддакнул Годунов. — И как ты оставил его? Послать бы по следам дяденьки да маменьки...

— Ничего! — пренебрежительно махнув рукой, проговорил Шуйский. — Што я стану со всяким бражником тягаться... Кажду мразь давить? Есть враги посильней — и тех я не боюсь...

И отошел надменный боярин от Годунова, не то намек, не то угрозу кинув в лицо.

А с этим самым Челяднинным Иван Васильевич, юный государь, что-то на охоту ездить зачастил.

Любил раньше отрок-царь Ивана Мстиславского да Юрьевых Никишку.

А тут что-то за последние дни совсем охладел к ним. Даже раз Шуйскому при них же самих нажаловался: смеяться посмели они над царем, плохо-де он скачет! Крестьянина какого-то, мужичонку, с ног сшиб, чуть не убил! Велика важность? Разве он не владыка смердам своим?

— С глаз моих уברי охальников! — крикнул Иван, косясь на прежних любимцев, и даже ногой топнул.

— Уберу, уберу! — снисходительно отозвался князь Андрей. Пока пусть малость послужат тебе. А ты гля-

ди: и вперед смердам спуску не давай. Дави, лови, трави их! Мало, что ли, хамья, мужичья серого. Им острастка надобна.

Так напускал на народ мальчика-государя Шуйский, ухмыляясь в бороду и лелея свои какие-то затаенные планы.

Потом наедине, призвав и Мстиславского Ивана и того же Никиту Захарьина, сказал им:

— Слышали: царь наш убрать вас велел. Моя одна защита теперь за вас. А вы за мальчонкой понаблюдайте. Чуть такое-этакое послышите у царя, что мне во вред, на пользу ли, — и поведайте мне. Я и защиту, и награду вам дам за то!..

— Твои слуги! — ответили с поклоном боярские дети.

— Да, еще што скажу вам, — подумав, продолжал Шуйский, — вот нехорошо оно, правда, что малый народ давит. Да што и ждать от пашенка хорошего? Так вы еще б и подбивали на всякое озорство паренька... Яблочко от яблоньки недалеко падает. Он еще покажет себя. Много голов боярских слетит, много носов волченок отгрызет, когда в силу войдет... Смирить его надобно. Пусть узнает, как неладно народ дразнить! Пускай изведает, что в нас, в боярах, одна и оборона ему! Чем меньше его любить станут, тем мы от него целее! Поняли ай нет? Ты, Ваня, — обращаясь к Мстиславскому, сказал первосоветник, — не гляди, что племянник ему приходишься. Князья московские и братовьям кровным глотку резали... Так уж ты што! Вот и смекай слова мои!..

И после этого практического урока он отпустил обоих юношей, в которых рассчитывал найти новых двух пособников своим тайным целям.

Но если в этих двух ошибся боярин, — десяток других приспешников, из числа окружавшей отрока Ивана челяди, рынд, боярских детей и бояр степенных, — все покорно выполняли программу первосоветника.

И дикое веселье, и жестокость, и насилие над людьми маломощными, беззащитными позволял себе юный государь.

До сих пор не знали почти в народе, что он да каков он.

«Царь — отрок. Бояре правят!..» — толковали все.

А как бояре правят — всем дело знакомое.

И Русь, вся земля, со страхом и надеждой ждала: когда-то царь настоящий в свои года придет, державу в руки возьмет, от бояр люд оборонит, бедный люд земский, угнетенный, задавленный мшелоимством да боярскими поборами разоренный, внешними и внутренними врагами обиженный!

А тут вести пошли недобрые:

— Молод, а уж норовист наш царь. Где встретит хрестьянина — коли конем не потопчет, так иначе обидит. Тварей бессловесных казнить да мучить охоч: глаза им колет, мясо кусками рвет да имена им хрестьянские дает, словно бы людей хрещеных изводит.

Вот какие толки пошли в народе, все шире и шире расходясь, словно круги от камня по воде.

Правда, проснулась какая-то жестокость в Иване, недопустимая во всяком мальчике двенадцати — тринадцати лет, но понятная в этом несчастном, видевшем кровь, насилие и измену вокруг ребенка, который и даже теперь, придя в более осмысленный возраст, каждую минуту мог ждать, что его схватят, кинут в мешок каменный и с голоду там уморят, как дядю Андрея Старицкого, как Овчину-Телепнева, как десятки других до горемычного Димитрия Углицкого включительно...

И мальчик уже научился хитрить и лукавить не хуже взрослого, борясь за самую жизнь, не только за власть свою.

На охоте, куда выезжал он со своими хортами, с толпой удалых сокольничих, доезжачих, выжлятников и прочей молодой и старой челяди, — только там и отдыхал мальчик телом и душой. Не надо было притворно улыбаться никому, гнуть голову и самолюбие, слышать голоса, от которых ярость немая, холодная закипала в груди!

Ветер здесь только свистал в ушах, улюлюкали удалые доезжачие, порскали, атукали; собаки заливались по следу, заяц пищал, когда приходилось приколоть его. И каждый раз, опуская нож в пушистую грудку бедного зверька, царь мысленно казнил своими руками постоянных обидчиков-бояр и даже, хищно оскалясь, неслышно шептал имена их.

— Молитвы, што ли, читаешь отходные зайцу? — спросил его как-то Челяднин, неотлучный спутник на охоте.



— Отходную, да только по гиенам злым, не по зайчишке серому.

— Ну, где тут гиенов взять? Нетути их у нас!

— Не говори: попадаются! — загадочно проговорил мальчик.

И только долгое время спустя понял Челяднин, в чем дело.

Вернется с охоты — свежий, довольный, радостный мальчик. Не узнать его. Ходит — глядеть любо: козырем. К бабке побежит, добычей, которую сам на поле поймал, хвастает. Псарям, сокольничим — всем провожатым — вина дать велит и денег хоть малость на каждого.

Но чуть появится в покоях Андрей Шуйский, Темкин Юрий, Головин Фомка или другой кто из советников, родни или присных рода Шуйского — и опять словно завянет государь-малолеток. И глядит не посвоему, смеется или говорит каким-то чужим, фальшивым голосом.

И вот за последние дни очень уж на охоту царь зачастил.

Но Шуйский спокоен. Среди челяди и псарей есть у него свои люди. Доносят, что, кроме них и Челяднина пьяного, никто не видит царя.

Чужих сам царь подпускать не велит, боится убийц подосланных.

— Убийц? Сам ты себя убьешь, парень! — ухмыляясь в бороду, подумал князь Андрей. — Душу и тело свое загубишь раньше времени! Не я буду Шуйский!..

И не мешал он охоте царской.

Не знал, жаль, боярин, что говорилось там между царем и Челядниным. Порою только третий тут был и слушал молча да длинные седые усы свои покручивал.

Отдыхают или зверя ждут, соберутся все трое: царь, Челяднин и старый слуга царский, доезжачий Шарап Петеля, не то что отцу Ивана Васильевича, а еще деду его великому князю и царю Ивану Третьему верой и правдой служивший.

Много лет Шарапу. Скоро и все шестьдесят стукнет. А силен и бодр, получше иных молодых охотник. Из лука, из пищали не целясь в цель потрафляет. Татарской сноровкой живому барану с маху башку снесет, любого степняка коня в день сократит... Мало ли что умеет старый охотник.

Удивляется и любит его всей детской душою царь.

А Шарап Петеля и царство небесное отдал бы, чтобы только лишний раз улыбнулся его «царечек-ангелочек», как он Ивана зовет, которого и верхом ездить, и стрелять учил, и на руках часто нашивал...

Как-то в споре года два тому назад своей рукой Шарап одного из псарей-ухарей молодых на месте уложил. Никто не знал, за что.

— По пьяному делу! В споре! — только и твердил сам старик, очень набожный и тихий всегда.

И кто был при том, псари и доезжачие, то же самое сказали.

Ради заслуг старых, ради слез царя, не наказали строго убийцу: епитимью наложили. Нехотя убил-де.

Потом лишь Иван узнал: ухарь-новичок посмел при старике одну грязную клевету про царя-мальчика повторить.

На расспросы царя Петеля угрюмо ответил:

— На многих на бояр у меня уж и то руки чешутся... Кабы всем пасти ихние заткнуть!.. А уж своему брату тебя поносить ни в кои веки не позволю!..

Кинулся Иван и поцеловал старика. И ни слова больше не сказал.

Вот почему стоит Шарап и слушает, что царь с Челядиным толкует.

— Скорей! Скорей бы! — бичуя нагайкой и снег, и ветви соседних елок, твердит отрок.

— Погоди! Случая выждать надо. Там уж, говорят, придумали что следует.

— Да, да!.. Надо все сразу... Всех растоптать... — радостно, лихорадочно быстро лепечет мальчик, серьезно и осторожно обдумывая гибель врагов.

И вдруг личико его омрачается.

— Да ты погоди: правда ль, что все те, про кого Федя сказывал, против Шуйских?.. Правда ль, что не одолеют Шуйские нас?.. Ведь тогда мне беда!.. Погиб я!..

И мальчик весь дрожит.

— Вот дождись Рождества. Опроси всех, как тебе сказано... Узнаешь!..

— Узнаю... Допрошу... Ну, уж и тогда! — весь белея от ярости, шепчет мальчик.

— Тогда — нам мигни... У меня все готово! — угрюмо и негромко, словно опасаясь, нет ли у леса ушей, произносит старик доезжачий.

— Да, да! — совсем задыхаясь и также шепотом отзывается Иван.

Вскакивает на лошадь, мчится по полю и, погружая в первое изловленное или недобитое существо нож, скалит зубы и говорит:

— Он пищит... Слышь, Шарап?! Он пищит еще!..

— Не пискнет у меня! — отвечает догадливый слуга, и мчатся дальше, полюют, пока первая звезда не загорится в небесах...

Рождество пришло! Большие приемы да службы долгие. Все перебывали во дворце новом у юного царя, у бабки его...

У тридцати человек, названных ему заранее, спросил Иван, как условлено, о пире Адашевском, — и все, как один, отвечали:

— Пировали, царь! Ворогам твоим на пагубу!..

Что было с Иваном в те дни, и сказать нельзя.

На третий же или на четвертый день Святки опять на охоту царь поскакал. Только и вернулся скоро, и не привез почти ничего.

И уж все эти дни так ласков да мил был с Шуйскими, да не с одним Андреем, а и с присными его, что диву все дались.

— Ах ты, государь ты мой юный! Ишь, ровно кошечка ластится! — заметил, наконец, первосоветник. — Так-то оно лучше. Знаешь: ласково теля — двух маток сосет!..

— Знаю, знаю! Не совсем уж несмышленок я, вот как брат Юра... Смыслю кой-што! — смеясь как-то странно, ответил Иван — и отошел.

Дочка покойного Василия Шуйского, Настя, лет пяти-шести малютка, тут же резвилась...

Вдруг подбежал к ней мальчик, схватил, поднял на руки и зашептал искренно, нежно:

— А тебя, сиротка племяннушка, я все-таки всегда буду любить!..

И вдруг стал целовать, совсем как взрослый, когда тот жалеет почему-нибудь малое дитя...

Понравилась выходка Шуйскому.

— Любишь племяннушку?.. Люби, люби... Сиротка! Тебе Бог воздаст!

И даже погладил по волосам царя-отрока.

— И тебе Бог воздаст! — незаметно уклоняясь от

противной ласки, с веселой улыбкой, словно эхо ответил Иван. — За добро, за все сторицею!..

— Ага, чувствуешь, как я тебе твое наследье сбереги да уготовати хочу?! То-то! Чувствуй!..

И, крайне довольный собой, вышел князь от царя, думая:

«Кой ляд?! Что меня мои пугают, будто враги сильно подкопались под меня?! Никогда так твердо я на ногах не стоял».

Так настал и условленный заранее день, 29 декабря 1543 года.

Родственный съезд был назначен у бабки царевой, у Анны Глинской.

Свои все позваны: Глинские, Бельские, Сабуровы с Курбскими, Годуновы...

И Шуйскому Андрею зов был, хотя ни он старухи, ни она его не любили особенно. Все-таки нельзя не идти. Не Адашев то — бабка царева. Сам митрополит пожалует хлеба-соли откусать. Так лучше самому быть, все слышать и видеть, что сказать или сделать могут бояре-завистники.

— Не люблю я, когда ты к старой этой ведьме литовской ходишь, да еще безо всякой опаски!.. — перед уходом князя толковала ему жена.

— А что прикажешь, голубушка? Уж не казаков али пищальников в палаты царские брать? И так я сохрэнен. Никто не посмеет меня пальцем тронуть, не то што... А ем и пью я тамо с опаскою...

И пошел.

Посидели сколько полагается, недолго: устает старица быстро... Все по чину и по ряду прошло. Уходить собрались.

Не понравилось только Шуйскому: как нынче у бабки государь расходился!

Взял мальвазии выпил. «За чье здравие?» — спросили. Потому молча стал отрок пить.

— За упокой! — говорит, а сам смеется и на Андрея Шуйского смотрит.

— Какие покойнички у нас? Не слышать что-то! — отозвался князь Андрей.

— Не слышать, так услышим!.. — отвечает Иван, а сам не перестает смеяться.

Екнуло что-то сердце у князя. Заспешил он домой, хоть царь и не поднимался еще.

— Что торопишься, Андрей? — вдруг, хмуря брови, спросил в свою очередь царь-ребенок.

Прямо так: Андрей! Ни боярин... Ни князь.

Вспыхнул Шуйский:

— Дела есть, господине. Твои ж, государские... Не время мне гостевать.

— А ты бы посидел. Я, царь, сижу... Тебе бы и торопиться вперед невместно. Не было того при отце-государе моем.

— Мало чего не бывало! Ты еще и не помнишь, што было-то. А я уж позабывать стал. Сиди себе. Ты молоденок. И посиживай. А я иду!.. Мне твое сидение не указ: я постарше тебя, государь.

— Стар кобель, да не дядькой же звать! — вдруг с какой-то кривой, злобной усмешкой грубо отрезал отрок. — Сам назвал государем меня. Ну, и сиди, холоп, коли я приказываю!..

— Ты?.. Мне... прика... — задыхаваясь и не находя воздуха в груди, вдруг громко начал Шуйский. — Ах, ты... Да я...

Но, оглянувшись, он умолк.

В пылу гнева позабыл совсем боярин, что один почти в стае врагов стоит, безоружный, в самых далеких покоях дворца, где даже к окну нельзя подбежать, на помощь кликнуть...

А враги того и ждали. Оттеснив пришедших с Шуйским князей Кубенского да Палецкого, стоят стеной вокруг, как псы, готовые растерзать добычу. Ясное дело: в западню попал! Понизил сразу тон боярин:

— Помилуй, государь, хвор я! Хвори ради отпусти, не посетуй!..

И земно поклонился царю-мальчику, которого так обидел сейчас.

Старуха бабка, та уж из покоя давно поспешила-ушла. А Иван смотрит и зубы скалит в какой-то не то гримасе, не то усмешке.

— Отпустить?.. Челом бьешь, боярин добрый да ласковый? Ин, пожалею, отпущу...

— То-то... Я уж знал, не посетуешь на старика... За твоими ж делами государскими ночей не сплю... Прости, будь здоров!..

И опять поклон отвесил.

— Пущу, пущу!.. — криво улыбаясь по-прежнему,

продолжает Иван. — Не одного только, с провожатыми. Ишь, хвор ты и стар!.. Покой тебе нужен... Не избидел бы кто путем-дорогой. А дорога-то будет неблизкая... Отдохнешь!

И залился злым хохотом рано ожесточившийся мальчик.

— Господи Иисусе!.. — бледнея и окончательно теряясь, забормотал ошеломленный князь. — Я — в опалу?.. И за слово, за единое?.. Бояре! Не стойте ж, скажите царю: нельзя так!.. Я, Шуйский Андрей... Враги вы мне, правда! Да здесь надо вражду позабыть. Меня! За слово в ссылку?! В опалу?! Он, дите столь юное? Что ж с вами со всеми будет потом? Забудьте вражду, о себе подумайте!.. Бояре, ведь мы... Дума ведь мы! Люди земские, государские... А счета семейные апосля сведем!..

Молчание не нарушил ни один звук голоса.

— Моя здесь воля, а не боярская! — вдруг надменно, весь словно вырастая на глазах у бояр, властным звенящим голосом произнес тогда Иван.

Сделал знак... Ввели троих пищальников из дружины Горбатого князя Александра Борисовича.

— Ведите в тюрьму боярина! — приказал Иван.

Затем, достав из-за пазухи приготовленный указ, передал свиток тому же Горбатову.

— Вот и указ мой, государев... За печатью... Со скрепами... Ведите...

И Шуйского повели.

Луч надежды мелькнул у боярина.

Только бы из дворца вывели... А там?! Разве не Андрей Шуйский он? Слово скажет, мигнет — и освободят его...

Но на первом же переходе, на лестнице, догнали их другие люди, человек пять доезжачих и псарей царских. Их Шуйский заметил, когда еще сюда шел...

— Боярин! — обращаясь к молодому оружничьему царскому Челяднину, который с караулом пошел, проговорил Шарап Петеля. — Боярин, погоди! Слово государево.

Все стали. На небольшой полутемной площадке сгрудилось всего человек двенадцать — пятнадцать.

— Приказал сейчас государь, — продолжал старик, — нам от караула князя принять. Негоже боярина середь бела дня, почитай, словно татя, по улицам

вести. Может, погода и помилует царь боярина, так бесчестить зря не велит. Мы князя Андрея дворовыми переходами до самых, почитай, тюрем доведем... И не увидит никто... А там опять караул приставится какой следует...

— Ин, ладно! Мне все едино! — ответил с усмешкой Челяднин.

Взял пищальников и прочь пошел.

И вместе с удалявшимися шагами воинов гасла последняя надежда на спасение в сердце гордого князя, внезапно сломленного налетевшей грозой.

— Потрудишь, боярин, шубу сыми! Не так значно, не так приметно дело будет! — обратился сейчас же Петеля к Шуйскому.

Тот не пошевелинулся, словно и не слышал.

Но уже двое дюжих парней, доезжачих, стоявших тут со своими неразлучными ножами за поясом, сдержали дорогую шубу с княжеских плеч.

Шапка тоже снята горлатная, кафтан узорчатый, дорогой. Неизвестно откуда простой кафтан и шапка появились на нем.

— Не посетуй, руки связать надобно! — с нескрываемым глумленьем снова заговорил Петеля.

А тут уж крутят боярину руки назад: веревки в холеное тело так и впились, врезались. Стоит не моргнет Шуйский. Тут ни слова, ни стоны, ни мольбы, ни проклятия — ничего не поможет. Дело ясное. И стоит старый князь. Как он раньше ни жил, а умереть надо по-хорошему. Повели его. Шапка на глаза нахлобучена. Борода только ветром развевается. Мороз жжет. Ничего не чувствует боярин... Долго идут. Вот за ограду царского двора вышли. Здесь, знает князь, большой пустырь начинается. Направо, вдали — Троицкое подворье. А еще дальше, полее, у самых ворот Ризположенских, тюрьмы. Если туда его живым челядинцы доведут, и то он спасен. Но нет! Чует старик, что на пустыре покончат с ним.

И не ошибся.

Вместо ровного снегового наста, которым теперь перекрыта бревенчатая мостовая, ведущая от дворцовых задворков к монастырю и к тюрьмам, палачи полее боярина, по сугробам повели.

— Кончатъ, што ли? — слышит напряженным ухом чей-то шепот старик.

Это один из псарей у Шарапа Петели справляется.

— Стой, сам я. Первый... За царечка-ангелочка моего... за все его обиды...

И остановились. В сумерках зимнего вечера отчетливо на снегу вырезается вся кучка людей со связанным Шуйским посередине. Князь стоит не дрогнет. Только молитву шепчет. Мысленно с женой, с детьми прощается.

— Замолится! — глухо ворчит старик доезжащий. — И от тебя немало маливались... Ну, держись!..

И с размаху всадил он нож в грудь боярина.

Шуйский отшатнулся назад, дернул связанными руками и упал на рану, когда нож вытащил из нее Петеля. Блеснули еще ножи... Заклокотало что-то в груди у князя... Вздрыгнул он, забился, потрепетал немного и вытянулся вдруг весь... Поалел сначала, а потом потемнел вокруг снег... Руки палачей покраснели.

— Ну вот и будет! — сказал старик доезжащий, видя, что Шуйский мертв. — Ступайте, обмойтесь. Вон хоть у колодца у площадного, что перед церковью... а я к царю пойду.

У Ивана еще те не разошлись, при ком состоялся арест Шуйского. Тут же посланы были люди: схватить и отвести в тюрьму князя Шуйского-Скопина и Юрия Темкина.

— Да Федьку Головина не забыть бы!.. — настаивал Иван.

И об этом распорядились. Бельские, Глинские да Мстиславский сразу здесь первые голоса завели. Всех ведут за собой. Да легко царю их слушать. Ведь они его от Шуйских от ненавистных избавили. Воронцова, любимца товарища, обещают сейчас же из ссылки воротить... И восторга полна душа Ивана...

— Тебя Шарап Петеля спрашивает! — доложил тут царю Челяднин.

Еще больше засверкали глазки у мальчика. А лицо побледнело.

— Пусть сюды войдет.

— Как? Сюды, государь?

— Сдается, не тихо я сказал! — вдруг нахмурясь, ответил отрок.

Поклонился Челяднин, вышел.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй



нас! — слышался за дверьми голос Петели, произносившего обычную входную молитву.

— Амины!.. Входи, входи! — крикнул царь-мальчик.

Тот вошел нахмуренный, смущенный присутствием синклита бояр.

— Ну, что?..

— Все, государь... Как велел, так исполнено...

— Мертвый он? Совсем мертвый?.. — сверкая глазами и весь подергиваясь, переспросил Иван.

— Полагать надо, что так.

— А чем? Чем? — подходя вплотную к старику, опять заторопился допросом мальчик.

— Вот... этим самым... Как сказывал... совсем, — уж неохотно проговорил старик, указывая на свой охотничий нож в широких кожаных ножнах.

Тут бояре заметили ясно, что руки старика в крови, лицо и одежда забрызганы кровью.

Сердца у всех похолодели. Все угадали — и хотелось бы всем, чтобы они ошиблись.

Только Бельский да двое Воронцовых просияли.

— Уж не Шуйского ли ты прикончил, старик? — спросил Яков Бельский.

— Кого ж иного?.. Как царь приказал, — потупясь, ответил невнятно доезжащий.

Говор пронесся среди остальных бояр.

Князь Хованский и князь Мстиславский первые заговорили.

— Э-эх... Не очень-то оно гоже, государь. Про опалу, про ссылку у нас речь шла... А ты вот как!.. Молод, правда, горяч больно... Не то ведь мы толковали, вспомни!

— Все я помню, бояре: кто я, кто вы! За советы спасибо. За помощь — вдвое. А уж как мне с врагом моим быть? — на то моя государская воля. Так я думаю. — И уж не слушая, что стали толковать между собой смущенные бояре, он опять обратился к доезжающему: — Дай... Вынь-ка нож... Покажи скорей!

И, схватив обнаженный нож, он пальцем провел по влажному от крови лезвию. Палец окрасился...

«Крови, ишь, понюхал! Зубы оскалил. Ой, не к добру!» — подумал про себя князь Курбский Михаил; но уж ничего не сказал. Промолчали и другие. Только пасмурные разошлись от царя.

Немало дней спустя после первой своей удачи, после такой дивной победы над сильнейшим боярином из всей густой, многоголовой толпы князей и вельмож, толпившихся вокруг трона, юный государь словно опьянелый был.

Он весь переродился. Походка, голос, взгляд сразу изменились.

— Совсем покойный Василь Иваныч осударь! — говорили старые слуги, помнившие отца Иванова.

А сам Иван только и твердил:

— Господь предал в руки мои врага моего, обидчика и хулителя злейшего... Господь за меня!..

От радостного экстаза, как раньше, бывало, от ужаса и обид, даже припадок с мальчиком сделался. Но уж не лежал он беспомощным, как в былые, печальные свои дни. Кроме бабки, княгини Анны Глинской, ее врач, итальянец, собственный врач Ивана и еще несколько лучших врачей, какие были у Мстиславского, да и у Морозова, да у Курбских, — все сошлись к кровати больного. Бояре главнейшие столпились в соседней горнице и спрашивали у каждого выходящего:

— Как государю? Да лучше ли?..

Припадок скоро прошел. Разошлись бояре, но тучи осенней мрачней.

С этого дня полную волю страстям и желаньям своим дал необузданный по природе мальчик, вконец исковерканный за пять долгих лет боярского самовластия, наставшего после отравления Елены. Хотя и теперь не унялись нисколько гордые, надменные представители первых вельможных родов, но приходилось им считаться с волей, даже с каждой прихотью юного царя, если еще не с сознательными решениями, не с царственным разумом повелителя всея Руси. Правда, настоящую власть присвоили себе Глинские, Бельские и Сабуровы со Мстиславским во главе, как с одним из старейших. Но уж если Ивану забрело что в голову, волей-неволей приходилось исполнять. А приходило ему на ум все по-детски — незрелое и жестокое вдобавок. Никто не дивился, что на другой же день после смерти Андрея Шуйского Иван послал гонцов в Кострому: вернуть Федю Воронцова, друга своего, с отцом его.

— Чтоб ни спал, ни ел гонец, пока их не увидит. Пусть двадцать, тридцать коней загонит... Но чтоб через десять дён Федя здесь у меня был!

И такое почти невозможное приказание было выполнено. Но вот задумал Иван выместить старые обиды, свои и Федины, еще раньше нанесенные им сверстниками и товарищами по играм, «ребятами голоусыми», рындами и другими, что «наверху» в царских хоромаш живут.

Княжич Мишенька Богданович Трубецкой да княжич Дорогобужский Иван, первый — из литовских, Ольгердович, второй — из северских владетельных князей, в споре детском, давно как-то, своей знатностью похвалялись, в ловкости и удаче превзошли Ивана. Не забыл этого злопамятный мальчик. Теперь он их велел в тюрьму отвести. А туда прислал верных людей — тех же доезжачих своих, и погибли оба. Одного задушили подушками. Другого прирезали.

Несколько дней спустя товарищ обоих загубленных, красавец юноша Федор Иванович Овчина-Телепнев, с другими «верховыми» ребятами толковал.

Высокий не по летам, сильный малый, был он сын родной того самого Ивана, который правил в годы княжения Елены и считался ее любимцем.

— Как дружны вы с осударем! — сказал кто-то Федору Овчине. — И совсем братья родные. Одна стать и постать. Рядом поставить — не разберешь: кто ты, кто царь Иван!.. Только что постарше ты немного...

Нахмурился Федя:

— Молчи лучше!.. Любил я его, правда, как брата. И отец мне говаривал: люби государя... А теперь не видел бы его! За что он Мишку и княжича Ивана загубил... Палач, не брат он мне!..

Вечером того же дня схвачен был юный Овчина, и не успел никто о нем похлопотать, потому что наутро уже мертвым лежал несчастный. А государь молодой и во дворце в это время не остался.

С гиком и свистом, окруженный целой ватагой припешников, целой ордой шалопаев из боярских детей и простых молодчиков, помчался Иван за пять верст от Москвы в село Островское, где стоял загородный дворец, построенный покойным Василием.

И в шумном веселье четырнадцатилетний Иван, успевший уж до срока изведать почти все дурное и за-

претное в жизни, пылкий и рослый не по годам, в разгульном пиру старался подавить невольно, неведомо почему и откуда выплывшую в душе тоску...

Гудели струны, скоморохи и шуты плясали, визжали... Бабы и девки, согнанные сюда, песни пели красавчику осударю как могли... И сквозь весь нестройный шум, сквозь чад грубого веселья как будто слышал отрок чей-то жалобный, знакомый уху голос, моливший о пощаде, различал чей-то стон.

— Ну, што там?! — вдруг словно окрикнул в душе сам себя Иван. — А они, бояре, жалели тебя?!

И, расправив нахмуренные было брови, он беззаветно предался веселью, кипевшему вокруг...

Бояре все это знали, видели.

Пытались они обуздать царя молодого, да не очень. Не до того им вовсе было. И даже отчасти на руку это им. Каждый понимал, почему давал Андрей Шуйский потачку дурным наклонностям ребенка. Руки у бояр тогда свободней, не так связаны. При безупречном повелителе и самим придется не очень свободно жить. Зазорно даже вести ту хотя и скрытую, менее видную сейчас, но беспощадную, смертельную борьбу, которую не переставали поддерживать вельможи.

В минуту, когда пришлось сделать усилие и свергнуть давившего всех Андрея Шуйского, помирились и обещали навеки забыть обиды даже такие враги, как Челяднины и Кубенские, давние «советники» Шуйских, как Воронцовы и Ховрины-Головины, из рода тех Головиных, которые содействовали ссылке отца и сына Воронцовых... Но момент прошел, Шуйский мертв, и все не подумали, как бы им прежде всего ослабить царскую власть, пользуясь малолетством царя Ивана. Нет! Опять поднялась старая вражда, перекоры, доносы да местничество. Полугода не прошло, как результаты сказались. Раньше других стали осматриваться Глинские, особенно много выигравшие от переворота.

Недаром юный государь первые дни своей власти ознаменовал кровавой местью. Он был только взглядчивым и понятливым учеником у старших. Два брата Кубенских: князя Иван и Михаил — сразу подведены врагами под обух. Зимой, в мороз, схвачены были с постелей оба и со всеми чадами и домочадцами увезены в ссылку, объявлена им опала царская за многие дела воровские и непотребные. В том числе говорилось

и о сношениях с родичами и сторонниками Андрея Шуйского, с князем Петром Ивановичем Шуйским и другими. Кубенские сами толковали так:

— Воронцовы злобу свою тешут на нас! Ну, да недолго. Им дружки ихние тоже шею свернут. Литовцы эти, налеты московские: Глинские да Бельские!.. А там и на этих мор придет! Наши не выдадут, не потерпят чужаков у трона!

Кубенские не ошиблись, хотя не знали одного: главной пружины, той руки, которая двигала шашками на клетках московского дворцового поля.

Рука эта скоро обозначится.

Когда весть о ссылке и опале Кубенских разнеслась, Палецкие, и Шуйский Петр, и князь Горбатый, прихватив Курбского-старика и Мстиславского, кинулись прямо к митрополиту Макарию. Тот как раз хворал: ноги схватило... От бдений долгих, от простуды давней. А все-таки в келье сидел и работал старец.

— Что же могу я, чада мои? — ответил он на просьбы. — Дело это мирское. Как царь да его ближние бояре решают — так тому и быть.

Но ходатаи не отставали.

Подумал, повздыхал Макарий.

— Ну, ин ладно! — говорит. — Попытаюсь... Правда, такая уж наша доля пастырская: овец, и правых, и заблудших порой, беречь... Идите, чада мои, с миром! Попытаюсь... Бельских да Глинских, конечно, нечего просить. Это Воронцовых рука. А те не смилуются. Немецкая кровь, памятливая!.. Самого царя-отрока попрошу. Авось уважит старику. Нечасто я докучаю ему!..

И на призыв больного архипастыря Иван поспешил явиться к митрополиту.

Правда, не часто тревожил Макарий царя, хотя никогда и отказу в прошение не знал. Мальчик охотно и нередко, по-старому, захаживал в митрополичьи кельи, вглядывался, как тот работал, молился у себя в небольшой моленной, «крестовенькой», как называл ее Макарий.

И все уважение, всю любовь, какую мог питать Иван к кому-нибудь, питал он к митрополиту.

Умный старик, быстро выйдя из-под опеки Шуйских, вознесших его, правда, на высоту, но поступавших и не по-божески, и неразумно, — Макарий ста-

рался поставить себя совершенно независимо, как подобало духовному пастырю всея Руси.

Но в то же время, как человек практический, он понимал, что в мире жить — надо мирское творить!

Незаметно, твердой рукой старался он если не создавать, так направлять события в той исторической драме, которая разыгрывалась вокруг отрока-царя. Дело с виду казалось бы просто: стоило, как и все, стараться проводить на разные места «своих» людей, окружить Ивана, потакать его мелким слабостям и даже крупным порокам... А там и совсем забрать в руки государя.

Так в одной откровенной беседе и советовал митрополиту старый приятель, протопоп Сильвестр.

— Немолод ты, отче! — ответил Макарий. — И опытом искушен, и умом Бог не обидел, а не дело говоришь.

— Кое же не дело? Скажи, отче митрополите!

— А вот, слушай: злых, как думаешь, да скверных мало ли кругом?..

— Ой, много!

— То-то ж. Мы так скажем: для-ради устроения земли, для покою христианского душою покривим, потакнем государю... Он нас возлюбит... Волю нам даст. Надолго ли оно? Иные явятся, совсем душу диаволу предавшие. Да не ради земли или христианского спасения, а ради корысти и прелести земной. Уж они так юношу улестят, на то пустятся, чего мы с тобой, поп, и за райское древо не сотворим. И по маковке нас тогда... Другие придут. И настанет стон и плач и скрежет зубовный! Так ли?

— Пожалуй, правда твоя, отче митрополите. Выходит: и так горе, и иначе вдвое.

— Ничего не выходит. Помолчи уж. Твоя речь впереди. Твое слово умное не усохнет, верь!..

— Верю... слушаю, отче!..

— То-то ж! Скор ты больно! Обмирянился... Нашу, высшую, Божью правду забыл, Христом заповеданную. Сказано есть: «Возлюбите ближнего своего паче себя!..» Великое, плодоносное это слово. Злого человека любовью своей ты смягчишь, ненависть в нем погасишь... Ремства не вызовешь, коли видит он, что ты за тем же куском не тянешься, который и он облюбовал... А добрый себя отдаст за любовь. Понял?

— Понял... Да все же: с куском-то как? Надо его доставать же?.. Без него нельзя же?..

— А-ах, отче! Совсем ты школьную науку забыл. Пословики старой не помнишь: двое тягаются — третьему корысть! При нашем куске не то двое: двадцать два спорщика найдутся. Пусть колотятся. А мы подождем. Не уйти куску от нас. Терпенье, терпенье, поп, возьми — и сам целей будешь, и дело лучше сладится. Я уж малолетка вот как узнал. Погоди: все тебе в свой час скажу, как будет дело!..

И заступник за христианство, умный, развитой и широко, не по времени, образованный пастырь, который искренно страдал, видя, как медленно строится царство, как тяжело жить слабым и беззащитным земским людям, — Макарий глядел и терпеливо выжидал желанной поры.

Ожидая прихода государева, который обещал в тот же день явиться на зов, Макарий призвал Алексея Адашева.

— Что, сыне, готово твое писание?..

— Готово, святой отец. Благослови прочесть, — с поспешностью, свойственной всем авторам, доставая из шапки листки какой-то рукописи, свернутые в трубочку, отвечал Алексей.

— Нет, погоди, Алеша! Дай-ка сюды. Ты мне скажи одно, все по моему сказу писано?

— Все. Как же иначе, святой отец.

— Ин, ладно. Побудь рядом... в келии... Я сам прогляжу. Может, поисправлю что. Уж не посетуй!.. А ты побудь там. Государь если придет — все жди же! Да вон подвинь поближе лик-то Спаса, что я по тебе писал. С поставцом... Так... Ну, иди с Богом!.. Дождись да Богу молись!

Приняв благословение пастыря, Алексей Адашев с сильно бьющимся сердцем перешел в соседнюю келью, полный какого-то непонятного волнения, странного ожидания. Макарий между тем, не любивший тратить ни единого часу понапрасну, послал за одним из самых знающих своих толмачей-переводчиков, итальянцем Чекки.

Уж много лет работал Макарий над огромным и сложным трудом: составлял полный список Четьи-Минеи. А для этой работы ему переводили с латинского и греческого языка всевозможные сочинения и редкие

рукописи, которые с затратой трудов и крупных средств добывал отовсюду пастырь, ученый и поэт. Последние свойства души Макария — поэтическая находчивость и живость вымысла — особенно много помогали Макарию в его работе по составлению Четьи-Минеи. Источники были так неполны, искажены, порой в обрывках... Об одном и том же святом разные авторы говорили различно. Приходилось или выбирать, что больше подходит, или даже создавать, для цельности повествования, события и черты из жизни, которые соответствовать должны и лицу, взятому в описании, и духу православной веры, какой царил в современном Макарию обществе, особенно в среде духовенства.

Но те же толмачи переводили ему и светские хроники с итальянского, французского и иных языков.

И вот сегодня Макарий велел читать и переводить себе старинное сочинение «Gesta Romanorum», книгу, полную вымысла и драматизма, ту самую, из которой много лет спустя гениальный англичанин Шекспир позаимствовал немало сюжетов для своих драм.

— Найди-ка, сыне, ту историю, как ходил в пещеру король к ведунье-жене и та показала ему судьбу царства... И как то уразило царя... — обратился Макарий к вошедшему Чекки. — Прочитай мне ее еще разок... И по-нашему перетолкуй... Я послушаю. Да и порису, вот еще... Благо работать сидя можно.

Чекки нашел повесть, послужившую потом зерном для Макбета, и стал читать и переводить тут же живой, интересный рассказ.

Старец внимательно слушал толковника и поправлял изображение Христа, нарисованное отроком. Лик Его представлял почти портрет Алексея Адашева, с которого, как с натурщика, вопреки обычаю, писал свой образ Макарий. Иногда он знаком останавливал Чекки и о чем-то думал, покачивая своей седой головой, обрамленной ореолом пышных волос, несмотря на то что сейчас они были зачесаны и собраны вместе.

— Государь жалует!.. — доложил пастырю служка.

И тотчас почти за дверью раздался звонкий голос Ивана:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

— Аминь!.. Входи, входи, царь-государь! — делая движение встать при помощи служки, произнес митро-



полит. В то же время махнул он Чекки рукой, чтобы тот уходил.

Отдав земной поклон вошедшему отроку-царю, итальянец ушел со своим тяжелым, в кожу переплетенным фолиантом в руках.

Иван поспешил к Макарию.

— Не труди себя, отче... Да еще при недуге! — искренно ласково сказал он, принимая благословение пастырское и целуя руку митрополита.

Тот обнял сидя царя и поцеловал его.

— Да уж, хворь — не свой брат. Спасибо, что ждать не заставил, государь. Просить тебя надо, а самому — ни с места. Пришлось тебя уж тревожить, от царских забот отрывать.

Иван вспыхнул.

Просто, без малейшего намека, были сказаны эти слова, но таким горьким упреком прозвучали именно при всей их простоте и кротости, что царю легче было бы обиду и брань снести, чем это извинение старца. Вспоминая, какими царскими делами занимался он эти дни, отрок так и горел от стыда, вдруг проснувшегося в душе.

— Какая просьба, отче господине?.. Приказывай!.. Как сын покорный — все сотворю, что велишь.

— Ну, что ты!.. — слегка замахав худощавой своей аскетической рукой, с улыбкой сказал Макарий. — Поцерковному я еще могу где указать тебе. А по мирским делам — ты царь... Помазанник Божий!.. Тут я, как и все подвластные тебе, просить лишь горазд!..

— Все равно, отче! Говори, что хочешь? — глубоко польщенный такой речью, отвечал Иван. — Хотя я и догадываюсь: о Кубенских ты, надо быть?

— Как тебе не угадать?.. Орел ты у нас! Прозорливый духом, умом остер! Царь, Божией милостью... Вот о них о самых и прошу тебя. Не ради их грешной души. Уж, конечно, коли ссылал ты, так знал, за что. А ради милосердия и твоего имени светлого ради молю... Не посмели бояре к тебе, ко мне забежали. Пришлось тревожить тебя...

— Ага, не посмели? Боятся, значит, меня?

— Как не бояться?! Гроза и милость царская, что Божий гром и ведро. Не уйдешь от них, нигде не скроешься!.. Вот после грозы пусть солнышко проглянет! Помилуй окаянных. Господь, помнишь, Содом хотел

пощадить ради одного праведного. А у тех бояр и дети есть, невинные, малые, и жены... Вот ради них...

— Не щадили они меня, отец!.. Ни мамушку не пожалели, извели бедную...

— Ну, это кто знает? Нешто по сыску дознано, что Кубенских то дело?..

— Все они заодно. Вон дядевья мне толкуют: всех прибрать к рукам надобно!.. И Воронцовы мне измену Кубенских, как масло на воду, вывели! Что же щадить воров?

— Дяди? — в раздумье повторил Макарий. — Воронцовы?.. Ну, конечно, они теперь правители... Они, значит, тут всему головой. Прости, царь, что беспокоил. Их просить буду, коли ты не можешь, не дерзаешь против дядей да Воронцовых... Не посетуй, что утрудил те...

Но Иван не дал кончить старику. Глаза загорелись, лицо снова вспыхнуло, только уж не стыдом, а досадой.

— Не дерзаю? Не могу? Я все могу!.. Да и сам же ты говоришь: многие за тех просили! А у меня в думе моей — все бояре равны, что дядевья, что Воронцовы. Все предо мной равны!..

— Спору нет! Так и по Писанию... И по-всякому! Совесть царева — единый ему закон... да правда святая. А то не должен он знать лицеприятия, как солнце не знает его: сияет на злые и на благие...

— Ну вот видишь! Дай же, я напишу... Тут, у тебя. Пускай ворочаются Кубенские. Только чтобы уж больше не смели воровским делом жить. Пусть тебе, отче, присягу дадут великую... Я тогда и дядевьям скажу: теперь Кубенских бояться, мол, нечего! Присяга великая, святая дадена!..

— Так, так! Истинное слово твое. Ну, пиши! Спаси тебя Христос, что стариковского слова послушал, просить себя напрасно не заставил! Оно и то сказать: Кубенские — сумы переметные!.. Промеж бояр мотаются, сами не знают, чего ищут... Так острастка на пользу им. И не сразу вернем опальных. К Пасхе вот... Красное яичко поднесем — слово это твое милостивое... Пока побережем его... — пряча написанное царем в ящик стола, сказал Макарий.

— Вот и хорошо. Не сразу мне придется Федю и дядей озлить... — совсем развеселясь, сказал Иван. Но

вдруг снова задумался. — Вот сказал ты, отче: Кубенские — переметчики. И не такие уж злодеи... А ведь есть такие, что опасней других... Как с теми быть? Со злыми да крамольными? Научи, отче!..

— Ну, что ты меня пытаешь, государь! Говорю: плох я в мирских делах. А только помню... Молод еще был, вот вроде тебя же. С отцом в лес мы поехали. К весне дело было... Лошадка в санях... И сосунок-жеребеночек сбоку. Домой уж нам вертаться, а тут волки пристигли, голодные, злые... И пришлось подкинуть им жеребеночка... Отогнать его от себя! Живо волки налетели, зарезали малого, рвать стали. А там и между собой грызться почали... Только клочья летят! Мы-то устаканились в тот час. А как вернулись с мужиками, с пищалями, от жеребенка костяк один лежит, да и волков немало обглоданных... Это за добычу друг дружку они... волки-то... Так и в жизни приходится. Малое что-либо злым уступишь и отойдешь. Они тебя не тронут, за малое грызться да губить друг друга станут. Все же потом повольней будет добрым... И руки чисты у добрых останутся. А чистые руки — великое дело перед Господом.

Иван опять невольно потупился и нервным жестом сжал в кулаки пальцы обеих рук, стараясь убрать их от взоров старика, глядевшего так незлобиво, ясно и ласково.

После небольшого молчания юноша произнес негромко:

— Сдается, отче, уразумел я слова твои!

— И в добрый час! Аминь... Ну, и дело с концом. А теперь не взглянешь ли на работу на стариковскую?

И Макарий ближе подвинул простой мольберт, на котором стояла доска кипарисовая с законченною почти иконой — изображением Спасителя-Отрока.

— Покажь, покажи, владыка! Мне очень по нраву образа твои. Вот словно живые все!.. Да, постой, — вглядываясь в образ, с изумлением воскликнул Иван. — И впрямь я видел недавно совсем такое лицо. Поплоше малость, постарше... Не такое милостивое да божественное... Погоди, сейчас видел, вон в том покое... Твой один там паренек был, кланялся мне, как я проходил. Славный такой...

— Адашев Алеша... Ну, конечно, не ошибся, государь. С него и взято подобие... Хотелось мне для тебя

памятку оставить. Умру, чай, скоро... И годы, и недуги... Как сам ты отрок — и Христа-Отрока для тебя изобразить Господь привел... Прими, не побрезгуй!..

— Благодарствуй, отче!.. Постой-ка, погоди! И правда, у парня того твоего лик такой... добрый, ясный. Редко видеть мне приходилось...

— Золотой парень, государы! Душа чистая, голубиная!.. Учен сколь хорошо!.. Род их — из Суража. Того самого Адашева сынок, коли помнишь, у которого, год вот минул...

— Бояре против Шуйского собирались?.. Помню... Помню... А что он делает у тебя?..

— Так в делах помогает... Языкам чужим зело хорошо обучен... И сам в риторстве не промах. Способен на все... Одарил Бог!.. Да, вот... Как раз у меня... Не читал я еще... Новое сложение его... Не взглянешь ли?..

И Макарий, уже раньше проглядевший работу Алексея, подал теперь ее Ивану.

Юноша развернул и прочел заглавие:

— «Царь христианский и земля его».

После этого заголовка, начертанного вычурными, разрисованными буквами, шли строки, выведенные красивым почерком, словно печатанные.

— Как пишет хорошо... Да и, поди, что-нибудь такое дельное... Сем-ка я пролистаю...

И Иван, всегда любивший чтение, стал пробегать глазами строки. Долго читал он не отрываясь. Разные оттенки самых разнообразных ощущений пробегали по выразительному лицу царственного юноши. А сидевший неподвижно старик, не сводя глаз с Ивана, читал в его лице, как в раскрытой книге, все мысли и ощущения душевные.

Только проглядев все до последней строки, положил Иван рукопись на стол, не говоря ни слова, весь находясь под впечатлением прочитанного.

Рукопись в виде поучения, оставленного умирающим греческим царем юному наследнику своему, давала полную картину идеальных отношений хорошего правителя к любящей его стране, к народу и земле. Это был горячий гимн во славу полубожественной, полуотеческой царской власти, за которую народ платит и обожанием ребенка, и почтением, страхом смертного перед носителем вечной истины и благодати. Тут же ука-

зывались и средства избежать покушений со стороны врагов как внешних, так и внутренних. Словом, в царе, описанном Алексеем, Иван видел себя не такого, каким он был сейчас, а каким представлял себя порою, тем идеальным царем, который может затмить славу Августа, могущество Соломона и милосердие Тита. Цари — Давид, и Константин, и Феодосий — не так благочестивы и умны, как этот царь.

При чтении то восторгом сжималась грудь Ивана, то слезы умиления сверкали в глазах впечатлительного юноши. А порой и стыд пурпуром заливал полные щеки, еще одетые пушком юности.

— Что, али не понравилось? — первый прервал молчание Макарий.

— Говоришь, отче: не понравилось? Что ты? Почему? — не желая сразу обнаружить впечатления, произведенного на него чтением, отвечал самолюбивый и по привычке чрезмерно скрытный юноша. — Нет, ничего. Изрядно составлено... Ты бы его мне показал, писателя твоего...

— Как пожелаешь, сын мой... Он, поди, и теперь здесь. Кликнуть могу. Прикажешь?

— Ин, позови, пожалуй... Посмотрим твоего тихоню, святошу да разумника. Чтой-то и не видал я таких круг себя.

— Есть они, государь, да вперед не пузырятся. По углам стоят, дела ждут. А кто побойчее да поклоуастей — и тут как тут!..

— Правда, правда твоя... Ну, зови парня...

Адашев быстро явился на зов, поклонился, как следует, и царю, и митрополиту и молча стал у дверей.

— Что же ты? Ближе подойди, Алексей. Так ведь звать-то тебя?

— Так, государь! — подходя ближе и глядя своими большими, черными, огненными глазами прямо в глаза Ивану, ответил Адашев, совершив обычный поклон.

— Лет много ли? Двадцать будет?

— Дзадцатый пошел, государь!

— Немного старше меня! — с легким оттенком зависти сказал Иван. — А изрядно твоя эпистолия сложена. Сам слагал?

— Сам, государь!.. — помня наказ Макария, слегка потупляясь, ответил Адашев.

— Да ты не потупляйся, не девка красная... И дело

не зазорное. И я, и отец митрополит хвалим же. Чего ж тебе? Кверху голову держи. Я трусов не люблю.

— Не трус я, государь! Хоть сейчас вели на бой! На Литву, на агарян ли нечестивых — твой холоп и ратник. Увидишь: трус ли я?!

— Ого! Вот по-иному заговорил, как ты его, государь, за живое задел. Знаю: не трус он у меня. И в делах ратных сведущ...

— Да ты клад, парень... Мы тебе дело найдем, — принимая осанку и вид властителя, сказал юный царь, довольный, что может, помимо бояр, сам создать себе приближенного человека, возвысить его. И уж, конечно, этот будет предан из благодарности.

— Думаю я, — все так же серьезно продолжал отрок, — пора с Казанью кончать. За малолетство мое бояре матушку-репу пели, брюха свои толстые берегли. Я поубавлю жиру в них!.. Пусть с Казанским юртом кончают, да и весь сказ. И Шигалейку царем туды...

— Воинов мало наготове, государь, — заговорил, очевидно, хорошо осведомленный в этих делах Адашев. — Правда, Литва притихла, да Крым насаждает. Того и жди погрому... Бояре — врозь. Хрестьянам — разор чистый от наместных бояр да тиунов... Грамоты вольные мало где дадены... Дел (пушек) осадных ни великих, ни малых вдосталь нет... Чем Казань воевать?

— Так, так! Все-то ты знаешь! — кивая головой, проговорил Иван. — Так пожди, что вперед будет?! Мной уж приказ даден: все те поруки исправить. Обещались дядевья. Горбатый, и Мстиславские, и Курбский Андрей уж, толкуют, за дело взялись!..

— В добрый час! — отозвался Макарий, нарочно давший свободу двум юношам столкнуться между собой.

— Ну, как-никак, вижу: добрый ты слуга царю своему. И о том печалишься, от чего мало корысти тебе было доселе. А что будет — увидим.

Затем, поднявшись и сделав обычный поклон митрополиту, Иван принял от него благословение.

— А ты, Алексей, — сказал он Адашеву, — нынче ж ко мне наверх приходи. Дело я для тебя придумал. Знаешь, отец митрополит, от самой, почитай, смерти отцовской «Царская книга» наша не сведена лежит. Вот искусник этот пусть и засядет за нее. А там поглядим!.. Пока прости, владыка!..

И царь ушел, допустив на прощанье к руке Адашева.

— Ну, пойдем, Алексей, Богу помолимся со мной, чтобы помог Он нам в начинаниях наших, — сказал Адашеву митрополит, возлагая руку на голову замечтавшегося Бог весть о чем юноше.

И, с помощью Алексея и служки перейдя в молельню свою, долго и горячо молился старик о том, чтобы Бог исполнил все, как он задумал на благо Руси.

О чем молился Алексей — кто знает?!

Бояре все не унимались. Распри и раздоры росли и клубились, грозя затопить все царство.

Юный царь, в душе которого различные настроения менялись так же быстро и легко, как очертания тучек в небесах, то карал, то миловал бояр своих, сегодня налагая по чьему-либо доносу опалу на боярина, а завтра, по просьбе других, сменяя гнев на милость. Между тем, следуя совету, кстати и осторожно данному Адашевым, сам Иван только и делал, что ездил по разным монастырям и, колеся из конца в конец по своему царству, узнавал Русь.

Адашев, собственно, не посоветовал ему ездить, а красноречиво описал, как Кир Персидский и Александр Македонец, сын Филиппов, в юности исходили по всей земле, которая их наследием потом стала. И знали они землю... И говорили со всяким, кто жил на земле у них, его родным языком.

— И я бы так хотел! — заметил Иван.

Теперь он не стеснялся откровенно высказывать перед тихим, вдумчивым Алексеем все свои желания, кроме дурных. О тех Иван с другими товарищами толковал.

— Да, хорошо бы... Да нельзя. И земля еще у нас не улажена... Могут тебе вред какой сделать... И не пристало... Хоть и отрок, а царь ты... Вон через год и боярская опека с тебя снимется... Разве вот что...

— Что? Говори скорей!

— Государи благочестивые всегда по монастырям ездили. Этого никто претить тебе не станет. Вот и ты почни. А там и мнихи, и отцы игумены всякую тебе правду скажут... И про бояр, и про тяглых людей, как тяжело им от насильников... Они бы рады лучше тебе, царю, последнее нести, а лиходеи все отбирают.

— Ну, недолго им!.. Пусть погодят... Скоро поуправлюсь я с ними! — сжимая руки, пробормотал Иван.

И сейчас же объявил главным боярам, что желает на богомолье, по монастырям поехать: накануне своего царского совершеннолетия у Бога помощи и совета просить. Все только похвалить могли Ивана за намерение. И до пятнадцати лет своих, когда пришла пора, — согласно завещанию отца, — отстранить боярскую опеку и взять правление в свои руки, Иван посетил до двадцати монастырей и обителей в разных концах Московского царства. В декабре 1545 года побывал царь и во Владимире, когда удалось, наконец, Москве хоть на малое время снова посадить в Казани «своего» хана и приспешника — толстого Шиг-Алея.

Везде и монахи, и народ простой с восторгом принимали царя. И всюду достигали до государя жалобы и слезы на своеволие наместников, окольничьих, приказчиков городских, старост губных, тиунов вплоть до мелких служилых людей, которые обирали и теснили чернь. Все это залегло в душе и в памяти Ивана. Где и чем мог, облегчал он народ, монастырям, и селам, и пригородам грамоты льготные давал. Он помнил, как еще недавно его самого теснили и открыто грабили алчные, гордые бояре, потомки старой дружины великокняжеской, куда после прибавились потомки удельных князей, потерявшие власть и значение личное, собравшиеся вокруг крепнущего трона московских царей. И всеми силами не позволяли эти люди, старались остановить, заморозить в известных границах быстро растущее самодержавие Москвы, грозящее разбить, затушить последние искры их собственной былой мощи и самостоятельности...

Все понимал на опыте изведавший это молодой царь — и решил потерпеть, подождать, пока сможет при помощи «земли» очистить царство от лишнего бурелома и валежника, сваленного бурями минувших веков.

Осенью 1545 года свершилось царю пятнадцать лет. Теперь он уже не опекаемый мальчик, который просит опекунов сделать так или иначе. Хотя и по виду, но все им совершается. Указы и доклады ему читаются: как он повелит. Теперь уж никто не смеет именем Ивана столбец подписать, послать бумагу куда на исполнение. Сам молодой государь дела государские ве-



дает... на словах, конечно. Все идет как машина, заведенная еще дедом, Иваном Третьим. Стара машина, кое-где заржавела, скрепы расшатались, повизгивают... Да и надстроено в ней немало за последние тридцать — сорок лет... Не совсем даже части ее одна другой соответствуют... Но еще хорошо работают крепко откованные, гладко отлитые колеса и шестерни... И одно новое в ней сейчас колесо работает: это — воля, порой дикая, неукротимая воля ребенка-царя. Но она больше пустых или неважных, ребяческих вещей касается, и тонет этот новый голос в шуме и шорохе, который издают все части государственного механизма — до последней мелкой цевки, до мужичка-оратая включительно. До той самой цевки, из которой и создана прочная основа земли Русской, царства великого Московского...

Тем самым временем именем Ивана, за его подписом, а порой и по собственной воле продолжались опалы, ссылки, даже казни. Так Афанасию Бутурлину за дерзкие речи язык резали... Глинские с Воронцами, как звали Воронцовых, подо всю партию Шуйских подкопались и добились ссылки ихних главарей. Но по пути и сам Воронцов Федор опалу испытал. Постепенно любимца успели вывести из всяких граней осторожности, и тот прямо с головой себя выдал, когда однажды ворвался к царю да стал чуть не с криком выговаривать:

— Чтой-то ты делаешь, Ваня?! Сколь много раз обещал слушать меня, а ныне, ни словечушка не молвя, потайным путем, бояр да иных людишек жалуешь многим жалованьем великим! Вон хошь Олешку Одашева чернорожего взять... И князь Лександра Горбатова прямо возвеличил... А они — ведомые враги всему роду нашему... Как же так?!

Исподлобья поглядел Иван на своего наперсника, к которому если еще не совсем охладел, то уж стал относиться с презрением, невольно сравнивая в уме прошлого Федю с чистым, идеально пылким Адашевым.

— Постой, погоди, Федя!.. Я ничего такого не говорил тебе... Никого не хочу я слушаться, кроме Господа. Он Един царям указчик.

— Ну, брось! Я тебе — первый друг! Уж ли для меня чего не сделаешь?.. Ты уж так, гляди, ладь, чтобы, помимо меня, никто к тебе не подходил. А я уж оберегу тебя! Я уж знаю... И все за меня стоят! — же-

лая запугать трусливого, как он знал, Ивана, прибавил Воронцов. — Ты гляди: мы не позволим чужой сброд во дворец напускать!..

— Не позволите?! — протяжно повторил Иван. — Ну, ин ладно. Тогда делать нечего. Ваша власть!

Сказал — и ни слова больше.

Довольный одержанной мнимой победой, Воронцов ушел.

Когда Иван рассказал о сцене с Воронцовым дяде Михаилу Глинскому, тот так и побагровел:

— Ого! В Шуйские, в Ондреи, во вторые, парень норовит... И ты стерпел, племяш?..

Иван, с умыслом сказавший все Глинскому, ответил с напускной кротостью:

— Что ж я? Вы — правители, опекатели мои!.. Вам и беречь меня. И то уж болтают — кровь я зря лью... Что сам ни сделаешь — потом от вас же покоры: отчего-де вас не спросил, бояр главных?..

Результатом этой беседы явилась ссылка Воронцова Федора чуть ли не в один день с его заклятыми врагами: Шуйским и иными.

Было это в октябре 1545 года.

Опять всполошились все присные попавших в опалу бояр. Засыпали Бельских и Глинских подарками, кинулись к ногам митрополита.

Волей-неволей, чтобы не выказать себя врагом сильного еще боярства, пришлось пастырю снова за преступников просить.

— Да за кого просишь, отче? Думал я: доброхот ты мне, а вдруг за врагов просишь!.. Знаешь ли: те же Кубенские, Палецкие, Шуйские да Тучковы меня с братом Юрием чуть не голодом морили... Как с последних басурманов — в праздники даже великие, — затрапезных кафтанцев не сымали, в штанцах подранных водили. Себе батюшкино да матушкино добро хитили. Петли им мало, не то опалы моей...

Но Макарий все-таки смягчил Ивана. А по угоднике и ласкателе своем, Феде, юноша и сам скоро заскучал.

И к Святкам того же года были прощены все. Возвратясь вторично на Москву, Воронцовы, пылая местью к врагам, повредившим им у царя, решили принять крутые меры. Помогать делу, сперва за свой счет и страх, а потом и вкупе с Воронцами, принялся Федор Бармин, духовник царя Ивана. Насулили сначала Шуй-

ские отцу протопопу полон короб всего — и ничего не дали. Тот, как уж известно, скоро против первых покровителей пошел, пристал к Глинским с Бельскими. И правда, сперва потянули было Бармина эти вельможи. Но Макарию не понравилась такая близость между духовником Ивана и первосоветниками его.

— По единому сто прутьев изломишь, а в связке — погодишь! — подумал Макарий и незаметно, полегоньку да потихоньку, не сам, а посредством десятков и сотен людей, с которыми приходил в столкновение и влиять на которых умел превосходно, — стал Макарий подтачивать влияние Федора Бармина, расшатывать его положение.

Гордый, стремительный и не очень дальновидный, Бармин сам помогал больше всех своему ослаблению. Малейшая неудача или замедление в осуществлении планов личных раздражали протопопу, и он надоедал покровителям, злился, грозил... Кидался к вождям противной партии, заискивал, унижал себя, роняя и свое достоинство, и шансы на успехи, которых только и жаждал честолюбивый Бармин. Благо родины, успех веры Христовой не особенно заботили его.

«Протопопицу в монастырь. Сам надену клобук, спервоначалу — черничий, а опосля и митрополичий!» — вот в чем заключались заветные мечтания Бармина.

«Нет, видно от бояр-собак пути не ждаты!» — решил наконец поп и сам пытался повлиять на царя, придираясь к тому, кто усердно работал при свержении князя Андрея Шуйского.

Но и царя только раздражали резкие нападки исповедника. А грубые, неумелые намеки и периоды лести-вых заискиваний раскрыли скоро глаза не по годам проникательному и подозрительному юноше на истинный характер и угроз, и лести протопопу.

Видя, что и тут дело не выгорает, Бармин совершенно озлобился:

«Эка!.. Погодите ж! Всем вам насолю...»

И уж прямо положил душу, бескорыстно на этот раз, злобы и мести ради, чтобы ко всеобщей смуте и неурядице, царящей вокруг трона молодого царя, прибавить свою каплю желчи.

Рыбак рыбака увидал издалека.

Работая в одном направлении, Воронцовы и Бармин

столкнулись скоро, уразумели друг друга и решили действовать сообща «всем врагам своим и царским на пагубу свирепую»...

Только в то самое время, как протопоп действовал потихоньку и осторожно, вливая яд клеветы и крамолы в умы своей паствы, Воронцовы шли иным путем. Прикинувшись, что обида и раскаяние заставили их отшатнуться и от первых бояр, литовских наместников: Глинских и Бельских; да и от самого царя, который-де игрушка в руках у родни своей, Воронцовы кинулись к Шуйским, Кубенским и ко всей старой партии. Конечно, и наполовину не поверили те своим новым союзникам, но в борьбе нельзя брезгать даже сомнительными средствами и не совсем надежными друзьями. Закипела работа... Новгород был всегдашняя опора старинных вотчинников и волостелей своих, Шуйских, вечно умевших мирволить новгородцам и защищать старые вольности города от Москвы-насильницы. Новгород и на этот раз сыграл роль опорного пункта для заговорщиков.

Ждали только случая, чтобы устроить порядком царя и восстановить против Бельских с Глинскими, а то и захватить самого Ивана, а там поглядеть можно, как царем-пленником воспользоваться. Шемякина смута не за горами была. Все еще ее помнили.

Конечно, не остались в неведении и первые бояре обо всем почти, что затевалось; но помалкивали, надеясь обратить происки врагов на гибель их же собственную.

Так подоспела весна 1546 года.

Плохие вести пришли: хан крымский на Москву походом идет. Уж за Рязанью сторожа порубежные видели значки агарянские, бунчуки ордынские. Это за брата, за хана казанского мстил Гирей, за поход удачный, который прошлой весной русские на Казань совершили. Иван пожелал теперь сам выступить в поход. Робкий и запуганный боярами в своем дворце, он в мечтаниях совершал тысячи геройских подвигов, подобно Дмитрию Донскому и другим царственным героям-предкам.

«Двум смертям не бывать — одной не миновать!» — уговаривал себя отрок, когда невольный страх перед какой-то неизведанной опасностью охватывал его юную, измученную до срока душу.

Умереть в каменном мешке, задавленным или зарезанным толпой крамольных бояр — это казалось Ивану ужасным. Он и содрогался, и в ярость приходил при одной мысли, что такой конец грозил уж ему не раз, да еще и теперь может грозить.

Но умереть в бою, с оружием в руке, получая и нанося раны! Ведь это должно быть даже приятно! — нашептывал ему голос Рюриковой воинственной крови и кровь Батия-завоевателя, которой не чужд был государь.

У Коломны отряды, пришедшие из-под Москвы с царем, стали станом. Новгородские и псковские дружинники скоро подросли сюда же. Пришло тысячи две ратных людей и казаков из Касимова с царьком ихним, Шиг-Алеем-ханом, во главе.

К этому времени казанцы, временно принявшие было Шиг-Алея на престол, выгнали уже толстого, ленивого шаха, который все прислушивался к голосам из Москвы, своих татар гяурам продавал; вместо дела царского девушек да жен мурзинских и простых татарок в гарем увозил. Иную — добром, а иную и силою. И согнали казанцы хана. Опять он в Касимове царит.

Пришлось здесь, в Коломне, всем стоять дожидаться остальных ратных полков, которые изо всех концов царства, под предводительством местных дворян и бояр, к сборному пункту потянулись.

Май настал. Все зеленело, цвело...

Остановясь с ближними своими людьми в большом пригородном монастыре, царь мало дома сидел. С утра раннего окруженный боярскими детьми и дворянами своими, скакал он по окрестным полям, заглядывал и в села... Отдыхал там порой, собирая веселые хороводы, потешаясь, чем придется.

Особенно царь быструю езду любил... Немало и давить народу на скаку довелось ему с его озорной, многочисленной челядью. За отсутствием настоящих врагов, Иван воображал, что поражает басурман, когда с гиком и воем налетал на село, грозой проносился по зеленеющим нивам и только что не сжигал жалкие избы напуганных крестьян... Потом стоянку делали... И веселье, нездоровое, разгульное, кипело волной... Но если боярам, дьякам и подьячим в особый укор такие дебоши народом не ставились, так уж самому Ивану — и подавно...

— Веселится сокол наш ясный! — твердили мужички-серячки. — Молод-зелен еще... Ничаво... Все обойдется. Вон бают: и ласков он порой к нашему брату — хрестьянам православным!.. Што же, пушай его!..

Бояре, глядя на буйные забавы, поглаживали бороды и самодовольно твердили:

— Ишь, побойчал как!.. Хоробрый будет волостель. Землю обережет. Не станет на печи от ворога прятаться...

Младший брат, Юрий, тот оставался в Москве, во дворце, и целыми днями там или ел, или спал, или в бане парился. А то в окно глядел, птицу кормил-прикармливал, которая к знакомому окну всегда стаями слеталась.

В одно утро Воронцов, все время и так ходивший туча тучей, вошел к Ивану в особенно мрачном настроении.

— Что с тобой, Федя?.. Ай с левой ноги ноне встал? — после первых приветствий спросил царь.

— С левой? Погоди, скоро никакой не останется... Не с чевы и вставать буде.

— Ой, что так страшно? Аль татар трусишь?..

— Какие татаре? Свои горше лютого татарина ушибут. Тогда вспомнянешься, кто твой слуга верный, а кто Юда-предатель.

Загорелись глаза у Ивана, даже задрожал он, пуще всего не любивший намеков и боявшийся неизвестности.

«Что бы ни было страшное — да легче его знать, чем пустяковой беды ожидать!» — говаривал он.

— Эй, Федь! — прикрикнул царь на Воронцова. — Гляди, не очень зли меня. Я нынче тоже не больно радощен встал. Говори, коли дело есть, не виляй хвостом по-лисьи!

— Что не сказать? То и дело, что мятеж в стану. Бояре твои первые: Бельские-Подбельские да Глинские-Спать-Завалинские то учинили, что ратники бунт завели... потайный пока... А там и въявь все объявится... Увидишь скоро. А тебе никто и не скажет... Позволяют чуть не одному скакать. На пагубу, видно, чтобы потом власть в руки свои вплотную забрать!

— Мятеж? Бунт? Ратники?.. Да ты спятил! Когда? Кто? Не Шуйские ль то сызнава?

Иван и допустить не мог в уме, чтобы простые рат-

ные люди какое-либо зло от себя сами замыслили на него, на царя, Богом данного. Воронцов на миг задумался: предать или не предать давних врагов своих, недавних союзников, Шуйских?

И решение быстро созрело.

— Шуйские?.. — повторил он словно неохотно. — Может, они, да и не одни!.. Я не обыщик. Мое дело тебя остеречи да оберечи. А там каты твои пущай с докащиками сыск ведут да воровских людей имают!.. Только совет мой тебе: не езжай никуда без доброй сторожи... А лучше и вовсе дома посиди... покамест...

Иван только презрительно посмотрел на Воронцова. Потом, помолчав, промолвил:

— Ин, ладно! Спасибо за вести. А как быть мне — рассудим мы сами о том умишком своим.

В то же утро на любимом коне своем, на арабчике, которого принял в дар от Адашева, щедро одарив взамен нового слугу своего, выехал, по обыкновению, за город Иван с большой, блестящей свитой. А поодаль скакала дружина дворянская, человек двадцать — тридцать. Рядом с Иваном едут: двоюродный брат его князь Владимир Андреевич Старицкий и родич, племянник царя по женской линии, князь Мстиславский Иван. На большом, тяжелом коне плетется за всеми грузный царь касимовский Шиг-Алей, безбородый и малоподвижный. При нем брат Джан-Алей и Даир — царевич астраханский. И Курбский Андрей, воин молодой, и Горбатый князь, воевода тут же едут. Воронцовы оба брата поодаль немного: Федор и Василий. Кубенский Семен, родственник казненного всего год тому назад князя Ивана, троюродного брата царского, едет задумчивый, взволнованный чем-то. Мстя за невинно казненного страдальца, он теперь подал руку Воронцовым и Шуйским, но прямая честная душа Рюриковича возмущается окольными, темными путями, которыми пришлось ему идти. Двое князей Сицких: Даниил и Василий Андреевичи — рядом с Кошкиными-Захарьиными едут, с Никитой и Данилой Романовичами. Особенно сблизила этих бояр женитьба Василия Сицкого на Марфе — старшей из двух сестер-сироток Кошкиных-Захарьиных.

Морозов Михаил, воевода Михаил Воротынский, Хованский князь, Иван Челяднин, Палецкий, Бельский молодой — все тут.

Алексей Адашев, новый постельничий царский, едет и о чем-то толкует с князем Дорогобужским, своим товарищем по должности, тоже спальником царским. С говором и смехом ехала вся кавалькада. Атласные кафтаны, опушки меховые, соболиные, разводы и жгуты, из золотых да серебряных нитей тканые, камни, самоцветы дорогие, украшавшие всадников, — все это так и сверкало-переливалось в лучах ярких, солнечных.

Оружие дорогое, с насечкою, тоже сияло да позвякивало. Оперенные стрелы в саадаках на быстром скаку так и взлетали за спиной у дворян-проводящих...

Проехав с полчаса, миновав и оставив далеко позади городскую черту, весь поезд направился прямо к стану московских войск: Передового полка и полка Правой руки, которые раскинули шатры свои верстах в шести от города, в тени густых деревьев большой, многолетней рощи.

— Глядите, что за люди такие идут прямо на нас? — вглядываясь вдаль, спросил вдруг князь Мстиславский.

Царь насторожился и тоже пристально стал вглядываться по тому направлению, куда указывал княжич Иван.

В полуверсте от них из рощи на опушку один за другим высыпали ратные люди, по виду пищальники. Все в темных полукафтанных, в шапках новгородских, они, конечно, принадлежали к дружине, высланной из Новгорода тамошним наместником, князем Турунтаем-Пронским, ведавшим и Псковом заодно. Раньше Репнин-Оболенский с Андреем Шуйским правили бурливыми сынами Святой Софии, но Шуйский возвысился сперва на степень правителя московского, а потом — зарезан был на пустыре, как овца. Репнин тоже не удержался на своем месте. Турунтай, назначенный Бельскими, не был честнее. Он лишь изменил тактику, которой раньше держались оба соправителя.

Льстя всему «миру», всем обывателям вообще, давая городу новые льготы, и своей волей и у царя выпрошенные, наместники вообще не упускали ни одного случая, где можно было прижать, потеснить, пограбить отдельных людей: торговых, тяглых или гостей заморских; а таких особенно много собиралось в Новгороде, на старом торговом перепутье. Еще солоней Пскову приходилось.



Но псковичи — те молчали, терпели покуда. А более смелые, буйные новгородцы, и в спальне царевой не раз под главенством Шуйских куролесившие, — эти легко поддались на «поджигу» Воронцовых, Кубенских и тех же Шуйских. Решили теперь они воспользоваться случаем: отрока-царя припугнуть, а то и в полон забрать, держать, пока своего не добьются...

Чтобы избежать обычных, вечных ссор между войсками, новгородцев подальше от москвичей поставили, верстах в трех, зато к городу поближе. И только мимо шатров, осененных хоругвями с ликом Заступницы Новгородской, можно было пробраться к вежам московским.

Видно, шепнул кто пищальникам, когда и как поедет Иван. Покинув шатры, ратники забрались по ту сторону дороги, в рощу. И теперь, как из мешка, сыпались на опушку, встали и на пути, по которому царю вперед ехать надобно. Сначала, казалось, немного их вышло из лесу. Но за полверсты видно, что между деревьев еще кафтаны и цветные верхи шапок виднеются... И постепенно увеличивается живой человеческий затор на пути.

Побледнел Иван от ярости, узнав новгородскую дружину, вольницу, ему с малых лет страшную и нелюбимую... и словно старый страх прополз холодной змейкой по спине.

Далеко еще они, пешие... Кругом обороны много у Ивана... А все же невольная дрожь пробегает по телу...

Овладев собой, он сказал Горбатому:

— Ну-ка, Сашка, пошли кого, пусть погонят с пути это воронье... Новгородцы, никак... Их даже кони, того и гляди, испугаются, лохматых!

Сейчас же от группы дворян, ехавших сзади, отделилось человека три и поскакали к кучкам пищальников; но те, опершись на свое оружие, стояли спокойно и ждали приближения поезда.

— Эй, вы! Што за люди?.. Прочь с пути, смерды поганые... Царь едет!.. А не то!..

И дворяне внушительно свистнули по воздуху нагайками своими турецкими, со свинчаткой на конце.

— Су! Грози, да не грозно! И не таких медведей мы подымали на рогатины... Што ж, што царь? Его-то нам и надобно. Челом ему бить хотим, на обидах на поместных, на служилых да на дворянских... Скачите,

скажите царю... Неча ему пужаться нас. Не татаре мы: его подвластные...

— Прочь! И слушать ничего их не хочу!.. — уже с пеной у рта от дерзости холопов вскрикнул Иван, когда подскакали дворяне и передали, что толкуют пищальники. — Пусть в шалаши свои сызнова попрятутся, нам дорогу дают. Для жалобщиков приказы есть у нас... Прочь их погнать... Сейчас же.

— Приказы? Знаем мы энти приказы! Вон они у нас здесь сидят! — показывая на загровки, уже гораздо резче загалдели пищальники, выслушав ответ Ивана.

Ответ этот сообщили им царские посланные, окруженные всей толпой провожатых дворян, по знаку Горбатого выехавших вперед царского поезда.

— Что?! Вы орать? Царского слова не слушать?.. Прочь, холопы!.. — загремел голос старшего из дворян-охранников. — Ну-ка, братцы, покрестим дураков, чтобы знали, как молиться, как лоб крестить? — И со свистом опустилась тяжелая нагайка на плечи ближайшего из толпы.

Там словно ждали только этого знака...

Плотной стеной, отвечая бранью на каждое бранное слово, толчком на толчок, стали надвигаться на конных пищальники. Одни хватали за уздцы горячившихся коней, стараясь стащить с седла всадника... Другие кололи лошадей; те вздымались на дыбы и чуть не сбрасывали хозяев. А кучи новгородцев, озлобленных, дюжих, подвыпивших хорошо, очевидно — для храбрости, все росли... Полетели комки грязи, камни в дворян, колпаки завертелись по воздуху. Сообразив опасность, конные, словно сговорились, круто повернули, проскакали немного назад, выстроились, опять повернули и стояли теперь живой стеной между поездом царя и толпой бунтовщиков, стояли, готовые ринуться в лихую атаку. Но раньше они вынули по стреле, зарядили самострелы — и ждали, что будет.

Князь Горбатый, видя, что творится, поскакал к дворянам-стражникам, чтобы распорядиться ими.

Иван, еще пуще теряясь, страшно озлобленный, огляделся вокруг.

Прежде всего ему кинулось в глаза, как разбилась его собственная свита. Владимир Андреевич, Сицкие, Захарьины, Курбский молодой, Мстиславский, Адашев, Морозов, Воротынский, Челяднин и Бельские — все за-

ступили царя, огородили его, словно прикрывая собой от опасности, как порою пчелы матку охраняют телами своими.

Петр Шуйский, Хованский и Кубенский с Палецким, словно ненароком, отстали малость, поодаль, на отлете держатся. Воронцовы братья — ни в тех, ни в сех: посредине, так сказать! И сюда, и туда одинаково быстро и незаметно примкнуть могут, смотря по ходу события.

Все это заметил наблюдательный, вдумчивый царь-отрок.

Вперед глянул — там уж стрела зазвенела... Пищаль грохнула... Ослопы мелькают, сверкают лезвия сабельные... Побоище прямое затевается. Вот упало двое...

Назад посмотрел Иван и обмер. Из рощи, мимо которой им дорога была, там, отрезая царю отступление, новые толпы этих патлатых, угрюмых, возбужденных холопов-пищальников появляются... Много их! С той и другой стороны — до тысячи шапок наберется... А иные и в полной броне, с колпаками железными на голове... Словно на врага вышли! Направо от дороги луг зеленеет, пригорками и холмами он кончается вдаль. Что там? Может, новая засада?.. И круги разноцветные пошли уж в глазах у царя.

— Словно зайца изловили, затравили! — подумал он. — Дурень, что я Федьку-холопа не послушал!.. Все же, видно, не врал он, хошь сам, может, и беду навел!.. — вдруг почему-то с прозорливостью, присущей порой эпилептикам, решил Иван.

В то же мгновение он почувствовал, что с обеих сторон кто-то хватает под уздцы его коня.

— Прочь! — с выкатившимися от ужаса глазами вскрикнул Иван, выхватывая с быстротой молнии пистолет из-за пояса и взводя курок.

Еще миг — и грянул выстрел, но в небо, так как Адашев подтолкнул руку Ивана.

Это он, Алексей, с Никитой Кошкиным-Захарьиным схватили царскую лошадь и теперь говорили:

— Не бойся, государь! Здесь, за лугом, вон за теми холмами, проселок вьется... Те пешие, мы на конях. Я сейчас там был... На проселке. Чисто вокруг. Нет никого!.. Скачем туда целиной, наперерез, скорееча, государь, пока заднее мужичье не подвалило.

И, сразу поворотив коня Ивана, они втроем помчались первыми, без памяти, через луг, а за ними и весь поезд.

При этом Шиг-Алей, прятавшийся позади всех, а теперь заметивший, что и сзади надвигаются пищальники, что было мочи гикал, погонял и шпорил своего грузного, ленивого коня, чтобы втиснуться в группу мчавшихся людей, летевших врассыпную, словно стая голубей от ястреба. Татарину ни за что не хотелось, чтобы между его толстой, дряблой спиной и дулами новгородских пищалей не было ничего, кроме вольного воздуха, так и свиставшего у всех в ушах от бешеной скачки...

Почти бесчувственным домчали Ивана в стан московский, где посредине был раскинут высокий, златоверхий царский шатер с хоругвию дедовой при нем. На хоругви был изображен св. Георгий Победоносец.

Почти все ночи раньше проводил Иван в Коломенском монастыре, где некогда был настоятелем один из монахов-иосифлян, друг покойного князя Василия, Вассиан Топорков, непримиримый враг всех бояр.

За особое доброхотство к великому князю бояре лишили его епископского сана, подняли на Вассиана коломенскую чернь, едва не побившую камнями архипастыря. И кончилось тем, что сослали Топоркова на дальний Север, в бедный, хотя и чтимый очень Белоозерский монастырь.

Теперь коломенские монахи порассказали Ивану о верном слуге и мученике за преданность царю. Но последних ночей не пришлось Ивану провести под монастырским кровом. Едва ввели его в шатер, как начался обычный припадок с напуганным, потрясенным юношей. Кое-как, в отсутствие врачей, справились окружающие с больным и разошлись. У ложа остался один Адашев как постельничий. Да в соседнем отделении шатра, разделенного на две половины, расположился на отдых князь Владимир, тоже сторожа сон двоюродного царственного брата.

Вечер сходил на землю.

Тысячи звуков висели над суетливым станом московской рати. Ржали кони в коновязях, блеял и мычал скот, приведенный для продовольствия ратников... Везли воду на варку ужина от реки в больших мехах и в ушатах на скрипучих телегах... Вился и разносился в прохладном воздухе терпкий дымок от очагов поход-

ных, от костров. Летел к небу клубами этот дым, весь озаренный и пронизанный косыми красноватыми лучами заходящего солнца, придающего нежные оттенки багрянца дымным струйкам и клубам. Движение, и говор, и гомон в стане. Вечерние караулы разводятся, к ужину собираются люди... Проезжают посланцы порой... Завтра праздник, и перед аналоем на открытом воздухе священник служит всенощную... Благоговейно осеняют загорелые руки ратников широким знаменем креста их запотелые, загорелые лбы... Аромат ладана сливается с ароматами зеленых лугов и лесов, доносимых сюда ветерком... И какая-то незримая, неуловимая тишина словно готовится поглотить, заглушить все стихающие звуки шумного лагеря, заканчивающего свою дневную полубоевую жизнь.

Легкий порыв ветерка пробрался в открытые полы царского шатра, скользнул по лицу спящего, шевельнул прядь вьющихся слегка, темно-русых волос, и Иван сразу прокинулся, проснулся.

Во сне позабыв о случившемся, он раскрыл глаза, не чувствуя той истомы и разбитости во всем теле, какие обыкновенно испытывал после своих припадков. Свежим, бодрым пробудился царь и с отрадой впивал всею полуобнаженной грудью свежий майский вечерний воздух и аромат, глядел на красноватые лучи, пронизавшие сумрак шатра, на всю знакомую ему картину военного стана, отходящего ко сну. Приподнявшись, ловил царь чутким ухом всю гамму из тысячи звуков, рассеянных в воздухе и образовавших какое-то стройное, хотя и слабо уловимое, согласное созвучье.

Вдруг глаза его встретились с глазами Адашева, тревожно глядевшими на проснувшегося царя.

Сразу все вспомнил Иван — и передернулось, перекосилось от злобы лицо, пена опять выступила в углах губ. Быстро повернувшись к стене, чтобы скрыть краску, заливающую ему лицо, краску стыда и смущения, Иван погрузился в глубокое, мучительно-напряженное раздумье.

— Видели!.. Все видели, как струсил я, бежать кинулся! И от кого же? От холопей, от смердов своих же, от толстолобых новоградчан!.. А не уйди я — убили бы! Прямо надо говорить. Спасибо еще Адашке и Захарыну-Кошке... Выручили... Но уж видит Бог и святой Георгий — сведу когда-нибудь я счеты с про-

клятыми новоградчанами... Не они сами, внуки их за все про все мне поплатятся! Навеки отучу их фордыбачиться, иначе жив не буду... Амины!..

«А теперь надоть бы узнать путем, кто подстроил их? Кого бы только мне на обыск пустить? Из бояр никого нельзя!.. Они покрывают один другого. Злейшего врага враг не выдаст, чтобы против царя больше шапок стояло!.. У-у!.. И с вами, голубчики, по времени поуправлюсь я! Моя земля — и буду я владеть ею...

Адашку нешто напустить?.. Верен парень, не лукав, да молод... Живо подлые с толку, с пути парня собьют».

И, лежа в молчании, царь мучался, изыскивая, как бы ему зачинщиков, настоящих вдохновителей сегодняшнего бунта раскопать... Кто бы помог ему расплатиться за мучения страха, испытанные там, на дороге, под лесом? За все муки стыда, переживаемые здесь вот, теперь?!

И вдруг чуть не в голос вскрикнул царь:

— Захаров Васька!.. Благо здесь, со мной он!..

И сейчас же вскочил, живо сел на постели.

— Адашев!

— Что прикажешь, царь-осударь? — спросил с поклоном Адашев.

Владимир Старицкий, услышав голос двоюродного брата, тоже появился в этой половине шатра.

— Что? Каково тебе, государь?

— Ничего... Спаси тебя Бог, брате. Лучше сейчас. А вскорости — и вовсе хорошо, легко станет, коли Бог да поможет.

— Захарова дьяка, Ваську, ко мне! — приказал он Адашеву.

Адашев поспешил выйти, разыскать этого дьяка из Судного дворцового приказа, человека темного родом, но приближенного к юному царю за бесстрашное исполнение долга. Доказал это Захаров год тому назад розыском по делу казненного тогда же князя Ивана Иваныча Кубенского, думного боярина, Рюриковича родом, доводившегося и со стороны матери троюродным братом Ивану; еще при Василии занял Кубенский важный пост крайчего царева.

Ивану донесли, что боярин, правда, после пиру веселого, упившийся изрядно, толкуя о казнях, совершенных недавно, очень порицал юного царя и так заключил «неистовые» речи свои:

— Вот уж будь я в верховных боярах, не попустил бы злодеяний таких! Показал бы, что Рюрикович прирожденный есмь, а не на овчину львиная шкура надета у меня.

Юный Иван понял жгучий намек, скрытый в последней фразе, и решил жестоко отомстить боярину.

Долго думал тогда, вот как и нынче же, Иван, кому бы дело поручить.

Вспоминать, прикидывать стал и остановился на старом пособнике матери покойной, на дьяке Василии Захарове. Из простых людей был Захаров, но и мать Ивана, великая княгиня Елена, за ум и сметку его отличала, и по смерти ее не опускаться, а подниматься продолжал старый служака.

— Слушай, дьяк! — сказал ему царь. — Прослышан я, что боярин мой знатный, родич любезный, воровским делом живет... Кубенский сам боярин, крайчий наш и самотяг, бражник бесовский. Мало того, что во хмелю наше царское величество поносит, но и жалобы многие до нас дотекли на мздоимство и лихоимство боярское... И сказывают: погребя его не купленным — нашим царским вином да медами полны... Не желаем терпеть того, дьяк. Особливо — глумления боярского. Сможешь ли, никого не убоясь и не утрашась, розыск сотворить, послухов найти, как надо уличить боярина?

— Коли сам он столь виноват, чего ж бояться али страшиться мне, светлый царь-государь? Его вина, его и страх. А я — слуга царский!..

И правда: как сказал, так и сделал.

Послухи нашлись неложные, старые вины несомненные сыскались на гордом, знатном боярине, который, несмотря на знать и богатство, подобно остальным вельможам, и в лихоимстве грешен был, и, любя выпить, не особенно с царскими погребами чинился... Казнили его.

Правда, взывал боярин к близким и присным:

— За что гибну? Хуже я, што ли, вас? Грешней ли? И то подумайте! Вызволяйте своего!

Но все попытки оказались напрасны.

Иван сам следил за судом и розыском. И все скоро поняли, что не грехи личные, не лихоимство, а слова неосторожные сгубили боярина, Рюриковича...

Такая же вот каша и сейчас заварилась, и царь ре-

шил, что дьяк, не струсивший тогда, не сробеет и теперь и душой перед царем не покривит.

— Встань, слушай! — приказал он Василию Захарову, когда тот, введенный в шатер, как водится, поклон земной отвесил.

— Что было нынче со мной? Слышал ли? Знаешь, чай, уже?..

— Слыхивал, знаю, царь-осударь!..

— Розыск учинить надо... Суд нарядить!.. Быть того не может, чтобы сами они от себя, как ни буйны собаки новгородские... Знают ведь: московский стан мой рядом. За каждый мой волос их бы запытали, затерзали потом! Живьем бы сожгли их мои ратники! Значит, заручка у мятежных была. На сильную руку на чью-то надеялись... Да не на одну!..

— Так полагать надо, царь-осударь!..

— Вот и допытайся... Никого не щадя, ничего не страшась. Дядей родных, бабку свою старую — всех тебе на сыск отдаю...

— А рази думно тебе, царь-осударь? — осторожно осведомился прозорливый дьяк.

— Ничего мне не думно. Кабы думно — я бы сам наказал, своей властью... Да не хочется правого за виноватого схватить... Чтобы виноватые не ликовали да не тешились надо мной...

— А все же, осударь, чай, в мыслях имеешь что? Али в приметах каких? — продолжал допытываться осторожный старик, чтобы получить хоть малейшую путеводную нить в этом лабиринте боярских происков и козней.

— В приметах?.. В мыслях?.. Мало ль што имею я. Да тебе скажу — и с толку собою. Пойдешь по моим следам — свои потеряешь.

— Не было того, кажись, царь-осударь! Чту я тебя сам знаешь как. А разума своего не чураюсь... У тебя царский ум, высокий... У меня — подьячий, низкий. Да он-то нам тут и надобен!..

— Празда, правда... Ну, слушай!..

И царь рассказал дьяку и про наветы Воронцова, и про поведение их утром, во время нападения новгородцев, и про остальных бояр — все, что заметить успел в эту тяжелую минуту.

Неволью высказались тут и симпатии и антипатии царя, и его затаенные желания и все подозрения.



А старой лисе — дьяку только того и надобно было.

«Западает воронцовская звезда! Восходят зорьки Захарьиных да Адашева!» — подумал про себя дьяк, а сам заговорил вслух:

— Вразумел я слова твои, царь-надежа... А только труда немало будет подлинных-то злодеев сыскать. Это истинная правда, что с подспорьем великим дело начато... Откуды лишь?.. Да небось: душу положу, а все, как масло на воду, выведу!

— Действуй! А вот тебе и подпис мой! Кого хошь — на допросы зови, в колодки сажай... Полная тебе воля!

И снабженный приказом царским дьяк принялся за дело.

Отпустив дьяка, Иван остаток дня провел с Адашевым и Владимиром Андреевичем.

Оба с князем Владимиром они слушали, что им начитанный Адашев их разных книг пересказывал.

— Да ты постой! — остановил его Иван. — Буде тебе все про важное, да про ратное, да об землях чужих... И сам я немало читывал... И не до того мне нынче. Веселое что приberi. Развей хворь, кручину-тоску мою... Видишь: недужится мне еще...

— Изволь, осударь! — вспыхнув неволью лицом, ответил Адашев. — Хоть и не мастак я... Да пришлось как-то... Читывал я итальянскую книжицу невелику. Мних один, доминиканец, складывал... Как его?.. Да, Банделли звали... Забавные у него гистории, хошь и не совсем чинные да пристойные...

— Их-то нам и подавай!.. Уж коли мних писал — значит, забавно. Мастаки они на всяку таку всячинку. Валяй!..

И, заливаясь не раз румянцем стыда, покорный воле царя, Адашев стал пересказывать новеллы шутивого характера из хроники некоего доминиканца Банделли, изображавшего все в живых красках, с забавным остроумием. Оба слушателя забавлялись и хохотали от души, причем царя занимал столько же рассказ, сколько и невольное смущение и застенчивость рассказчика, чистого душой, патриархально воспитанного в семье Алексея Адашева.

— Ишь ты, — заметил Иван, — соришься ты, словно девица красная. Соромисься шутики шутить...

Все бы тебе из божественного... Да, скажи, женат ты, Алеша?

— Женат, осударь!..

— А што, красива твоя женка? Стройна, полна? Как звать-то ее?

— Настасьей, осударь... Мне — мила... А там как сказать: красива ай нет — не знаю...

— Ладно. Кроешься... Боишься, чтобы не сглазили?.. Ладно, на Москву воротимся — сам приду погляжу. Да скажи: на кой ляд так рано оженили тебя, молодца? То-то ты мне такой плохой товарищ в веселых забавах моих!.. К жене все домой тянет? А? Право, рано сгубили парня.

— Воля была родительская, осударь... И опять: протопоп Сильвестр, отец честной, батюшке моему порадовал: «Скорей парня женить, — сказал, — раньше добра видать... Деток выведет. Будет для кого стараться: дом приумножить, а не расточить... Хошь и не царское наследие у нас, чтобы надо готовить преемника, а все ж гнездо... И не избалуется парень, здоровей будет! Господь так и устроил, чтобы в брак вступали люди. Следует лишь соблазну блюстися!»

Внушительно, твердо повторил почему-то Адашев эти речи пастыря, словно желая врезать их в ум и душу отрока-царя.

Тот задумался на мгновение.

— Протопоп наш, благовещенский, Сильвестр? Вы его откуда знаете?

— Из наших он краев, новгородский...

— Да, да, правда... И я замечал: хороший он поп... На иных не похож. Хошь бы Федора взять Бармина, батьку духовного моего.

— Да, Сильвестр — редкого ума старец и жизни святой! — живо вмешался Владимир, который знал, как много помогли его освобождению именно Сильвестр с Макарием-митрополитом. — Давно он ведом нам, государь! Истинный пастырь духовный!..

Царь еще больше задумался.

— Гм... надо будет пощупать попика... Може, и мне он по душе придется, ежели вам так угодил. А я не одних скоморохов да чревоугодников, застольников моих, жаловать умею... И людей бы добрых, изрядных хотелось круг себя видеть... Да чтой-то мало их! — произнес негромко этот царь, в пятнадцать лет успе-

ший узнать всю тягость жизни и извериться в окружающих, — и замолк. Вдруг тишина в шатре прервана была резким криком:

— Да придет Царствие Твое!..

Это крикнул сидящий на жерди говорящий попугай Ивана, посланный царю константинопольским патриархом, умевший читать «Отче наш». Иван улыбнулся.

— Придет! Придет! Да не сразу, видно... — И, погладив по шейке любимца, снова стал беседовать с Адашевым и с братом. Но скоро опять дремать стал и отпустил их...

За те немногие дни, какие провел еще под Коломной Иван, пока пришло известие, что крымцы бою испугались, назад поворотили, ретивый дьяк Захаров и розыск весь кончил... Как по писаному все пошло!

Всплыли все замыслы злодейские наружу: поджигательство Шуйских явное. Соучастие тайное, оказанное со стороны Кубенских и Воронцовых, которое помогло осуществлению дела.

Иван в ярость пришел, услышав такие вещи.

— Федя Воронцов?.. Тот же, что юдиным целованием целовал меня? Сам о крамоле упреждал, сам же и заводил ее? С врагами своими смертельными против меня с Шуйскими стakнулся?! Ладно же! А Кубенским мало, видно?! Не унимаются? Весь род их изведу, а смирю строптивых, покажу им, каков я «овчина» есть под шкурой львиною.

И оба брата Воронцовых, Федор и Василий, и Кубенский Петр казнены были смертью. А их многочисленные сообщники, смотря по степени вины, или, вернее, ненависти к ним Ивана, — кто сослан был, кто батогами и кнутами казнен, кто просто опале подвергнут, с глаз царских удален в поместья свои дальние.

Было замешано в деле несколько лиц из белого и черного духовенства. Их, властью митрополита, тоже кара постигла. Кого заточили в монастыри дальние, бедные. Иных расстригли, предали светской власти на расправу.

Федор Бармин нашел сильных покровителей у царя, у Макария и был отпущен «в легком подозрении», но оставался еще духовником царским, пообещав митрополиту покорствоваться во всем и в дела мирские не мешаться отнюдь!

Воротясь на Москву, Иван не забыл своего обещания, — побывал у Алексея Адашева.

Тот жил уж не в Китай-городе, у отца, а как царский постельничий устроился в самом Кремле, по правую руку Ризположенских ворот, по левую сторону которых темнели тюремные срубы с потайными подземельными тюрьмами, «мешками каменными»...

Ворота же самые представляли из себя две высоких башни, первая, Собакина по прозванию, по эту, другая — по ту сторону Неглинки-реки. Обе башни были соединены крытым мостом, с бойницами поверх покрытия. Таким образом, внизу ехать, а вверх ходить можно было. Для береговых жителей, селившихся за стенами, сбоку каменной кладки были деревянные мостки еще через воду перекинута.

Двор Алексея Адашева, граничащий с владениями Семена Никитича Годунова, не так велик и посадист был, как двор старика Федора Григорьевича, но все же изряден. А жилые покои — просторней даже и лучше убраны, чем у отца.

Нежданно в гости царь пожаловал. То есть жена Алексея, Настасья, урожденная Сатина, из рода князей козельских, и подруги-гости, бывшие у нее и гулявшие по саду, притворились сильно напуганными, когда Иван в сопровождении самого Адашева появился перед ними.

Не знал, конечно, царь, что, пока седлали коня ему, после того как он объявил: «Алеша, а нынче я к тебе нагряну!..» — в этот самый миг помчался вестник к Адашевой с упреждением.

А Настя, добрая и ласковая на вид красавица, с серыми навывкате глазами и полной грудью, была не глупа и мужу покорна. Начеку жила, и все уж давно у ней было налажено, с подругами уговорено.

Пока дворцовым двором и проулками нелюдными добрался Иван до Адашевых — там все было готово.

Приняли честь честью царя.

Сама хозяйка меду первую чару поднесла и расцеловалась с гостем. И все другие гости, больше девушки, так как недавно повенчанная Настя еще сохраняла связи с подругами, — все должны были угощать да целоваться с юным царем, светлого государя-красавчика потешить.

Все, как на подбор, красавицы здесь собрались. А

больше всех приглянулась царю веселая, бойкая да разбитная подруга хозяйки, Анна Романовна Захарьина-Кошкина. Хотя не княжеского, боярского только рода девушка, но славной почетной семьи, особенно тем отмеченной, что за многие годы ни к единой крамоле Захарьины не причастны, ни к какой из партий боярских и княжеских не примыкали. И свое невольное уважение к имени Захарьиных перенес при встрече Иван на Анну.

К тому же Анна глядела так ясно и доверчиво своими темными, прекрасными, детски чистыми глазами, так искренно радовалась вниманию, оказанному ей со стороны царя, так звонко и заразительно хохотала при всякой шутке, от всякой резвой выходки, что в юношеском остром волнении, вызванное видом миловидной и веселой девушки, совсем потонуло среди тысячи других тонких и приятных душе ощущений: жалости, восторга, детского веселья, какого никогда почти и не знал печально возраставший Иван. И таким беззаботным весельем он сейчас же заразился от этой простой, милой девушки.

Зазвонили к вечерне. Притихла веселая компания. Перекрестились все. Расходиться настала пора. Но первое свидание было не последним.

Воротясь во дворец, Иван долгое время ходил радостный, тихий какой-то, словно поюнул совсем. А то царь много старше своих пятнадцати лет казался, особенно в гневные минуты. Раньше дня не проходило, чтобы не гневался на кого-нибудь. А тут без шума несколько дней прошло, и не затевал своих обычных дебошей Иван.

Пособники в безобразиях отрока и люди, не любившие смирения в Иване, — все задумались: «Что за перемена в царе?..»

Скоро все обозначилось.

У Адашева сперва, а там и у Захарьиных, куда царь зачастил, будто бы в благодарность Никите за спасение в коломенской передраге, — везде Иван старался сейчас же с Анной увидаться и как можно дольше оставался наедине с девушкой.

Захарьины опасались сперва. Но скоро успокоились, когда пересказала им сестра, как ведет себя царь и что толкует ей.

Но все-таки семья опечалилась.

— Не будет проку из этого! Нешто первые бояре допустят до благого конца, до честного венца?.. Особливо Глинские, Бельские! Живьем сглонут.

— Вестимо, не допустят! — подтвердил и старик дядя, боярин Михаил Юрьевич, после смерти отца их, Романа, занявший место главы семейства. — А, впрочем, — поглаживая бороду, процедил он сквозь зубы, — глядя еще по делам, по...

И не dokonчил, за хлопоты принялся. К митрополиту заглянул, к Бармину, исповеднику царскому, к Адашеву удосуужился, хотя тот и много боярина моложе, да очень его царь за последние дни возлюбил!

События быстро одно за другим пошли, словно с горы покатались.

Поздняя осень стояла, когда в один из светлых теплых дней Иван, заглянув к Захарьиным, по обыкновению, ушел с Анной в сад, в беседку, увитую хмелем, жгуты которого и поредели и пожелтели теперь...

После первых фраз Иван, зорко глядя в лицо девушке, вдруг произнес:

— Нюта, а ведь я нынче прощаться приехал...

— Что ты, государь? Что ты, Ванечка?.. Да почему? Далеко ль, надолго ль едешь? Уж не в поход ли? Скажи скорее...

Спрашивает девушка, а у самой голос дрожит, слезы градом из глаз так и посыпались, скользят по щекам помертвелым... Скатываются на грудь высокую, что дышит тяжело и порывисто.

— В поход?! Эко, што вывезла! Вот и видать: разум-то короткий, девичий. Кто же не знает, что по осени в поход не собираются, спустя лето по малину в сад не хаживают. Весной да зимою походы все. А осеннее дело — иное... Свадьбы! Придет Покров — веселье со дворов! Венцом парней, девок кроет-покрывает... Вот оно што!

— Не пойму я речи твоей, Ваня... Какой венец? Чья свадьба?

— Моя, вестимо. Не век же мне голубей гонять, чужих белых лебедушек подлавливать. Свою пора завести.

— Ты... Ваня... Ты, государь, женишься...

— Надо! Года такие пришли... В животе и в смерти — Бог волен. Нельзя мне сиротой землю оставлять. Умру — моим пусть детям престол будет, не дядьевым сынкам. С них — ихнего довольно!

— Умрешь? Женишься... Да не мучь — толком говори...

— И то толкую ясно. Жениться задумал. Если бояре, вороги, изведут раньше времени, чтоб хоть семя мое осталось... Что ж молчишь? Не спросишь: на ком? Али знать не охотишься?

Но Анна, ухватясь за край скамьи одной рукой, чтобы не свалиться от налетевшей слабости, сидела не говоря ни слова.

— На цесарской сестре женюсь... Уж и посольство вернулось... И персону ее мне прислали... Пригожа на диво. И вино богатое дает за сестрой цесарь!.. Да что с тобой? — спросил он, видя, что девушка как-то мягко, мешком, валится со скамьи на землю.

Подхватив ее, он опять усадил обомлевшую красавицу, ворот ей распахнул, в чувство привел.

А сам глядит все, вглядывается.

— Вижу, вижу: неложно любишь меня!.. Да ведь и не расстанемся мы... Пошутил я...

Девушка, сразу оживясь и порозовев, подняла свой кроткий взор на красавца-царя.

— Не понимаешь?.. Я женюсь... Тебя за кого-нибудь из похлебников, из бояр моих замуж выдадим... Согласна ль..

— Государь, что спрашиваешь? Видишь: на все твоя царская воля! Только не жилища я на свете. Ты счастлив будь с государыней-царицей твоей богоданной... А я... Я в монастырь уйду... за вас Бога молить, за счастье и долгоденствие ваше!..

И каждое слово, каждый звук ее голоса звучали такой правдой и тоскою, что слезы выступили на глазах впечатлительного юноши.

В неукротимом порыве схватил он девушку в свои могучие объятия и тоже искренно, горячо зашептал, откинув всякое притворство, всякое выпытывание:

— Не плачь, лапушка! Отри слезы, краляюшка. Ласточка ты моя сизокрыленькая, щебетушечка веселая. Повеселей, защебечи по-старому!.. Ни на ком, кроме тебя, не оженюсь. Ни с кем не повенчаюсь. Ты моя нареченная. Царица богоданная!.. По гроб жизни. Вижу, верю, что не царя во мне — меня самого любишь. И мне ты мила же!

Но девушка, хотя и ожила, слыша речи такие за-

манчивые, от которых голова кружилась и дух захватывало, все же грустной осталась.

— Да что, ты все не веришь мне? Шутил я раньше, а сейчас правду говорю... Хошь крест целовать!..

— Верю, милый, верю, желанный... Верю, Ванечек, красавчик мой ласковый... Да не о том я думаю теперь! Ты не обманываешь. Да другие не позволят.

— Глинские? Не послушаю я их!.. Уж была речь. Кроме них, все рады, что я близ тебя таким тихим стал, свои прежние повадки забыл. И сам отец митрополит хвалит тебя же. А до Глинских мне и дела нет. Хошь и дядевья, да не свои они — литовцы. Им бы славы да корысти все. А у меня и так всего довольно. Я царь всея Руси! И могу по моему хотенью невесту брать. С митрополитом уж говорено. Все по чину сотворим, чтобы зависти да обиды боярской не было. И сбор девок-невест по царству. И смотрины. И все... А выберу я тебя! Так и знай!..

И, слушая его, грезила наяву девушка, опаляемая поцелуями Ивана.

Все вышло по слову юного царя, причем он совершенно не замечал одного: что важнейшие его решения внушаются ему осторожно со стороны митрополичьих покоев.

### *Годы 7055—7056 (1547—1548)*

Еще в конце 1546 года, о Рождественском посту, заявился к митрополиту Иван со своим словом государевым о женитьбе, как уж не раз здесь и раньше было толковано.

И на другой же день митрополит Макарий отслужил торжественный молебен перед древней чудотворной иконой Владимирской Божьей Матери в Успенском соборе, заложенном еще в 1326 году руками святого митрополита Петра, одного из устроителей Московского царства. Полтора века спустя, в 1471 году, другой святитель, Филипп, воссоздал из камня весь обветшалый, деревянный храм, собрав много казны на святое дело. Сам святитель был погребен в обновленном храме раньше, чем великий итальянец зодчий Аристотель Фиораванти, отстроил до конца эту прекрасную усыпальницу первосвятителей московских и всея Руси.



А создание исторического храма, как в первый, так и во второй раз, сопровождалось рядом чудес и знамений: как бы отметить хотел рок, что с построением стен храма связана и судьба царства. «В декабре того года, — пишет летописец, — егда покори великий князь новгородских крамольников и, повернув на Москву, повеле свозить камень на церковное строительство, явися на небеси звезда велика, а луч (хвост) от нея долог вельми, толст, светел, светлей самой звезды. А конец луча того аки хвост великия птицы распрострется». «А по Крещении друга звезда явися хвостата над Летним Западом, хвост же ея тонок, а не добре долог, а первыя звезды луча — будет темнее».

Так, значит, две кометы сияли по вечерам с неба, озаряя вновь заложенный храм Успения Богородицы.

Здесь-то собрались по зову Макария все бояре, да же опальные. Из собора к себе митрополит со всеми званными прошел и объявил, зачем собрал их.

От митрополита во дворец великокняжеский пошли. В столовой палате Иван их принял, и впервые здесь царь этот, прозванный «ритор в премудрости словесной», всенародно свое первое слово сказал.

— Отче господине! — произнес Иван, обращаясь к митрополиту. — Милостью Божьею и Пречистой Его Матери, молитвами и милостью великих чудотворцев Петра, Алексея, Ионы, Сергия и всех русских чудотворцев, положил я на них упование, а у тебя, отца своего, благословяся, помыслил жениться!

Сперва мыслил я подружью взять в иностранных государствах, у какого-либо круля альбо цесаря. Но после ту мысль отложил.

Не хочу жены искати в чужих царствах-государствах, как после отца-матери своих мал я остался, возрос без призору родительского! Вот приведу себе жену из чужой земли, в норове не сходны станем с нею, то промеж нас дурное житие пойдет!

Посему и поволил я в своем царстве жены поискати и поятию по твоему, отче господине, пастырскому благословению.

Говор пошел по рядам боярским, словно вдали по дну, по каменистому, поток пробежал.

Не все знали, что царь жениться твердо порешил, да еще у себя, на Руси, то есть, вернее, на Москве, невесту взять.

Кто не подозревал о заранее сделанном выборе царя, надеялся: авось их рода девицу zalюбит Иван или как-нибудь провести можно будет свою родственницу на престол московский. Кто слышал о близости юного государя к Анне Захарьиной, все-таки надежды не терял, что иная, более красивая или знатная, девушка завладеет Иваном во время смотрин.

И все зашевелились, здоровствовали царя на слове, на решении его, хотя и задело первых бояр, почему с ними раньше юноша не посоветовался?..

Со слезами на глазах заговорил первым, как и подобало, Макарий:

— Царь-государь! Чадо мое духовное! Порадовал ныне ты молитвенника и слугу своего! Юн еси, а разумом обилен, яко кладезь — водою кристальною, жаждущим в отраду и упоение!

Затем, как бы прочитав недовольство в душах у первосоветников и желая смягчить его, продолжал:

— Особливо всем радостно, что сам ты до благого почину дошел, только у Бога — Наставителя царей Единого совету прося. Слезы умиления текут по ланитам моим, и увлажнены очи синклитов твоих, честных князей, бояр, думцев и дружинников! Видим ноне: царя истинного, самодержца и государя достойного посылает рок для всея Руси!..

За митрополитом поднялись с почетных мест казанские все, астраханские и касимовские бывшие цари и царицы, нашедшие убежище в Москве и сидевшие по обе стороны престола царского.

Тут все они были: Джан-Али и Шиг-Али, Эддин-Гирей, что шесть лет спустя, под именем Симеона Казанского, принял крещение, Дервиш-Али и Абдула, царицы астраханские, и много других.

Потом бояре поздравили царя.

Когда все стихло в обширной палате, поднялся снова Иван и, все так же волнуясь, как и во время первой речи, напряженным, звенящим голос, торопливо немного, но решительно и отчетливо проговорил:

— Благодарствую на добром слове тебя, отче господине! Вас, братья цари и царицы!.. Вас, князья и бояре, слуги мои верные, помощники не корыстные! А теперь и еще слово скажу. Отче господине! По твоему, отца моего митрополита, благословению и с вашего боярского совета поизволил я, допрежь своей женитьбы,

поискать прародительских чинов, как прародители наши, великие князья, цари и государи и сродник наш, великий князь Владимир Всеволодович Мономах, на царство, на великокняжеский стол садились. Волю и я также сей господарский чин исполнити, на великое княжение, на царский престол воссесть.

Особенно сильно выдав последние слова, умолк Иван, опустился на место и стал вглядываться: какое впечатление произвела на всех его речь?

Впечатление было сильное.

Среди общего гула рабских приветствий, в море льстивых, улыбавшихся радостно лиц, среди преувеличенных ликований прорывались для чуткого слуха нотки озлобленного удивления и разочарования.

Иван, очевидно кем-то подученный, смелой рукой брался за кормило правления, опираясь на завещание отца, назначившего для совершеннолетия сына пятнадцатилетний возраст.

Юный царь, успевший уже проявить если не разум, то твердую волю свою, не остановился на полпути и принимал тут же, заветный для московских государей, титул царя. Этим он равнял себя с первыми государями современной Европы и дома для себя создавал особенно влиятельное и величественное положение.

Трудно было бороться с мальчиком, великим князем московским. Каково же будет теперь тягаться в чем-нибудь с царем всея Руси, той Руси, которая, конечно, с восторгом примет весть о возвеличении государя своего, о своем величии новом. Только намечали его отец и дед Ивана, и смело осуществил великие планы их наследник, этот юный царь!

Поняли смысл сегодняшнего дня и русские, и азиаты, бывшие здесь, поняли и все послы чужеземные, позванные на торжество и, при посредстве толмачей, осведомленные обо всем, что говорилось и творилось в палате...

Не умел юный, пылкий Иван дела в дальний ящик откладывать. Не посмотрел он, что дяди его, Глинские, сычами глядят... Что подручные и похлебные их князья и бояре по углам шушукуются.

Колеса по Руси, по монастырям, как то делали часто и предки его, он узнал Русь, уверовал в нее и с молодым задором не пугался ничего.

А небо, в лице прозорливого, осторожного и благожелательного политика, дипломата Макария, покровительствовало юному государю, еще бессознательно, но упорно стремящемуся к созданию неограниченной монархической власти на Руси.

Через месяц ровно, 16 января 1547 года, в том же Успенском соборе дышать было трудно от толпы. Залитый огнями храм выглядел особенно парадно.

Совершалась великая литургия, и венчан был на царство Иоанн Васильевич Четвертый всея Руси, великий князь владимирский, московский, новгородский, псковских, вятских, пермских, болгарских и иных земель повелитель.

Отпели Херувимскую — и совершилось помазание освященным елеем. На плечи Иоанна, облаченного в парчовые ризы царские, в бармы богатые, возложена была цепь золотая, знак царского достоинства, и шапка Мономаха, символ власти над землей. Подано было яблоко — держава, осыпанная дорогими камнями. Меч острый, знак правосудия, держали перед царем как перед высшим вершителем правды всенародной.

Прозвучали, словно напевы ангелов, стройные голоса клира, запевавшие «Достойно есть»...

Под гремящие звуки шел обряд венчания.

Смолкли голоса. В торжественной тишине отговорен причастный стих. Государь принял причастие по чину священства, как духовный пастырь народа. Вторично совершено миропомазание.

И вскоре затем, при звоне всех московских колоколов, торжественно последовал во дворец новый царь всея Руси, юный Иоанн IV.

Осыпал милостями в этот радостный день всех приближенных своих Иоанн. Принял дары от послов чужеземных, от подданных своих — и сам щедро всех одарил.

А придя к себе после долгой, утомительной трапезы венчальной, всю ночь не уснул. И молился, и плакал, и чувствовал, что он очень счастлив. И обещал в душе Иоанн, теперь уж не по чину обычному, а добровольно: беречь, хранить державу, землю Русскую и весь народ православный, врученный Богом юной его руке!..

Еще через полмесяца совершилось и другое торжество: свадьба царя.

Для этого еще перед Рождеством прошлого года

разослана была по всем городам, по всей земле Русской особая грамота к областным князьям, боярам, детям боярским и дворянам.

«Когда к вам эта наша грамота придет, — стояло в листе после обычного заголовка, — и у которых из вас будут дочери-девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей-девок ни под каким видом не таили бы! Кто же из вас дочь-девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни! Грамоту пересылайте между собою, не задерживайте ни часу».

Конечно, при тогдашней трудности сообщений, за полтора месяца, — со дня написания указа до дня свадьбы царя, — не много девушек собралось, помимо московских, владимирских, ярославских и других ближних невест.

Хлопот все-таки и забот, и горя, и происков по всей земле море разлилось.

Иные, вперед зная, что их девка не попадет в царевы терема, и не желая напрасно убыточиться на дорогой наряд да на проезд невестин в далекую Москву, откупались у наместников, чтобы те браковали на месте дочек.

Другие, наоборот, все отдавали и еще сулили большее впереди, если наместник присудит — дочь на смотрины царские попадает; если потом девушка царицей станет, весь род свой возвеличит.

В Москве опять девушек разбирали. Женки умелые, бабки-повитухи глядели их, врачи царские...

Из не очень большого числа отобрано было и совсем немного, причем дипломатия и знание придворных отношений играли больше роли, чем врачебные и иные познания.

Всего двенадцать невест попали наконец в терема царские на ожидание. Среди них очутилась и Захарьи-на-Кошкина Анна Романовна, горячо молившая Бога: ей бы выпала доля великая — стать женой Ивана, царицей Московской...

После долгой, невольной разлуки состоялась наконец встреча ее с царем.

Особенно рано поднялись в тот день боярышни. Знали, что царь к ним в терем пожалует.

Быстро убрали постели во всех покоях, где на широких скамьях перины ночью были постланы...

Покрыли скамьи дорогими полавочниками рытого бархата да сукна заморского.

В одном покое стул особый, с самого начала стоявший там в углу, выдвинули на середину, подмостив его немного досками. Весь помост коврами покрыт. Самый стул мехами и парчой убран. Это — место царское приготовлено.

Разрядились, собрались все боярышни, ждут, пока позовут их.

Насурмлены, покрашены, набелены они, как это водится по обычаю. Не один царь их смотреть станет. И не могут девушки без раскраски явиться.

Ждет со всеми зова и Анна Захарына.

Замирает сердце. Дышать тяжело. Если долго ждать придется — не вынесет она.

Но их скоро позвали.

Степенно тронулись боярышни. Сверкают дорогими повязками, шелестят-шуршат нарядами парчовыми да шелковыми. На руках целые облака кисеи расшитой, это рукава рубашек парадных... Девушки так волнуются, что у них, сквозь размалевку, пурпур щек или синева под глазами, сразу проступившая от волнения, явно означает...

Медленно входят парами боярышни.

В ряд стали, опустили на колени, челом бьют жениху державному...

Подал знак Иван. Старик боярин, один только и пришедший с царем в покои заветные, заговорил:

— Встаньте, девицы... Подымитесь, красные... Дайте царю видеть лица ваши ясные.

Медленно поднимаются девушки.

Тут впервые после месяца разлуки взглянула Анна на царя.

Так и впилась взглядом, забыв, что ей строго-настрого наказано и матерью, и нянькой: глаз не пялить на государя.

Сердце забилося у боярышни. Побледнел, похудел Иван за то время, что не видались они. Важный, даже строгий сидит, в бармах, в блестящем уборе царском, так недавно еще возложенном на юношу...

Словно не тот, не ее Ваня там сидит, а чужой какой-то, но еще более могучий и прекрасный, чем прежний дружок Анны...

Таким часто во сне Анна царя видела; наяву — ни-

когда. Просто одетый, веселый, беспечный, проводил он часы в саду у матери Анны, вдовы-боярыни, с дочкой-красавицей...

Ждал ли царь, знал ли вперед, что в этой самой толпе явится перед ним Анна, — только ее взор так и скрестился с горящим, пытливым взором властелина.

Опустила глаза девушка и замерла.

А старик боярин, спутник Ивана, Иван Иванович Замятня-Кривой, дальний родич Анны и родня неближняя первой жены царя Василия, Соломонида Сабуровой, по порядку выкликает невест:

— Арина Андреева, княжна, роду Горбатых-Суздальских...

Выступила вперед первая красавица княжна. Мягко, плавно ступает, словно лебедь плывет, несет тело свое мощное, стройное, полный стан слегка колыхнется...

Подошла, склонилась ниц почти у самых ног Ивана, так что теплом от нее пахнуло на юношу. Стоя на коленях, протянула руку с ширинкой затканной и сложила свой платочек у ног царя.

По знаку Ивана подняла ширинку боярыня старая, которая «гнездо» привела, а теперь стоит у трона. Сбоку, на столе, грудой лежат другие кусочки расшитой, жемчугами и золотом украшенной ткани.

Отдаривать ими царь будет девушек.

Взяв со стола платок, он подает его княжне.

Приняла его девушка, встала, еще раз поклон отвестила и к сторонке отошла.

— Анна Романова, роду Захарьиных-Юрьиных, Кошкина! — вызывает опять Замятня.

Робкими шагами приближается Анна. Колыхнется тонким станом, только не из кокетства, как княжна Суздальская, а от изнеможения.

Не дойдя на шаг до помоста, упала на колени как подкошенная Анна. Протянула руку вперед, платочек, ширинку свою уронила к ногам царя.

Незаметно, чуть-чуть улыбнулся Иван.

Выражение какое-то непривычное, доброе, словно слабый луч во тьме, промелькнуло по его бледному озабоченному лицу. Никто и не заметил этого. Одна Анна, не глядя даже, почуяла, словно нить незримая, но живая между нею и сидящим на троне сразу, вдруг протянулась.

Принял он платок Анны из рук старухи и, будто

нечаянно, задержал его в руке. А другой рукой взял со стола богато расшитую ширинку и, слегка нагнувшись, кинул ее прямо на грудь Анне. Далеко опустилась девушка. Не мог он дать ей в руки своего дара.

Судорожным движением прижала к груди девушка этот лоскуток, побывавший в руке у милого, затем с трудом поднялась и тихо-тихо двинулась занять место рядом с Ариной, Суздальской княжной...

— Варвара Сицкая!.. — выкликает между тем Замятня... И идут своим чередом тайные эти «смотры» царские.

Много еще раз смотры повторялись. Много иных испытаний в рукоделии, в грамоте, в знании божественных правил и хозяйственных, обыденных обычаев прошли девушки. Десятки раз наполнялись молодые сердца надеждой и отчаянием...

Все невесты, царем виденные, но отпущенные по домам, награждены на дорогу богато, смотря по знатности и положению каждой из них. Многие, впрочем, и домой не вернулись. Иные сверстники царя, холостой народ, тут же и приглядели себе из боярышен-красавиц подругу и поженились, благо родители рады были сбыть товар с рук, чтобы домой не везти, стыда не терпеть от соседей:

«Поехал, видно, ни по́ што, вернулся ни с чем...»

И царь доволен. С его легкой руки смотрины не пустые вышли, свадьбой-таки кончились!

А на пышных, явных смотринах Анне Захарьиной кольцо и ширинку царь вручил, когда последние «смотры» были, при боярах, при духовенстве... Нарекли ей новое имя, «царское»: Анастасией назвали и поселили, как «царевну-невесту», в особом дворце.

С нею и обвенчал митрополит Макарий Иоанна в день 3 февраля 1547 года.

Все было хорошо, но недолго.

Еще и перед свадьбой Иоанн устроил шумный мальчишник, причем в бане мовником Алексей Адашев вместе с первейшими княжатами состоял: со Мстиславским, Трубецким, Никитой Захарьиным и другими...

И тут-то, против воли, Адашев, всегда избегавший слишком веселых пиров и потех царя-отрока, впервые увидел, до чего человек забыться может, погрязнув в вине и в буйном веселии.



Но тогда же подумал, чистый душой и телом, будущий руководитель Иоанна:

«Женится — переменится. Царь ли виноват, что злые приставники не блюли чистоту души отрока юного, а порой еще на дурное подбивали мальчика, до срока губили его?»

И Адашев старался не дышать, не глядеть на дикое веселье, на все, что творилось вокруг.

Месяц, не больше, после свадьбы хорошо все шло. Не отходил царь от жены молодой. Делами даже мало заниматься стал, хотя раньше сам во все вникать старался.

Но скоро Иоанн снова стал возвращаться к забавам буйной юности. Одновременно и за царское дело принялся; да только кровью, петлей и заточением пахло от его поспешных решений.

Приздумались лучшие люди: митрополит, Адашев, Сильвестр... все Захарьины, сразу в большое возвышение пришедшие... и многие другие.

Возликовали зато иные, темные силы, копошившиеся, словно черви, и раньше вокруг царя.

Веселые люди, скomorохи, вопреки обычаям истовым дедовским, снова стали гостями дворцовыми и в самом Кремле и в пригородных, потешных дворцах царевых.

Крамола, пригнувшая было голову, осмелела. Посредством веселья и вина явилась надежда уловить в свои сети царя, со стези чистой, прямой на кривую направить. И тогда, известно, в мутной воде только рыба и ловится.

Но очистители московского государственного потока тоже не дремали.

Ранней весною, в первых числах апреля, сидел в сумерках в своей просторной келье Макарий. Последние лучи заката, угасая за дальним западным бором, пурпуром окаймили грядущие воздушных облаков, словно задремавших высоко в лазоревом, ясном небе.

Ясный сумрак царит в келье, где старец сидит у окна, глядя ввысь, в ясное вечернее небо.

На небольшом, особом столе видны краски водяные, кисти, стекла какие-то небольшие, на которых изображены различные библейские и евангельские сцены, но так легко, прозрачно все нарисовано, что сквозь слои красок видно дерево простого гладкого стола, на котором лежат стеклышки.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — послышался за дверью обычный возглас.

— Аминь! — ответил Макарий, давая этим право войти в келью.

На пороге показался Сильвестр, протопоп Благовещенского собора.

Почти одних лет он с Макарием, но разнятся они по виду. Тот был брюнетом в годы юности. Смелый открытый взор словно всю жизнь привык внушать повинование. Губы, сухие, аскетические, упорно, крепко сжаты. Высокий, белый лоб, увеличенный еще от начавшего лысеть черепа, перерезан двумя-тремя морщинами и обличает мыслителя человека с широким умом.

Сильвестр лицом попроще, попонятней. Чистый славянский тип, уцелевший после монгольского ига на Руси только в семьях священников, именно вот таких, как семья Сильвестра, где от прадеда к правнуку — все левиты, этот славянский тип обнаруживает себя и мягкостью очертаний лица, и окраской сероватых, еще не помутнелых от старости глаз... Мелкая сеть морщин, след обычных житейских забот и расчетов, легла вокруг глаз у Сильвестра. Продольные морщины лба не врезаны в кожу, а словно образованы мягкими, выпуклыми складками ее. Умеренная полнота и округлость фигуры среднего роста тоже составляет противоположность с высокой, крепко сбитой, хотя и костлявой фигурой Макария.

— А и в час заглянул ты ко мне, отец протопоп! — сказал хозяин гостю после первого обмена приветствий, преподав благословение своему посетителю. — Я уж думал спсылать по тебя... Что, думаю, долго не видать приятеля?..

— Недосужно было, отец митрополит... То с паствой, то по-домашнему... Весна... К лету готовиться надо, сам ведаешь...

— Знаю, знаю: хлопотун ты великий... Марфа ты у меня евангельская... — мягко улыбаясь, пошутил Макарий. — А ты бы поменьше... Вспомни: «Воззрите на птицы небесныя...»

— Как оне мерзнут зимою, которы в теплы края не снарядилися!.. Видел, видел, господне! — на шутку шуткой отвечал Сильвестр...

— Ну уж што тут... В этом деле тебя не обговоришь. Поведай лучше: так зашел али вести какие?..

Да такие вести, что беда и горе вместе!. Чай, и ты их слышал раньше мово, отче митрополите... Все про царя про нашего...

— Слыхал... Слыхал!.. поглаживая бороду, отвечал Макарий.

— Так што ж это будет? Долго ль это оно будет? Вот помнишь, отец, мы с тобой думали: образумится юный, не закоснелый царь, боярами обруганный, запуганный... Отшатнется от них и от житья ихнего... Добре державу свою поведет... О земле вспомянет... По завету Божью Русь заживет... А теперь?..

— Что ж теперь? Царь благочестия не рушит... И монастыри жалует. Давно ли Псковской монастырь щедро таково дарил, когда гостевал там по осени?

— Да, это што говорить! А вон псковичи горожане стонут да охают Разорил их грабитель, наместник, ставленник литовский, дружок Глинских с Бельскими, Турунтай-Пронский, князь Егорий Иваныч... Сколько цидуль да жалоб на Москву шло... И сюды жалобщики ездили ж, убыточились... А царь их и на светлые очи свои не допустил... Даром, что, во Пскове будучи, всего наобещал.

— Что ж, на то его царева воля...

— Божья воля должна быть, а не человеческая...

— Будет... все будет, отец протопоп... Эка, горяч ты больно, словно молодятинка. Старики уж мы с тобой, батько. Пождать-погодить надо уметь...

— Э-эх, и то сколько лет годили! Всего Василия перегодили... Ивана Третьего памятуем... Другого Ивана, Четвертого, Бог послал, а все не легче...

— Будет легче, погоди, батька... Знаешь, зря слова я не скажу. Еще какие вести?..

— Да Федька-протопоп сызнава хвостом завилял. Почитай, и в дому не живет... То сам по людям, то к нему они... Что-то внове затевается...

— Знаю, что затевается... Все ведаю! А Федор и тут же готов?! Ну, на этот раз не пройдет ему... Пусть хорошенько последят за батькой: что, как и куды?..

— Да уж я и то наладился...

— Доброе дело... А я зато скажу тебе, о чем хлопчет протопоп.

— Ой, скажи, отче. Больно охота дознаться.

— Еще бы не охота. Дело-то не шуточное... Опять, конешто, смута боярская... Не спится им, не дремлет-

ся, мирно не живется. Головы на плечах чешутся, хотят, чтобы кат причесал, мастер заплочный...

— Новая крамола?..

— Склады боярские... Вот как промеж тебя же с Барминым. Только там потасовка вгорячую идет!.. По-прежнему, правда, не смеют они враждовать, челядь собирать да хватать друг дружку... Теперь малость царя опасаются. Все видели, как искромсанный князь Шуйский Андрей на снегу валялся... Как рот кровью заливало Бутурлину бедному, когда за единое слово за несуразное язык отхватили боярину... Из-под полы теперь шпыняют бояре друг дружку.

— Знаю. Довольно понагляделся я...

— Ну, так и дальше и слушай... Знаешь, чего боярин Захарьин-Юрьев домогается с того самого часу, как на племяннице его оженился царь?

— Вестимо чего: на место Бельских да Глинских самому встать охота... Да дело то не выгорело...

— Кстати слово молвил... Теперь гляди: выгорит! Выжечь литовцев собираются...

— Как выжечь?..

— Так... Как мурашей да пчел выкуривают... Не впервой оно на Москве...

— Ага, во што!.. Энтю как при дедах еще бывало: кто на кого сердит, пусть того красный петух спалит?.. Так?

— Вот, вот... Начнут Москву палить... Народ булгачит: «Такие, мол, и такие бояре вас попалили...» А народ темный, глупый...

— Дурак народ, што и говорить!

— То-то ж... Таким случаем и сами зачинщики в стороне, и с недругами посчитаются...

— Шуйские с Бельскими да Глинскими?..

— Там уж кому с кем придется...

— Так, так... То-то и ко мне людишки приходили... На духу каялись... Да невдомек мне было: какому греху прощения просят? Вперед оно словно бы каялись.

— Вот видишь...

— Да, погоди, отче: а не будет оно и ныне, как в Коломне случилось? На свою же на шею неугомонные Шуйские как бы огню не накликали?..

— Нё, ныне иное дело! Там наши земляки, новгородцы, впутались. Больно лют на них царь... Помнит, как они еще Иоасафа из спальни у него тащили... да

бояр любимых... А тут и сам он дядьев-то, Глинских длинноусых, не больно привечать стал. Вон Михайлу во Ржев, на кормление, от себя подале усылает. Конечно, зла он им не сотворит. А насолили они ему покорами за женитьбу... И коли народ встанет на Глинских, с народом государь не спорщик. Ему самому народ только одна и опора от бояр.

— Э-эх, кабы понял он!..

— Поймет... Начинает помаленьку... А мы поможем... Вон Адашев сказывал...

— И мне Алексей говорил. Сын ведь духовный... Да, чтой-то плохо верится... Доброе-то слово в душе у царя, что семя, при пути брошенное: и птица его клюет. И колымагами, колесами тележными давит... Проку мало. Спервоначалу шибко за доброе ухватится. И дрожит весь, и чуть не плачет... А там... Опять блуд, да содом, да крови пролитие... Подумать горько.

— Говорю: не кручинься... Вон из казанского юрта вести добрые... Сафа-Гирею конец подходит. По ем малолетний царенок, Утямиш, двухлеток остается... Мы и снарядим царя на войну. Авось там отрок опаматывается, если здесь еще не успеем на путь направить его...

— Да чем, отче? Чем? Буен вельми, горд и предрозостен отрок...

— А ты квасы ставил, батько?..

— Что за спрос? Случалось, отче господине... Не без того в дому.

— А который лучше: что молчком киснет ай тот, что уторы рвет?..

— Так то — квас, дело глупое... Людское сотворение...

— А то - душа, дело мудрое, сотворение Божеское... Побродит, поколи бродится... Да ежели уши и очи есть, увидит, услышит, на путь прямой выйдет, светильника не угасит в безвременье...

— Аминь, отче господине... Твоими бы устами...

— Да грешные души уловлять?.. Стараюсь, батько... И по вере моей, по заслуге да отпустятся мне прегрешения мои мнози...

И, перебирая хрустящие четки, Макарий беззвучно зашептал молитву...

Когда Макарий кончил, замолкнувший на время и сидевший в раздумье Сильвестр снова заговорил:

— А как полагаешь, отче митрополите: не можно

бы как ни есть то злое дело упредить?.. Не попустить огня и смятения на Москве?..

— Хе-хе, батько!.. Да подумай: реку ковшом вычерпаешь ли? Так и злобу людскую... Нынче упредишь... Изловят поджигальщиков... Перехватывают бояр, которых шлют холопов на разбойное дело. А завтра другие будут... И так до веку веков... А вот запрудить реку да на свои колеса воду пустить, чтобы хлеб молола, — это можно...

— И то бы добро... Да как оно выйдет?..

— Не спеши. И это узнаешь по времени... Теперь рано еще... Думаю я тут над одной вещью... Тебе показать хочу. Поди сюды, батько...

И Макарий подвел Сильвестра к столу, где лежали картины, нарисованные прозрачными красками на стекле.

— Ох, как лепо!.. — восторгался Сильвестр. — И как это ты?.. Где это ты?..

— А так... Случаем Бог человека послал... Видал ты когда стекла, окончины, а в них разны узоры да фигуры вплавлены? Веницейская работа... Как солнце лучом кинет в такое оконце, а пятна разные или фигуры те — так на полу, на стенах и обозначатся.

— Случалось... Видывал... В Немецкой слободе...

— Вот и у меня отудова толмачом один... Фрязин, он говорит, италийский... А я мекаю: просто жидовин. Да по мне все едино. Всякое дыхание да хвалит Господа... Занятный парень. Он, бает, скоморошествовал в юности, а там и отстал... За рукомесо принялся... Да старого, веселого дела не забыл... Чудной человек... На разные голоса один говорит. И не познать: с неба ль голосит, из-под полу ли кто говорит глухо да протяжно таково... Словно из могилы... А на Русь попасть давно ему любилось... Да, знаешь, не пускают чужие государи к нам знатцев никаких... Чтобы дольше неразумными мы пожили... Все ж таки Петрус мой... Петрусом его Динарой звать... Два раза он у самой русской грани был. От Пруссов и от Нейстрии подбирался. Его ловили, раз даже батогами упарили. Не унялся мой Динариус... Деньги, баяли ему, тут дюже легко наживать, на Москве... А у них — потуже. И проскочил таки. Через Антиохию... С богомольцами... Вон куды... И показал он мне таку вещь... что...

— Какую?..

— Зело занятную... Говорит та самая, что в поганских храмах ею мистерии египетски и чудеса лживые творили.

— Да ну?! Занятно...

— Да как еще! Вот, не видал ты?.. А увидишь... Гляди, стемнело, как на воле, так и в келейке моей. Как раз что надобно... Вот я и покажу тебе... У меня готово... налажено...

И высокий старик пошел к углу, где стоял небольшой черный ящик, складной, с кожаным мехом, вроде гармоники. Труба, не длинная и довольно широкая, торчала с одной стороны. Это был волшебный фонарь довольно примитивного устройства, еще мало известный на Западе и совсем не виданный на Руси.

Зажег Макарий бережно масляный небольшой светильник, стоявший в задней части ящика... Вставил стекло с картинкой — и на темной сейчас, келейной стене ясно обрисовался карающий Бог Саваоф, окруженный огнями и молниями.

Вдруг, с переменой стекла, картина изменилась, и Сильвестр увидел Адама и Еву, которых ангел пламенным мечом изгонял из рая...

Даже вскрикнул от удивления старик:

— Вот чудо!.. Какая хитрая вещь... И все можно из нее увидеть?

— Все, что заготовишь на стекле... Так вот, как видел ты... И чем ровней стена, тем лучше...

— Господи... Что мне на мысль пришло... Вот кабы образки пострашнее... Да так, в потемочках, отроку нашему, государю показать?.. Напугать почище, чем пожарами боярскими, можно и на стезю праведную наставить...

Все время к этому только и клонивший речь, но осторожный до конца, Макарий посмотрел на Сильвестра с удивленным видом и наконец сказал:

— Ну, и умен же ты, батько! Мне бы никогда того не придумать! Правда твоя: можно попытаться... Устрашение безвинное чада во исправление его — не грех, но заслуга перед Господом... Только как ты свое измышление мудрое произведешь?.. Одному неспособно... Вот разве Петруса моего, который на разные голоса?..

— Вот, вот! И он нам будет надобен! — горячо отозвался протопоп, совершенно искренно убежденный, что он сам придумал план, давно созданный богатой

фантазией Макария. — Он, Петрус твой, отче, царя попужает... Как начнет словно из-под земли рыкать... А я еще Алеше Адашеву мигну... Верный паренъ... И Никитке Захарьину сказать можно... Не выдадут. А то ежели самой царице сказать, что задумали мы есьмы царя от блуда, от гнева и от всех грехов содомских отворотить, она и сама нам первая пособница станет... То же ведь у меня на духу она кается... Знаю, сколько по-тайно слез проливает от остуды царской скорой... Только любит мужа очень, и не корит, и весела в его очах...

— И лучше так... Дольше не опротивеет... А там, може, и в самом деле с твоей выдумкой, батько... Може, Бог даст... Действуй, батько... А я и стеклышки, которы надобно, тебе изготавлю... Так и быть.

— Пострашнее...

— Конешно...

— Его самого... Царя-отрока... И всех тех, знаешь... Кáжненных...

— Ну, вестимо... А уж грех на тебе...

И оба старика принялись обсуждать в подробностях план огромной лжи, предпринятой «во спасение тысячи ближних» с самим Иваном, господином их, во главе...

И до конца мудрый Макарий оставил Сильвестра в уверенности, что поп самолично создал весь блестящий план нравственного устрашения для исправления царственного юноши, во благо и спасение царства.

А тот, вокруг которого кипело и бурлило все это море страстей, происков и чистых вожелений, — сам юный Иоанн ни о чем не догадывался, не ведал и только жить торопился без оглядки, вовсю. За три-четыре года, со дня гибели Андрея Шуйского и до последних дней, Иван окончательно успел стряхнуть с души робость и страх, внушенный ему в детстве своевольными опекунами, первыми князьями и боярами.

Тем более что, читая и перечитывая «Царственную книгу» с записью деяний своих предков, чем занялся юноша для своего поучения, Иван часто наталкивался там на те же самые мысли и дела, какие ему приходили часто в голову совершенно самостоятельно. И, как оказывалось, думал он правильно. У него, очевидно, был врожденный инстинкт власти.

— Царь я, и по-царскому мыслю, — говорил себе Иван, — а они, гады, «овчиной» меня дразнят... Ну,



дам я им знать... Попомнят... Мое время — впереди!

И Иван решил выжидать, как ни странно было такое решение в пылком, неоглядчивом, болезненно-впечатлительном государе. Тяжелый опыт детства, очевидно, не прошел бесследно, научил выдержке юного царя.

Но вдруг Иван почувствовал, что почва словно колебаться начинает у него под ногами.

Первый почин положили этому Глинские, дяди его.

Подобно Воронцову, год тому назад желавшему посеять тревогу в душе царя, пришел теперь старший из братьев покойной княгини Елены, князь Михайло Васильевич, и объявил:

— Здрав буди, племяш... Поизволь нам, государь, с матушкой, княгиней-старицей, с бабкой твоею, во Ржев ехать, что ты, государь, жаловать мне, слуге твоему, на кормление изволил. От греха подале.

— Когда? Зачем? Надолго ль собрался? — спросил Иван.

— Как внешние воды пройдут... Поживем, покудова поживется там. А зачем? Знаешь, племяш-государь: дзум медведям тесно в берлоге. А ты себе нового завел, да еще с молодыми медвежатами! — пощипывая усы, угрюмо отвечал литовский магнат, намекая на дядю молодой царицы и братьев ее.

— Поезжай! — желая прервать неприятный разговор, сказал только Иван и отпустил дядю, довольный даже в душе таким оборотом дел.

Бабку-старуху, положим, он любил, и никогда ни в чем не мешала ему эта тихая, простая, добрая старуха, которая одна и пригревала и баловала внука-сиротку в печальную пору боярского самовластия, московского безгосударства, когда даже иностранцы убегали из щедрой до них столицы.

Единственной слабостью старухи была любовь к врачеванию себя и окружающих, вообще свойственная полякам и литвинкам искони.

У старухи много лет уж состоял врачом худенький, старенький португалец-еврей, очень ученый и знающий человек, знакомый не только с Аристотелем и Галеном, но и с Авиценной, Аверроэсом и другими замечательными физиологами-исследователями арабской школы врачей, стоящих на почве опыта, изучавших живое и мертвое тело человека не с помощью логики и силлогизмов, а со скальпелем и лупой в руке!

Иван заглядывал, со свойственным ребенку любопытством, и в лабораторию этого врача, Згорджетти. Забавляло его сперва, а потом и серьезно занимало видеть, как, производя опыты вивисекции, врач, вооружив нос огромными круглыми, очень сильно увеличивающими очками вроде лупы, препарировал на дощечках мышей, кроликов, зайцев и других мелких зверьков

Затем, когда юноша стал сам если не управлять, то расправляться с ослушниками, итальянец-анатом, при помощи бабки царя, выпросил у последнего право пользоваться телами казненных для своих изысканий и опытов.

Литвинка, хотя и сильно обруселая, княгиня Анна не видела ничего дурного в таком деле.

Строго правоверный Иван сначала был смущен просьбой. Но отказать не мог и только поставил условием, чтобы обо всем хранилась полная тайна!

Ведь если бы узнали не только простые люди, но и невежественные, полные предрассудков бояре о том, что чье-нибудь, даже и преступника тело не погребено по обрядам, а отдано на «поругание ведуну-знахарю»... ну, тогда не особенно приятную минуту пришлось бы пережить и бабушке, и царственному внуку!..

И никто не знал, что такая минута близка.

Десяти дней не прошло после разговора обоих старцев, бескорыстно, хотя и не одинаково умело пытавшихся направить в более спокойное русло бурливую московскую государственную жизнь, когда Адашев, дежуривший при Иване в качестве спальника, ранним утром доложил царю о приходе дяди царицы Анастасии, о боярине Григории Юрьевиче Захарьине.

— Конечно, впускай... Да только с чего в такую рань он припожаловал?.. Не крымцы ль опять? Не его бы тогда забота. Горбатый дело ратное ведает...

— Не ведаю, царь-государь! — отозвался Алексей. Хотя все ему уж было известно, даже более, чем кому иному во дворце Иоанна.

Не успел Иван «аминя» сказать на входную молитву нового родича и сановника, как в опочивальню вошел взволнованный, даже напуганный с виду Захарьин и совершил уставный поклон, ожидая вопроса царя.

— Зачем спозаранку пожаловал? Говори скорее, дя-

дя! — торопливо, заражаясь настроением вошедшего, произнес царь.

— Бе-еды! Чистые беды, осударь!.. Нейметя, не терпится твоим крамольникам... Москву со всех четырех концов запалить хотят...

— Москву?.. Крымцы?.. Да нешто допустят их? Руки коротки...

— Какое там крымцы?! Свои нехристи-басурманы, царь-надежа... Почище всяких крымцев будут...

— Что еще за сказки ты сказываешь, боярин? Или, как дядя мой, каркать пришел, на неустройство государственное жаловаться? Куда-нибудь прочь заносишься? Так видели, что Воронцовым было за шашни? Знайте: никому не спущу... Никого не помилую, ни чужих, ни своих!

— Да што ты, осударь?! — невольно бледнея, но не выдавая себя, зачастил москвич Захарьин. — Рази можно нам обижаться на тебя, на света нашего?.. А только говорю: горе близится... Беда подымается... от близких от твоих, от самых от ближних людей... Таких, что и сказать боязно...

— Вижу, куда гнешь! Глинские вам поперек пути стали! Эки не сыти горла у вас, бояре. Аманьясь — он на ваш род, теперь — вы на них жалитесь да сваритесь друг с дружкой?.. Не хватает вам чего? Не знаю! Все собрать, что в сундуки да в мошну вашу от земли идет, так я столько у себя в казнах и не видывал... И все вам мало!

— Твоя воля, осударь! Толкуй, што хошь... А только великое слово твое, государево, на Глинских у меня...

— Да говори уж... Не тяни, что нищего за суму, калику перехожего... Что за слово такое великое?

— Попалить всю Москву хотят... Сказывал ведь...

— Да пошто? На какую надобность? Али не ндравится им посадка московская? Новые строи завести хотят дядевья? На литовскую статью?

— Не то, осударь. На нас, на родню царицыну, зуб у них, что ласков ты к нам, осударь... Кормы даешь, города жалуешь... Местами не обидел... И хотят молву пустить, народ сомустить... Мол, «как настали Захарьины в царевом приближении — и пожары пошли, знаменье небесное»... Што неугодны мы, то ись Захарьины, в приближении царском.

— Хитро, да не очень. Кто ж им поверует? А и вступится чернь, нешто я послушаю кого?..

— Мир — велик человек, осударь! Мира и деды твои слушали, постарей тебя были... И ты слушаешь. А нам — крышка!..

Нахмурился только Иван, ничего не ответил на это.

— Да откуда вы вестей собрали, доведались? — спросил он, помолчав.

— Во царевом кабаке во твоём, осударь, смерда одного поимано... Пустошные речи пьяный баял, похвалялся по хмелю... «Я, грит, сичас, грит, один всю Москву спалю... И пальчиком, грит, не тронут меня, добра молодца, а ошшо зелена вина поднесут...» Ну, обыщик тут один был, как водится... По кабаках везде они ради воровского дела, разбойного посылаемы... Обыщик изымал его, голубчика... Кабальным объявился парень, Бельских слуга, из домовой чăди ихней... И все это дело открыл... Вот как поведал я тебе... Не я один знаю.. В сенях со мною пришли и бояре все, что при обыске были; как до них весть дошла... Ванька Челяднин там... Твой прямой слуга. Ежели Петьке Шуйскому да Федьке Скопину с Иванцем Федоровым с боярином да с князем Темкиным не уверуешь...

— А, вся Шуйская свора там!..

— Зачем Шуйская, осударь? Не из Шуйских я... И духовник же твой, отец протопоп Федор, не из ихней семьи... Его спроси... Ему то ведомо... На духу один вот, тоже из челядинцев литовских, покаялся... Так ради дела осударева — он тебе разрешится, скажет...

Иван задумался. Дело выходило серьезнее, чем предположил он вначале.

— А боярин твой, Федька Нагой, такожды изымал другого похвальбовщика-поджигателя... Да на деле уж на самом... Утром в кабаке похвалялся слуга сатаны, смерд подлый, а ввечеру и заполыхало в том конце... И при огне изымали подлого: на дело рук своих любовался! Тута опознали и скрутили голубчика... Спроси, все внизу дожидаются... Еще благо, ветру не было: не упустили огня, не то бы...

Царь все молчал.

— Так помилуй, защити, надежа-царь! — вдруг рухнув к ногам Ивана, запросил Захарьин, видя колебания юноши...

Вдруг за дверью раздался голос обоих дядьев царских, обоих Глинских, творивших входную молитву.

— Аминь!.. — вострепёнувшись, отвечал Иван.

Глинские, Михаил да Юрий, вошли, тоже бледные, взволнованные не меньше Захарьина, только на этот раз искренней, чем этот боярин.

— Кстати!.. О вас и речь!.. — сказал царь, почему-то даже улыбнувшись чуть-чуть заметно.

— Знаем, знаем!.. Успели уж... Упредили... Затем и поспешали мы!.. — заговорил Михаил. — Все уж нам поведано... Поклеп да хула какая на нас, на твоих родичей ближних, на слуг некорыстных, стародавних, государь!.. Мало им, что теснить стала исконных князей боярщина долгобородая, земщина серая... Совсем карачуна нам дать задумали!.. Слышь, государь! Кабальных наших, двоих-троих, которы на воровском деле пойманы, батогами биты, таких людишек подлых, последних трое душ боярами закуплено... И показывать супротив нас научено.. А мы ни при чем... Верь, государь. Хоть образ снять со стены...

— И мы же все на образ побожимся! — возразил, не утерпев, Захарьин.

— Помолчи, жди, пока я слово скажу! — оборвал Иван, видя, что положение запутывается.

— Так ты говоришь, дядя: кабальные твои же, казненные<sup>1</sup> на тебя же плетут?.. И на тебя, Юрий?.. Ладно... Мы велим путем, с пристрастием допытаться у холопов... Алеша! — обратился он к Адашеву, стоявшему вдали. — Дьяка Захарова на обыск наряди... Получше б доведался!..

— Слушаю, осударь.

— И всех бы бояр и князей, что, вон бает Никитич, в сенях дожидаются, опросил бы дьяк потолковее...

— Слушаю, осударь.

— Ну, вот... Пока — будет!.. Ступайте с Богом, со Христом, потерпите, не грызьтесь больно... Уж так-то мне грызня ваша боярская прикро стоит, што и не глядел, не слушал бы!..

Захарьин отдал земной поклон царю-племяннику по жене и вышел, только у самой двери спину показав.

Глинский Михаил заговорил снова:

---

<sup>1</sup> Т. е. наказанные.

— Царь-государь... Пути-дороги стали... Подозволь завтра нам с бабкой твоей во Ржев, как уж я тебе докладывался недавнушка... Как ты соизволить пожелал... Жду я великих бед... Так старушке тамо поспокойнее будет...

Весь насторожился Иван и внимательно поглядел в лицо дяде.

Что это значит? Сам ли Глинский что затеял вправду? Москву спалить хочет, народ поднять на царя, на Захарьиных с Шуйскими и заблаговременно укрывается в более безопасный уголок? Или просто страх в старике проснулся перед заговором других бояр, подстроивших дело с пожарами, с похвальбой пьяниц воров кабальных, бежавших со двора Глинских?..

И то, и другое возможно. Всего навидался царь. Где же правда?

И чуть не выкрикнул в тоске, бледнея, Иван свой внутренний вопрос:

— Где правда истинная?!

Не удержался юноша. И только передохнув, овладев внутренним волнением, сказал:

— Што ж, как поволели мы, так тому и быть. Слова свое назад не берем. Ты поезжай с бабкой ты, — обратился он к другому дяде, Юрию, — оставайся. Будешь мне надобен.

И, оставя, таким образом, второго брата в виде кабы заложника за первого, он отпустил их обоих.

— Ну, Алеша, што ты скажешь? — обратился Иван к Адашеву, который успел отдать все приказания, вернулся и стоял на своем месте, скромный и внимательный, как всегда.

— Что, осударь? Смею ль я? Мое ли это маленькое рабское дело, — бояр твоих, осударевых, да родичей судить? Тебе лучше знать... Твои они слуги, и разум у тебя не наш, холопский...

— Ну уж, не размазывай... Говори напрямки, коли спрашивают. Не пытаю я тебя! Знаю: не охоч ты за скакивать, других хулить, себя выставлять... Раскусил я давно тебя, оттого и приближаю, на черное твоё рождение не гляючи... Так говори. Ум — хорошо, два лучше, бают... Говори, слышь... Не ужимайся... Без опаски все выкладывай, как на духу... Я приказываю...

— Да и того не надо, осударь... Перед тобой, царем, без приказу, по закону Господню, как на духу

должен я... воистину... Помазанник ведь Божий ты, аки кесари древние, византийские...

— Да, да!.. — горделиво подтвердил Иван. — Наш род, волостелей московских, православных, поди, самый древний из всех будет, кто на престолах христианских сидит... Да не о том теперь речь... Дело то говори... Как по-твоему?..

— А по-моему, государь, по крайнему глупому разумению: кому плохо, тот и не прав!.. Как и в притче сказано: у нищего последнее отыметсЯ и дастся богатому, для приумножения богатств его... А нищему, конечно, обидно... Он готов на всяки злобы, только б свое вернуть, — намекая на литовскую слабеющую партию, сказал Адашев.

— Правда, правда твоя, — вслушиваясь, повторил Иван.

— А еще скажу! Как мыслишь, осударь: бывает ли дыму без огня?

— Не бывает, говорят.

— Вот и я мерекаю: и там, и здесь дымком припахивает... Бояре сварятся... А посадским твоим, московским, осударевым, без крыш быть, это уж как Бог свят...

— Ха-ха! — усмехнулся Иван. — Это как дядевья мои Глинские порой по-своему «балакали»: «паны-де сварятся, у холопов чубы трещат»?.. А! пушай их. Лесу много, сызнава еще краше отстроятся... А на хороший пожар и поглядеть занятно. Страх люблю... Читал я про Нерониуса-цесаря... Он свою столицу, град Рим, нарочито запалил, на пригорке сидел, стих слагал об эллиновском великом погоренье, о Трояновском воспоминаючи... Вот, чай, красиво было... Недаром нашу Москву белокаменную четвертым Римом, Иерусалимом вторым прославили!.. Пусть дерево повыгорит. Люди посадские за ум возьмутся, тоже камнем почнут строиться... Тогда уж совсем всесветный наш град престольный станет... А за Кремль я не печалуюсь... Тута бояре своих хором палить не станут, пожалеют... На моем дворе царском, почитай, и древа мало... Храмы все, почитай, каменные. Пушай посадки палят, друг дружку грызут... Я вона в деяниях дедовских читал... Да и ты же знаешь: нарочито порою деды мои бояр да князей стравливали... Пусть грызутся, яко скорпии! Ха-ха-ха!..

И весело засмеялся Иван.

Молчит стоит, потупился Алексей. Не разберешь, что на душе у него творится?

— Что ж молчишь, Алеша? Аль не так по-твоему?

— Так-то оно так... И мне бояре не братья. Чужой я им. А ты мне, помимо что царь-владыка, как отец родной, благодетель... И сказать не знаю как уж!.. Авось когда на делах окажу, как чту я тебя... Только вот сам ты молвить изволил... земщине плохо придется... Деткам твоим, простому люду тяглому, посадским да торговым гостям. Неустройство пойдет. У черни бока затрещат. А чернь — люди темные. Не бояр, тебя винить станут царь-де нас позабыл и Бог нас не жалует... Знаешь, как дело пойдет?.. Вон прошлой осени и то недород великий по царству был... Люди покрехтывают... Кормы дорожи... Скот за зиму по селам дох с бескормицы... И круг Москвы, и дале... Нова беда тут еще вешняя... Вода вон теперя высока стоит... Потопит, гляди, побережье все... И Московское и иное, дальнее. Все заботы тебе, осударь... А тут бояре иную смуту, огонь, наговор пустят... Хорошо ли?.. Сам знаешь, осударь!

— Земщины опасешься? Земщины нам, государям, бояться нечего. Знает она, что первые мы ее заступники... Искони бе... и до моих часов... Сам видел: к земле я, не от земли отбиваюсь!.. Только мой час еще не пришел. Не все я пью да веселюсь; бывает порою и твоих рассказней про дела светлые царские часто слушаю. Думаешь, невдомек мне, куда ты гнешь? Кабы сердце мое не лежало к словам твоим красным — вон бы тебя давно погнал. Хоть и мягко стелешь, да жестко лежать приходится непутевым повадкам и помыслам моим... Совесть есть во мне. Так ты потерпи... Не сразу, Алеша. Человек я... юный... То, парень, вспомни еще: ты не князь, не боярин... И много вас стало таких при очах наших, которых от сохи беру, людьми делаю... Как думаешь: зря это? Царство тоже не само собою правится. Руки, головы надобны, помочники какие ни есть. И без бояр нам не обойтись покудова... Слышишь: покудова... Так молчи, знай помалкивай!..

И отпустил Иван молодого наперсника, пораженного такими речами юноши, которого все считали вздорным, распущенным блазнем-баловнем.



Когда услышал Сильвестр от Адашева о речах таких царских, призадумался и сказал только:

— Одначе! Труднее нам будет управиться с отроком, чем мы и думали...

И снова кинулся за советом к Макарию.

Числа 2 апреля было, что бояре перед царем перекорились, а 12-го уж и пожары сильные в Белом городе загорелись-вспыхнули. Чуть не весь «порядок», тысяча домов, по старинному счету, в одном месте в Занеглименье как выкосило; по старой пословице: злые воры обшарят — одни стены оставят; придет огонь — все заберет. 20-го новое попущение Божье... Опять пожар лютой...

А в народе пошел говор:

— Господь за грехи карает... И сам царь молодой Богу неугодно живет... Скоморохи да бражники, не синклиты и стратиги — гости царю первые...

Дальше, как предвидел Адашев, разлив сильный речной, после многоснежной зимы, все низины затопил: Царицын луг за Москвой-рекой и по эту сторону, по Варварке по самой, до Печерского угла, где монастыри стоят и торговые места... Словно остров, Детинец высокий, Кремль белокаменный всплыл. Немало людей и скота потопило... Трупы, гниль легла поверх земли... И в посадах тоже, и в селах ближних. Убирать некому! Вода спала, жара пошла, хворь моровая началась.

Иван от поветрия, по совету дохтуров-лекарей своих, в пригородный дворец, верстах в пяти от Москвы, что в селе Островском, переселился. Там весело зажил. Не слышать здесь ни мора, ни голода. Веселье, пиры хмельные, хороводы разудалые. А кругом цепью стража стоит. Хворых людей ни пройти, ни проехать не пускают.

Глинский Юрий тут же. От отрока не отстает: на веселых пирушках — первый. Мастера пить литовские паны!

А опалы да кары строгие не унимаются. Совсем царь с пути сбит. Кто в разгульную минуту сумеет шепнуть слово злое про недруга своего Ивану, тот и добьется цели, так дело и выйдет! Нынче одних карает царь... Завтра недругов этой партии гневом опалит. А через несколько дней одумается, всех помилует...

Тут-то, в селе Островском, в начале июня, 3-го чис-

ла, юного государя нашли посланцы псковские, земские жалобщики, человек всего семьдесят. Невмоготу стало Пскову от обиды боярской, от произвола наместничьего. Посадил им Глинский на шею дружка своего, князя Турунтая роду Пронских.

И прямой «турунтай». Кричит-гремит, казнями страшает безвинно. Тогда и смирится, когда сцапает, ухватит что-нибудь. Что увидит, домой волочет.

Давно ли вздохнуть торопились свободно псковичи, когда по ихнему прошению убрала княгиня Елена из Пскова дьяка Колтыря Ракова. Дьяк тот новые тяготы и налоги на людей налагал и не столько на Москву, в казну государеву их посылал, сколько в мошну свою складывал... А тут — Шуйского ставленники явились, разоряли их. На смену последним — Турунтай явился.

И псковские люди лучшие пошли правды искать, царю жалобиться.

Допустили их на очи царские. В саду, под сенью, царь сидел пировал... Стали они челом бить до земли, все семьдесят человек как один.

Выступил по знаку цареву самый почтенный из них. высокий, мощный старик, вотчинник первый во Пскове и торговый человек богатый.

— Смилуйся, царь! — говорит. — Конец нам приходит!.. Свиреп наместник наш господин... Аки лев рыкающий, иский, да пожрет!.. А люди его яко звери хищные до нас, до хрестыян православных, до рабов твоих верных, осударь! Помилуй!.. Поклепцы на добрых людей клепят, правез правят!.. Разбежались, почитай, все псковские добрые люди по иным городам... Честные игумны из монастырей своих и те в Новгород побежали. Легше им тамо живется!.. Подумай, осударь!.. Князь Андрей Шуйский великий злодей был, а Турунтай и того пуще... Злы дела его и на волостях и на пригородах! Дела-тяжбы подымает старые, забытые... Пошлины тянет неправедные... На людех по сту рублей и боле!.. Помысли, осударь!.. Во Пскове майстровые люди все делать ему задарма делают. Нудит на то наместник-господин. А с богатых, значных людей силом же «поминки» берет великие... И хоботьем, и серебром, и куньями... Грамота твоя, государева, вольная, что Пскову дадена, как зеркало граду была... Да недолго. Бояре выборных наших не слушают, по ямам морят, чуть слово пикнешь... Жалились мы тебе — все зря...

Не попусти, осударь!.. Вотчинников в разор разоряет... Чему рупь цена, в грош ценит, землю задарма отымают себе и похлебникам своим!.. Крестьян ямской гоньбой заморил. Каждый смерд последний, коли он с наместничьего двора, в избу любую идет, пьет-ест, куражится, орет: «Ямских подавай! По делу господаря-наместника ехать нужда приспела!..» Смилуйся, защити, осударь!.. Не наша земля Псковская одна, весь край обнищал!.. Застой, надежа-царь, за рабов своих.

И со слезами, высказав свои обиды, повалились снова в ноги жалобщики.

Угрюм, невесел сидел Иван. После обеда, к вечеру дело было, когда допустил он послов до себя! В компании поправлялся Иван.

После вчерашней ночи веселой и голова болит, и на душе что-то неладно, совесть скребет... Неподкупная она...

Вон Адашев, ясный, свежий, спокойный, с добрым лицом своим красивым, словно живой укор перед глазами Ивана стоит.

Даже злоба взяла царя... На ком-нибудь надо ее сорвать, выместить.

А тут еще раньше постарался Юрий Глинский, нашептал племяннику, что князю надо было... Про измену псковскую, про дела их старые нехорошие, против Москвы.

— И теперь, — шепнул Глинский, — неспроста послы эти посланы... С Новгородом Псков стakнулся... Идут там крамолы великие. От Москвы отпасть хотят! К Литве перекинуться!..

Поверил Иван, тем более что жалобщики неосторожно сами царю про ненавистный Новгород, про вольницу его напомнили. А тут еще и Коломна в памяти жива.

Не в добрый час попали послы!.. Плохо молились, видно святым угодникам, когда в путь снаряжались.

С недоброй улыбкой заговорил Иван.

Знал Адашев улыбку эту, и даже сердце у него упало, когда мелькнула она на губах царя, как зловещая молния, предвестница большой грозы.

— Плохо вам, баете? Гм...

— Уж так плохо — и-и! Бяды! Слов нетути!..

— А игумны, отцы святые, в Новгород сбежали? Лучше, значит, тамо?

— Много легче, осударь милостивый!.. Новгородцы не простаки, как мы. В обиду себя и наместнику самому не дадут, не то что... Шуйские одни, бояре, чего у них стоят!... Завсегда они Нову-городу первые заступники... Вот и...

— Знаю, помню, — кулаки сжимая, стискивая крепко зубы, бормочет Иван. — Так вам завидно?

— Не то што завидки берут, а маета от наместника, волокита великая, разор крайний!.. Смертушка пришла... Вон и духовенство, отцы наши монахи и священники... И суседи-новгородцы порадили: «Чего, мол, дома сидеть, терпеть? Под лежащий камень и вода не течет. Дите не плачет, мать не понимает... Ступайте, добейте царю челом, пожалобитесь. Послушает вас царь...»

— Как же... Как не послушать?! Коли правду вы баете?.. Только правду ли?..

— Хошь побожиться!.. Вот вели на образ святой!..

И закрестились благоговейно все жалобщики широким, истовым двуперстным крестом.

— Гм... Дело, дело... Значит, как перед Господом?.. — каким-то не своим голосом допрашивал Иван, из себя теперь вышедший, так как сами псковичи выдали свои сношения с новгородцами.

И сознавал в душе Иван, что не владеет собой, что какое-нибудь дурное, неправильное решение примет, да на горе, уж и сдержаться сам не может...

— Как перед Господом?.. Хоть на суд Божий? — спрашивает. И только старается не встретиться взором с глазами Адашева.

Заметил недавно Иван, что взоры любимца на него как-то странно влияют, словно он воли своей лишается и то делает, что даже не советует, а только в душе чего желает, о чем подумает Алексей... Словно чаруют царя эти взоры Адашева.

И вот, упрямо потупив свои глаза, продолжает допытываться Иван правды от псковичей.

А простоватые псковичи и рады, что разговорчив, милостив царь. Авось добро будет...

— На суд Божий?.. Хошь на пытку готовы, осударь.

— То-то ж!.. Ведь одна сторона ваша здесь... Истцы вы только... Нетути ответчика... И застоять за него некому... Молчи, дядя!.. — приказал он Юрию Глинскому, видя, что тот готов заговорить. — Молчи, когда

тебя не спрашивают... Не к тебе, ко мне пришли... Смерды, рабы мои... Моя и воля... Ну, люди добрые, заступники мирские, изготовляйтесь на суд Божий... Огнем судить вас буду, по-старому, по Судебнику, по обычаю дедовскому. Вытерпите — ваша взяла. Смещу наместника, другого, поласковой, дам, чтобы и вам, и суседям вашим, новгородцам, моим смердам покорным, угождал... Чтобы земля о правде не печаловалась... Эй, вы! Кто там... Раздеть их... На землю клади... Попробуем старичков!..

Мигом были раздеты донага несчастные... на землю повалены... И началась безобразная, дикая потеха... Отуманенный злобой и вином, Иван и сам принялся, и приспешникам велел горячим вином обливать псковичей и бороды палил им свечой... Волосы вспыхивали, трещали... В воздухе, кроме винных паров, запахло словно паленой шерстью... Горелым мясом...

А Иван все переспрашивает:

— Так на своем стоите: правда ваша? Слова ваши истинные? Не поклепы все одни, а верная жалоба?

— Истинно, осударь!.. — отвечали псковичи, терпеливо снося испытание. — Все правда чистая... И пусть по правде нашей Господь нас помилует...

Готов уж был прекратить пытку Иван. Да искоса на Адашева глянул, так, мельком...

Стоит тот бледный, слезы застыли на очах, только что по щекам не катятся. Совсем скорбный ангел, о грешной душе тоскующий...

И новый прилив тоски, смешанный с какой-то бессознательной яростью, объял душу больного отрока. С новой силой злоба вспыхнула, словно желая всякое раскаяние в душе подавить...

Жжет псковичей Иван и допрашивает:

— Правду ли говорили?.. Обидели вас?

— Правду, осударь! — неизменно твердят посланцы.

И все больше и больше распаляется сердце Ивана... Часа два уж длится испытание... Еще немного — и погибнут несчастные... Пена на устах у Ивана... В глазах — огоньки. Верно, припадок близок. Мало ли что в болезни прикажет царь?!

Вдруг всадник прискакал... В мыле конь... Сам едва на седле держится...

Так и свалился наземь к ногам царя, дышит тяжело...

— Што такое? Мятеж, што ли, на Москве?.. От ко-го ты?..

— От отца митрополита... На Москву, царь, торопись. В сей же час снаряжайся... Отец митрополит неотложно наказывал...

— Да што такое... Выкладывай, смерд, живее, не то ножом прыти прибавлю...

— Ох, осударь! Чудо большое... Чудо недоброе... Вот часу нет, со звонницы с великой с Ивановской...

— Ну, ну!.. — торопит едва дышащего гонца царь.

— Колокол главный... Благовестник отпал... Быть великим бедам, святой отче митрополит сказывал. На Москву поспешай...

Как один человек, все здесь бывшие ахнули... Как один человек, креститься стали, покаянные псалмы шептать...

И царь со всеми...

Опомнился спустя мгновение...

— Коня подавайте! — кричит.

Подали коня ему и всем приближенным... Поскакали все с места на Москву, не глядя, что ночь надвигается...

Подняла оставшаяся челядь брошенных наземь, измученных псковичей...

Отлежались где-то в избе несчастные, чудом спасенные, и молча ко дворам восвояси побрели...

Не знали они, что за Адашева надо было им Бога молить.

Чуть заметил тот болезненное ожесточение Ивана, успел слова два написать, верного человека в Москву погнать, к Макарию прямо, чтобы без души скакал.

И, кстати, упавший колокол не только псковичей спас, но также избавил имя Ивана от большого покора, от гибели беззащитных, безвинных слуг его верных. Не дремали охранители земли Русской. И зло на добро старались повернуть.

Как-никак, а зловещие приметы даром не прошли! Грянул гром через восемнадцать дней ровно после падения «благовестника».

Не послушал Иван ни митрополита, ни близких своих — не укротил нрава... Во дворце кремлевском ту же жизнь повел, что и раньше, в селе Островском.

И те, кто знал, что готовится несчастье, что его отстранить еще можно, те все молчали о кознях бояр.

— Может, страхом отрока дойдем, если не словом! Не наш грех, так наша корысть будет. Боярское злодейство используем!

Так решили на общем совете Сильвестр с Макарием и с Адашевым, причем протопоп неизменно был оставлен в приятном убеждении, что все от него исходит.

На первый день, бурный и ветреный, было назначено у бояр поджог произвести, чтобы шире пламя разнесло.

Такой день именно выпал во вторник, 22 июня 1547 года. С полуночи еще ветер такой забушевал, что крыши срывались с домов... Людей опрокидывало, лошадей сбивало с ног...

И при этой-то буре, на рассвете на самом, загорелась, вспыхнула, как свеча, церковь деревянная, ветхий храм во имя Воздвиженья Честного Креста, что на Арбате. Восточный ветер от Кремля доносился сюда. Раздул он пламя в одно мгновение! Огненная река потекла, яркая, широкая, испепеляя жилища, храмы, сады, людей, вплоть до Семчинского сельца, где огненный поток с потоком Москвы-реки встретился и здесь был вынужден остановиться.

На рассвете загорелось, а часа через два — весь огромный этот клин городской представлял из себя один сплошной костер, одно страшное пожарище. К обедням стал стихать огонь за недостатком пищи.

Встревоженный в Кремле, царь со всеми боярами уж и барки велел снарядить, чтобы по Москве-реке, выйдя через ворота Тайницкие тамошние, поплыть в безопасное место куда-нибудь. Но остановился царский выезд, когда стих огонь на западной стороне города.

Со стен кремлевских хорошо видно было, как кое-где дома и церкви догорают, как островками, уцелевшие чудом, сады зеленеют или пустыри, травую одетые... Грустное зрелище.

Сжалось сердце у Ивана. В сотый раз он в душе обет себе дал: исправиться, не давать волю бесу злобы и ярости, который в груди у него сидит.

Но рок, видно, знал, как непрочны такие обещания у отрока, и присудил ему более тяжкое испытание. Ураган неожиданно-негаданно с запада на восток повер-

нул. Новые участки загорелись... Новая огненная река потекла навстречу догорающему первому пожарищу. И хлынуло пламя на гордый, высокий, недоступный для людей, но не для Бога Кремль.

С быстротою урагана катилась огненная река.

Успел все-таки Иван спешно сесть на суда с женою молодой и с братом слабоумным, Георгием, которого недавно только женил на княжне Иулиании Хованской... Сели и бояре все, дума ближняя, воеводы, какие на Москве были... Поплыли к Воробьевым горам, в Летний потешный дворец царский. Обширен он, всем места хватит!

А тут, едва отвалили суда, верх вспыхнул на Успенском соборе... Через Неглинку пламя на крыши царского двора перекинуло... Казенный двор запылал, Благовещенский собор загорелся. Сгорела дотла налата Оружейная с оружием древним дорогим, постельная палата с малой казной, двор митрополичий. По каменным церквям — сгорели иконостасы деревянные и все пожитки прихожан, все людское добро, которое по старому обычаю прятали в каменных, надежных от огня, храмах обитатели деревянных теремов и палат. Сгорели: Чудов и Вознесенский монастыри, древние обители в Кремле. В Вознесенском монастыре десять стариц-монахинь сгорело. В церковь вошли — не хотят выходить. А церковь дотла спалило. Один образ чудотворный успел отец протопоп спасти! В Успенском соборе уцелел, правда, весь древний иконостас и сосуды дорогие церковные, но укрывшийся там Макарий едва не задохся от дыму и пламени, проникавшего в стены храма. И вышел митрополит, как щит, как оборону, держа благоговейно в руках чудотворный образ Владимирской Божьей Матери, писанный еще митрополитом Петром. Отец протопоп успенский шел за святителем, неся церковные правила.

Укрылись они на городской стене, в тайнике, где во время нашествия врагов сокровища все церковные хранились.

Но и сюда дым набился. Стал терять сознание Макарий. В Кремль, где пламя бушует, выхода нет... И стали по веревке — со стены, прямо к реке Москве старца спускать... Да оборвался канат — перетерся, должно быть, на остром каменном выступе. И с большой высоты упал владыка. Сильно расшибся. Еле люди, внизу стояв-



шие, его в чувство привели. Отвезли старика в Новоспасский монастырь, подальше от напасти.

А напасть великая пришла!

В Китай-городе все лавки с товарами, богатые торговые ряды погорели... Все дворы смело, начиная с затейливых палат бояр Романовых. За Китай-городом большой посад по Неглинной, Занеглименье выпалило, с землей сровняло, и Рождественку теперешнюю до Николы в Драчах, до монастыря, снесло... По Мясницкой, где скот били, мясом торговали, вплоть до пригона конского, до св. Флора горело. Пылала Покровка до церкви св. Василия...

На двадцать верст кругом гудело и колыхалось страшное море огня, а в этом море, в пламенных, губительных волнах его, метались застигнутые врасплох люди, носились, выли, как безумные... Всего две тысячи человек. Да так и сгорели дотла...

Ураган ревел... Пламя разливалось, шипело, свистело, пожирая все на своем пути, и в общем грозном хаосе не было слышно безумных, диких воплей и криков этих несчастных, заживо сгоревших за чужие грехи, за злобу чужую...

Печальная ночь настала за этим страшным днем, напоминающим день последнего Суда Божьего. Тяжко было бедному люду... Не легче — и царю Ивану в опочивальне его.

После сильнейшего припадка обычной болезни, причем особенно сильно трепетало и билось могучее, юное тело царя, он заснул на часок, но скоро проснулся.

Зарево пожара доносилось и сюда, за много верст, и чудилось потрясенному Ивану, что он слышит треск горящего дерева, слышит безумный вой и хохот заживо сгорающих бедняков, тут же сходящих с ума... Ведь пока ехали суда по реке — что-то страшное раскидывалось перед воспаленными, полубезумными, застывшими глазами Ивана, из которых едкий дым, застилающий все вокруг, вызывал невольные слезы...

И теперь грозная картина так и реяла перед умственным взором царя...

— Страшно... Страшно, Алексей! — вдруг зашептал он неразлучному своему спутнику, Адашеву, спавшему тут же.

— Да, осударь. Это не то, что пожар града Рима! — грустно, с невольной, хотя и мягкой укоризной промолвил тот.

— Молчи! Каюсь! Мой грех!.. Молчи уж лучше...

И, не сомкнув глаз до утра, то рыдая и трепеща, то в молитве припадая перед божницей, проводил эту грустную ночь царь Иван.

Наутро, когда пришли вести о падении митрополита со стены и о чудесном спасении его, сейчас же собрался Иван с Адашевым к Макарию, в Новоспасский монастырь. Бояре все — следом за царем, желая повидать святителя, испросить благословения, совета его.

Полурасшибленный, телом страдающий, пастырь духом оказался несокрушим. Он же ободрял и утешал их всех, здоровых, нетронутых, но растерянных и подавленных душою.

Только и такое испытание всенародное не смирило распри боярской.

Стали они опять разбирать: кто тут виновен, кто прав?

И снова всплыли прежние обвинения, пятнадцать-двадцать дней тому назад высказанные против Глинских. Вслух и Шуйский-Скопин, и Григорий Захарьин со всеми другими, и сам духовник Ивана, Федор Бармин, заявили:

— От Глинских пожара пошла! Не мы одни — вся Москва то же толкует! Осударь, вели обыск навести!..

Глинский Юрий сидит уж, молчит, бледный, запуганный...

— Да что еще бают! — возвысил голос Петр Шуйский. — Что дядевья твои, государь, вместе с бабкой-старухой и с лекарем-жидовином, с людьми ближними волхвовали! Вынимали они у казненных людей сердца человеческие, в воду клали да той водою, езда по Москве, кропили... Оттого Москва и выгорела. Безумная речь, што и говорить. А надо сыскать поклепщиков! Пусть свою правду докажут. Не то гляди: народ больно плох, ненадежен стал с перепугу да с разорения пожарного. Колодники из тюрем выпущены... Злодеи-воры, разбойники всякие. Они и добрых людей на мятеж подобиют. Надо народу правду знать.

Слушает суеверный, как и все в его время, Иван, и холодный пот выступает на лбу крупными каплями.

Уж не правду ли толкуют бояре, хотя и враги они Глинским?

Первая правда то, что проводили люди про работу лекаря бабкиного, как он режет трупы и на мертвых

преступниках живых людей лечить учиться... А если не лечить, а губить? Кто знает? Хотя и не жидовин доктор, — как облаяли Згорджетти, — все же схизматик, католической он веры...

Вторая правда: сам Иван у него сердца в банках видал; в спирту, не в воде... а видал.

Толкует лекарь: все для ученья ему.

Зачем для ученья сердце мертвое?..

Так, если две правды враги Глинских сказали — может, и в третьем не лгут? Завидно дядьям, что власть поотнялась у них, вот и жгут Москву?..

И мучительно задумался Иван.

Молчит и Макарий. Понимает, что хотя бы и сознал вину Глинских царь, на поруганье их не выдаст... Да и не надо бы.

Но за Глинских вступиться — плохой расчет. Их дело потеряно. И всех своих друзей, старых и новых, Шуйских и Захарьиных, от себя он своей заступкой оттолкнет...

А на царя покамест плохая надежда. Вот если удастся последний ход, тогда...

И молчит Макарий, ждет, когда обратится к нему за советом царь.

— Отче господине! Как быть?! — дрожащим голосом заговорил наконец отрок. — Видишь муку мою... Как пред Истинным, открыто пред тобой сердце... Сознаю все окаянство свое... Но вине дядьев не верится. Как быть? Научи, отче господине! Такой час приспел, что на тебя да на Бога вся надежда моя!

— Тебе не верится, и мне ж не верится, государь! — слабым голосом, но внятно начал Макарий.

Все бояре только переглянулись с угрюмым удивлением и с нескрываемой враждебностью перевели взоры на Макария. Только один царь с бледной улыбкой да Глинский с благодарностью глядит. А святитель продолжает все так же спокойно и медленно:

— Коли мы оба не верим, значит, и нет того. Отчего ж и обыска не нарядить? Сыскать надо наветчиков. Они своего не докажут. Тут, народне — и казнить их. Толки и стихнут, все уляжется, успокоится.

Полная перемена в лицах произошла.

Как мертвый сидит Глинский, и он не ошибся. Это прозвучал ему смертный приговор.

Просияли бояре, про себя Макария нахваливают:

— Что за ум светлый! Что за башка!.. Ловко!..

Бояре знают, что знают!.. Они и в себе, и в черни, ими же взбулгаченной, ими же подстроенной, твердо уверены... Крышка Глинским.

На том и порешили: через три дня, в воскресный день праздничный, на площади кремлевской на Ивановской, во всю ее клич кликнуть, обыск нарядить. Там, на народе, окажется правда: кто Москву спалил?

Вернулся на Воробьевы горы царский поезд.

С Макарием — Сильвестр остался. Тихо все о чем-то беседуют...

— Цело ли? — спросил Макарий.

— Все цело! Только пождать еще надо... Не отгремела гроза... И Адашев там приготовит что следует.

— Не отгремела, правда твоя. Счастлив конюший боярин, Глинский Михайло, что нет его... А Юрий не жилец он на свете...

— Сам знает, что не жилец... Рад бы убежать, да некуда. Теперь, поди, бояре его пуще, чем царя, сторожат: не уехал бы!

Покачал только головой в грустном раздумье Макарий...

Не ошиблись ни на йоту оба старца.

Настало воскресенье, 27 июня.

На обширной кремлевской площади черным-черно от народной толпы. Площадь эта, от стоящей здесь церкви Иоанна Лествичника, или Ивана Святого, звалась Ивановской. Теперь это — церковь и колокольня Ивана Великого, Годуновым впоследствии пристроенная.

Во время Ивана IV не было еще колокольни. Колокола большие, в огромной звоннице каменной, шатровидной, почти наружу висят, подвешены скрепами толстыми к балкам огромным.

Всего четыре дня после небывалого такого пожара прошло, а уж жизнь в свою колею вступила. Курятся еще остатки сгоревших палат и храмов Божьих, вьется сизый дымок от пепла и головешек, что грудями всюду навалены... Воздух едкой гарью пропитан, дышать тяжело... Земля остыть не успела, раскаленная... А людской муравейник копошится, гудит, жужжит на все голоса... И черные люди, и крестьяне тут окрестные, приезжие с припасом, который так нужен в погорелом городе... И ратники и «деяки», дьяки, иначе, дельцы площадные, которые здесь именно кабалы строчат кому

надобно... Все тут, до разбежавшихся колодников включительно. Большинство оборванные, закоптелые, обожженные даже... И все — обозленные, с душой, напряженной всеми минувшими ужасами... Напряжены все до того, что и на геройство и на самое грозное дело, на лютое, на свирепое, эту толпу полуголодную, одним словом, одним восклицанием подвинуть можно!

Гудит, зловеще рокошет толпа. Ждут все: нынче бояре о поджоге московском обыск чинить будут.

Появились и бояре, наконец стали на месте, на расшищенном, которое раньше метельщики обмели.

Юрий Глинский тут же. Бледный, словно на казнь его вывели. Не хотел он ехать. Да заставили силой почти его.

— Как же, — сказали ему, — о роде твоём обыск, а тебя не будет? Погляди сам, чтобы все по чести шло!

Пришлось сесть на коня. Едет, а у самого ни кровинки в лице!

За ним, как и за другими боярами, челядь его.

Всю как есть взял он с собой.

Да что в ней проку?

Тонет эта кучка вооруженных людей в ревущем море народном, взволнованном, которое, пожалуй, не менее страшно и губительно бывает порой, чем беспощадное море пламени.

И на людей-то Юрию поглядеть страшно, и вокруг смотреть тяжело. Сколько потерь? Сколько горя! Какой огонь был! Уцелела вон церковь Вознесения, но камень у нее от жара где глазурью покрыт, где в песок перегорел... Осела церковь, рухнет, того и гляди!

И этот вид пожарища, и гул разъяренной толпы страшно все как-то влияет на душу Глинского. Он знает, что его ждет. Тут-то бояре с ним свои счета и сведут... Чернь за то мстит, что глух он был к жалобам, если, обиженные челядью его, люди простые прибегали к боярину, к дяде царскому...

Настал день расплаты! Так уж скорее... Скорее бы конец! И он не медлит...

Бирючи уж клич кликали... Бояре обыск начали.

Все рвутся вперед... Еле-еле стражники напор сдерживают, не дают толпе смять, раздавить всех бояр. А бояре, в их богатых, чистых нарядах, недвижно, спокойно стоят, словно островок, вокруг которого плещут, вздымаются и ревут волны прибойя всенародного!

— Кто Москву поджигал? — спрашивают у толпы.

— Глинские поджигали... Бабка царева — ведунья, еретица... И с сыночками... И с челядью... — вот что упорно, все грознее и грознее режут народные волны.

— Смерть им! Подавай их сюды!.. На расправу их нам, выроdkов литовских!..

Так закричали коноводы, подкупни боярские...

Так заревела за ними толпа, трепеща всей своей напряженной озлобленной душой!

Инстинкт самосохранения внезапно проснулся в Юрии Глинском. Незаметно, под охраной своих, он укрылся в рядом стоящем Успенском соборе, который чудом каким-то уцелел и высится на опустошенной площади, черный, закоптелый, и на просторе сейчас, среди пожарища, кажется куда громаднее прежнего.

Но толпе нужно чем-нибудь разрешить свое напряжение: или подвигом, или кровью.

— Кровью! — решают бояре. Дают приказ кому-то

— В церковь убежал Глинский-злодей! — кричит чей-то голос.

И в собор за Юрием кидаются натравленные убийцы. Труп Глинского вытаскивают из храма... Сотни рук мелькают... Тысячи проклятий вылетают из пересохших губ...

Через миг обезображенное, кровью залитое тело «поджигателя» выволокли из Кремля через Фроловские ворота и кинули у Лобного места, там, где по приказу князей и бояр до сих пор только преступников четвертовали и напоказ ставили.

В это же самое время другие толпы людей накинлись на челядь Глинского, на всех этих, чужих по языку и по лицу, людей литовских, усатых, бритобородых!.. Всех постигла та же участь, что и боярина ихнего.

Подвернулись люди Северной стороны, где тоже бороду бреют, усы носят. Дети боярские, к роду Глинских непричастные, тоже, за одно сходство с литвинами, заплатились жизнью.

Раз почуяв запах крови, толпа озверела окончательно. Да и бояре не так скоро решили отступить от своего.

— Уж пугать царя — так всюю! — говорит кто-то из бояр.

И вот в народе раздаются голоса:

— Братцы! С Юрашем покончили... А как же с дру-

гим братцем? С конюшим? С Михаилом свет Васильевичем?.. И со старушкой-ведьмой? С Анной-еретичкой?.. Их тоже надобно!

— Надо бы! Да где они? Чай, схоронились?..

— Не далеко искать. У царя, на Воробьевых, слышь...

— Только? Недалече! Вали на Воробьевы...

И повалили эти звери-люди. Одни — сухим путем. Другие — водой поехали.

Не успел прибежать к Ивану вестник с сообщением о трагической гибели дяди Юрия — новые гонцы пришли:

— Государь! Народ сюды кинулся. У тебя хотят бабку вынимать и боярина Михаила Васильича. Налгали им, что прячешь ты сродников тут.

Задрожал Иван и от страха, и от ярости.

Положим, полон двор стрельцов. И каждую минуту еще подмога прибывает... Да как знать?..

Не успели воеводы Воротынский и Бельский все устроить для обороны, как подваливать стал народ.

Правда, не очень много его. Жилья, деревень не мало по дороге. Кто в кабаки заглянул, кто одумался по пути... Иные пограбить польстились, благо в такие дни никому закон не писан... Но докатились до Воробьевского дворца самые буйные, опасные волны народные, самые бесшабашные головы, сплошь вольница городская да низовая, голь кабацкая перекатная.

Увидали стену живую из ратного люда: стрельцов да копейщиков — и встали. А сами все бурлят, орут:

— Ведунью старую подавайте! Мишку Глинского, боярина! Не покрывайте поджигателей!..

Доносятся эти крики и до Ивана, который только молится у себя в покое.

— Успокойся, государь! — твердил ему Адашев. — Все уладится. А на случай чего — ходы здесь есть до реки и под рекой потайные.. Не возьмут тебя. Я все уж разузнал. Покоен будь!..

И Иван немного успокоился.

Пришел Воротынский с Бельским.

— Что скажешь делать, государь? Сторожа поставлена. Пока народу немного сбежалось. А что вот ночь скажет? Что их к утру будет — неведомо!

— Пытались вы уговорить злодеев? Объявить, что нет здесь ни бабки, ни дяди Михайлы?

— Пытались. Не верят...

— Так подите скажите моим словом царским... что нет их... Что я суд снаряжу...

— А если не послушают?.. Не поверят? Не разойдутся?..

— Моему слову не поверят? — вдруг воспламеняясь, вскочил Иван. — Моего приказу царского не послушают? Первых тогда в ряду хватайте, тут же казните!.. Поглядим, что скажут, окаянные!..

Воротынский и Бельский вышли.

— Слушайте, народ православный! В последний раз говорю вам!.. Именем государевым... Вот и знак, гривна его государская... Нет здесь ни бабки царевой, ни дяди царского Михаила. Во Ржеве они!.. А царь обещает суд нарядить и не покроет злодеев ваших, хошь бы и родню свою. Таково его было слово царское, великое!

Загудела толпа, притихшая было во время речи воеводы. Но гул уже не такой зловещий, как раньше.

Не может не верить народ царю своему...

Расходиться стали те, кто разум в голове и совесть в душе еще хранил. А кучка озверелых, охмеленных вином и кровью колодников и другой черни бестолковой не унимается.

— Ишь ты, во Ржеве? Не по яблочки ль поехали?.. Тут они... Подавай поджигателей!

Так и закричали все, кто оставался.

Но крика этого уж им повторить не пришлось.

По знаку воеводы кинулись стрельцы, перехватили буянов. Кого оглушили, кого тут же прикончили, если сопротивляться хотел. А остальным — через час какой-нибудь, здесь же, перед дворцом, головы сняли...

И в ужасе прочь бросились бежать оставшиеся из любопытства и стоящие поодаль кучки народа.

Глухая, «воробынная», как говорится в народе, ночь настала.

Сухой ураган, бушевавший дня три, сменился было затишьем. А теперь полил дождь, гроза разразилась, заливая потоками влаги дымящееся московское пожараще.

Дрогли бесприютные бедняки, которым не хватило мест по уцелевшим церквам, монастырям и жилищам. Хозяева последних принимали столько гостей, сколько стены вместить могли.



Рыдает, дрожит, словно в ознобе лихорадочном, на ложе своем Иван в полутемной опочивальне Воробьевского дворца.

Обширная горница выходит окнами в большой тенистый сад, сбегаящий по откосу до самой Москвы-реки. Открыты окна, чтобы хоть немного освежить душный воздух нежилого покоя. Ветви столетних деревьев из черной ночной темноты заглядывают в окно тихого, слабо освещенного покоя, словно узнать хотят, какая душа томится и страждет здесь. Вдаль уходящая гроза дает о себе знать порою синей вспышкой молнии, слабым рокотом отдаленного грома. И тогда тяжелые капли дождя, дробно так тарахтящего по листьям, чаще и звучнее бьют по зеленым куполам старых деревьев-великанов, по скатам дворцовых крыш, по влажной земле.

Кроме двух окон, выходящих в темный сад, две двери ведут в опочивальню. Вернее, одна ведет сюда. А другая, с небольшой лесенкой, наглухо запертая, ведет из опочивальни в необитаемую совсем половину дворца.

Та половина стоит выше по горе, чем эта. Вот почему и дверь не в уровень с полом прорезана. Вдоль четвертой, глухой на вид стены, осененная шатром, стоит кровать, ложе царское. Полночь скоро. Лечь бы надо. Но страшится непривычного ложа Иван, словно могилы. И не знает он, что стоит за этим постельным шатром наклониться, поднять половицу, хитро прилаженную, и откроется ход подо всем дворцом и под садом, вплоть до реки... А выход из тайника — опять закрыт хорошо; дерном вся дверь обложена, кустами прикрыта.

Полночь близко.

Чу, часники домовые, которые и здесь стояли, и в ход были пущены с прибытием царя, выбивать мерно начали.

Один. Два. Три... Двенадцать. Полночь настала.

Еще сильнее жуть овладела Иваном.

Адашев, правда, рядом спит... Не кликнуть ли его? Нет, что за вздор? Совестно даже... Не мальчик уж он. Семнадцать лет ему... Он царь! Он муж! К Насте пройти?.. Тоже — зря. Она совсем расхворалась от всех передряг недавних и ужасов. Христос с ней! Пусть поживает, голубка милая. Никогда, никогда больше не огорчит он жену, не изменит ей!.. Бог свидетель...

Отчего это так мало света в покое? Разве еще свещники зажечь?.. От лампы — и самому можно, не будя никого. Вон какой забавный один трисвещник стоит: яблоко в середине, а в яблоке часы же тикают... словно сверчок большой, на всю комнату трещат: тик-так... тик-так...

Хорошо, что трещат... Все веселее... Не совсем тишина могильная...

Над Москвой далекой думы царя летают. Что-то там теперь?

И опять твердит Иван:

— Прости, Господи! Зарекаюсь искушать терпение Твое...

Молится, а недавние страшные сцены так и мелькают в глазах...

Море огня... Потоки крови... Дядин труп обезображенный... Скорченные, обезглавленные трупы казненных бунтарей перед дворцом... И сейчас там они лежат.

Хоть бы окно закрыть... Да не смеет царь с лавки двинуться... Дышать не смеет полной грудью, как будто боится чей-то сон потревожить... Нарушится заколдованный сон, и пробудится нечто такое, отчего мертвым на месте можно упасть...

Оттого и сидит не шелохнется Иван, рассвета, луча только первого ждет. Если бы не буря, не тьма облаков, скоро б июньская ночь пролетела... А тут мрак кругом... Жутко.

Вдруг словно лист затрясся Иван. Шорох за дверью.

— Кто там?! — еле вырвался у Ивана хриплый оклик из горла, перехваченного сильнейшей судорогой.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — раздается за дверью не чужой, но малознакомый голос.

Отлегло у царя от сердца.

Не духи там, не демоны, не убийцы подосланные. Те бы молчком, без молитвы вошли. И голос хороший, знакомый, старческий чей-то, хотя еще не дряблый.

— Аминь! — торопливо произнес Иван, желая скорей узнать, кто там. Кого в полночь, без предвещения обычного допустили в опочивальню к нему?

Раскрылась дверь, и появился в покое Сильвестр, протопоп, духовник царицы...

Обрадовался даже царь.

— Вот Бог живую душу послал, да еще такую хорошую!.. Входи, входи, отче! Милости прошу!.. Рад я тебе. Только што так поздно? Не приключилось ли сызнова чего? На Москве? Или ты от отца моего, митрополита святителя нашего?

— От себя я, осударь. А поздно — потому дело такое, великое! Не всем очам видеть достойно.

Снова мороз побежал по спине у Ивана.

Станный вид у Сильвестра. Сурово и скорбно лицо его. Видно, что тяжело налегает рука на пастырский посох. Одежда вся мокрая. Сейчас пришел со двора. Правда, значит, дело великое, если в такую ночь из Москвы сюда прибыл...

— Рад тебе, все едино. Зачем пожаловал? Сказывай, отче! Все сделать готов.

— Бог меня посылает к тебе, сыне! Чадо мое духовное! — значительно, смело говорит поп. Никогда он с ним так не говорил, хоть и много раз приходилось им сталкиваться и в храмах Божьих, и у царицы. Совсем пророком выглядит библейским этот величавый, седовласый, могучий старик.

— Говори, отче!.. — повторяет смиренно Иван.

— Не я — Господь Бог глаголать устами моими возжелал и даст тебе в том дивные знамения.

— Знамения?.. — лепечет подавленный отрок.

— Да, сыне, знамения!.. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения!» — сказано бо есть. И тебе, лукавец и прелюбодей, дастся знамение по воле Господней.

Иван онемел.

Впервые до слуха его коснулось такое слово. Но тут же он смиренно поник головой и повторил только:

— Лукавец и прелюбодей! И горше того, отче! Каюсь со смирением, по чистой совести, и пусть по той правде простит меня Господь!..

— погоди! Слушай сперва! Потом и твоя речь придет... Слушай, что было со мною... Не нынче... Еще шесть ден назад.

— Говори... говори, отче, — весь трепеща, прижимаясь, как ребенок, к рясе священника, произнес Иван, предчувствуя, что услышит нечто необычайное.

— Спал я в покое своем... Вдруг голос воззвал меня. Прокинулся, гляжу — нет никого... Лампада сияет...

И лик Спаса, кроткий и благостный, один глядит на меня. И вижу: словно слезы блестят на очах у Кроткого. Глянул еще раз — нет ничего. Ну, думаю: почудилось! Да на окно перевел глаза. Чуть не крикнул! Весь Кремль, вижу, в огне пылает... И собор мой тоже...

— Господи, Господи!.. — зашептали бледные губы Ивана, а рука невольно сотворила крестное знамение.

— Дальше слушай... Кликнуть кого хочу... Протопопицу-мать разбудить — голосу нет. Подбегаю к окну — все исчезло разом. Тихо. Светает на воле. Спокоен Кремль, цел собор стоит. Думаю: попритчилось. Молился мало перед сном... Сотворил молитву, лег. Снова глас зовет... Снова в огне все вижу кругом. До трех раз так было...

— Што ж не пришел, не сказал тогда мне, отче? — зашептал Иван.

— Гордыня! Неверие обуяло... Думаю: что я за святой, чтобы знамения мне Бог подавал... Забыл, что и в безднах адовых светит величие Божье!.. Дальше слушай... Спыхватился я, вспомнил видение мое вешнее, когда беда огненная над Москвой стряслась. Да поздно, — так себе думаю... И снова нынче в ночи посетил меня... к тебе послал Господь... Слушай! — вдруг загремел Сильвестр. — Слушай и трепещи, грешник юный! Овца заблудшая... Вот уж секира при корне древа сухого... Усечено оно будет и ввергнуто в огонь вечный!.. Покайся, нечестивец! Покинь утех агарянские, игры содомские, оставь крови пролитие! Воззрись на землю... На весь люд христианский, Богом врученный тебе! Мало ли посещал тебе Господь? И глад, и потоп, и мор на землю приходил... Ты все не одумался! Покайся, чадо!.. Не дерзай паки насилием всяким народ угнетать... Не давай православных синклитам твоим в обиду! Не на то вручен тебе венец прародительский!.. Очисти душу свою от всякие скверны!.. К людям стань милостив... К церкви — прилежен... Не то горе тебе!.. Взвешены грехи все твои на весах гнева Господня!.. Спешి одуматься, чадо!.. Гляди: вон пажити, тобой и приспешниками твоими опустошенные... Села разметанные... Град престольный, грехов твоих ради спаленный, аки в последний час светопреставления... Гляди: вон жены, дети, старцы, в огне обгорелые... Мученики безвинные, Агнцы Божи...

— Вижу, вижу!.. — стонал Иван, в уме которого ярко возникала каждая картина, поминаемая старцем, словно бы наяву он видел все... Каюсь! Грешен! Прости, Господи!.. Отпусти мне грехи мои вольные и невольные...

— Стой, молчи! Гляди... Еще не все!.. — властно продолжал старик. — Гляди, — и он посохом указал на стену опочивальни.

В это самое мгновение откуда-то пронесся по комнате сильный порыв холодного сквозного ветра и погасил почти все лампы, сиявшие в углу, у образов. В то же время, сверху откуда-то, как будто из двери, ведущей в запертые покои, мелькнул луч света слабого, скользнул по Сильвестру, по Ивану и озарил часть стены, покрытой дубовой панелью, гладкой, отполированной...

Иван глянул по направлению руки Сильвестра — и волосы поднялись дыбом, зашевелились у него на голове. Он застыл от ужаса.

Там явственно в светлом большом кругу стали скользить знакомые тени. Не раз совесть вызывала их перед умственным взором отрока. Но никогда с такой яркостью не видал он всех убитых, замученных, казненных и задушенных по его повелению, по прихоти его... Вот Шуйский Андрей, залитый кровью, с поникшей головой. Лицо плохо видно. Но наряд, волосы, посадка — все его... Это он, он самый!.. Вот юные сверстники Иоанна: Дорогобужский, Кубенский, Воронцовы братья... Овчина Федя... Закрыв глаза Иван, а они все идут, идут без конца. Но теперь он видит, как с укором кивают они головами. Он слышит, как шепчут их мертвые уста

— Душегуб! Убийца

А голос Сильвестра снова гремит:

— Не закрывай очей на духовную скверну свою... Гляди!

Раскрывает невольно опять глаза Иван, глядит и видит самого себя, объятого адским пламенем. окруженного духами тьмы, которые ликут добыче! И мучат, вонзают в него презубцы свои...

Рыдание вырвалось из груди отрока!

Вопль огласил весь покой, вырвался в раскрытое окно и замер в ветвях деревьев вековых...

— Помилуй! Прости! Защити, Господи!.. Каюсь во

гресех моих тяжких... Ты, что разбойника простил и спас на кресте, Спасе Многомилостивый, помилуй мя, окаянного... Помилуй мя!

И, бия себя в грудь, распростерся в молитве Иван.

— Гляди! — снова раздается голос...

Поднялся и видит Иван отца своего, хотя и не помнит он лица его, но таким вот отчеканен лик покойного Василия висел у него на шее, на гривне золотой. И грозит ему отец... А из-под земли — словно лязг цепей раздался, тяжелых, железных цепей... Или врата адовы до срока разверзаются... И вдруг — из-под земли же глухой замогильный голос разносится в ночной тишине...

— Покайся, сыне! Близок час!.. — вещает этот замогильный голос.

Отец грозит и глядит сурово. И сейчас же сверху, словно с неба, отклик послышался резко, повелительно:

— Покайся, чадо! Близок час...

Вскрикнул дико Иван и повалился без чувств.

— Не было бы худа, отче! — быстро входя в опочивальню, зашептал Адашев, стоявший за дверьми, все слышавший и видевший, что происходило с Иваном.

Сильвестр только рукой отмахнулся.

Адашев нагнулся к Ивану и стал прислушиваться. Юноша лежал в глубоком обмороке.

— Сомлел он, отче!.. Положим его...

И Алексей, добрый и жалостливый по душе, стал поднимать, с помощью старика, Ивана, уложил его в постель, за которой уж никого сейчас не было. Чрево-вещатель, приведенный сюда в свое время, ушел, как и пришел, согласно заранее полученным указаниям.

Курлятев, третий пособник, которого научили действовать с волшебным фонарем, так же тихо прикрыл дверь опочивальни, как раскрыл ее, и по пустым pokojам прошел в отведенные для свиты флигеля...

Иван все лежал не шевелясь, почти без дыхания, бледный, с темными кругами, успевшими окаймить глаза.

— Отче, право, боюсь я...

— Ничего, говорю... И врачи так делают: поневоле согнившие гагрины (гангрену) стружут и режут железом, и дикое мясо, на ранах растущее, обрезают до живого тела. Пусть телу тяжко, зато душа от язв и от струпов прокаженных очищается!..

И Сильвестр, спокойный, суровый, стал ждать, когда очнется Иван.

Вот отрок вздохнул... пошевелинулся. Сознание вернулось к нему. Он вспомнил, задрожал, огляделся...

Светло в покое и от огней, зажженных догадливым Адашевым, и от первых лучей зари, блеснувшей на краю небес, с которых унеслись грозовые тучи.

— Отче... Алеша! Жив я еще?.. Попустил Господь! Дал покаяться! — заговорил быстро Иван.

— Я покаюсь... Я покаюсь... Исправлюсь... Только вы... вы оба не покидайте меня! — жалобно, тихо молил напуганный Иван, стараясь привлечь к себе обоих.

А крупные, жаркие слезы так и катились по бледным, за одну ночь исхудалым щекам...

Ясный рассвет вставал над землею вдали.

С рук сошла боярам смута народная на Ивановской площади. Никого не преследовал царь.

Напуганный Михаил Глинский с другом своим, бывшим псковским наместником, князем Турунтаем-Пронским, на Литву было побежал.

Но недремлющий враг, князь Петр Шуйский, обоих изловил и представил царю.

Посидели немного под стражей беглецы, покаяться, что со страху, ожидая участи Юрия Глинского, решили родине изменить и простил их тоже совершенно переродившийся Иван. Лишь далеко, на Каму воеводой послали конюшего и дядю царского бывшего первого боярина, Михаила Глинского.

Только не пришлось и врагам, соперникам Глинских и Бельских, воспользоваться плодами победы. Не они — два неизвестных, простых человека стали, неизвестно как и почему, у кормила правления: протопоп Сильвестр и постельничий, любимец царский, Алексей Адашев. Вверился слепо государь, всю свою власть сдал им обоим.

И вздохнула свободнее Русь.

Царь сам тоже не без дела сидел. Не терпела того кипучая натура Ивана. Временное оцепенение, угнетение — отголоски пожара и бунта, — все прошло, и после здорового отдыха, после покойной жизни вспыхнула былая энергия.

Осенью же 1547 года стали большой поход на Казань снаряжать.

В декабре царь во Владимир, как водится, прибыл. В январе 1548 года туда пушек, пищалей осадных навезли, начали полки все стягиваться: и русские, и татары касимовские, и казанки порубежные.

Двинулись вперед. В феврале лишь до Нижнего Новгорода добрались, потому распутица страшная была. Ни морозов, ни снега Бог не давал.

Дожди так и лили во всю зиму-зимскую...

Когда стали из Нижнего на остров Работку переправляться — оттепель еще пуще ударила.

Волга, едва было застывшая, полыньями покрылась. Вода выступила из продушин и весь лед сверху залила. Пушек, пищалей больших, стенобойных много погибло, под лед ушло... Немало и людей в продушинах утонуло, потому под водой они, — не видно, куда идешь...

Три дня стоял на острове царь. Холодов ждал, дороги исправной. Так и не дождался.

Послал он тогда на казанцев воеводу своего главного, князя Дмитрия Федоровича Бельского.

— Ты сойдишь с Шиг-Алеем в устье Цивильска, князь! — сказал Иоанн. — А я домой поверну... Не сподобил, видно, меня Бог, за грехи мои за все, на неверных ополчиться!..

И расплакался даже горько полубольной, ослабленный недавними страхами царь Иван.

Хоть удачен был поход Бельского, много добра добыл и пленных татар привел он в Москву, и щедро наградил воеводу царь, а все невесел сидел Иоанн на всех пирах своих, пышных и торжественных, правда, но уж не таких бесшабашных, как прежде. Очистился дворец, как очищена была душа юноши. Ни скоморохов, ни шутов безобразных не видно. Только Семушка Клыч, бахарь один любимый, оставлен, причитальщик и сказочник, нечто вроде старых баянов. Почти ежедневно на сон грядущий сказания, былины и сказки Семушка царю рассказывает. А в общем, дворец на обитель священную стал похож. Посты строго соблюдаются. Службы ежедневно во дворце церковные. К празднику, в престольные дни по монастырям кремлевским и по соборам ходит к литургии царь. Молодая царица тоже там бывает, являясь незримо для толпы переходами крытыми. Ни ее, ни митрополита не должен часто видеть народ посреди себя. Вместо похлебников, ласкателей развратных, ребят голоусых — на



государевом «верху» калеки да нищие, богомольцы царские завелись. Заботится о них Иван.

В прощенные дни на Масленой и в Страстную неделю тайные ночные выходы царские совершаются: милостыню царь раздает собственноручно, колодников, заточенных посещает и жалуется...

Строго исполняя религиозные все обряды, которыми, бывало, пренебрегал довольно часто, юный государь и в это дело внес присущую ему напряженную деятельность, нервную страстность. Он увлекся церковным пением... Привлекал в свою «стайку» церковную, певческую лучших певчих; искать повелел голоса «изрядные» по всему царству и до слез заслушивался согласных церковных напевов, стараясь, чтобы его певчие были лучше даже митрополичьих «стаек».

Но и этого всего было мало, конечно, для юноши, только и мечтавшего что о славе, о величии царском.

И он старался особенно настойчиво выписывать иноземных мастеров, литейщиков, зодчих... Лил пушки, ковал оружие... Строил храмы новые... И порой, придя поглядеть на новое «дело» осадное, вылитое искусником-пушкарем, по имени Первой-Кузьмин, изучившим дело от фрязина, — царь не только любовался пушкой, но ласкал, гладил, словно живое существо, трехсот—четырехсотпудовые стволы и сам «крестил», давал им имена.

— Вот этот — на татар пойдет на упрямых. Он переупрямит их и пусть наречется «Онагр», сиречь осел дивий, што и бритых ослов превзошел. А эту, ростом подлиннее, — пошлем ливонские стены бить — и буде прозвана «Ерихонка».

Укрощенные бояре во всем безропотно помогают царю, подчиняясь особенно влиянию Макария, твердящего вельможам:

— Бог чудо явил! Просветил душу отрока. Бросьте свару! Не повертайте царя на старое!

Сильвестр, сменивший Бармина в качестве государева духовника, неустанно влиял на Ивана, призывая себе на помощь имя Божье, заветы Христа и писания церкви, все, что говорит о чистоте души, о добродетелях человеческих.

Федор Бармин видел смерть Глинского, видел, как старика на части растерзали в самом храме, у митрополичьего места, где несчастный искал спасения от разъ-

яренной черни. И на другой же день протопоп захворал от потрясения, пережитого в эти минуты. Душа и тело честолюбивого священника надломились. Но он был пришиблен окончательно, когда Макарий призвал его и объявил о назначении Сильвестра духовником царским

Шатаясь, вышел протопоп от Макария.

Через немного дней после того, 6 января 1548 года Бармин принял пострижение в Чудовом монастыре, но не с целью проложить себе дорогу в митрополичьи палаты, как раньше мечтал.

Каясь со слезами перед духовником своим, Бармин твердил:

— Грешен я!.. В крови неповинной грешен. Глинский Юрий и присные его по моему навету погублены... Грешен, окаянный, без меры!.. Только и надежды, что схиму приму, умолю Бога... А то ни ночь, ни день покою нет. Как наяву вижу все гибель безвинных, по моему слову их постигшую... В келью затворюсь, стану грехи отмаливать!

Так и сделал Бармин.

Сильвестр, ставший на его место, ревниво хранил душу царя.

Адашев, хотя и без всяких отличек, без величания но фактически стал верховным правителем и оберегал царство, как умел. А ему от природы присуща была способность к правлению.

Произвол, лихоимство боярское прежнее, волокита судебная — все это было стеснено городовыми, монастырскими и сельскими вольными грамотами, дававшими народу возможность вводить у себя нечто вроде теперешнего самоуправления посредством выборных, губных и земских старост, сотских, десятских и прочее.

Казна царская, которую уж теперь не грабили так открыто, дерзко и безнаказанно, — богатела. Скоплялись средства и на внутренний обиход, и на предстоящие большие походы, о которых толковал, которые жарко обсуждал Иван с Адашевым, Курлятевым и с лучшими воеводами своими.

Народ тоже успокаиваться стал. Опустелые от голода, мора и произвола наместников деревни и села опять заселялись понемногу.

Вольнолюбивы селяне московские. Плохо им на одном месте — они на другое идут, лучших господ, нового счастья ищут.

Придут осенние сроки переходов, о Филипповом заговении, на осеннего Юрия, около 26 ноября, — и потянутся «переходчики» с одного тягла на другое, а то на «черную» землю государеву садятся. Все-таки легче. Не сгоняют, по крайности, там с пашни, не дав осени и семян собрать, как делают злые вотчинники-помещики.

Правда, из тяглой общины, которая сидит на земле монастырской или государевой, свободного «выходу» нет. «Откупаться» надо. Так ведь бежать можно. Пути никому не заказаны.

И вся эта «бродячая Русь» оседала прочней и, словно ил плодотворный в реке, отстаиваться начала.

Потому, конечно, и реже недороды, меньше голодовок стало. И мор не так часто жаловал...

Легче вздохнула земля...

Народ сытей — и торг живей. Богатей быстро стала и сама Москва, сразу, как птица индийская Феникс, в два месяца возрожденная из пепла.

Много разного люду в Москве, а больше всего — торгового.

Да и кто не торгует в ней?

И мелкий служилый человек: стрелец, пушкарь, подьячий, посадский... И дворяне в торговые люди записывались, «гостями» объявляли себя.

Недаром Москва выросла и стоит на великом междудуземельном шляху, на пути из «Варяг в Греки» и дальше, на Восток, богатый и миррой, и золотом, и шелковыми тканями, и тайнами древних волхвов.

Пахотные интересы земледельческих по натуре славянских племен, из которых сложилось государство, — здесь, в узловом историческом поселке, на Москве, счастливо связались с торговыми интересами — и создалось царство Московское, а потом — и вся Русь!..

Понимал это Макарий, внушил Адашеву... Тот — передал Ивану, осветив сознательным огнем инстинкты «собирателя земли», переданные царю его предками.

Но семнадцать лет розни между царем и землей, во время безначалия, во дни правления боярского — положили на все царенье Ивана свою резкую, недобрую печать.

Царь не знал земли хорошо, земля царя не знала, или, вернее, знала с дурной стороны.

А это не нравилось людям, принявшим власть. Не желали они этого, находили вредным для царя, опас-

ным для себя, особенно ввиду предстоявших тяжелых войн с татарами, с Ливонией, с Литвой, срок перемирия с которой скоро истекал.

«Што скажут люди: «Пришли поп с суражанином, новгородцем, царя заплонили, нашу кровь льют, наши гроши изводят!..» Сами крестьяне не подумают — бояре их научат прижатые!» — так думал Сильвестр, так полагал и Адашев, когда Макарий навел их на известные мысли. И решили они поставить царя лицом к лицу со всею Русской землей.

Решили, столковались, Ивана уговорили; при помощи того же владыки-митрополита, хотя тот и крылся в тени, — и все сделали по мысли Макария, как внушил он незаметно.

### *Год 7085-й (1550)*

Раннее воскресное летнее утро. В теплом воздухе так и висит звон колокольный над возрожденным Кремлем Белокаменным.

Жаркий солнечный луч золотой горит на свежезолоченных крестах да на маковках высоких соборов и церквей, уцелевших от последнего пожара или заново в два года слишком отстроенных.

Площади кремлевские полны народом. Берега Москвы-реки и Неглинки, что широкой дугой огибает весь Детинец, — тоже усеяны толпами людей. Сверху если взглянуть, от народу черно верст на десять вокруг Кремля.

Пешие, конные, в колымагах, в каптанках-возках, по воде, в лодках, на паромах — все новые и новые волны народа текут сюда со всех концов, со всех посадов, из всех деревень и сел окрестных, из ближайших и дальних городов.

Подъезжают и подходят запоздалые. А уж раньше их — десятки, сотни тысяч народу сошлись в Москву к этому дню и съехались отовсюду. Кто у дружков да на подворьях монастырских или у дворников торговых, на постоянных дворах места себе не нашел, те станом стоят и в рощах пригородных окрестных и на зеленеющих пустырях городских, раскинутых без счета между отдельными посадками и «концами» участками городскими.

Много здесь тех людей, что по указу государеву спешили на Москву, на земский великий собор, еще на Руси доселе не виданный. Изо всех городов, из посадов больших — выборные от сословий, по воле царя, сюда собрались.

Но большинство — по своей воле пришло, чтобы хоть издали поглядеть и от других скорей услыхать: что молодой царь, Иван Васильевич, будет говорить земле, чего ждет от нее, что сам ей сулит и обещает?..

Весело, радостно перекликаются своими медными грудями все московские колокола... Но даже их переливчатый, громкий перезвон заглушаем бывает порой говором, гомоном и гулом всенародным, плеском все-ленской волны.

Особенно тесны сплошные ряды человеческих тел в Китай-городе перед Фроловскими, поздней Спасскими воротами, по правую руку от которых стоит небольшая церковка на Рву, «На крови казненных» названная, так как через дорогу, наискосок от церкви, красуется невысокий, подковообразный помост — Лобное место. Здесь ручьями лилась кровь при деде, при отце Ивана. Потоками хлестала в его детские и отроческие годы. Реками хлынет, закипит потом, в зрелый возраст, когда придадут к имени «царь Иван Васильевич» прозвище Грозный царь...

Но теперь, вот уже третий год, и не видно здесь забавного для черни зрелища... Не обагрят пурпурная струя белый снег зимний, не прибывает она летом пыль летучую... Не хрустят кости на дыбе, не свищут ремни батогов и плетей-тройчаток с проволокой медной на концах... Только торговый гомон и клик всегда носится. Ржание коней долетает от недалекого рынка конного, где тысячи голов из крымских и ногайских степей сгоняются для продажи, для тавренья, служащего знаком, что за коня государева пошлина плачена. Велика Лобная площадь. Не красуется еще на ней дивный, сказочно причудливый храм Василия Блаженного, созданный только после славного казанского взятия. Пол-Кремля можно установить на площади, и еще места останется. А сейчас тесно на ней... Стоит «материком» толпа... Все — ни взад, ни вперед, ни в какую сторону не может колыхнуться, ни шелохнуться... Гром с неба ударь, татары попади сейчас — не побежит никто прочь, потому некуда!

Вот они, «тьмы тьм», о которых пели жены израильские, встречая Давида. Только чудом можно бы заставить это могучее плотное тело, в какое сипелись тысячи людей, раздаться, сжаться, отступить хоть на пядь на единую, образовать просвет в народных рядах...

И чудо совершилось!

От самого дворца царского до Лобного места на мостовой, поверх толстых бревен, из которых эта мостовая настлана, — доски толстые, байдашные, барочные, набиты. Образуют эти доски дорожку, по которой царь пойти должен.

Вдоль всей дорожки, в два ряда, почти плечо к плечу — стража поставлена в самых лучших уборах и нарядах воинских, с пищалями, с алебардами и секирами длинными.

Но народ стражи не побоялся, сбил ее с места, прижал один ряд к другому и знать ничего не хочет!

Смирно стоит стража, уж и не обороняется от натиска, как не может бороться с порывом ветра паутинка осенняя, легкая, что бабьим летом всякий день по воздуху носится.

Но вдруг в Кремле, за стеной, крики слышались, растут, растут, громом катятся, покрывают весь гул толпы несметной, на Лобной площади стоящей. Через стены Кремля восторженный крик переплеснул, перекинулся... Здесь его сотни тысяч грудей подхватили, небо дрогнуло, колокола, устыдившись, замолчали...

А кругом, далеко кругом, так и рокошет, и гремит без конца.

— Да живет наш царь Иван Васильевич! Слава ему!..

И чудо совершилось!..

Перед головным отрядом царского поезда, выходившего из Фроловских ворот, расступились скопившиеся массы тел людских.

Стража вдоль дощатого пути свободно вздохнула, по-прежнему в два ряда стала... И по настилке прошел весь поезд до самого Лобного места.

Но не даром обошлось это чудо толпе.

Вопли, крики в ней слышались, особенно из задних рядов. Все больше женские голоса, детские вопли. Конечно, бабы всегда любопытством отличаются. И нельзя бы им, а они тут как тут. И с детьми, если не

на кого малышей дома оставить. И немало жен, стариков слабых, даже сильных мужиков здесь в этот миг было подавлено.

Так и остались они, стоя в толпе, раздавленные, недвижные, бездыханные, и стояли до конца. Живые соседи не могли их вынести прочь, ни сами с места двигаться.

Больше тысячи человек на площади и в переулках бездыханными подняли, когда понемногу потом толпы разошлись. Но это — потом было.

А теперь — юный царь стоит на площади, окружен всей блестящей дружиной своей, ближними князьями, боярами и опальниками прощенными, всеми маститыми, степенными думцами, священством, дьяками, писцами — сынами поповскими и дворянами, боярскими детьми... Митрополит-владыка, поэт-художник Макарий, рядом с царем, в облачении святительском, почти не уступающем в блеске царской ризе парчовой и бармам тяжелым, украшенным камнями, образами золочеными, финифтяными.

Только в шапках у них и разница.

Клобук белый на Макарии.

Сияющий царский, прадедовский венец на Иване.

А очи у обоих — у старика и юноши — сейчас одинаково почти чистым, хорошим, святым огнем горят... огнем святой радости, огнем восторга душевного.

Сильвестр, духовник царя, Адашев, друг его, в первых рядах стоят, глаз с царя не сводят.

И царь часто оглядывается на них, пока бирючи кричат, приставы хлопочут: народ к молчанью, к порядку призывают.

И второе чудо совершилось. Тихо стало на площади.

Так тихо, что слышно каждое слово, слетающее с губ царя... Слышен и гул далеких масс народных, куда не дошло еще слово государево:

— Тихо стоять и молчать! Слушать речи царские!..

Говорит Иван... Не совсем внятно сперва... Волнуется очень... Правда, много лет он в уме каждое слово такой всенародной речи обдумывал... И теперь много раз, составляя ее, записывал, переписывал вновь, как «Отче наш» учил... А волнуется... Русь перед ним стоит и слушает... Чутко внемлет земля слову царскому.

Попы, с крестами стоящие, совершили молебен.

Поклонился царь митрополиту и заговорил:

— Отче господине, внемли чаду своему духовному Молю тебя, святой владыко! Будь мне помощник и любви поборник. Знаю аз, что ты добрых дел и любви желатель! И ты знаешь сам и ведаешь, что я после отца своего остался четырех лет, осьми годов — после матери. Родственники мои небрегли о мне, а сильные бояре и вельможи обо мне не радели, самовластны были. Сами себе саны и почести похищали моим именем, во многих корыстях, хищениях и обидах упражнялись. Аз же — яко глух и не слышах, и не имый во устах своих обличения, по молодости своей и по беспомощности! А они властвовали!

О, неправедные лихоимцы, и хищники, и судьи неправедные!.. Со мною вместе и земля вся от злобы вашей страдала!..

Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигли на себя?! Колико крови благородной и всяческой от вас проливалось?! Я же чист от крови сей. Вы, злобники и прельстители лукавые, от Господа Бога ожидайте воздаяние свое...

Толпа, ближние ряды ее, сначала с любопытством только слушавшие, стали уже волноваться, проникаясь огнем речи царской.

Иоанн продолжал:

— Думал я прежде мстить вам опалами и казнями. Теперь, егда смягчил, просветил Всесильный душу мою, егда сломил Царь Царей земную, тщетную гордыню мою, — хочу, по завету Христову, простить и сим врагам моим, о чем и повещаю в сей миг всенародно, торжественно...

Но и самым прощением моим — вины ваши всенародно сугубо обличаются!..

Не могши ранее, теперь, на двадцатом году возраста моего царского, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправд бояр, наместников, ставленников моих, умыслил аз, грешный, по долгу своему государскому, всех в согласие и любовь привести, с совету отца владыки, бояр, князей верных и с помощью угодников святых московских и иных...

По совету твоему, отче господине, — постановили мы собрать свое государство, наследие отцовское: ото всех городов всякого чина и звания людей для оповещения и совета всенародного, земского...



Остановился тут царь. Поклонился снова митрополиту. На все четыре стороны отдал народу поклон и снова заговорил, теперь уже громким, звучным, уверенным голосом, далеко разносившимся над несметной толпой:

— Люди Божьи и нашему царскому величеству Господом Богом дарованные! Молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Теперь нам былых всех ваших обид, разорений и налогов лихвенных исправить не можно. Случились они, все обиды ваши — по причине долгого несовершеннолетия моего, пустоты ребяческой и беспомощности. Один стоял среди стаи сильных разорителей государских!.. И потерпели вы по причине неправд, содеянных от бояр моих и властей моим именем, буйствовавших... по причине безрассудства несправедного, лихоимства и сребролюбия...

Напряжение народное дошло до высшей степени. Свершилось нечто небывалое не только на Руси — в целом мире, от сотворения его!

Те речи скорбные, которые по углам, в опочивальнях, по хатам, на полотах знатные и простые люди шептали, те слова, за которые в застенки брали, языки-голова резали или здесь, на Лобном месте, четвертовали, — и вдруг эти же самые речи и слова с этого самого Лобного места произносятся вслух, всенародно, торжественно... самим царем. Не выдержала душа народная наплыва чувств смятенных, бурных, где скорбь и восторг дивно перемешались и подымали к небу... уносили с грешной, печальной земли, юдоли плача и произвола насильников...

Не вынесла душа всенародная!

Рыдания, сдержанные, могучие, как рыдания моря в грозу, всколыхнули тысячи грудей народных... Словно земля вся, самые недра ее рыдать захотели и глухо вздымались, порывисто, — и рыдания те сдерживали в бездонной своей глубине...

А царь, весь потрясенный, с лицом, влажным от слез, продолжал:

— Люди Божьи и мои дети любезные! Молю вас! Оставьте, по Завету, простите друг другу вражды и тягости всякие, кроме разве очень великих покоров, очень больших дел и убыточных. В этих делах и в новых всех я сам буду вам, сколь оно возможно, судья и оборона. Буду неправды разорять всякие и похищенное

насильниками, кто бы они ни были, отбирать и возвращать. Да поможет нам Бог по той правде, какую нынче мы сказали вам!

Снова поклонился и при рыданиях, криках и реве народном вернулся со всеми своими во дворец.

А там, назначая Адашева окольным боярином своим, несмотря на худородство этого любимца, Иван строго, внушительно произнес, чтобы все окружающие слышали и запомнили:

— Алексие! Взял я тебя из низших и самых незначащих людей!.. Слышал я о твоих добрых делах, в них осведомился — и теперь тебя милостью царской своей взыскал выше меры твоей, не тебя ради, но ради спасения и для помощи душе моей, во гресех тонувшей.

Хотя твоего желания и нет на это, но аз тебя пожелал. И не одного тебя, но и других таких же, кто б печаль мою облегчил, жажду правды истинной, жгучую жажду мою утолил и на людей, врученных мне Богом, призрел бы без прельстительства лукава.

Тебе поручаю днесь принимать челобитные от бедных, от избитых и разбирать их со тщанием. Не бойся сильных и славных, каковые не по заслугам своим, но похитили почести и губят насилем своим бедных и сирых и немощных. Не смотри и на ложные слезы бедного, когда на богатых клеветает корысти ради и ложными слезами оправить себя ищет. Но все рассматривай внимательно и переноси к нам истину одну, боясь не гнева земных владык, но единого суда Божия!..

А в помощь свою избери судей правдивых от бояр и вельмож, кого сам пожелаешь.

Таким образом, Адашев явился посредником между народом и верховным владыкой земли.

Он же был и решитель всей внешней тогдашней московской политики, принимал и отправлял послов, конечно, тоже с помощью митрополита, хотя и негласною. Впрочем, литовские послы прямо бывали на советах и совещаниях у Макария. Макарий же писал грамоты к ливонским «бискупам» и орденским командирам.

Другая речь Ивана прозвучала в том же 1550 году на соборе церковном Стоглавом, и вот ее слова:

— Отче митрополите и вси святые отцы!

Нельзя не описать, ни языком человеческим выра-

зить всего того, что совершил я злого по грехам юности моей. Допрежде всего явно смирял меня Господь Бог! Отнял у меня безвременно отца моего, а у вас пастыря и заступника. Бояре и вельможи, изъясняя вид, что мне доброхотствуют, а на самом деле — доискиваясь самовластия, в помрачении ума своего дерзнули поднять руку на род царский, схватили и умертвили братьев родных отца моего, чтобы владеть мной, малолетним и беспомощным. Мало того, извели они же и мать мою, последнюю опору младенчества моего. По смерти матери моей бояре самовластно завладели царством. По моим грехам, сиротству и молодости, по злобе боярской много людей сгинуло в междоусобной брани, а я возрастал в небрежении, без наставлений... Навык и ам злокозненным обычаям боярским. И с того времени до сих пор сколько я согрешил пред Богом и сколько казней наслал на нас и на царство все Господь, то Он, Единый, знает!.. Мы не раз покушались отомстить боярам, врагам своим, но все безуспешно! И не понимал я, что Господь и от них наказывал меня великими казнями... А не сами бояре, волей своей! И не покаялся аз, но сам еще угнетал бедных христиан всяческим насилием и буйством.

Господь карал меня за грехи то потопом, то голодом, то мором, то видениями грозными... И все я не каюсь!.. Наконец, Бог послал великие пожары. И вошел страх в душу мою и трепет в кости мои!.. Смирился дух мой... Умилился я и познал свои согрешения... Выпросил прощение у духовенства, у земли у всей... Дал прощение князьям и боярам. Теперь вас прошу докончить устройство царства и земли... Дать порядок душам православным, пастве Христовой!..

Вот чем отмечен был 1550 год от Рождества Христова, двенадцатый год царствования Иоанна IV.

*Год 7060 (1552), 20 апреля — 2 октября*

Веселый, светлый весенний день сверкает лучами надо всей Москвой, над Кремлем, над двором государевым и над окрестными посадами.

Темные стены старинных церквей блестят под лучами, словно улыбкой озарены. Купола на солнце жаром горят. Но в новом дворце белокаменном государевом и

в теремах государыни-княгини тоска и тревога царит, омрачая весеннее, светлое настроение души.

Дурные вести от Казани пришли. Татары, агаряне неверные, совсем уж было присмирели, по-соседски, по-хорошему с Москвою жить стали, а теперь — опять замутились. Шиг-Алея, царя, Москвою татарам данного, из юрта выжили, другого себе ищут, из Ногайской орды зовут.

Этот новый казанский хан, сын царя астраханского Кассая Эдигер, или Эддин-Гирей-Магома-Хозрой, человек Москве знакомый. Одно время он у молодого царя Ивана при дворе проживал, к русским порядкам приглядывался. Даже года два тому назад Казань воевать с русскими полками ходил. Может быть, дума про трон казанский и тогда уж зрела у него? На лакомый кусок этот редкий из татарских царьков не зарился.

Совсем-то Казань в руках у Москвы была, да ужом-змеей выскользнула. А тут и Эдигер скользким угрем, мимо русских сторожевых отрядов и станиц, за Каму переправился, в Казань вошел, затворился, решил с Москвой воевать, старой вольности добыть царству Казанскому...

Да, совсем уж Казань было Москве в руки шла... И случай все испортил.

Шиг-Алей посидел там недолго на троне. Безвольный, но хитрый, сладострастный и бесстыдный, он был ненавидим своими подданными, князьями, узбеками, муллами... Словом, всеми... И держался на троне только при помощи сильного отряда стрельцов, данных ему от Москвы. Как раз такой это был царь казанский, какого могли только желать русские. Все он делал по воле Москвы. Смута росла и крепла в царстве. Лучшие, сильнейшие люди в ту же соседнюю Москву бежали. Здесь их принимали ласково, городами дарили и держали про запас, чтобы и на Шиг-Алея было кого выпустить, если тот зазнается... А с уходом лучших, сильнейших беков и узденей все больше и больше слабел грозный когда-то юрт агарянский, Казань нечестивая. От деда и отца принял один завет Иван и, с помощью старых советников, умел выполнять этот завет отцовский и дедовский: смуту сеять в Казани, пока не пробьет час, чтобы совсем порушить царство, присоединить к шапке Мономаха и зубчатую корону казанскую... А время это словно бы и пришло.

Почти без бою можно было взять Казань на веки вечные, да случай помешал.

Дело так было попервоначалу сложилось, что лучше и желать нельзя...

Всю эту зиму князья казанские в Москву наезжали, на ставленного царя, на Шиг-Алея жалобились...

Седой важный старик с зеленой чалмой на бритой голове Мурза-Алей, ходжа и князь казанский, и Костров-бек, и Алемердин-мурза, и много других с боярами и дьяками царскими долго толковали.

— Плохо нам жить стало от царя Шиг-Алея! — толкуют все они. — Уж и что он ни творит у нас в юрте — сказать нельзя! Нас убивает и грабит добро наше... Сколько мурз и беков побито — не счесть.. Все ради ихнего добра. Хозяина убьет, дом разорит! Пусть лучше государь, великий князь, уберет его... Нам какого ни на есть наместника даст... Все лучше будет. А если сам не захочет Шиг-Алей уйти — пусть только государь прикажет своим стрельцам на Москву вернуться. Наш хан без них часу в Казани не побудет, бегом вон побежит. А мы станем с Москвой по правде жить... Вон у государя больше трехсот человек наших уланов, и мурзы, и князья есть... Пускай одного наместником нам посадит... И будем дружить с Москвой... И ясак дадим, и все порядки заведем, как государь велит... Только бы зверя-хана Шиг-Алея убрал!..

— Ведь вот недавно, что только сделал этот изверг! — говорит старик Мурза-Алей и сам дрожит весь, седая борода трясется, на мутных глазах слезы выкатились.

Догадались бояре, про что поминает старик. Давно у них вести из Казани были о последнем злодействе Шиг-Алея, но не моргнув глазом дьяк Клобуков, который принимал гостей, спрашивает:

— А что случилось? Скажи, почтенный князь!

— Слушай... Скажу... скажу... Так вот проклятый хан закон нарушил, так нарушил, что не простит душе его милосердный Аллах... Гости он позвал... Понимаешь, гостей на пир позвал... Гость — святое дело! Что у вас, московов, то и у нас... Еще больше у нас! Гость — милость Аллаха... А Шиг-Алей всех тех позвал, у кого близкого роду нет, а добра много... Или кто когда-нибудь про него, про хана, слово дурное сказал. А как не сказать? И про бога милосердного, про

Аллу, люди недовольное слово порой говорят... Так про злого хана — и вот как ругань идет... И созвал Шиг-Алей... Много... Почти восемьдесят князей, и беки, и мурзы, и уланы знатные... И под конец пира, когда упились те, всех зарезать, как баранов, велел!.. Всех... И мой там сын погиб!.. Кровью весь дворец был залит... На двор кровь пролилась, словно кровавый дождь прошел... А зверь глядел и кричал: «Так всем моим изменникам будет!..» И потом все добро убитых себе забрал!.. Не можем мы его больше терпеть. Если нет нашей силы — лучше вам, урусам, юрт сдадим, но его не желаем!.. Вот Аллах свидетель! — клятвенно поднял исхудалую, дрожащую руку старик.

И все тут же бывшие князья тоже подхватили клятву:

— Аллах свидетель!..

И верят на Москве, и не верят. Может быть, и правда, так уж все люди казанские затравлены, так измучены смутами, которые Москва же в Казани посеяла, что готовы даже на подчинение своей соседке, лишь бы мирно пожить?..

А на всякий случай Иван все-таки дал знать в Казань Шиг-Алею, что против него затевается... Если и прогонят его казанцы, все-таки он другом Москве останется, вечным пугалом для юрта мусульманского, потому что все права на трон казанский имеет этот толстый, развратный, жестокий татарин... И в то же время знает он, что без Москвы прав этих ему не осуществить никогда!..

Сам Алексей Адашев с князем Димитрием Палечким и с большой приличной свитой поехали к царю. А тут же вторым, негласным посольством, чтобы левая рука не знала подвигов правой, ко всей земле Казанской, к ее бекам и мурзам, снарядилось и второе посольство ото всех живущих на Москве князей татарских. Послы повестили казанцев, о чем говорили князья государю, и склоняли народ поскорей Шиг-Алея свергнуть...

Все это тотчас же стало известно толстому, ленивому на вид, но лукавому царю Шиг-Алею. Задумался он.

А Алексей Адашев мягко так советует:

— Сам видишь, светлый хан, плохи наши дела. Не удержаться тебе. Лукавы твои подданные. Сами к Мос-

кве просятся... Право, не удержаться тебе! Вспомни, как они Яналея, брата твоего, ухлопали. Так уйди по-добру-поздорову. И нам помощи: все караулы и башни, ворота, входы и выходы в городе нам сдай. И скажи: «Ото всего, мол, отступаюсь! Русским вас, крамольники, отдаю!..» И поезжай, по-старому, в свой Касимов-городок, там царствуй. А государь великий князь тебя много пожалует за то: и городами, и казной своей богатой!

Задумался Шиг-Алей. Быстро в голове у лукавого татарина разные мысли проносятся.

«Сдам, — думает, — им Казань, так мне и сюда возврата нет, и на Москве всю цену потеряю. А так, если в борьбе царство им достанется, — мое дело стороны. Да и я еще на что-нибудь пригожусь гяурам...»

И, пощипывая несколько редких волосков, заменяющих бороду на его оплывшем, женообразном лице, Шиг-Алей тягуче, медленно заговорил, плохо составляя русские обороты:

— Э-эх, Алеш! Хорош ты башка, а понимать плоха мне можишь. Нилзя свой вера гяурам дават, хошь и кунак я с вам... Не можно мне мусульменский юрт рушить... Сами придете — бироте, харашо... А я ни магу!

— Што ж, значит, воевать будешь? И с нами, и со своими князьями да беками мятежными?

— И-и, нет! Храни мне Алла!.. Чиво война? Нечим мне война делать... Зарезит мне будут! Нилзя мне тут жить. В ваш Новый городок, на Свиягу уйду! А тут пускай как хочут... А, толки, сам я мусульменский юрт ни магу гяурам... Пусть сам как хочут себе...

Уперся на одном лукавый царь. Ни лаской, ни угрозой ничего не мог поделаться Адашев. Так и ушли они с Палецким...

Но перед самым отъездом князь Димитрий еще закинул слово Шиг-Алею:

— Уезжаем, царь. Плохо тебе будет без нас. Все одно бежать надо. Сдай же нам город. Укрепи Казань за Москвой. Зла ты не видал от нее.

— Не видал, твоя правда! — криво усмехаясь, ответил хан. — Так и я ведь по правде служил вам, хоть и чужие вы мне по вере... хлеб-соль вашу помня, старался... А только не хочу сам на свою веру стать. Знаю, вижу, некуда мне ехать, кроме государя Ивана Мос-

ковского. Так поклянись мне за твоего государя, что не убьет он меня...

— Что ты, царь? Да за что?!

— За то!.. Уж донесли князю вашему, что я не всех гяуров, ваших пленных московов освободил... А как их из лап у князей моих вырвать, когда те готовы и мне самому аркан на шею накинуть?! И то я ваших шестьдесят тысяч голов на волю пустил. Какая сила!.. Ц-ц-ц... Сколько лет их в Казань волокли! А я домой вам их пустил. Сколько с них государь твой ясаку наживет? Вот пусть же он за то к Хан-Кирману, к Касимову-городку моему, где сижу я обычно, придаст что может, что мне подобает... Так я здесь всех, кто к Москве не тянет, всех ворогов ваших изведу! Наряд крепостной: пушки, пищали, самопалы — все перепорчу, зелье-порох подмочу... Государь придет, голыми руками всех перехватает. И противиться ему никто не станет! А сам никак юрта сдать не могу. Проклянут меня муллы. Подошлют кого — и горло перехватят, или ядом мой же бабы изведут. Строго у нас, у мусульман, на счет веры!

— Ну, ин так пусть будет! — согласился князь, видя, что Адашев, который нарочно держался словно в тени, позади своего знатного сотоварища, доволен и не противоречит.

Достал князь крест тельной и дал требуемую ханом клятву.

И уехали они назад на Москву передать все Ивану, что от хана слышали. А в Казани остались только по-прежнему стрельцы московские, пищальники, в виде обороны хану, под начальством Ивана Черемисинова, сына боярского.

Немного спустя, 6 марта, царь Шиг-Алей и привел в исполнение свой план.

Всегда в эту пору на охоту и на рыбную ловлю хан выезжал в сопровождении блестящей свиты.

И теперь всех своих друзей и заведомых недругов пригласил лукавый азиат. Человек около ста знати татарской собралось из тех, кто в Казани проживал.

Стрельцы московские, охрана царя казанского от его же народа, так человек пятьсот, с пищальями, в полном боевом наряде, как всегда, за царем едут.

Мурзы и князья толпами, кучками, в пестром беспорядке, по дороге растянулись, рассыпались.



Вот и на место пришли. Станом над озером стали. Пора к делу приступить. Но что за чудо?..

Стрельцы стали какие-то движения делать, словно все место, где стан расположился, кольцом окружить хотят. Кто из беков и князей постарше, подогадливей — сразу вскочил на коня и прочь поскакал. Но большинство уж принялись за пиршество, которым всегда сопровождалась эта поездка. И не заметили, как были все окружены, переловлены, перевязаны. Появился и Шиг-Алей перед ними, трепещущими, бледными.

— Что же? Зарезать нас хочешь, как других? Режь скорей, кровопийца! — крикнул кто-то голосом, полным ненависти и отчаяния.

— Резать? Зачем резать? Вы все такие верные слуги мне! Правда, вы за чужим царем, за нагайцем посылали, убить, отравить меня собирались... жену мою на это подбивали. Предавали меня князю московскому... Просили, чтобы убрал он меня от вас. Вот я и еду на Москву. Только и вас с собой беру. Не поцарюете вы в Казани без меня!.. Предатели!

И, плюнув ближайшему, Ислам-беку, прямо в бороду, он от сдержанной ярости пнул связанного князя концом своего остроконечного сапога.

— Предатель — ты!.. — сквозь зубы прохрипел поруганный старик.

— Предатель! — как эхо отозвались Кебяк-князь и Аликей-Чурин-мурза, родичи Ислама, люди знатные, известные на Москве и потому не потерявшие даже в такую тяжелую минуту.

Эти князья сообразили, что, если еще живы они, значит, Москва посоветовала и внушила хану поудержаться, крови напрасно не лить.

И они не ошиблись.

Поневоле сдержав свою холодную, непримиримую ярость, всех их Шиг-Алей с собою в Свияжск-городок привел, как ему Адашев раньше советовал.

В Свияжске пленники, все восемьдесят четыре человека, сейчас же были на волю отпущены.

Оно и понятно! Ведь эти же самые беки и посылали в Москву, призывая ее себе на помощь. И государю московскому беречь друзей, а не казнить их надо.

Самые лучшие, дружеские отношения быстро установились между русскими воеводами, стоявшими на Свияге, и новыми подданными великого князя, мурзами и

беками, приведенными Шиг-Алеем. Все они искренно желали ввести в городе власть Москвы. Только трое, которых недавно и слишком жестоко оскорбил ренегат Шиг-Алей, только Ислам-бек, Кебяк-князь и Аликей-Чурин-мурза, не мирились с тем, что хан предал юрт казанский.

Шиг-Алей, чуявший затаенную вражду трех беков, предупреждал русских бояр. Но все остальные князья вступились за собратьев:

— Не надо их ковать! Не надо на Москву посылать! Мы все за князей этих порука. Вместе вам Казань сдадим, ваших воевод посадим. Сами народу скажем, что надо Москве присягать, дань давать, полки для нее собирать!..

И немедленно завязали князья переговоры с казанцами, советуя им без боя сдаться на милость московского государя.

И воины, и простой народ казанский, видя, что лучшие люди перешли к Москве и заверяют их словом и делом, что так надо, согласились впустить в город и в крепость русский отряд, признать воевод русских и наместника в Казани, князя Семена Ивановича Микулинского.

У Волги встретили свияжских воевод послы казанские с князем Шамсеем и с царевичем Хан-Кильдеем во главе. И друг Москвы Бурнаш, и Чапкун — оба князя тут же были.

Появилась, наконец, Сююн-бека, царица казанская, жена Шиг-Алея. Русские должны в юрт вступить, а она в Свияжск, к мужу отправляется. Неохота ехать. Знает Шиг-Алей об ее сношениях с его врагами. Да поневоле везут царицу к мужу.

А боярин Иван Черемисинов, тот уж и в самую Казань, охраняемый двумя-тремя беками, пробрался, там присягу от жителей по мечетям принимает на служение государю великому князю московскому Ивану Васильевичу.

Кудай-Кула, улан знатный, улусник большой, и муллы с ним казанские, и простой народ — все навстречу боярам спешат. Покорность изъявляют, милостей и казны выпрашивают...

И на радостях такой минуты никто не заметил, как отделились ото всех три князя, жестоко ханом обиженные: Ислам, Кебяк и Аликей-Чурин-мурза.

Миновав сакли аула Бэж-Болда, где встреча вся столпилась, князья эти стегнули коней и вихрем помчались по знакомой дороге прямо в город, в крепость казанскую, минуя тесные, кривые, грязные переулки посадов городских.

Мчатся, пригнувшись к самой луке своих высоких восточных седел, а сами все назад оглядываются: не замечено ль их бегство? Нет ли погони?

Но дорога пуста за всадниками. Только веселые крики и гомон от места встречи московов с казанцами до ушей беглецов ветром доносятся.

Вот и ворота Мурзалеевы. Кто их сторожит? Московские люди или своя еще стража стоит? Остановят, пожалуй, если стрельцы тут, пропуск спросят...

Нет, слышен издалека князьям говор родной, гор-  
танный. Вон лук за спиной у стражника, стоящего на башне, вон убор головной татарский виднеется...

И, не умеряя ходу, вихрем влетели три князя под своды ворот с криком:

— Аллах милосердный! Спасайся, кто может! Запирайте ворота! Гяуры идут всех вырезать в Казани!

Высыпавшие из башни сторожа поверили своим князьям, сейчас же стали запираť тяжелые ворота, поднимать мосты надо рвом, причем заскрипели петли, задребезжали ржавые блоки и цепи.

И дальше, от ворот к воротам, рассыпавшись в три конца, понеслись заговорщики, уверяя татар, что гяуры все им лгали. Им бы только в крепость войти, городом овладеть! А государь московский приказал всех мусульман вырезать, добро, и землю, и дома ихние своим слугам раздать... И только для отвода глаз казанцам мир и милость царская обещаны...

Словно рой взбудораженных пчел, загудел, зашевелился целый город. Кто только мог, все брались за оружие. Ворота крепостные запирались накрепко. Кроме Ивана Черемисинова со свитой, мало кто из русских и выскочить успел...

И князья с ним ушли кто посмирнее, мурзы татарские, которым уж война и разгром этот вечный понадобились.

Навстречу торжественному шествию русских воинов дурные вести дошли...

Город потерял снова. Мятеж в Казани. Говорят,

будто сам Шиг-Алей проболтался о плане русских: вырезать всех татар.

Ни увещания, ни угрозы не помогли! Казань, все царство татарское, уже без бою в руки попавшее Москве, снова ускользнуло из них!

То, что можно было даром брать, теперь приходится кровью добывать.

Через месяц — новые вести из Казани: новый царь восседает в юрте казанском... Эдигер, Эддин-Гирей, царевич астраханский... А он умеет драться. Иван видел его в делах.

И вот весной, когда природа просыпалась, несла людям веселье и мир, в Москве собирались нанести последний удар строптивому царству казанскому, которое, словно бельмо на глазу, сотню лет торчало на крутом берегу Казанки-реки, у самой Волги, этого исконного торгового русского пути и на Юг, и на Восток далекий.

Вот отчего грусть, словно тень, омрачает всем лица во дворце великого князя и царя Ивана Боголюбивого, как его теперь народ и попы зовут за преданность церковным службам и молитве.

Кого — грусть, а кого и забота одолевает сейчас во дворце.

Война предстоит тяжелая, дело нешуточное! Да и не в урочное время задумал ее вести царь. Весною начинать хочет, когда всем пахать и сеять пора, а не в поход собираться.

Простым людям сеять и пахать, а боярам, людям богатым и знатым за челядью приглядывать, на круглый год запасы запасть.

Всегда раньше к осени или к поздней зиме подгонялись войны, когда у себя дома и делать нечего.

Правда, не совсем удачны бывали такие походы, особенно на Казань, куда не только надо много народу сбить, но приходится еще и запасов, снаряду, пушек наготовить, чтобы сильную осаду сразу повести.

Ну, да авось и вышло бы, сладилося бы дело без дальних снаряжений. Как отцы воевали, так и теперь можно.

Так нет! Словно учит кто царя молодого. Все он вины прошлые и промахи боярские повызнал, часто про них боярам и воеводам говорит, новых порядков требует. Когда сказали Ивану про новую измену казанскую, он словно даже доволен остался.

— Ну, ладно же! Теперь я с ними иначе поверну. Силы у них большой не осталось. Дела ихние мы знаем. Конец юрту казанскому! Не добром, так силом их возьмем.

Сказал, он потом задумался.

Так около месяца прошло.

Князья, мурзы татарские, какие только в руках у русских находились, все на замке теперь сидят. И не могут они в свой город никаких вестей ни про что передать.

А на Москве, видимо, к большому походу снаряжаются.

Апрельский, весенний, ясный день горит над Кремлем.

В Столовой палате у царя Ивана Васильевича совет большой созван, суд да ряда идет.

В большой горнице широкие лавки по стенам мягко устланы. Среди восседающих здесь московских бояр выделяются своим восточным нарядом и головными уборами на бритых головах два мусульманина: Юнус, царевич крымский, и астраханский царевич Каз-Булат-Тохматыш. Они с младшим братом Абдуллой братья по отцу того самого Эддин-Гирея, против которого поход замышляется на Казань.

От разных матерей все три брата-царевичи, и каждый питает надежду, если прогонят Эдигера, самому сесть на стол казанский, овладеть богатым юртом. Эту надежду еще поддерживают в Каз-Булате стольники его, бояре московские, приставленные столько же для почета к азиатам царевичам, сколько и для надзора за ними и для внушения тех именно мыслей, какие нужны Москве.

По виду полный почет и уважение и ласка окружают царевичей. И на пирах, и на советах великокняжеских — место их, ближе к царскому месту, сейчас за родным братом за Юрием, за двоюродным за Владимиром Андреевичем да за дядей царевым Глинским. Даже родичи царя по жене, Захарьины, с левой руки сидят, а царевичи неверные по правой усаживаются, да порой еще, по-своему, и с ногами на лавку заберутся, калачом ноги свернут и сидят. Недавно они на Русь припожаловали, особенно Каз-Булат. Обычаев русских не усвоили себе.

Все собрались уж и ждали выхода царского, когда Иван появился. Высокий, стройный, пополнил он очень с той поры, как женился... как прежние свои буйные дела позабыл.

Только и есть, что с особой страстью по церквям ходит молиться или на охоту выезжает.

Сел Иван на свое место. Адашев стоит за плечом у царя. Вдруг за дверьми, ведущими в царские покои, голос младшего брата Юрия послышался с обычной входной молитвой:

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас!

— Аминь! Входи, входи, Юра! Входи, брате-государе, — отозвался Иван и ласково поздоровался с вошедшим Юрием, юношей лет двадцати.

Болезненно-толстый, с одутловатым, бледным лицом, на котором слабо блестели водянисто-голубые глаза, Юрий сразу производил впечатление человека мягкого, но крайне недалекого, если не прямо придурковатого.

И действительно, усердно выполняя все, чего от него требовал брат и близкие люди, он сам никогда и ни в чем не проявлял своей собственной воли.

Иван по обычаю оказывал Юрию все внешние признаки уважения как своему единственному брату. Звал на пиры, на советы. Но на пирах Юрий только ел и пил жадно и громко хохотал на выходки шутов и скоморохов, вертевшихся тут же, между столами. Порой щипнет или ударит кого-нибудь из них и сам хохочет, заливаясь, слыша, как тот воеет от боли.

На советах Юрий сидел молча, громко, тяжело дышал, а то и просто сопел, особенно если попадал сюда после сытной трапезы. А иногда засыпал и так оставался до той минуты, пока его не будили и объявляли, что время идти в свои покои. Чаще же всего, получив обычное оповещение, «что государь великий и братец на совет его просит, милостью своей жалует», Юрий по наущению ближнего боярина отвечал:

— Благодарю на милости брата, государя моего великого. Недужен я нынче. Неспособно мне на совет идти.

И оставался он у себя, проводя время или в забавах со своими многочисленными шутами, дураками, карлами и учеными животными, или сидя с женой, княгиней Ульяною, здоровой, недалекой женщиной из не особенно сильного рода князей Палецких

Ульяна была довольна, что муж ее хотя умом и здоровьем не похвастает, да зато брат государя, великого князя московского... А чего не хватало ей в жизни, — простая, но лукавая, как все русские боярыни того времени, младшая княгиня московская умела находить так, что все оставалось шито да крыто. Пьянство и обжорство утешали Ульяну в ее скуке.

Сейчас Юрий явился на томительное дело, сидит на совете царском не по своей воле.

Конечно, заранее все, сюда пришедшие, знали, о чем будет речь. Недаром свояк, шурин царский, боярин Данила Романыч, брат царицы, в Свияжский Новый городок с большим отрядом послан, со служилыми людьми, с обозом, со снарядами разным воинским.

Войны с Казанью ждали и хотели все на Москве. Сильный это враг, что говорить! Да «по зубам калач», как говорили старики. Повозиться придется, но в победе нет сомненья.

Одно неприятно: упорно толкуют, что юный царь сам в поход собирается. Мало ему царской славы и выгоды, у воевод своих, у старейших бояр хочет славы и добычи отнять... А это многим не по сердцу. И вот на брата царева повлиять постарались, зная, как любит своего больного брата Юрия великий князь Иван.

Пришел Юрий, сел на свое место и слушает. Ему уж толковали, что и когда делать надо.

С молитвой приступая к делу, царь первый заговорил ко всем собравшимся на совет князьям, воеводам, боярам:

— На Господа Бога, Вседержителя неба и земли, полагаем все надежды свои. Брат-государь, Юрий, и Володимер, любезный братеник мой, и вы, гости дорогие наши, царевичи, и все бояре, воеводы и советники наши! Слушайте, что скажу вам! По совету отца нашего и молитвенника, митрополита Макария всея Руси, и по вашему слову давно порешено было воевать казанский супротивный юрт, царство агарянское. Сколько терпели мы от них — Бог ведает. На Него полагаюсь и на Пречистую Матерь Его, на Богородицу, и на великих чудотворцев московских. Господь-Человеколюбец ведает то, что тайна для людей. И ничего я теперь иного не помышляю: ни славы воинской, ни прибытков излишних казне моей государственной, но только требую по-

кою христианского. А может ли быть тот покой, пока стоит царство казанское? Никогда!..

— Никогда!.. Верно!.. — сразу отозвались голоса воевод и бояр помоложе, захваченных за живое первыми словами царя.

Только те, что постарше: Никита Ростовский, князь, Шуйские, Хованские, Бельские да Кубенские, кто из ихних тут был, — промолчали, ждут: что-то дальше будет?

Конечно, перенесли наушники царю, что о нем бояре толкуют потихоньку, вот он громко им ответ на это дает. Есть теперь учителя у царя, помимо бояр и князей старинных. Вон Алешка Адашев за спиной, словно мамлюк, стоит. Поп Сильвестр. Да и сам митрополит Макарий. Хоть и к сторонке он жметя, старый хитрец, а многие смекают, кто и попом Сильвестром и наперсником — Алешкой вертит. К чему только добираются они? Бог весть! Очевидно, к ослаблению боярскому, к умалению дружины и к прославлению князя московского. Гнут, чтобы действительно только двое было хозяев: великий князь да патриарх, святитель всея Руси...

Смекают это старые бояре и воеводы и слушают молча, чутко ждут, что дальше будет.

А юный Иван, словно конь горячий, почуявший удар шпоры, после сочувственного говора своих молодых сподвижников начал еще решительней, еще горячей:

— Прямые враги и злодеи Христа распятого — злые казанцы! Ни о чем не помыслят ином, только бы мучить православных рабов церкви Христовой. Ругаются над святым именем Божьим... Церкви оскверняют, иереев муками лютыми жизни лишают. И на всей окраине московской, которая к Казани глядит, нет ни часу покойного от набегов этих агарян, измаильтян нечестивых! Договоров не знают и знать не хотят... Так мсти же Ты им, Владыко. А я по пророку реку: не нам, не нам, а Имени Твоему славу и одоление дай и ныне, и во веки веков! Аминь!..

— Аминь!.. — набожно отозвались все советники.

— Кто не знает кривды казанской? — продолжал царь. — Нужно ль их обиды и лжи пересказывать?..

— Начто, государь? Сами все знаем! — отозвался Владимир Андреевич, нетерпеливо постукивая рукой по столу. — Ты, великий государь, как решил, говори.



— Ничего не решал я пока. Вместе решать будем. Посланы мною отряды на Свягу-реку. И вести по посадам и городам дадены, чтобы тут же к весне народ служилый собирался. Да без вашего присуждения делу не зачаться. Как скажете: быть ли войне с Казанью или не быть? Так и станет!..

— Быть!.. Быть!.. Конечно!.. Война!.. Война!.. — кто громко, кто степенно, но решительно — сразу отозвались все на вопрос царя.

— Так и быти посему!.. Пиши, дьяк! По воле Божьей, с созвонения митрополичьего, по моему решению и по общему думскому приговору — война с Казанью порешена и объявлена.

Дьяк Клобуков, любимец царя и Адашева, застроил по хартии гусиным скрипучим пером.

А царь дальше продолжал:

— А как война решена, я сам пойду с войском, с крестоносною хоругвию всего православного воинства, с моим царским стягом и полком. Что на это скажете, дума моя верная, князья и бояре и все вы? Так ладно ли будет? — спрашивает Иван, но по тону вопроса слышно, что не ждет он возражений и не примет их.

Молодые и не думают спорить с таким решением царя. Старики воздерживаются от прямого ответа, не решаясь сказать ни да ни нет.

Настало небольшое молчание. В теплой, душной комнате, где собралось так много людей, воцарилась мертвая тишина, и только в окна палаты, вместе с лучами ясного весеннего солнца, врывались звуки неумолчного, веселого пасхального перезвона. Светлая Неделя еще не отошла, и по всей Москве колокола с утра до вечера так и заливались, раскачиваемые усердием посадских людей и пришельцев деревенских. Гудели колокола и на главной кремлевской колокольне, на деревянной шатровидной звоннице во имя Иоанна Лествичника, на месте которой теперь возвышается Иван Великий.

— Что же молчите все? Или сказать даже нечего? Я совета прошу. В этом нельзя отказывать и постороннему кому, не то что государю своему... — очевидно начиная раздражаться, нервным, повышенным голосом заговорил Иван.

Как ни старались усмирять юного царя его настоящие руководители: Макарий, Сильвестр и Адашев, но

порою, против ожиданий, всплывало все дурное, и заложенное от природы в Иване, и навеянное ему во времена боярского бесправного правления.

Желая нарушить неловкость положения, тихо, но внятно заговорил князь Иван Михайлович Шуйский, боярин митрополичий, которого Макарий прислал от себя на военный совет. Самому владыке, как пастырю духовному, не подобало толковать о пролитии крови, хотя бы и агарянской, магометанской крови неверных татар.

— Государь, великий князь! Не за себя скажу, а за господина моего, владыку, святителя всея Руси, за митрополита московского. Просил ты у него пастырского благословения, и преподал он тебе его, государь, и будет молить Господа, чтобы послал Руси одоление над врагами. А с кем Господь — люди могут ли на того? Дерзай, государь, борони веру Христову, по заветам дедов и отцов твоих. Недаром же носишь ты имя «Заступника христиан и всей земли Восточные».

— Конечно... конечно... — опять зашумели молодые.

А старики все молчат. Наконец заговорил престарелый почтенный боярин Вельяминов, «земский заступник», как его все прозвали.

Ему тоже не улыбалось отсутствие молодого царя из Москвы, хотя по причинам совсем иного свойства, чем те, какие были у других старейших бояр-честолюбцев и стяжателей.

— Я, государь, ты знаешь, не воин, славы бранной не ищу... К земле прирос. У себя в вотчинах сижу. Только по зову твоему на светлые очи твои и кажуся. О земле русской я скажу. Так мне сдается: не след тебе землю сиротить. Словно заря над Русью засияла. Твое царенье праведное с люда московского, с пахарей и с гостей торговых и со всех тяглых людей словно вериги сняло. А уйдешь ты на войну, далек от нас станешь, — снова лихие людишки земле кривить станут... Обиды, прижимки, лихоимство пойдет...

— Что-о?.. — нахмурясь, протянул царь. — Так ты мыслишь, Андрей Петрович, только пока на Москве я, на глазах у всех, — потопь и правда в Русской земле стоит? Ну, не думаю. Народ знает: не на тот я свет уехал... и в Казань будут ко мне вести доходить. И тут я землю не без головы оставляю... Отцы и деды мои же

из Москвы выезживали... местников своих здесь постанавливали... Кто ж мне помешает? А за глазами у меня пусть кто попытается душой покривить! Хуже еще кару понесет, чем если при мне бы что натворил!..

И нешуточной угрозой загорелись глаза Ивана, которыми он обвел все собрание.

Очевидно, пылкая голова царя слишком сильно была захвачена мыслью о предстоящем ратном подвиге. Его успели окончательно убедить в необходимости и прелести военных побед... И, предчувствуя все-таки возражения со стороны некоторых «старинных недругов рода царского, великокняжеского», как называл Иван в душе самовластных первых вельмож-бояр, юноша уж волновался заранее, готовясь дать решительный отпор...

Видели, поняли все это старые бояре. Вот почему они, обыкновенно такие речистые, теперь молчат, усы покусывают седые да бороды себе разглаживают широкие, серебристые, окладистые...

— Что же? Так и не скажет никто ничего? Не подаст нам своего совета?.. — опять звенящим от волнения голосом переспросил юный царь.

— Знать бы прежде нам желалось, государь! — говорил князь Никита Ростовский, пошептавшись со своими соседями, все такими же первыми вельможами. — Плохо осведомлены стали мы ноне... Многое помимо нас деется... Какая сила-возможность у нас воевать с Казанью? Запасу всего запасено ли? Да вот из той стороны, со Свияги со реки, вести дурные доходят... Не одна Казань, а и вся сторона горная против нас идет-де... Из Крыма вести худые доносятся... Из Царьграда угрозой грозят... Как же царю Москву оставить? Ладно ли? Гляди, сотнею тысяч ратников с Казанью не убраться с одною. А поход воскорях, как слышно... Где столько люду собрать? Чем кормить, питать их? Где казны взять? Да и лето для пахарей и для нас пропадет, ежели с весны от сохи люди отымутся... Так ли, боярин? — обратился Ростовский к Вельяминову. — Гляди, голодом без хлеба насидимся...

— Так, так, княже... — отозвался Вельяминов. — И я то же сказать хотел!

— Скоро сказка сказывается, дело вершится мешкотно, бояре... Начало похода теперь, весною, точно. А самое дело дай Господи и к осени начать. А то я ви-

дал уж: начнем апосля Петровок собираться, а под Казань к самой Масленой, к распутице придем... как в прошлом году. Мало тогда я слез пролил, мало горя принял, неудачу нашу видя? Нет, как говорю, так и будет. Не то что сто — полтораста тысяч воинов воздвигнется... Совсем сотрем главу змиеву! Что Крым, что Царьград, коли Бог за нас?! И пропитаться всем хватит! Свою казну, коли недостача будет, открою... Вон я уж Володимиру Васильеву сказывал... Хватит ли казны у нас моей, родовой, не земской? Скажи, боярин?..

— На две войны хватит! — ответил с поклоном царю Головин, казначей Ивана, больше десяти лет умевший удержаться на своем опасном посту, пожилой, благообразный боярин, ученый не по времени, знакомый с латынью и с немецкой грамотой.

— Ну, вот!.. Зачем тебе свое добро изводить, государь! — раздались протестующие голоса.

— Ничего! Мне земля отдаст... новое мое царство казанское... С него прибыли новые пойдут... Дающего рука — не оскудеет...

— Так чего же?.. Что же тут?! И мы своего не пожалеем! — слышались взволнованные отдельные голоса. Старики все-таки молчали.

— А что горная сторона на нас — то пустое. Придет воинство наше светлое — поганцы-кочевники, лошадятники за нами, словно псы, потянут. Видал я ихнюю отвагу.

— Сказывают, — опять заговорил Ростовский, — очень плохи порядки в тех полках, что на Свияге стоят... А мы и свежих людей туды посылать собираемся... И ждать воинам долго придется. А тамо и без того — болесть на людях, хворь тяжкая. Больше народу сберется — пуще хворь разливаться учнет... цинга эта самая...

— На все воля Божья! Ведомо и мне обо всем, что на Свияге деется... Шурин мой там, сами знаете... Данилушка. Он все отписывает мне... какие там беззакония творятся! Так ведь то — без меня... А я приеду — ничего не дозволю... Я — не боярин, сам хозяин земли! Свой глаз — алмаз... Сумею с воинами, с буями, поуправиться... Знают, чай, они: «Всяка душа владыкам предвладующим да повинуется! Никая же бо владычества, еже не от Бога учинена есть!» — не удержался и, по своей склонности к Писанию, прочел на память

Иван. — Без меня — и воины стали буи... И воеводы спорятся, о местах враждуют... А при мне — не будет того. Куды кого захочу, туды и пошлю... Что еще не скажете ль?

— Братец... осударь, — заговорил Юрий, заметив знаки, которые делал ему тесть, князь Димитрий Палецкий, — не уезжай лучше! Меня ты здесь, на Москве, оставишь, а я опасаюсь! Человек я нездоровый. Что случится — враги ли придут, смута ли земская — как помочь, чем бороться?.. Я и не сумею!..

— Ну, брате-государе, не толкуй попусту! Не одного тебя оставлю... И полки тут будут, и люди ратные... Молод ты...

«Глуп», — хотел прибавить Иван, но удержался ради бояр...

— Так, для совету, придам тебе людей верных... Вон тесть твой, князь Димитрий... Он свое дело знает. И Ростовский князь с ним... — словно на выбор указал Иван на главных противников своим планам, облакая их новым доверием, новой почестью и таким образом обезоруживая вельмож. — А там, — продолжал царь, — и еще добрых советников к ним придадим!

Лица стариков прояснились. Они уж явно сочувственно стали относиться к затее молодого царя.

— Что же, я готов тебе служить, государь! — отозвался Ростовский князь. — Поезжай с Господом... Изведай еще удачи, добывай славы бранной!..

Словно бор дремучий под ветром затрепетал, зашептались, заговорили старики:

— Поезжай, царь!.. А лучше бы ты с нами остался, надежа! Без хозяина — земля сирота! Оставайся лучше, царь! Молод ты. Побереги себя! — заменяя молчаливый протест искренней просьбой, заговорили первые, старейшие бояре.

— И не просите! Божья воля на то, чтобы я ехал! Царь — надежа для людей своих, знаю! А моя, царская надежа — Сам Господь Милосердный! Он пошлет мне одоление на супротивные! И не сиротой земля останется... Все я с нею же буду!.. И думой моей, и властью царской! Да и еду не в чужую землю, а в нашу же, соседскую... Хоть сейчас она не совсем русская, так ею станет! Мне и святитель Алексей являлся в видении сонном и то же поведал, — вдруг вдохновенно произнес Иван.

Всем еще больше стала ясна и понятна та уверенность, с какою говорил царь о походе, та решимость, какою дышало каждое слово, каждое движение юноши...

Все смолкли на миг, а потом — рокотом понеслось:

— Поезжай, княже-государе! Да будет воля твоя и Господня!

— Да будет тако! — громко, радостно подхватил Иван. — Пиши, дьяк!.. А теперя рассудить надо, как полки делить. Кому с какой рукой идти!.. Брате! — обратился он к Владимиру Андреевичу, Старицкому князю. — У тебя мои записи были. Покажь-ка их...

И в нетерпении Иван даже с места поднялся навстречу двоюродному брату, который подал ему принесенные с собой пергаментные столбчики-свертки.

Все было приподнялись тоже с мест. Но Иван нетерпеливо махнул рукой — и они опять уселись, зная, что порой непоседа-государь любит говорить стоя, особенно если волнуется.

По его знаку несколько боярских детей из живущих при думе царской, чтобы с делами знакомиться, быстро придвинули к Ивану стоящий здесь же, в палате, большой глобус, дар германского императора.

Весь медный, на невысокой подставке, он был искусно награвирован глубокой резьбой. Земли и моря, известные тогда, были изображены подробно и отчетливо. Слабее всего представлено было царство Московское. Но здесь нашелся искусник у митрополита Макария, который и пополнил, согласно местным сведениям, планам и картам, весь Северный край Европы и Восток ее, до Рифея, нанеся резцом все русские города, поветы и поселки, а также и становья народов, смежных с Русью.

Твердой рукой, как бы выполняя заученный урок, стал водить Иван по глобусу от города к городу и говорил, не глядя даже в список:

— На свое дело земское, великое перво-наперво, на судах, на Свиягу мы сильную подсобную рать пошлем. Ты, княже Александр, и ты, князь Петр Иванович, еще с другими боярами, войско то поведете передовое! — обратился Иван к князьям Горбатову и Шуйскому. — Станете тамо зорко наше дело беречь, нас с достальными воеводами нашими и боярами, с головным войском дожидаясь, а пока горных, кочевых людей под нашу высокую руку приведете...

— Твои слуги, государи!..

Оба боярина отвесили низкий поклон.

— В нашем царском полку — бояре наши ближние: князь Володимир Воротынский да Ваня Шереметев... В сторожевом полку — боярину и воеводе князю Василию Серебряному быть с московскими людьми да Семену Шереметеву другому... Далее! Слушайте! Московские люди из городов и посадов, все служилые со чадью со своею — к Мурому, сюды вот стекутся. Уж им знать дадено, вестуны посланы! Сеунчи поскакали... Нову-городу Великому и иным дальним городам — всем людям ратным отселева собираться: правой руки полку, с князьями Петром Щенятей да Андреем Курбским — прямо на Каширу да на Коломну, на «берег» земли русской... Большому полку — идти со Мстиславским, с князем Иван Федоровичем, и Воротынский при ем... Наряд большой, пушки стенобойные, запас свой царский и припасы все воинские мы по воде, следом за князь Лександрой да за Петром Ивановичем пустим. А с тем нарядом главным и со всеми припасами и казной воинской — тебе идти, боярин Михайло Яковлевич!.. Не кому иному. Уж потрудися для земли! — обращаясь к маститому воеводе Морозову, сказал ласково Иван.

— Тебе ль просить, государь?! За честь и за память — спаси ты Господь, Христос милостивый, на многая лета! — с поклоном, касаясь рукой земли, ответил довольный почетным и выгодным назначением боярин.

— Ну, и ладно! И клюшники мои, с моей, собинной казной и всеми припасами — с тобой же идут. Тебе их препоручаю... Все вы водой поплывете!.. А мы, как Бог часу даст, — полем туды же пойдем... На случай, если кто из Крыму али с Ногайской стороны припожалует... встречу дать бы!

— Да уж чуть зажурчала вода по оврагам — жди татарина, гостя незваного! Это — дело неминуемое! — отозвался князь и боярин, родич царя Михайло Васильевич Глинский, словно желая напомнить о себе. — А еще сказать: полем идти — надежнее. На воде непривычны наши воины воевать. То ли дело в степи? Тут никто русскому не страшен.

— Знаю, знаю, что в степи безопаснее!.. — слегка хмурясь, проговорил Иван. — И ежели иду по такому

пути — так не от страха, а земли своей ради! Чтобы земля спокойнее была! Да чтобы путь наш еще поспокойней был, для опаски для всякой — надо на Каму детей боярских с ратниками да со стрельцами и казаков береговых пустить... Вот по сему пути... Гляди, дядя Михайло! Тебе туды ехать приходится. Место бойкое. Никому, кроме тебя, и препоручить нельзя.

— Ничего, живет! И не по таким бойким местам хаживали — целы остались! Спасибо, государь, за память!.. — смягченный тонкой лестью Ивана, поклонился Глинский.

— Да с Вятки я тебе на подмогу воеводу Паука-Заболоцкого на Каму дошлю. Придет он с устюжскими волостями да с селянами вятскими... Они край знают, зело погодятся тебе! Да еще тамо Григорий Сукин у нас... Он под тобой же станет, сойдет с Вятчины... А ты, князь Михайло, гляди: как добудешься до места, по всем перевозам, по Каме да по Вятке, местных, городских детей боярских, служилых людей, стрельцов и казаков и вятчей поставь, чтобы на подмогу Казани — кочевников из степи не пушали...

— Вестимо, государь, не впервой!

— Ну, то-то ж! И на Свияге-реке, княже Лександра, — снова обращаясь к Горбатому, сказал Иван, — то же учини... От мира отрежь агарян нечестивых!..

— Исполню, государь, и безо всякой отмены!

— Знаю. Далей теперя. Лево́й руки полку воеводы два Димитрия князя — Микулинский да Плещеев — остаются. А там и мы подоспеем... И с нами Бог!..

— С нами Бог!.. — отозвались все, окончательно захваченные уверенным, горячим словом молодого царя.

В это время придверник подошел к Адашеву и что-то ему шепнул.

Адашев, вслед за царем давно уж перешедший к окну, где установили глобус, в свою очередь почтительно наклонился к Ивану и передал ему доклад придверника.

— А!.. От владыки, отца митрополита, отец наш духовный, батько Сильвестр... Пусть идет...

И царь сделал несколько шагов навстречу посланному Макария, своему духовнику и наставнику.

Как только вошедший протопоп Сильвестр выпрямился после обычного поклона царю, Иван подошел к



нему под благословение, усадил духовника и тогда только спросил:

— Что принес нам, отче, от владыки митрополита?

— По желанию твоему, государь, сыне мой духовный, всему люду ратному московскому, что на Свиягреке, паче чем в болястях, во гресех погряз, — шлет им владыко первосвятитель, милостию Божьей, послание свое архипастырское... Мыслит: очистят воины души ихние от скверны и Господь очистит от хвори тела их грешные... Вот вручаю тебе милость и слово архипастыря нашего.

И бережно, почтительно передал протопоп царю послание к войскам русским на Свияге, страдавшим от жестокой цинги и утопавшим в распутстве...

— Бог посылает тебя, отче! Слово святое — не иначе как в час добрый да у места! Только мы и поминали нестроение наше свияжское... Вот послушайте, князи и бояре, дума моя царская, что пишет владыко митрополит нашему войску на Свиягу. Читай, дьяк!..

Передав сверток Клобукову, Иван оперся локтем на подоконник окна, у которого теперь опустился на скамью, и стал слушать со всеми вместе.

Монотонным, бесстрастным голосом начал читать Клобуков послание Макария.

Иван, зная заранее содержание свитка, не зря приказал читать его при тех воеводах, которые отправлялись сейчас на подмогу свияжскому войску.

И теперь, переглянувшись с Адашевым, Иван не удержался, чтобы не сделать знака, имевшего смысл вроде:

— Пусть слушают! Кошку-то быют, а невестку причивают: чище бы дело делала.

Адашев, понявший мысль царя, ответил ему едва заметной, мимолетной усмешкой.

А Клобуков читал:

— «Благословение преосвященного Макария, митрополита всея Руси в новый Свияжский град. Духом Святым осененного, смиренного господина и сына нашего, благочестивого и христолюбивого царя и великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея Руси — князьям его, и боярам, и воеводам, и детям боярским, и всем воинским людем, и всему христороименитому народу!..

И подвигом крепким и упованием неуклонным ко

Всемогущему Богу юного царя нашего, Ивана Боголюбивого, и по благословию нашего смирения, молени-ем всего святительского и священного чина и всего православного христианства — благоволи, Бог, создану быть граду новому Свияжскому и в нем святым Божь-им церквам...» — однообразно, безучастным голосом читает дьяк.

Иван рассеянно слушает. Он заранее знает, что дальше. И, глядя в окно, которое юноша даже распахнул, так как в горнице стало слишком душно, он всею молодой, широкой грудью вдыхает весенний свежий воздух, думает о предстоящем походе... Все так хорошо уладили и расписали ему его теперешние советники. Вон какие строптивые, седые бороды есть в думе, а не нашли что возразить! И война тоже кажется ему такой блестящей, легкой, заманчивой... Вот как он читал про походы Александра в Азию...

Правда, два похода под Казань неудачны были. Да сами виноваты. Уходить восвояси приходилось, врага и не повидав! А и то, агаряне сколько трусили!

Так ныне не то еще их ждет!.. Поражение окончательное...

Клобуков между тем продолжает читать, как бы отвечая на думы царя:

— «И дарова Господь Бог благочестивому царю нашему и всему его христолюбивому воинству светлую, без крови победу на вся сопротивные: Казанское царство покорилося и на всю волю вдася государю благочестивому царю нашему...»

«Да, в руках было, да сплыло! — думает царь. — Не умели удержать бояре старые, ленивые, жадные, перекорливые!.. Теперь сам промыслю о Казани. Назад не верну, коли в руки ее схвачу!..»

— «И казанский царь и царица в руце его предавшись, — продолжает звучать голос дьяка, будя жгучие, дразнящие душу Ивана, воспоминания, — и крепкая их опора, крымские князи и уланы (улусники) и мурзы пленены быша. И благочестивый государь завоеванный град Казань и со всеми улусы вручил своему царю Шигалею. А горняя Черемиса вся покоришася и приложися ко новому свияжскому городу. И тьмочисленное множество христиан, мужей и жен, юнош и девиц и младенцев из поганных рук, из плену возвращахуся восвояси. Крымский же царь и нагайские князи, и

многие орды и литовские короли и немецкие с мировыми грамотами и с честными дарами свои посланники к нашему государю присылаху! И вси концы земли устращались. И от многих стран цари и царевици, и казанские князи и мурзы, и сеиты, и уланы, и вси чиновные люди сами, своею волею, служить к нашему благодетельному царю придоша!..»

Читает дьяк этот урок родной, современной им истории всем, сидящим здесь бородатым и седым ученикам, не умеющим глядеть — и видеть, слышать — и разуметь! А юный кормчий огромного, но неулаженного корабля и не слушает речей митрополита, передаваемых бесстрастным голосом дьяка. Иван весь в будущем... Недаром предсказание было, что Москва четвертым Римом станет... вечным, нетленным Римом, где установится навеки престол Божий, алтарь веры христианской... Вот он, Иван, разгромит Казань. А там — Астрахань и Крым на череду. А там и Царьград недалеко. Вешали же предки Ивана свой щит на воротах этого города. Византия не слабей тогда была, чем турки ныне, а у Ивана воинов поболее, чем у Святослава. Кто знает? Вон друзья его: Макарий, Сильвестр и Адашев Алеша — говорят:

— Живи хорошо, слушай нас, великим царем будешь!..

Хоть и не любит он подчиняться, но ради будущего величия отчего не потерпеть, отчего искуса не перенести?

Он все испытает, всему сам научится, славы царской и ратной добудет, и тогда...

О, тогда и сам митрополит его должен будет послушать!..

А Клобуков, кончив перечислять светлые картины, удачи, дарованные Богом, пока войско было чисто и набожно, перешел к иным картинам, к тому, что сейчас в войсках на Свияге творится.

— «О, чада! — взывал пастырь. — Откуда посрамились мудрования разума вашего? Забыли вы подвиги бранные ради страстей земных! Оле, произволение злое! Сотворил ны Бог по образу своему и подобию. Но, помрачившись, по плоти ходите, а не по духу! Закону Божью не повинуетесь. Женам угодие творяще, бритву накладующе на брады свои! Забыли страх Божий и совесть свою попрали, иже православным не подобает того тво-

рити, понеже сие — дело латинские ереси и чуждо христианского обычая. Блудолюбие то есть и поругание образу Божью. И сице безумием своим и законы преступая, бессрамно и бесстыдно блуд содеваяще, содомское, злое, скарედное и богомерзкое дело...»

Слушают и краснеют многие из сидящих. Не столько от негодования, сколько чувствуя, что удар и в них попал по дороге.

— «Наипаче ж не промолчу безумия их! — все усиливает обвинения свои пастырь. — Еже не престают Бога оскорблять, оскорбляя и растлевая своих же собратьев, пленников, из рук агарян освобожденных, не щадя ни благообразных жен, ни добрых девиц!

О, горе и увы!.. превратихом великую Божью милость на гнев!» — еще сильнее продолжал оратор и начал грозить всеми казнями в той и в этой жизни, если воины не раскаются, не обратятся к прежней чистой, христианской жизни.

А тексты из Библии и Евангелия заканчивались еще и другою угрозою:

— «Аще ли кто из вас забыл страх Божий и заповедь царскую и не учнут каяться, отныне и впредь учнут бороды брить или обсекать, или усы подстригати, или скверныя в содомские грехи падати, или учнут в прелюбодейство и в блуд впадати и потом обличены будут, тем всем быти от благочестивого государя в великой опале, а от нашего смирения и ото всех священных соборов — отлучени быти. И сего ради писах, ища пользы вашему единородным, бессмертным душам по Господней заповеди!.. И вы бы, все благочестивое воинство царя Ивана Боголюбивого, отныне и впредь потщались вся сия исполнити, елика ваша сила-возможность...»

И затем уж в более мягком, примирительном тоне кончал свои обличения пастырь...

Вот и «Аминь»... И дочитывает говорком дьяк:

— «Дано на Москве, лето 7060... месяц... число...»

А царь Иван перенесся думой к тем дням и годам, когда он сам грешил, как все эти ратники там, на Свияге! Но он одумался, исправился... Он!.. Царь!.. А им, рабам, и сходить не след с пути истинного! Темные души ихние и при полном благочестии едва ли спасены будут... но он их охранит... Не одними посланиями, нет, — а мерами более крутыми...

— Слышали, бояре, слово владыки государя нашего? А я еще говорю: грозна будет опала моя на ослушников, на содомлян и блудников окаянных! Слушай, князь! — обратился царь к Горбатому. — И ты, Петр Иванович! Прибудете на Свягу — зорко блюдите! Не станут пастырского слова слушать, — смерд ли, боярин ли, — в тот же миг, без долгих речей — на виселицу... Для острастки... Двух-трех покараем — тысячи спасем! — добавил Иван, заметя, как словно облако нашло на бояр после его резкого слова, после приказа: вешать всех...

— Исполню, государь! — отозвался Горбатый.

— Все будет по-твоему! — поддержал Шуйский.

— Ну, а сверх того, мы здесь, как со владыкой советовано, образа подыдем, мощи святителей... В соборной церкви Успенья Пресвятой Богоматери нашей молебны отслужим с водосвятием... И ту воду, вместе с посланием преосвященного, протопоп Тимофей архангельский к войскам повезет. Милость Божья отвратит мор и беду!

— Весна близко... Кормы переменятся — тоже на пользу станет! — проговорил князь Ростовский.

— И то правда. А мы еще из нашего двора лекаря пошлем с вами, воеводы. Есть у меня один из гданских немчинов. Он по этой цинге, сказывают, горазд лечить. Пусть зелья с собой берет какого надо. Прикажи, Володимир Васильич!

— Слушаю, государь! — отозвался казначей Головин.

— Теперя, бояре и воеводы, главное мы порешили. А все достальное сами думайте да сговаривайтесь, как быть. На чем сладитесь — я мешать не стану... Ступайте пока со Христом... Мир вам!

И, поклонившись всем, а к Сильвестру снова подойдя под благословение, Иван вышел из покоя в сопровождении рынд и Адашева.

Долго еще не расходились, словно пчелы, шумя и волнуясь, бояре. Толковали о предстоящем походе, обсуждали сроки и подробности разные. А царь, отпустив Адашева, прошел в светлицу к жене своей, к княгине Анастасии.

Держа малютку, царевну Марью, на руках<sup>1</sup>, сидит княгиня и чутко прислушивается: не послышатся ли

---

<sup>1</sup> Марья родилась скоро после смерти первой дочери Анны.

быстрые, знакомые шаги в соседней горнице? Не идет ли супруг-государь, которого так любит молодая, тихая, кроткая царица?

Окруженная своими боярынями и ближними прислужницами, которые всячески стараются «разговорить» озабоченную госпожу, Анастасия почти не слышит того, что поют и говорят ей окружающие.

Недавно, перед появлением на совете, заходил к царице отец протопоп Сильвестр — укрепить и подготовить молодую женщину к предстоящей разлуке с горячо любимым мужем. Такая подготовка была еще тем нужнее, что не совсем здорова царица. Не так давно довели до сведения царева боярыни и служанки дворцовые о состоянии ее, обещающем новые радости сердцу царя-отца, особенно если Бог сына пошлет.

Всей душою стала любить и чтить протопоба Сильвестра Анастасия с той поры, как протопоп сумел юного царя от греха отворать, утравить, вернуть на путь добродетели. Суровый, властный тон наставника не корбил даже ушей щекотливого Ивана. Во-первых, протопоп личным примером, бескорыстием и чистотой жизни подкреплял свои поучения. Во-вторых — словно счастье слетело на Ивана, на царство его, на Москву с появлением на горизонте Сильвестра и Адашева. Случайно или нет, но одни только добрые вести стали отовсюду доходить до юного царя. Даже и неудачи, как последняя с Казанью, были представлены пылкому государю в таком свете, что он быстро утешился и в нем окрепла надежда на блестящее вознаграждение в уроне.

Особенно ярко сказалось умелое хозяйничанье Адашева в приросте казны государевой. Наживался он сам, нет ли — дело было неясное. Но одно очевидно: никому не позволял он хитить доходов земли, как то раньше бывало. Он не запуская податей ни за съемщиками земель царских, ни за городами, ни за торговыми людьми, порою налагая на них и твердо требуя еще новые мыта и пошлины. Кряхтели богатые люди, гости торговые, но платили. Слишком выгодна была для иностранцев торговля в Московии, богатой всеми дарами природы, но бедной художествами и мастерством.

Так успешна была в этом направлении деятельность Адашева, что казначей Головин по совести мог сказать царю: «На две войны денег хватит!..»

И Адашева уважала за его полезную службу Ана-

стасия, но как мужчины, светского и молодого, стеснялась его. Тем более что порой ее даже смущали смелые, длинные взоры спальника царского, по должности своей причастного к самым интимным, затаенным сторонам жизни Ивана и жены его.

С Сильвестром — иное дело. Старик он почтенный, отец духовный царя, священнослужитель... И грубость протопopa Анастасия предпочитала мягкой, упоительной и опасной вкрадчивости и почтительно-смелому, братски-ласковому обращению с ней Адашева.

Сейчас протопop подготовил царицу к близкой разлуке с мужем, убедив встревоженную, напуганную царицу, что это необходимо и для земли всей, и для самого государя. Дело предстоит нетрудное, но славное.

И тогда, вернувшись с венцом победителя, юный государь сможет укрепить род свой как надо; успеет ввести те меры в земле Русской, которые будут на благо трону и людям земским. А ведь в этих людях только и кроется сила царева, потому что вельможи, дружинники бывшие, князья Рюриковичи и иные, раньше считавшие себя равными великим князьям московским, теперь с трудом мирятся с новыми порядками, с царским самодержавием...

Целое поучение государственное прочел старик царице. Мало она его речи поняла, кроме самого главного: и Ване, любимому царю-государю, и детям ихним: дочке Марье и будущим всем — необходимо, чтобы теперь Ваня на войну шел. Сам Бог даже хочет того.

И скрепя сердце решила покориться Анастасия. Вот почему, едва ушел Сильвестр, неподвижно села и сидит царица, прижав к себе играющую на коленях у матери царевну-малютку, и слушает: не зазвучат ли знакомые, милые шаги в соседней горнице?

Вот донесся шум от переходов. По каменной лестнице, ведущей из столовой палаты в терем царицы, слышно: идут... Это он...

— Ступайте с Богом, милые! — отпустила Анастасия всех своих приближенных. — Машуту мне оставь, мамушка! — обронила она женщине, хотевшей взять царевну.

Все с поклоном ушли.

Царица, прижав малютку к трепещущей груди, стоит и глаз не сводит с двери. Вот распахнулась она, тяжелая, обитая сукном... Входит быстро Иван.

Впившись взором в лицо мужа, царица первым словом хотела было спросить:

— Как решено? Сам едешь на войну?..

Но удержалась, и по обычной скромности, не позволяющей жене допрашивать мужа о деле великом, да и от страха какого-то, смешанного с надеждой.

«Быть может, уговорили царя? Не сам поедет, воевод своих лучших пошлет...» — подумалось ей.

Вот почему, приняв поцелуй от мужа и ответив ему горячим, долгим поцелуем, ничего не спросила Анастасия, ждала, что сам скажет царь.

— Поджидала меня, видно? — заговорил он ласково. — Всех, гляди, выслала... Вон мышонка того белого одного и оставила при себе!..

И, взяв от жены малютку дочь, он высоко-высоко поднял ее на воздух мощными руками, причем от удовольствия и от страха девочка громко визжала: не то смеялась, не то пощады просила. Когда же отец ее опустил пониже, она охватила его шею тонкими ручонками — да так и повисла на ней живым, трепетным ожерельем, что-то веселое лепеча по-своему...

Словно чуяла девочка, что видит отца в последний раз, что умрет до его возвращения...

— Гляди братца ей теперь даруй, да без промашки! И то стыд, что не первенец — престолу наследник у нас, а дочь — первенькая... — лаская хрупкую девочку, пошутил Иван. — Гляди же, не огорчай меня, Настя! Да не соромься, рукавом не закрывайся, словно девица красная! Дело законное, дело Божье! Вся земля теперь ждать станет да Бога молить... Гляди же!

И с шутливой угрозой он покивал пальцем жене.

— Что делала без меня?

— Да што, осударь: все-то по-домашнему...

И царица рассказала, как провела в хлопотах и в заботах по дому все утро, как потом оделяла своих странниц и убогих, как с дочкой хлопотала, как сидела с ближними боярынями, царя ожидала. Словом, описала всю несложную жизнь, какую тогда вели и знатные и простые, и богатые и бедные московские и вообще русские женщины.

Иван слушал вполуха, занятый своими мыслями.

— Да вот еще от крестных отцов нашей Машутки, от старцев блаженных Андреана и Геннадия Сирорайского, посланцем монашек приходил, памятку принес:



просфору да срачицу освященную... на охрану дитяти, на здравие. Я уж и одела сорочечку ей... И послала им на ответ что собрала...

— Ладно, хорошо, милая...

Вдруг встрепенувшись, он снова поцеловал жену, для чего одной рукой привлек ее к своей широкой груди и почти усадил на одно колено, так как на другом уселась и хозяйничала дочка, трепля блестящие жемчужные кисти кафтана царского.

Анастасия, словно потрясенная этой лаской, прижалась головой к плечу мужа и вдруг тихо заплакала.

— Что ты, что ты, милая? Пожди, побереги слезы-то. Уезжать буду — напричитаешься, наплачешься еще!

— Уезжать? Так это решено?! Так ли, милый?..

— Да, уж сказал «так», не перетакивать стать! Не сейчас еще. Ты не полошись больно. Месяца полтора-два побудем ошшо вместе, повеселимся... А тамо сдам тебя на охрану Пречистой Деве, Матери Господа нашего Иисуса Христа, и всех святых угодников... И под защиту святителя, отца митрополита... А сам измаильтян неверных поборать поеду... Да будет, не плачь! Слушай! Труда много придется принять... а бояться нечего. Стеснили мы так агарян, что и податься им некуды. Особливо Новым Свяжским городком... Теперя живьем их руками переловим! Не больно хоробры татаровья, коли Русь выходит на них. Да и будет нас раз в пяток более, чем их. Шутка, а не война! А хоть бы и привел Бог пострадать за веру Христову, ты радуйся: венец приму я и чин ангельский! И ты без меня тут не печалься! Чаше в церкви Божьи ходи, молись за мое спасение, сирых, бедных одеяй. Ежели на кого и опалился я гневом моим царским, ты милости добудь тому человеку... Любить тебя станут! Узников ослобождай, опальных... За твою кротость и меня Господь Благой помилует... Вот перестала плакать — умница... и лад...

Но вдруг Иван прервал поток своих речей, которые любил рассыпать при всяком удобном случае.

Правда, царица перестала всхлипывать, но вся стала какая-то грузная и, мягко скользнув, чуть не свалилась с колен мужа прямо на сукно, покрывавшее пол. Едва Иван успел поддержать ее своими сильными руками, для чего пришлось почти сбросить с колен сидевшую тут же малютку царевну.

Девочка, напуганная резким движением отца, громко заплакала.

— Господи, сомлела! — догадался царь, увидя мертвенно-бледное лицо жены, и стал громко звать: — Эй, кто там?! Сюды скорее!..

Раньше всех вбежал Адашев, проводивший царя до самых дверей покоя и сидевший начеку в соседней горнице. За ним набежали няньки, мамки, ближние боярыни и ключницы царицыны.

Анастасия уже стала приходить в себя.

Оглядевшись мутными глазами, вспомнив, в чем дело, царица залилась слезами и еле могла заговорить:

— Царь-осударь!.. Не уезжай, не покидай меня!.. Знаешь сам: не праздна я... Как без тебя буду?.. Повремени хотя!..

— Ну, ну, успокойся!.. — принимая более подобающий вид, сказал Иван. — И царство земное царям за подвиги их укрепляется, и царство небесное, вечное, открыто лишь тем, кто за истинную веру христианскую стоит. И в Писании сказано: «Ни око не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце человеку не взыде, яже уготовал Бог любящим Его и святые заповеди хранящим!» Чего же нам страшиться?.. Чего слезы льешь? Грех, жено!

При людях и царица ввела в берега весь бурный поток скорби своей и, по принятому обычаю, нараспев почти заголосила:

— Царь-осударь! Благочестив ты и многодоблестен! Заповеди хранишь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Хочешь душу свою положить за православную веру, за верных христиан... Но мне-то каково? — прерывая горячими рыданиями размеренную речь, воскликнула Анастасия. — Как стерплю отшествие супруга-осударя своего? Чем грусть-тоску утолю? Кто мне будет добрые вести давать о милостях Божьих, что почуют на благочестивом осударе? Кто порукой, что Руси самодержец с его воинством бранным одолеет врага и на свое царство вернется?.. Боже Милосердный, Боже Всемогущий! — упав перед киотом, стала молить царица. — Услышь слезы и рыдания рабы своей... Дай ми услышати и осударя здрава, славного, по милости Твоей, увидети!.. Не помяни, Владыко, многих грехов наших! Помогни нам и Ты, Царица Небесная, Пречистая Богородица!.. И Ты муки ведала... Взглянься на

муку мою великую! Да подаст Господь царю над супостатом победу и здрава мне его воротит!..

И, утопая в слезах, ниц припала царица перед киотом с иконами святыми.

Иван, сам глубоко растроганный, сказал еще несколько утешительных слов жене и вышел, чтобы при бабах не выдать своей грусти, непристойной слабости, неподобающей царю.

Адашев отстал и, когда царь скрылся за дверью, подошел к царице.

— Государыня, слушай, что скажу! — твердо проговорил он, чуть касаясь ее плеча. — Вот святой крест тебе порукой! Жив и цел вернется к тебе государь, или и меня ты в живых не увидишь! И не один я, тысячи за него жизнь отдадут! Не тоскуй, государыня... весела будь! Царевича-наследника нам подари. А мы тебе — царя вернем.

Ободренная, укрепленная против воли твердым, уверенным тоном речей Адашева, Анастасия подняла голову и хотела было что-то сказать, как-нибудь поблагодарить постельничего, но тот, отвесив земной поклон царице, поторопился и ушел вслед за царем.

Как говорил Иван, так и вышло, словно по писаному. Через два месяца без малого, 16 июня, сел юный государь-полководец на коня и, со всеми воеводами, с Шиг-Алеем, царем, вызванным из Касимова, выступил в поход через село Коломенское на Остров-сельцо, где первая ночевка назначена. Неспроста поторопился царь. Вести стали смутные доходить, что хан крымский доведася, будто все силы русские уж под Казанью, и выступил в поход, большое войско на московскую окраину, на «берег» государства повел. Сам с полками, и царевич его с ним же.

Только стали в селе Острове, на ночь царский шатер раскинули, а гонец от «берегового» воеводы, от Айдара Волжина, Ивашко Стрелец, станичник путивльский, уж тут как тут:

— Крымцы и хан с царевичем Донец-де Северный перешли.

Усмехнулся Иван, говорит Шиг-Алею:

— Вот, брате-государе, советовал ты нам до осени не трогаться. Казань-де в лесах и озерах, в топях и

болотах ржавых, непроходимых лежит... Только ее зимой и брать. И говорил еще: надо иных врагов летом ждать, на Русь приходящих. А мы ранней срядились, глядишь, ранней и с недругом сразились. Не он нас, мы его стоим да ждем к бою прямому: кому Господь счастье пошлет? Я так и хану крымскому сказать велю. Вот и умный ты советчик, Шиг-Алейка, а не все по-твоему, иное и по-моему лучше...

Засопел толстый, ленивый, трусливый, но хитрый татарин.

— Э-эх, царь-осударь! И у вас, и у нас говорится: на старуху проруха бывает. А ваша, русских государей, перед татарами правда всем ведома, как солнце в тучах светит! Аллах тебе на помощь, осударь, а меня за плохой совет не осуди. Я тебе еще пригожуся!

— Знаю, брате-государе! Затем тебя и в поход звал с собой...

И немедленно послал разведчиков царь навстречу крымцам, полки отрядил... А царя Шиг-Алея, с нарядом, с пушками и запасами военными, по Волге поскорей к Свияге послал, где тот должен был привлечь горных князьков на русскую сторону, от Казани их переманить.

Не думал сначала Иван Владимира Андреевича, брата двоюродного, на войну брать, хотел в Москве его на свое место оставить. Но тут порешил, что вместе они дальше на Коломну пойдут. А против крымцев наспех двинулись полки, всего пятнадцать тысяч человек, с князьями Петром Щенятевым и Андреем Курбским во главе.

Пока царь у Коломны поле будущей битвы с крымчаками осматривал, войска ободрял, враги Тулу обложили. Подбежал ихний передовой отряд, тысяч семь человек, увидали татары, что туляки беззащитны, и следом за ними появился сам хан Девлет-Гирей, стал город ядрами калеными жечь, к сдаче вынуждать. Узнав, что он обманут, что Иван за Коломной, а не под стенами Казани, хан хотел вовсе вернуться с похода домой. Да свои князья его пристыдили:

— Вот пошли ни по што, вернулись ни с чем! Нападем хоть на дальний город гяуров, на Тулу. В стороне она стоит, за лесами, за полями... Не поспеет к ней великий князь на выручку, хоть чем-нибудь да проживимся.

Но и тут неудача ждала татар.

Еще раньше Курбского со Щенятевым на выручку тулякам 23 июня подоспели князь Михаил Репнин с Прони-реки и воевода Федор Салтыков с Михайлова городища. Они отбросили татар при помощи тульского воеводы князя Григория Темкина, который ободрился при виде своих и сделал смелую вылазку из города.

Тяжкий урон потерпел Девлет-Гирей, уходить пустился наутек. А на другой день, 24 июня, подоспели Курбский и Щенятев и у Шиворони довершили поражение татар.

В этой битве Курбский был впервые ранен и в милость большую к юному царю попал за это... Много военной добычи, и верблюдов, и пленных досталось русским.

Дальше все без особой помехи пошло.

Огромное войско, до сих пор двигавшееся стройно, как на смотре, было под Коломной разделено на два отряда.

С царем через Владимир и Муром должны московские ратники, бояре, жильцы посадские и лучшие дети боярские идти, а также, главным образом, стройные полки новгородские. Других воевод еще раньше государь через Рязань и Мещеру на Алатырь послал. Там сборный пункт. Те полки самого царя от неожиданных нападений со стороны степей оборонять должны.

2 июля, когда уж двинуться государю вперед надо было, вдруг донесли ему:

— Новгородцы замутились. В поход выступать не хотят.

Побледнев царь от взрыва давно забытой ярости, даже повело его, словно бересту на огне. Потом пятнами лицо пошло.

— Сызнова эти новгородцы проклятые... Мало они мне горя чинили? Рубить, стрелять велю мятежников, — вскричал ошеломленный Иван, чувствуя, что все планы, так хорошо задуманные и начавшие сбываться, могут рухнуть по милости этих вечных врагов и злодеев его, этой вольницы новгородской...

Царь готов был сейчас же привести в исполнение свой первый порыв, к чему бы то ни привело.

Но Адашев, бывший постоянно при царе, мягко заметил:

— А с кем же, государь, под Казань пойдешь? Все

войска далеко ушли. Назад их ворочать, весь порядок надоть переиначивать, — значит, и дело все порушить...

Зубами заскрипел Иван, а молчит, понял, что правду сказал Адашев. Вздохнул, словно стон издал всей грудью, и, наконец, спросил:

— Что же делать?

— Жадны новгородцы. Спроси их: в чем ихние жалобы? Отчего не идут? Да пообещай льготы да награды... Обмякнут, гляди!

— Правда твоя. Надо попытаться. Не время теперь силу-власть свою показывать, сам вижу... Чего им, собакам? — обратился царь к боярину, доложившему о мятеже новгородцев.

— Да они одно толкуют: служба-де не под силу! Сколько походом шли, обносились, издержались... Здесь сколько, в Коломне, стояли, харчились, расходовались. Казань повоевать два бы раза успели, мол, и домой вернуться, кабы прямо на нее шли. В боях с крымчаками и то пришлось-де им крови сколько своей пролить.. А дележ-де неравный. Царским войскам и воеводам супротив-де вольных дружин чуть не вдвое! И опять идти на траты да на изъян они не согласны-де! Да мало ль чего болтают?..

И боярин запнулся.

— Все говори!

— Да бают: не для земли тяготу приходится принимать, а для славы царевой, для величання Москвы и князя московского великого-де... Так им и не надобно...

— У! гады ядовитые... Раздавил бы их!

— Государь!..

— Ладно, ладно, Алеша!.. Не ворчи! Сказал: потерплю... авось когда еще сочтемся... А теперь... теперь как думаешь? А, Алеша? Что им, собакам? Какую кость кидать?

— Да что, государь... Думается: как на Москве толковали мы, так и сделай... Переписать всех вели, кто за тобой пойдет, да пообещай на свой кошт их взять, как только под Казань дойдем Божьей милостью...

— Слышал, боярин? Ступай и объяви им так, этим лизоблюдам, земли своей предателям и погубителям, иудам окаянными!.. — срывая в проклятиях сердце, приказал Иван.

Средство повлияло. Все почти бунтующие снова сошлись в ряды и последовали за царем, как только узнали, что им пообещано.

И сколько потом ни косилось на них остальное войско, называя «дармоедами, прихлебалами», — новгородцы шеляга своего не потратили больше на этой войне, все шло им из царской казны, из Ивановой...

Теперь, не медля ни минуты, двинулся царский отряд в поход. Не малое расстояние приходилось пробираться сухим путем, по неизвестной местности, где порой нельзя было и продовольствия вдоволь добыть для людей, а приходилось охотой и рыбной ловлей жить. Но в двадцать два дня, делая верст до двадцати пяти ежедневно, совершили русские свой путь...

Медленно и неотразимо надвигалась грозная туча на Казань с московской стороны... И все окрестные горные и кочевые племена зашатались, словно спелые колосья под грозой... То и дело являлись князьки, и сеиды, и мурзы городецкие, темниковские, черемисские и мордовские: с победой над крымцами царя Ивана поздравляли, верность свою обещали и помощь против Казани. Давно известно: татарину кто больше дал, тот его и брал!

Ему «теньга — брат родной, а пожила — матушка»!..

Все горные племена отложились от Кзани, к свияжским воеводам с повинной пришли...

Наконец, и царь до Свяги дошел. За две версты вышли все воеводы встречать Ивана.

В сверкающем вооружении, окруженный блестящей свитой, Иван увидел впервые тот город, который сам заложить приказал на гибель Казани, как оно теперь и выходило! На высоком холме, на самой вершине его и по скатам виднелись новые срубы жилищ и церквей среди густой еще, хотя и осенней зелени. У реки, внизу, на далекое пространство — шатры белеют, стан раскинут русский. Вот он, рубеж между Европой и Азией! Так, должно быть, некогда и любимый полководец Ивана, Александр Македонский, стоял на одной из вершин Рифея и собирался покорить весь мир вслед за Азией, на которую ополчил свои непобедимые фаланги. Сладкое, глубокое волнение наполнило грудь Ивана... Забыты все тягости пути, все опасности и тревоги, минувшие и предстоящие впереди. Царь счастлив! Он со-

вершенно счастлив! Он уверен, что его ждет победа и слава. Да как же иначе? Вон со всех сторон только и слышно, что о чудесных знамениях... Даже в самом бурливом Нове-городе чудо объявилось. Пономарь церкви во имя Зачатия св. Анны до заутрени в храме свет видел нездешний. Святитель какой-то предстал и звонить ему велел. Смущенный служка отвечал: «Как могу звонить без приказа протопопова?» Но дивный гость отвечал: «Звони скорей, не бойся! Мне некогда! После службы торопиться мне надо под град Казань... на помощь царю и государю вашему, Ивану Боголюбивому всея Руси...» Сказал и исчез...

Значит, сами силы небесные идут на помощь замыслам царя. Чего же тут бояться?..

И молча стоит глядит Иван на Свияжский городок, глядит в ту сторону, где берег казанский синееется...

— Государь! — осторожно заговорил окольный, боярин Федор Григорьевич, отец Адашева. — Как пожалуешь? Ночлег тебе в городке изготовлен, в доме у протопопы соборного... Лучший двор, какой нашелся... Уж вечер близко.

— Мы в походе! — живо ответил царь. — Шатер нам пускай размечут. Царь при войске живет. Какая воинам доля, так и вождю подобает! — невольно повторил Иван слова великого македонца, сказанные Александром, когда ему одному подали пить на виду умирающих от жажды солдат...

Одобрительный говор прошел между воеводами и князьями, блестящим кольцом окружающими державного вождя. Быстро и в войске весть разнеслась:

— С нами в шатрах царь стоять пожелал!

И позабыли свою усталость измученные люди; словно дети, утешенные новой игрушкой: любовью, вниманием к ним верховного вождя...

13 августа, в субботу, пропировав в шатрах накануне весь день с воеводами, вошел торжественно Иван в свой новый Свияжск-городок. Колокольным звоном, хоругвями и иконами, крестным ходом духовенство и горожане встретили царя.

А там через неделю и за Волгу русское войско перевалило, за последний рубеж, отделяющий русскую рать от Казани.

Еще неделя прошла. Вызовами и переговорами обменялись казанский и русский цари... Обычай исполнили.



Русские стали места вокруг города занимать, окопы копать, валы насыпать... И немало еще недель затем прошло. Незаметно глубокая осень надвинулась, холодная, дождливая, какая всегда бывает в этих болотистых, дремучих лесах...

Крепко обложила Москва Казань-город. Да и татары упрямы: бьются, не сдаются.

А выхода им все-таки нет никуда! Где пробиться, если всех-то воинов тысяч тридцать в городе, в крепости казанской, а кругом полтораста тысяч облегло... И с большими пушками, с осадными орудиями... А царь, изменник казанский, Шиг-Алей, когда убегал из юрта, — последние пушки татарские попортил, как Адашеву и пообещал. И обороняться татарам почти нечем. А осада без конца тянется...

Куда ни глянь — палатки, шатры русские белеют; ряды туров, корзин плетеных, земель набитых, видны. Словно змеи бесконечные, темные, извиваются их ряды. Все ближе к стенам крепости подвигаются длинными изгибами. А за турами — неутомимые черти, гяуры со своими пищалями да бердышами да всяким оружием...

Еще 23 августа разместились полки по местам, как Иван с воеводами установил. На Царевом лугу, против города, от Волги-реки царь со своим Царским полком и с хоругвью священной, со знаменем царским, осененным тем самым чудотворным крестом, который был еще у Димитрия-князя на Дону.

И три церкви здесь же, в шатрах больших, установлены. Не оставляет царь и на войне богомольных обычаев, являя пример войскам. У Кабана-озера, с нагайской стороны, Шиг-Алей с Передовым полком и с Большим полком стоит Юрий, Шемякин князь, Пронский князь, Юрий, Федор Львов Ярославский и Троекуров, Федор, со своими стрельцами, — в ертоуле, авангардом выдвинуты. Против Кайбацких ворот стали, по Казанке-реке.

Левой руки полк — левым крылом по Булаку протянулся, влево от царя. Казаки даже через Булак, под самые стены крепости вражьей перекинулись, здесь, в посадах, крепкие места и строения заняли.

А посады опустелые стоят. Как прослышали татары про нашествие русских — кто куда убежали, дома и добро покинули. Больше всего в город, в крепость укрылись.

Сторожевой полк с князем Серебряным и Шереметевым Семеном подальше полка Левой руки, за Булаком, до другой реки, до Казанки, раскинулся, где башня Мурзалеева стоит при слиянии этих двух речек.

Щенятев с Курбским в правой руке полк ведут за Казанкой, с другой стороны города, между Горной стороной и дорогой Галицкой... Елабугины, Збойлевы и Щелские ворота им стеречь надо.

Князь Ромодановский с «запасом» у деревни Бежболды укрепился. И Правой руке и Сторожевому полку он всегда может помощь подать в случае опасности. Здесь, в этой стороне, — дворец хана казанского. Сюда врагов гнать будут, если Бог даст одоление. Так здесь и встречу надо было хорошую приготовить татарам!

Широко сначала стояли русские войска. Но понемногу все уже и уже железное кольцо стягивалось...

Полтора ста тысяч сошлось воинов, не считая челяди при служилых людях, не считая обозных и ремесленных людей. А с этими и все три сотни тысяч наберется. Целый полотняный и дощатый город, больше самой Казани, в ночь одну вырос у Волги, где раскинули свои лавки и склады приехавшие за войском купцы и торговцы провиантом.

Каждый десяток ратников должен был выставить по одной «туре», наполненной землей, да все без исключения воины обязаны вытесать и принести на место по бревну для осады, для завалов и стен, для бесконечного тына, который второй стеной обожегал все крепостные твердыни казанские, преграждая всякий доступ к осажденным.

В глухую ловушку попали казанцы...

А за тыном, словно кроты в земле, роются русские, все ближе к стенам подбираются... Ни ведро, ни дождь не остановят их работы.

Да не много и видели светлых дней русские с тех пор, как под Казанью стоят.

Шаманы и дервиши мусульманские, которых много засело в осажденном городе, каждое утро стали на заре взбираться на городские стены и, на виду у русских, вертелись, заклинания громко выкрикивали, творили какие-то обряды таинственные, и, словно накликаемые этим чародейством, тучи вставали с Волги-реки и потоки дождевые с неба падали, заливая низкие места под городом, где раскинулись станом полки московские.

Ров вокруг города переполнен водой.. Даже в тех шатрах, которые расставлены осаждающими на более высоких местах, и там все промокают до нитки под ливнями холодными, осенними.

Плохо в шатрах, особенно в бурные, ветреные дни. Холодная, дождливая осень царит, какая редко и бывала в этих местах. Бури начались осенние. В одну ночь ветер был так силен, что опрокинуло даже большой, тяжелый шатер царский, и, вскочив в испуге, Иван остаток ночи провел в походной церкви, тоже в шатре устроенной, пока приводили в порядок его ставку.

Плохо в шатрах! А и того хуже в окопах, которыми окопали весь город русские, чтобы отрезать татар от всего мира.

Извилистой линией со всех сторон приближаются к самой стене траншеи осаждающих, глубокие рвы, от дождей наполовину залитые водой, прикрытые большими корзинами с землей от пуль и стрел татарских.

В траншеях, не сменяясь порой по целым неделям, сидят ратники, не дают татарам частые вылазки устраивать, как те было начали сперва.

В грязи, в воде целыми днями сидят люди, оберегая только пищали и порох от воды. Одежда вся промокла, пар идет от нее. Поесть некогда... К котлам уйти артельным нельзя из окопов. Вспомнят товарищи, принесут им горячего — хорошо! Нет — по целым неделям сухими сухарями, воблой да луком питаться приходится или репой печеной, благо — лес под рукой: с трудом, но можно костры разжигать из мокрых сучьев.

И, несмотря на то, работа подвигается. Роют новые рвы землекопы; воины попеременно в лес ходят, сучья рубят, березки молодые чистят, плетут большие корзины бездонные для туров.

Вот человек двадцать, тяжело дыша, в намокшей одежде, от которой пар идет, тянут к окопам несколько больших бревен в самодельной тележке.

Устали, изнемогли ратники, купеческие дети, торговые люди московские. Бросили постромки, тоже самодельные, из лыка крученные... Кто присел, кто прилег на влажную траву луговую, отдохнуть хотят. Тяжело дышат усталые груди, все кости ноют. И желудок, далеко не полный, знать о себе дает.

— Э-э-эх! домой бы теперь, — после первого молчания, словно угадав общую мысль, говорит один.

— Да, славно бы!

— Щец бы горячих сейчас! Э-э! — смачно крякнул пожилой, полный десятник.

— Да подружку хорошую! — подхватил молодой парень, недавно и повенчанный перед походом.

— Ишь, губа у ты не дура! Татарина не хочешь ли черномазого? Или нагайца?..

— Сам кушай... Да еще козла тебе на закуску... Ирод!

— Ну, не перекоряйтесь, черти! — прикрикнул десятник.

— Так чево ж он? Я и в скулы вить...

— В скулы? Храбер! А даве, как татаре со стены скакали, вылазку делали, — где был?

— Я? — смутился парень. — Я в стан бегал за хлебом...

— Ишь ты! Как оно приспело, в ту пору, когда татарове поспели из города, а ты про хлеб вспомнил.

— Ловок! Бабник, козодой поганый... Блудлив, как кошка, а труслив, что заяц...

— Эй! молчи... Не то я те!.. — обозлясь, так и вскипел парень и даже, забыв про усталость, привстал, словно готовясь привести в исполнение угрозу.

— Буде, говорю! — прикрикнул десятник. — За дело. Навалялись и языки начесали, гляди! За дело!..

— За дело!.. — с ворчаньем поднимаясь, заговорили ратники. — Сам бы потянул... Приказывать да понукавать легкое дело. Ишь, воевода какой выискался!

— Не воевода, а по государскому наказу приставлен за вами глядеть, за лентяями!..

— По государскому! Собака тебя ставила царева, а ты и величаешься...

— А хорошо, братцы, государю батюшке! Вон мы тута пропадаем, а он у Волгушки себе в шатрах пирует и день, и ночь... Сказывают: весело там царь с боярами живет.

— И гусяров, сказывают, и скоморохов туда не мало нагнато! — опять свое стал поминать молодой новожен.

— Ну, толкуй еще!.. Нешто можно: при царе православном да погань такая!..

— А што же? Люди сказывают: не мало там всего творится! И сызмальства осударь всякую потеху любил... Так не другой он ныне стал, все тот же.

— Ан и другой! Я лучше знаю, — вмешался молчавший до тех пор пожилой ратник. — У меня — дядя не простого, духовного звания. Сказывает: совсем образумился царь молодой. Все больше Богу молится, службы правит церковные... А бояре да воеводы его, те, конечное дело, не все по царскому примеру живут. Оттого и соблазны... Да и врут много!

— Врут?.. Ну, не! Сам ты врешь, а я не согласен... Сам я в Свияцком городке был, как грамоту митрополичью всем людям читали. А там явственно прописано было, за что Бог нас покарал, хворь наслал гнилую, тяжелую. «Блуд и непотребство и многое стяжание» — так и сказано...

— Так то — воеводы... А сам царь...

— Што царь? Заладил одно: царь да царь! А знаешь ли: каков поп, таков и...

Но говоривший не кончил.

— Царь едет, черти! Вставайте!.. Царь едет!.. — вдруг крикнул тот из ратников, который лежал на самых бревнах, где было посуше, и глядел по сторонам.

Ратники вскочили, глядят: из ближней рощи, в которой намокшие, потемнелые деревья стоят так печально, с повисшими, полуобнаженными ветвями, показались вершники царские, стрельцы с пищальями, дворяне охранные с бердышами... За ними на красивых, сильных конях несколько воевод, все больше пожилые, а впереди Иван в полном военном вооружении, на ширококозлом, могучем коне.

Завидя кучку ратников, при его появлении снявших шапки и трюхи и стоявших на коленях вдали с обнаженными головами, Иван подскакал к ним.

— Встаньте, люди ратные. Богу кланяйтесь... Вы — Божьи ратники. Откуда вы? Что за бревна? Куда их тянете?

Десятник, ободренный ласковым голосом царя, стал отвечать, вертя шапку в руках:

— Да вот, осударь... не погнепись... из окопу мы, из ближнего... От головы, от Василия Шпыняева, посыланы по бревна... Чай, ведом тебе голова тот, осударь?

— Не помню что-то! — улыбаясь сказал Иван. — По бревна? И вы их сами на себе волочете? Тяжело, чай?..

— И-и, как тяжело! Умаялись... Не ближний свет, сам видишь, осударь... Притомились... Вот и стали пе-

редохнуть, значитца... Помилуй, не казни, осударь... Не стало никакой силы-возможности, без передышки, значитца...

— Ну, вестимо, как не вздохнуть?! Отдыхайте... Ишь ты, упарились как! Ровно от коней — от людей пар столбом! Да разве нет коней у вас, чтобы не самим таку махину тащить? Да еще на тележке, на смешной такой.

И Иван стал внимательно осматривать тележку, особенно колеса ее, обтесанные топором из цельных обрубков и далеко не имевшие вида правильного круга.

— Коней?.. И-и, што ты, осударь! Мы — пешие. Наше дело простое... Все на себе да своими руками робим, своим горбом тянем... А што трудно — твоя правда, осударь. С непривычки, гляди. Дома — все другим делом, торговлишкой занимались... А тут вот... — начал было впадать в жалобливый тон десятник, но спохватился и замолк...

Иван огляделся, медленно повторяя:

— Торговлишкой занимались?.. Што ж, дело хорошее. Конечно, трудно вам с непривычки. Так тó помните: не для меня, не для кого стараетесь, муку принимаете, а для Господа Самого Распятого, за святую веру христианскую... Татар повоюем — Господь возрадуется. Полон наш, русский, у них отберем. Чай, и у вас есть кто близкий в полону у казанцев?

— У нас, осударь, — вступил в разговор молодой ратник, — есть родич один... И не ратник он был. Как напали на Каширу единова казанцы, тамо его и забрали... По торговому делу в Кашире жил...

— Вот видите! Так уж потерпите Бога для... А и то сказать еще надо: Казань возьмем, заставы снимем — Волга свободным, вольным путем русским потечет. Как по-вашему, по-купеческому, к худу это аль к добру для вас?.. А?..

— К добру, осударь! — сразу ответили все ратники, хорошо понимавшие свою торговую пользу.

— То-то ж! Так для себя постарайся, Божьи воины. А покудова... Эй, Петь! — крикнул Иван одному из своих стрельцов, сидевшему на здоровой рыжей лошади. — Слезай, Петруха!.. Дай им коня, бревна довести. Подожди тута с ними, а там и догонишь меня... Ну, Бог на помочь, люди Божьи!..

И, провожаемый громкими, восторженными привет-

ствиями осчастливленных, ободренных, словно воскресших ратников, царь тронул поводья коня и дальше поехал осматривать, как осадные работы кипят-подвигаются под Казанью... Спрашивал о вылазках дневных и ночных, которыми татары беспокоили русских; ободрял, утешал больных и раненых... И везде восторженные клики неслись вслед царю:

— Жив и здоров буди на многая лета, осударь наш милостивец! Батюшка, светлый наш царь!..

И так за днями — дни, недели — за неделями тянутся.

С того дня, как первые осадные стрелецкие головы Иван Черемисинов, Григорий Жолобов, Федор Дурасов и дьяк Ржевский со своими сотнями первые туры подкатили вечером от Булака к стене городской, не мало стычек и боев разыгралось вокруг осажденного города.

Особенно жестоки были первые вылазки. Не хотели допустить татары врагов с турами к самым стенам городским. Против князя Михайла Воротынского и Ивана Федоровича Мстиславского, которые вели первый приступ, сразу из всех четырех ворот: Царских, Арских, Тюменских и Аталыковых — высыпали воины казанские.

Жестокая сеча началась. Чтобы помешать появлению новых сил из города, русские открыли пальбу по крепости из всех орудий, стоявших против ворот. Татары отвечали тем же, хотя и мало было у них пушек и пищалей. Стрелы тучей летели... Крики, вопли сражающихся, сливаясь с гулом орудийных выстрелов, оглушали всех вокруг. Кони металась в испуге... В остервенении враги, бросив оружие, бились врукопашную, давили, грызли друг друга и сваливались с откосов крепостных прямо в ров, переполненный мутной, грязной водой... Так прошла вся ночь... Но к утру русские одолели. Татары кинулись назад. Ворота закрылись. И лихорадочно принялись свежие, вновь подошедшие московские ратники за установку туров, за рытье рвов и траншей... А казаки-смельчаки, первые прошедшие на приступ посадов под стеной, заняли большую каменную баню, как ее называли: Даирову, под самой стеной крепостною, и расположились там безопасно и удобно, словно дома у себя.

И тянется осада недели и месяцы... Глубокая осень царит... Ливни, слякоть... Шесть недель уж прошло... Тоска стала одолевать русских. Тоска одолевает и царя. Сначала, пока еще опасности грозили при осаде, волновался Иван, но не тосковал, не чувствовал как-то всех лишений, которые даже ему пришлось испытывать среди этой лагерной, суровой жизни.

А татары сильно оборонялись сперва.

Оказалось, что в крепости городской, за стенами у них — только половина войска, тридцать тысяч всего отборных людей. Другая половина была сокрыта в лесах, которые темной стеной обошли Казань со всех сторон.

И вот, бывало, видят русские: на стене городской появляется большое мусульманское знамя... Веет его ветром, треплется оно... Вдруг появляются из лесов, все больше с арской стороны, отряды татарские, нападают в тыл христиан. А в то же время из ворот высыпает казанцы и с двух сторон, таким образом, ударяют на осаждающих.

Ни попить, ни поесть не могли спокойно те полки, которые с этой стороны находились: Большой да Передовой полк.

И так — недели три шло.

Наконец, после долгих совещаний решено было покончить с таким порядком вещей.

Тридцать тысяч всадников и пятнадцать тысяч пехотинцев-стрельцов, под начальством князя Александра Горбатого-Суздальского, разбившись на три колонны, засели в ловушку, скрылись в засаде.

В первый же раз, когда татары повторили свою хитрость, напали на русских с двух сторон, передовые русские отряды, встретившие натиск татар, выехавших из лесу, сделали вид, что смутились и побежали в лагерь обратно. Татары кинулись за ними с гиком, с победными криками... Вот уж все отряды ихние вышли из-под прикрытий, из лесу... Вот лавой мчатся на беззащитный лагерь... Из города тоже доносятся крики радости.

Может быть, настал час победы и отмщения гяурам, настал час освобождения от проклятой осады... Но... что это такое? Из лесу, где все было тихо, резко прозвучал голос военной трубы... сигнал атаки... И с трех сторон, отрезая всякий обратный путь, лишая ма-



лейшей надежды на спасение, черной тучей, вздымая вихри по пути, несутся три полка русской конницы... А с других двух сторон, замыкая совсем полукруг, появились пешие тяжелые отряды, чтобы не проскользнули татарские всадники между городом и русскими шанцами, чтобы никто не ушел от гибели!

— Гибель!.. Гибель... Яман!.. Алла!.. Алла!.. — завопили со стен городских.

Окруженные враги тоже кричат... Но дико, вызывающе:

— Смерть гяурам! Смерть нечестивым!..

И, видя невозможность спастись, отчаянно кидаются в битву, чтобы не дешево продать свою жизнь...

Каждый татарин, словно кабан, затравленный стаей ярых псов, умирая, старался только поразить кого-нибудь из ближайших к нему русских... Звон от скрещенного оружия, редкие пищальные выстрелы... Ржание коней... Кровь хлещет ручьями...

Сплотясь отдельными кучками, татары смело отстаивают если не жизнь, так месть свою. Однако перевес у русских стал очень велик.

И так же стихийно, как мчались раньше за врагом, повернули к лесу татары, пробиваясь сквозь густые ряды ратников. Но в лесу их тоже ждут русские. Ловят, режут, снимают с деревьев, куда многие взобрались, надеясь укрыться от врага... А тех, кто просит пощады, вяжут крепко и сводят в одно большое стадо...

Много в этом стаде собралось народу, больше тысячи человек. Окровавленные, израненные, в изорванной одежде, измученные, многие — полумертвые, они все дышат хрипло, тяжело, словно запаленные кони, и ждут: что с ними будет?

И с победными кликами погнали русские воины все это стадо прямо в свой стан.

С ликующей душой выслушал Иван донесение о победе.

— Спасибо, княже! — обняв и целуя Горбатого-Суздальского, сказал царь и тут же снял с себя дорогую цепь с золотой гривной и возложил на воеводу.

Велел наградить и всех бывших с князем воевод, сотников и воинов простых.

— А теперь еще задача есть для тебя. Ступай к Арскому городку, по горячим следам, где в засеке ук-

репились было эти окаянные... Добей остатки татарские, сотри главу змиеву!

Через три дня, передохнув немного, в сопровождении князя тверского Семена Микулинского, Горбатый выступил в поход, а через неделю вернулся из Арска с огромной добычей, все с провиантом, дотла разгромив войско татарское, там засевшее...

Между тем пленников, взятых в последнем бою под самой Казанью, Иван велел на другой день привести к городской стене и привязать их к частоколу, укрывающему русские полки.

Из тысячи — всего пятьсот человек еще на ногах держались. Их и привязали к тыну. И приказал Иван:

— Молите ваших, чтобы сдались мне. Не то вам смерть сейчас будет! А сдадут мне город и царя Казанского — всех пощажу, ни волоса единого, крохи малой вашей не трону, Бог порукой!

Не сразу послушали, крепились сначала пленные... Но под страхом мук, под угрозой смерти, почуяв на голом теле острие казацких пик, стали звать своих.

Высыпали на стены казанцы...

Зачернели, запестрели верхи башен и просветов между «тарасами» от татар и татарок, которые приходят на стены, мужьям есть приносят, землю копать помогают...

А пленные, покоряясь нужде, повторяют, что им приказано:

— Сдавайтесь, братья! Ворота откройте городские, хана выдайте... Гяуры обещают за то, что ни крохи не возьмут из добра вашего... капли крови не прольют мусульманской... А иначе — муки и смерть ожидают всех нас, да и вас потом! Одумайтесь, братья!

Рокот пробежал по стенам городским... Вопли ненависти, крики проклятий донесли до пленных и до русского стана.

— Предатели!.. Отщепенцы проклятые!.. Собаки перекрещенные!.. Пусть вам язык отсохнет за ваши слова... Пусть гниют души и тела ваши!.. Скорее Волга назад потечет, чем мы гяурам сдадимся, царя и веру предадим на поругание... Недолюдки поганые вы вместе с гяурами московскими!.. Да подышайте вы лучше от наших рук, чем от необрезанных урусов поганых.

И тучи стрел, град пуль полетели со стен и в своих, привязанных татар, и в войско московское.

Тогда русские тут же доби́ли всех жалких своих пленников...

— Нет, видно, добром не кончить дела! — решили царь, воеводы и бояре, когда узнали от очевидцев обо всем этом событии.

— Давно бы на приступ последний пора кинуться! — заметил бывший при этом Курбский.

— Рано, Андрюша, рано! — ласково отозвался царь. — Мы еще попытаем измором их взять. Воду у них одну мы отняли: к Булаку и к Казанке-реке никакого им подступа нет, окаянным. Перебежчики новые, недавние, Камай-мурза и другие мне сказывали: последняя у казанцев вода — ключ потаенный от Казанки-реки проведен. Попробуем эту последнюю воду взять у неверных. Что тогда скажут? Без бою не сдадутся ль? А то и так много крови христианской пролито. А за эту за кровь не вам, бояре, — мне ответ придется Богу отдать.

И долго в тот вечер Иван разговаривал с размыслом-инженером своим искусным, с Бутлером, англичанином, о подкопе толковал при Адашеве и Владимире Старицком, который и спал в одном шатре с царем.

Начальник всех размыслов, дьяк Иван Выродков, здесь же был, советы «немца» и приказы царя выслушивал, распорядился потом, чтобы землекопы собрались к рассвету, чтобы англичанину бочки с порохом, с зельем боевым, были выданы, сколько надобно.

Пригодилась тут баня Даирова. Дознались ученики Бутлера, что именно здесь, близко под землей, ход проложен к источнику, который снабжает водою осажденных. Сам англичанин в других местах рылся, а сюда подручных послал.

Пытались наперерез они издали к потаенному ключу этому подойти, подкопаться... Да каменная гряда мешает, которая здесь именно пролегла.

Тогда стали прямо из бани подкоп вести. Земля там влажная, мягкая оказалась, как всегда близ воды бывает.

Осторожно повели галерею, дней десять рыли и, наконец, на одиннадцатый день донесли Шереметеву и Серебряному, что над головами русских землекопов голоса слышны, словно кто ходит там, — все больше женские голоса...

Сами воеводы в тайник сошли, где ползком, где в три погibli согнувшись, добрались до места.

Вода сквозь песчаный грунт просачивается... Голоса слышны, правда... Шаги глухие... Ошибки быть не может!

И пошли к царю с докладом.

В субботу это было. Сейчас же одиннадцать бочек пороху подкатали под тайник.

А в воскресенье подожгли мину и страшный грохот потряс воздух. Облако черного дыма, столб земли поднялся на воздух. Целый угол стены с башней высокой, Мурза-Алеевой — все взлетело к небу, и оттуда обломки, камень, бревна, куски тел человеческих, целые трупы — все это рухнуло на головы казанцев, пораженных ужасом. И, в довершение всех зол, в город ворвались отряды русских, стоявшие уже наготове, и прошлись, как пожар, широкой полосой по всему этому концу, пока не опомнились татары, не подоспели с других концов воины, сеиды самого Эддин-Гирея, и оттеснили они обратно нападающих за городской вал, за широкий ров.

А затем всю ночь лихорадочно работали при свете колеблющихся огней казанцы, стараясь возвести временный оплот вместо разрушенной старой стены городской.

Лишение воды быстро сказалось в осажденном городе. Последние запасы влаги иссякли. Дождевую воду собирали и продавали на вес золота. Но ее не хватало. Тайные запасы воды в ханском дворце тоже были не особенно богаты. А простой народ, те, кто из посадов и окрестных сел бежал в Казань при нашествии русских, эти все прямо гибли от жажды. Иные перебегали к осаждающим. Другие кинулись рыть землю во всех направлениях. Но в колодцах и в небольших источниках, вытекающих из земли, пропитанной кровью, отбросами и трупными остатками, как во всех восточных городах, везде вода была мутная, вонючая, ядовитая, порождающая гибель и чуму среди несчастных, вынужденных утолять свою жажду такой водою... Ужасными, разбухшими, почернелыми трупами был усеян весь город. И убирать даже некому эти тела.

Ожесточение казанцев стало сменяться тупым отчаянием. Только хан и его близкие не теряли надежды. А среди черни казанской рождались все новые и новые слухи, один другого тревожнее.

Не мало поработали при этом и такие люди, кото-

рые появились в осажденном городе, побывав раньше в московском стане, где получали щедрые подачки и посулы на большее, если «приведут к покорности юрт» так, чтобы без крови могли русские овладеть Казанью.

Сентябрь к концу идет.

Тихий день осенний, сиявший над измученным городом, тихо догорел, сменяясь тихой, влажной ночью.

Как нарочно, ливни, что ни день проносившиеся здесь в начале осени, теперь прекратились...

Темная, тихая, спустилась сентябрьская ночь. Темно и страшно на улицах Казани, в ее тесных, кривых переулках, на широких площадях. Тени какие-то бродят, шатаются, стенают от жажды и от голода...

Трупным, тяжелым запахом пропитан весь воздух. При малейшем дуновении ветра запах этот доносится и до осаждающих, вызывая тошноту у непривычных.

Но казанцы сами уж притерпелись ко всему. Одержимые голодной бессонницей, крепко затянув животы кушаками, бродят во тьме фаталисты-мусульмане, покорно ожидая смерти.

Вдруг, прорезая тишину, прозвучал какой-то дикий вопль: не то вой зверя, которому нанесли смертельный удар, не то полуподавленное рыдание безумца...

Из ночной темноты, откуда донесся вопль, скоро стала приближаться к толпе тихо толковавших и жалобившихся татар какая-то неясно чернеющая и бегущая человеческая тень, которая и издавала дикие стоны.

— Шейтан!.. Шейтан!.. — можно было различить наконец среди завываний, издаваемых беглецом.

Толпа, стоящая среди площади, вздрогнула, заволновалась... С земли поднялись еще другие силуэты...

— Что случилось? Что такое?.. Не враги ли снова в город ворвались?

— Нет. Это сумасшедший Керим! — успокоил кто-то.

Все знали Керима, который и постоянно отличался странностями, слыл блаженным полудураком, а теперь от лишений и жажды совершенно обезумел.

Кто-то, наконец, остановил крикуна, который бежал с выпученными глазами, трясясь всем телом, как избитая, продрогшая собака.

— Что с тобой, Керим? Чего ты испугался? — спросил у бедняка один из толпы, которая быстро собралась к месту остановки безумного.

— Ай, шейтан... Шейтан... Пустите!.. Из юрта бегу! Не стоять Казани. Пустите меня... Гяуры сейчас войдут.

— Где? Что? Почему?.. — раздались тревожные оклики. — С чего ты взял, Керимка? Будет дурить... И без тебя тяжело!..

— Еще хуже будет!.. Сейчас мне сам шейтан ихний, московский, сказал, что еще хуже вам будет!..

— Да не путай! В чем дело? Говори!.. — пристали к напуганному человеку такие же напуганные, измученные, но еще не обезумевшие окончательно люди.

— Ай, ай!.. Сейчас скажу... Зашел я только что в землянку свою, что под стеной... Холодно мне стало, есть захотелось... Ничего я весь день непил, не ел...

— Да ведь и землянка твоя не теплая... И там — пусто! Ни хлеба, ни глотка воды не найдется...

— Ай, нет!.. Шейтан там!.. Вхожу и думаю: хоть от пуль от гяурских у меня здесь спокойно под земляной крышей... А вижу, светло в моей землянке... Печь так и пылает... И столько в ней хлеба! Румяный, свежий хлеб... А на столе кувшин высокий с чистой ключевой водой. А на соломе, где я сплю... Нет! Там вдруг вижу я ложе богатое, мехами устланное... А на ложе белый старик-гяур сидит... с большой бородой... Вот как я в Свяжске, в мечете ихней на стене видал... И говорит он мне...

Тут голос безумца совсем оборвался от волнения.

— Что говорит? Ну, поскорее! — слышались нетерпеливые оклики.

— Говорит: «Не противьтесь царю Ивану... Он погубит вас всех! Час близок. Судьба велит: покоритесь, чтобы не погибли все!» И вдруг темно стало в моей землянке и все пропало: и хлеб, и вода... и огонь в печи!.. — с глубокой грустью закончил Керим. — Я испугался очень и бежать кинулся! — после небольшого молчания добавил он.

— Неправда! Он грязь ест (лжет), этот подкупленный слуга гяуров! — вдруг прозвучал чей-то властный голос.

Ходжа, паломник, полудуховное лицо у мусульман, подошел к толпе и слушал со всеми рассказ безумца. Он и поднял голос.

— Он не лжет, отец, — заступились другие. — Он бедный больной. У него душа спит... Он безумец!

— Не спит моя душа! Все она видит! — внезапно

обидчивым голосом возразил Керим. — Пойдемте, сами посмотрите! Может, он опять придет, этот шейтан?.. Я не лгу!

— В самом деле, пойдем! — предложил кто-то.

— Идем, идем! — повторил за всеми ходжа.

И медленно двинулись в темноте эти черные, неясные призраки людей, направляясь к землянке-сакле Керима, вырытой недалеко от городской стены.

Чем дальше подвигались все, тем большее волнение овладевало ими. Даже ходжа почувствовал, что посох так и ходит в его привычной руке и не сразу нащупывает в темноте дорогу.

Вот затемнела землянка Керима.

Он не решается сам подойти к ней. Тогда один из спутников, бледный как полотно, такой же бледный, как и все остальные сейчас, — осторожно растворяет темную, повисшую доску, заменяющую дверь.

В землянке темно. Из нее так и пахнуло сырым, промозглым, подвальным воздухом.

— Видите, я говорил! — произнес ходжа, начиная немного овладевать собой. — Ничего. Войдемте в эту дыру, чтобы лучше убедиться... Входи, крот, в свое жилище.

— Я.... я... — бормочет Керим и пятится назад, словно пес, почуявший привидение.

Волосы на голове встают у него дыбом...

И все сразу заражаются безотчетным ужасом бедняка, но все-таки, пересилив себя, входят за ходжой в землянку. Тихо, темно, как в могиле... И вдруг случилось что-то непостижимое! Какой-то неясный свет стал проливаться со всех сторон... В углу обозначилась пылающая печь, жерло которой полно румяными хлебами. Онемели голодные, потрясенные люди... Вот и стол, как говорил Керим, а на нем чудной работы графин с кристальной водой... И кровать царская с меховой подстилкой, и на ней сидит старик...

Высокий, мощный, с белой бородой... Совсем как описал его Керим. И старик этот заговорил... Не видят друг друга вошедшие, не слышат своего испуганного дыхания, но ясно видят и слышат старика... Грозно звучат слова его:

— Не противьтесь царю Ивану Московскому. Он погубит вас всех! Час близок, судьба велит: покоритесь, чтобы не погибнуть!..

И только отзвучали слова, как все исчезло. Снова тьма и могила-землянка кругом...

В ужасе кинулись прочь трепещущие люди, разбежались во все стороны, заражая десятки и тысячи других своим ужасом, передавая о чуде, какое «видели своими глазами, да еще всей толпой»!..

Ходжа прямо во дворец кинулся, добился, чтобы его допустили к Эмиру-Кулла-Шерифу, к главному мулле, и рассказал, чему был свидетелем.

Испытующе посмотрел мулла на ходжу.

— Нет, не подкуплен... вон как трясется, словно в лихорадке!.. Бледен, как призрак!

И, помолчав, мулла произнес:

— Нет Аллаха, кроме Аллаха, и Магомет пророк его. Чары это все неверных московов... Молчи и никому не говори о том, что видел!..

Отпустил ходжу, сам к царю, к молодому хану Эддин-Гирею идет.

Измученный дневной тревогой и объездом крепости, заснул Эддин-Гирей. Разметался могучим, стройным телом на мягких подушках постели, а головой лежит на груди у любимой жены своей, крымской царевны Гюль-Джемаль.

Бледное, истомленное лицо хана и во сне словно озабочено. А молодая царица не спит, сторожит сон любимого мужа. Широко раскрыты большие, черные глаза с миндалевидными, синеватыми белками, среди которых фосфорически светятся сильно увеличенные зрачки взволнованной, истомленной и бледной красавицы. Чутко ловит она слухом малейшие звуки, таинственные и неожиданные, какие всегда раздаются ночью в старых покоях. А дворец — старинное здание. Чуть ли не первым ханом казанским, братоубийцей и отцеубийцей Махмутеком, построен лет сто тому назад.

Тревожно спит, изредка даже вздрагивает и слабо стонет во сне Эддин. Слезы тихо проступают на красивых, газельих глазах ханши, и она не отирает их, шевельнуть рукой боится, чтобы не потревожить сон измученного страдальца хана, супруга своего. Скатываются слезы одна за другой по бледным щекам на подушку, а Гюль-Джемаль тихо, неслышно почти шепчет:

— Махлáy... махлáy!.. Усни, усни, мой повелитель. Газы (воин) непобедимый!.. Пусть Алла тебе сил и здоровья пошлет... Спи, мой красавец!



И шелест этих сердечных заклинаний словно повлиял на спящего: он меньше тревожится во сне, дыхание стало спокойнее, ровнее.

Вдруг за дверью послышались сдержанные голоса, звякнуло оружие янычара, охраняющего вход извне; быстро поднялся с полу дремавший в самом покое евнух ханского гарема.

Дверь распахнулась, и в полуосвещенной горнице, на пороге обрисовалась чья-то высокая фигура.

Затрепетала Гюль-Джемаль от предчувствия новой беды, а хан уже вскочил, кинулся к ятагану и к тяжелым итальянским пистолетам, лежавшим всегда наготове у ложа, и с криком:

— Измена?.. Рубите гяуров!.. Ко мне, мои сеиды! Ко мне, джигиты! — готов был ринуться вперед.

Но его остановил знакомый голос Эмира Кулла-Шерифа. Духовный вождь мусульман внушительно заговорил:

— Приди в себя, хан, успокойся. Нет никакой измены. Это я иду к тебе, по делу важному...

Тяжело дыша, остановился Эддин. Крупные капли холодного пота струятся по лицу, по вискам. Крепко стиснутые зубы раскрылись, и хриплым голосом переспросил хан:

— Ты это правда, святой отец?.. А мне приснилось...

— Что приснилось тебе, сын мой?..

— Вздор! — совершенно овладев собой, произнес хан, стараясь загладить впечатление трусости, какую была отмечена только что миновавшая сцена. — Мертвецы мне снились. Будто все прежние ханы казанские собрались в тронном зале, страшные, скелеты голые, но с венцами царскими на головах и с буздыганами, с чеканами и скипетрами в руках... И стали они меня на трон сажать... Посадили, а сами выются хороводом кругом, кости стучат... И поют: «Пробил час! Искупится кровь, пролитая Махмутеком-отцеубийцей. Новый царь владеет юртом... царь Московский...» И кланяются мне. Я огляделся, а я — больше не я... Другой вместо меня... И чужим голосом я спросил у скелетов: «А где ж Эддин-Гирей, хан казанский?!» Захохотали скелеты и завyli: «Нет его! Мы изменой подкрались, схватили, убили его! Вот он где!..» Гляжу склеп раскрылся в стене, а там — я же, но только скелетом лежу... а на шее

шнурок... и сорвал я шнурок, выскочил из склепа... раздвоился словно... И тот, что на троне, царь Иван — это я... И в виде скелета на мертвецов я же бросился, хотел им за измену отомстить. Вдруг слышу звон оружия... Вскочил спросонья и... сам не помню, что уж закричал наяву. Прости, отец.

— Моя вина, сын мой. Ненароком вошел в поздний час. Все мы теперь не свои... А сказать надо тебе. Время не терпит. Рассвет близко. Муэдзинам скоро пора и в месджиды идти, на минареты подыматься... Слушай, что случилось...

И рассказал мулла хану о видении толпы людей, с ходжою во главе.

Еще больше омрачился хан. Сидит молчит. Гюль-Джемаль, схватив покрывало, закуталась, забилась в дальний угол постели широкой и холодеет от ужаса.

— Слышал ли, сын, что я говорю?

— Слышал, отец. Что же делать?..

— На чары — надо молитвой отвечать. Чтобы народ видел, что бьемся мы, при помощи Аллаха, с наваждением гяуров. Чуть народ проснется, к мечетям тронется на ранней на заре, надо послать духовенство и дервишей всех, какие в городе, пусть на стенах соберутся городских в разных местах... Пусть на площадях явятся... Их молитвы и хороводы священные, кружение неистовое хорошо на чернь влияют, веру зажигают в народе... Да и враги, я знаю, — опасаются этих дервишей и шаманов из Сибири дальней, тех вот, которые с Азизой, с третьей ханшей султана Сафа-Гирея, сюда прибыли еще... Пусть ворожат, колдуют, молятся... Небо и ад пусть помогают нам против неверных собак!..

— Хорошо, отец, делай, как хочешь. Я драться умею... А со всем остальным уж ты управляйся... как хочешь...

— Ну, пусть так. Не падай духом, сын мой... Еще настанут светлые дни по воле Аллаха...

— Да будет воля Аллы!..

— Она свершится! Недаром мы подняли зеленое знамя пророка, оповестили всех и созвали на газават (священную войну за Ислам!). Не склонится гордый ислам перед ихним деревянным Распятием!

И, постаравшись ободрить надеждой хана, хотя сам уж давно потерял всякую надежду, вышел старик мулла от Эддин-Гирея.

Поскакали гонцы во все мечети, где приютились софты, муллы, шаманы и дервиши разных сект и орденов мусульманских... Еще темно было, а на стены городские в разных местах взобрались шаманы со своими бубнами и жертвенными принадлежностями, дервиши с посохами и связками амулетов.

Первые из них, взобравшиеся по откосу стены на башни, охраняющие ворота, так называемые Ханские, или Царевы, были поражены неожиданностью. Вчера еще вечером не было здесь ничего. Правда, воины Большого и Передового полков, занимающие все Арское поле, которое стлалось перед этими воротами, подобрались со своими турами и траншеями к самому рву городскому. И только он, шириной в двадцать аршин и глубиной до трех сажень, отделял стены крепостные от русских сил.

Но крепко охраняли эту часть стены казанцы. Они даже, воспользовавшись оплошностью воинов, ушедших к котлам за варевом, чуть было не овладели всеми ближними окопами и траншеями москóвов... Только геройским усилием, с потерей двух-трех сотен воинов, последние могли вернуть себе свои позиции, причем главный воевода, князь Воротынский, и Морозов Петр, и Юрий, князь Кашинский, были ранены наряду со многими другими.

И в этом самом месте что-то новое, непонятное случилось. Против самых башен, по ту сторону рва, словно выросло в ночь что-то огромное, высокое, страшное... И огни мелькают в ночной тьме, голоса слышны вражеские... Копошатся тени какие-то... Задремавшие было на стенах, стражники татарские проснулись с приходом своих и тоже глаза протирают, с ужасом глядят...

Вот посветлело покрытое тучами небо на востоке и можно яснее все различать кругом.

Оказывается: за ночь гяуры из-за холма, из ближайшей рощи подтащили к самым стенам огромную передвижную башню, которая своей вершиной намного превосходит высоту стены крепостной казанской. Очевидно, сам царь Иван, сведущий в эллинских премудростях, или размышлы московские задумали воссоздать древнюю греческую осадную башню, знакомую и македонцам.

Высока и могуча эта башня. Тяжела так, что на

всем пути, где волокли ее, ряды бревен, по которым, как по рельсам, ее катили на вальках, глубоко вдавились в землю. Чернеет широкою полосой тот путь, где прошла громада. Должно быть, сотни быков, лошадей и людей тянули этого деревянного гиганта, прочно построенного из толстых бревен, охваченных железными обручами, скрепленных такими же стыками, закрепами на углах и по всем перекрестным соединениям.

Высока башня, на много саженей выше стены крепостной, но ее тут же, на месте, еще надстраивают. Заранее пригнанные, отесанные части устанавливаются, прилаживаются, скрепляются железными болтами и скобами. Сверху ряды толстых кож навешаны вместо стенок. За этой стенкой, как за надежной защитой, люди копошатся, меткие стрельцы московские. Их ни стрелы, ни пули пищальные не достанут... А они, все отборный люд, уже прилаживают самопалы и пищали, чтобы снимать со стен защитников Казани.

Внизу, у башни, другая работа кипит: мортиры и пушки тяжелые наверх воротами могучими втаскивают и размещают в разных ярусах чудовищной постройки этой, новой беды, приготовленной Русью на погибель юрту мусульманскому.

Смотрят татары-воины и старшие ихние, беки, уланы, сеиды, — сердце страхом сжимается... А дервиши, шаманы, словно им и дела нет ни до чего, уж приступили к своим таинственным, странным, а порой и страшным, кровавым обрядам, мольбам и заклинаниям.

В свою очередь, заметя беснующихся людей на стенах казанских, русские заволновались.

— Сызнова колдовать стали, проклятые!.. Ну, теперя жди беды! Давно ли перестали ливни лить, которые были колдунами-еретиками богопротивными накликаны?!

И, словно подтверждая ожидания всех, беда стряслась немедленно. Зазевался десятник один при подъеме большого орудия, вовремя не крикнул: «Трави канат!» Тяжи лопнули от натуги. Тяжелая глыба металла сорвалась вниз, давя и ломая всех и все по пути.

Башню чинить пришлось, людей — человек сорок недосчитались... А шаманы все вертятся, все поют гнусавыми голосами, призывая защиту темных и светлых сил на родной юрт казанский.

Как бы в ответ на чары из русского лагеря в утрен-

нем воздухе зазвучали и донеслись напевы церковного клира. Крестный ход вокруг города пошел, чтобы отклонить все козни бесовские...

Но, и помимо Божьей помощи, русских, как муравьев, кругом крепости видимо-невидимо! На место убитых другие встали... Пушку втащили, куда надобно было, бревна новые вставили в осадную башню, и прогремел оттуда первый выстрел... Раскаленное ядро с шипением и свистом зловещим пронеслось над головами воинов, чернеющих на стене, и врезалось в стену высокого дома, стоявшего шагах в трехстах за стеною.

За первым — второе, третье ядро провизжало... Пожар вспыхнул в груды обломков, бревен и досок, какую представлял теперь из себя дом, еще недавно такой обширный, высокий и прочный на вид.

И опустела вся площадь, куда из башни ядра и пули достигать могли. Обыватели разбежались... Пусть выгорит все! Тогда спокойнее будет. А казанцы-воины, стоявшие в этом конце, словно кроты, стали совсем в землю зарываться за стенами, чтобы ни пуль, ни ядер не бояться... И все больше и больше нор в земле копают они, выходы под стенами прямо в ров выводят... Отсюда, как змеи, днем и ночью выглядывают осажденные, выползают в удобную минуту и поражают врага, а потом быстро в ту же нору снова уходят, за стены возвращаются.

И опять потянулись долгие, бесконечные дни тяжелой осады, увеличивая муки татар, но не принося решительной победы войскам Ивана. Газават, священная война — дело великое! Пока жив хан, пока живы еще люди, способные держать оружие в руках, борьба не прекратится. Никакие ужасы не принуждают к сдаче, которой так ждет и так желает царь Иван.

— Нечего делать! — решил тогда он со своими воеводами. — Надо кровавую чашу до дна пить, пострадать за Крест Святой, за веру православную. Пусть великие подкопы дороют, стены расколют, орех нам раздавят... До зерна мы и сами доберемся!

Лихорадочней еще закопошились землекопы, которые у тех же Арских ворот, где русская башня выросла, давно в земле роются, подкоп большой под стену казанскую ведут. Каждый шаг вперед учитывает да со-

размеряет «немчин» Бутлер, инженер-англичанин, крот подземный, и решил он, наконец, что пора остановиться. Под самой стеной и под башнями находятся теперь с ним его помощники.

Огромную пустоту, устроенную здесь глубоко под землей, быстро наполнять стали бочками с порохом. Одиноким фонарь, который лежит подальше от бочонков, сюда попадающих, еле освещает стены подземной пещеры, где земля осыпается и глядит сквозь свежие, редкие подпорки, кое-как поддерживающие потолок и стены. Пещера не для жилья вырыта, не каземат для воинов. Лишь бы не засыпало людей, пока порох сюда сносят.

Также небрежно укреплен и ход весь, узкий, темный, подземный ход в эту пещеру. Но пол досками устлан, чтобы легче было бочки с зельем боевым катить. Тесно составлены бочонки. Целых полсотни их... Днища выбиты у всех. Порох наполовину высыпан на землю. А чтобы он не отсырел — вся земля здесь сперва мхом, а потом густо досками и рогожами устлана.

Это все было 29 сентября закончено.

30 сентября, до зари, построились полки: Большой да Передовой, хоть и не целиком. Отборные люди в бой изготовились, из тех, кто меньше устал, дальше от стены стоял в последние дни. Воеводы: Шереметев и Серебряный — на Аталыковы ворота сами вести войска собираются. Два брата Воротынских, Мстиславский, Бельский и Горбатый с Шуйскими — все эти князья-воеводы тоже лично стали во главе полков, которые угрожают воротам Царевым и Арским.

От Волги Шереметев и Серебряный должны ложный приступ повести; а здесь главное нападение готовится. Только ждут, когда придет время.

И оно настало. Порозовели края облаков, из зарослей на реке поднялись стаи пернатых перелетных гостей, которые в заводях волжских да у Казанки-реки ночевали по пути на юг...

К размышлу Бутлеру примчался верховой. Инженер стоял у подножья небольшого холма, в котором зияло отверстие мины, первой из трех, законченных мудрым чужеземцем.

Шепнул ему верховой слово заветное, приказ от царя: мину рвать... Нагнулся Бутлер, зажег фитиль, пробежали искры и огоньки по следу пороховому, по запа-

лу, дальше, туда, в черную, непроглядную глубину подкопка. Минуты идут, и медленно тянется время в ожидании. А вдруг не взорвет? Засыпало дорожку запальную... Помешало что-нибудь огню дойти до запасов пороховых?.. По расчету пора и взрыву быть... Томительно тянутся минуты... Секунды вечностью кажутся. Русские ведь шутить не любят. Особенно их молодой и ласковый на вид, но неукротимый и бешеный порою царь. Заподозрит в измене «чужака-немчина» — и петля ему готова!

Дыхание перехватило у размысла... Губы невольно шепчут слова молитвы, забытые чуть ли не с детства... И вдруг — земля словно дрогнула легонько под ногами...

Мгновенье, другое — и громовой раскат вырвался из недр разверзшейся земли... Там, далеко, почитай у самой стены казанской, — камни, дым, бревна на воздух полетели, затемняя прозрачно-перламутровую синеву осеннего утреннего неба. Взорваны были все земляные окопы и валы, которыми укрепились казанцы против осадной башни у Арских ворот. Стена сама уцелела еще. Ее не коснулся подкоп. Тем не менее зная, как ужасны последствия такого взрыва, помня первый подкоп под тайник водяной, все, уцелевшие здесь на стенах, татары и те, кто даже по соседству стоял, — после первых мгновений оцепенения все кинулись в разные стороны, позабыв, что открывают врагу широкий вход в город...

А враг не дремлет! Спокойно, словно на смотре царском, на Красной площади, подходят полки к самым стенам Казани. Землекопы и воины служилые, кому назначено, катят готовые туры и ставят новые ряды их уж вплотную ко рву и даже за рвом городским...

Вот полки, отряд за отрядом, вошли в ворота Арские и в соседние с ними, в Большие, Аталыковы... Но тут еще одно препятствие: второй ров, по ту сторону стены. А через этот ров мосты перекинута, по которым защитники на стены городские попадают... Оглядевшись немного, только что хотели воеводы повести дальше полки, через мосты эти самые, и вступить в город, как там из всех улиц появились ряды татарских воинов... Спихнулись неверные. Обратно бегут, пролом защитить хотят, врага назад отбросить. Но это трудно. Где московский конь ступил, там татарскому

чевяку места нет! Бой завязался, сеча жестокая... Режутся, бьются враги... А между домами той части города, которая против пролома, против Арских ворот стоит, — там уже воздвигаются новые завалы... Старик, женщины, дети землю копают. Бревна накидывают... Жестоко нападают татары, стараясь отстоять свои дома и семьи от врага. Тесно стало в переулках, негде русским строя своего развернуть... Приходится один на один с казанцами биться. Да этим легче. Дома и стены помогают. На русских из каждого окна, из-за каждой стены — пули летят, кипяток льется, камни валятся и дробят шлемы и черепа нападающим...

Отступили москows... Ободрились казанцы... До ворот прогнали полки русские... Из ворот гонят...

Вдруг князь Воротынский, напрасно старавшийся ободрить войско, оглянулся и увидел, что сам Иван, заинтересованный исходом боя, оказался невдалеке, на одном из соседних холмов, окруженный всеми своими ближними боярами и воеводами.

— Дети, стойте! Не поддавайтесь неверным! — загремел голос воеводы, сразу словно перерожденного. — Стойте!.. Глядите!.. Сам царь на нас смотрит... Царь там стоит! Государь на нашу верность глядеть пришел... Назад! На бой!.. Бей неверных!.. Колотите обреченных!.. Не поддавайся, братцы!.. Царь подмогу пришлет!.. Он нас не выдаст!..

Так, кидаясь от одной толпы бегущих воинов к другой, убеждал воевода...

И убедясь, что царь действительно стоит и смотрит вдали, воспрянули духом ратники... Бегущие остановились, стали снова строиться в ряды на рву, за стенами крепости, куда их успели оттеснить казанцы, и словно бешеные пошли вторично на приступ. Не ожидали ничего подобного татары, совершившие последнее усилие, чтобы выгнать врага, — и дрогнули — побежали они опять, а русские за ними.

Секут, давят конем, кто на коне... Руками душат, если так близко схватятся, что нельзя ни мечом, ни кинжалом работать... Завалы новые опрокинуты! Вот в широкие улицы русские ворвались... На площадь большую вышли... Здесь прямо станом стоят люди сельские, купцы с верблюдами, с товарами, все, кто в городе заперся...

Видя, что воины татарские разбежались, что сопро-



тивления нет, отряды русские и за грабеж принялись, режут беззащитных, старых, женщин и детей... Отымают, что на глаза попадается. А увидят лучшее, бросают прежнее и новое берут. Целый городской угол, большой участок на холме, весь в распоряжении победителей! Главные силы хана собраны во дворце его. Оттуда не выходят, дожидаясь, что-то случится на месте взрыва?

У ближних к пролому Аталыковых и Крымских ворот защитникам города дела по горло: там Шереметев, да Серебряный, да Микулинский стены и ворота громят, не дают возможности сойти с поста, прийти на помощь бедствующим собратьям в тот край, где пролом... Почти полгорода, до Купецкого, до Тезицкого рва, заняли уж русские. Воротынский, опьяненный такой удачей, говорит брату:

— Скачи к царю... Расскажи, что Бог послал! Наша Казань! Пусть достальное войско на подмогу шлет. Нынче же к вечеру его во дворец введем, на трон агарянский посадим!

Умирая от усталости, в пыли, в крови доскакал меньшей Воротынский до места, откуда Иван наблюдал за боем, то и дело посылая узнавать о ходе сражения.

— Бог на помощь!.. Что скажешь, князь?.. — быстро спросил Иван, едва подскакал к нему Воротынский.

— Победа, государь! Да славится имя Господне! И тебе бессмертная слава во веки веков!..

— Видел... знаю... Спасибо, княже!.. Всем спасибо! Дай обнять тебя! Ну, говори: засели крепко в башне? Стены заняли? Можно будет завтра и главный приступ повести?

— Зачем завтра? Сейчас веди полки все на бой. Наша... твоя Казань! Погибнут неверные, рассеются, аки прах от дуновения ветра...

— Да что ты?.. Говори, в чем дело?.. — произнес Иван. А глаза у самого так огнем и загорелись, вспыхнуло краскою бледное до сих пор лицо.

Воротынский живо описал, как далеко ворвались оба полка в самое сердце города... Теперь двинуть остальное русское войско прямо во дворец — и взять можно хана живьем со всеми его сеидами.

Воодушевление и вера Воротынского в полную победу окончательно заразили царя. Он весь дрожал, не сводя взоров с осажденного города. Из-за уцелевших

домов предместий — высились стены, валы надо рвом, зияющие широким проломом у Арских ворот. А дальше все было затянуто дымом и пылью, которая взметнулась на воздух в момент взрыва и еще не улеглась, не успела осесть...

И вдруг, повернувшись порывисто к Морозову, царь сказал:

— Скорей гонцов по полкам... На приступ трубить!.. Все на бой! Раздавим врага нечестивого, коли Бог того хочет!

Но тут из рядов выступил Адашев, с почтительным видом приблизился к Ивану и, склонясь на седле, негромко заговорил:

— Государь, не прикажешь ли обождать еще? Не велишь ли твоего первого слова держаться? Пусть наши воины, что в город вошли, к стене да к башне Арской воротятся. Сам же ты решил на совете: рвы надо засыпать, широкий путь приготовить, все наши подкопы взорвать, вконец обездолить врага — а тогда уже с татарами последним, смертным боем переведаться... Сам же ты решил, государь! Прости, что я, слуга твой, смею напомнить тебе... Твою же волю напоминаю...

— Я решил — я и перерешить могу. Что ты учишь меня? Что ты смыслишь? Не все расчет, инó-де и отвагу Бог любит, особливо в ратном деле... Да и некогда мне толковать с тобою. Вон солнце как высоко! Успеть бы двинуть полки... все свершить до вечера!..

— Не поспеем, государь!.. Осенний короток день... Если и сейчас велишь подкопы рвать, — пока соберемся, пока ударим — и ночь настанет. И все пропадет... Успеют за ночь оправиться неверные... Помысли, государь!..

— Прочь!.. Оставь! — уже с явным раздражением проговорил Иван. — Зазнался холоп... Много воли взял! Я ли сказал: подкопы рвать, полки собирать! На приступ пусть трубы трубят... Слышали...

Морозов и все остальные вожди, понимавшие, что Адашев прав, не торопились исполнить приказ царя.

Он огляделся, и уже нескрываемая ярость сверкнула в его глазах, сразу помутневших, налившихся кровью.

— А-а... — хриплым каким-то, не своим голосом заговорил Иван, — ты им всем тоже внушаешь, не слушать приказу царского... Да я тебя...

И судорожно рука Ивана скользнула к рукоятке богатого ножа, украшенного камнями, висевшего в ножнах сбоку у царя. Звякнули колечки кольчуги одно о другое от судорожного движения. Напружились жилы на лбу у Ивана, переполняясь кровью.

В это самое мгновение Адашев, сидевший в седле перед царем с поникшей головой, вдруг весь выпрямился и, уловив взор Ивана, стал глядеть ему прямо в глаза своими черными, пронизательными глазами, из которых словно свет заструился, в которых читался какой-то немой, невнятный, но неотразимый, властный приказ!

И немедленно опустилась рука Ивана. Лицо подернулось легкой судорогой и стало снова бледным.

Царь, помолчав мгновенье, уже спокойнее, ровным, слегка усталым голосом проговорил:

— Ну, ладно уж... подумаем! Так, по-вашему, бояре: лучше не отваживаться зря? Утра погодить?.. Ин, будь по-вашему...

— Ты сам так решил, государь... — отозвался Морозов, видя, что неприятная минута миновала.

Адашев ничего не сказал и даже отъехал опять назад, смешавшись с рядами свиты, окружающей царя.

— Слыхал, Воротынский?.. Киньте город... Делай, как приказано: на башне, на стене отбитой укрепляйтесь... Мосты жгите, чтобы казанцы не напали на вас ночью... А мы тут рвы засыпать станем, дорогу изготовим и завтра в город все войдем.

Голову склонил Воротынский, повернул коня и скоро из виду исчез. Царь тоже поворотил коня и не то разозленный, не то смущенный чем-то молча к ставке своей поскакал.

Молча неслись все за ним.

Легко сказать было: «Киньте город, верните людей!» Трудно было это выполнить. Опьяненные резней, увлеченные легкой добычей, люди не слушали ничего, и, не видя грозящей опасности, позабыв, что, того и гляди, вернутся татары, русские ратники рассыпались далеко кругом. И дали тут полную волю всем своим страстям и желаньям.

— На бой!.. На дворец ханский грянем! — кричали ратники. Там настоящая пожива будет. Нешто можно от победы от своей вспять ворочаться?.. Изменяют воеводы наши, видно. Не слушай, братцы, вали вперед!..

И мелкими отрядами все шире и шире разливались они по этому концу Казани.

Но тут уж есаулы и сотники, побуждаемые начальством, стали действовать решительней. Нагайки замелькали. Прикладами пищалей стали назад поворачивать непослушных... Кстати показались с разных сторон и небольшие татарские отряды конных, начали они нападать на тех, кто очень отстал от главного отряда русского, в сторону отбился. Много таких отсталых пало под мечами татар и в плен было захвачено.

С великим трудом, кой-как, к вечеру собрались все ратники у Арской башни, едут и пешие идут, доверху добычей нагруженные. Новая беда тут приспела: половина ратников в лагерь ушла, сносят туда награбленное добро, прячут добычу.

Но и остальной половины хватило, чтобы занять башню у ворот и крепко там на ночь устроиться.

А стены по обе стороны башни треснули, полуразрушились, и русские их подожгли, так же как и мосты, ведущие в город. Широкая первая стена была построена из двух рядов толстых бревен, между которыми щебень и земля набита. Загорелись эти бревна, горят мосты... Рушатся обгорелые деревянные части — обшивка стены... Осыпается с грохотом камень и земля, которых ничто не сдерживает больше. И всю-то ночь, как гигантский костер, пылали эти мосты и стены, мешая татарам, уже пришедшим в себя, напасть на московов, занявших самую важную точку: Арскую башню крепостную.

Все-таки за ночь татары против пролома успели новую, временную стену возвести.

Весь следующий день, в субботу, 2 октября, осаждающие довершали свою разрушительную работу в этом месте. Пушками повалили остатки старого сруба деревянного там, где не успел огонь докончить своей работы, и разбили большую часть новой стены, той, что казанцы за ночь вывели.

Ров широкий и глубокий, больше двадцати аршин ширины и девять глубины, заполнился почти весь в этом месте: лесом, балками, землею закидали его русские. А работу их прикрывали те, кто сидел в Арской да в осадной башне.

Не позволяли стрельцы врагам ударить на работающих!..

К вечеру стихло все в русском лагере и вокруг Казани. Пушки перестали рокотать, пищали не щелкают. Во всех полках молебны служат, исповедуются люди ратные, причащаются перед последним, решительным боем.

Никто не знает: жив будет ли?..

Во дворце хана мертвая тишина и смущение: донеслось уж сюда известие о завтрашнем приступе.

Сначала слухи только были. А тут и посланный явился от царя Ивана.

Мурза Камай пришел, говорит:

— Прислан я от Московского великого князя, ради спасения жизни вашей, чтобы избежать пролития лишней крови. Отвернул Аллах лицо свое от юрта казанского. Сами видите: их, гяуров, счастье... Они на стенах, они на башне. Они завтра в город войдут... все сто тысяч воинов! Гибель Казани приспела... Покоритесь! Трех изменников, которые мятеж учинили, царю выдайте и нового хана своего, Эддин-Гирея... Простит тогда государь, все на старое повернется, миром война кончится...

Задумались все князья, сеиды и вожди казанские, которые во главе с Эмир-Кулла-Шерифом муллой на совет сошлись... Переглядываются, перешептываются...

Наконец заговорил мулла:

— На все воля Аллаха милосердного! Ты послан, ты свое сказал. Священна глава посланных... Не троном мы тебя. Вернешься к гяурам. Но стыд и позор тебе, мусульманину, что ты врагам Аллы покорен стал, что нам, собратьям, такое позорное дело предлагаешь! Не покоримся мы, не станем челом бить! На стенах Русь... На башне Русь! Пускай... Мы другую стену поставим, грудью станем за юрт, за веру, за хана нашего... Все умрем за него, за царство казанское, за волю свою или отсидимся. Зима ударит — уйдут москowsы. Не выдержат жизни в лесах наших... Ступай, пес, так и скажи, неверный раб, неверному господину своему.

От стыда и досады покусывая концы своей крашеной в медный цвет бороды, поклонился Камай, вышел, к царю Ивану поскакал, доложил об исходе посольства.

Черемисы, которые в одно время с Камаем от русских посланы были и по Казани шныряли, тот же ответ ото всех татар слышали:

— Умрем, да не сдадимся Москве!

— Да будет воля Господня! — сказал Иван, выслушав мурзу и горцев. — Видит Бог, я не желал пролития крови. Да падет она на главы им же!

И со всеми воеводами стал он обсуждать, какие последние меры надо принять, чтобы обеспечить себе удачный приступ.

С вечера во все концы, по всем дорогам потянулись сильные отряды, чтобы перенимать тех, кто пробьется сквозь главную цепь нападающих и бежать вздумает.

Царь Шиг-Алей с мурзами, воеводы Мстиславский, Оболенский, Мещерский, Ромодановский и другие, помладше, на это дело назначены. Почти третья часть войска с ними разошлась во все пути. Тысяч семьдесят для приступа назначено. Остальные, больше тридцати тысяч воинов, при царе останутся, его оберегать на всякий случай, и в виде последних резервов служить должны, если бы судьба изменила и Бог прогневился бы — удачи не послал русскому воинству...

План штурма давно уже был обсужден, выработан и место каждому из воевод назначено. На шесть отрядов разбиты все полки, а в каждом отряде тысяч по двенадцать человек.

В первую голову с трех сторон должны стрельцы со своими головами, казаки с атаманами и новгородцы, дети боярские, с соцкими и тысяцкими пойти. Царевы боярские дети из разных полков тут же. Ополчение земское с воеводами младшего разряда идет сейчас же за этими первыми штурмующими тоже тройной колонной, составляя подмогу.

Воеводы старшие со своими служилыми людьми и ратью бывалой еще больше подкрепляют всех передовых. С царем отборное войско осталось: лучшие люди, бояре дворские, новгородская рать отборная, казаки, мурзы и сеиды касимовские и другие, давно при царе служащие, люди испытанные, верные. У каждого из бояр и князей свой собственный отряд имеется, большой или малый. Из них-то и составилаь тридцатитысячная царская охрана.

Рассылая воевод на места, Иван снова строго-на-строго наказывал:

— Знака все ждите! Первого земли срыва на Арской стороне! Ранней ни шагу не делать самовольно! И все должны друг другу помогать в нужде, а не думать

едино о себе: успеть бы пограбить али неудачу избыть, убечи подалей!

Разошлись воеводы по своим местам. Князь Михаил Иванович Воротынский с окольным Алешей Басмановым своих людей готовят, против Арских ворот хлопочут, где назавтра к рассвету обещано им новый широкий пролом проломать при помощи подкопа. Вторая мина у Аталыковых ворот, близ Казанки-реки стену порушит с противоположной стороны города. Здесь, как в менее опасном месте, начальство поручено казначею князя воеводы Воротынского, Фоме Петрову, человеку хотя и незнатному, но в ратном деле сведущему и отважному.

У Кайбацких ворот князь Дмитрий Иванович Хилков впереди стоит. Ему подмога под начальством боярина, князя Ивана Ивановича Пронского, чуть подальше станом раскинулась. Передовой отряд ертоула должен князь Федор Шемякин в Збойлевых воротах вести, а князь Юрий Шемякин его сзади поддержит, по-братски, когда потребуется. В Елабугины ворота, что на самую Казанку-реку глядят, первый приступ ведет князь Андрей Михайлович Курбский, имея за собой в подмогу князя Петра Щенятева с сильным отрядом. Место тут очень опасное, против дворца ханского... Но Иван успел узнать и оценить храбрость молодого Курбского, почти ровесника своего, и поручил князю главенство, несмотря на то что Щенятев и родом, и годами старше.

Мурзалеевы ворота достались Семену Васильевичу Шереметеву, за которым в запасе князь Василий Семенович Серебряный должен стоять. Храбрый, доблестный воевода, Дмитрий Плещеев с помощью князя Микулинского должен с татарами у Тюменских ворот справляться, которые тоже прямо во дворец ведут...

Разошлись воеводы, которым подальше от царя места достались. Надо готовить людей на помощь планам и замыслам Ивана, отдохнуть хорошенько перед штурмом и собраться с силами, чтобы покорить сарацин государю православному... А Иван и спать не лег, долго еще беседовал с теми воеводами, которые с его стороны войска поведут.

Потом призвал второго духовника своего, Андрея, тоже протопопа Благовещенского, которого с собой в поход взял, — и со слезами во всех грехах перед ним исповедался.

— Во имя Отца и Сына, и Духа Святого — отпу-

скаются тебе, чадо, все грехи твои вольные и невольные! — осеняя широким крестом коленопреклоненного Ивана, произнес старичок-исповедник, благословив свое чадо духовное, и ушел в походную церковь, где уж все духовенство лагерное собралось, чтобы всенощное бдение править, а там и заутреню петь.

— Вели, Алеша, юмшан мой нести, доспехи все боевые! — сказал Иван Адашеву, ожидающему приказаний царя, который уж совершенно помирился с любимцем своим, признал, что вчерашнее вмешательство Адашева было кстати.

Адашев сам помог вооружиться царю, каждую пряжку, каждое колечко оглядел на кольчуге: цело ль да исправно ли? Шлем стальной, вороненый, хитрым золотым узором изукрашенный, сверху короной царской из литого золота осененный, наготове лежит. Над забралом, в иконке небольшой, изображающей Георгия Победоносца, — часть нетленных святых мощей заделана, чтобы ни пули, ни стрелы не касались венчанной главы миропомазанника.

Нагнулся Адашев, сам хочет шпоры Ивану прикрепить. И вдруг почувствовал, что рука, которою царь опирался ему на плечо, сильно дрогнула.

— Что с тобою, государь? Али крепко затянул?

— Нет... Стой... Молчи! Молчите все! — почти крикнул Иван на окружающих, которые негромко толковали между собою о том, что завтра Бог даст.

Все словно окаменели, заражаясь внутренним непонятным волнением, от которого внезапно вспыхнуло лицо царя, озаренное багровым огнем светильников, зажженных в шатре.

— Слышите? Слышите ль, спрашиваю вас: звоны над Казанью знакомые?.. Точь-в-точь как большой благовестник-колокол в Симоновом монастыре, бывало, звонит...

И, порывисто подойдя к выходу, царь распахнул полы шатра, высунул голову наружу и стал прислушиваться.

Всех тоже так и качнуло за царем. Сгрудились за Иваном толпою, дыхание затаили, слушают: нет, не слышно им ничего!

— Слышите ль? Пробую... Што ж молчите?!

— Слышим... Да не ясно... Слово бы далеко очень... — нерешительно раздаются голоса.



— Вот, вот!.. Я слышу, государь! — быстро, громко вырывается у Адашева. — И то: наши колокола, монастырские... К добру такой знак, государь. Радуйся! Сам Бог тебе знать дает, что скоро на месте кумирен бесовских воздвигнешь ты храмы Божьи...

— Вот, вот... Так я сразу и подумал, Алеша. Один ты умеешь понять меня... Верю, Господи! — подымая руки и глаза к небу, произнес в молитвенном порыве Иван. — Верю и обет свой даю: первое дело мое будет, как город возьмем, церковь поставить во имя Заступницы всех христиан, Пречистой Матери Христа, Бога Нашего!..

— А еще, государь, слышал ли ты, знаешь ли, что было? — снова заговорил Адашев, видя, как воспрянул духом его питомец, в котором перед этим жажда победы боролась с боязнью понести поражение...

Скрывал эту борьбу душевную ото всех Иван, но от Адашева она не укрылась. А стоило проявить сомнение царю, и все бы кругом заразилось тем же опасным чувством.

— Что ж было-то? Толкуй скорее. Немного нам можно и калякать тут. В церковь, поди, пора... Говори же, ну...

— Это недолге и сказать, государь. Ивана Головина челядинец, Тишка по имени, уражен был стрелою татарской. И лежит в жару. Была, видно, стрелка чем ни на есть да помазана... И видит Тишка во сне все поле, то самое, с которого подняли, принесли его... И будто тамо все битва идет... А по-над полем — апостолы святые: Петр и Павел, и святитель Николай чудотворец — так и витают, осеняя полки наши, русские. И взмолились татарове: «Отче Николай! Помоги нам! Погибаем!..» Тогда святитель и говорит апостолам: «Воистину глаголю вам: граду сему вкорости свет православия узрети доведется». Благословили блаженные град Казань, а сами — по воздуху растаяли... Все про Тишкино видение слышали...

— А я и не слышал доселе!.. Попик тут один еще мне сказывал, что святого Даниила видел во сне... И свет будто бы сиял чудесный над Казанью. Ну, да что гадать! Буди воля Божья! В церковь пора...

И со всеми Иван отправился в свою походную церковь во имя архистратига Михаила Архангела, для которой среди стана был раскинут особый большой

шатер, как и для других двух походных церквей: во имя Сергия Преподобного и св. Екатерины.

Тесно стало в церковном шатре, когда вошел туда царь с ближайшими воеводами, с братом Владимиром и боярами своими. Задняя стенка шатра распахнута вся, и за ней — черная ночь разлита над землею. А в другом конце шатра, у походного иконостаса, увешанного небольшими древними иконами в золотых и жемчужных ризах, усаженных самоцветными камнями, — здесь, как днем, светло от десятков толстых восковых свечей, пылающих перед святынею.

И куда ни погляди в шатре — все облито светом от свечей, которые держат в руках молящиеся. Свет этот, неровный, дрожащий какой-то, колеблется и перемежается, особенно когда с Волги в раскрытый вход ветер залетит, надувая и выгибая парусом полотняные стены шатра. Руки, сталью окованные, иные в рукавицах, в перчатках боевых, осеняют пламя свечей от течения воздуха — и темнеет тогда в шатре... И больше еще сливаются во что-то бесформенное, неопределенное — те десятки сотен обнаженных голов, которые видны там, за раскрытой стеной шатра, слабо озаренные волнами света, наполняющего самую церковь...

Там, извне, сгрудились младшие воеводы, ратники простые, обозные люди... все, кому места не нашлось в самом шатре. И горячо они молятся, иные даже вслух твердят слова молений, словно надеясь, что так Господь скорее услышит просителей. Задние ряды в этой многотысячной толпе совершенно сливаются с окружающей их тьмою.

Набегающий с Волги клубами туман речной, расстилаясь над землею, кутая в пелены свои неподвижную толпу, еще больше сливает всю бесформенную людскую массу с общими очертаниями земли и неба, такими призрачными в этот темный, осенний, предрассветный час. Словно бы клубы тумана желают совсем сплотить, породнить темный хаос всего мироздания с неясными блесками душевных сил, оживляющих груди слабых и бессмертных в то же время творений людей, этих повелителей всего существующего на земле!..

Порою клубы дыма от сжигаемого в кадильницах ладана вырываются за пределы шатра, сливаются с клубами растущего кругом тумана и, сплотясь в нечто неразрывное, нераздельное, неуловимое, катятся вместе

и вместе исчезают, тают, достигнув известной, для них доступной, высоты...

Что в одном, то происходит и в остальных двух церковных шатрах.

Идет литургия. Творит обряды священный клир. Звучат голоса клирошан, которым отзываются восклицания диаконов... И громко, наряду с последним ратником, молится царь Иван, упав ниц перед святыми старинными образами, наследием доблестных дедов государства. Молит он Господа и всех святых заступников земли — не помнить грехов его прежних, дел его буйной юности!..

— Господи, Спас Милосердный!.. Владычица, Царица Небесная! Защити и помилуй рабов своих... Пошли нам мощь и крепость одолеть врага, освободить из плена христианский люд!.. Да уразумеют и татарове поганные, агаряне нечестивые, что Ты есть Бог наш, и да поклонятся Тебе! Не помяни грехов и беззаконий прежних моих, но милостив к нам буди! Пречистая Богородица, моли Бога за ны!..

Горячо молится царь, ниц распростерт перед святыней, так что кольчуга и наколенники его след оставляют, глубокий след на песке, заменяющем пол в шатре-храме... Долго молится царь. А служба торжественно, стройно своим чередом идет.

Вот зарокотала октава, могучего на вид протодьякона, начавшего чтение св. Евангелия, какое приходится на этот день. Огни свечей дрожат и сильнее мерцают, сдается — от густых звуков голоса чтеца. Слишком могуч этот голос и тесно ему в колыхающихся стенах шатра. Пронизав их, вырвавшись в раскрытую часть палатки, — далеко-далеко несется звук этого чтения, навевая неясный, священный трепет, вызывая невольные слезы умиления на глазах даже у самых грубых, распутных из воинов, широкой стеною стоящих за шатром, и у надменных воевод, наполняющих самую церковь...

Быстро время идет. Вот уж и засветлела узкая полоска неба там, совсем далеко, на краю, на востоке.

Облака, задремавшие на западе, словно белеть, вырезаться стали так слабо-слабо на фоне более темного неба.

Близок рассвет... К шести часам утра и солнце появится. Скоро это... Почему же не слышно никакого взрыва?

Ведь царь приказал, чтобы на самом рассвете первый подкоп взорвать и подать тем сигнал к началу приступа.

Закончил уж свою молитву Иван. Стоит весь напряженный, трепещущий, лицо пылает... Прислушивается чутко, и так ушел душою из церкви к тому, что за ее стенами делается, что даже не слышит громового голоса, читающего слова Евангелия, слова, возвещающие мир, любовь и согласие на земле между всеми людьми, как между детьми Единого Отца Небесного...

— И будет едино стадо и Един Пастырь! — возвещает благую весть мощный, красивый, захватывающий голос чтеца-протодиякона...

И вдруг раздался иной голос, словно пронесся удар громовой... Задрожала земля даже здесь, далеко от места взрыва, заколыхалось пламя на оплывших, тяжелых восковых светильниках...

Это взорвало подкоп, устроенный, под наблюдением Адашева, под стенами Казани. Человек при помощи пороха заставил землю раскрыть недра свои, метнуть на воздух все, что создано было потом и кровью, трудами и разумом других людей, и в громовом раскате, в реве воздушной стихии, потревоженной злобою людскою, словно прозвучал мощный призыв сатаны:

— На бой! На убийство!.. На братоубийство и кровопролитие спешите скорее, люди, рабы и слуги мои!..

И, как бы повинувшись этому призыву, Иван закричал: — Наконец-то!..

И кинулся вон из шатра церковного.

При свете воскресающего дня можно было видеть, какой ужас творится в Казани на месте взрыва, у Аталыковых ворот.

— Трубить поход! — словно из металлической груди, резко и звонко приказал царь, а сам постоял, поглядел и порывисто вернулся в церковь, чтобы дослушать весь обряд, всю службу выстоять церковную, как подобает. И только возобновились молебны и напевы — второй удар раздался, еще сильнее прежнего.

Это взлетели на воздух стены и башни по соседству от Арских ворот, которые были уж заняты русскими.

При этом взрыве не одни татары пострадали.

Бревна, камни, поднятые на огромную высоту, разлетелись так широко, что часть их рухнула на головы ближайших русских отрядов, стоящих уж наготове,

чтобы сейчас же ринуться в пролом, как только минет первая опасность от обломков.

Вместе с деревом и камнем долетали в русский стан куски человеческих тел, еще трепетавшие от пережитой муки, падали целые трупы мужчин и женщин, которые на стенах помогали своим мужьям... Изуродованные, измятые, эти трупы хлестали кровью из сотни ран, и кровь, словно дождь, проливаясь с высоты, обжигала лица, пропитывала одежду воинам, ждавшим сигнала к нападению... И раздался повсюду сигнал. Зазвучали трубы, загремели бубны боевые... На татар, испуганных, ошеломленных изменой их родной матери-земли, — двинулись люди-враги, поражая и кроша не только ратников, но и безоружных, беззащитных татар и татарок, стариков, детей... Бой начался...

— С нами Бог! — прорезая дикий шум битвы, звучит победный клич русской рати.

И взбираются на стену ратники, рвутся в пролом, пробиваются в ворота раскрытые...

— Алла инш Алла!.. Магомет пророк его!.. Умрем за юрт, за землю родную!.. — в исступлении голоса казанцы, хотя и сознающие свою гибель, но остервенелые до конца. — Бей гяуров!.. Слава нам! Смерть врагу!

И туча стрел темнит воздух... Кипятком обливают женщины тех, что по стене взбираются... Бревна и камни летят на головы нападающим, дробя черепа и груди.

А царь Иван снова упал перед иконами ниц, молит о победе Господа... Слезы текут по щекам, рыдания рвутся из груди... И рыдают попы, и люди ратные кругом!..

Долго тянется служба церковная...

Не переставая, длится бой вокруг Казани. Опомнились после первого ужаса казанцы, стали сильнее отпор давать нападающим. И у них — все тоже не плохо к борьбе приготовлено. Против ворвавшихся в пролом русских отрядов — свежие силы посланы из тех мест, где нет нападения, но где, на всякий случай, воины были собраны. Теперь и послали их в самые опасные места.

Но нападает пятьдесят тысяч, а защищается только двадцать тысяч...

Часть казанского войска с ханом стоит вне боя пока, тоже на крайний случай запасена. От Арских ворот хан со своими избранными полками отступил ко рву Таджиков, за временное укрепление. И все-таки стали татары вытеснять нападающих, не дают им ходу вперед. Гаснет воодушевление ратников, усталость овладевает ими. Ведь уж сколько времени бьются они, а толку мало. Подмога нужна — и нет ее!

А царь Иван все молится...

— Государь! — говорит Адашев. — Вестники пришли. Тебя зовут воеводы... Пусть войска лицо твое светлое увидят, бодрее в бой пойдут. А то много отсталых есть. И бой вести, почитай, некому!..

Но царь словно и не слышит! Только старается на любимца не глядеть и продолжает молитву.

— Государь, слушай, что говорю! — не отстает Адашев. — Пора на бой! Скажут, утрашился царь... Неладно, государь!..

— Оставь, Алеша! Дай службу достоять... Грех, не мешай! — громко наконец ответил Иван, видя, что от молчаться нельзя.

Немного погода, снова гонцы. Воеводы царя ждут.

Воины изнемогают. Большую подмогу везде послать надобно...

Вздыхнул Иван:

— Что делать, бояре! Ступайте к полкам! — обратился он к воеводам, которые его царскую рать вели.

— Половину со мной оставьте. Половина пусть на приступ идет!

Перекрестился в последний раз, вышел, вскочил на коня. Лицо бледное, истомленное; от слез, от бессонницы — воспалились глаза. Трудно глядеть ими.

Прищурился, осенился рукой и вперед глядит на скаку туда, где сеча кипит вокруг Казани и в стенах ее. Не видно еще ничего. Далеко церковь стоит от города осажденного. А дым орудий и утренний туман, еще не развеянный совсем, заволакивают дымкой горизонт.

— Что там творится? Какие вести? — спрашивает он у окружающих.

— Да вон, никак, гонец скачет... Скажет тотчас...

— Государь! — задыхаясь, объявляет гонец князя Воротынского и Микулинского. — Все слава Богу!.. Наши уж и на стенах, и в городе... Много было отста-

лых, по пути в кусты забирались, под самой стеной взяли и легли, словно бы побиты они али ранены... А как увидали, что передовые самые люди, которые похрабрее были, врага погнали от стен, и они, притворщики энти самые, ожили, на подмогу встали!.. Теперь, царь, увидят тебя, пуще воспрянут духом воины!

Мчится вперед Иван. А навстречу второй гонец, от дальнего конца города, от Казанки-реки, где Курбский Андрей с братом Иваном бьются...

— Княжев брат, Иван, — доносит гонец, — первый на стену взобрался... Сеча была жестокая! Смолу горячую, воду кипячую лили на нас неверные!.. От стрел темно стало от ихних!.. Пищалими, пушками палили. Ничего не помогло! Врукопашную мы как двинулись, и следочка от них не осталось!.. Все тыл дали! Теперь на ханский двор они сбежались, на горе... А двор тот крепок! Мечети и хоромы каменные, и меж ними оплот высокий нагорожен из бревен, земли и с камнем пополам!

И со всех сторон все одно доходит... Русские верх одержали в первом бою. Но устали все. Подмога нужна.

— Послана подмога!.. Теперя на Бога уповать будем! — говорит Иван.

Вот въехал он со всей свитой на высокий холм, против Арских ворот, и велел здесь свой царский стяг установить.

Заметило войско царскую хоругвь. Крики по рядам пронеслись:

— Царь... Царь-батюшка!.. Сам государь глядит!..

И с новой силой двинулись в битву отряды, недавно еще изнемогавшие от непомерного напряжения сил. Раненые, шедшие было в стан, назад возвращались, становились в ряды... Даже из лагерей ближних, из стана царского, стали сбегаться обозные, конюхи и торговый люд, как только вести туда дошли: насколько удачно совершилось нападение на твердыню татарскую.

— Что хан? Что Эддигер? Не убит ли? В полон ли не взят? — допытывался Иван у каждого нового гонца.

Но все отвечали, что сеча пока кипит вокруг самых стен и укреплений. А хан в середине города русских дожидается, на Купецком рву, на Таджикском, по-ихнему...

— Что же воеводы медлят?.. Сказать Воротынско-

му, Мстиславскому, Шереметевым братнам — туда бы кинулись! Все бы другое бросили! Царя татарского возьмут — Казань возьмут. Без матки улюю не стоять! Теперь одна эта забота.

А воеводы тем временем уж сами добрались до хана. Мюриды, беки, все лучшие воины с ним. Как звери бьются! Улочки в азиатском городе тесные... Каждая улица — ущелье малое. Легко оборонять его, но брать — трудно. Только одна беда: слишком велик перевес у русских... И все-таки не поддаются казанцы. Вот в одном месте казаки и татары так сшиблись копьями, что несколько минут оба строя ни взад, ни вперед не могут двинуться. Мертвые, пробитые железом, люди — стоят стеной, сидят в седлах своих коней, служа защитой для задних рядов, которые, из-за мертвых товарищей, врага кинжалами колют, саблями сечь стараются, пиками пронизывают... Но от этого еще больше сплотилась двойная лавина людей-врагов, истребляющих друг друга, словно звери...

И тут москвичи нашлись. Низки сакли у татар. Крыши все больше плоские...

— Лезь по крышам! — крикнул кто-то. — Вались на них!

В ту же минуту зачернели плоские кровли тысячами ратников. Взберутся да сверху копьями и шашками поражают татар... Те отступают дальше. Соскакивают тогда ратники, затем опять на крыши... И так постепенно заставили татар с ханом на широкую площадь выбраться... А тут уж со всех сторон заваливать стали русские врага. И с воплями кинулись татары назад, к мечетям, ко двору ханскому... Седой Эмир-Кулла-Шериф, с развевающейся по ветру бородой, напрасно корит и проклятьями грозит беглецам, — все мчатся под прикрытые дворцовых зданий, к главной мечети... Только тут остановились, передохнули и ждут врагов.

Но не много воинов русских появилось здесь перед татарами.

Новгородцы, видя, что город почти взят, первые смекнули: не пора ли за добычу приниматься?..

И кинулись в наиболее зажиточные с виду дворы и дома, какие попадались им во время наступления на татар.

Челядь обозная, добровольцы все, которые из лагеря не столько на подмогу прибежали, как с целью по-



живиться чем-нибудь, быстро последовали примеру ратников.

С удивлением увидел Иван, как из разных ворот стали появляться воины и другие люди, толпами и поодиночке, нагруженные различным добром. Кто ближе стоял, в лагерь свой сходил, сложил добычу и снова за тем же в город кинулся. Только отборные люди со своими воеводами не выходят из строя, сражаются с татарами, которые живыми не сдаются!..

Вожди татарские быстро догадались, какую помощь им судьба посылает, как жадность врагов и беспорядок, возникший в полках, могут быть спасительны для взятого города... Быстро разосланы были люди... Отдельные мелкие отряды татар собираются к мечети... Незаметно строятся в обширных дворах дворца ханского, и вдруг, словно лавина, все они обрушились на ослабевающие отряды русские, уже изнемогающие от боя, длящегося целых три часа!..

Не выдержал русский отряд, стоящий против хана и Эмира, дрогнул, быстро стал отступать, надеясь соединиться с другим полком и наवरстать свое.

Татары, словно окрыленные успехом, бешено наступают, позабыв об обороне... Простые люди, обыватели казанские, не воины, раньше притихшие, смерти ожидавшие, — поднимают оружие, которым усеяны улицы, и нападают на отдельные кучки грабителей, особенно на те, что состоят из обозной челяди.

Как раз в это время подскакал к Ивану гонец от Воротынского.

— Государь, подмогу шли! — говорит. — Новгородцы и иные людишки корыстные, слабые — бой кинули, за грабеж принялись. А татарам и на руку. Стали сильно наседать. Гляди, из городу выпрут. Больно ратники изустали: без передышки рубятся... Шагу даром казанцы не дают. Сами гибнут, наших губят!..

— Скорей, бояре, Алеша... Посылайте голов, шлите людей... сами скачите... Остановите грабеж! Пока хан не взят, пылинки не трогать... Все дело сгибнуть может! Потом — все ихнее же будет. А теперя — воевать, а не грабить пора... убивайте, казните собак на месте! — кричит Иван, ногой коня по бедрам бьет.

Бьется, вертится конь, как змея, не знает — что со всадником сделалось?

А Иван весь трясется.

— Господи! — шепчет. — Не дай погибнуть делу великому! Не отдай меня на поругание вечное... Сгибнет дело казанское — и я погиб. Век мне у бояр на помочах быть, смех да покоры терпеть... Не доведи, Господи! Лучше не дай дожить, Господи!.. Столько крови пролито, столько добра сгублено... Царство мое пошатнется, вся держава русская! Отведи, Господи... Молю Тебя! Великие обеты даю...

Но не успел он докончить молитвы, как что-то ужасное случилось... Из Кайбацких ворот, которые немного в стороне от Арских и Царевых находятся, — русские побежали!.. Видит Иван: толпы целые бегут с дикими воплями:

— Секут, секут!.. Татары наших секут...

И, бросая по пути награбленное все добро, заражая страхом других, бегут прямо к стану, к Волге, эти толпы, по большей части челядинцы и обозные...

Побледнел, даже посинел Иван... Не прежнее душевное отчаяние, а какой-то безотчетный, дикий страх сдавил ему сердце: страх за собственную жизнь. Не думает он, что вокруг него тысяч пятнадцать отборных ратников, в сталь одетых, смелых, искусных, преданных, — все наготове стоят и скорей сами умрут, но его выручат!

Мало ль что бывает? Пуля пищальная, стрела татарская — далеко берет!..

И, еле выговаривая дрожащими губами, Иван прознес:

— Назад... К Волге... В стан повернем... Скорее! Пропала битва... Одолели, проклятые...

— В стан? Что ты, государь?! — раздались негодующие голоса стариков воевод, окружающих царя... — Злыдни побежали, а ты и невесть что думаешь! Вестей нет худых покамест... А если и плохо нашим — в Казань, на подмогу, а не в стан торопиться нам надобно...

— В Казань?.. На гибель?! Вижу, изменники: заманили вы меня! Хотите от царя поизбавиться... Вам самим жизнь не дорога, знаю... Знаю и то, как любите вы меня... В стан, говорю!

— В Казань надо, государь... Ведите полки, воеводы! — властно вмешался Адашев, хотя ни род, ни сан не давали ему на то никаких прав. Но в решительные минуты правит не знатнейший, а сильнейший.

Таким оказался Адашев. Схватив за руку Ивана, который уже стиснул было рукоять своего оружия,

Адашев двинулся с холма, увлекая и царя с конем за собой.

Последние московские полки, оплот русской рати, разлившись тремя потоками, вступили в Казань через трое ворот с кликами:

— Мужайтесь, братцы!.. Бей татар!.. Сам царь на них идет.

И стоило появиться новым отрядам, только весть прошла, что царь тут, в стенах городских, опять все ожили в русских полках. А бешеный напор удалцов казанских, как об скалу прибой, разбит был натиском свежих отрядов царского полка...

Снова отброшены татары в пределы царского двorca, там последний бой идет!

А у Арских ворот, где развевается большая хоругвь царская, Иван, бледный, потрясенный, прильнул к древку ее и, не сводя глаз с чудотворного креста Дмитрия Донского, которым осенена святыня, громко молится, перемежая слова рыданиями и воплями:

— Помилуй, Господи!.. Защити, не предай в руки неверным меня и царство мое!.. Не отдай на поругание агарянам и своим изменникам!.. Дай, дай... дай победу, Всемилостивый Творец!.. Всю жизнь отдам на служение Твое!.. Не отымай только дыхания у меня теперь, не лиши трона, наследия отцов и дедов!.. Грешил я, Господи! но по неведению!.. Помилуй... помилуй, помилуй, Господи!..

Молится громко, отчаянно Иван, рыдает безумно!.. И вдруг умолк... Пена проступила на губах... Лицо сероватое стало... С коня на землю валится...

Знают бояре и Адашев, что это значит. С двух сторон прижались двое человек своими конями к царскому коню... Держат обомлевшего Ивана, крепко держат за руки, чтобы в содроганиях он не свалился с седла. А все остальные тоже стоят стеной, закрыли от воинов то, что с больным царем сейчас творится...

Четвертый час пополудни. Вся Казнь у русских в руках. Защитники стен и крепостных башен, уцелевшие в первых стычках с русскими, кидаются со стен вниз, бегут к реке Казанке, в соседние леса, во все концы!.. Но тут сторожат их заранее посланные отряды и секут мечами или на аркан берут и тащат за собой.

Теперь — только в самой ограде дворцовой не бойня, не избиение бегущих и безоружных, а настоящий бой идет. Но и тут судьба татар решена. Их десять тысяч против семидесяти! Пал духовный владыка царства, душа обороны казанской, Эмир-Кулла-Шериф, уронил ятаган, которым разил гяуров. Пал он с проклятием на пересохших губах, с ненавистью в потухшем старческом взоре, закрывая ладонью широкую рану, нанесенную гяурской рукой прямо в грудь старику.

Видя, что их вождь смертельно ранен, татары вынесли его из самой сечи, из свалки боевой и положили в стороне, поодаль, на ступени соседней мечети, а сами снова в бой ринулись...

Вот уж отступают остатки дружины Шерифа под натиском свежих отрядов врага. Мимо умирающего старика пробегают московские ратники, гонясь за казанцами.

Тогда Эмир в последнем содрогании приподнял от земли тяжелеющую голову, полною горстью собственной крови, которая лилась у него из раны, плеснул вслед врагам и прохрипел:

— Чумой пожирающей падет кровь наша на вас, ненавистные!.. Пожжет утробы ваши... жен, детей ваших, волки... шакалы насытые!.. Язвой и чу...

Но не мог уж докончить проклятия, вытянувшись, замолк, окостенел навсегда...

А русские все преследуют татар. Особенно яростно нападают они на тот угол дворца, где в одном из внутренних дворов, окруженный батырями — героями татарскими, силачами и смельчаками первыми, Эддин-Гирей старается пробиться вниз, к реке, в надежде ускользнуть, вырваться из гибельного железного кольца, которым охвачены остатки войск хана.

Напрасная надежда!

Заметили русские хана, и все гуще, гуще становятся их ряды, все новые отряды прибывают, свежие люди то и дело становятся на место усталых и раненых.

Сплотившись плечом к плечу, окружив хана, секут и поражают казанские князья и белые янычары — стражники хана, убивают они каждого, кто подойдет на длину ятагана. Рукопашный бой только идет. Тесно в небольшом дворе, стрелять — невозможно. Своих больше поранишь, чем врагов!.. И эти две живых, ожесточенных стены, сдаются, без конца будут так убивать

и давить друг друга, заливая кровью плиты, устилающие двор.

А кровь по плитам стекает в дождевые канавки, которыми окружена вся площадка, и отсюда, по наклону высокого, с усеченной вершиной, холма, на котором стоит весь дворец, устремляется она вниз и горячими, парными, пурпурными ручьями, журча, катится во все концы, к речке Казанке, в сторону сонного Булака, и в другую сторону, до самых Тюменских ворот...

Сбылось древнее пророчество: «Когда дождь кровавый прольется и кровь ручьями побежит, падет царство Казанское!»

Преследуя отступающих татар, русские вдруг увидели, как те быстро миновали одну из обширных дворцовых площадей и стали строиться на более дальней.

А здесь, прижатые к стенам, заплаканные, испуганные, оказались толпы женщин, разодетых в лучшие наряды, с дорогими уборами на голове, с ожерельями на обнаженной груди... Все — молодые, прекрасные... Ко многим мальчуганы, девочки жмутся, тоже напуганные шумом битвы, бледные, рыдающие... И много, больше пяти тысяч таких молодых, красивых, беззащитных женщин и несколько тысяч детей, все семьи первых вельмож казанских, здесь на произвол судьбы оставлены. Это была последняя ставка потерявшего голову врага. Защитники хана понадеялись, что ратники московские, да и сами воеводы соблазняются женской прелестью, что тронет их рыдание детей... Остановится эта губительная лавина, и успеет Эддин-Гирей в это время бежать через нижние, через Елабугины ворота за Казань-реку. Тем более что у Курбского, отряд которого захватил эти ворота, и тысячи человек не осталось на руках.

Но надежда обманула казанцев. С жалким остатком воинов Курбский успел остановить бегство хана и его «бессмертных» мюридов и янычар... А главные отряды, только на миг замедлившие, чтобы полюбоваться на невиданное зрелище, сейчас же снова по пятам нагнали хана с отрядом его и стали опять сечь и рубить беспощадно татар!

В то же время добрался к хану израненный один смельчак, передал, что пал главный мулла, что все до единого перебиты люди, окружавшие Кулла-Шерифа...

— Покинул нас Алла! — только и сказал Эдигер.

По трупам, по головам живых татар, словно по мосту, успел взобраться хан и воины его на стену, где самого Эддина в башне полуразрушенной укрыли татары от стрел и от ударов врага.

И видят воеводы: из окна этой башни белое что-то развевается, словно пощады просит враг, сдаваться желает! Воротынский велел трубить отбой, голов послал с приказом:

— Остановите ратников! Сдается хан! Сдаются мюриды!

Сечу едва и остановить удалось! Выступил от русских один перебежчик-мурза и спрашивает:

— Сдаетесь? Хана отдаете в руки воеводам?

— Хана отдаем! — отвечает один из князей татарских. — Но сами — не сдаемся! Мы только Эддин-Гирея сберечь хотим. Мусульмане в Казань его на царство звали, а не для того, чтобы ему молодым смерть принять. Зачем губить семя царское? Берите хана. С ним имилдеши два, два брата его молочных, и князь Зейнал-Аишь, родич ханский. Пока юрт стоял, пока не владели вы священным местом, мечетями, дворцом царским и тронном повелителей казанских, потоле и надежда жила у нас, готовы мы были умереть с ханом! Теперь — берите его. А нас в чистое поле выпускайте. Там в последнем бою переведаемся!

— Пусть так будет! — согласился Воротынский.

И вот между раздавшимися рядами своих и чужих воинов, бледный, шатаясь от перенесенных волнений, от горя и стыда, до крови закусив губы острыми белыми зубами, идет Эддин-Гирей, садится на коня... За ним — два сверстника его, двое юношей, молочных братьев, любимцев и наперсников хана, и старик, князь Зейнал-Аишь... Им подают коней, их окружают русские всадники и скачут, несутся все на другой конец города, где у Арских ворот царь Иван с хоругвией великой стоит. Затем ратники московские, выполняя слово, отступают, дают дорогу небольшому отряду татар, чтобы могли те в поле выбраться...

Но татары не верят благородству врага. Не идут по этой дороге, а прямо скачут вниз, со стены, к реке.

Тут как раз брод знакомый через Казанку... По ту сторону — лес... Может быть, хоть этим семи-восьми тысячам человек удастся уцелеть?..

Нет, напрасно! Русские не дремлют!..

Отряды, что на Галицкой дороге стоят, увидали бегущих, ударили в погоню — и общая участь постигла и этих храбрецов.

А на другом конце города, у хоругви священной московской другое происходит.

Против обыкновения, быстро прошел припадок болезни у царя. Раскрыл он мутные глаза и видит: сидит на седле... Адашев с одной стороны, Морозов — с другой его поддерживают. Но не так уж крепко, как во время содроганий, а осторожно, с почтением.

— Что со мной, Алеша?.. Что случилось? Разбиты мы? — вдруг тревожно спросил царь, вспомнив последнее, что он видел перед беспамятством...

— Победа, государь!.. Вот сейчас прискакал от Воротынского посланный... Хана к тебе полоненного ведут... Курбский, Андрей, последнюю шайку татар добивает. А с тобою, от усталости, от ночи бессонной — слабость приключилась просто, государь, великий князь всея Руси и царь казанский! — громко, первый, впервые в жизни назвал юного царя новым титулом Адашев.

— Слабость?.. Хан?.. Пленник?.. Я — царь казанский... Алеша, правда ли?..

Но тут и все окружающие поняли: что надо делать, и громко пронеслось в просторе начинающих темнеть лугов:

— Да живет государь, великий князь всея Руси, царь казанский!..

И снова рыдания, бурные рыдания, но не мучительные, а восторженные вырвались из груди Ивана, радостные слезы хлынули из глаз... И он, припав, как недавно перед тем, к древку хоругви, в восторге, весь сияющий, ликующий, не находя слов, лепетал пересохшими губами все одно и то же:

— Господи... Царица... Милосердая... Господи Спасе... Господи, слава Тебе, Вседержителю, слава Тебе!..

И быстро-быстро, оторвав правую руку от древка, стал осенять себя крестным знаменем...

Все тогда начали креститься и творить благодарственную молитву вслед за царем.

Ближе всего от Мурзалеевых ворот можно было проехать во дворец, и улицу здесь кое-как поочистили

от трупов, которыми было все покрыто кругом. Пока возились с этим, все духовенство, бывшее при войсках Ивана, явилось в торжественном шествии, с иконами, с крестами — на поле битвы и отслужили здесь молебен Богу сил... Тут же сам царь назначил место для будущей церкви. Где он смертный ужас пережил и восторг неописуемый, здесь должен храм стоять.

Затем царь в город вступил. И от самых ворот до дворца двойной стеною стояли пленники русские, получившие свободу только тогда, когда полки Ивана ворвались в город. На коленях, с воплями встречали эти люди царя, восклицая:

— Избавитель ты наш! Царь наш пресветлый! Жизни своей не щадил, — нас из неволи басурманской, от мук адовых выручил!..

И бросили они лучшую одежду с себя под ноги царскому коню...

Солнце еще не село, а Иван вошел во дворец влaстителей казанских, занял место на троне стародавних, непримиримых врагов Москвы — ханов татарских, и принимал от всех поздравления на новом царстве, славной победой добытом!.. И те же бояре, воеводы, которые грубо смели перечить ему так недавно, теперь кланялись до земли, желали многая лета... Не выдержал Иван, заметил одному:

— Што ж, поживем!.. Ныне — боронил меня Бог от вас... Его святая воля!

Переглянулись бояре, но ни звука не проронил никто в ответ.

А царь, словно спохватившись, что не у места счеты сводить задумал, благодарить всех стал за победу, ему доставленную...

Волей-неволей пришлось и Шиг-Алею, недавнему царю казанскому, мусульманину, гордость и веру свою позабыть, поздравлять царя-гяура с победой над Исламом.

Вошел он, низко поклонился и произнес своим бабьим бесстрастным голосом:

— Здрав буди, государь, победив супостаты! Красуйся невредим на своей вотчине, на Казани, во веки!

И только пятна багровые на желтовато-бледном, обрюзглом лице говорят, что творится в душе у татарина лукавого...

Встал, отдал поклон государь и ответил:



— Царь-господине! Тебе, брату нашему, ведомо: много раз посылал я к казанцам, в покое бы жили с Москвой. Жестокость и злое лукавство казанское — самому тебе хорошо, брате, ведомо! На себе его испытал! Много лет они лгали нам, обиды чинили. И Бог Милосердный теперь рассудил. Казань с Москвою в честном бою. Отомстил он Казани за пленных христиан, за пролитую кровь христианскую. Его святая воля.

Умный и сердечный ответ царя понравился сверженному хану казанскому, понравился всем окружающим.

— Ишь, повеселел татарин! — заметил кто-то, указывая глазами на Шиг-Алея, важно занявшего свое место справа от царя.

Принял поздравления Иван, принял вождей горных, разных, которые поспешили новому владыке покорность изъявить, и вернулся в стан. Темнеть стало. Да и запах трупный в Казани силен. Носится он надо всем городом от трупов татар, что умирали во время осады и не были схоронены.

А в ставке царской доложили Ивану: гость к нему давно жданный припожаловал, гонец из Москвы. От царицы вести добрые. Хорошо себя чувствует царица. И другой гость приятный объявился тут же: второй царевич Астраханский, Абдаллах-Бек-Булат-бен-Кассаев, с юношей сыном своим, Саин-Бек-Булатовым. Красивый могучий юноша, чуть помоложе Ивана. А лицо такое простое, открытое, словно детское. Сразу видно: ни горя, ни коварства в жизни не знал молодой богатырь. Пока отец его с царем «карашеванье», обычные обряды при встрече творит, Саин поодаль держится, глаз не сводит с Ивана.

Вот старик говорит:

— Позволь, великий царь, сынка моего показать тебе. Не оставь малого...

— Покажи, покажи, царевич! — говорит Иван.

Он знает, что недаром бояре два года старались богатого влиятельного царевича в Москву зазвать. После Казани — Астрахань на очереди стоит. А для этого надо Москве и там такими же людьми заручиться, как был у нее Шиг-Алей, царь казанский... И Бек-Булат царевич явился наконец, да еще с собою сына привел.

Ласковым знаком подозвал Саина Иван.

А тот, забыв весь этикет, позабыв свой сан, прямо к

ногам московского государя и нового царя казанского так и кинулся. И громко заговорил:

— Привет тебе, великий воин! Привет тебе, победитель казанский! Ехал я, знал, что к государю могучему еду... Приехал — и вижу, что героя видеть Аллах привел! Знаю я Эддина-царя, дядю своего. Знаю храбрость тех, кого победил ты! И полно мое сердце. Дивлюсь я храбрости и мощи ихнего победителя! Да процветет имя твое и род твой, как имя и род Искандера Великого!..

Впервые в жизни привелось слышать Ивану такую искреннюю, горячую и наивную лесть. Восточная, витиеватая речь музыкой прозвучала для юноши-царя. Сравнение с Александром Македонским заставило всю кровь кинуться к щекам и в голову. Как от вина, опьянел Иван. С необычною живостью поднял он своими руками Саина с земли и крепко обнял, поцеловал, как только брата целуют.

— Еще раз приветствую тебя, брат мой и друг! Отныне — братом и другом считайся у нас, наравне с отцом твоим почтенным! — живо ответил царь гостю, сумевшему в первую же минуту найти путь к сердцу честолюбивого молодого царя. Пытливо поглядел Адашев на Саина. Но прямой, открытый, полудетский взор азиата, неподдельный восторг Саина — исключали возможность малейшей опасности со стороны этого нового «скоропостижного» фаворита царского. И Адашев скоро стал снова наблюдать, успокоенный, чтобы все кругом чинно, по заведенному искони порядку шло...

Дня через два, когда убраны были, с грехом пополам, десятки тысяч трупов, устилавших землю в самом городе, во всех посадах, и на лугах, и в окрестных лесах, — был совершен крестный ход по уцелевшим стенам городским. Царь своими руками положил первый камень будущего соборного храма во имя Благовещения Богородицы. Затем князь Горбатый поставлен был наместником казанским. Курбского Андрея, жестоко израненного в сече, царь приказал особенно беречь и лечить, а сам стал поговаривать о возвращении на Москву. Братья царицы молодые, сообразив, что теперь, за славным царем, за шурином ихним, им тоже хорошо жить будет на Москве, подбивали Ивана поспешать к молодой жене, которая готовится стать матерью. Адашев тоже торопил почему-то отъездом, хотя

благоразумие подсказывало, что следует еще здесь побыть самому царю, поглядеть: какие порядки в завоеванном, новом краю будут заводиться?

Многие старые бояре так и советовали. Но Иван, подстрекаемый шуревьями и другими приближенными, стоявшими заодно с захарьинской семьей, только и твердил:

— Все образуется! В Казани — воевод оставляю... На Свияге — мои же люди верные. Авось вместе поуправятся с татарами да с мордвой... А мне — домой теперя надобно! Может, поспею ко дню великому, своими очами увижу: что Бог пошлет? Сына ли, наследника, дочку ль вторую?..

Изю всей добычи богатой ничего царь себе не отобрал, кроме пушек, знамен и одного пленника: Эддин-Гирея, который скорее гостем у царя числился, чем побежденным врагом. Пушки все, весь запас боевой — оставлен наместникам Казани. Ясное дело, что еще много хлопот будет с луговыми и горными кочевниками, хотя сейчас все ихние князья толпою съезжаются, изъявляют покорность свою победителям... Да ведь татары — хитры. Перед силою гнутся, а где можно — и зубы покажут... Вот и надобно на них — камень за пазухой оставить... Иван приказал, чтобы с ним по Волге в судах отборное войско пустили, для охраны его и брата Владимира. Но в назначенный час и трети ратников не оказалось на берегу.

— Где ж те полки, которым я велел на судах ехать?..

— Приказа твоего невозможно было исполнить, государь! — отозвался Адашев. — Теперя по реке спокойно проехать можно... Прибрежные кочевники не тронут нас. Крымцев бояться нечего... Астраханцы, на зиму глядячи, не поплывут за нами... А войска больше — и сажать некуда! Галии все и другие суда — под добычу пошли... которая из Казани взята... Не бросать же добра! Не мало ушкуев с полоном освобожденным, христианским вверх уплыло... по твоему же приказу! Рать наша главная, воеводы все — пешим путем, берегом самым, нагорной стороной на Василь-город пойдут. Та же тебе оборона. И не без умысла туды их послано!.. Сам потом смекнешь. А мы ден через пять и в Нижнем причалим. Чего опасаться тебе, государь? Тут не поле битвы!

Словно ударом бича коснулись эти слова до слуха Ивана. Ясно видел он, что, несмотря на все внешнее раболепство, никто из близких, окружающих его, не забыл минуты малодушия, овладевшего Иваном у Арских ворот, и с плохо скрытым презрением глядят и старые воеводы, и молодые приближенные на него, на их господина и повелителя. Сознывая в душе, что они правы, царь молча сносил это презрение, давая клятву в душе: оправдать себя как-нибудь и, во всяком случае, отомстить молчаливым обидчикам!.. И теперь, хотя не улыбалась ему поездка осенью, на тесных стругах, с небольшой ратью по Волге, он все-таки слова не сказал... Сели все на суда, отдали причалы, гребцы ударили веслами — и тронулась в обратный путь флотилия, с которою возвращался на Москву юный Иван, победитель грозного царства Казанского!..

*Год 7060 [1552], 11 октября — 10 ноября*

Сплошным победным торжественным шествием явилось возвращение Ивана от Казани к Москве.

Началось все под вечер того самого дня, когда Иван отчалил от места стоянки своей под Казанью, от берега Волги-реки.

Медлительно, скучно и тяжело тянулись сначала часы за часами, пока флотилия царская на веслах подымалась против течения среди темного простора разбушевавшейся могучей реки. Темные, свинцовые тучи осенние кроют небо. Темные, намокшие, наполовину оголенные леса и полуувядшая трава — не красят попутных берегов. Ветер сверху налетает могучими порывами, еще больше замедляя ход тяжелых, неуклюжих ушкуев и стругов, причем нельзя даже воспользоваться парусами, чтобы ускорить тяжелый переезд.

Беяки гуляют по Волге, особенно вздутой от осенних ливней, и каждая высокая, мутная волна, увенчанная белым пенистым гребнем, с размаху налетая на нос царского ушкуя, ударяя в бока судна, — заставляет последнее нырять, подпрыгивать и трепетать так, что голова кружится у спутников царя и у самого Ивана. Не привыкли москвичи к водяному пути, да еще в непогодные дни осенние. Мелкий, холодный дождик, сеющий порою, довершает все неудобство пути. Под

наметом, который раскинут для царя посреди ушкуя, лежит Иван, переживая какое-то смутное, неприятное состояние. После шести недель непрерывного нервного и физического напряжения — это первая минута полного покоя для души и тела у измученного юного царя. Но вся сладость такой желанной минуты отравлена и неприятным колыханием утлой скорлупы, на которую с недоверием пришлось сесть Ивану, и плеском весел, и скрипом мачт суденышка, таким протяжным, таким печальным, — и похоронным воем и свистом ветра в снастях... Физическое недомогание, вызванное качкой, овладевает Иваном.

Мутит его, тоскует, ноет грудь!.. Тело, только в эту минуту отдыха получившее право напомнить о трудах и лишениях, перенесенных им за время осады, — теперь все, как разбитое, мучительно болит и дает о себе знать каждым нервом, каждым суставом... И ко всем этим физически неприятным ощущениям присоединилось внутреннее недовольство собой, окружающими, целым миром!.. Вспоминается только то дурное, постыдное или обидное для души и гордости Ивана, что он пережил со дня выезда из Москвы, куда возвращается теперь. Воспоминания теснятся в уме, давят, жгут грудь какой-то смутной, тяжелой тоской, еще более неприятной, чем телесное состояние, вызванное непрерывным, досадливым колыханием суденышка.

В пылу борьбы, под громом пушек, за все время осады — почти и не думалось ни о чем. Одна мысль была в голове, — Казань бы взять!.. Словно сон, промчались все эти шесть недель забот, трудов, опасностей. Кровь лилась, своя и чужая... Люди стенали...

Он видел ужасные раны, когда, посещая становья ратников, наблюдал, как свои же товарищи или попы и лекаря и старики-ведуны из обозов перевязывали и лечили ратников, принесенных из боя с тяжелыми увечьями... Царь видел ряд ужасных взрывов, сразу губивших сотни жизней... Видел горы тел, убитых и павших от голода, от жажды людей, когда трупы, устилающие улицы Казани, были вынесены за стену городскую и здесь зарывались в огромных общих могилах...

Видел все это Иван, но тогда у него и сомненья, и мысли в голове не являлось: хорошо ли, дурно ль это?

Нет! Так надо! — и конец. Без этого Казани не взять. А не взять ее нельзя! И ум, и совесть, и вера, и

честолюбие, и самолюбие — все, все в душе Ивана твердило ему: «Казань надо взять!..»

Но вот свершилось, цель достигнута, Казань в его власти, царь казанский — его раб и пленник...

Расширилось сразу далеко царство Московское, Русское. Много и выгод, и славы сулит присоединение новой, богатой земли к исконным землям рода Мономахова... Отчего же скрытное недовольство грызет душу Ивана, «победителя», как все величают его?

Отчего одну только единую минутку, одно короткое мгновение был он счастлив, а именно тогда, когда очнулся от беспамятства и услышал от Адашева:

— Победа, государь, великий князь московский, царь казанский и всея Руси!

Отчего?..

И вот Адашев... Этот самый Адашев, который, вместе с попом Сильвестром, сдается, возродили его к новой жизни, счастье ему принесли, сделали не рабом страстей и похотей, а настоящим царем... почему не любит он этих людей так, как бы они стоили, — а словно боится их?.. И ненавидит втайне?.. Всегда с ним Адашев, как ангел-хранитель, оберегая не только от внешних бед, но и от того демона, который в самом Иване сидит.

Сознает это юный царь. Знает, что уважать, любить всей душой следует такого чистого душой и телом, сильного умом помощника... Но, против воли, вечное присутствие Адашева, его постоянное превосходство над самим Иваном — так же влияет на душу Ивана, как это постоянное колыхание судна на тело его.

Какое-то сонливое состояние овладевает душой. Не хочется ни думать, ни двигаться самому. Пусть другие сделают... Ведь лучше еще будет. А в то же время какое-то раздражение, возмущение, тоска загораются в глубине души, и растет, и жжет, и давит все сильнее... И чем больше сознает Иван, что он не прав, возмущаясь против своего любимца и неявного опекуна, — тем острее растет неприязненное, злое чувство к последнему. Не к чему придаться, совесть не позволяет возмутиться против той воли, которая управляет им, царем московским.

Каждый раз, когда необдуманно пытается он это сделать — еще стыднее становится Ивану потом, еще больнее от посрамления, которое мягко, незаметно, но

тем чувствительней наносят ему Адашев и лучшие советники, примкнувшие к спальнику царскому...

И после таких мгновений еще неукротимей подымается какой-то голос в душе юноши, твердящий ему:

— Раб... Раб холопский, а не князь ты московский и всея Руси... Раб!.. За службу верную, за помощь ихнюю — волю отняли они все у меня!..

И нередко, в припадке болезненной, бессильной ярости, закусив край подушки, трепещет бледный Иван, изнемогая от наплыва собственных чувств.

Сейчас вот, лежа в богатом намете, такую же точно минуту переживает царь-победитель.

Взята Казань!.. Славное дело свершено. Не даром, не напрасно столько крови пролито... А сам Иван что сделал для этого? Куклой был! Шел, куда вели... Делал, что Дума его царская указывала... Так ли дед, так ли отец его царства добывали?.. О, нет! Он знает: не так оно было! Недаром из полновластных, равных князю московскому дружинников и удельных князей, — все Рюриковичи и Гедиминовичи, — эти гордые, могучие люди становились слугами и боярами государя московского. Кто сильнее всех, тот и прав, тот и царь, милостию Божьею!.. А Иван?.. Он только милостью отца своего, по ласке боярской — царь и государь. Так уж земля сложилась, что нужен кто-нибудь на троне московском, как ставят вежу на юру, чтобы знали в бурю люди, куда путь держат.

И всю жизнь — куклу разыгрывать?! На помочах ходить?

— Не бывать тому! — воскликнул даже громко Иван, сжимая кулаки.

Окружающие, видя, что царю не по себе от бурного переезда, оставили его в покое, надеясь, что он заснет и подкрепитя сном. Услыхав его голос, Адашев, бывший на чеку, заглянул под намет и спросил:

— Не прикажешь ли чего, государь?..

Но Иван, не желая ни видеть, ни слышать никого, закрыл глаза и притворился спящим.

— Нет, так это! — опуская полу шатра, обратился Адашев к Никите Романовичу Захарыну-Юрьеву, с которым перед тем толковал. — Спросонья государь выкликнул что-то. Гляди, приступ казанский ему во сне видится. Сморило его от качки. И добро, что спит...

А Ивану не во сне — наяву этот приступ видится. Кровь ручьями бежит... Трупы, грохот, бледные, озверелые лица... И он сам... Он словно видит себя в ту позорную, ужасную минуту, когда... Видит себя, бледного, трясущегося, припавшего к луке седла, в то время, когда чужая рука насильно ведет коня царского к месту боя... И потом видит, слышит, как он, царь, припал к древку хоругви и так отчаянно, так трусливо молит о победе о спасении в ту самую минуту, когда воеводы, бояре, воины смело кидаются в бой и льют кровь свою, чтобы дать победу ему, Ивану!..

Они должны, правда, они обязаны были это делать... Они рабы его, слуги земли и государей своих... Но и сам государь не должен быть боязливее слуг этих... А он?

И чувствует Иван, что краска жгучего стыда заливает ему лицо, и ничем не может он отогнать тяжелых воспоминаний. Но себя Иван может простить... И только не простит он никогда тем людям, которые были свидетелями его малодушия, позора. Пока нельзя еще проявить своей вражды и ненависти к ним. Нужны еще все они... Все друг за друга крепко держатся... Тронуть одного — все аукнутся. Но время еще впереди. Не одна Казань — и Астрахань еще осталась. А там Крым! И немцы — люторы окаянные... Ливоны — рыцари!.. Иван докажет боярам, что не трус, что и воевать, и править — без них сумеет, и тогда...

При одной мысли: что будет тогда? — проходит все мучительное состояние духа молодого царя, и он сразу, по-детски, впадает в глубокий безгрезный сон, так необходимый ему после всех трудов и волнений минувших дней... Проснулся Иван около вечерень от громкого звона колокольного и кликов народных, которые, далеко по воле разлетаясь, доносились от Свяги-городка, куда подплывала флотилия с царским ушкуем впереди.

Иван вскочил, видит: слуга стоит уж наготове, с полотенцем, другой — воду в кувшине и таз серебряный держит. Адашев тут же, словно будить хотел Ивана, если бы царь сам не проснулся.

Умылся, освежился холодной водой Иван, при помощи Адашева и Юрьева надел свой блестящий доспех, в котором всю осаду красовался, — и вышел из-под намета на открытую палубу судна, где все уж ос-



тальные провожатые царя стояли блестящей, нарядной толпой. Качки не ощущалось больше. Ходко суда по тихой Свяиге бегут. Видит Иван: берег высокий свияжский усыпан народом, и русскими, и чувашами, и черемисами, и мордвой — всеми племенами, которые только кочуют здесь, на неоглядном просторе заливных лугов и степей, какие только ютятся по долам и ущельям нагорной вольской стороны...

Черно от людей кругом. Кочевники встречают победителя, владыку могучего царства, перед которым пала даже грозная Казань, родственная им по вере, но бывшая суровая владычица всех этих улусов, беков и князьков... Русские обитатели Нового Свияжского городка — с восторгом и кликами, со звоном колокольным и с пищальными и мортирными залпами встречают своего героя-царя... Не без умысла были посланы, за день перед тем, через Свяигу — все, освобожденные из плена казанского, христиане. Они много порассказали о чудесах храбрости всего войска и самого царя под Казанью. Они сообщили, как сам царь обласкал их, когда раскрылись темницы — мрачные ямы, в которых татары держали пленников... Как он кормил и поил освобожденных у себя в стане...

И теперь не одни полки, по чувству долга, — весь город, буквально все окрестные жители сошлись и бежались, чтобы слиться в одном восторженном, громовом клике.

— Жив и здрав буди на многия лета, государь-батюшко, царь всея Руси и казанский!..

Музыкой звучал в ушах Ивана этот громовый, нестройный, то замирающий, то вновь нарастающий клич, этот звон колоколов, сухой треск пищалей и редкие удары пушек с берега, с валов небольшой крепостцы свияжской.

В это самое время солнце, с утра закрывшееся за тучами, выглянуло в просвет между ними, ярко озаря толпы народа на берегу, пестреющие в своих разнообразных нарядах: восточных, русских и казацких... Сосновый бор, темнеющий за прибрежной луговиной, позеленел и помолодел словно под лучами солнца... Речонка, по которой скользили теперь суда, золотом живым засверкала — загорелась под косыми лучами осеннего солнца, светящего неярко, по-летнему, но так ласково-ласково!..

Переночевал здесь Иван, немного вознагражденный восторженной встречей за все горькие минуты, пережитые им, и двинулся дальше, к Нижнему.

Везде в течение восьми дней, какие ушли на эту дорогу, повторялось то же самое. Из прибрежных поселков высыпал народ любоваться на проезжающий, разукрашенный коврами и шальями, струг царя, провожал флотилию восторженными кликами. Где ни становились на ночевку суда — повторялось то же, что и в Свяжске. Везде освобожденные христиане, посылаемые вперед, успевали поджигать народный восторг до крайних пределов. В Нижнем — в больших размерах произошло то же, что творилось везде раньше.

Здесь Иван покинул шаткие суденышки, чтобы дальше ехать на лошадях. Отсюда же распущены были по домам остальные полки, какие еще шли за царем по берегу и плыли на стругах. Обрадовался Иван, почуяв сушу под ногами, хотел сейчас же и в путь дальше двинуться, но пришлось в Нижнем три дня промешкать. И водяная поездка, и нервная, и телесная усталость не прошли бесследно: разнемогся Иван. Но как только силы укрепились трехдневным полным отдыхом в постели, царь не вытерпел и сел в колымагу, к Москве велел поспешать.

«Что-то там? Кого Бог даст? Авось поспеем!..»

Но дорога тяжелая, осенняя, грязная... Реки разлились от дождей, мосты не везде исправны... Грузна колымага царская. Ночью ехать и вовсе нельзя! Да еще в редком из попутных городов царь церковной службы не отстоит, особенно если празднуется имя святого какого-нибудь... На десятый день только, 29 октября, через Балахну добрался Иван до Владимира. Всю дорогу у него в колымаге сидел боярин князь Федор Андреевич Булгаков, который от имени царицы в Нижнем встречал царя... И без конца расспрашивал посланца Иван: как можется, да как выглядит голубка его, да что все время делала?..

А во Владимире новый посол от Анастасии к царю прискакал: гречин — выходец знатный, боярин Василий Юрьевич Траханиот.

С подставами, на переменных конях мчался он и, въехав вечером во Владимир, узнал, что царь под городом, в древнем монастыре заночевал.

Не поехал туда хитрый грек. До рассвета перебыл в

городе, а там нарядился в лучшее, что имел с собой, и поскакал в монастырь.

Там только что ворота раскрывали, царский поезд выпускать собираются.

— К царю я, с вестями от царицы! — объявил боярин и, ни слова не говоря больше никому, чтобы не опередили его с великой радостной вестью, стал ждать, когда его Иван позовет.

— Да что за вести? Не послал ли Бог чего? — допытывались у боярина все окружающие.

— Нет, где еще?! Так, оповестить царя о себе царица поизволила...

Сейчас же приказал Иван вести к нему посланца.

— Что скажешь, боярин? Добрые ль вести несешь?

А боярин упал ниц перед царем и громко так выговаривает:

— Бог милости великие послал тебе, кир-государь и царь всея Руси: сына тебе Господь послал и наследника, великого княжича московского, владимирского, новгородского, царевича всея Руси и казанского, государя псковского, смоленского, полоцкого, черниговского и иных...

Молчит Иван. То краснеет, то бледнеет, слова от радости не выговорит. А бояре кругом не выдержали, словно пчелы зажужжали между собою:

— Слава Те, слава Тебе, Господи!

Наконец и царь пришел в себя. Только слезы, крупные, тихие, радостные слезы по щекам бегут.

— Правда ли, боярин? Правда, правда, конечно... А как назвали: Димитрием? Мы толковали с Настюшкой...

— Димитрием и молили, государь! Владыка-митрополит Макарий сам молитву давал.

— А здоровенький мальчуган? На кого походит? На меня ль, на княгинюшку ли?

— На тебя, государь... Ровно влитой! И очи, и складом, и ладом — весь в тебя! Сам видел, государь... Вот так на руках держать сподобился... Здоровый, крупный такой княжич, дай ему Господи!.. Тьфу, тьфу, тьфу!..

И Траханиот отплюнулся, чтобы похвала ребенку прошла без сглазу.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — невольно повторил и царь тот же обычный прием.

— Ну, а царица как? Голубка-то моя, свет Настась-

юшка? Все здорово ль да ладно ль себя чувствует? Как живет-можетесь?..

— Хвала Пречистой и Спасу Милостивому: все в добром здравии... Гляди, навстречу тебе, кир-государь, пойдет, как в град свой стольный пожалуешь, даст Бог милости...

— Што ты, што ты?! — даже замахал руками Иван. — Разве ж можно так скорешенько? Ну, да не пустят ее... Найдутся люди поумнее тебя при царице... Ну, спасибо, боярин!.. Век не забуду службы твоей усердной да вести радостной... Твой должник великий!

И царь обнял, расцеловал осласливленногo боярина. А затем обратился к иконам, стоящим в углу, и, пав на землю, стал благодарить Господа за счастье, посланное ему как отцу и царю... Поднялся затем, обернулся к боярам своим, толпящимся в келье царя, и радостным голосом произнес:

— Поздравляю и вас, бояре, слуги мои верные, с великой радостью: с наследником царства, Богом нам дарованным! Придет время — служите ему так же верно, как моему отцу, деду служили, как мне служите!

— Послужим, государь!.. Да живет на многая лета царевич и великий княжич Димитрий всея Руси!.. Поздравляем тебя, царь-государь, с Господней милостью, с несказанной радостью...

И долго еще не покидал монастыря поезд царский. Поздравленья царь принимал от всех... и молебны служились благодарственные... Теперь уж не так стал торопиться Иван на Москву. Побывал и в Суздале, в старинном храме во имя Покрова Богородицы, и в Юрьевце молился у Живоначальной Троицы... Особенно долго пробыл Иван в Сергиевской Лавре, где, во все время осады казанской, горячо молились монахи у гроба святого Сергия, прося победы царю. И сам Иван теперь долго и горячо, со слезами молился у мощей святителя, принося благодарность за помощь, оказанную в этой тяжелой борьбе. Отошла служба и трапеза монастырская. Иван с обитателем Лавры, с Иоасафом, бывшим сверженным митрополитом московским, в келью ушел, в особую.

— Что скажешь, сыне? — спросил Иоасаф, когда они остались одни. — Рад ли? Видно, недужен ты, сы-

не, што лик у тебя не больно ясен, зрак не больно радощен...

— Не знаю, отче... И не болен я, а и здоровья не слышу в себе. Главное дело: душа што-то тоскует... Вот и собирался потолковать с тобой...

— Говори... все говори! Акромья Бога и меня — никто не услышит слов твоих, государь. Доходят и до меня слухи в обитель эту мирную... Да справедливо молвится: не всякому слуху верь... Али имеешь зло на кого в душе? Скажи. Зло — великий груз! Да еще ежели не по справедливости! А коли прав ты, Бог да поможет тебе: избудешься обидчиков... Не маленек уж ты, царь-государь! Не таков, помнишь ли, как в те поры был, когда мои вороги Шуйские, с новгородцами хмельными, меня из опочивальни твоей царской тащили!

И задрожали, заходили четки в руках этого старца, смиренного на вид монаха, при одной мысли о старой, давно испытанной обиде... Заволновался и царь.

— Угадал, отче! Хоть и не так явно, но хотят править мною и ныне, как с ребенком управлялись. Мягкое ярмо, да все ж ярмо возлагают на выю мою, на выю господина своего, помазанника Божия... И так это ловко, что поделать ничего нельзя! Все для добра-де моего... Все мне да царству-де на благо, а выходит...

И, скрипнув зубами, Иван не договорил, умолк...

— Аль уж так спеленали «советчики»?..

— Да уж, нельзя лучше! Шагу не ступишь без них! Жену не смей иной раз обнять-приласкать, ежели то не позволенный день да не по правилу уставному. Что я, чернец, али поп, али старик какой столетний, што ли?.. Вон под Казанью за все шесть недель разок разрешил себе... о грешной плоти вспомянул, попировал всласть... Так и Адашев, и Захарьины и-и что напели! И грех, и стыд... И Сильвестру-де отпишут, и владыке Макарию... И правду, вскорях цидула от него... Писание так, вопче... «Блюдитесь-де да хранитесь от всякие скверны, от блуда и сквернословия и похотей разных, и...» А сам, чай, как был молод?.. Э, да што и толковать!.. А штобы уж в чем важном, што царства касаето?..

И царь, видя, что понимают его, что ему сочувствуют, обрадовался всей своей юной душой и готов был уж распространиться дальше на эту тему.

Но за дверью в это время раздался голос шурина царского, Юрьева боярина:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ны!..

— Вот тут как тут! — с досадой произнес Иван.

— А ты о досаде своей с игуменом Вассианом Топорком потолковал бы... Он еще отца твоего советчик. Он, може, научит тебя: как быть?.. — быстро прошептал Иоасаф, раньше чем ответил на голос обычным словом, разрешающим вход в келью пришедшему.

— И то... и то... — радостно подхватил Иван и склонился принять благословение мстительного старика.

А Иоасаф, благословя Ивана, обратился к двери и громко произнес наконец:

— Аминь! Гляди, чадо мое. Благословен Грядый во имя Господне!..

Князь Юрий явился встречать державного брата в село Тайнинское, под Москвой, где у Ивана последняя ночевка была. На другой день состоялось торжественное вступление победителя-царя и его сподвижников в Москву, и то, что здесь произошло, превысило всякие ожидания Ивана, основанные на предыдущих примерах.

От самых лугов пригородных на Яузе и вплоть до посадов, даже до самых стен кремлевских, вдоль всего пути, где шел Иван со свитой своей, на протяжении десятка верст толпились сотни тысяч народа, ликующего, разодетого во все новое, во все дорогое и лучшее, что десятками лет хранилось по дедовским укладкам и скрыням, в клетях и каморах. Не одни москвичи тут были или люди, случайно попавшие в стольный град московский в эту счастливую пору. Нарочно издалека собрались люди русские приветствовать юного победителя грозных доселе казанских татар.

С громовыми, ликующими кликами встречено было выступление царя из Тайнинского. Не смолкали крики все время, пока въезжал он в Москву и приближался к Сретенскому монастырю, где ждал его в блестящем пасхальном облачении митрополит, окруженный сонмом высшего духовенства московского, и прямо оглушительный вопль и рев толпы раздался, когда остановился Иван перед древней, глубокочтимой иконой Богоматери, писанной самим

евангелистом Лукой, и, перекрестившись, поцеловав образ, приложившись к мощам нетленным, принял благословение митрополита.

— Многая лета царю благочестивому, Ивану Боголюбивому, государю нашему! Жив буди, победитель варварский, избавитель христианский!.. Слава тебе, царь батюшка! — вот какие крики потрясали не только воздух, но, казалось, заставляли содрогаться и новые, крепкие стены Кремля, вырываясь из сотни тысяч грудей...

И, как по волшебству, все стихло, когда глашатаи замахали своими посохами, ударили в бубны, объявляя, что царь промолвить желает свое слово великое к митрополиту-владыке. Стихли клики и пальба. Не гудят большие и малые колокола кремлевские... Громко, отчетливо заговорил Иван, желая, чтоб как можно на большем пространстве были слышны слова его речи, приготовленной и затверженной задолго до этой минуты.

— Отец ты наш, Макарий, митрополит всея Руси, и архиепископы, и епископы и весь православный собор священства русского! Бил я вам челом: молили бы Господа и всех святых Его о нашем здравии, и об устройстве земском и освобождении от нашествия врагов видимых и невидимых. Советовался я с вами о неправде казанской, что города они русские грабят, христиан в полон берут, церкви Божие и монастыри святые разоряют... Много раз и деды, и отец мой ходили за то войною на агарян нечестивых, и сам я той же стезею шел, да не посылал Бог удачи. Видно, за грехи мои прежние.

«Теперь за то — иное Бог дал! Не успели мы на татар казанских, на юрт нечестивый наступить, а на подмогу своим единоверцам безбожным крымский хан, Девлет-Гирей царь свою орду на Русь повел. Но молитвою вашею и заступничеством Бога сил и всех святых Его, купно с Пречистою Богородицей, вспять воротился Девлет-Гирей царь, не кем иным гоним, но только гневом Божиим! И нас не дождался!..

А которые люди его с нашими людьми переведались, — тут Господь нам свое милосердие явил: наши воеводы разбили крымских многих людей и многих живых к нам привели. И тогда, на всемогущество Бога и чудотворцев великих уповая, по-

шли мы на свирепых кровопролитцев, казанских людей, вооружаясь вместе с князем Владимиром Андреевичем и со всем своим воинством... И, Бог дал, дошли здорово.

Произволением Божиим, вашими святыми молитвами, предстательством отец наших, а также попечением, мужеством и храбростью князя Володимира Андреевича, всех наших бояр, воевод и всего христианского воинства тщанием и страданием за веру святую, за братьев православных, излил Господь милосердый щедроты благодати Своей на ны, на рабы свои неблагодарные, дарова нам помощь на сопротивные и победу светлую. Царствующее место, многолюдный град Казань — предан в руки наши, и в изгнании вера Магомета, водружен крест животворящий в запустенной мерзости казанской, и все живущие в ней басурмане судом Божиим — в единый день изгибли! Все же земские люди арские и луговые из всех казанских пределов — нам добили челом и обещались нам до века дань давати. И там, с Божьею благодатью, на сохранение градом и землям — оставили воевод своих и людей ратных многих.

А сами с таким великим Божиим дарованием сюда, ко образу Пречистыя Богоматери и к мощам великих чудотворцев и к твоей святыне и к отеческому своему месту — Москве престольной, — здорово пришли! И аз тебе, отцу своему, и всему собору, вместе со князем Володимиром Андреевичем и со всем своим воинством, на ваших трудах и молитвах — челом бьем!

И тут же до земли отдал поклон святыне и святителю юный царь-победитель. Князь Владимир — за ним склонился тоже. И полки, которые приготовлены были в Тайнинском, а теперь блестящей стеной стояли за царем, — простерлись ниц перед иконами, звеня, громяхая оружием и военными доспехами, сталкиваясь шишаками, задевая друг за друга наплечниками и налокотниками блестящих лат и панцирей своих.

А из народной груди, как из глубины взволнованной морской, вылетели снова и вдаль понеслись гремящие клики восторга, радости, приветов царю...

Но вот тяжело, медленно поднялись с земли ряды воинов, отдавших поклон, выпрямился царь и князь Старицкий и все провожатые их, бояре и воеводы.



Смолк народ, ожидая: что ответит царю владыка — митрополит московский, любимый всеми Макарий?

Не громко, но внятно, с приемом привычного риторика и господина душ людских, заговорил бодрый старик-святитель, выпрямив свой высокий, сухощавый стан, который казался еще выше, еще величественней от широких, блестящих облачений:

— Во имя Отца и Сына и Духа Святого! О, Богом венчанный царь и благочестивый государь, великий князь Иван Васильевич всея Руси! Мы, твои богомольцы, молим Господа и Ему хвалу воздаем. Дивен Бог во славах творяй чудеса! Ты, царю, царски-добре подвизался против супостатов своих, нечестивых царей и клятвопреступных татар казанских, и показал еси великие подвиги и труды, и чистоту и любовь нелицемерную, и мужество, и целомудрие! Не колебался пострадать до крови. Паче реку: предал еси душу и тело свое за святую, чистую веру христианскую, за церковь православную, за порученное тебе стадо, коего ты — единый пастырь. И помог Господь трудам и отваге твоей, как даровал он победу прародителю твоему, благочестивому князю Володимиру, и достохвальному князю Димитрию — на Дону, и святому Александру Невскому, латынян победившему!

И незабытлив, скор на воздаяние Христос. Победу великую даровал тебе на агарян нечестивых, еще же даровал тебе перворожденного сына от царицы твоей великия княгини Анастасии — царевича Димитрия Ивановича!.. Мы же, богомольцы твои, глаголем «велик Бог и чудеса Его!..» Радуйся, царь-победитель, и веселися на многая лета и со своею царицей, великой княгиней Анастасией и с царевичем Димитрием, и с братом Володимиром Андреевичем в Богом спасаемом царствующем граде Москве, и на всех своих царствах и на Казанском — из рода в род, на многая лета. И тебе, царю, благочестивому государю, за все твои труды, за одоление оплота мусульманского, всему миру страшилища, мы, со священным собором этим и со всеми православными христианами — челом бьем!..

Поддерживаемый двумя священниками, опустился на колени первосвятитель московский, седой старик Макарий и медленно склонился вместе со всем тысячеголовым клиром, его окружающим, — челом до земли,

на раскинутую здесь нарочно по дороге дорогую шелковую ткань...

И, как ветром склоняет спелые колосья на необозримых родных полях, так в одну минуту, с шелестом, с ропотом, с кликами восторга и благодарности — склонились в земном поклоне сперва передние толпы народа, а там и дальше, дальше... без конца!.. И уж подыматься стали передние толпы, а позади, на расстоянии нескольких верст вокруг, опускалось с одного конца море народное, сотни тысяч голов прилегали к земле, пока другие сотни тысяч, словно прибой всплеснувший, отрывались от сырой земли и вздымались кверху постепенно, с гулом невнятным, с рокотом, с шелестом... Совсем как море!

Тут же, на глазах у народа, сменил Иван свои доспехи боевые на блестящее облачение царское, повесил на шею крест большой, великокняжеский со святыми мощами, вместо шлема — надел шапку Мономаха, украшенную венцом золотым, и, в бармах, со скипетром в руке, во всей славе земной — двинулся впереди священного клира к древним кремлевским храмам, чтобы принести благодарность Богу за все милости, дарованные царю и всей земле русской.

И целых три дня потом: 8, 9 и 10 ноября, в большой палате Грановитой шел веселый пир у великого князя и царя всея Руси и казанского, у Ивана Васильевича Боголюбивого.

Богатый, веселый был пир! Многих и замертво унесли из-за беседы застойной... И щедро одарил всех государь на радости двойной: на покорении Казани и на рождении сына, наследника престола.

От митрополита до последнего воина из полка царского никто не был позабыт. Шубы собольи, кубки и ковши золотые и серебряные, парча, и бархат, и меха, кони из царских аргамачьих конюшен, оружие дорогое и наряды богатые — все раздавалось не жалея... И деньгами наградил царь, и землями, и вотчинами сподвижников своих и священную братию: попов, монахов... А простому народу, по всей земле, в городах и посадах больших — тоже столы были расставлены, угощение отпущено.

И по смете казначеев царских — сорок восемь тысяч рублей тогдашних ушло на расходы, кроме стоимости вотчин и поместий и того, что на кормление народа

затрачено, так как припасы доставлялись бесплатно монастырями и волостями земскими для народных пиров.

Неизгладимыми чертами врезалось в сердце народное, благодарное и восторженное, — имя царя Ивана Васильевича, покорителя Казани... И что потом ни творилось тем, кто носил это имя, — народ молчал, терпел и прощал за дарованную ему минуту светлую, веселую, счастливую... за такую минуту, каких вообще не много бывало у русского народа.

# ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ



РОМАН-ХРОНИКА

(1552-1584 гг.)





## ОТ АВТОРА

*Иван Грозный — вот имя того нового Герострата на троне, который, словно умышленно, сжег все доброе и светлое, все человеческое в собственной душе, испепеляя вместе с тем целые города, свои и вражеские, сжигая на кострах груды человеческих тел в таком числе, что только былая Инквизиция католическая может поспорить размерами религиозных своих гекатомб с дерзаниями автократа московского, великого князя и царя всея Руси!*

*Рати Ивана рубили и жгли, проходили грозою не только по вражеской, но и по родной земле. Новгород Великий и старый, вольный Псков до сих пор помнят приходы Иоанна IV. Воины и палачи царя проливали не только кровь неприятеля — убивали стариков, женщин... Детей нерожденных в утробе матери губили по приказу бесчеловечного царя его опричники. Дикий грабеж, растление девушек, детей, самое возмутительное насилие над женщинами — казалось обычным делом в дни Грозного царя.*

*Если таким образом — лезвием топора, факелом поджигателя — хотел Иван врезать и вжечь свое имя в вечной скрижали истории, — он добился своего. Нет угла на земле, где не знают этого страшного имени, где не реет облик «сыроядца» — как звали его уже при жизни на Руси. Он наполнял своей ужасной славой мир, пока жил. Прошло 330 лет после смерти его, и в целом мире, где только горит пытливая, обладающая знанием человеческая мысль, — там поминают Ивана Грозного... не добром, конечно!..*

*Но за морем пламени, за чадом горелых человеческих тел и за потоками крови, пролитой невинно, по прихоти полубезумного самовластника, — за этой завесой словно потонули, скрылись во тьме и другие стороны больной, изломанной, но, несомненно, богато ода-*

ренной от рождения души этого мудрого прозорливца, государственного строителя и деятеля, равного по замыслам своему гениальному правнуку, Великому Петру. Исчезли куда-то первые, светлые годы царенья Иоанна IV, почти 14 лет, когда его звали Иваном Боголюбивым, а не «царем-опричником», как прозвали потом!

После трех с лишним веков настало, я думаю, время дать цельный образ этого властителя-самодержца, полугения, полужверя.

Первая, светлая половина правления Иоанна изображена мною в романе-хронике, вышедшей перед этим под заглавием «Третий Рим», потому что под этим именно знаком народилась самодержавная власть царей московских на Руси, переданная от деда и отца — внуку, Иоанну IV. Под знаком мировой державы и защиты всего христианского мира от мусульманской силы; под сенью купола Святой Софии, манившей издавна к себе славянских царей Севера Европы, желающих стать императорами Византийскими и всея Руси, — под такими заветами взлелеяна была власть государей, последних Рюриковичей. И первые, светлые годы царенья Ивана до взятия Казани включительно пронизаны именно идеей стремления к «христианскому возобладанию славянского племени на целом Востоке и Севере Европы». И только потом, став Иоанном Грозным, кровопийцей, страшным игуменом Александровской слободы, — если не забыл, то отложил Иоанн Четвертый Боголюбивый широкие, гордые планы светлой юности...

«Третий Рим» и кончается на днях взятия Казани, на этих лучших страницах русской истории XVI века.

В настоящем романе-хронике дальше разворачивается свиток жизни царя Иоанна. Печальная хартия, где каждая строка рдеет кровью, отравлена запахом гниения, запятнана гноем разврата и падения могучей, большой человеческой души.

Но и эти страницы старался я чертить с возможным равновесием духа, не позволяя своей возмущенной человеческой душе подсказывать беспристрастному уму слишком скорые и жесткие слова бесповоротного обвинения.

Так я старался. Но «еже писах — писах»... То написано. Отдаю теперь людскому вниманию мой труд. Жду приговора над ним.

ЛЕВ ЖДАНОВ

## Часть I

# ЦАРЬ ГРОЗНЫЙ И ЦАРЕК СИМЕОН

### Глава I

ГОДЫ 7060—7061 (1552—1553)

*11 октября — 23 июня*

Взятие Казани, покорение царства Казанского!..

Больше трех веков тому назад юный царь Иоанн IV, прозванный в народе Боголюбивым за свою набожность, — выполнил, наконец, задачу, завещанную 26-летнему царю его отцом, и дедом, и прадедом: взять юрт Казанский, овладеть ключом, открывающим путь к Волге-реке, простор которой был необходим для Московского царства, еще юного, неокрепшего, но растущего не по дням, а по часам, подобно богатырям старорусских былин.

И сейчас еще в народе не умерли отзвуки этого события, звучат отрывки песен о «Казанском славном взятии»... о «царе Иване Василиче, покорителе Казани», который в октябре 1552 года овладел «юртом неверных татар Казанских».

И невольно отголосками былой гордости и восторга наполняется грудь старика-крестьянина, поющего «сказание», и грудь мыслящего, культурного сына великой народной семьи всероссийской, когда он пробегает взором строки старинной песни, созданной так давно, но оживленной снова станками скоропечатных машин.

Можно легко представить, какой восторг и живую радость испытывал сам царь, когда, после долгой осады и кровопролитных боев, вслед за последней резнею — пала твердыня мусульманская, стоящая помехой на пути для целой Руси, и сдался в полон последний царь Казанский.

Что переживало войско московское, целую осень зябнувшее в грязи, под дождем!.. Какое ликование началось здесь, когда рати вступили в богатый, большой, хотя и полуразоренный осадой город и уснули на мягких постелях, вместо мокрой соломы, брошенной в



грязи, в сырых, намокших от непогоды шатрах военного лагеря... Еще больше ликовал, веселился шумнее народ московский, вся земля русская, когда дошли сюда первые вести о взятии Казани, опережая торжественное шествие победителя-царя, возвращающегося домой, к своему престольному граду Москве, к жене любимой, к первенцу-сыну, рожденному царицей Анастасией совсем недавно, пока царь еще воевал с врагами.

Всюду народ ликованьем и громкими приветами встречал победителя-царя. Путь ему, как библейским вождям, устилали одеждами, целовали край его одежд, стремяна его коня. На Москве — митрополит, духовенство, цари иноземные, бояре и князья, а главное — весь народ, собравшийся к радостному дню встречи издалека, — сотни тысяч людей, море людских голов пало ниц, склонилось перед юным вождем земли, восклицая:

— Здрав буди на многие лета царь Иван Боголюбивый! Да живет покоритель юрта Казанского... освободитель рабов христианских из плена агарянского!

От восторга замирала душа честолюбивого юного царя, сжималось радостно и сладко сердце. Казалось ему, что не наяву, а во сне видит он сказку волшебную, о которой грезил немало дней.

И постарался царь, чем мог, отплатить со своей стороны народу, духовенству и ратным людям с их начальниками за любовь и службу верную.

Три дня длился пир, устроенный царем для знати и для народа. Не в одной Москве — и по другим городам столы всенародные были устроены, бочки с напитками выставлены для люда простого.

Не считая поместий и вотчин, коней, нарядов дорогих и шуб с царского плеча, розданных окружающим, — одно угощение обошлось казне царской почти что в миллион рублей на наши деньги. А если помнить, что пуд говядины стоил 20 копеек, что хлеб стоял в такой же малой цене, — можно себе представить, как щедро угощал землю ее державный хозяин на радостях победы, на двойной радости от рождения первенца, царевича Димитрия.

Но слишком велика была удача царя Ивана и всей земли его, чтобы завистливый Рок не постарался омрачить веселых дней. Радость победы, купленной потоками своей и вражеской крови, замутилась очень скоро.

Еще не отпировали шумных пиров, только успел съездить Иван с царицей и царевичем Димитрием к Сергию Преподобному, в Троицкую лавру, где у мощей святителя в Троицком соборе архиепископ Ростовский Никандр крестил княжича, как уже появились первые тучи — и со стороны вновь завоеванного царства Казанского, и от соседнего Новгорода Великого, и от Пскова.

В новом владении, с таким трудом завоеванном, в царстве Казанском, там голод настал, неизбежное последствие войны. А бояре, ставленники московские, не заботились о земле, о людях, старались только нажиться поскорей да побольше. Кочевники, горцы, луговые и приречные черемисы, чуваш и вотяки — все возмутились против христианского ига, чуждого им по духу, невыносимого по бессердечию представителей новой власти. Стычки пошли, и часто терпели урон русские.

А в Новгородской и Псковской земле чума жестокая сразу появилась, словно вспыхнула, и широко, пожаром разлилась кругом.

Вместе с добычей военной, с шелками, нарядами и сосудами дорогими, награбленными у казанцев, занесли ужасную гостью домой из Казани новгородские и псковские ратники, не брезговавшие достоянием мертвых, снимавшие дорогие уборы с казанцев, павших от болезней, с зачумленных трупов, которые валялись на площадях и на улицах покоренного города.

Первые оставили новгородцы бой, первые кинулись на грабеж, хватая, что на глаза попадется. И на них обрушилась всею силою «кара Господня». Откуда началась болезнь, трудно было решить. Толковали, что один новгородец, Пинай Потяков, ворвался в главную мечеть, на ступенях которой убит был Шериф-мулла, нашел там ящик небольшой, печатями многими запечатанный. Так его Пинай и в лагерь уволок, домой привез, не раскрывая. А дома стал разбирать всю грудку добычи привезенную и между мехами нашел забытый ящик. Вскрыл печати, поднял крышку — там нашел шаль кашмирскую тонкую, чудными узорами затканную, да две рубахи шелковые, мужские, золотом шитые.

Шаль он жене отдал, одну рубаху сам в праздник одел, другую брату своему крестовому подарил, Голубу

Третьяку, человеку торговому, богатому. И первыми жертвами чумы пали эти две семьи, в неделю вымершие до последнего человека, со всеми чадами и домо-чадцами. А там дальше да больше... И в Пскове мор открылся. Ни одного дома, ни единой семьи не было, где чума не унесла одной-двух жертв.

В три месяца до пятисот человек вымерло в обеих соседних областях. Да и в других местах, несмотря на заставы и карантинные суровые, много погибло народу, особенно бедняков, которые зимой и осенью в грязи, в сырых, холодных избах курных ютятся.

Настали крещенские морозы, воздух очистился, суше стал. Тогда и мор начал уменьшаться; но успел оставить за собой целый лес преждевременных могильных крестов по всему государству Московскому.

Много помогло народу живое участие, оказанное царем в этой беде. Он приказал по монастырям кормить и лечить хворый люд. Шестого декабря, в Николин день, было устроено торжественное поднятие мощей св. Николая с водосвятием, и потом вода святая была разослана в наиболее пораженные чумой места для раздачи народу. Вера и подъем духа давали силы людям бороться с болезнью, которая особенно легко передается слабейшему телу, если душа подавлена и тоскует...

Мор стал ослабевать. Иван вздохнул спокойнее. Макарий, зная любовь Ивана ко всяким церковным блестящим церемониям, приготовил ему два удовольствия, одно за другим.

Восьмого января 1553 г. бывший казанский царь, мальчик Утемиш-Гирей, сын Сафа-Гирея, был крещен Макарием в Чудовом монастыре в присутствии Ивана. Савва, игумен Крутицкого подворья, явился восприемником крещеного татарчука, который получил имя царя Александра Казанского и принят был Иваном в число самых приближенных к нему юношей, детей первых бояр и князей московских.

Сумел повлиять митрополит и на Эддин-Гирея, последнего хана грозной татарской орды. На выбор было предоставлено этому не очень отважному и твердому волей царевичу: лишиться жизни, чтобы не осталось у казанцев надежды вернуть себе мусульманского владыку, или принять веру христианскую и таким образом умереть для мусульман. В награду за крещение юноше

были обещаны великая милость, дары царские и почесть до конца дней.

Эддин-Гирей не родился, чтобы стать мучеником.

Он «добил челом» Ивану, чтобы дозволено было ему принять христианство, согласно «искреннему желанию и глубокой вере» этого так быстро обращенного татарского вождя. Для исполнения обычая несколько дней ходили попы и монахи к Эддин-Гирею и допытывались:

— Не от нужды ли, не страха ли ради хочешь познать закон веры Христовой?

— Нет! — твердо отвечал испытуемый. — Клянусь бородой Пророка, по всей правде-истине, с любовью готов и хочу принять закон Христа, а Магомета, бесильного и лживого, как я увидел после поражения моего, и скверный закон мусульманский отрицаю и проклятью предаю. Не спасли они меня... Ваш Бог победил.. Он, значит, есть Бог Всесильный, Бог Истинный!

26 февраля, на второй неделе поста, день выдался весенний почти, теплый, хотя и пасмурный. Чуть светать стало — близ тайника в стене Кремлевской, который вел к самой Москве-реке, совершилось крещение бывшего хана Эддин-Гирей-Магома-Хозроя. Царь с братьями своими, Макарий, двор царский, причт кремлевских соборов и церквей — все присутствовали при торжестве. Обряд крещения совершал Савва Крутицкий, а восприемником был Макарий, и дал он своему сыну-восприемнику имя Симеона, по отцу — Касаевича.

Вместо топора и петли — новообращенный, как лицо приближенное к царю, получил богатое жилище в самом Кремле, много добра, денег, земель с деревнями и даже целый двор наподобие царского, с боярином Иваном Заболоцким во главе.

Кроме этих двух — еще несколько татарских царевичей и царей своим присутствием способствовали блеску московского двора. Ших-Алей, правивший Касимовом, редко и жил там, все больше сидел в Москве. Каз-Булату-Тохтамышу город Юрьев был дан на кормление; Дербыш-Алей, претендент на ханство Астраханское, жил в Звенигороде. Бек-Булату с Саином — Сурожик-град был дан пока.

— Пусть знают и в чужих землях, как московский

царь врагов умеет щадить и миловать! — сказал Иван царице Анастасии, когда у той вырвался крик изумления, и даже руками всплеснула при рассказе мужа, во что обошелся ему новый приближенный, бывший хан Казанский Эддин-Гирей-Магмет.

— Ну, твое дело, милый ты мой... — шепнула Анастасия, крепко обнимая мужа и любуясь гордым блеском, каким загорелись сейчас оживленные глаза ее красавца-мужа.

— Да и не пропащие это денежки! — улыбаясь, добавил царь, помолчал. — Узнают другие князьки неверные, как мы ихнего брата награждаем, валом повалят. Еще больше от них корысти будет Москве. Вот теперь, после Казани, пора за Астрахань приниматься. Наша та земля, исконная... Еще прадед мой, Мстислав, умираючи, ту землю Тмутараканскую, как звалась она в ту пору, своим отказывал. А как раз оно и время нам приспело хорошее: смута большая в орде в тамошней. Гляди, не теперь, так на тот год — станешь царицей Астраханской.

Анастасия, не дослушав, даже руками замахала.

— Что ты, государь?! Снова война? Сызнова поедешь на муку и на бой смертный? Да ни за что! Да не пущу и не пущу. Вот повисну так — и не оторвут меня!..

И царица показала, как она сделает, чтобы не отпустить мужа.

Иван, смеясь, с поцелуями стал отрывать ее руки от своей груди.

— С тобой поеду... Так на коня тебя втащу — и увезу!

— А Митя с кем наш останется?

— Мамок у него, что ли, мало?

— Нет, не шути... — со слезами уж заговорила царица. — Неужто сызнова воевать собираешься?

— Нет, успокойся... Там дело не казанское, дело маленькое — и воеводы мои поуправятся. А хоть бы и пришлось мне воевать с кем из недругов царства нашего, ежели бы и жизни я решился в бою, не пропадет земля: сын на мое место останется, наследник мой, гордость моя... Здоров ли мальчуга? Здоров ли Митенька? Что не видать его?

— Пойдем, погляди на дитя!.. — предложила княгиня. — Да потише: уснул младенец, спит, душа ангельская.

И оба они потихоньку перешли в соседнюю горницу, где под надзором нянек тихо спал малютка Димитрий.

Разговор этот происходил день спустя после крещения Эддина. Простудился ли там Иван, разгоряченным выйдя из двора к реке, где было сыро и холодно, иное ли что подкосило мощное здоровье царя, но он стал недомогать, прихварывать с этого самого утра. Ни баня горячая, первое средство против всяких недугов у людей того времени, ни питье разное и натирания, проделанные самой царицей, — ничто не помогало. Недуг быстро овладевал Иваном, и он свалился совсем.

Печальна служба Великим постом в храмах московских... Заунывны напевы псалмов и гимнов покаянных... А во дворце совсем как в могиле. И говорят вполголоса, и ходят — не всей ногой ступают, чтобы лишним шумом не обеспокоить больного царя.

Долго тянется его болезнь. Тяжелая, упорная она. Огнем так и пышет больное тело, все — сыпью покрыто темною.

Думали сначала: не чума ли то новгородская приспела? Нет, не такие знаки. И жар силен у царя, неделями держится. Часто в беспамятство впадает больной, бредит осадой казанской, старой изменой боярской, вспоминая годы своего детства. И все сына да жену зовет:

— Настя, Митя!.. Не дайте меня в обиду... Отстойте от врагов: живым жечь хотят... На лютом огне мое тело палят!..

Но лекаря, из чужих земель пришельцы, живущие в Москве, и свои, русские, монахи — знающие люди, в лечение и зельях лекарственных сведущие, не велят никого пускать к царю, чтобы болезнь не передалась, так как заразная она.

Прислужник, помогавший сначала Ивану, когда захворал тот, сам скоро заболел так же тяжело, как и царь. Но за простым челядинцем ухода не было. Только один лекарь все к нему заходил и давал ему на пробу снадобья, которыми думал царя пользоваться. Если лучше становилось прислужнику, лекарь давал это средство царю. Если от лекарства хуже становилось слуге, лекарь выливал дозу, приготовленную для Ивана. И в бане парил испытатель-врач второго больного, и холодом пользовал, ища, от чего поддается болезнь.

Не мудрено, что слуга скоро и умер.

Окружающие царя, не зная, что пришлось испытать бедняку от лекаря, — перепугались, особенно Захарьины. Все их могущество зависело от состояния здоровья Ивана. Умрет он, малолетнему Димитрию, если даже признают бояре в нем будущего царя, опекуны будут даны, самые знатные, самые сильные породой, самые богатые землями и деньгами. А Захарьины только-только что оперяться стали. И, конечно, многочисленные враги и завистники поспешат ввергнуть «выскачок» в такую пропасть, из которой потом и не выбраться. Примеры тому у всех живы в памяти: Глинские рухнули... Шуйские, Бельские рухнули! Овчина, временщик всевластный, и весь род его рухнул, в собственной крови потонул, захлебнулся.

Жуть проняла братьев Анастасии. Страх свой сумели они и царице передать. А там, когда на больного нашла минута просветления, рискнули и к нему пробиться оба шурина.

Обрадовался Иван, долгое время, в светлые минуты между бредом, не выдавший никого, кроме лекарей да челяди ближней, но ни бояр, ни родни не замечавший у своей постели.

— Здоров, Данилушка, братец... И ты, Никита... Чтой-то не видать никого из моих при мне? Али так уж прилипчива хворь моя? — слабым голосом спросил Иван.

— Есть тот грех, государь. Да вот мы не побоялись... навестить, проведать тебя пожелали...

— Спасибо. А жена што? А Митя?

— Все здоровы, дал Господь. Кручинны только больно!

— Ну, вестимо... Да, Бог даст, оздоровею я скоро, утешу их...

— Конечно, на все Божья воля... В животе и смерти — Он Судья, государь-братец...

И тон речей у обоих шуревьев был так тревожно-зловещ, что Иван задрожал.

— Да... да разве уж так плохо дело мое? Что лекаря говорят? Я сам спрашивал. Они все утешают: «Ты, мол, здоров, государь!» Толкуют мне: «Одолеешь недуг свой тяжкий, поправишься». Что же? Али неправду бают? Тешут меня, словно дите малое? Говорите скорей!..

— Нет, что же!.. Коли лекаря толкуют — им лучше знать... — не глядя на больного, ответили оба гостя.

Помолчал Иван, вздохнул, потом опять заговорил:

— Ну, на все воля Божия!.. Никто, как Он! Вижу, надо о смертном часе подумать... Волю свою оставить, царства свои и землю всю при жизни за Митей закрепить. Господи, не дай ему того изведать, что мне по малолетству моему испытать довелось!

— А, гляди, не лучше и будет, — дай Бог, мимо молвить!.. Ну да все ж таки... ежели племяш осиротеет наш... и ежели ему защиты близкой, родной не будет... Как думаешь: долго ль ему и жить-то без тебя останется? Вон у тебя брат родной — дурашлив да никчем! Так уж надо по правде говорить. Да зато — двоюродный твой... о-ох!..

И Данило Юрьин, не dokonчив речи, только покачал головой.

— А что?.. Разве уж?..

— М-м-м... Да как сказать... Толкуют, что большие советы советует князь Володимир Андреич с боярами да с воеводами многими... Особенно кто твою опалу изведаль... Мало того, Одашев — собака, старый пес, отец твоего любимчика, так и днюет и ночует в палатах у Старицкого. Мало ему, холопу, что сам из грязи да в князи пролез, боярином окольничьим сделан... что сынишко его стольником... Кричал, поди, Олешка, што любит тебя, што раб твой верный... А видал ли ты его при себе?

— Разок заходил...

— То-то ж! А поп Селиверст, рассказывают, с ними ж. Он — давний доброхот Старицких... Еще через Шуйских, твоих и нашего роду ворогов неустанных. То присмирили было они, как тебе Бог победу над Казанью даровал... да сына послал... А при недуге твоём тяжком — и снова кадык подняли. Да так высоко, и-и, Господи! И будто недоволен Олешка малой отличкой... А как сказал ему поп Селиверст: «Не кручинься, друже! Живет правда! Помнишь, как пели жены израильские: «Саул победил тысячи, а Давид — тьмы!» — так, може, и тебе такое же воспоют!..»

— Да быть не может? — дрожа от волнения, переспросил Иван.

— Вот те Христос! У меня вить тоже не котел на плечах. Везде свои люди поставлены. Без того нельзя. Так вот, Олешка на слова поповы и отвечает: «Бог велик и в малости — людей своих находит! А будь у



меня больше силы, и ты, батько, клобук митрополита мог бы на башку вздеть. Не хитрость какая его носить! Засиделся Макарий, вишь, на своем месте! Тринадцатый год сидит. Пора и честь знать! Одно, грит, не к руке: женатый ты поп, не вдовый, не черноризец». А поп на ответ: «Было бы из-за чего?! Постриг недолго-те принять и от живой жены! Церковь Святая — первая невеста души и единая, непорочная, неизменная!..» Вон оно куда уж дело гнут!..

Замолк Данило, смотрит: как его речи повлияли на больного? А тот только прошептал:

— Дьяка моего... Ивана Михайлова... у него хартия... и митрополита мне... хочу волю свою...

Не dokonчил, побледнел и сомлел.

Но для Юрьевых было достаточно. Пользуясь страхом, который зараза внушала всем близким к Ивану людям, они вторично выследили, когда легче стало больному, — и явились с Макарием и еще с двумя священниками митрополичьими, ближайшими, предупредив заранее владыку, в чем дело.

Дьяк Михайлов, у которого, по обычаю, наготове была духовная, дал ее царю.

Макарий первый вошел к Ивану и долго сидел с ним наедине. О чем толковали они — никто не узнал. Потом позвали свидетелей: бояр и попов, приготовленных в соседнем покое, — и они подписали завещание больного царя, составленное по примеру других таких же актов, писанных отцом и дедом Ивана.

Особенностью их являлся новый порядок наследования. Престол назначался не старшему в роду, как раньше бывало, а старшему сыну умирающего царя. И только если нет сыновей у него, власть переходит к братьям по старшинству.

— Царь подписал духовную... Царство царевичу Димитрию приказал! — сейчас же пронеслось по дворцу.

И печалились люди, близкие к Ивану, — и рады были, что решен этот жгучий вопрос, грозящий многими неурядицами, умри царь внезапно, без завещания.

Зато партия князя Владимира призадумалась.

— Никто, как Юрьины, недоумили царя! — сказал Сильвестр, недовольный, что за последнее время Иван не так уж послушен ему стал, как был первое время после «великого пожара московского».

— Не беда! — отозвался бывший при разговоре из-

воротливый князь Иван Михайлыч Шуйский. — Завещать он все может, хошь Могола Великого престол, — своему Митянке. А мы креста не целовали младенцу несмышленому помимо старшего родича, дяди его, князя Володимира, как оно по старине водилось... и целовать не станем. Хуже, что ни день, царю... Гляди, до разговенья не дотянет, не услышит звону пасхального... А мы — своего царя красным яичком величать будем.

И Шуйский поклонился степенно князю Владимиру, в доме которого собрались все единомышленники. Но Иван не только дотянул до пасхальной заутрени, а даже словно бы выздоравливать стал, только слабость сильная держала его в постели. И по-прежнему отделен он был ото всех, во избежание заразы.

Вдруг оповещение пришло: на второй день Пасхи — присяга всем боярам и князьям объявлена, и князю Юрию, и самому Владимиру Старицкому; а присягать и крест целовать наследнику царскому, первенцу его, княжичу Димитрию. И во всех церквах приказано от митрополита: Евангелие ставить и к целованию крестному с записью приводить всех — и бояр, и простых, и служилых людей.

В самую Страстную субботу сильнейший приступ болезни снова поставил Ивана на рубеже между жизнью и смертью. По словам врачей — то был решительный кризис.

Загудели в полночь пасхальные колокола. Все церкви кремлевские сияли тысячами свечей... Черно повсюду от молящихся... Всем веселье и радость. Только царица Анастасия, в слезах, бледная, убитая, сидит одна в терему, у колыбели первенца своего, так печально вступающего в свет. Не радость светлую, опасности и гибель несла ему первая весна, которую пришлось встречать на земле малютке. Умри Иван — царица знала, что ей с ребенком тоже недолго жить на свете. Избавятся от нее скорешенько враги, соперники ее ребенка, милого, ненаглядного сыночка...

Всех женщин отпустила Анастасия в церковь дворцовую, а сама не пошла никуда. Не праздник — тяжкие будни для нее потянулись с той минуты, как захворал Иван. Да еще самое худшее, что не пускают царицу к больному. Говорят, может и она захворать, и малютку погубить. Эта последняя мысль, опасение заразить Димитрия, пересиливает в молодой женщине

неодолимое желание: пойти к мужу, кинуться на колени у его постели, целовать страдальца, освежать прикосновением рук его пылающую голову...

И раздвоенное чувство Анастасии: страх за ребенка и тоска по мужу — измучили, извели эту кроткую, добродную раньше красавицу.

Только ее прекрасные глаза — словно еще больше они стали, еще шире раскрыты на исхудалом лице — и горят затаенной мукой, поражают скорбной красотой, влекут к себе неудержимо каждого, на кого ни взглянет Анастасия.

Но она и глядит-то редко на кого, кроме как на сына. Все ей в тягость, всем не верит она. И хотела бы, а не верит!

Ведь что теперь только делается?! Ни для кого не тайна, какие происки творятся в пользу Владимира Старицкого против Ивана. И пугливо затихла Анастасия. Полумрак, тишина в низких покоях теремных у царицы. Там, за окнами, — весна просыпается, природа воскресает, Светлое Христово Воскресенье славят люди. А на сердце у одинокой женщины — такая же грусть и полумрак, как в светелке, в спальне царевича, где сидит она, сторожит мирный сон младенца.

Вдруг скрипнула дверь в светелке. Анастасия поднялась, сделала шаг вперед и, взглядываясь в углубление арки, где был вход, спросила:

— Ты ли, Дарьюшка?

Но, к удивлению царицы, в горенку с поклоном вошел Алексей Адашев, а не старуха-мамка верная, Дарья Федосеевна, сестра казначея Головина.

Прямо и смело подошел он к царице, словно не замечая ее удивленного взора, еще раз поклонился до земли и, подавая ей большое красное яйцо лебяжье, хитро изукрашенное и разрисованное, проговорил:

— Христос Воскресе, государыня-матушка!

— Воистину воскрес! — отдавая поклон, ответила Анастасия и машинально, как принято, подалась немного вперед головой, чтобы принять уставное христованье.

Смелый временщик, вместо того чтобы почтительно, не касаясь руками, не прижимая губ, совершить обряд, — неожиданно подошел совсем близко к Анастасии, обнял ее сильно, горячо, как только муж жену

или брат любимую сестру обнимает, и три долгих, греховных поцелуя обожгли царице губы.

Крайнее изумление, смущение невольное, стыд и гордый гнев, целая смена различных ощущений пронеслась в душе у Анастасии. Не находя, чем объяснить подобную неслыханную наглость, она подумала: «Пьян, видно, холоп».

И решила быть очень осторожной с незванным гостем.

Все-таки немалую службу сослужил он ее мужу, государю Московскому. Толкуют, что отец любимца царского, боярин Феодор Адашев, на сторону Старицкого и Шуйских перешел, а сын под шумок так себя ведет, что не разберешь, чью руку он тянет. Больного ли царя или здоровых недругов его? Ну да сейчас разбираться не время. Каждый человек пригодиться может, особенно такой, как Адашев, первый друг властного Сильвестра и сам — не маломощный в Думе, в управлении земском и даже в рядах воевод.

Не любит лукавить и гнаться Анастасия. Претит ее чистой душе всякая ложь. Да что поделаешь?! Гроза налетела и на семью ее, и на все царство. Тут и не хочешь, а лукавить, душой кривить научишься. В одно мгновенье этим самым троекратным, жгучим, полным страсти лобзанием выдал свое давнишнее влечение к Анастасии Алексей. Все стало ясно царице: и взгляды его долгие прежние, и речь ласковая, вкрадчивая... Но, пока был здоров царь, наперсник его, ложничий, спальник приближенный, в узде держал свои чувства.

Теперь — Иван умирает. Положение царицы и царевича тяжелое, шаткое. Чего же стесняться?!

Противно Анастасии видеть такую низкую душу, встретить черную неблагодарность к царю со стороны человека, всем обязанного Ивану. Но — надо молчать, терпеть. Может быть, не давая никаких прав на себя, кротостью и лаской удастся пробудить совесть в сильном лукавце? Может быть, и ей, и царю, и Мите ее милому послужит на пользу Адашев? Ведь вон какую он силу забрал!

И бедная, растерявшаяся женщина подавила смущение и негодование, все чувства, вызывающие сейчас яркую краску на щеках царицы, сделала вид, что не поняла, не заметила дикого порыва в своем подданном и рабе.

— Что скажешь новенького, Алексей Феодорович? Садись. Спасибо, что не забыл меня, одинокую, бедную...

— Да, не ведает, видно, и Господь порою, что творит, — хмурясь проговорил Адашев. — Тебе, такой душеньке чистой да ангельской, государыня-матушка, испытания столь невыносимые и незаслуженные посылает!

Горячим, искренним тоном произнес Адашев свою речь, но хмурится он не на несправедливость Судьбы, а на другое. Прямо в душу ударил ему равнодушный, сдержанный вид, с каким Анастасия приняла смелую, жгучую, хотя и замаскированную ласку отважного, красивого собой, молодого мужчины. Алексей ведь знал себе цену. Лучше бы рассердилась царица за необычный поцелуй, как бы дерзость. Но она словно ничего и не заметила! Это слишком обидно.

Неужто так любит молодая красавица своего ветреного, припадочного и раздражительного мужа? Любит и после такой долгой его болезни, когда тот умирает? Любит, вопреки всем огорчениям, какие приносил ей Иван на глазах самого Адашева? Быть не может!

Значит, другой кто-нибудь успел опередить его, Алексея? Занял место, которое он думал захватить? Место, равносильное положению Ивана Овчины-Телепня при княгине Елене во время младенчества Ивана. Теперь, случайно, — все сходно повторяется. Царь Иван умирает. Димитрий, наследник, — малютка. Против нового порядка наследия — Владимир Старицкий стоять собирается за права старшего в роду на венец Мономахов. Старший этот сам Владимир. Без Адашева и Сильвестра — Анастасии пропадать! Неужели она не поймет того?

И, подавляемый ослеплением страсти столько же, как и честолюбием, Адашев, совершив первый шаг, решил, не останавливаясь, идти уж и дальше, до самого конца.

Быстро подойдя к двери, он заглянул туда, убедился, что нет никого еще в соседней комнате, да и быть не может. Он в самом начале службы выскользнул незаметно из храма и пробрался сюда. Захлопнув тяжелую, сукном обитую дверку, Адашев даже не задумался, запором преградил до времени вход в комнату кому-либо из свиты царицыной.

Вернувшись к царице, у которой и ноги подкоси-

лись, так что она вынуждена была опуститься на лавку, недалеко от колыбели сына, — Алексей подсел рядом и решительно заговорил:

— Слыхала ль, государыня, на второй день праздников царь-государь приказал дьякам и боярам своим думным к присяге людей и рать привести, особливо — Шуйских с Мстиславскими и князя Володимира...

— Слыхала! — как эхо, слабо отозвалась царица.

— А знаешь ли, пошто так заторопился царь? Ведь духовная дадена. И ежели помрет государь — воля его ведома. Так, говорю, спешки такой, присяги прежде-часной причину ведаешь ли, государыня?..

— Сдается, что знаю.

— Знаешь? И то ладно. Меньше мне толковать с тобой придется. Так ведаешь ты и всю кашу, какую княгинюшка вдовая, Евфросиния Старицкая, для сынка своего заварила? А?.. Как бояр подбирает, люд честной сзывает, золотом сорит, чтобы смуту поднять, на место наследника-царевича — дядю евоного первородного старинным обычаем на стол посадить?

— Слыхала... Сказывали.

— Та-а-ак... А чем беду избыть? О том думала ль, государыня-матушка?..

— Нет! На Бога надежду возложила. Не даст Он в обиду сироту!

— Э-эх, государыня, давно сказано: на Бога надейся, а сам гляди-поглядывай! Вон, государь твой, хошь и хворый, умирает, поди, — а боле тебя в деле смекает: на послезавтра присягу объявил. Оно бы кстати, да одна лиха беда: кто примет присягу, тех и бояться бы нечего. Все люди прямые, верные, честные! А кто опасен, кто змий самый и роду и царству нашему, те или прямо креста целовать не станут, али увильнут, в «нетях», хворыи скажутся, потайно в вотчины отъедут на время на самое смутное... Ежели, скажем, нынче умрет царь...

Настасья вздрогнула даже от этих жестких, уверенных слов. Но Адашев прав: и сама царица плохо надеется на выздоровление мужа.

— Нынче умрет царь, — словно не заметив волнения Анастасии, говорит Алексей, — завтра ж мятеж загорится. Ежели еще при жизни государя не приключится чего... И дай Бог, ежели тебя в заточение и царевича — в монастырь свезут, от мира укроют, пока посхимить можно буде отрасль царскую. А не то...

И Адашев уже не стал доканчивать, не пояснил подробней, какая участь может постигнуть мать и ребенка со смертью царя.

Молча слушала Настасья, выжидая, желая узнать, к чему клонит речи свои этот раньше такой мягкий, вкрадчивый, а теперь — словно подмененный человек.

Адашев, и не ожидая ответов от Анастасии, быстро продолжал:

— Есть еще спасение у тебя с сыном... Все равно: умрет ли Иван али выздоровеет...

Не царем, не государем назвал Адашев мужа, а просто Иваном — и это больно кольнуло в сердце царицу. Но она все молчит и слушает.

Адашев же, не видя или не желая видеть ничего, продолжал:

— При юности еще Ивана речи ходили воровские, что не от колена царского он, а сын-де... Ну, сама знаешь... И вот, если будет очень стоять государь на присяге Димитрию, хотят припомнить о том, что-де Володимир Старицкий прямой Рюрикович, а не сумнительный... И прямо креста не примут... Гляди, при жизни из цариц с царем тебя и его разжалуют.

Настасья слушает — молчит.

— А всему тому и поправка есть. И в моих руках она! Знаешь, немало бояр я людьми сделал вместе с попом Сильвестром. За нами стена тоже стоит немалая. Можем мы перехватать нынче ж в ночь самых главных ваших недругов и то им уготовать, что они вам сулят. В ту яму толкнуть, кою тебе с сыном роют. Только...

— Только?..

— Добро за добро. Не... не отринь меня!.. — вдруг, против воли понижая голос, произнес Адашев, хотя и не мог их услышать никто.

Побледнела Анастасия. Вскочила. Глаза горят негодующим огнем, губы презрительно сжаты.

Всего ожидала она, только не такого прямого, постыдного торга. И, не находя слов, с дыханьем, которое перехвачено было в груди, — стоит она, словно мраморное изваяние...

Зарвавшийся Адашев, объясняя смущением молчание царицы, обрадовался, что она не гонит, не бранит его, как можно было ожидать, а стоит и глядит мол-

ча... И, чтобы окончательно довершить предполагаемую победу, Алексей быстро продолжал:

— Не посмел бы я слова такого сказать, если бы уж давно не жалел тебя, не тосковал в ночи бессонные, днями — годами не кручинился... Какая твоя жизнь?! Раньше — совсем образа Божьего не было на Иване, а как мы с Селиверстом стали поманеньку обуздывать его, он и с тобой по-людски зажил, да не совсем! Чай, знаешь, что на охоте он творит, в селах своих? Слыхала, что под Казанью было?.. И татарок, и крымков, и с робятами блуда всякого непотребного!.. А ты все терпишь, кроткая, аки агнец, голубица чистая... Как же не любить тебя, красотушка?.. А греха не боясь. Вдовой останешься ли — можно будет грех венцом покрыть. Я сам уж боле года вдовый. Поженимся с тобой! А выживет Иван — покаемся в грехах, Бог простит, он милосердный. А уж как любить, беречь тебя буду! Не мальчишка я... не беспутный какой. Видала, чай, как сумел я князьями верховодить, царство, не от отцов дарованное, а чужое, устроить сумел. Так для тебя не жизнь — рай земной, гляди, налажу... Да что ж ты молчишь? Слова не скажешь? — вдруг перебил он сам себя, обеспокоенный все-таки видом и безответностью Настасьи Романовны.

Невольно ища ее близости, он сделал шаг вперед и хотел взять руку царицы.

Но Анастасия отшатнулась от него, как от пресмыкающегося, медленно, не сводя негодующего взора с лица Адашева, с презрительной гримасой на прекрасных губах, — подошла вплотную к кровати Димитрия, словно ища там защиты.

Дикая, внезапная, необъяснимая злоба охватила Адашева при виде отступления любимой женщины. Редко поддавался страстям и влечениям уравновешенный, добродетельный Алксей, но теперь страсть взяла свое — и он окончательно потерял голову. Какие-то темные силы проснулись и владели сейчас этой всегда ясной и спокойной душой. Он хрипло заговорил:

— А! Бежишь?.. Не любишь меня?.. Боишься? Может, иного кого полюбила уже? Не в час, не вовремя я, значит?.. Все равно! Гляди, не сделаешь по-моему — и подмоги ниоткуда не жди. Гибель тебе, и сыну твоему, и мужу хворому! Всем гибель вам!

Тогда все так же, не произнося ни звука, с лицом



скорбным, бледным, покрытым ужасом, — царица распахнула полог кровати сына, подняла руку и коснулась распятия с мощами, висевшего над изголовьем Димитрия, словно ища защиты от злых духов.

Губы ее тихо-тихо стали шептать слова молитвы, словно заклинание от бесов.

Какой-то хриплый, натянутый, притворный смех раздался у нее за плечом. Это захохотал Адашев.

Видя неудачу, он все-таки не хотел признать себя побежденным и сквозь притворный смех заговорил:

— Гляди, испугалась царица-матушка! Успокойся, я не дьявол во плоти, хоть и правда: искушать тебя приходил. Время приходит крайнее. Вот и понадобилось мне узнать: какова ты мужу своему жена верная, сыну — мать доброхотная? Вижу: честь и хвала тебе, государыня. Оздоровеет государь — скажу ему, сколь ты верна закону и слову Господню... Прости, не обессуди! Пойду хлопотать, чтобы послезавтра и в самом деле чего не случилось в час целования крестного. Храни Господь тебя с царевичем.

И, отдав земной поклон, Адашев вышел из светелки, оставя в полном недоумении бедную женщину. Не знала Анастасия, что ей и думать. Куда кинуться? Что начать? Ей даже не верилось, что вся дикая сцена разыгралась и взаправду здесь, в опочивальне ее сына, у его колыбели. Не наваждение ли то было дьявольское? И она все стояла, шепча молитвы...

Пришли боярыни, и девушки, и мамки, стоявшие у заутрени, стали христосоваться с царицей, разговорье устроили.

Анастасия, наполовину выйдя из своего оцепенения, подозвала Дарью Федосеевну и сказала:

— Дарьюшка, побудь при младенчике. Не отходи. А я на миг тут на один... Только не отходи, гляди!

— Что, государыня-матушка, али в палату Крестовую охота заглянуть, службу послушать?.. Поют, поют очень там. Иди, хоть малость побудь, а то — грех! Экий праздник, а ты и в церковь Божию не пошла.

— Не до того, Дарьюшка...

— Горе, знаю... Да к Господу-то с горем и надо ходить. Он благ, Милостивец... Иди, иди, милая.

И старушка села у колыбели, явно решив не отходить отсюда, как приказала царица.

А Настасья Романовна пошла не в церковь домашнюю, нет.

Откинув писанку Адашева, которую машинально держала еще, зажав в руке, — царица взяла с блюда простое красное яйцо, каким христосовалась со своими девушками и старицами, проживающими у нее наверху, и, кутаясь в простой охабень, полуосвященными, а то и совершенно темными, знакомыми переходами направилась в ту половину дворца, где лежал больной Иван. За царицей шла с фонарем одна только карлица-шутиха, потешная Анастасии, злая, но преданная и бойкая девка-горбунья.

Вот и проход, ведущий в покои царские. Алебарщик узнал и пропустил царицу. Вот двери комнаты, где лежит больной. И здесь, по соседству с его спальней, — щекочет обоняние сильный запах курений и жженого можжевельника, который сжигался, чтобы не дать распространяться заразе.

Приоткрыв дверь, Анастасия робко заглянула в обширную, хотя и невысокую, слабо освещенную опочивальню.

Иван спал на кровати, лишенной обычного полога. В углу сидел и сладко храпел очередной монах, склонясь над толстым томом церковным, который читался вслух для развлечения царя, когда тому становилось полегче. Склады, ковши, кубки на столе... Лицо у больного вырезается на изголовье, исхудалое, бледное. Но спит он спокойно, глубоко. Это была как раз минута перелома, кризиса. Сильный жар сменился упадком сил и понижением тепла в теле. Врач, видя, что Иван покрылся испариной и впал в глубокий сон, тоже ушел отдохнуть. Теперь надежда воскресла, царь мог быть спасен, если только не явится какой-нибудь неожиданности.

И долго глядела царица на спящего мужа. Потом, вспомнив о заразе, об опасности, которая грозит ее ребенку, — она нагнулась, тихо положила за порог красное яйцо и шепнула бледными, пересохшими губами:

— Христос Воскресе, Ванюшка, милый мой... Спаси тебя Господь. Хоть взглянуть привелось... Христос Воскресе!

Мысленно послав мужу поцелуй, тихо прикрыла дверь и ушла.

По дороге она сказала своей провожатой-карлице.

— Слышь, скажи Дарьюшке, что я в мыльню прошла. Пусть принесут туда мне надеть все чистое, другое. А это сжечь прикажу. И пусть она побудет у младенчика, пока не сменюся. Тогда приду. Тогда — можно будет. Не занесу ему ничего. А только ты... ты, гляди, молчи... Не сказывай, где были мы с тобой.

Только успел соснуть немного, передохнуть часок — другой митрополит Макарий после долгой, утомительной пасхальной службы и снова встал, прокинулся в обычный ранний час. Умылся старец, прочел краткую молитву и подошел в раздумье к широкому окну своей кельи, заменяющей и кабинет, и библиотеку. Распахнув половину рамы, состоящей из больших слюдяных окончин, вставленных в частый деревянный переплет, владыка зажмурился от снопа солнечных лучей. Вместе с порывом ласкового весеннего воздуха и с гулом трезвона пасхального ворвались они в небольшую келью, где пахло ладаном, кожей старинных переплетов и сухими травами, хранимыми в особом ящике на случай легкого недуга, когда Макарий любил пользоваться себя домашними средствами.

Стаи голубей, питомцы владыки, словно бы только и ждали его появления, сорвались с карнизов соседних хором великокняжеских, с подзоров Грановитой палаты, налетели от церкви Ризположения, стоящей в самом углу митрополичьего двора, и тучей опустились на каменные плиты перед окном, на голые, покрытые почками ветви соседних кустов, на карниз окна, — куда только возможно, поближе к щедрому хозяину. Макарий, завидя гостей, добыл из нарочно приготовленного мешка сухого гороху и горстями стал кидать его птице, которая шумно ворковала, дралась между собой, переносилась с места на место, веселя старика этим гамом и суетой.

Жилище митрополита Московского отличалось скромностью, хотя уже намного превосходило ту простоту, с которой мирились первые владыки, жившие в незатейливых и тесных срубах. Каменное здание митрополичьих покоев установлено было на высоких арках-подклетьях. Обитаем был лишь второй этаж и верхняя светлица, где летом царила прохлада, такая желанная для отдыха после знойного дня. Во втором эта-

же, не считая передних и задних сеней, обширных и предназначенных для приема простого люда, было всего три просторных, но невысоких и просто обставленных кельи. Первая служила для приема, для работы и называлась «горницей». Вторая — «крестовая». Здесь, в большом киоте, помещались старинные образа: Бог Саваоф в чеканной, золоченой ризе, украшенной дорогими самоцветами; Богородица-Одигитрия, Ангел-Хранитель и чудотворец Макарий, покровитель владыки. Все иконы сияли дорогими окладами. В особом поставце — церковные и богослужебные книги, рукописные, в тяжелых переплетах, деревянные доски которых были обтянуты кожей, украшенную живописью и золотым тиснением.

Список «Миней» на данный месяц, произведение самого Макария, лежал на почетном месте, поверх других.

Задняя келья, столовая и спальня, отличалась широкими скамьями по стенам. Здесь на ночь, в переднем углу, под иконами, клали тюфяк Макарию, сверху — перинку, простыню и одеяло. А утром все уносилось в подклеть, в кладовую, пристроенную там, между арками. Если не приходилось владыке есть вместе с какими-нибудь почетными гостями, он и за трапезу садился не в Столовой палате, устроенной особо, а здесь же, в заднем покое. Передняя горница была тоже не пышно обставлена. Неизбежные лавки по стенам, одно кресло, обитое тисненой кожей, другой — стул резной, кленовый, сиденье и спинка покрыты подушками рытого бархата. Два-три стола: один затейливый, складной, расписанный и выложенный разноцветными узорами из кусочков дорогого дерева; остальные с ящиками или прямые, резные, изукрашенные искусными мастерами, которыми полна была особая слободка митрополичьих «рабочих людей».

Вообще, патриарший двор, отделенный от царского высоким тыном, но соединенный с ним деревянным извилистым «Чудовским переходом», представлял из себя целый городок, как и царский двор, только поменьше.

Небольшое зеркало на стене в первой келье, подсвечники искусной работы, тонко чеканенные; часы с боем в углу, в тяжелом футляре, дополняли убранство лучшей, жилой кельи Макария. В углу же, на особом поставце, стояло несколько кубков, чаши, ковши — по-

дарки царской семьи и больших бояр митрополиту по разным торжественным случаям.

Только что Макарий, кинув последнюю горсть жадным голубям, успел сверить свои «воротные» часы, круглую, тяжелую луковицу, с «боевыми» часами, громко тикающими в углу, как за дверьми раздался обычный входной опрос.

— Аминь! — откликнулся Макарий, давая тем разрешение войти.

Служка вошел и, совершив обычное метание, доложил:

— Отец протопоп Сильвестр тамо и Адашев, ложничий царев, Алексей Феодорович. Молют, владыко, видеть очи твои. Благословишь ли?..

— В добрый час!.. Зови... Рад видеть... Мантию сперва одеть помоги... И клобук, вон...

И Макарий, бывший в домашней зеленоватой ряске из тафты «таусинного» цвета, с нашивками, то есть с рядом мелких пуговиц, застегнутых на петли, да в камчатной легкой шапочке, — с помощью служки накинул на себя мантию из пушистого бархата темно-вишневого цвета, украшенную жемчугом и изображениями четырех Евангелистов, черненными на серебре. Белый вязаный шелковый клобук был осенен крестом из самоцветов и окаймлен по сторонам четырьмя серебряными дощечками, тоже с изображениями святых, сделанными эмалью. Жемчужный, хитро вышитый спереди херувим и другие жемчужные узоры дополняли украшение белой невысокой митры, какую тогда носили московские первосвященники.

Служка ушел. Распахнулась снова дверь, и вошли ранние гости Макария — Сильвестр и Адашев.

— Что скажете, гости дорогие? — после первых привычных приветствий и благословений спросил хозяин, усаживая протопопа у стола с собою и указав Адашеву на скамью, тут же, близко, у стены. — Какие дела в такую рань вас подняли? Тебя, отче, и тебя, чадо мое?

— Вестимо, дело есть. Зря не стали бы тревожить тебя, владыко! — со своей обычной суровой, отрывистой манерой проговорил Сильвестр. — Наутро крестное целование княжичу Димитрию приказано для ближних бояр, для набольших, а там и для всех... И для князя Володимира Ондreichа.

— Ведаю о том. Не без меня делается. Где ко кресту приводить — меня миновать можно ли?

— Вот то-то и оно-то! Неладно это.

— Что неладно? Не пойму, отец протопоп. Стар, видно, стал, туг разумом.

— Ну что ты, Христос с тобой, отче-господине! Первый год мы, что ли, друг с дружкой знаем? Ты?.. Да постой, был у тебя Данилко, брат вон его? Сказывал ай нет?

— Данило Адашев? Как же... Нонче, как только я к себе собрался, он во храме и подошел. Говорил, как же... Так вы вот насчет чего?..

— Да, не по пустякам же, говорю... Вон толкуют: нынче спозаранку проснулся царь в памяти. Может, в последний то раз... Очень плох, сказывают. Так ты бы сам. Или через людей каких ближних... Вон хоть Михалко Висковатый, дьяк царский. И тебе он человек приближенный. И поговори. Пусть повременит с присягой али и совсем поотложит... Чего в голову пришло царю-то: малыша спеленатого в государи нам сажать?! Что будет?!

— А что будет, как мыслишь?

— И думать нечего: что в Иваново малолетье было, то и теперя поновится... коли навяжут царству...

— Погоди, отец... Навяжут, говоришь ты... Бог так постановил, что сын по отцу наследник.

— В малом деле, а не в государевом. Недавнушка в нашей земле энти порядки пошли. Раней братан второй по старшом на престол садился. Так и теперь Старицкий князь государем быть должен, коли Бог возьмет Ивана.

— Ну, коли должен, так и будет. На все воля Божья.

— Так воля ж Божья без людей не творится, владыко. Не робята мы с тобою, ведаем то.

— Не робята, не робята, истинное твое слово, отец протопоп. А ведь про них и сказано: узрят царствие небесное... Ино дело и робятками быть хорошо же.

Сильвестр нетерпеливо повел плечом.

— Риторе сладчайший! Владыко милостивый! Не словеса твои, что слаще меду дивния, слушать мы пришли, а дела, помощи великой просить.

— Рад... Что могу?.. Все на благо Руси, на спасение душ христианских творить готов.

— Так и я же о том же. Сколько лет видел ты дела мои. Не на благо земли мною что деяно ль? А ни макова зернышка. Так и ныне поверь: не на злое, на доброе мы с Алешей склонить тебя пришли. Да и дело-то все порешенное. Пристанешь ты к нам али нет, присяги той не примет никто, и не бывать, и не будет она!.. — даже ногой притопнув, отрезал властолюбивый, избалованный долгой диктатурой над Иваном фанатик-поп.

— Вон оно что?.. — протяжно произнес Макарий. — Ну, этого мне не сказал Данило. Сказывай, сказывай, что там у вас решено, как слажено? Може, тогда и я, чтобы горшего зла избежать, пойду на малое, на легчайшее.

— Ну вестимо... Так и след... Так оно и надоть!..

— А уж коли надоть, так и подавно! — с незаметной усмешкой произнес владыка. — Говорите ж, как дело обстоит?

— Да вот, Алеша поведает тебе, владыко.

Адашев, внимательно следивший не только за каждым словом обоих собеседников, но и за малейшим изменением в выражении лица у того и у другого, скромно заговорил:

— Сдается мне, горячность да прямизна отца протоппа в сомнение ввели тебя, отче-господине. Ни на что не пришли мы склонять, а благословения и совета твоего испросить. Велика мудрость твоя. Не единожды и нам, как и всей земле, она в помощь бывала. Как сыну с отцом родным, дозволю поговорить с тобой, владыко, а никак иначе...

Кротко, ласково кивая головой, слушал Адашева Макарий, искренно любивший этого умного, чистого душой и нравами человека. Пользуясь Сильвестром, незаметно для того самого, Макарий всегда при этом опасался, что поп, по известного рода ограниченности и умственной близорукости, по грубости душевной, перетянет нитку или будет сбит вредными, опасными людьми и вместо пользы станет приносить вред Ивану и земле Русской. А для Макария, вышедшего из простонародья, родина и благо государства Московского были выше всего. Насчет Сильвестра не ошибся старик. В Адашеве владыка был больше уверен, как в сознательном, бескорыстном помощнике. Но события последних дней, заговор бояр в пользу Владимира, со-

зревший в дни болезни царя, заговор, о котором прекрасно знал Макарий, не хуже Сильвестра, наконец, участие в заговоре Адашева — все это поколебало веру Макария в ум и в совесть Алексея.

— Чему иному быть? Так он и видимо: все по-старому выйдет, смуты да распри пойдут!

— А к чему же разум людской дал Господь нам, твари своей? К чему создал нас по образу и подобию Своему? — спросил спокойно Макарий. — Живи мы лишь по-прошлому да по-настоящему, — и царствия бы нам небесного не знать... Оно ведь тоже грядущее впереди! И его не видали люди живые, а лишь верят в него. И верой воистину живы, а не единым питанием хлебным. А по вере — и дается людям... Так и в земском, и в государском деле великом. Можно про злое слышать, худшее видеть, а лучшего ждать и получить его. И тут — вера же надобна! А то еще у меня рассуждение такое есть: видим мы, что лет более семи ведут землю русскую на благо чьи-то руки, по воле Божьей. Почему же вы полагаете, что и по смерти Ивана-царя те же руки не останутся при кормиле государственном, не управят дело великое, святое, земское, на благо люду крещеному, по присяге, данной всеми: служить царю Ивану и царевичу его, Димитрию... по совести чистой, коя есть — дар высший и рай сладчайший на земле!

Конец речи Макарий произнес стоя, по привычке проповедника и пастыря душ.

Оба собеседника его тоже поднялись со своих мест. Макарий продолжал:

— Не окольными путями — прямо скажу! Верой и правдой служили доселе Ивану советники его ближние. Ничем не покривили душой ни пред царем, ни пред царицей, ни пред народом его...

Вздрогнул Адашев при этих словах, словно почуял намека, затаенный укор. Но в пылу речи Макарий, ничего не замечая, продолжал:

— Вот и верю я: кто раньше, при взрослом царе, набалованном, с пути сбитом, умел до правды дойти, обуздать страсти царицы и в порядке вести дела царские — тот и при вдовой царице и при младенце-царе власти-силы не потеряет, кого бы там из вельмож для прилику в опекуны ни поставили бояре, Дума царская... Вот как оно, по-моему. Что скажете, братие?



Адашев, задумавшись, молчал.

Сильвестр заговорил, насупясь:

— Не мимо сказано: Бог — единая крепость моя! Безумец, кто на песке созиждет здание. Дунет ветер — и рухнула гордыня человеческая! Князя Володимира знаю я. Всех евойных — тоже знаю же. И уж все обговорено, все обещано мне, даже с клятвою...

— Обещано... с клятвою?.. Да кто обещал? Кто клялся-то? Вот я, митрополит Московский и всея Руси... Хуже — еще мне может быть, а лучше — и некуда. Вот ежели я что скажу, можно верить. Царю — можно верить, и то гляди, в какой час слово было молвлено... Ему — тоже корысти нет кривить али душой лукавить. Двоих-троих из бояр да вельмож наберем, у кого слово и дело — воедино, кто не ради страху по закону живет, но и по совести... А другие-прочие? Тому — денег мало... Иному — мест да разрядов хочется... Тот — за брагу, за блуд богомерзкий себя и душу свою предаст и продаст! Аль тебе они, батька, неведомы? Слуги и родня вся Володимирова?! Палецкий — грешник, стяжатель старый, прости Господи, не в осуждение, но в назидание душ ваших говорю... Фунник Никита, что в казне царской позамотался, теперь присягу кривит, полагает: новый царь в столбцы не заглянет-де, прочету взыскать не соберется!.. Князь Ивашка Пронский Турунтай!.. Так он — прямой турунтай и есть, душа заячья, шаткая... Сколько разов беги-вал да сызнова каялся, у царя откупался... Кто по-манил его кафтаном новым да шапкой с бубенцом, — он и тут. И в Литву гнется, и к султану залетывал! А московские настоящие государи не очень-то бегунов жалуют, хошь и Рюриковичи те! Вот и мутит Ивашко Турунтай... А там — Патрикеев, князь Петр, Щеня по прозванию, да «щеня» — не ласковое, злое, кусливое! Ему хочется — стоит, не стоит он — первой бы первых быть! А воцарится Володимир, да не по шерстке погладит собаку эту сварливую — она новых хозяев, новых пинков искать побежит. Шеремёты-перемёты еще в своре... А там — другие Пронские, захудалые, что на деревни да на посулы княгини Евфросиньи зубы точат... Семен Ростовский, дурень-сын отца-простеца... Шуйские — лисы, что носом чуют, где добыча легкая. Их первое слово между собой: два дурня бьются, а Шуйские смеются. Им нож вострый, что не ихний род

главный в земле. Что Святая София ихняя, новгородская, перед нашими храмами святыми московскими главу клонить должна. Горделивое семя змиево! А там... Э, да чего и усчитывать! Один другого краше! И таким-то людям ты, батько... ты, Алеша, — себя и землю на милость отдаете? Помыслите!

— Чего раздумывать? — упрямо проворчал Сильвестр. — Думано уж да передумано. И вокруг царя — не медом мазано! Все того же лесу кочерги. Уж я решил — не переделывать статью. А ты, вижу, владыко, отсыпашься от нас? Жаль! Все время заодно шли...

— Ни от вас я, ни к вам. Я не думный боярин, не советчик земский. Я — Божий слуга, за всю Землю смиренный богомолец. Всегда то было, так и останется. Как Бог решит, так и я буду...

— Ин и то ладно, ежели хоша мешать нам не станешь! — толкуя по-своему слова Макария, произнес Сильвестр. — Благослови прощаться. Пора уж нам.

— Бог благословит! — осенил обоих крестом Макарий, и гости, покинув горницу, озабоченные, задумчивые, медленно стали спускаться по ступеням митрополичьего крыльца, не обмениваясь между собой ни звуком.

А Макарий, поглядев им вслед, с сожалением покачал головой и зашептал:

— Горячие кони, добрые, да неоглячивые. Занеслись, заскакали... не быть добру! Обуздать теперь их надобно! Господи, прости мое прегрешение. Ты зришь сердце мое. Не для себя — для земли, для царства — и грех приходится брать на душу порой... И лукавить, и злыми делами заботиться...

И, обратясь к образам, висящим в углу, Макарий стал горячо творить молитвы.

Через несколько минут, подойдя обратно к столу, он уж протянул руку, чтобы дернуть точеную рукоятку со шнуром, которая вела к колокольчику, призывающему службу, — как вдруг за дверью раздался голос его, быстро произносивший обычное «Господи Иисусе...» — и затем сейчас же возгласивший в приоткрытую дверь:

— Государыня, великая княгиня жалует!

Распахнулась дверь, и в сопровождении двух ближних боярынь в келью Макария быстро вошла Анастасия.

За время болезни Ивана она часто навещала влады-

ку, только здесь и находя облегчение безысходному горю своему.

Но приход царицы в такую раннюю пору был очень необычаен. Да и вид у нее был слишком взволнованный. Невольно, вместо приветов и благословений, Макарий поспешно спросил:

— Что случилось, княгинюшка, дочка моя милая? Али царю твоему плохо? Жив ли еще? Не может того быть, чтобы... Мне знать дадут первому, позовут для святой исповеди, для... Да что приключилось, рассказывай.

Царица, жестом дав знать боярыням, чтобы те ушли в переднюю, вдруг заплакала и закрыла руками лицо. Но видно было, что краска пурпуром заливает это миловидное, исхудалое, кроткое лицо.

— Сядь, сядь, милая! — с чисто отеческой лаской, усаживая царицу, заговорил Макарий. Налил в ковшик из жбана, стоящего в стороне, дал пить Анастасии.

Сделав несколько глотков, царица пришла немного в себя и дрожащим голосом заговорила:

— Пришла я к тебе, владыко, а сама не знаю, почему и зачем? Что сказать, как начать? И ума не хватает. Слов не подберу. А пойти — надобно, больше не к кому и кинуться...

— Пришла, стало, Бог привел. Зачем? — узнаем сейчас. Слов не подбирай. Говори, как само скажется. Стар я... отец твой духовный. И знаешь, дорога ты мне, словно родная дочка. Не царицу я чту — люблю в тебе душу твою кроткую да чистую. Ежели жив царь, значит, иное горе? Обидел тебя кто? Али княжич наш захворал, храни Господь? Что там стряслось? Ну-ка выкладывай. Все обсудим, горю поможем с Божьей помощью...

— Ох, уж скажу... Стыдно, страшно... а скажу...

— Фу-ты, Господи, — с тревогой заговорил Макарий, — стыдно? За кого же? Не может быть того, чтобы за себя. Быть того не может в жизни. Так за кого же? Скорее говори. Не пытай меня, старого... За кого стыдно тебе? Страшно кого?

— Его... — проговорила вполголоса Анастасия. — Алексея... Адашева...

— А, вот оно что! И ты доведалься? Ну, успокойся. Был он сейчас у меня, толковали мы... Сдается, Бог наведет на ум парня. А не наведет — мы и сами кой-что сдела... Да постой, погоди... Ты не только о страхе

али о кознях вражеских поминала... О стыде толкуешь что-то? Чего стыдно-то тебе? Говори, дочка моя о Христе, государыня милая. Не алей, не соромься! Не мужа-мирянина зришь пред собою — пастыря духовного... старика древнего... Ну... ну...

И он даже стал гладить по волосам Анастасию, дрожащую от смущения, как гладит отец маленькую дочь свою.

Не глядя, опустив глаза, кое-как могла рассказать царица все, что случилось в ее покоях, у колыбели Дмитрия, когда пришел от заутрени туда Адашев.

И чем дальше говорила она, тем сильнее омрачалось светлое, ласковое сперва лицо архипастыря.

Кончила она — и воцарилось долгое молчание.

— Так, так, так... — произнес наконец Макарий. — Вон оно куды метнуло... Э-хе-хе!.. Окаянный-то, окаянный — что творит с душами людскими, богоподобными?! Спаси Христос, защити, Многомилостивый!

Он обеими руками осенил голову царицы, словно желая защитить своим благословением от чего-то ужасного, грозного.

— Толковала ты с кем из баб твоих о том, что было?

— Что ты, владыко! Нешто у меня язык повернулся бы? Тебе вон, и то...

— Так, так, так... И добро!.. И молчи!.. И никому... Слышишь? Царь оздоровеет — и ему нишкни! Помолчи об этом.

— И царю? И Ване? Да как же я? Разве можно? Грех ведь... должна ж я...

— Говорю, помолчи! Не совсем, а до времени. Пока не окрепнет царь. Это — раз. Да и по иным еще причинам потерпеть надобно. И Алешке поганому, нечестивцу-грешнику, виду не подай, что сердита на него. Словно и поверила ты, что пытал он только тебя, а не взаправду на грех склонял, тянул в геенну огненную... А там, когда время приспее, я шепну тебе... Вместе царю и поведаем, что во время его недуга было. Для тебя ж легче так будет.

— Правда, правда, так мне будет способнее.

— Ну вот, то-то ж! А мятежа боярского не бойся. Только бы царь с хворью своей вытерпел. Не убрал бы его у нас Господь! А трона у твоего княжича — боярам не отнять! За вас больше бояр и князей станет,

чем за врагов ваших. Я уж осведомлен. Так, гляди, не тревожься! Да лучше легла бы ты пошла. Коли ты еще захвораешь, кто станет Димитрия-царевича доглядывать? Береги себя... и на Бога уповай! И верь ты мне, старику, слуге Божью, — все образуется...

Так успокоив и ободрив царицу, Макарий проводил ее до переходов, сообщающих его келью со дворцом.

А затем, вернувшись к себе, велел позвать дьяка царского, Ивана Михайлова Висковатого, сам же стал готовиться к торжественному служению, которое должно скоро начинаться в Большой Крестовой палате митрополичьей.

Как раз в ночь на Светлое Христово Воскресенье совершился перелом в болезни царя Ивана.

Мозг больного царя неустойчиво работал во все шесть недель, пока приступы сильнейшего жара и бредовых сновидений сменялись более легким, но все же мучительным состоянием, когда болел каждый нерв и мысли тяжело, с трудом проносились в голове, все мрачные, зловещие, как на подбор, думы...

Война, пожар и кровь, пытки и убийства — вот какими кошмарами наполнялись видения Ивана, о чем твердил он в бреду своем. А после кризиса, уснув с полуночи, в тот самый миг, когда должны запеть гимн радости, гимн Воскресения Христова, — больной проспал без сновидений до полудня. И только перед тем, как пришло время просыпаться, когда сон стал тонок и тревожен, — не знал Иван, во сне, наяву ли? — но видел он, что подошел к его кровати кто-то, величавый, с открытым, но властным взглядом и, подавая ему красное яичко, произнес:

— Христос Воскресе!

И трижды склонился затем над Иваном с освежающим, отрадным лобзаньем, словно ветерком прохладным обвеяв пылающее лицо больному.

— Воистину воскрес! — ответил Иван, совсем раскрыл глаза и увидел ясно весь свой покой... И различил, как исчезал, расплывался в воздухе образ того, кто сейчас христосовался с ним. Даже казалось Ивану: в руке еще лежит красное яичко, поданное неведомым гостем... Да нет, сейчас вот узнал он, кто это был. Прапрадед его, святой Владимир. Он пришел из обите-

лей райских к хворому правнуку. Конечно, с добром, с вестью о Воскресении. Ведь окружающие и сам больной считают, что ему не встать. А вот сейчас что-то новое совершается в глубине, где-то во всем существе недужного царя. Он как-то сознает, что спасен, что опасность миновала. А эта уверенность вливает новую струю бодрости и сил в исхудалые члены, в измученную, упавшую, богатырскую раньше грудь государя.

Огляделся Иван — все тихо. Никого в покое. Даже очередной чтец ушел, должно быть, поест в трапезную.

Невольно сразу мысль царя перенеслась к иной обстановке, к иным картинам. Он вспомнил свой въезд в Москву. Вспомнил восторг толпы... Казалось, снова гремят клики и ликованье сотен тысяч народа. А теперь?..

Горькая улыбка мелькнула на побледневших устах Ивана. Он захотел вызвать иную, более отрадную картину. Его сын?.. Его Настя... Они были бы здесь, не отошли бы от него, если бы болезнь не грозила заразой... Они бы...

Но тут, на полумысли, на полуобразе он закрыл отяжелелые веки и сразу, мгновенно снова заснул.

Проснулся Иван часа через три, чуя в себе еще большую бодрость, хотя руки и ноги так слабы и тяжелы, словно налиты не кровью, а свинцом.

Пробудился Иван от легкого шороха, ощущая, что кто-то тут находится у постели, глядит ему в лицо. Проснулся царь и не шевелится, только глаза приоткрыл. Он не ошибся. Лекарь-жидовин, все время пользовавший больного, стоит у постели. За ним царь разглядел полную фигуру шурина Данилы, рядом — сухого, но костистого дьяка Ивана Висковатого, с широколобой, плешивой головою. Увидел Иван и плюгавого, вертлявого боярина Ивана Петровича Федорова, который с опаскою, но заходил к больному царю, надеясь, что, в случае выздоровления Ивана, можно будет хорошо учесть свою «бескорыстную преданность осударю-батюшке»...

Боярин постоянно принимал живейшее участие в каждой смуте, «изловлен на воровстве», на подстрекательстве черни к убийству Михаила Глинского, перенес ссылку на Белоозеро. Но с усилением Захарьиных — снова возвратился в Москву, вертелся и вблизи Ивана,

и при княгине Евфросинье Старицкой: всем служил, всех продавал и всем был вреден, кроме себя самого, извлекая мелкие выгоды из своих мелких и крупных низостей. Человек невежественный и фанатически верующий в произвол судеб, он приходил к заразному Ивану, решив в душе: «Чему быть, того не миновать!»

Явной опасности он не видит в подобных посещениях. А что дохтура и лекаря царские толкуют, так они и врать здоровы. Ведь надо же за что-нибудь денежки грести.

За Федоровым в просвете ближнего окна темнела крупная, медведеобразная фигура окольного боярина Льва Андреевича Салтыкова, недалекого, преданного долгу присяги, грубого на вид человека, но тоже себе на уме. Из своей показной прямоты и грубости небогатый, не родовитый, а скорей — худородный боярин умел извлекать немало выгод для себя лично и для близких родичей. Служа всей душой государю, господину и повелителю, окольный не упускал случая подчеркнуть всю преданность и пользу, приносимую его службой.

— Проснулся осударь! — негромко заметил Данило Юрьин.

— Вижу! — отозвался лекарь.

Испробовав пульс Ивана, ощупав его голову, тело, дав выпить из чарки какого-то настоя, — лекарь, отходя, произнес:

— Толкуйте теперь... Нет жару... В сознании государь. Если не ошибаюсь я, самое тяжкое время миновало. На поправку царь пойдет...

— Ох, дай-то Господь! — вырвалось у всех, и они стали креститься, шепча: — Дай, Господи, подай, Господи!..

— Царь-государь! Родимый ты наш! — негромко начал Данило. — Как можешь? Легче ль тебе Бог дал? Дело есть великое. Не в тяготу ли будет? Потерпеть бы, пока совсем одужаешь... Да никак невозможно...

Слабая, легкая краска проступила на мертвенно бледном, исхудалом лице царя. Хотя болезнь притупила в нем способность к восприятию, но и малейшее волнение было тяжело для истощенного организма.

— Говори... я слушаю... я все пойму... — тихо, с остановками произнес Иван, не шевелясь по-прежнему ни единым суставом, окованный полной телесной слабостью.

— Перво-наперво, вот послухай, что боярин твой, Ивашка Петров, баять будет. Какие речи промеж бояр и воевод пошли, как стало ведомо, что наутро — всем присяга, креста целование приказано за княже Димитрия цареванье, за власть государскую... Бунтуют, слышь, людишки твои наихудшие... холопы нерадивые! На нас ополчаются, на весь род наш, Захарьинский, будто мы тебе и царству не слуги и помощники, а лиходеи... Вот, послухай...

И Данило отошел, давая место у кровати боярину Федорову. Тот подступил поближе, с земными поклонами и раболепным выражением на подвижном лице, в скользящем взгляде мышиных, бегающих глаз.

— Говорить ли, государь?

— Говори... все сказывай...

— Лекарю-жидовину да монашку ты бы повыйти приказал.

Иван сделал знак, и Юрьин выпроводил из покоя обоих. Не переставая оглядываться, негромким, быстрым говорком, с какой-то бабьей интонацией доносчик-боярин зачастил:

— Ныне, опосля литургии Божественной, как за тебя, пресветлый осударь, в твое место царское — братец твой, князь-осударь Юрья Васильич здраванье принимал княженецкое, да боярское, да воеводское и христосованье давал свое государское, — немало всякого чина люду во дворец твой государев сошлось-по-наехало. Сени, дворы и переходы полны. И тут о крестном целованье было сказано. И в тот же час разные пустошные речи пошли. И такие-то речи, что сказать боязно...

— Говори!

— А баяли, царь-осударь, все люди знатные: князь Петр Патрикеев, Щенята по прозвищу... Пронские князья, братовья и сродники ихние... Да Ивашка же Турунтай, и Данилка, Дмитриев сын, да другой Ивашка, Васильев сын, што с самой Прони... И Одоевские, сродники княгини Евдокеи, да сам Володимир, князь-осударь, брательник твой... И Мезецкий, и Сенька, княжич Ростовский, и Оболенские туды ж, и Оболенские — худородники, лоскутники... И все заодно. И баяли они, осударь, што креста им княжичу Димитрию Ивановичу не целовать и «пеленочному царю» не служить. Да и служба та будет не царскому дитю, а



пронырам Юрьевым-Захарьиным. Они-де, чрез царицы-матушки заступку, и наладили-де это крестное целование, себе на величанье, а всем истым боярам и князьям на умаленье. И как почали им другие люди на тех речах выговаривать, так чуть до драки дело не дошло. Не поглядели, что и во дворе они в твоём, царском. Добро еще, что без наряду воинского, без ножей все сошлись... И много еще пустошных речей было говорено, да не упомнишь всего. Больно язык кругом силен стоял, ровно у Крестца кремлевского твоего, осударь, в день базарный! Вот... Я все поведал тебе, царь-осударь. Не обессудь на усердной службишке, хошь она и не по разуму мне...

И, еще раз отдав земной поклон, доносчик отступил, наблюдая исподлобья за выражением лица Ивана.

Тот слушал, закрыв глаза, не меняя позы, не дрогнув ни единым мускулом. Только вокруг губ замечалось легкое подергиванье, от которого усы Ивана слегка шевелились. Помолчав немного, царь раскрыл глаза, перевел их на Салтыкова, который теперь занял место Федорова, и слабо спросил:

— Ну а ты?

— Да и у меня, осударь, почитай, те же вести, что и у боярина, — сипловатым, грубым голосом своим забасил Салтыков, хмуря и сводя и без того нависшие свои густые брови. — Вышел я, знамо, нынче ж из двора твоего царского, сел на коня... Ну, знамо, еду по площади домой... И по пути нагнал меня, знамо, приятель давний, князь Димитрий Немаго... Оболенских который... сын Иванов старшой... Пытает меня: «Крест целовать станешь ли?» — «Как, говорю, не целовать? Царю целовали крест на послушании, ему и роду его всему царскому... Так и царевичу Димитрею надо ж, знамо...» А он на ответ: «И глупо, говорит, осел ты, грит, Лев!» Это он меня-то... «Я, грит, не поцелую. И не один я, все бояре первые. Даже близкие люди к царю: Адашев, Курлятев да Вешняк воевода с нами же будут».

— Адашев? — вырвалось у царя.

— Адашев, знамо... И говорит ошшо: «Как-де служить малому помимо старого?» — «Какого, пытаю, старого?.. И царь у нас молодой, и наследник его — малолетен же!» А Митя засмеялся и бает: «Дурья голова! А князь Володимир Старицкий? Вон кто старей...

Он и годами царя старше, самый старшой в роду! Не по закону осударь покойный, свет Иван Васильевич, да отец его, Василий-князь, — обычаи царские порушили. Не сыну по отце на трон садиться, а брату ближнему!..» — «Э, говорю, не к рылу-де нам в царских делах разбираться. Их государское дело. Царь наш есть царь. Богом помазанный». — «Ну, грит, не в царских, так в своих делах разберися! Кому власть-сила достанется, коли малолетнего Димитрия нам навяжут? Захарьиным, мздоимцам, худородным хапальщикам? Мало они-де смуты сеяли? Кто довел, што Михайлу, дядю царева, на клочья чернь разнесла? Они же! Вот и нас так всех подведут да станут величаться, землю обирать. Не допустим того! Хошь за бёрдыши взяться придется, а не допустим!..» Тут уж я и слушать не стал. Обругал добре Митьку, плюнул и прочь поехал! Вот, осударь, я все и сказал. Не погневайся на худом умишке. Я, коли что, — больше кулаком оборонить тебя сумею, чем речами хитрыми...

И отошел с земным поклоном Салтыков.

Висковатов тут выдвинулся.

Но царь, видно, и позабыл обо всех, подавленный известиями, сейчас сообщенными безо всякой осторожности слабому, больному человеку. Он снова закрыл глаза и лежал, тяжело дыша ослабелой грудью.

Постояв немного, дьяк слегка откашлянулся, напоминая о себе.

— А! И ты еще здесь, — еле слышно произнес Иван, не раскрывая глаз, — толкуй уж заодно... Скорее бы конец... Допью свою чашу горькую...

— И, што ты, осударь! — сильно, спокойно подхватил дьяк, понимая, какое состояние овладело Иваном и сразу желая изменить направление дум у больного. — С чего взял, милостивец, што с худом я к тебе? Нешто не слышал: от владыки я. А от него, молитвенника нашего, тебе худые вести когда были ль? Николи! И теперя я с оливою, с веткою, значит... Видишь, какого лысого голубя Бог тебе дал...

Болен был Иван, удручен всем, сейчас слышанным. Но успокоительные речи дьяка мгновенно воскресили надежду в сильном духом царе, а шутка даже вызвала слабую улыбку на лице.

Улыбнулись и окружающие.

— Вот спасибо! — уже гораздо живее заговорил

больной. — Выкладывай же вести свои добрые... Клади свою ветвь масличную на язвы моей души болящей... Благовестуй, старый грешник.

— Грешник... О-о-ох, грешен, осударь... А, думаю, покаюсь — и Бог все грехи простит! А владыко тебе сказывать велел, штоб ты, осударь, слыша вести плохие, не кручинился. «Сварлива баба, да зуб у ней нет!» — ведаешь присловку? А то ошшо: «Сердит, да не силен. Так — чему брат!..» То-то и оно-то! Ведомо про все владыке, что на Москве творится. А он говорит: «Бог за тебя и за царевича твоего!»

— Бо-ог?.. Бог на небеси! Там его правда. А что на земле бывает — я сам видал... сам претерпел... И ежели Митя мой...

— Бог на небеси, так люди здесь сотворят Его святую волю. Слышь, послушай: хто да хто за тебя... И главный воевода стрельцовый, князь Воротынский, Володька, и брательник его, Михайло, и Мстиславский, и Серебряные, оба брательника... Все воеводы, все бояре думные, и попы, и собор весь священный, и вся Москва, и вся земля... Главное — стрельцы за нас! А они не выдадут. Сам ведаешь... Силой, добром ли, а присягу принять всех заставим, записи отберем! Так не кручинься, осударь!

— Ну и то... Спасибо тебе! Челом бью отцу и владыке моему, молитвеннику, заступнику извечному. Воскрешают меня речи такие... Истинно говорю! Вот что вы, бояре, Солтык, приятель, и ты, Петрович! — обратился Иван к Федорову. — Спасибо и вам на службе верной. Оздоровлю, Бог даст, — не забуду послуги вашей... А покамест повыдьте... Надо нам тута с шурином да с дьяком по семейности потолковать...

— И, царь-осударь! Твои слуги — холопы верные. И ушли мы, и нет уж нас! — проговорил Федоров и, правда, словно испарился из покоя.

За ним, отдав поклон, грузно вышел Салтыков.

— Слышь, дьяк, и ты, Данило! — начал Иван, когда закрылась дверь за ушедшими. — Что впереди будет — Господь Один ведает. Как-никак, а вон бояре ныне сына мово на государстве не хотят видети. И буде, придет на то воля Божия, — меня не станет... Вот, на кресте мне на моем поклянитеесь обою: волю мою исполнить обещайте...

Юрын и Висковатов, пораженные торжественным,

строгим выражением лица и словами больного государя, невольно протянули руки к большому золотому кресту с мощами, висящему на груди Ивана:

— Клянемся, осударь, все по слову, по воле твоей выполним.

— Вот, вы клялися, так помните ж! Сохраните и по смерти моей верность сыну моему, Димитрею... И не дайте боярам извести его некоторыми обычаями, ни отравой, ни удушьем, ни потоплением... ни в темницу заключить не давайте. А в тот же час, как помру, потайно возьмите наследника и побегите в чужую землю, где Бог наставит, что побезопаснее... Клянитесь на том.

— И в другом клянемся, государь! — повторили присягу оба, боярин и дьяк.

— Ну вот... Теперя я буду поспокойнее!.. А казны вам будет заготовлено немало... и золотой, и всякой... Я уж скажу Головину. Только пошлите его ко мне. Не сейчас, погода малое время. Силы теперь оставляют меня... Скорей бы лека...

Но он не договорил и впал в беспамятство от слабости, усиленной еще всеми предыдущими волнениями, которые и здоровому не каждому человеку были бы по плечу.

Настало утро другого дня, назначенного для принесения присяги младенцу-царевичу. Рано проснулся Иван, и первый вопрос его был обращен к лекарю, который дежурил всю ночь у постели:

— Ну, Схарушка, прямо молви, жидовин: как мое дело? Скоро ли помру али жить еще буду?

— Ну а ты сам, великий осударь, — как ты сам себе думаешь? — по обычной семитической привычке вопросом на вопрос ответил Схарья, лекарь царский, почесывая горбинку на носу.

— Да как тебе сказать? Словно бы полегче мне, и голова яснее... Да не верится. Ты — знахарь... Тебе и Святцы на стол... Ой, нет... Грех какой! Жиду — про Святцы помянул... Ну, говори уж... Покинь свои извороты поганные...

— И если я был Бог, и я бы прямо сказал: будешь жив и здоров и проживешь долго на счастье своих людей. А я только бедный лекарь, раб Господа Саваофа...

Что я могу сказать? Мое дело — лечить и помогать. А здоровье и жизнь от Бога. И Он не откажет в том царю, чего в избытке отпускает вон монаху твоему, который поест, попьет и бормочет порой тебе разные измышления ума человеческого...

— Ну, пусть так. Умру ль, жив ли я буду, нечего гадать! А нынче — много сил мне надобно. Так дай мне чего-нибудь. Хоть это, жидовин лукавый, сделать сумеешь ли?

— Отчего ж мне не суметь? Я много умею... Мне только одного пустяка самого не хватает, чтобы я философский камень получил, «Львом Золотым» рекомый... Чтобы я мог из всякой вещи, из воды, из воздуха золото плавить!.. Чтобы я... Так почему ж я не сумею дать тебе укрепительное питье, государь великий?.. — вдруг, перебив себя самого, закончил свою речь Схарья и принялся за лекарственную стряпню.

Правда, питье, которым часа через два угостил Ивана лекарь, — словно огня и сил влило во все жилы и суставы больного. Он поднялся на подушках и мог принимать гостей и вестников, которые заглядывали к царю в опочивальню, всю наполненную ароматами курений, запахом жженого можжевельника, трещавшего и сгоравшего на медленном огне жаровни в одном из углов покоя.

Все, что делалось во дворце, сейчас же сообщалось Ивану. А сюда с рассвета стали съезжаться на конях, и в колымагах, и в каптанках — вельможи московские, воеводы, бояре, князья и служилые люди, думные дьяки и прочий люд. Позже — появились послы чужеземные, какие только в то время проживали на Москве. Они должны были видеть совершение присяги и сообщить о ней своим государям.

Только, минуя Архангельский собор, до церкви Благовещенья, что у дворцовых сеней, — могли доезжать самые знатные из посетителей Кремля. Здесь все выходили из экипажей, слезили с коней и шли дальше пешком до той палаты, где каждому указано было ожидать зова в место общего сборища. Свита послов оставалась частью в Посольском приказе, расположенном против Звонницы Великой, через площадь от которой находился Митрополичий городок; частью же люди следовали за послами в самый дворец.

Общий сбор на этот раз был назначен в Передней

Избе, непосредственно примыкающей к Каменным палатам, где в одном из покоев лежал Иван.

Рядом с опочивальней царя, в просторном и светлом покое, собрались все близкие к нему люди или те, кто выдавался родом и знатностью своей, кто не желал смешиваться с толпой служилых людей и придворных. Небольшие сенцы вели из второй комнаты в Переднюю Избу, обширный и высокий покой, где могло вместиться много народу, как и требовалось в данном случае. Почти посредине горницы, против входа, был установлен там аналой, на нем приготовлено Евангелие.

Двери в опочивальню Ивана раскрыты, и тяжелая ковровая завеса отделяет от нее передний покой. С каждым часом все больше и больше народу собирается здесь. Говор, стук дверей, то и дело впускающих новых посетителей, — ясно доносится до царя.

Все находящиеся в покое резко делятся на три группы: сторонники Ивана, друзья Владимира и люди, которые не пристали явно ни к той, ни к другой стороне, а переходят от человека к человеку, толкуют о чем-то негромко, убедительно жестикулируют — словом, находятся «в движении» и не позволяют решать, за кого они станут в последнюю минуту.

Каждый, входя, крестился на иконы, отвечивал земной поклон на дверь, за которой лежал Иван, кланялся всем присутствующим и затем занимал определенное место. «Царские люди» подсаживались к князю Мстиславскому и к Михайле Воротынскому, которые сразу выдвинулись в качестве коноводов «царева гнезда»... «Княжевы люди» — сторонники Старицкого с князьями Щенятей Патрикеевым, Одоевским и Шуйским во главе — сгруппировались у окна, недалеко от входной двери, оживленно обсуждая план дальнейших действий. Они были в особенно напряженном, приподнятом настроении. Тут же волновался, о чем-то хлопотал отец любимца и руководителя царского Федор Адашев, недавно еще пожалованный в окольничьи, заядлый недруг Захарьинского рода. Самого Алексея не было. Не пришел и Фунников, Никита, второй «казначей» Ивана. Он сказался больным, так же как и князь Дмитрий Иванович Курлятев. Тесть полоумного Юрия, хитрый старик князь Д. Ф. Палецкий затеял такую же двойную игру и решил, что не следует соваться в первую голову, а лучше поглядеть со стороны, чья возьмет, — туда уж

и примазаться. Вот почему в назначенный час он не явился во дворец, обещая быть к вечеру. «Недужится-де малость...»

Не было и самого Владимира Андреича. Но его ждали с часу на час. Зато все остальные, гордые родом, если не блещущие дарованиями, князя, бывшие дружинники московские, — все налицо: и Пронские, и Мезецкие, и Заболоцкий, князь Ростовский молодой, и Челяднин, из ненависти к Захарьиным — примкнувший к давним недругам своим. И Оболенский-Немаго тут, и Шереметевы... Князь Андрей Курбский в сторонке стоит, слушает, что будет. Молод да не глуп князь. И против царя ему неохота идти, да князя Владимира, своего прямого военачальника, проявившего так много мужества в боях под Казанью, — в обиду давать нельзя. И жалеет молодой, простодушный воин, что пришел, что вынужден был прийти, так как его стрельцы в карауле нынче. Жалеет он, что судьба поставила его в такое для честного человека затруднительное положение. Ну да авось послушает он: что тут люди станут толковать? — и уяснит себе хорошо, на чьей стороне право и правда... А уяснив, бесповоротно пойдет по правому пути.

И чутко ловил каждое слово Курбский.

Но молодые князя больше про коней, про охоту толкуют, про девок полногрудых, мясистых, сенных... Старики — на свои недуги жалуются... И лишь изредка словом осторожным о деле помянут, для которого созваны. Видимо, Владимирова приходу все ждут-дожидаются.

Вдруг шум послышался за окнами, конский топ, звон сбруи конской, звук оружия.

— Князь... Сам князь Володимир пожаловал! — пронеслось в горнице.

И все не ошиблись. Конечно, только князь мог подъехать так близко к дворцу, к внутренним строениям, верхом, да еще с многочисленной свитой из вершников и своих стрельцов. В обычное время с более скромным количеством провожатых являлся к Ивану князь Старицкий. Но теперь все поняли, что осторожность не мешает. Вот почему, кроме обычных челядинцев и ратной охраны, по сану присвоенной Владимиру, — он и мать его, честолюбивая старуха Евфросинья, урожденная Одоевская, всех живущих в Москве

новгородцев к себе зазывали при помощи Шуйских, поили, задаривали их, равно — и московских боярских детей из числа тех, которые под защитой князя и княгини, под крылом Старицких — в люди выходили.

Из этих-то людей составилась сильный отряд телохранителей, готовых грудью защитить князя Владимира, на которого, по словам княгини-матери, «козни во дворце царевом куют». И дружина эта все растет. А в дальнейшем — еще более грозное нечто затеяно, о чем потихоньку Евфросинья с Иваном Михайлычем Шуйским шепталась, с боярином митрополичьим по званию, с бунтарем и смутьяном по натуре.

И сейчас этот боярин здесь, на месте... С низким поклоном встречает входящего князя.

Владимир, войдя довольно быстро в горницу, перекрестился на образ, отдал всем поклон и спросил:

— А что брат-государь мой? Не лучше ль ему?

— О-хо-хо!.. Где лучше?.. Государе-княже, с чего лучшему быть? — с сокрушенным видом отвечал Шуйский, приняв вопрос, словно бы он был обращен к нему одному. — А все же ладней будет, сам не пройдешь ли, осведомишься? Лекарь сказывал, теперя не так уж опасно с государем видеться... Не больно уж лютует зараза хворобная в батюшке-царе... Так только ен замаялся, сказывали, на ладан дышит! — вполголоса заключил речь свою боярин, оглядываясь на дверь царя, на кучку его сторонников, толпящихся поодаль.

— И то, пойду проведу... К одному уж, и о крестном целованье потолкую, о нонешном. А то вот зовут на дело, а в чем оно — и не сказано. Как крест целовать? Каки таки записи давать? Оно — не шутка. Где рука, там и голова... сказано!..

— Да, да... Конечно... Вестимо!.. — отозвались те бояре, «владимирцы», которые сгрудились у окна.

— А моя дума такая, — степенно заговорил Мстиславский, — что креста целованье и запись целовальная у царей наших завсегда одинаковы были. Чего тут еще загадывать, царя только зря тревожить недужного?..

— Ну, это мне ведомо, какую я думу думаю! — раздраженно отозвался Владимир и своей валкой походкой тучного, изнеженного человека пошел к дверям, отделяющим первый покой от опочивальни царя. Распахнув и снова опустив за собой ковер, Владимир впервые очу-



тился перед больным Иваном и даже чихнул от сильного запаха курений, наполняющего комнату.

— Вот, добрая примета! Здрав буди, царь-государь! — отдав поклон лежащему царю, проговорил князь, стараясь получше взглядеться в изможденное лицо царя, чтобы решить самому, жилец ли не жилец Иван на белом свете.

Но, как нарочно, царь поместился на кровати так, что свет падал ему прямо в затылок, оставляя все лицо в тени. А сам Владимир — стоял в полосе света, брошенной внешним утренним солнцем в слюдяные окончины покоя.

— Спаси ты Бог на здравствование, брате! Аминь!.. — совсем слабым, умирающим голосом заговорил Иван.

Почему-то царю подумалось, чем слабее он покажется теперь брату и его сторонникам, тем скорее выплывут наружу замыслы врагов. А Ивану страстно захотелось узнать истину: кто друг ему среди окружающих трон князей и бояр? Простые служилые люди, созданные и возвеличенные юным царем по личному его желанию либо по указанию Сильвестра с Алексеем Адашевым, — те в счет не шли. Они были преданны по необходимости. Созданные Иваном, они погибнут, как только того не станет. Их прямой интерес — стоять за царя. Но остальные? Те, кто уверял его в преданности, вымаливал наград и подачек? Эти ехидны-царедворцы, злобу и коварство которых Иван изведal уже с младенчества? Изменились они или все те же остались?

И больной, еще бессильный телом, Иван уже воспрянул духом, решил затеять «царскую игру»... Людские сердца изведать пожелал.

При виде надломленной фигуры царя, при звуке его умирающего голоса — плохо скрытая радость озарила полное и маловыразительное обыкновенно лицо князя Старицкого. Но он с притворным соболезнаванием сейчас же заметил:

— А видать, слаб ты еще, брате-государе? Вон и голоса, почитай, не чуть твое!

— Куда чуть?.. Умираю, брате... Только и держусь, чтобы сына на трон посадить. Дитя неразумное. Митя мой. Кто об ем подумает без меня?

— Не гораздо молвишь, государе-брате. А я да

Юрий — нешто мы чужие ему? Кажись, дядьями приходимся. Кому в обиду дадим ли?

— Вот и я... тако же полагаю, брате... спаси тя... Христос... што порадовал словом своим болящего, навестил... хворого... Так приступайте с Богом! Там, чай, все уж готово? — прежним угасающим голосом обратился Иван к Висковатому и Даниле Михайловичу Захарьину, стоящим тут же поодаль.

— Готово, осударь!

— Нет, ты погоди! — нетерпеливо перебил Владимир. — На кой ляд, прости Господи, присяга вся затеяна? И в чем присягать мне? Каку запись подписывать? В толк никак не возьму! Ну, хвор ты теперя, брате-государе. Да ведь дело, бают, у тебя на поправку идет! Чего ж людей булгачить? Меня, дядю, — племяннику-пеленочнику присягать неволить! Не бывало того в роду нашем царском, да и быть не надобно! Брось, брат Иван. Прямо говорю: лучше будет! — уж с явной ноткой раздражения, откинув дипломатию, закончил речь Владимир.

Судорожно вздрогнуло все большое, исхудалое тело царя. Вот она, решительная минута начинается!

— Не надобе присяги, толкуешь ты, брат? А как же, коли я помру? Кому стол достанется? Лучше, говорю, при жизни я...

— Э, заладил: помру, помру... А и будет воля Господня, так Он же укажет: как быть? Знаю, кто тебя на присяги на энти подбивает... Они вон! — и Владимир презрительно кивнул головой на Захарьина. — Молодцы — довольно всем нам ведомые! Так не бывать поихнему! Я — прирожденный государь, не похуже тебя, брате! Младенцу не служивал и креста не целовал... А им, холопам, што за Митриевой люлькой встанут да почнут нами, князьями первыми, пошвыривать, — умру, не покорюся!

И Владимир вскочил даже с лавки, на которую опустился, у самой двери, когда вошел.

— Такова твоя речь, брате?! — дрогнувшим голосом отозвался Иван. — Что же поделать нам? Ты сам ведаешь, хорошо ли, дурно ль творишь, коли не хочешь креста целовати! На твоей душе все, что потом станется! А мне до того дела нет. Господь видит... Его святая воля! Ступай себе с Господом.

Голову опустил, задумался князь Владимир.

Обращение Ивана к его вере, к его лучшим чувствам — тронуло князя. Конечно, всякому ясно, какая невзгода, какое кровопролитие настанет неизбежно, если Владимир с приверженцами своими решит изменить, порушить порядок престолонаследия, введенный Иваном Вторым, если вернется старый обычай: переход власти к братьям царя! В самом деле, уж не кинуть ли все? Не присягнуть ли Димитрию?

Но тут взор Владимира упал на Захарьина, который, наклонясь к Ивану, пить ему подавал и что-то взволнованно нашептывал больному шурину.

— Э-э-эх, кабы не энти гады! — чуть не вслух произнес Владимир, быстро отдал поклон царю и вышел молча в первую горницу.

Все бывшие тут бояре и князья — так и слились в одну тесную толпу у самых дверей и чрез ковер отчетливо слышали каждое слово громкой речи Владимира, угадывая тихие фразы царя.

Когда Владимир, с надменно поднятой головой и угрюмо стиснув губы, появился по эту сторону ковра — вся толпа шарахнулась и разделилась на две половины: справа — его приверженцы, слева — враги или, вернее, — противники замыслов его и честолюбивой вдовы, княгини-матери, Евфросиньи Старицкой.

С обеих сторон силы стояли почти равные. И если слева пятью-шестью головами числилось больше, так родовитостью и знатностью своей — партия Владимира перевешивала царскую, куда замешалось немало новых, худородных людишек...

Все это сразу взвесил Владимир, понимая, что он совершил сейчас решительный шаг, за которым близка и борьба не на словах уже, а светлыми мечами.

Два человека только не кинулись в сторону, не поспешили уступить дороги князю — сегодня, а завтра, может быть, — царю Владимиру всея Руси! Это были — князь Мстиславский, Иван Федорович, кравчий, родственник и друг Ивана, и второй — князь Владимир Иванич Воротынский.

Последний, пылкий, прямой по характеру, больше воин, чем царедворец, — не мог сдержать негодования, владеющего им, и громко заговорил:

— Ай, княже Володимир Ондреевич! Вот што негоже — то негоже, осударь! Тебе, княже, — нам бы головой быть, к делу привести государевых ослушников...

А ты первый царское слово рушишь, присяги не принимаешь! А вить раз уж присягал: царевой воли слушаться... Не обессудь, князь, лучше бы тебе не упрямяться... Больному царю кручины не принашивать... Дай запись и крест целуй. А тамо — и мы за тобой с Божьей помощью. Челом мы тебе бьем, княже! Покорно о том просим.

Желая смягчить горечь укора своего, посланного лицу, во всяком случае, более высокому, чем сам воевода, — Воротынский отвесил земной поклон Владимиру.

— Не упрямясь, княже! — поддержали Воротынского многие из царевых приверженцев и тоже поклонились при этом князю Старицкому.

Тот стоял молча, надменно улыбаясь, стараясь подавить вспышку негодования, вызванную речью молодого еще, хотя и отважного, прославленного воеводы. Окинув взглядом тех, кто поминал ему об уступке и кланялся, — князь взглянул и на сторонников своих.

Те молча сплотились и стояли почти за плечом у князя.

Тогда он усмехнулся еще презрительнее и небрежно уронил Воротынскому:

— Молод, глуп ты еще, князек. Ус-борода не поотросли еще у тебя, а меня, князя прирожденного, брата государева, — учить задумал! Не то чтобы мне указывать, а будь с умом ты, парень, — маку бы, зерна бы просяного не посмел бы перечить... Вот оно што! Да ноне плохие порядки на свете пошли: яйца курицу учить думают!

Сказал и, не слушая уже, что бы могли возразить ему, — пошел к дверям.

— Стой, погоди, князь-государь! — снова заступая дорогу Владимиру, быстро заговорил окончательно раздраженный и оскорбленный Воротынский. — У козла борода велика, да все он козел, батюшка! Вот ты энто бы помнил! А я хошь и не брат осударев, а дал душу свою осударю своему, царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси!.. И сыну его, княжичу Димитрию... Крест целовал, чтобы служить мне им двоим во всем не облыжно, жизни не щадя. И говорить мне с тобою — они же приказывали, вот я и говорю... за них, за самих, за осударей моих, Богом данных! Да еще послухай, что скажу: буде где доведется, по их, осударей, велению, я и драться с тобой до последнего часу смертно-

го готов! Бог свидетель. А как драться я горазд, — ты видывал! Под стенами, под Казанью агарянскою...

И воевода уж с угрозой положил руку на рукоять меча, который по праву начальника дворцовой стражи мог носить даже во дворце.

Говор испуга и возмущения пробежал между боярами Владимира. Из царских сторонников — кой-кто двинулся вперед, словно готовясь удержать руку Воротынского, не допустить до кровопролития.

Владимир тоже схватился за рукоять кривой восточной сабли, которую не снял, даже входя в спальню Ивана. Несколько мгновений противники мерили глазами друг друга. Затем Владимир, видя, что Воротынской не думает сейчас же привести в исполнение угрозу, опустил руку, повернулся к нему спиной, отдал поклон всем и медленно вышел из горницы.

Воротынский, поглядев вслед князю, проворчал какое-то оскорбительное замечание себе под нос и отошел к сторонке.

Тогда заговорил дьяк Висковатов:

— А как мыслите, князь и бояре? Нам все же подобало бы волю царя поисполнити. Князь — одно дело, мы — иое дело. Тамотка все изготовлено. И к крестному целованию можно приступить. И бояре молодые собраны же...

— Че-е-во?! — резко откликнулся Петр Щенятя, пришедший во дворец уж порядком навеселе, как часто водилось у князя. — А энтого, дьяк, не выкусишь? Казаки, слышь, бают: поперед деда не суй рыла в пекло? Умны собаки чубатые. Пускай допрежь князь крест целовать станет да вы, прихвостни дворовые. А мы ужо потом, опосля...

— Да, мы опосля!... Совсем опосля! — вдруг вырвался из толпы, тоже совсем хмельной, окольный Федор Григорьевич Адашев, «для храбрости» немало пропустивший романей натошак. — Мы тоже не очёски какие! Сам с усам! Знаем, где раки-то зимуют. Слышали, бояре, князь-то што баял? Служить нам не младенцу — царю пеленочному, а дядьям евонным, живоглотам, Захарьиным... Царю хорошо: ён помрет — и крышка! А нам, бояре, будет каково?!

— Эй, ты, мелево пустое, колесо новое, давно ль из грязи в князи попал?! — строго прикрикнул на выскочку Мстиславский. — Помолчал бы вовсе!

— Не! Пошто ему молчать?! — загалдели другие сторонники Владимира. — Молчать ему не мочно! Он правду молвил... Мы все за его...

— Да я — не то!.. Я самому царю скажу! — онаглев при виде сильной заступки, продолжал бурлить честолюбивый и недалекий старик, зарвавшийся окончательно. — Вот я сейчас!..

И, раньше, чем ему мог кто помешать, — он уже стоял по ту сторону ковра, кланяясь земно Ивану, на лице которого презрительная гримаса сливалась с выражением крайнего негодования. Всего ожидал царь, только не подобной выходки одурелого, пьяного старика, отца своего любимца-наперсника... И почему не слышно голоса Алексея Адашева? Неужели он с умыслом не пришел и правду сказали про него, что он тоже стоит за нового наследника, против Ивана, против Димитрия?!

Между тем старик Адашев, отвечивая поклоны царю, бормотал:

— Царь-осударь! Тебе, осударю... ведает Бог да ты, осударь... Тебе и сыну твоему, царевичу Димитрию, на многие лета служить мы во как! Всей душой то ись готовы! И крест целуем... Во, хошь сичас!.. — И неверной рукой старик полез за ворот рубахи, желая вытащить наружу свой нательный крест. — А Захарьиным нам, Данилке с братией его со всей... Не! Им не служить, царь-осударь, как и не служивали!.. Не! Сын твой, царь-осударь ты наш милосливый, ошшо в пеленицах... Так надо говорить!.. А володеть нами по твоей смерти, царь-осударь, Захарьиным, Данилке ж со братией... А мы уже от бояр и до твоего полного возрасту, царь-осударь, беды видали многие лютые, осударь!.. Во...

И он снова стал учащенно кланяться Ивану, пока, по знаку последнего, вошедший вслед за Адашевым Висковатый не вытеснил за порог старика.

Выслушав затем, что сказал ему Иван, дьяк сейчас же снова появился перед всеми боярами, вместе с Захарьиным, который до того времени неотлучно находился при больном.

— Слушайте, князья и бояре, что царь вам сказать велит на речи ваши пустошные! Слушайте все!

От звука громкой речи дьяка — утих и говор и перебранка между боярами, не прекращавшаяся все время с минуты ухода Владимира из горницы.

— Вот што царь сказать поизволил! — торжественно начал Висковатый. — «Вижу я жесткость и твердыйность всю вашу боярскую, на кою и в младых летах нагляделся и натерпелся вдосталь! И коли вы сыну моему, Димитрею, креста не целуете, — ин, надо быть, што у вас иной государь на примете есть окромя меня, богоданного?! А целовали есте мне крест, и не единова, штобы есте мимо нас — иных государей не искали. Как Бог един в небе, так и я, царь, у вас на земле! И ныне привожу я вас к целованию крестному и велю служить вам сыну моему, Димитрею, а не Захарьиным... И аз с вами много говорить не могу, недужен весь. Може, при часе своем смертном лежу. А вы о своей души спасении забыли: нам и детям нашим служить не хотите! На чем крест целовали, клятву давали великую — и того не помните! Одно знаете: кто государю в пеленицах служить не захочет, — тот, видимо, и великому князю, государю, не захочет служить, если б я и здрав стал. Так я и знать буду! И еще скажу: коли мы вам не надобны, — грех на вашей душе!..» Вот што поведать мне от его светлого имени приказал государь наш пресветлый! — уже обыкновенным своим голосом заключил дьяк.

Глубокая, мертвая тишина воцарилась в обширном людском покое. Укор царя, напоминание о присяге, — затронуло всех за живое, говорило о долге, о законах церкви, обо всем, что упустили из виду в пылу борьбы все эти грубые, лукавые, но фанатично верующие люди.

Еще мгновенье, прозвучи чье-либо сильное, вразумительное слово — и дело было бы повершено бесповоротно в пользу Ивана и Димитрия.

Но этого не желал хитрый Иван Михайлович Шуйский. Он твердо помнил, что только в мутной воде рыбу и ловить! И внезапно, всхлипывая, утирая притворные слезы рукой, заговорил князь елейным, прерывающимся голосом, подойдя к порогу спальни и обращаясь к самому царю, куда ушел сейчас же Висковатов, окончив свою речь.

— Царь-осударь! — начал Шуйский, нервно собирая и беспрестанно вытягивая вниз свою длинную, но жидковатую бородавку. — Светик ты наш, солнышко красное, продли тебе Господь веку на многие лета!.. Разве же ж мы не слуги твои? Разве же ж мы по твоему приказу бы не сделали б? Ну, пушай нам в кабалу

к Юрьиним, к Захарьиним, к худородным, к лукавым идти! Ну, пушай нам животишек, последней худобишки, землишек наших избыться... Пушай сызнова нас, бояр родовитых, станут на правежи таскать, в ямы сажать, в темницы глубокие, как оно в малолетство твое, осударь, бывало!.. Пусть давить, топить, жечь да резать учнут... Ты велишь, — мы твои слуги, рабы неизменные! Власть предержаща, — одно слово!.. И присягнуть мы готовы, крест целовать, давать записи. А только то еще скажи нам, осударь: перед чьими очами вершить нам святое дело? Ты — болен, осударь... Ни нам к тебе, ни тебе к нам не мочно! Да и со крестом святым войти в храмину твою боленную не подобает опять! Там — нечисто больно. Царевич Димитрий — дите малое; што перед немым, што перед грудным — все едино: не присягнешь, хотя бы и охота была. Так не лучше ли погодить, покуда гораздо окрепнешь ты, осударь? Вот тогда и присяга наша, пред очами царя данная, — крепка станет! Так ли я говорю, князя и бояре?

Лукавая, ловко сплетенная речь Шуйского сделала свое дело. Даже многие из противников Владимира теперь, вместе со сторонниками князя, отозвались решительно:

— Да! Видимое дело! Правда твоя, Иван Михалыч! Так и будет! Не уйдет крестное целованье-то от нас!

И, обрадовавшись, что не сейчас надо решать такой важный, тяжелый вопрос, бояре не стали уж слушать никаких увещаний и слов, торопливо кланялись на дверь царя, прощались друг с другом и торопливо стали покидать дворец.

Осталось всего человек десять, самых близких к Ивану лиц, с князьями Мстиславским и Воротынским во главе.

— Что же теперя делать учнем? Бояр меньших в Сборной Избе ко кресту не приведешь, коли те уж осведомлены, что первые вельможи без крестного целованья ушли, — угрюмо проговорил Воротынский.

— Вестимо! — отозвался Мстиславский. — Видно, и нам идти. Што завтрава Бог даст? Утро вечера мудренее...

— Ой, нет! Как же так?! — всполошился Данило Захарьин. — Хошь мы-то утешим царя, крест поцелуем, делу почин благой положим.



— Пожалуй, оно можно! — переглянувшись, согласились остальные.

Часу не прошло, как эта кучка приближенных, верных людей приняла присягу на верность Димитрию, которого обязались они водворить на троне в случае смерти Ивана.

Совсем разбитый утренней сценой, лежащий в полу-обмороке, больной царь от удовольствия и руками всплеснул, когда дьяк стал ему читать имена присягнувших.

— И Яковли обое?! И Серебряные братаны?.. И Палецкий, старый бражник!.. Да его ж утром и не было.

— Послали за ним, государь! — степенно заявил Висковатый. — Сказали боярину: «Царь, мол, неотложно зовет!» Приехал. Охал, а крест целовал.

— Може, и взаправду, болен старый?

— Може, государь...

— А што ж Одашева Алеши нет? И воеводы Вешняка, казака нашего хороброго? Неужто правда, што изменили обое они?

— Нет, осударь, — замечая волнение больного, поспешил успокоить дьяк, — по их послано. Они по своим полкам поехали, известиться хотят, нету ли там какого нестроения. Не заглянула ль и туды княгинюшка Евфросения али подручные ейные?

— Значит, так и колдует везде ведьма старая?

— Шибко старается, осударь! Сейчас с ее двора мой один парень приставленный прибежал, сказывал: который день людей сзывают, она да князьенька Володимир Ондреич. Деньгами дарят. Посулы сулят богатые. Все на тот случай, ежели в цари князь сесть задумает. А Одашев — придет, будет здесь, нынче же! Не кручинься!

— Ну, ладно... Господи!.. Ну, трудись, помогай, дьяче... Не забуду службы твоей великой... И сыну завещаю... и княгине моей: ежели помру, чтобы на место отца тебя держали!..

— И, помилуй, государь! Я не то што корысти ради али за страх, но и за совесть тебе да земле служу... Едино твое слово ласковое, царское, а иных наград мне и не надобе!

— Ладно... сочтемся! Знать бы мне только, что-то будет. Что будет с нами? С Митенькой? Со мною са-

мим? Вразуми, Господи, чего ждать мне? На что надеяться?

Вдруг среди наплывающих сумерек весеннего вечера, в тишине опочивальни громко прозвучал чей-то странный голос:

— Да придет царствие Твое!..

Царь и Висковатый сразу сильно вздрогнули. Иван первый спохватился и захохотал негромким, но довольным, веселым смехом, словно позабыв на этот миг все муки, перенесенные днем, все заботы грядущие...

— А што б табе, — заворчал Висковатый, оглядываясь на угол покоя, где в большой клетке сидел и раскачивался любимец Ивана, говорящий попугай, подарок от патриарха Константинопольского. Попугай этот четко умел произносить молитву Господню на славянском языке, и сейчас он-то и выкрикнул одно из прошений этой молитвы.

— Совсем позабыл я об этой птице болтливой! — покачивая головой и тоже невольно улыбаясь, сказал дьяк.

— Да... А она вот доброе слово нам изрекла! Дай, Боже, сбылося бы! Аминь! А теперь — ступай отдыхать, и я сосну... Иди, дьяче! Только... к царице загляни... успокой ее... Скажи: все ладно-де! Да не сам взойди... Ты у меня тут все вертишься... Младенцу хворь мою не занес бы! Ты чрез боярынь. И Митю-де благословляю на сон грядущий... Ну, иди, Михалыч! Спаси тебя Христос!..

С земным поклоном вышел Висковатый из опочивальни царя. А больной, несмотря на усталь, долго еще не мог уснуть, думая и передумывая: как быть? За что взяться? Как лучше беде помочь? Тяжелые, грозные тучи клубились в душе властелина, которого скоро прозвонит «Грозным царем».

Не скоро и Висковатов заснул в этот день. Он сумел найти Адашева, Алексея, и воеводу Вешняка: доводами мудрыми, осторожными угрозами — убедил обоих принять присягу и дать запись на верность Димитрию. И так же деятельно, как мать князя Владимира хлопотала над вербовкой приверженцев Владимиру, — умный и опытный дьяк пустил в ход все пружины, чтобы назавтра собралось для крестного целования по-

больше надежных людей... А за этими и сомнительные одумаются, придут с повинной.

Попутно дьяк узнал, что через час либо два после принятия присяги — князь Димитрий Палецкий послал к князю и княгине Старицким своего родственника по жене, боярина, не брезгующего и торговыми барышами, Василия, сына Петрова, Борисовых-Бороздиных роду.

Долго толковал с Евфросиньей посланный. Хитрец Палецкий, не зная, за кем останется верх, — пожелал обезопасить себя со всех сторон. Он предложил свою помощь князю Старицкому, если тот заранее обяжется: оставить за больным Юрием Васильевичем и за его женой, дочкой Палецкого, тот самый богатый удел, какой назначил в завещании недоумку-брату сам царь Иван.

Торг был принят и почти заключен.

Но это мало заботило дьяка. Иные дела и люди поглотили у него остаток дня и даже часть ночи. Далеко за полночь в светелке Висковатого горел огонь: дьяк все читал какие-то столбцы, толковал с ратными и вольными людьми, которые, не глядя на поздний час, то и дело стучались у калитки дома дьяка.

Минула ночь. Настало утро. Снова стали собираться бояре в покое, рядом с опочивальней Ивана, и в Передней Избе, где так и остались нетронуты все приготовления для присяги, стоял стол, приготовленный для совершения записей...

Ранним утром прискакал царский гонец к Владимиру Андреевичу. Висковатов писал князю от имени царя, что, «обсудив за ночь слова брата, царь хотел бы еще перетолковать с ним, в надежде прийти к какому-либо соглашению».

— Видать, испугался вчерась? — заметил Владимир, передавая матери послание дьяка. — Скажи осударю, што буду во скорях! — сказал он посланному, отпустил его и стал собираться во дворец.

— Ох, не ездил бы, погодил бы, сынок. Сердце ноет чтой-то у меня... щемит ретивое. Да и сон я видала нынче не больно хорош...

— Э, што там за сны?! Чего опасаться? Видала бы вчерась, матушка, как они все хвосты передо мной поджали! И присягать никто не стал!

О том, что часть бояр целовала-таки крест, Старицкий не успел еще доведаться.

— Ну, твори, как ведаешь сам, сынок. Ты — в дому голова. Я что смыслю, вдовица сирая?.. Бога моли-ти за тебя, рожегого, за жаланого за мово? Христос с тобою. А все — лучше бы погодить. Може, на сам деле: помрет скоро Иван — и без хлопот, без забот царем ты станешь, красавчик мой.

— Там царем не царем, а ехать сейчас надобно. Скажут: испужался я... А ведь я — не братец мой, царь Иван, што под Казанью — на карачках ползал! А потом — и-и-и, как величался: «мною-де сила татарская взята»... Не пригоже мне хорониться, прятаться... Зовет — надо идти. И не один я там буду. Стража вчера была Курбского. И сегодня — от него же. Я спрашивал. А он меня не выдаст!

— Ну, ну! Иди, говорю! — благословила сына княгиня.

Как и вчера, в комнате, рядом с опочивальней царя, Владимир застал почти всех ближних бояр, и царевых, и своих приверженцев. Кроме того, увидел здесь князь и Сильвестра, чему порадовался. Но как только он узнал, что вчера многие бояре присягнули Димитрию, князя словно укололо в сердце.

— Что же мне брат-государь не писал о том? — надменно обратился он к Висковатому. — Надо нам наконец столкнуться с государем!..

И двинулись прямо к спальне царя.

Но вход князю заградили те же Мстиславский и оба брата Воротынские.

— Подожди, князь-осударь, больно речи твои вчерашние истомили государя. Не приказано допускать на очи царские твою милость, княже?!

— Как смеете?! — крикнул было Владимир.

Но, увидав, что противники стоят с нахмуренными лицами, с мечами наготове, обернулся к своим приверженцам и проговорил:

— Вот до чего дело-то дошло! Меня, брата государева, кого царь звать посылал, — и к брату не пускають... Ну, пусть же Бог рассудит нас!

И князь быстро вышел из покоя, не обратив внимания на брань и споры, которые завязались между враждующими боярами.

Пройдя сени и переход, соединяющий палаты Ива-

на с Передней Избой, где снова собрались для крестного целования меньшие бояре и люди служилые, — Владимир повернул к выходу, на крыльцо, у которого стоял его аргамак и ожидала свита.

Когда шел князь к царю, полчаса тому назад, у этой двери стоял один из стрельцов Курбского, лично знакомый князю еще из-под Казани...

Теперь, к удивлению своему, Владимир увидел, что дверь охраняют двое черкесов из числа стражи Ших-Алеевой, с бердышами в руках.

Князь был шагах в пяти от двери, когда часовые, скрестив вдруг оружие, обратились к нему с вопросом:

— Какое слово?

Не обращая внимание на двух плохо говорящих по-русски азиатов, Владимир подошел к самой двери.

— Я — князь Старицкий! — властно кинул им.

Схватился рукой за один бердыш, чтобы отклонить его и пройти.

Но здоровенный азиат довольно решительно отвел руку князя, отстранил его самого и грубовато заявил:

— Ничиво ни знаим... Пусты нелзя... Слово скажи — тагада гайда!

Негодующий князь наполовину выхватил было меч из ножон, но в ту же минуту с яростью почувствовал, что второй горец — железной рукой схватил его за кисть; а меч так и остался наполовину обнаженный.

Поняв, что против двоих диких, сильных гупцов ему ничего не поделать, — Владимир кинулся назад.

Но там у дверей перехода, где еще минуту назад никого не было, — стояло двое таких же азиатов со скрещенными бердышами, а позади виден был, должно быть, их начальник, красавец-юноша в богатом восточном боевом уборе.

То был Симеон Бекбулатович. Ему поручили на этот важный день начальство над стражей из черкесов, поставленных внезапно вместо стрельцов. Стрельцы, пожалуй, могли бы отказаться, не подняли бы руку на князя Старицкого, любимого вождя русских ратей.

Владимир понял все и побледнел.

— Что ж это будет?! Капкан? Пустите меня! Я должен пройти хотя бы назад, к князю Воротынскому. Знаешь ты его? — по-татарски обратился Владимир к Саину.

— Знаю, господин! — отвечал юноша. — Да вот и сам он жалуется...

Действительно, Воротынский, зная наперед, какая сцена должна разыгаться при выходе Старицкого, поспешил за князем с тремя-четырьмя из приверженцев царских.

— Поторапливай, княже! — повелительно крикнул Воротынскому Владимир. — Иди скажи этим ишакам астраханским: не смеют они меня держать! Пропуску, слова дурацкого требовать... Либо — скажи мне это слово... и дайте уйти!

— Не обессудь, княже! Сам не знаю пропуска! Царю угодно было вон этого царевича, Саина Бекбулата, позвать... Шепнул ему единому словечушко, а нам ни гугу.

— Да как же?.. Идешь же ты вольно всюду, князь? Не дурачь меня, слышь...

— Идти — иду, точно! — Да — не прочь со двора, а в Избу Переднюю, где крест целуют. Оттедова всех к царю-батюшке допустят. Царь нам слово и скажет, пропускать велит слуг своих верных, кои крест целовали ему и сыну его, царевичу...

— А ежели кто не станет целовать?

— Значит, тот человек — изменник царю. И пробудет здесь до вечерен... А тамо...

— Тамо?..

— Уж как воля будет осударева... Вечером — видно станет!

— Так, так... Да не запугаете вы меня! Бояр не мало в покоях царских. Им — здесь же идти... Я скажу им... Вот мы и покалякаем... Гляди, еще не то будет!..

— Разумею. Да и ты не грози, осударь! Ведомо нам и царю, как народ сманивал с государыней-старицей, со княгиней с матушкой, стало быть, твоею... И в сей час, гляди, она алтыны раздаривает да гривны тяжелые. Только на все — отводы отведены у нас! Бояр крест целовать поведут, да лишь иным путем-дорогою... Понял?

Словно затравленный зверь, огляделся Владимир.

В глубине переходов он увидел еще много таких же, истуканообразных, зорких, сторожких азиатов — часовых.

— Слышь, князь, непустишь ты меня, — я на голос крикну! Челядь тута моя у крыльца. Умирать, так не даром отдать себя, слышь?..

И князь поспешно обнажил меч, опасаясь, чтобы при всех боярах черкес снова не сжал ему руки своими железными пальцами. Но тот стоял спокойно, ожидая повелений Саина.

Саин-Булат выхватил быстро из-за пояса большую восточную пистоль — и стоял наготове, целясь прямо в лоб князю Старицкому. А Воротынский насмешливо произнес:

— Челядь-то вся заранее убрана твоя, княже. Сказано ей было: «Князь Володимир к другим воротам пройтить велел, тамо его дожидаться!» Пошли, поверили люди... Стоят-дожидаются...

От приступа бессильной ярости что-то словно заклокотало в груди у Владимира.

Бросив меч, он выкрикнул, задыхаясь от злобы:

— Предатели!.. Ну, ведите меня!.. Ничего, видно, не поделаешь! Приходится пащенку двухнедельному трон уступить прародительский, крест на верность целовать!

Как приговоренный к смертной казни, пошел за Воротынским Владимир, принял присягу, подписал клятвенное обещание: «Служить верою и правдою царевичу Димитрию, прямому, единственному наследнику Московского государства и всея Руси».

А в горнице, смежной с опочивальней царя, — иная сцена разыгралась почти в этот самый миг.

Не успел еще шагнуть за порог раздраженный князь Владимир, как выступил вперед протопоп Сильвестр, находя, что теперь самое время поднять ему свой властный голос.

— Мужу буи! — громко отчеканил он. — Как смее претити брату — болящего брата видети? Пошто вы к государю князя Володимира не пускаете? Он государю добра хочет не поменей вашего!

— Да вестимо! — сильно подхватили бунтовщики-владимировцы. — Виданное ль то дело?! Брата государева — так страмити! Кары мало за это! Чего ж нам ждать, коли с князем так?!

— А все Захарьиных штуки! — завел по-старому Турунтай-Пронский.

— Ни при чем тут Захарьины! — вступился Мстиславский, оставшийся в покое, когда Воротынский поспешил за Владимиром. — На чем мы государю и сыну его, царевичу Димитрию, крест целовали и правду дали, по тому и творим!

— Так оно и для государства крепче! — добавил дружка царский, боярин Михаил Яковлевич Морозов.

— Царство? Нешто вы об царстве помышляете? Вон ваши все цари: Захарьины!.. Так не бывать тому! — крикнул кто-то из толпы бунтующих бояр. — Убить их скорее, чем царство отдать им на волю!..

Кой у кого из бояр да князей засверкали в руках ножи, принесенные потихоньку под полою.

Сразу защитники царя шарахнулись к спальне Ивановой, захлопнули дверь накрепко, словно опасаясь, чтобы безумцы туда не кинулись.

Серебряный, Курбский и другие с ними — обнажили мечи, которые им разрешалось носить даже во дворце, как начальникам стражи царской. Оба Захарьины, бывшие здесь же, напуганные, смертельно бледные, кинулись в опочивальню, словно под защиту к больному царю.

Крики, брань, проклятия звучали в соседней горнице. Сталь мечей, задевающих друг за друга, жалобно звенела.

А Захарьины испуганно шепчут:

— Плохо дело, государь! Уж не отказаться ли нам с тобою ото всего? Пусть наследником объявят хоша и князь Володимира! Не то, гляди! Тебя и нас тут же прикончат, жисти лишат!

Но, против ожиданий, Иван остался сравнительно спокоен. За ночь он окреп. А исхода бурной, дикой сцены, происходящей в трех шагах от него, — очевидно, не опасался. И недаром!

— Э-э-эх вы, малодухи! Чего испужались вы, Захарьины?! — заговорил с укором царь. — Али чаете, что когда-либо бояре пощаду вам дадут? Как-никак — первые вы от них мертвецами будете! Так уж лучше — крови своей не щадите, обороняйте сына мово да жену мою, сестру вашу, коли я умру... Энти дьяволы и младенца не пощадят, царевича! Ну да еще поглядим!

И царь стал прислушиваться. Растет и растет шум рядом в горнице. Вдруг раздался голос Висковатого.

— Дверь раскрой, Данило. Послушать желаю, што толкует дьяк? — приказал Иван.

Дверь распахнулась, и в опочивальне услышали, как Висковатов, не дремавший эти полчаса, вошел и громко закричал, стараясь образумить спорящих:

— Тише, бояре! Слышьте, што скажу! Вот до чего



пря ваша довела Москву... Бяда близко... Слышите, говорю!..

Крики и брань сразу затихли.

— Што тамо брешешь? Кака беда? Выкладывай!..

— А вон, гляньте: цидулку я перехватил... По новгородцы да по псковичи нынче послано... Сызнова почнется мятеж и разруха государству великая!

— Врешь! Кто посылал? Как узнал? — раздались тревожные голоса из обоих враждебных станов боярских.

— А вот поведаю... Сейчас, как это присягнул князь Володимир...

— Князь присягнул?! — словно из единой груди вырвалось сразу у всех.

— Слава тебе, Христе, Боже наш! — широко перекрестился Иван, приподымаясь на подушках.

— А то как же! Вот и запись его присяжная!.. — показал предусмотрительный дьяк. — И печати вдовы честной, матушки-княгини Старицкой тута ж привешены... Вот она! Только, стало быть, князь крест поцеловал, запись подмахнул, я и шась к княгине Евфросинье... Близехонько тута... Пошел да провожатых взял поболе. Пришли мы, а ворота-то заперты. Ну, долго ль ворота сломать? Вошли во двор, честь честью... «Где княгиня?» — «На богомолье, сказывают, поехала осударыня!..» Эко не ко времени, думаю... Не поверилось мне. Пошарили — нашли государыню... В клетки под перинами крылась, там быть изволила...

Невольный смешок пробежал по боярским лицам, выражающим глубокое внимание.

— Ну, вытащили мы почетную старицу, показал я княгине, што сынок ейный, князь Володимир, подписан же... И ее заставили любехонько печати приложить! С трудом превеликим! И тута ж, по пути, попался в руки столбчик мне, вон энтот самый! Зовет новгородцев да псковичей честная вдова себе на подмогу. Ну да незваным гостям — и от ворот поворот... Уйдут не солоно хлебавши!

— Да как же ты понудил княгиню?.. Как князь подпись дал? — раздались голоса.

— А вот они, мои помощники! — указывая на раскрытую дверь, скромно произнес Висковатый.

За дверью стояла грозная толпа стражников-азиатов под начальством того же царевича Саина. Влади-

мира после присяги выпустили, и он кинулся домой, а черкесы, сторожившие его, соединились с теми, которые ходили к Евфросинье, и все они теперь явились перед глазами бунтующих бояр, как немая, но неотражимая угроза.

Мертвое молчание воцарилось в покое.

Тогда из-за раскрытых дверей опочивальни прозвучал слабый голос царя.

— Что, бояре, дождались? Кто на мятеж подбивал — первый отступился от дела... Баба старая, злая, полоумная — зверей жадных, новгородцев, наших недругов кровных, на Москву кличет, междоусобицу завести норовит! Давно христиане православные не резали друг друга, брат на брата с ножом не вставал?! Вот куда мятеж-то ведет!

— Повинны, осударь, перед тобой! — раздались подавленные голоса. — Не вели казнить!.. Помилуй рабов своих!

И до земли склонились бояре непокорной головой, кланясь в сторону, откуда слышен был голос царя.

— Дьяк, поди сюды! — раздался снова голос.

Висковатый снова вошел в опочивальню и скоро вернулся назад к боярам, стоящим в томительном ожидании, с пересохшими губами и бледными лицами.

— Не сердчает осударь... Крест целовать идти приказал в Передней Избе... Истомно ему от многих речей и споров ваших... Вот и крест святой с мощами соизволил... На ём присягать станете. Идите, бояре!..

Бояре, отдав еще поклон по направлению опочивальни, двинулись прочь большою, молчаливою гурьбой.

— Тобе, князь Иван Мстиславский, да тебе, князь Володимир Воротынский, указал осударь при том крестном целованье стояти и подпис обирать!..

— Благодарим на чести, осударь! — с поклоном обратились к незримому для них царю оба князя. И вслед за всеми — поспешили в Избу, где сейчас же присяга началась.

— Ишь, — не утерпел князь Иван Иванович Пронский-Турунтай, чтобы не уязвить Воротынского, — ишь какой присяжник у царя выискался! Ты бы помнил, што сам и с отцом-то твоим — апосля кончины великого князя Василея Ивановича — первейшие воры да изменники вы, Воротынские, объявились...

— Ой ли! — презрительно улыбаясь, ответил гор-

дый своим превосходством Воротынский. — Ты вон про что помянул?! Эко диво какое вышло нонеча? Я — изменник, да привожу тебя к крестному целованию, чтобы ты верой и правдой служил осударю нашему и сыну его, Димитрию-царевичу... А ты прям и чист, слышно... А государям обоим креста стоишь не целуешь! Служить им не хошь, видно? Кату базарному послужишь, миленький, как буде батогами стегать тебя!..

Зверем поглядел на обидчика Турунтай, ничего не ответил и быстро двинулся к аналою; крест поцеловал и подписал вторично сугубую присягу на службу царю Ивану и сыну, первенцу его, Димитрию-царевичу.

## Глава II

### ГОД 7061(1553)

После ранней и дружной весны настало раннее, ясное лето. Миновала болезнь молодого царя, которого уже не чаяли видеть живым. С того самого дня, когда непокорные бояре, во главе с князем Владимиром, волей-неволей приняли присягу на верность цевевичу Димитрию, Иван словно ожил духом, успокоился; заснул тогда мертвым сном и спал почти сутки.

— Ну, теперь царь спасен! — радостно заявлял Схарья братьям царицы и ей самой, когда она неотложно пожелала видеть лекаря.

И он не ошибся. Но выздоровление Ивана шло очень медленно. Какая-то непомерная слабость оковывала не только тело его, но и волю, и мысли, что выражалось тысячью причуд и прихотей. Зато порою, когда царь держал в руке ложку или ручное зеркало, в которое гляделся, чтобы узнать, как исхудало его лицо, — стоило тогда кому-нибудь из окружающих, шутки ради, сказать:

— Брось, государь! Ну, стоит ли держать?!

И он ронял то, что держал в руке...

Но такая внешняя слабость недолго отражалась на душевной жизни, на желаниях и на порывах Ивана.

Еще в первые дни, радуясь чудесному избавленью от смертельного недуга, согретый ласкою вешних теплых лучей и свежего ветра, который врывался в раскрытое окно царского покоя, освежая здесь спертый, тяжелый

воздух, от всего этого Иван чувствовал себя счастливым, довольным, готов был простить и забыть тот тяжелый кошмар, каким являлись в его памяти три дня волнений боярских перед принятием присяги Димитрию.

Но такое доброе, радостное настроение недолго владело душой Ивана. Шуревья царицы — Захарьины — решили, что «надо ковать железо, пока горячо»... Враги-бояре выдали себя с головой; надо было погубить их окончательно в глазах царя.

Правда, спохватились быстро строптивые вельможи и такой же раболепной, густой толпой окружили выздоравливающего Ивана, как недавно стояли перед дверьми его спальни угрожающей стеной. Иван неожиданно словно из мертвых воскрес. Переворота, значит, не предвиделось и создать его снова невозможно. Пришлось поусерднее заглаживать вину. Хотя между собой единомышленники не прекращали сношений, еще надеялись на какой-нибудь «счастливый» случай.

Захарьины-Юрьевы хорошо это видели, знали, следили за малейшим шагом наиболее для них подозрительных людей, а уж Ивану все передавалось в утроенном, в учетверенном виде.

Жадно, как знойный песок поглощает влагу, — ловил на лету Иван все дурные вести о «недругах» своих и только ждал минуты, когда только можно будет свести с ними счеты.

— Со всеми! — шептали Захарьины. — Особливо с Сильвестром-попом и с Алешкой, твоим любимчиком! Каковы на деле-то показались, прохвосты, продажные души!

Иван на это нерешительно кивал головой. Он чувствовал обиду и на этих двух... Но старая привычка, почтение и доверие не давали разойтись дурным чувствам царя.

Не желая особенно настаивать, шептуны замолкли.

А Иван, лежа в постели, глядел в окно на клочок синего неба и думал... думал... Порой и сам не знал о чем.

Наконец, впервые после болезни, было позволено царице Анастасии посетить больного.

Хотя Иван готовился к встрече и переволновался задолго до нее, уговаривая себя не поддаваться слабости, не ронять своего царского достоинства, но едва вошла бледная, измученная, словно тоже перехворавшая Анастасия — Иван не выдержал.

Он с невнятным криком «Настюшка!» — протянул к ней руки, обнял, прижал, как мог, слабыми руками к ослабелой груди и сильно зарыдал... Вообще, после болезни у него очень часто сжимало горло, слезы то и дело показывались на глазах от малейшей причины. Теперь уж и сам Иван хотел прекратить рыдания, да никак не может.

А царица, крепко прижавшись к мужу, ласково, нежно шептала:

— Ваничка, миленький... Привел Бог... Слава Тебе... Ну, будет. Не плачь... Ванюша ты мой, Ванюшенька... Царь ты мой радостный...

И сама не плакала, нет, — улыбалась. Словно светилося у нее лицо. А в то же время крупные слезы, часто-часто, одна за другой, так и скатывались по сияющему лицу, как живые жемчужины, теряясь между жемчугами богатого ожерелья...

— А знаешь, я ведь к тебе христосываться приходила! — зашептала она и вдруг сразу густо покраснела и вся омрачилась.

Иван заметил.

— Что с тобой?... С чего же потемнела ты?.. Как приходила, скажи?..

Анастасия, вспомнив, после чего побежала она с красным яичком к царю, — рассказала ему о своем посещении, но промолчала о появлении к ней Адашева.

Когда же допытываться стал Иван, с чего это она так сразу изменилась лицом, Анастасия ответила ласково:

— После, после скажу. Все расскажу, Ванечек ты мой. А теперь идти надо к Митеньке... И лекаря не приказывали долго быть у тебя, тревожить моего ясно-го сокола... Поправляйся скорее...

И она собралась уходить.

— Только вот што, — перед самым уходом шепнула все-таки, не выдержав, царица Ивану, — поостерегайся ты Олексея Одашева... Да и отца протопопа... тоже... такое про них слышно... И-и!..

Шепнула, оглядываясь, не услышал бы кто, — а сама задыхается от волнения и страха.

— Знаю, знаю... — отозвался Иван, полагая, что ей тоже показалось двусмысленным поведение обоих любимцев во дни смуты боярской.

— Всем я им верю, аки змию ядовитому, погубителю...

Тогда она, еще раз обняв мужа, перекрестила его и ушла, повторяя:

— Здрав будь поскорее, голубь ты мой!..

— Ишь ты! — подумал Иван. — Настя чистая душа... На что уж в дела мои государские не мешается, а супротив их остерегает... Значит, правда: Бога забыли мои два верных друга-советника. За что? Ведь все-то, все-то я для их делал да по-ихнему... Из грязи взял, наверху царства поставил, за прямоту, за чистоту ихнюю... И вот...

От обиды, от напряженного чувства неприязни к недавним друзьям и советникам — у Ивана губы пересыхали, и во рту ощущался вкус острой горечи, словно бы желчь поднималась ему к самому горлу...

И он думал, напряженно думал: как теперь быть? На кого положиться можно? С кем дело царское делать, которое одному человеку не под силу? И как ни думал Иван, кого ни перебирал в уме, что ни вспоминал из своей прежней жизни, одно имя приходило ему на память — митрополит Макарий.

Вот человек, ни разу не проявивший жадности, гордости или злобы перед Иваном. Каждое слово, сказанное святителем, кроме добра — ничего не приносило.

Правда, и Макарий стоял за Сильвестра, Макарий дал ему Адашева. Но тогда, первое время, пока не зарвались эти рабы, не стали продавать Ивана врагам его, они были полезны и необходимы царю. А ежели потом лукавый соблазнил обоих, — виноват ли в том Макарий?

Так решил Иван. И по привычке своей к постоянной скрытности, к притворству, не выдавая ничем внутренней неприязни к окружающим, искренно и тепло относился он только к Макарию и, конечно, к жене и братьям ее, доказавшим царю свою преданность...

Важный гость сидит в покое у Макария, посол английского короля Эдварда VI, моряк Ченслор. С большим трудом, не раз рискуя жизнью, добрался смелый корабельщик почти до самых устьев Северной Двины, откуда холмогорские головы и городовые приказчики дали знать в Москву, что «приехали английские тор-

говые люди, а что с ними делать — не ведает никто: можно ли с ними торг вести, или связать их и доставить в стольный град Москву? Но, впрочем, те и сами-де просят: «Дайте нам провожатых, мы желаем вашему государю от нашего «Кина», сиречь государя, поклон снести».

И вот почти через два месяца пути прибыл Ченслор с двумя-тремя спутниками своими и с царскими приставами в Москву. По болезни царя принимал его сперва Адашев и другие вельможные бояре. Потом состоялся прием у царя. Захотел видеть послов и Макарий.

Но теперь — болен он был. Очень кстати, на другой же день после пасхальной заутрени, разыгралась у старца привычная болезнь, «камчуг», в ногах.

Ни выходов, ни приемов торжественных делать нельзя, пока отек не пройдет. Таким образом избегал Макарий необходимости присутствовать там, где бы ему не хотелось, видеть то, чего бы не желал, вмешиваться в события, опасные для его собственной личности и сана... Предшественники Макария, не умевшие захворать вовремя, быстро ведь меняли митрополичий клубук свой на монастырскую скромную рясу...

Сидя по болезни у себя в келье, Макарий не лишался возможности видеть и говорить, с кем хотел, и не появлялся только там, где это было несовместимо с положением и видами прозорливого владыки.

Вот почему без обычной пышности, без многолюдной свиты состоялся прием интересного гостя-моряка в покоях митрополичьих.

В девять часов утра принял Макарий Ченслора. Десять било, а между ними живая беседа идет при помощи дьяка Висковатого. Этот знает по-немецки, как и Ченслор, и может служить толмачом, о каких бы важных вопросах ни шла речь. Но Макарий от важных вопросов намеренно уклоняется.

— И сам я болен, и царь нездоров же... Теперь у нас государские дела затишали... Да и не подобает мне в земские нужды мешаться. Мое дело — духовное: Богу молиться да за опальных стоять, милости просить у царя... А он — один земли владыка...

Так всегда и всем послам отвечает Макарий, если те прибегают к его посредничеству в переговорах с царем, зная, как велика власть первосвященника в Москве.

Ченслор, как человек умный, сразу попал в тон. Больше сам говорит и описывает свои похождения, желая доверием вызвать ответное доверие.

Сидя в удобном, мягком кресле, причем больная нога лежит, вся обернутая, на соседнем табурете, Макарий склонился на руку головой и слушает интересные речи посла.

Вдруг движение и шум возникли в соседнем покое, проникая даже сквозь толстую, суконную обшивку дверей.

— Царь-осударь жалуется! — быстро проговорил послушник, вошедший, почти не дожидаясь впускного «Аминь».

В ту же минуту раздался голос Ивана, творившего обычную молитву за порогом.

— Аминь... Входи, входи с Господом, царь-государь! Входи, чадо мое любезное... Вот, не могу встать к тебе, Бог наказал!.. — благославляя и целуя Ивана, произнес Макарий.

— Сиди, не тревожь себя, отче-господине... Твои молитвы за нас и так ко престолу Господню дойдут! — сказал Иван.

Затем ласково ответил на глубокий поклон, отвешенный ему Ченслором, и кивнул Висковатому, поднимавшемуся после земного преклонения перед царем.

— Здравствуй, посол!.. Ришарда, так ведь зовут? Здоров, Михалыч! Передай-ка англичанину, что я нарочно пришел здесь послушать рассказов его. Там, в Думе, я принимал здорованье его от брата нашего, короля Едварда... А ныне мне занятно послушать, что сам он на Студеном море-окияне видал да перенес.

Иван опустил на лавку в переднем углу, указав послу занять место между Макарием и собой.

— Ну, о чем речь шла, дьяк? — обратился Иван к Висковатому.

— Да вот, осударь, толковал немчин, как выехали они на трех великих галлиях, на каторгах, на кораблях морских... И буря сильна была... И товарищ его старшой, Гук-Лойба...

— Гуго Уиллоуби! — поправил англичанин.

— Вот-вот, энтот самый, затерся гдесь-то... Не пришел к Вардегузу Норвецкому... И пришлось нашему немчину с одним кораблем на Русь прямовать... «Бона-



винчура» звать ладью-то евойную... А по-нашему, к примеру, как бы сказать: «В добрый час!»

— Кто ж снарядил те суда? Сам брат наш Едвард?..

— Нет, осударь... Снаряжали их купцы англинские... Артелью сложились... Большие деньги собрали и отпустили три корабля с товаром ихним заморским: и сукна, и всякие изделия ихние. Вот как те поминки, что тебе, осударь, подношены. Энто — все из ихних товаров. А у их тесно стало, соседи торг перебивают. Вот они про нас прослышали, что много недохватки у нас. А иного — и с лишком есть... Мену, торг новый, строить хотят. А король яснейший Едвард уж опосля их под свою руку принял и грамоты к тебе, государь, писать приказал...

— Так, так... Наши небось, даже новгородцы пройдошливые, в землю английскую не хаживали и не забирались. А энти тут как тут. Ничего не побоялись. Да, надо бы и нам море себе какое ни есть раздобыть, окромя Студеного... К соседям поближе. Большие прибитки земле от торгу морского идут. Ни граней, ни сторожи, ни рогаток нетути! Божий путь!

Ченслор, которому дьяк перевел речь царя, усиленно закивал головой.

— Так, верно, правильно ваш царь говорит. Нужно непременно нам с Русью торг водяной завести. Чего нам не хватает — у вас есть. Хлеб дешевый, меха, сало, лес... Что мы работаем — вам еще долго не добыть у себя. Не придется нам ссориться из-за торгу. А польза и одному, и другому будет великая.

— Сам знаю! — ответил Иван на речь посла. — И думаю, как бы все это наладить. Ну да оно впереди... А спроси у Ришарда: нету ль с ним кого из рудознатцев да литейщиков случаем? У нас, под Серпуховом, вон руда железная... На Цыльме — медная... в недрах гор, на Поясу земном<sup>1</sup>, — чего-чего нет! А добывать не умеем! Так и гибнут зря дары Божии...

— Нет, государь... Не найдется. На корабль я брал только матросов да торговых приказчиков. Да отчего, государь, ты от соседей, от немцев, не призовешь сведущих людей? Там немало их...

— Какое — от соседей! — махнул рукой Иван. —

---

<sup>1</sup> Уральские горы.

Скажи-ка ты ему, Михалыч, как я из венгров людей зазвал, как Литва да лифлянты не то что их не пушали через свои земли ко мне, а которые потайно пытались грань перейти, тех ловили и головы секли, в темницы заточали на всю жизнь. Мы уж и в сей час им досадны. А как узнаем все ихние науки да мастерство произойдем — так боятся, окаянные, что и крышка им. Недаром опасаются, еретики неверные. Сокрушит Русь главу змиеву. И отцы святые то же пророчат. «Третий Рим» — недаром так Москву нашу зовут...

Висковатов, смягчив конечно, передал Ченслору речь царя.

— Ну, понятно, понятно... Боятся соседи. Да это пустое. За хорошие деньги — хорошие люди приедут к вам служить. Ведь имели же вы фряжских мастеров из Италии и разных иных...

— Имели и еще иметь будем! Верное твое слово, Ришарда!.. — довольный англичанином, отозвался Иван. — Ну а с тобой не было ль чего такого, акромья бури, на пути?.. Чудес, страшил каких не видал ли?..

— Особенного ничего. Только меня один из ваших моряков позабавил. Буря стихла, а мы как раз под островом одним очутились. Смешное такое прозвание у него. «Семь» — зовется остров. Один за семерых имя носит.

— Ну, не один. Семь их так рядом и стоят! — заметил Макарий, хорошо знавший карту северных берегов Московской земли. — Для краткости их тако величают: что ни остров един из семи, то и сам «Семь»... Что же там было с тобой?

— Да довольно непонятное что-то случилось. Ветру нет сильного, а у скалы, мимо которой плыть, вода словно в котле кипит. И миновать места нельзя, и пройти опасно. Долго мы стояли, под самым берегом якоря кинувши. Ветер и совсем почти спадать стал, а буруны так и кипят. Я говорю: «Может, у вас тут вечно так, и лучше пойти в обход, поискать иного пути?» — «Нет, — говорит ваш кормчий, которого я взял, — тут дело неспроста... Камень молить надо — все хорошо станет...» Думаю: как это «камень молить»? А он говорит: «Жертвы-де водяной дед требует!..» Я засмеялся и не велел дурить. Ночь пришла — прибой. А наутро проснулся — гляжу, море у самой скалы точно слюды листок: ровное, гладкое... Прошли мы,

отъехали малость, оглянулись, а там опять и пена, и брызги... Глядеть страшно. Подходит ко мне мой кормчий и говорит: «А чья была правда? Я, тебе не сказавши, до рассвету вылез на камень, молил его, муку сыпал, масло лил. Место там есть такое, освященное. И деда, и прадеда то же там творили. И далось нам море, пройти позволило. А как мы минули самое место плохое, оно снова закрутило...» Я тогда говорю вашему кормчему: «Не море — сам ты нам помог, что масло на воду пролил. Старое это средство, да только оно у меня из головы вон!..» А он, седобородый, упрямо качает головой и твердит: «Водяной жертву принял, оттого и пропустил!..»

— Погоди, Ришард! — остановил Макарий. — Ты говоришь, «ваш моряк»... Я чаю, он из диких был, из чуди, али из лопарей, али...

— Нет, ваш, как следует... И по лицу... И крест на вороту висит...

— И все же про «водяного» тебе толковал... Жертву языческую творил? — с огорчением покачивая головой, тихо произнес Макарий. — Эхе-хе... Грехи тяжкие!

— Да не досадуй, владыко! — быстро заговорил царь. — Ведомое дело: живут поморы наши заодно с язычниками, ну и наберутся за неволю ереси всякой. Твои иереи посланные скоро, гляди, весь край ко Христу приведут. Не будет тогда того...

— Дай Бог... Дай Бог... А только не больно велик урожай на ниве Господней!.. — покачивая с сокрушением головой, с легким вздохом произнес митрополит. — Мало у меня тамо Божиих ратников. Да и у тебя, царь, слуг не довольно. Богатые тамо дани можно собирать, ежели порядки завести, как во всей земле Московской...

— Заведем авось, владыко. Знаешь же ты думую...

— Знаю, ведаю... Ну да об этом после. А как земля тебе тамошняя, англичине, показалася? Как люди? Есть ли чем с ними торг вести?

— Есть ли чем? — воскликнул купец-посол, а глаза у самого так и засверкали. — Да там богатств числа нет!... Какие шкурки звериные... Я те, что собрал, — самому королю в дар принесу и получу щедрую награду за них. А дикари, которые меняют эти сокрови-

ща, — им и цены не дают. За пустяк меняют да еще толкуют: погоди, мы лучше принесем! Жаль, ждать не было часу. И рыбы — гибель там... И львы, и коты морские... И китов мы видели... На просторе — стадами ходят... А оленей... А дичи!.. Богатый край, государь, там Бог тебе послал...

— Богат не богат, а угодье доброе. Вот опять соседи- враги мутят, к себе чужь, и лопь, и зырян сманивают. Ракой спаивают. Ну да не будет того! Я им самим скоро... Свеем этим, да...

Но не закончил Иван, остановился.

— У нас то ли еще есть! — снова заговорил он через мгновение. — Приходят с ясаками к нам из Сибири инородцы... Вот те добро несут... Покажу те меха тебе. Вижу: человек ты правильный. Как оценишь? По чести, чаю, скажешь...

— А как же иначе, государь?! Неправильно жить — и торгу не водить! — так у нас говорят...

— Ха-ха-ха! Ну, на Москве ты иное услышишь. «Не обманешь — не продашь...» — вот что наши торговые люди бают... Ты, англичин, мне понравился... Так я остерегу тебя: с купцами моими ухо остро держи! — весело смеясь, проговорил Иван.

— Ничего! У тебя бы, государь, для дела моего государя Бог бы удачу послал. Да позволь нам торг завести в твоих землях вольготный, помимо гостей заморских, торговых. Так мы твоим купцам и лишку переждать не прочь. На соседях на твоих отыграемся...

— Ладно, добро!.. Очень ты мне по душе пришелся. Будет по желанию твоему и как брат наш Едвард просит. А пока ступай, отдыхай... Скоро и к обеду пора... Чай, истомился по нашим дорогам? — протягивая послу руку для поцелуя, проговорил царь.

Целуя протянутую руку, с поклонами посол отвечал:

— Не могу пожаловаться, государь. Дороги, если по правде сказать, не хороши да и не больно худы у тебя. Охрана на них строгая. Меня раз сорок останавливали...хлопот, правда, много, да для нас, для купцов, хорошо. Значит, берегут нас от злых людей. А что земля твоя полна болот и лесов — Бог тому причина, не ты, государь. Да и то я видел: люди твоей земли мимо стражи, по дорожкам и тропинкам лесным и болотным — так и носятся стрелой. Не людный еще край ваш Московский. С той стороны, где я проезжал... А вот тут, под Моск-

вой, уж довольно много народу... У нас потеснее земли, оттого и народу кажется больше.

— Да, ты угадал, посол! — горделиво ответил Иван. — Велико мое царство... Земли русской конца-краю нет... В едином вот новом нашем царском городишке, в Казани завольской, — мы врагов лишь одних, казанских бесермен, — тридцать тысяч побили. И все полон город людьми стоит. В граде нашем престольном, в Москве, вот тут избоб, домов одних переписано сорок и две тысячи... Подочти: сколько народу в тех домах? Ты видел: мы, русские, широко живем, с чадью и с домочадцами, с холопами и с челядью. А ведь тут пригороды и села мои подмосковные и боярские деревни ближние не считаны. Вот ты и подумай... Одначе, ступай с Богом... Время!.. Мне еще надобно тут с отцом митрополитом... Ступай!..

И царь отпустил англичанина.

Теперь трое человек остались в митрополичьей «казанке», или передней келье, заменяющей кабинет, — царь, Макарий и дьяк Висковатов, который, пятясь задом, стал у дверей, выжидая, прикажут ли ему уйти или остаться.

— Слышь, Михалыч, — быстро произнес Иван, едва посол скрылся за дверью, — ты догони агличина, потолкуй с им, удержи в сенцах-то... Може, мне его вернуть занадобится...

— Слушаю, осудары! — отвешивая земной поклон, откликнулся Висковатов и скрылся вслед за Ченслором.

— Добрый слуга, верный, не лукавый раб господину своему! — глядя вслед дьяку, похвалил его Иван. — А все из твоих рук, владыко, принял я человека.

— И-и, государы! Этим ли руки мои старые, дряхлые служить тебе рады? И дни свои преклонные я готов на благо твое и земли родной отдать, ежели Бог захочет того... Только цветите да красуйтесь вы на покой люду христианскому... на украшение церкви Божией... Ты погоди малость, чадо мое любимое... Рассадники познания светского и духовного, школы монастырские да училища процветут те, что мы с тобой устроили запрошлым годом. У меня наберутся попы поученее обломов нынешних, у тебя дьяки, писцы да подьячие, хоть простые люди, да честные, знающие! Будет польза великая Земле!

— Да, да... Я простым людям много больше верю, чем боярам. Особенно этим, — из старых, которые, при батюшке крамолы заводили. Малого меня мучили. Молодых — тех я не столь опасаясь. На них у меня — слово есть. Видел я, как они росли рядом со мной, из мальчишек, из безусых ребят моих верховых — людьми стали. Их я и в тюрьму могу, и на плаху... А вот старые — те царство мутят да величаются еще!.. Как же, иной лет шестьдесят только и делал, что землю губил, крамолы строил... А я ему теперь почет воздавай. Я, царь, — изволь его слушать. А уж эти дни скорби моей... Хворь моя и все, что было... Вот, владыко, знай, до чего взметалась душа у меня. Ведь я думал... Я хотел... По тайности собирался с этим англичанином побеседовать. Не знаю, авось можно Михалыча допустить... А надо бы...

Иван умолк, словно не решаясь договорить.

Макарий, хотя и видел смущение Ивана, но умышленно молчал, не желая даже осторожным образом вынуждать юношу к откровенности. Старик был уверен: раз Иван заговорил, он и закончит.

И правда. Решительно тряхнув головой, Иван снова начал:

— Вот что, владыка. Не трус я, как лают мои недруги. А так полагаю: ежели дал Господь мне веку — надо беречь, не укорочать его. И грех это, да и неразумно: дар Божий метать на перепутье. А как видел я недавно... и измену, и мятеж. Все страшное, позабытое было мною от дней моей юности. И сызнова опасаясь: не замыслили ли бояре на меня и на род мой?.. На сына, на Митеньку...

— И! Что ты, государь?!

— Да, да! Пожди!.. Не перебивай меня, владыко... Дай сказать... Слышь, все... все, почитай, против меня, против Мити мово, против Настеньки встали. Даже... даже отец Сильвестр... И Алешка-холоп... Одна беда: лукавы оба! Позвал бы их к ответу... Да в чем укорить? Они с боярами открыто не стояли супротив меня. Вон и батька Алешин, пьянчуга, орал: «Мы-де царю и царевичу крест целуем, а Захарьины-Юрьевы нам не надобны... Не слуги мы им». Ну, не казнить же его за слова его глупые. Уж ведется оно так у чванных бояр долгобородых: про места да про чины тягаться. А того и помнить не хотят: один я у них царь и хозяин; а все

они — холопы передо мной, все — равные. Грянуть бы теперь на них, как дед, как отец мой...

— О-ох, горяч ты, молод, чадо мое державное... Нешто время теперь? Ну, всех их перехватаешь... Ну, в темницы, в узах заключишь, головы снимешь... Кто землей править станет, помогать тебе? Один ведь не управишься?.. Так ли?..

— Так, так, знаю, что так!.. — нетерпеливо отозвался Иван. — Сам знаю... В том и спасение ихнее... Это одно... Никого бы иначе не пожалел, как они меня, царя своего, владыку, Богом данного, больного, — не жалели... Ну да придет мое время... Потешусь и я... Понаучился я и ждать, и помнить. Вот, будь свидетель, владыко...

И царь, словно собираясь дать клятву, поднял руку к иконам.

— Стой, пожди, государы!.. Вижу: хочешь не на доброе да на мирное клятву давать, а на злое... Так повремени, не в моем доме смиренном... Я слуга Божий... Мир творить, а не вражду множить я тоже клялся, когда вот в эту епитрахиль облачился, пастырский жезл взял, клобук надел первосвященнический... Так смири страсти свои, чадо... Говори о том, что ранее начал и прости, смиренного, меня, коли что не по нутру тебе, государь, было молвлено. Говорю я, как Бог заповедал мне, епископу его и рабу недостойному, первому.

— Нет, ничего... Что же... — упрямо и негромко проговорил Иван. — Конечно, ты — греха боишься... По совести говоришь. А только то ж и мне-то делать? Неужто терпеть? Всю жизнь гнуть выю перед рабами, изменниками? Врагов лобызать? Принимать их лобызания Июдины?..

— Кто говорит? Уладить дело надобно. А только без злобы оно лучше будет для тебя. Злоба глаза слепит. Ино — врага бы железом уразить, а сам себе руку поранишь, а то и глаз, если не живота лишишься вовсе. Так, помаленьку, полегоньку — лучше, государь, повыждавши... Знаешь: повадился кувшин... Уж коли кто занялся воровским делом, предательским — предаст себя первого. «Не ныне, так при помине», как говорят у нас.

— У вас?.. Да ведь ты тоже из Новгорода? — разгорячась, начал было Иван, но вдруг оборвал раздра-

жительную речь, кинулся к Макарию и, наклонясь к самому лицу старика, заметно побледневшему от злой выходки Ивана, ласково, почти по-детски, заговорил:

— Отец ты мой родимый... Не посетуй на меня за мое злое слово, за горячее... Очень уж ненавистно мне все, что поминает про Новгород... А ты же, я знаю, землю любишь, меня хранишь... Вон, спервоначалу, твердили мне: Шуйских ты ставленник. А ты же им крылья отшиб. Один ты, владыко, обо мне, о хвором, — помыслы держал добрые, охранял, научал... Не забыть мне этого... Прости же!..

И он по-сыновнему поцеловал сухую, аскетическую руку Макария.

— Бог простит, чадо! Горяч ты... Что станешь делать... Твое дело царское. А нам, богомольцам вашим, — смирение приличествует по обету монашескому. Ну, говори же, коли начал: что с немчином соби-рался по тайности толковать?..

— Да вот, я ведь тоже не без ума... Ежели спор зачнется у нас с боярами, — еще кто знает: как оно, дело, может кончиться?.. И удумал я себе и роду моему... про всяк случай... у агличан приют заготовить... Казны туда поболее перевести, за руки дать ее ихним купцам, самым богатым... Как иные, слыхал я, — государи делают... Вон хоть из тайников Белозерских отцовских... Оттуда можно через Комогоры не одну сотню тыщ золотом, и камнями самоцветными, и зерном бурмицким потайно на аглицкие суда на крепкие перевезти и в казну тамошнюю на сохран отдать... И ежели, упаси Бог, пришлось бы кинуть отчину и дедину, престол мой царский из-за смут и подвохов вражьих брата ближнего мово, Володимира, и чужих аспидов?.. Хоть будет где с семьей голову нам преклонить тогда!.. Как скажешь, отец митрополит?

Наступило небольшое молчание.

Царь глаз не сводил со старика. Макарий сидел, поникнув головой, задумавшись. Потом медленно заговорил:

— Не легко мне ответ тебе дать на речи твои мудреные, чадо мое державное... «Посрамлена бысть премудрость земная мудростию небесною». Сказывал я тебе про себя. Ведаешь ты, государь: от юных лет — рясу монашескую ношу, устремляясь душою к Богу да о благе земли родной озабоченный... Семьи, детей не



знаю я, и не было их... Церковь Господня да Русь святая — вот близкие мне и сродники. Для них труды терплю при жизни, для них — и умереть не страшно мне старому. Твое дело иное, и отцовское, и супружеское, и царское... Я... Прости, государь... Не в укор скажу, не в осуждение, а по глупости моей старческой: я бы и помер, царство бороня, землю святую, веру православную... А тебе, вестимо, манится и жизнь сберечи, и сына, и жену... Мол, не тебе, так наследнику удастся сызнова на трон воссесть, царство вернуть, ежели недруги на время отнимут... Не сыну, так внуку... И воистину тебе скажу: благословлю тебя на дело... Ищи угла, готовь пристанище.... Понадобится — хвала Господу, что готово! Не надобно будет своей земли, своего царства бежать — сугубая хвала, что сберег Он державу... Только не торопись. Повызнай посла... И не сразу откройся — врагам бы тебя на глум не выдал, храни Господь... Вот как я смекаю, государь. Прости на совете худоумном... И да благословит тебя Господь!

Настало снова молчание.

С пылающими от смущения и стыда щеками принял Иван благословение старца, потом, медленно выпрямляясь, заговорил:

— Судишь ты меня строго, владыко, хоть и мягки словеса твои... Да тем больней уражают они мою душу... А подозволь сказать тебе, отче-владыко... Тоже не в осуждение, а рассуждения для ради... Как оно к делу подошло... Вот пожар великий был... В том року как раз, когда протопоп лукавый нашей душой овладел, мнимой святости словес его и жизни ради... И церкви все, почитай, погорели Божии. Только алтарь, при котором служишь ты, владыко, уцелел произволением, чудом Господним. Ты же не остался при алтаре своем... Вышел из Кремля, со стены спустился, чуть не расшибся насмерть...

— Удушения дымного ради, сыне... И то Бог покарал; сам ты напомнил: расшибся весь, гляди, тогда...

— Вестимо, отче, что дым душил... Да ведь вера — горы подвинуть может, не то пелену дымную раздрать... Как же ты испужался, прочь пошел?.. Прости, что пытаю тебя, владыко...

Опять настало молчание. Со вздохом сокрушения вырвалось наконец у Макария:

— Согрешил, малOVER... Творил свою, людскую волю, а не волю Божию, явного погубления своего ради...

— Так же и я, отче, малOVERен!.. Коротка душа, чтобы на волю Промысла себя и судьбу жены да сына предать... Оттого и о пристановище чужеземном удумал... Так не суди ж меня, отец... Больно я людишками злыми напуган, ведомо тебе довольно об этом...

И чуткий, находчивый юноша-царь, довольный, что сумел отразить мягкий, но серьезный укор уважаемого советника, даже головой кверху встряхнул, словно груз с нее свалился тяжелый.

— Вижу, вижу, чадо: зреешь ты, словно плод некий, дивий, перстом Господа отмеченный... Будет прок царству от тебя. И можно мне с тобой, как с мужем, наравно толковать, а не поучать, как дитя, как отрока юного...

— Аминь, владыко!.. Сам я тоже порой словно вижу и слышу в себе голос некий, образ мужа царственного, каким я быть бы желал... И учит он меня, и зовет, и ведет... К славе, к величию, к покою всей земли родной... И так хорошо станет мне тогда, и страшно, словно дух владеет мною незнаемый, и холод по телу, и жар в голове... А перед очами словно пелена разодранная, и все грядущее видно... Цари идут, витязи предо мной преклоняются... Славу люди поют... Клир священный... Вот совсем как при входе моем в Москву зимою этою... И без конца вижу я те светлые дни. Пророчество это, что ли, души моей? Али соблазны? Как мыслишь, владыко?.. Как, помнишь, «Некий» возвел Сына Человеческого на гору...

— И царства земные Ему казал?.. Все быть может, чадо. Блюдися гордыни земной. В смирении — Бог чудеса творит... А мы — черви, тли ничтожные... Это помнить надо...

— Помню, отче, помню!.. — с легкой досадой разочарования, даже ногой притопнув, откликнулся Иван. — Да и все кругом — забыть мне того не дают. Не то что души полет, царскую волю мою пеленают, стискивают, словно бы я — тот же отрок, что у них под указкой так долго ходил... И царство они же пеленают да кутают... На каждом шагу препоны кладут мне!

— А что там еще приключилось, государь? Скажи.

— Да все то же... Вон сам видел только что: агли-

чин от своей земли к нам добрался, страху смертного не устрасился... Значит, корысть их манит великая! Да и нам от них — добра немало ждать можно. Не соседи они ближние, нет им нужды подкопы под нас копать, землю нашу рушить... Сам ты об отце моем, о дед в Книгу в Степенную писал... Как они старались на Москву науку чужую залучить, людей знающих... Царем быть над медведями — велика ли сласть?.. Вон, рассказывают, как иные крули заморские живут, у которых держава-то вся — вотчины нашей малой не стоит!.. Смотреть — любо-дорого. А у нас — меха да сало... Что получше — все чужими руками делано: и наряд боевой, для охраны земской, и все... А боярам — дела нет...

— Так, так!.. Что же, и мы не спим, скликаем народ полезный. Вон, целая слобода Немецкая у тебя под Москвою под самой: и ратных и сведущих иноземцев в ней немало... Для обиходу хватит

— Для обихода дворцового, да не для всей Руси... Царство наше поболее, чем шестьсот годов стоит. Беда, лих, на край земли мы загнаны. Всякая нечисть: монголы, татарва, литва, прусы и люторы проклятые — все нас трепали. Пока не окрепла земля... Теперя — на своих на ногах держава русская, вот словно и я бы сам... возмужала... сил набралась. И обоим нам, царю и царству — доля горькая. Пестуны непрошеные, дядьки да мамки стародавние — шагу лишнего ступить не дают. Волю симают... Забывают: не малолеток я. Созрела держава русская. Вперед пора: к морю-окияну Студеному, к морям Середьземному, да Черному, да Хвалынскому... А к Варяжскому — первой всего! Прадед мой Царьград воевал... Колывань<sup>1</sup> — более полтыщи лет назад — была наша дедовщина, Рюрикова... Вся земля за Иван-городом наша же... Дед Ярослав всю Ливонию воевал, Юрьев-городок ставил, церкви тамо заводил... Киев стольный град — колыбель царства... А она у поляков в руках, у Литвы поганой... И вот, с Казанью порешивши, — мыслил я сяды, на Сивер да за заход солнца ударить... Старых отчин, дедовщин воевать. Свейский Густав — стар старичок, в дела наши не вступится. Вон, ратники его Орешком-то нашим как подавились, не взяли небось! Кристьян Данский —

---

<sup>1</sup> Таллинн.

стар же. Воюй, знай, на просторе... К морю Варяжскому, Балтийскому живо подобрались бы. Да не одним концом, как при Орешке стоим, а на всей вольной волюшке. Оттуда и в Аглицкую землю, и во Фряжскую — открытые пути. Поморы свои тут осели бы, как на Студеном море, — и пошла бы работа! А советчики мои одно зудят: «Куй железо, пока горячо! Взята Казань басурманская, дальше юрты забирай.... Астрахань, Черкасские земли... Крым!..» Не смыслят того, что за дальним погонишься — ближнее уйдет! Астрахань — она не нынче завтра сама наша. Тамо мы, если не закупили, так подкопали все: и силу царскую, и думу их нечестивую, мусульманскую... Чеченские князья — сам ведаешь, владыко, — как прознали о гибели казанской, так и потянули к нам. Вон палаты полны у меня от князей да послов ихних. Грузинская сторона православная — прямо наша, и толковать нечего. А ежели мы туды зря теперь, силом кинемся, кровь да казну терять станем на покорение сыроядцев-кочевников, — люторы, соседи лихие, враги неуголимые, за ум возьмутся, воедино сольют города вольные да бискупства свои. Тогда не угрызть нам их... И ничего-то этого не разумеют советчики мои, поп с Алешей... Вот что горе мое, обида лютая!

Вскочив, Иван заходил крупными шагами по небольшой митрополичьей горенке.

— Так, так! — вторил ласково Макарий, хорошо знавший все, о чем говорит Иван. Но понимал владыко, что юноше хочется и надо высказаться, душу излить, — и не мешал порыву сердцеведец...

— И ведь никак не поймут, гляди, что миновала ихняя пора! — стукнув рукой по столу, мимо которого проходил, воскликнул Иван. — Терплю я пока. Так ведь оно еще хуже!.. Отольются им все слезки мои... О-ох, отольются... Себя не жалеют, дурачье... «Мы-ста да мы-ста... Мы — землю с твоими отцами-праотцами собирали, нам и книги в руки!..» А я скажу: пустое дело!.. Конечно, без людей нельзя... Да не тот яблочку хозяин, кто землю круг дерева копал, а тот, кто зерно сажил. А зерно мои деды сажали, и меня научили, и наследие мне свое отдали... Я и хозяин. Дерево выросло... Теперь землю вскапывать — вред один... Влага дождевая — сама до корней пути найдет... И яблочко я, я один сорвать могу. И не советчики, не равные мне

нужны дружинники, а слуги послушные. И будет так... Знаешь, владыко, как мне сейчас думается?.. Вот припомнил я: первый день мой под Казанью... До рассвета дело было. Пошли мы к самому юрту, казаки вперед рассыпались... Воротились, говорят: тихо все, чисто впереди, нет засады за горой. И стало войско передовое на крутую гору всходить. Каждый голова, каждый сотник — своих ратников отдельно вел, поодаль один от другого. Шли, как кому способно было. Где леском, где ложбинкой идут в темноте, ползут, цепляются, карабкаются. Не видно самим: куда идут? — знают одно: кверху надо. Не видит один воин другого. Одна рать от другой — и кустами, и ярами отрезана. И все знают, и заодно свое дело делают. Срываются порой на круче... Во тьме иной и земляка толкнет или, с досады, кулаком двинет: под ноги не подвертывайся! А все вперед лезут... Там иной, общий грозный враг за горою, кого сломить надо. Или самому сгибнуть. Но вот и до вершины дошли. И рассвет заалел, показался. Вожди своих ратников, ратники — вождей узнали, видят друг друга. И Казань впереди... А из нее — наших заметили. И высыпали неверные с кличем, с воем диким... Уж тут не то что каждый за себя, а голова за свою сотню, — два вождя за дело взялись: Микулинский да я, с братцем моим на подмогу. Люди строй строить начали, стеной живою встали. И куда мы, вожди верховные, поведем, куды глазом мигнем — туды все с горы и кинется. Ежели тут да по-прежнему, по-ночному: каждому волю дать, — только бы нас и видели! Избили бы враги поодиночке всю рать христианскую. А как сплошная стена наша с горы кинулась-покатилась комом снежным, на отряды бесерменские как ударила, — так каменная ограда одна казанская и удержала рать русскую, страшную, неудержную, словно прибой морской... Так само и царство... Пока оно в гору шло — каждый за себя: князя и дружинники, и бояре думные — все врозь да порознь дело государственное вершили да делали, а то и свару затевали порой. А как дошла сила русская, земная, государственная, почитай что, на гребень горы, — тут каждый знай свое место!.. А хозяин и владыко земли, — я, после Бога... да тебя, отец митрополит! — словно спохватившись, добавил Иван.

Макарий тонко улыбнулся.

— Ну, исполать тебе, Ваня!.. Словно нового нынче

тебя я познал. Не мимо сказано: «Во скорбях, и болезнях открывается человеком премудрость Божия». На пользу тебе пошла хворь долгая...

— Быть может, отче! А только, кабы не зазорно, — один старый клич поновил бы я, наш царский, клич дедовский: «С нами Бог!» Еще бы по-новому кликать научил: «В гору все, в гору, вперед, с Бога помощью!»

— Что же, Бог в помощь... Заведи новые порядки на благо Земли... И благо ти будет... А только, мекаю, сыне: не сразу все поналадишь... Время больно тяжелое...

— Тяжелое, владыка... И горячее время. Страдная пора моя царская. Сам вижу! Бой в дому и за рубежом земли ждет меня... Посему, для покою своего, забочусь о грядущем. Великая еще у меня забота есть одна. Вон, первым делом, царство я покорил Казанское. Второе — ты сам мне сказывал: царский титул — в роду у нас, у Мономаховичей, извечно живет. Ты же меня и царским венцом венчал. А соседи, братья наши, короли и государи, даже хан крымский неверный, — не желают чести оказать, звать-величать меня царем Московским... Все в великих в князьях живем мы у них. Покою мне то не дает... Сейчас литовские послы, гетманские, ждут с грамотой... О перемирье просят. А в грамотах — царского титула моего нет же! Были ж они у тебя, владыко.

— Были, были... Все я тебе сказывал, как отвечал им...

— Вот, вот... Упрямы, еретики безбожные! Не величают меня, царя, как Бог повелел! Хоть назад их гнать домой, миру не давши!.. Как думаешь?..

— Мое ли дело тебе на царенье указывать?.. А только полагаю: не лукавство ли тут? Знают, что времена у нас тяжелые... Что мы на люторов снаряжаемся... Думают: и без царского-де титла мир даст Москва! А ты возьми погони их домой, к магнатам, к Жигимунду Литовскому. Погляди: с пути, с дороги не вернутся ль? Нет ли у них про запас иной грамоты крулевской, с полным твоим царским величаньем? Ведь им тоже солоны пришлось находы московские на окраину ихнюю...

— Да! — с самодовольной улыбкой подтвердил царь. — Немало полону, и городов, и земель у них поотбили... Почитай, к Киеву самому подобрались. Толь-

ко все им мало. Твердят: Смоленск я воротил бы им! Без того — нет вечного мира меж нами, и быть не может...

— Так им же сказано в ответ и про Киев, и про Полоцк — дедину московскую, и про Витебск — город твой наследный... И про Гомель, что недавно, гляди, в малолетство твое был отбит... Дело бесспорное... Что толкуют зря!

— Не с барами литовскими толку искать! Круль-де ихний отвечает: «Давно Киев мой, — и не тебе, мне царем Киевским зваться пристало... И без Смоленска — миру не быть! А что мечом взято, то даром назад не вертается!» Слово бы мы Смоленск — вертежом воевали! Теперя, правда, после Казани, посговорчивей стали еретики, да все толку мало... Правда твоя, владыко, попробую попужать Довоину с Воловичем. Назад их без миру погоню...

— А про имя свое царское, ко всему, добавь: «Вон и Казанское царство мое. Как же, мол, я не царь?..» И Владимир Святославич крестился и землю крестил, его царь греческий и патриарх вселенский — венчали на царство русское, тако и писался он... Так и образ его, как преставился государь, — на иконах пишут царем во всей славе земной...

— Скажу, скажу... А еще того бы лучше, кабы нано-во патриарх меня царьградский, дедовским обычаем, соборне на царстве подтвердил... Можно ль так владыко?

— Отчего нельзя? — в раздумье, слегка затуманясь произнес Макарий. — Коли московских митрополитов помазание не довольствует иноземцев, мы и патриарха приведем к соглашению...

— А за казной я не постою... Сам знаю: ничего даром не сделается...

— То-то же, чадо мое... Готовься, развязывай кису... Готовь калиту дедовскую! — улыбаясь закивал головой Макарий, довольный сообразительностью Ивана. — Да и то сказать: на украшение церкви Божией пойдут рубли да золотые червонцы московские! Так и не жаль...

— Не жаль, не жаль, отче... Одначе, прости: сверх меры утрудил я тебя, недужного... И сам затомился... Зато обо всем потолковали. Душу я поотвел.

— Вижу, вижу, Ванюшка! — по-старому называя царя, как звал ребенком, ласково отозвался Макарий. —

И всегда пусть тако будет, пока жив я... Царя в тебе, и сына, и друга рад видеть советного... Верь старику... Безо всякой корысти я в деле твоём царском.

— Знаю, вижу, владыко. Только ты да Господь — и слышите надежды мои, молитвы горячие... Знаете душу мою... А иные — прочие? Э! Лучше и не поминать...

И, приняв прощальное благословение владыки, Иван покинул тихую келью.

А хозяин, проводив взглядом державного гостя, долго глядел ему вслед и потом вполголоса проговорил, по привычке людей, живущих одиноко:

— Ну, батько Сильвестр, пробил твой час... Зазнался, видно, мой попик... Высоко метнул... Орленок-то куда разумней этого пестуна, мной приставленного... А уж Одашева?.. Ну, его и подавно надо прочь поскорей... Да тут мне еще царица поможет... А после? Да будет воля Твоя, Господи... И да процветет земля Русская!..

Две недели не прошло с этого дня, а Данило Захарьин, потолковав с царицей, которой привел нового потешника для развлечения в долгие скучные часы безделья, — явился и к Ивану.

— А что, государь! — спросил он. — Не пожалуешь ли? Новых затей у царицы-матушки не поглядишь ли?.. Фрязин тута один... Раньше в толмачах служил... Потом — его с чего-то далече услали советники твои первые: поп и Олешка... Чуть что не на Рифей, руду искать... А он — и знать того дела не знает. Его дело на языки на разные ведать да шутки скоморошьи играть. Больно ловок. Пытал я фрязина: с чего-де так заслан был? Молчит... Один ответ: «Их была боярская воля. Платили знатно. Я и творил волю господскую: ехал куда сказано, делал, что приказано...»

— С чего же тебе-то на ум запало: вернуть его на Москву, потешника-фрязина? — пытливо вглядываясь в хитрое, довольное чем-то лицо шурина, спросил Иван.

— Так... Государыня-сестрица заскучала... А я про штукаря ненароком проведал. Выписал, потихоньку и от попа, и от Одашева. Чтобы не осерчали, храни Господи... Еще не прибили бы нас...

— Нас?! Прибили?! С ума ты спятил, Данилко!



— Храни Боже, государь... Я — про себя с Никиткой говорю. Людишки мы малые. Не про тебя молвилось... Помилуй!.. Это они только, покуль хворал ты, и могли...

— Ну, буде... Сам помню, что было. Не чай меня подзуживать... Добро уж... Приду твою диковинного шукаря повидать. Сам и повыспрошу его. Что-то мне не то здесь чувствуется...

— Помилуй, государь. Только сестру потешить — вся и забота была моя...

— Ладно, добро... Поглядим тамо...

И, несомненно заинтересованный речью Захарьина, Иван отпустил шурина, ясно видевшего, что заряд его попал в цель.

Тишина после обеда, после полудня, во всем дворце и в теремах царицыных, — мертвая тишина. Поели — и спать легли все. И только перед вечерними снова оживают покои и горницы, светелки и переходы. А затем, с курами, при наступлении сумерек — опять спать ложатся, помолившись, чтобы с первой зарею, с первым криком петуха проснуться и новый день так же прожить, как вчерашний прожит.

Среди теремных покоев, в стороне, помещается обширная горница, полутемная, потому что два ее небольших оконца выходят в другую, смежную комнату и только оттуда получают солнечный свет. Обыкновенно и эти два просвета закрыты изнутри ставнями, потому что горница отведена под склад вещей, которые не сдаются в дворцовую казну, но и не находятся в повседневном употреблении, при обиходе царицыном. Тут и наряды ее праздничные, не самые дорогие, в сундуках, и ларцах, и в укладах дубовых: и перины запасные, и холсты тонкие, и серпанка домотканая деревенская, оброчная дань баб деревенских из царских сел и угодий... Много тут всякой всячины в коробах и так, по углам лежит, по стенам развешано, в узелках, в сверточках припрятано... И шелка цветные для вышивки пелен и воздушов, над которыми царица часто трудится, и бисера разноцветные... И много еще разного...

Нынче — кладовая эта прибрана ладненько. Окна так же, как всегда, ставнями прикрыты. Освещена горница восковыми свечами и лампадами, которые зажжены перед неизбежным киотом в углу... Стены, раскрашенные масляными красками, — совсем пусты. Одна,

самая широкая, покрыта простынями, сшитыми и заменяющими цельный занавес.

Перед небольшим столиком, какой обычно устраивают себе фокусники всех времен и всех стран, суетится небольшой, черномазый итальянец. Таких много можно было встретить на улицах и площадях западных больших городов под кличкой шарлатанов и кудесников.

На соседнем столе стоит простой, грубой работы, квадратный ящик с одной стеклянной стенкой — первобытный волшебный фонарь. Чечевицеобразное стекло — укреплено внутри неподвижно и может давать только известного размера смутное отражение на стене или на занавес. Но и того достаточно для удовлетворения неопытной еще публики, принимающей фокус — за деяние нездешних сил.

Маг-итальянец одет в обычный наряд астролога: в мантии, с высоким колпаком на голове. Черный плащ, усеянный золотыми звездами, серебряными полумесяцами и красными фигурами чертей, — довершал впечатление таинственности и страха, разлитое сейчас в дворцовой кладовой, ставшей чем-то вроде «комедийной храмины» или сцены.

Не в первый раз творится подобное во дворце. При старухе — бабке Ивана, при княгине Анне Глинской — был даже свой присяжный фокусник, часто потешавший и детей, и взрослых при дворе... Но с появлением Сильвестра все подобные «нечестивые забавы, игры и позорища дьявольские» были исключены из обихода царского. И вот, после долгого перерыва, да и то потихоньку от обоих блюстителей царского благочестия, по старине, устроился настоящий вечер.

Волнуется, ходит итальянец у стола, осматривает фонарь... Его очень занимает исход сеанса. Ведь в случае удачи обещано бедняку, что дадут ему возможность, с богатым награждением, вернуться на родину... Избавят его из кабалы, в какую он попал добровольно, связавшись шесть лет тому назад с первым советником царским, Адашевым... И, весь в лихорадке, ждет фрязин урочного часа...

Вся собралась и публика. Немного ее. Человек десять, и все женщины: царица с четырьмя-пятью своими боярынями и девушками ближними, из родственных семей... Наконец явился царь с двумя Захарьиными. И Висковатов с ними. Никого больше.

Сели на места. Царь впереди. Бояре стоят. Царица подальше села, а вокруг нее, за спиной, прямо на коврах уселись девушки. Две старые боярыни на сундуках приткнулись: боязливо озираются и крестятся незаметно, в душе осуждая затею царицы молодой.

Начались и идут чередом чудеса разные и фокусы, основанные на проворстве рук, на отводе глаз... Вещи появляются и исчезают, растут и уменьшаются. Целые волшебные игрища устраивает маг. Вот из пустого кулака вынул он куклу: совсем татарин... Миг — и литвина кукла в другой руке качается... Ставит фокусник своих актеров на столик, и, покоряясь незаметным проводам и нитям, драться начинают мертвые куклы. Вот на помощь татарину турок ползет, неизвестно откуда явившийся на столе. А за литвином вырос рыцарь ливонский и другой — германский, оба в сталь и железо закованные. С трудом ступают... И накидываются трое на двоих агарян, разговаривают на разные голоса. И вдруг начинают поглощать, словно удавы, своих противников, вступая в драку из-за дележа добычи, так как трудно двоих мусульман на три рыцарских глотки поделить. Вот уж только двое из пяти осталось... Вот и один из последних упал... Тогда оставшийся, германец, на глазах у всех хватает руками павшего врага и начинает его глотать. Брюхо у рыцаря растет, растет... Лопается... Оттуда сыплется казна золотая и разные драгоценности. А рыцарь падает мертвым. Вдруг, неизвестно откуда, является витязь в оружии: русский богатырь. Он подбирает все принадлежащее мертвым недругам, кланяется царю, царице, по-русски, сносным языком приветствуя их, и внезапно исчезает, словно в воздухе растаял...

— Ай, да молодец, фрязин! — произнес Иван, все время с интересом следивший за проделками кукол, порой неудержимо хохотавший в самые забавные минуты. — Добро! И на голоса ловко говоришь... И повадку нашу русскую знаешь: двоих стравить, третьему быть, все забрать, во славу христианства православно-го... Видать, Настя, и тебя братец твой потешить сумел, забавника такого подыскавши.

— Как же, государь... Я бы не звала тебя, кабы не видела, что стоит того... — отвечала царица, сохранявшая почему-то все время серьезное выражение лица. И только легкая улыбка озаряла его в самые интересные минуты представления.

— Что ж, разве не все еще? — спросил Иван, видя, что маг, при помощи одного из братьев царицы, тушит все свечи, кроме лампад у киота. Но и здесь поставлен был высокий легкий экран, вроде ширмы, так что в покое стало темно.

Иван невольно вздрогнул.

— К чему это темь такая? — нервно спросил он. — Не люблю я...

— Не тревожься, государь! — отвечала Анастасья, словно угадавшая тревогу мужа.

Она теперь встала, подошла к мужу и совсем прижалась к плечу его, словно готовая оберечь Ивана от всякой случайности.

Иван успокоился и стал с любопытством глядеть.

Фрязин такой же ширмой начал отгораживать столы свои со стороны публики. И скоро свет одинокой свечи, горящей на одном из столов, скрылся от глаз присутствующих. А Захарьин, подойдя к Ивану, объяснил:

— В сей час, государь, чудо покажет фрязин: явление Самуила царю Саулу, как волшбу свою творила ведунья Эндорская... Больно забавно... И тоже на голосах представит: как все толковали они...

Иван хотя и волновался, чувствуя, что вот теперь именно предстоит нечто важное, но овладел собой.

— Ну что ж, пускай колдует фрязин... С нами Бог, и расточатся врази Его...

— Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его! многозначительно повторил Захарьин. — Начинай, что ли, фрязин! — приказал он магу.

И сразу из-за высокой черной ширмы, отгораживающей фокусника и столы его, полились оттуда, засияли лучи дрожащего света; круглым широким пятном упали на противоположную от Ивана стенку, завешенную белыми простынями.

В круглом световом пятне постепенно стали обрисовываться какие-то фигуры... Царь Саул, в византийском, современном Ивану, наряде царском, с короной на голове, с жезлом в руке. А перед ним — страшилище-старуха, сгорбленная, скрюченная, кидает волшебные зелья в пламя костра, краснеющего у костлявых ног колдуньи.

И говорит она скрипучим голосом Саулу:

— Трепещи! Сейчас уведаешь судьбу свою.

— Не трепещу! Я царь Саул... Являй мне судьбу мою! — властно, мужским голосом отвечает чревоушатель-фрязин себе же самому от имени вызванных им теней.

И вот над прежними двумя фигурами, царя на воздухе, появляется мертвец в пеленах, но с открытым лицом, пророк Самуил, и спрашивает:

— Кто звал меня?

Глухо звучит замогильный голос, необыкновенно знакомый Ивану. Затем, услышав вопрос Саула: «Чего ему ждать?» — тень Самуила грозно изрекает:

— Горе тебе!.. Гибель!.. Кайся в грехах... Пробил час!..

Иван весь задрожал. Сомнения нет! Этот же самый голос слышан он шесть лет назад на Воробьевых горах во время большого пожара московского, когда поп Сильвестр сумел всецело овладеть душой и волей его... Когда призраков вызвал он и пугал царя адом... Значит, и тогда комедию играли... Смеялись над ним, над верой, над душой его. Сильвестр с Адашевым... какая низость!.. Стыд какой, что он дался неучу-попу в обман...

Неожиданно горький, истерический смех вырвался из груди у Ивана... Все громче, злее звучит... И удержаться не может царь. Вон уж и свет раскрыли, забаву прервали, свечей зажгли много, хлопочут вокруг царя, воду дают, ворот расстегнули... А он все не остановится, в себя прийти не может, хоть и хотел бы... Кое-как прекратился нервный припадок. Сумрачен Иван. Все в тревоге кругом стоят. Один Захарьин ликует, как ни старается скрыть свое настроение. Теперь несомненно: погибли оба первосоветника, обманом завладевшие душой царя, пленившие его волю на шесть лет.

— Выдьте все... И ты, Настя!.. — приказал Иван, успокоившись понемногу. — А фрязин где?..

Мага уже нет в покое. Убрали его. Но он дожидается рядом.

Все вышли. Входит итальянец, в землю кидается перед царем.

— Прости, государь! В уме не было так потревожить тебя... Потешить мнил! — странным, непривычным говором, но понятно, по-русски молит бедняк.

— Встань. Не сержусь я... И не ты меня смутил... Болен я недавно был очень... Еще не совсем оздоровел,

оттого все... А ты мне по совести поведай одно, что спрошу тебя...

— Видит Мария Дева, все скажу!.. Что у нас, что у вас — один закон: нельзя солгать помазаннику Божию, как нельзя Богу лгать...

— Вот и хорошо... И еще мне присягу дай... Вот крест мой: Распятие с мощами Николая Барийского... Ваш он святой, как и наш... Вот — Евангелие... Клянись: никому про нашу беседу слова не проронишь...

— Клянусь, государь!

— Ну и ладно! — хриплым, усталым голосом продолжает Иван. — Скажи: не случилось ли когда тебе, так же вот, как и сейчас, только ночью, из места потаенного, голосить, словно из могилы: «Покайся!.. Гибель твоя настала...» Не случилось ли?

— Случилось единова, государь! — бледнея отошелся фрязин. — Только как ты знаешь? Я и тогда клятву давал, чтоб молчать... Как уж и быть мне? Не ведаю... Гибель пришла для души моей!.. Да и сказано мне было: слово кому пророню — не жилец я на свете!.. Убьют, запытают...

И набожный итальянец стал бить себя в грудь, шепча слова молитвы.

— Не бойсь, не стану искушать тебя. Сам все тебе скажу. И коли выйдет, ты не говори, а кивни головой. Тем присяга твоя не нарушится. Ты молчать присягался, а про утверждение молчаливое — никто не приказывал тебе?

— Правда твоя, государь. Про то речей не было.

— Ну вот... Так слушай: поп один, Селиверст, с тобой дело вел... И Одашев, один из вельмож моих нынешних? Так, так! — видя, что итальянец утвердительно кивает головой, прошипел злобно Иван.

Передохнув и справясь с порывом ярости, царь продолжал:

Ночью дело было... Вели тебя или везли — сам не знаешь куда?.. Так, так. И в покой ввели, там сокрыли?..

— Да что, государь, вижу: ты знаешь сам тайну мою... А только в покой меня не вводили... В проходе я стоял потаенном с боярином... И дверь распахнул он и приказал: «Говори те слова, какие учил со мной!..» Я и говорил, как приказано. А на стене, видел я, тени разные таким же фонарем наведены были. А для чего

оно было? — по сию пору не знаю, понять даже не могу...

Иван так и впился глазами в глаза хитрого итальянца. Но лукавые, черные, бегающие обыкновенно глаза проходимца — теперь так открыто и прямо выдерживали испытующий взор царя, что тот, успокоенный, откинулся к спинке кресла своего.

— Добро... А вещь-то была немудреная. Надобно мне было единого старого, надоедного пестуна попутать, вот я, понимаешь, всю затею и завел... Я сам! Не знал я только, кто помогал моим советникам: попу да Адашеву? Награду я большую тогда отпустил. До тебя дошла ли награда та?..

— Как сказать, государь, дадено мне... А столько много ли, как ты приказывал, не ведаю.

И жадный итальянец в свою очередь засверкал глазами.

— Сколько ж? Сколько дали? — с живым любопытством спросил Иван.

— Да сто рублей... И служба потом поручена... Хоть и не по мне, а хлебная... Только далеко от града престольного.

— Конечно, с глаз моих подальше. Чтобы не вспомнил я о тебе, не доведался правды... Тысячу дукатов выдать я тебе приказывал...

— *Corro di Vaccho! Porco de la Madonna!* — взвыл пораженный фрязин. Тысячу... А они?..

— Ну, не горюй! — остановил его Иван. — Делать нечего. Сызнова придется теперь уплатить тебе твое... Да стой, подымайся скорей... слушай! — остановил Иван ошарашенного итальянца, который так и рухнул к его ногам, стараясь губами коснуться хотя бы носка царских сапог остроконечных, сафьяновых, разноцветными узорами изукрашенных.

— Клялся ты, фрязин, и еще поклянись: что здесь было — никому не открывать! Мне из-за тебя с боярами моими жадными не ссориться. Так лучше пусть оно будет, словно бы я и не ведаю ничего... И оставаться тебе здесь не след, в царстве моем. На родину поезжай... Поскорее... Провожатого я тебе дам. Он и дукаты с собой повезет, на рубеже тебе их выдаст — и ступай с Богом на все четыре стороны. Здесь, того гляди, и не выживешь ты долго, фрязин... А мне жаль тебя!

— Спаси тебя Бог, государь. Все исполню, как ве-  
лишь. Детей и внуков научу: молиться за здоровье твое  
царское... А уж что молчать буду... И на духу не скажу  
попу нашему!.. Клянусь Марией Девой! Пусть на  
душе моей грех лучше остается, чем не по-твоему  
сделаю...

И так искренно звучали слова осчастливленного  
бедняка, что нельзя было сомневаться в готовности  
итальянца твердо сдержать данное слово. К руке цар-  
ской допустил Иван мага — и они расстались, чтобы  
снова свидеться только на суде нездешнем, где только  
и мог бы узнать итальянец, как его провел болезнен-  
но самолюбивый Иван, какую услугу он оказал ца-  
рю, раскрыв ему глаза на хитрость Сильвестра и  
Адашева.

Взбешенный царь, оставшись один, не знал, что ему  
начать, как поступить.

— Росомахи жадные... Аспиды подлые, клятвопре-  
ступники дьяволы... Что мне делать? Куда кинуть-  
ся?.. И мстить-то сейчас не могу... мстить не могу! —  
с воплем вырвалось у Ивана.

Долго оставался он тут: словно зверь, долго мета-  
лся по пустынной, полуосвещенной кладовой, прежде  
чем овладел собой и мог с надменной, холодной улыб-  
кой выйти к ожидающим его за дверьми Захарьиным и  
жене. Видя, что царь не зовет их и сам не показывается,  
они все стояли в тревоге и слушали, что творится  
за дверью...

Но там раздавались только тяжелые шаги Ивана и  
глухое бормотанье, выкрики его злобные... Стыд, ос-  
корбленное самолюбие, злоба на обманщиков душили  
царя.

Никто, даже царица не решилась войти туда без зо-  
ва. Вдох облегчения вырвался из груди у ожидающих,  
когда Иван с презрительным, угрюмым выражением  
лица появился на пороге и сказал:

— Благодарствую на потехе, жена... И вам, шуревья  
дорогие. А теперь за трапезу пора.

И направились в столовую палату, тихие, сумрач-  
ные, словно чуя близкую грозу и задыхаясь в атмосфе-  
ре, полной электричества.

— Ну, крышка теперь и попу, и Олешке! — успел  
по пути шепнуть Захарьин — Захарьину, незаметно са-  
модовольно потирая свои потные, жирные руки...



Дня три прошло. Фрязина к рубежу везли под надзором верного человека из близких к Захарьиным служилых людей.

Царь с царицей и с царевичем в дальнее богомолье собрался. Объявлены сборы великие.

Чуть не полцарства объехать предстоит. Из Москвы в прославленную Свято-Троицкую обитель, к мощам преподобного Сергия. Оттуда — в обитель, раньше не посещаемую Иваном, к Николе Песношскому; монастырь тот стоит на Песконоше-реке. Затем обитель во имя Пречистой Девы Марии в Медведовке навестят и, через Калязинский монастырь св. Макария, ангела митрополичьего, прямо в далекую Кирилловскую обитель проедут, к Белозерской пустыни, где и городок, и крепость сильная, Белозерская, — среди лесов и болот укрыта, обычный приют властителей русских, если враг опасный нагрянет нежданно-негаданно под Москву...

Там же, в крепости, и тайники большие устроены, где казна царская, родовая, мономаховская припрятана...

От святого Кирилла, давнего защитника и старателя Земли, проедут богомольцы державные назад чрез Феррапонтовскую пустынь, навестят ярославских чудотворцев, князей и святителей мощи нетленные. Дальше, в Ростове, у раки преподобного Леонтия помолившись, побывают и у преподобного Никиты, поклонятся мощам и честным веригам подвижника, а затем на Москву прибудут...

После сцены в кладовой с фрязином Иван ночью же к Макарию кинулся... Долго беседовали они.

Успокоил немного старец возмущенного царя, снова поставив на вид, что карать покуда никого нельзя.

Слишком за шесть лет власти оба временщика на полной свободе большие корни пустили, людей своих везде насажали, советников, друзей завели... Как понемногу они в силу входили, так же постепенно, измором надо ослабить их, ставленников Сильвестровых и Адашевских — своими заменить, а там уже и за них самих приниматься...

Подробно обсудив, как дальше дело вести, — оба собеседника тут же наметили предстоящий путь царского богомолья, Иван принял благословенье владыки, обещая вооружиться терпением.

— Коли я вижу, что изверги в моих руках — подо-

ждать не велик труд... Оно еще слаще: поизмываться над ворогом... Он думает: его верх! А ты его и придавишь тут! — с хищным блеском в глазах заявил царь.

Старик ничего не сказал, только покачал головой и отпустил Ивана.

На другое же утро поскакали вестники, сеунчи и гонцы во все концы: коней на заставах готовить, отцам настоятелям весть давать о прибытии семьи царской, на дворы попутные, ямские: чтобы коней собирали, подводы готовили под обозы царские. По тоням, по угодьям вести даны, чтобы рыбой красной, медом и дичью запасались рыбаки, и бортники, и охотный люд монастырский и царский. Чтобы всего везде вдоволь было.

Всю ночь не поспалось Ивану. А с рассветом — он уж был на ногах, созвал дьяков ближних, бояр большой Думы, в первый раз обойдя Сильвестра, и стал рядить, кого вместо себя на Москве оставить.

Обычно — братья царские заменяли царя во время отъездов. Но Юрий — способен только явиться и сидеть, где ему скажут. Отец Ивана — зять своего, крещеного царя Казанского, Петра Касаевича наместником оставлял. И роду царского заместитель, и не опасен. Крещеный татарин в цари русские не полезет.

Можно б и теперь Ших-Алея посадить на первое место в царской Думе вместо себя, да он не крещен... Мусульманин... Именитый человек, старого рода ханского, а все же в христианской Думе ему первому не быть.

Остановился Иван на Мстиславском князе. Хоть он и молод, да родич царский, сам роду Мономашьего. И уверен был царь в своем тезке, вдвойне родном и по крови, и по первой жене, царевне Анне, дочери Петра Казанского, двоюродной сестре самого Ивана. Теперь, вот шестой год, Мстиславский вторично женат на дочери Горбатого-Суздальского, родной брат которой, герой казанского взятия, верный и преданный воевода молодого царя.

Так и порешили: тридцатитрехлетнему Ивану Мстиславскому предоставить место царское в Думе, печать и гривну царскую доверить, перстень ему наместничий одеть. И везде князю за царя являться. Ему и послов принимать, и князей приезжих. Только мира и войны без царской подписи вершить нельзя.

Совет уж к концу подходил, когда придверник доложил приставу, а тот царю — о приходе Сильвестра.

— Проси отца нашего духовного! — приказал Иван, с почтением, хотя довольно сдержанно встретил протопопа и указал на место, отведенное для духовных лиц, присутствующих в совете царском.

Мрачен сидит Сильвестр.

Первая обида: совет царь собрал, а его и не позвал. Вторая: посадил не близ себя, как всегда, а на месте, для духовных советников предоставленном. Самое же главное, не посоветовавшись с ним, на богомолье собрался, путь наметил и — велика сила дьявола! — в тот самый Песношский монастырь собирается заехать, куда много лет не пускали Ивана под разными предложениями. А настоящая причина заключалась в следующем: жил в Песношском монастыре, век доживал опальный епископ Коломенский, теперь — монах простой, Вассиан, злой и опасный человек, друг бывший покойного царя Василия, немало смут и горя посеявший на Руси, из желания угодить самовластному государю, тому самому, который порой не щадил и клира духовного, всемогущего донине в царстве Московском.

Невольно, по старой памяти, опасались правители: и теперь, гляди, Вассиан Топорков сумеет восстановить сына против окружающих, как умел восстанавливать отца, чтобы самому меж тем выгоды и почести добывать... У каждого из «сильных» рыльце было в пушку. И Вассиан знал о них самую подноготную!..

Молча, слова не пророня, досидел Сильвестр до конца совета. Когда же царь опустил всех, поп подошел и сказал отрывисто:

— Не дозволишь ли, государь, побыть с тобой часок? Дело есть...

— Что? Просьба али забота какая по собору нашему Благовещенскому, по приходу твоему, отец протопоп? Рад потолковать. Оставайся... — любезно, но очень сдержанно ответил царь.

Совсем поражен стоит Сильвестр. Правда, после этой бурной сцены, когда протопоп промахнулся и чуть ли не открыто принял сторону Владимира, после болезни своей — не по-прежнему относится к нему Иван. А все же этот голос, этот важный прием, обхождение, как с чужим, — прямо непонятны властному пастырю.

Знал недавний временщик, что митрополит не разделяет многих его мыслей и мнений. Но если не дру-

гом, так и врагом не будет Макарий Сильвестру и Адашеву! Так решил протопоп. Кто же еще, кроме владыки, может влиять на царя? Захарьины, конечно. Они подбили на поездку к Николе Песношскому, в берлогу к Вассиану, недругу опасному... Они все мутят. Да, люди это — недалекие, мелкие. За собой промашки особой не чувствует самоуверенный диктатор; он не знает, какая пропасть вырыта ловко между юным царем и обоими его наставниками... И надеется протопоп, что успеет все на старое повернуть. Он ли царю не пригоден, не полезен был столько лет!.. Поймет же Иван... Помнит же он ту ночь страшную на Воробьевых горах!

Быстро эти соображения промелькнули в уме протопоба. Смело порешил Сильвестр пойти прямо к цели. Смело заговорил.

— Перво-наперво, пожурить хочу тебя, сыне. Грешно, грешно! Старика, меня обидел... Советника своего, отца духовного, по обителям по святым собираясь ехать, на совет не позвал... И в Думу царскую не зовешь опять же... Было ли вот все шесть лет такое? Не было, сыне... За что обижаешь? Нет на мне вины перед тобой...

— Какая обида? Я тоже думаю, перед Богом только мы все грешны, а не один перед другим! — загадочным тоном, не то любезным, не то насмешливым, ответил Иван. — О монастырском пути, не обессудь уж, с владыкой-митрополитом всяя Руси толк у нас был... Тебя позвать и не удосужились... Нынче в Думе нашей, опять же, дела все были неважные, духовного чина и не касаемые; рядили, кого на Москве оставить на мое место? Твою думу я знаю: брата Володимира надо бы? — не то спросил, не то с уверенностью произнес Иван.

— Вестимо, князя Володимира. Первый по тебе и есть...

— Вот, вот... А бояре мои иначе удумали, как слышал: стрыечного мово, Ваню Мстиславского над собой посадили. Им с князем сидеть, их и дело. А какая же речь у тебя? Каки дела? Говори, мы слушаем... Да поторопись, отче... Еще у меня заботы есть неотложные.

Ушам не верил Сильвестр. Прямое глумление сквозило в тоне и в словах юноши, недавно покорного и ласкового, как ягненок, под влиянием внушений его, Сильвестра, и Адашева...

Задыхаясь от подкатившего к горлу волнения, подавляя приступ гнева, протопоп глухо заговорил:

— Не узнаю, воистину не узнаю тебя, чадо мое духовное... Словно подменили нам царя благочестивого. Никогда таким не видывал тебя.

— Вот, вот! Иные люди мне также сказывали: не узнают меня. Да тебе, видно, моя перемена не по сердцу... Ишь, даже жилы на челе напряжинились... А тем, прочим — ничего! Приглянулось даже, что я царем хочу быть, а не дитей малым. Так сказывай, отец протопоп: чего надо? Выкладывай.

— Мое слово короткое. Вижу, подпал ты под власть духа гордыни, духа лукавого. Берегись: я ведь и обуздать тебя могу, аки пастырь твой и отец духовный... И за митрополита самого не укроешься...

— Что грозно так?.. Не очень-то, батька...

— Помолчи! Хошь и царь, да молод ты... Когда твой отец духовный говорит, выслушай, чадо неразумное...

— Батько!

— Говорю: молчи! Али канонов не знаешь? Правила позабыл? Не с царем я говорю, со христианином, с своим сыном во Христе... И власть моя иерейская велика есть над тобой... Пока не сменят меня собором, иного тебе духовника не дадут...

— Недолго ждать, батько...

— Да и я ждать не стану. Сам ранее уйду. Слушай, что теперь я велю...

— Приказывай, приказывай...

— На богомолье ты задумал не в пору ехать...

— Как не в пору? А вон митрополит-владыко и все толкуют: самая пора! И Казань взята, по милости Господа... И сына Он же мне послал, Владыка!.. И с одра болезни Его Промыслом святым я поднялся, хоша многим то и не по нутру... Как же не возблагодарить мне Моего Создателя?..

— Э, ладно там... Держать тебя никто не станет. Все же дело доброе... Поезжай, молись. Только в Пешношский монастырь, гляди, не заглядывай... Нет тебе моего благословения на то... Да и к Белоозеру тащиться не след с дитем малым... Лето жаркое грозитя быть... Заморишь царевича по пути...

— Дядя его, князь Володимир Старицкий, возрадуется...

— Не изверг князь, не Ирод иудейский, чтобы гибели человеческой, смерти дитяти не повинного радоваться. Эй, вздору не толкуй! Подумать можно, что снова стал ты весело ночи проводить...

— Батько!

— Да что, батько? Вестимо, коли поп, так и батька... И то мне сказывали: скоморошества какие-то намедни затевались в терему у царицы. Гляди... Вспомни пожары огненной дни и ночи страшные... Вспомни горы Воробьевские, где свел нас Господь!..

Побледнел Иван, выпрямился, как струна, кулаки сжал так, что ногти в тело вошли! Но звука не издал, слова не сказал, — задумался только.

Видя смущение и перемену в царе, Сильвестр еще смелее стал. Подумал, что устрасился Иван при воспоминании о пожаре...

И твердо, но спокойнее заговорил протопоп:

— Так вот, окромя Песноши да Белоозера — всюду поезжай, даю тебе мое пастырское на то благословение...

— Благодарствуй, благодарствуй! — совладав с приливом ярости, вызванным наглостью Сильвестра, произнес напряженным, рвущимся голосом Иван, весь охваченный мыслью, как бы побольнее унизить и отомстить за все этому старику...

— Ну вот, опомнился!.. И ладно. Я не стану долго журить... Заживем в ладу, по-старому, тебе на славу, земле на пользу! — примирительно заговорил протопоп, приняв за наличную монету саркастическую благодарность Ивана. — А то знаешь, чадо, как было думал я: не послушаешься ты совета моего спасительного — и уйду я, отрекусь от тебя, и отречется со мной благодать Божия от твоего трона...

— Ой, не пужай, отче!.. Уж не делай ты этого! — все тем же загадочным, нервным голосом отозвался царь.

— Да уж не сделаю... Не сделаю... Послужу тебе и царству, пока силы слабые не изменили... Ну, буди здрав... А если тебе что шептуны нанесли про меня, — не верь!.. Я у престола служу церковного... Не покривлю душой... Всякая моя дума — тебе и царству на пользу...

— Ну, вестимо... Как же иначе... И людей вы с Адашевым всюду таких же благочестивых, богобоязненных посадили мне...

— Верно, верно... Сам понимаешь... Ну, Бог тебя храни... Прощай, чадо мое милое... Царь боголюбивый... Знал я, что это все пустое... Наветы ворогов наших...

— Пустое, пустое, батько... А кого ты это «нашими» величаешь?.. Адашева, что ли?..

— Его, вестимо. И много иных, благочестивых бояр и воевод, а не ласкателей и наушников, как иные-прочие... уж покарает их Господь, помяни ты мое слово вещее...

— Не забуду, не забуду, отче... А ты — не серчай... Не уходи еще сам, подожди, поколь погоню тебя!..

— Как погонишь? — насторожившись, спросил Сильвестр...

— Нет, что я?! Пока не поклонюсь тебе за все твои заботы, советы да молитвы горячие, по коим посылаются мне от Бога милости великие...

— Так верно... И еще пошлются, коли покорен будешь мне по-прежнему!.. — довольный неожиданным поворотом беседы, сказал Сильвестр. — А я уж, так и быть, не пожалею кости старые: поеду с тобой по монастырям...

— Поезжай, поезжай, отче... Помолись... Оно не лишнее николи.

— О-ох, не лишнее! Все мы во грехах тонем... И лучшие, как и буи, шататели подорожные... Ну, здрав буди еще раз... Пойду я... Служба скоро у меня...

И, уверенный в легко одержанной новой победе над душой Ивана, спокойно удалился Сильвестр.

Но как бы он задрожал и растерялся, если бы хоть на миг единый мог заглянуть в грудь тому, кто так спокойно простился с ним сейчас и до двери проводил протопопа как духовника и наставника своего!

Выступил из Москвы длинный поезд царский, на версту растянулся, если не на две. Царица — в колымаге с царевичем и двумя боярынями ближними.

Иван — верхом, окруженный блестящей свитой. И Владимир тут же, и Мстиславский-князь. Он до Троицы проводит царя, а там и назад повернет. Адашев едет со всеми... Курбский Андрей, недавно вернувшийся из Свяги, князя, воеводы, которые помоложе, все на конях провожают царя. И азиатские царевичи тут из Думы царской, из приказа ратного...

Владимиру указано из Троицкого посада к себе, в новый удел ехать, в Кострому... Все прежние земли у князя отняты, чтобы оторвать его от прежних слуг и подвластных людей, отнять возможность прежние ковы ковать. Но Владимир, дав клятву в верности, твердо решил держать ее и беспрекословно исполняет, чего ни требует от него Иван.

В блестящем одеянии, увешанном дорогим восточным оружием, едет во главе царской охраны — новый любимец Ивана, Саин Бекбулатович, царевич астраханский...

Царь, подкупленный горячим обожанием азиата, одарил щедро и приблизил к себе Саина, помня важную услугу его в роковой день присяги боярской. И не сводит красивых глаз с Ивана новый его друг и телохранитель, искренно готовый себя отдать на растерзание, только бы оберечь царя.

К вечеру того же дня поезд достиг ворот Свято-Троицкой обители. Как водится, с крестами и хоругвями, со священным пением и иконами встретили царскую семью монахи с игуменом во главе.

Не отдыхая, только стряхнув с себя пыль, прошли все в храм, отстояли службу, приложились к мощам святителя и чудотворца Сергия, отужинали, а там и разошлись на покой по своим кельям.

Наутро ехать собрался было царь, так как далекий путь еще предстоял.

Но недавняя болезнь и слабость, поездка верхом и весенний, опьяняющий воздух дали себя знать, особенно после тяжелой сцены с Сильвестром, перенесенной перед самым отъездом.

Проснувшись, Иван почувствовал, что не может подняться с постели. Голова болит, все тело, особенно грудь, так ломит, что пошевелиться нельзя; а ноги словно свинцом налитые...

— Ой, Господи, никак ты сызнава занедужил, Ванюша? — всполошилась утром царица, видя, как помутнел взгляд мужа, как он лежит, не шевелясь, хотя пора вставать, в церковь, к заутрене идти...

— Нет, ничего... Так просто, старые дрожжи во мне поднялись... Прежняя хворь, видно, след пооставила. Вели-ка прийти кому из спальников да отцу игумену... Повестить его надобно... Да Схарью ко мне... Пусть поглядит: что Бог сызнава послал?.. Ступай... И не



плачь, не тревожь себя. Правду говорю: не чую я худа для себя... Так все это, пустое... Позови же, а сама к Мите ступай...

Исполняя желание мужа, Анастасия призвала очередного ложничего, а сама перешла в соседнюю келью, где помещался царевич, полугодовалый ребенок, со своими двумя кормилками и боярыней-мамкой.

Чтобы не отнимать жены у Ивана и по слабости здоровья царицы, ее уговорили не самой кормить сына, а после четырех месяцев передать кормилкам.

Иван, как оказалось, не ошибся на свой счет: ничего серьезного не заключалось в нездоровье, а все сводилось к общей слабости могучего, но расшатанного горячкой организма.

— Отдохнуть надо денек-другой, а там и снова в путь! — в один голос решили и лекарь царский, и настоятель обители, как большинство старых монахов, сведущий во врачеванье.

И все ушли, желая дать покой и полный отдых царю.

На второй уже день Иван оправился и на завтра решил дальше двинуться.

В то же утро он отправился в собор, к торжественной службе. Отошла обедня, во время которой совершилось обычное моление о царском здравии. Стоявший на «царском месте», направо от входа, у стены, опираясь тяжело на высокий посох, теперь служивший не для символа только, медленно двинулся Иван навстречу игумну, шедшему к царю с просфорой, освященной за здравие государя.

— Бог милости послал, царь-государь! Вкушай во здравие сей хлеб освященный...

— Аминь! Благослови, владычный отче, игумне честной! — склонился под благословение царь.

Когда Иван выпрямился, приняв благословение, глаза его остановились на высоком, худощавом старце-монахе, который стоял позади настоятеля. Явно не русское, смуглое, несмотря на бескровную кожу, лицо, изможденное годами, душевными муками и монастырскими лишениями, поражало каждого своим властным, гордым видом. Темные глаза, усталые и от лет, и от долгой бессонной работы над книгами, все-таки горели умом и неукротимой волей.

Отдав низкий поклон царю, инок стоял и выжидал чего-то.

— А не позволишь ли, государь... Вот брат Максим... Челом бить желает тебе, волостелю, за все милости великие, ему явленные...

Инок снова ударил челом Ивану. Царь, хотя и не видел раньше монаха, сразу понял, что перед ним стоит Максим Грек, пресловутый толковник книг церковных и переводчик их на славянский язык.

Албанец происхождением, Максим всю свою юность провел в путешествиях по Западной Европе, слушал богословие у парижских и флорентийских теологов, изучал языки, историю церкви и минувших царств. Затем, повинаясь влечению к тихой, научной работе, поступил на Афоне в знаменитый тогда Ватопелов монастырь.

В 1506 году отец Ивана, царь Василий, склонный к западной науке и просвещению, пожелал перевести для своего народа на славянский язык многие книги церковные, еще неизвестные на Руси.

Он обратился к патриарху Константинопольскому, прося выслать знающего эллинскую и европейскую премудрость опытного толковника. Патриарх выслал на Москву двадцатилетнего, но ученого Максима. Здесь — Максим Грек явился предшественником Никона, менее его счастливым, но зато и причинившим меньше горя и мук десяткам тысяч людей на долгие годы.

Переводы Толковой Псалтири и других греческих и еврейских рукописей Максим делал сперва на латинский язык, с которого два дьяка-толмача — Димитрий да Васька Зобун — делали новый перевод на славянскую речь.

Но, знакомясь с тем богатством в виде древних рукописей греческих, какими располагало книгохранилище княжеское и митрополичье на Москве и в разных монастырях, Максим заявил:

— В Византии самой, в целой Греции ныне не найдется такого сокровища...

И молодой ученый, охваченный своею страстью, стал изучать славянский язык, чтобы самому уметь непосредственно перелагать подлинник на живую тогдашнюю речь. Дело пошло успешно. Василий полюбил редкого человека на Руси, умевшего душу отдать книжному делу, без всяких корыстных побуждений, — и осыпал его своими милостями. Зависть окружающих, особенно из духовенства, всесильного и тогда, как и в

прежние годы, — не дремала. Когда Максим, сверяя прежние, полуграмотные переводы священных книг с греческого и еврейского на русский церковный, стал исправлять явные искажения, допущенные малосведущими толковниками и толмачами-переписчиками, так же плохо знавшими свой язык, как и чужую речь, — монахи и попы забили тревогу, подняли бояр, народ, заговорив о «новой ереси»... И волей-неволей великий князь должен был заточить Максима. Гордому, неукротимому албанцу особенно повредило одно обстоятельство: при разводе Василия с Соломонией — он принял сторону этой несправедливо обиженной женщины. После пристрастного «соборного» суда, которым руководил явный враг Максима, митрополит Даниил, — монах-толковник за «искажение церковного писания» — как еретик заточен был в Тверской Отроч монастырь, где томился в суровом послушанье больше двенадцати лет.

Но вот умер Василий, умер Даниил... И в 1540 году «еретику-мниху Максиму» дозволено было сперва вместе с монахами появляться в церкви и приобщаться Святых Тайн; а там, по настоянию Сильвестра и сторонников его, перевели Максима в Сергиев монастырь, где жизнь стала легче для несчастного опальника духовного, пятьдесят лет прожившего в России, причем тридцать три года из этого числа — проведены им были в нужде и неволе.

Об одном молил он всех, кого можно, — и Макария, и Ивана, смягчившего его горькую долю: пустили бы его на родину!..

Но в Москве знали, что умный, неукротимо гордый человек мало хорошего, наоборот, много дурного может порассказать на Западе врагам нашим про Русь, про святителей и князей московских... И ни на каких условиях не отпускали Максима, зорко следили, чтобы вести и письма от него не перешли за рубеж — помимо проверки со стороны тех, кому это ведать было предоставлено...

За последние годы особенно стал известен Максим по своей праведной и чистой жизни. Сильвестр, приехавший все-таки в свите царской, — еще с вечера зашел в келью опального инока и долго наедине беседовали они.

Максим знал, что благодаря протопопу смягчена

опала, облегчены последние годы жизни его — и вот теперь, исполняя просьбу духовника царского, пошел на свидание с царем, под предлогом благодарности; хотя в душе сознавал: нет оснований благодарить угнетателя за то, что тот стал меньше угнетать, не давая своей жертве полной свободы, на какую Максим имел все права.

Пристально глядя на Максима, Иван, обращаясь к настоятелю и к нему, заговорил негромко:

— Не за что благодарить меня. Я по справедливости смягчил долю страдальца невинного. Прости, брате Максиме, ежели и дальше не все сделано по прошению твоему. Знаешь, ино бывает, и цари не властны в делах своих...

— Царь царей Единый всевластен есть! — глухим, но твердым голосом отвечал Максим, чеканя каждый звук хорошо знакомой ему, но не родной славянской речи. — А на памяти твоей владычной благодарствуй, — спаси ты Христос!

И вторично отдал поклон Максим царю, с трудом выпрямив потом высокий, но дряхлый и слегка согбенный стан.

— Еще моление мое смиренное есть к тебе одно, великий царь! Не позволишь ли выслушать молитвенника и слугу своего верного? — заговорил он, глядя темными, пронизательными глазами в красивые, но усталые сейчас и мутные глаза царя.

— Сказать что имеешь мне, старче? Милости прошу... Гряди за мною, честной отец.

Через несколько минут Максим сидел наедине с Иваном в келье царской.

Сняв верхнее пышное облачение, в простом легком кафтане, царь полулежал на постели, которая так и не убиралась весь день ради слабости его. А Максим неподвижно, прямо сидел на табурете, тут же вблизи, перебирая четки привычным движением сухой, костлявой руки аскета-отшельника.

— Ну что же, старче честной, толкуй, что хотел! — произнес Иван, видя, что гость сидит, погруженный в какие-то думы, словно и позабыв, где он, с кем он.

— Скажу... Поведаю... — медленно, глухо заговорил Максим. — Ведать надлежит тебе царь: не от себя я пришел, а прислан...

— Вот, вот, спаси ты Христос, что сказал. Я и сам

так мыслю, что не от себя ты. Благодарить меня особливо тебе нечего... Ну, кто ж послал и для чего? Сказывай? Я и сам так-то, напрямую, куды больше люблю. От кого ж ты?

— От Бога!.. Бог меня послал...

— А-а-а, во-о-от что! — протянул Иван. — Ну, это иная, особая будет статья. А я мыслил: люди... Ну говори, говори. Не часто теперь что-то слышно, когда кто от Бога да по-Божьему толкует. Все боле земные помыслы да заботы одолели и друзей, и советчиков моих.. Толкуй же, выкладывай... Не о пути ли моем, о походе по монастырям сказать хочешь?..

— Вот, вот... О том самом...

— Угу...

— Видение мне сонное было...

— Сонное? Не этой ли ночи?

— Вот, вот...

И старик, словно желая магнетизировать собеседника, не сводя с него сверкающих глаз, стал говорить убедительным тоном все, чему вчера учил Сильвестр, поманивший Максима надеждой, что при успехе миссии — на волю, на родину умирать отпустят старика.

— Снилось мне, что вошел я в храмину некую пустую... И се бысть глас из божницы, там стоящей: «Максиме!» Воззрился, вижу: лик Кирилла святого начертан на иконе, весь сияй, яки жив! И глаголет святитель: «Ступай, возвести царю...»

— Погоди, старче! Коли святитель что подведать мне желал, с чего ему было тебе являться? А не мне, царю и помазаннику Божию? Подумай, скажи.

— Неисповедимы пути Божии, сыне! Сказано же: «Да свидетельствуют вси языки, яко есть Господь Бог ваш!» Не одним избранным, но и нам, смиренным мнихам, являет благодать свою Христос... Является во всей славе своей недоступной очам мирским, затемненным...

— Так, так... Ну, коли очи мои затемнены, просить стану у Господа просветления. Дальше реки!

— И глаголет святитель: «Ступай возвести царю, — продолжал монотонно Максим, — что напрасные были обеты его: ехать во обитель мою дальнюю с отрочатем малым и супружницей царицей... Безгодное удумал ехание и поотложить подобает... А равно в Николину обитель на Песконоше да не потщится шествовать... В

урон ему то буде!» Сказано было — и смолк глас чудный... И лик на дщице иконной изгладился, словно не было его...

— Дивный сон твой, старче... И как раз заодно идет с речами иных моих благожелателей и советчиков. А все-таки обета я не преступлю и поеду. И в Песноше побываю, и у Кирилла помолюсь. Далеко оно, правда. Путь тяжел... Да на Бога надежда и упование мое крепкое. Не дурное что: благодарность Богу, молитвы вознести по обету хочу. За что же карать меня или семью нашу царскую? Не истинное твое было видение. И ты, старче, не на добро сбиваешь, а от обета святого уклониться ведешь! Брось лучше... Без сонных видений, по правде живи!

— Всю жизнь я по правде жил! Оттого и жизнь моя тяжка земная... — не то смущенный, не то обиженный возразил Максим. — Авось там, на небеси, Бог воздаст... Да не о нем речь теперь... Что говоришь ты про обет, Богу данный, — так не приемлет Господь обетов, иже с разумом не согласуются... И можно сего ради вящее искупление, жертву Богу принести...

— Чем же, чем, по-твоему, можно заменить данный мною обет, старче честной?..

— А послушай чем... Егда доставал еси так прегордого и сильного бусурманского царства, Казань воевал, — а чаю, тогда и воинства христианского, храброго тамо немало от поганов падоша, кои брашася с неверными крепце по Бози, за православие... Церковь Христову боронили и полегли на поле брани... И тех избиенных жены и дети осиротели, и матери ихние — обесчадели, во слезах многих и скорбях пребывают. И в обители нашей тут же немало их... Твои советники не скажут тебе о сырых, яко не корысть им из того... И далеко лучше, о царь пресветлый, — тех тебе жаловати и устроить, утешающе их от таковых бед и скорбей многих. Собери их к Москве, к своему граду царственнейшему, там приюти, — лучше будет, нежели те обещания, не по разуму данные, исполняти...

— А! И ты уж, отче, о нашем неразумии царском осведомлен?! Ничего, далее говори...

— Не я скажу! Пророк рече: «Господь всюду зрит недреманным своим оком!.. Сей — не воздремлет, не уснет, храняще Израиля!» Бог — везде сый и все исполняет! Всюду молитва доходит до престола Его. Та-

ко же и святой Кирилл, яко и вси праведники. Не по месту их телесного покоения молитве внимают людской, но по доброй воле нашей и по вере чистой... Сам знаешь то, царь... Учен немало и ты от Писания. Еще только примолвлю: аще послушаешь меня, — здрав будешь и многолетен с женою и отрочатем... Аще же нет... Бог весть, что будет!

Скрытая угроза, прозвучавшая в последних словах Максима, сразу так и взорвала Ивана.

— Начал ты за здоровье, старец честной, а свел за упокой! — горделиво заговорил царь. — Что о сиротах и вдовицах сырых тобою говорено — все ладно и не зря было... Не ради обета — по совести моей царской приму и упокою их за кровь, пролитую ратниками нашими под Казанью... А в Песношу и на Белоозеро поеду и поеду же... Как сказал я по своему глупому решению, царскому — так оно и станет, хоть еще два десятка сновидцев и толковников придет ко мне... Прости, старче... Не надо ль еще чего? А эту речь оставим вконец...

— Ин оставим... А боле ничего не надобе мне! Я смертного часу, избавления от земной неволи тяжелой жду... Веришь ты мне, не веришь — твое дело... Мне моя душа дорога!

И вышел Максим от Ивана.

Но тем дело не кончилось.

Сильвестр и Адашев поняли, что вопрос поставлен ребром. Уже не о поездке в тот или иной монастырь идет речь, а о влиянии обоих вообще на царя. Теперь упустить из рук прежнюю силу — никогда не вернуть ее. Иван все старше становится, тверже умом и волей.

И решили сделать последнюю, отчаянную попытку, смело повлиять на суеверный дух набожного царя.

Ранним утром следующего дня был назначен отъезд царский. Но еще раньше, как только проснулся царь, к нему вошли Сильвестр, Адашев, князь Иван Мстиславский, который должен был отсюда на Москву вернуться, и князь Андрей Курбский.

Все они казались взволнованны.

Первый заговорил Сильвестр.

— Прости, государь! Почивать тебе не дали, до зову пришли... Да дело великое... Чудо явилось новое в обители...

— Чудо? Какое чудо? — взволнованный, полуоде-тый еще спросил Иван.

И, приоткрыв дверь в соседнюю келью, куда ушла царица к сыну, сказал:

— Слышь-ка, Настюшка! Чудо, толкуют, новое... Да где? У мощей святителя? Али в пещере его?

— Нет... В келье у старца Максима, государь!

— Максима... Да... Ну, толкуйте: какое чудо? — прикрывая снова дверь к жене, спокойным тоном заговорил Иван.

— Вот, до зари то было, недавно-таки... — начал Сильвестр. — Только монахи ночную службу отстояли, по келиям разошлись... Через два часа — прибегает послушник, что спит в келье у старца Максима, дряхлости и недугов его ради, — и говорит игумену: «Дивное нечто творится в келье у нас. Лег я заснуть. И старец мой уснул же. А вдруг, гляжу, свет у киота, что в углу... Тамо все свечи, словно к празднику, зажжены и лампы неугасимые, все четыре сияют! Сам же старец — сном поκειται... Думаю: он возжег и уснул. Погасил я свечи и лег. А меня ровно толкнул кто через недолгое время. Прокинулся я со сна, — сизнова светятся иконы, зажжены огни... И так до трех раз. Вzbудил я старца, — говорит послушник, — пытаю его: «Ты, отче, свечи и лампы возжег?» — «Нет! — говорит. — Это все возжено Божиим неким произволением... Чую: дух пророческий нисходит на меня... Пойди, позови советников близких царя... Скажу им нечто». Тогда игумен, выслушав, за нами послал, за тремя. А по пути князь Ондрей попался, шел ратников подымать. Мы и его позвали. Приходим в келью к Максиму, а той...

— О моем пути царском и о моих судьбах проричать стал?

— Угадал, государь... Желаешь ли выслушать?..

— Отчего же, говорите... Занятно... Занятно...

— Страшно, а занятого — мало будет, чадо мое! Слушай! Стоит старец, как мел, бледен ликом, трясется и глаголет: «Прорицаю царю: да не противится совету моему и вашу. Бог того не хочет... А ежели презришь, царь, поедешь в путь дальний и на Песношу же придешь... И не послушаешь меня, по Бозе советующа... Забудешь кровь мучеников — ратников, избивенных от поганных за правоверие, презришь слезы сирот и вдовиц, поедешь с упрямством... Ведай о сем, царь, иже сын твой умрет, не возвратится оттуды жив! А послушаешь — все живы и здравы будете!»



Сильно передав пророческие слова Максима, Сильвестр остановился, желая поглядеть, какое впечатление произведут они на царя. Но Иван стоял спокойный, непроницаемый, холодный. Словно даже не слышал того, что говорили ему.

И вдруг обратился к Курбскому:

— Брат твой скончался, я слышал, от ран?

— Скончался, государь... — опешив от неожиданного и неуместного, казалось бы, вопроса, ответил Курбский...

— Семья у него большая осталась...

— Сам ведаешь, государь...

— Да, да... Как думаешь: надо нам позаботиться о них?

— Бог сирот не кинет, государь... А на прочее — твоя царская воля...

— Моя царская воля, конечно... А вон, слышишь, чудеса творятся... Мою царскую волю почему-то изменить хотят. Мних, старец дряхлый, еретик оглашенный, узник былой — видения видит, кои против моей царской воли идут. Он ли мне указ?

— Государь! — опять заговорил Сильвестр. — Не ладно ты молвил. Чем старца коришь? Узами и темничным смирением, и гонением мирским... Помни, и Господа Христа гнали фарисеи лукавые... Отринь гордыню, чадо мое... Ежели мних тебе, владыке, прорицания вещает — не ложны слова его... Помни, царь, еще и почтен от Бога царством отцов его, но дарований не получил, — обязан искать не токмо у совстников ближних, но и у простых людей, умудренных опытом и разумом... Понеже дар Духа дается не по богатству и силе внешней, но по праведности душевной... Давид из пастухов на трон восшел...

— Вот, да, да! — подхватил Иван. — Как мыслишь, Алеша: ныне бы не худо Господу явить такую милость Свою пастуху какому ни на есть? А?

— Никак не думал я о том, государь, и не могу ответа дать! — поняв намек, произнес Адашев, стараясь по-старому поймать взор царя и внутренней, тайной силой внушить ему покорность словам и желаниям своим.

Но Иван упорно избегал посмотреть в глаза Адашеву, даже спиной к нему встал и произнес:

— Благодарствуйте на вестях... А теперь...

— А теперь? — не выдержав, спросил Сильвестр.

— Князь Иван! Ты — на Москву ворочайся, град мой державный блюди... А нам — колымаги подавать... Я верхом не поеду... И на Песношу, в путь трогаться! — громким, повелительным голосом приказал царь.

Молча все отдали поклон и вышли из кельи, где Иван стал быстро в дорогу снаряжаться.

Выйдя на крыльцо, царь подо<sup>з</sup>вал Саина Бекбулатовича и что-то шепнул ему.

— Будь покоен, великий государь!.. — гортанным своим говором ответил царевич. И во весь путь с лучшими воинами так и не отходил от колымаги, в которой ехала царица с Димитрием и мамками его. И потом, днем и ночью, у дверей ли кельи, в саду ли, куда гулять носят царевича, неотступной тенью следит за ним сам Саин Бекбулатович или один из самых надежных удальцов-казаков его астраханских...

Вот прибыл и к Песношскому Николину скиту царский обширный поезд. Здесь, на Яхроме-реке, в которую впадает речонка Песконоша, суда приготовлены, на которых дальше по воде поедет Иван. Из Яхромы — в Сестру-реку, затем — вниз по Волге до места, где в нее впадает река Шексна. А по этой — вверх начнет подниматься флотилия до самого Белоозера, где и Кириллова обитель крепкая стоит.

Последняя искра надежды погасла здесь у сильвестровцев, когда Иван, прослушав молебен в монастырском храме, прямо прошел в келью к ненавистному всем старцу-заточнику Вассиану Топоркову, который в свою очередь горячо ненавидел всех сильных людей при царе, в убеждении, что они строят ковы и гнетут его, Вассиана, не желая видеть вблизи юного царя опасного для себя соперника.

Бывший епископ Коломенский, монах прославленной Иосифлянкой обители, первый друг и советник покойного Василия, Вассиан неуклонно служил той же идее единодержавия, которую так ревностно проводил в жизнь отец Ивана IV. Ни жестокость, ни хитрость не считались дурным средством у обоих, если надо было достичь заветной цели. То, что с трудом прощалось господину, стало всем особенно ненавистно в слуге... И Вассиан сразу испытал на себе всеобщее озлобление, едва умер Василий и княгиня Елена, ценившая монаха.

Возмутили народ против Вассиана; епископ едва не был побит каменьями; потом схватили и заточили его в дальний монастырь...

Вельможи долго мешали юному Ивану вспомнить о советнике, о друге отца, и повидаться с ним. Но события катились своим чередом, и сын Василия пришел за советом в келью к человеку, помогавшему московским князьям ковать русское самодержавие. Напрасно только так волновались перед этим свиданием напуганные силвестровцы... Ничего или очень мало нового сказал Вассиан Ивану.

Вот сидят они один против другого.

Желтоватое, одутловатое, полное лицо Вассиана с редкой, седой бородой и такими же усами — чисто русского склада. Две горькие, презрительные складки глубоко залегли по углам рта, который все словно пробует что-то, словно жует, — старческая, неказистая привычка. Глаза — небольшие, серые, тускловатые, странно выглядят из-за круглых больших очков в медной оправе, с сильно увеличивающими стеклами. Стекла эти особенно выпукло показывают лежащие под ними мешки — подглазины старика. Каждая складка, каждая из бесчисленного количества морщинок, окружающих глаза, так и вырезывается под этими круглыми стеклами. И получается впечатление не человеческой головы, а головы огромного сыча или филина, чему особенно помогают и клочки седых волос, торчащие во все стороны из-под скуфейки...

В пути еще часто думал Иван: «Недаром так опасаются Топорка мои други милые! Он мне даст палку на них... Пооткроет глаза! Посеку я главы непокорные...»

И первым вопросом его было:

— Научи, отче, как бы мог царствовать я отцовским обычаем, дабы великих и сильных своих вельмож и стратигов в послушанье иметь? Не запомнил я отцовых обычаев царских... А в книгах и летописях — что прочесть можно? Да и кроют от меня многое, что им на вред, а мне на науку пойти можно. Ты же видел царство родителя. Поведай, научи меня!

Тягуче, медленно, каким-то бабьим голосом, не заговорил, а скорее зашептал Вассиан, все оглядываясь на двери, не подслушает ли там кто обычаем монастырским. Здесь не отстают и от дворцов, где, как известно, даже стены имеют уши, и очень чуткие.

Брызжа слюной, шепчет шепеляво Вассиан:

— Скажу, скажу... Давно я поджидал тебя... Все продумал. Не взошли бы... Не помешали... Не услышали бы...

— Не бойся! Я не велел тревожить нас. У дверей — моя охрана стоит верная. Чужие не подойдут.

— Ладно, ладно... Они — лукавые... Они подберутся... Да я тебе по тихости... На ухо скажу... Первое дело, еще хочешь самодержавцем быть, — не держи себе ни единого советника, которого считаешь за мудрейшего себя. Понеже сам — ты лучше всех, аки от Бога помазанный. Тако будешь тверд на царстве. Сам про все осведомься... Всему — научись... Знай свою волю и твори ее! Глупых не слушай по их глупости. Еще же будешь иметь мудрейших близу себя — по нужде, поневоле будешь послушен им. И минет самодержавство! И земля узнает, что ты не царь, а сам в послушании у советников.

— Великое, справедливое слово твое, отче! Да ведь и без людей нельзя. С дураками царства не управишь. Дурака и купить, и обмануть легче... как же быть? И вне, и внутри земли врагов не мало... Как же быть без помощников, без советников?

— Э-э-эх, малый... Ты слушай меня! — с досадой отмахнулся Вассиан. — Не говорю: вовсе мудрых прочь гони. Нет! При себе, во дворце, на Москве не держи. Кто самый мудрый да хороший у тебя, того на самую окраину пошли, к самому трудному и опасному делу приставь. Он дело там сделает, а слава на Москве — твоя. Гляди, от Москвы и по всей земле твоя же слава пошла. А как знают люди, что много у тебя мудрых ближних помощников, ино дело сам ты состряпал, а чернь бает: «Тот-то да тот-то за царя дела вершит!» К умникам и прут все. Умники твоей силой и разумом величаются... Казну твою хитят... Вот слово мое какое... Уразумел ли?

— Уразумел, отче... Дай руку твою облобызать за совет драгоценный! Еще и отец был бы ми жив, такого глагола полезного не поведал бы мне!

— То-то... Ты уж молчи, знай... Слушай, коли Бог привел нас свидеться... Я им насолю... Я научу тебя! — с нескрываемой и понятной Ивану злобой шипел Вассиан. — Чем им, подлым, так ты сам лучше чужими руками жар загребай... Землю ихней кровью по-

крепче склеивай. Нищают пусть, грызутся, яко псы, из-за подачки твоей да ярмо тянут, яко волы сельные. А ты всем пользуйся. Ты — хозяин, все твое. Да стравливай их почаще. Да не давай долго на одном месте сидеть, друзьями заручаться, от поборов богатеть. Ты — царь... Твоя вся земля... Твоя рука владыка... Сильные роды разоряй, подлых людей в знать веди. Первые слуги тебе будут. И гляди за всеми... Что тебе надо — ты берешь хозяйскою рукой. Ты одного не разоришь, чтобы иное поправить. А умные советники твои?! Крышу сымают, чтобы окна закрыты! Им гривну надо, а они на целый рубль серебра урону тебе царского причинят. Натворят, напортят, нашкодят... И-и!

И Вассиан от ярости на воображаемых грабителей казны даже закашлялся...

— Правда твоя, отче... И сам я часто также смекал...

— Еще б не правда... И еще от них горе: умный урвал от ума... А дурак увидал — себе тянет. Смерд боярину грозит: не смеешь-де мне перечить! У самого — рыло в дегтю. Тянут оба заодно. И такое решето выходит на место строю хозяйского, что беды! А как сам царь — голова, и награждает он, кого хочет, как похочет и за что вздумает. И лестно такому царю угодить... И слуги боятся его... стараются милости добыть... А не то, чтобы обмануть государя за спиной советников царских купленных...

— Знаю, знаю, отче! Полземли так уж роздано во рогам моим, чтобы против меня же стояли. Отцовские села и города невесть кому дадены...

— Вестимо... И не то еще будет, коли за ум не возьмешься...

— Да берусь уж, кажись... А после твоей беседы...

— Да, да, да... Так их, так их, так их... Скорпиями, бичами трезязычными... Не стоят они лучше! — с пеной на выпяченных, бледных, бескровных губах шипел Вассиан, словно видел уж, как принялся Иван за слуг своих непокорных.

И долго еще читал шипящим голосом старый озлобленный монах свой урок хозяйничанья в земле юному и внимательному царю Ивану, и без того исполненному глухой вражды ко всем окружающим его советникам и временщикам зазнавшимся.

Темнее прежнего было лицо Ивана, когда он вышел

из кельи, сел на большую барку, где был раскинут шатер для всей царской семьи, и приказал двинуться в дальнейший путь.

— Пропали мы! — объявил в тот же вечер Адашев Сильвестру. — Видно, все он узнал... Да и царица не промолчала, поди, насчет попытки моей...

— Пустое! — ответил упрямый протопоп. — Не больно легко и свалить нас, сам знаешь! Видишь, все идет по-старому. Мы — при царе, — и земля цела. Нас не станет — царству поруха! Не может же он забыть наши советы добрые. Всю удачу, какую мы ему несли до сих пор... На забудет он и ночи той пожарной, когда... припугнули мы его, мертвых показали лежковерному... Пожди, все перемелется, на прежнее повернет! Особливо есть тут способ один... Потом потолкуем! Одно знай: не уступлю я!

И оба, успокоясь, легли спать под наметом другой барки, плывущей вслед за царской.

А если бы знал Сильвестр о встрече фрязина с Иваном, конечно, об одном бы Бога стал молить: чтобы забыл государь ту пожарную ночь, когда был так грубо обманут и на шесть лет заключен словно в неволю.

Быстро, весело, с говором и песнями гребцов, а то и на парусах при попутном ветре спускались барки поезда царского сперва вниз по Сестре, а там — и по верхнему плесу Волги, до самой Шексны, где подниматься вверх пришлось, и сразу поездка замедлилась.

Но дни стояли светлые, теплые, совсем майские, хоть май уж минул, да и июнь — тоже почти прошел, и близок знойный июль, месяц первой жатвы, страдная пора на Руси. Здесь, на воде, — даже зной не особенно ощутителен. Прохладой тянет от глади речной, из кустов и камышей прибрежных. Волны плещут, ласкают, баюкают...

Ивану и Настасье казалось, что никогда они еще не были так счастливы и не любили друг дружку, как в эти чудные, теплые, ясные дни...

Избыв войну, болезнь, опасность возмущения боярского, Иван словно ожил здесь. А решимость начать последнюю борьбу с непокорными слугами, нанести решительный, смертельный удар всем похитителям воли

и власти царской — эта решимость придавала словам и движениям юного государя какую-то силу, зажигала глаза особым огнем! И не могла налюбоваться царица порой на супруга своего богоданного. Горячо, беззаветно ласкала его и сама принимала ласки горячие...

Одно заботило Ивана: здоровье ребенка-царевича. Не поверил он печальному предсказанию Максима, но принял его за скрытую угрозу со стороны тех людей, с которыми решил вступить в борьбу.

Наедине с царицей, ночью, он ей шептал не раз:

— Не Бог, сами Селиверстовы да Адашевские припешники, да дружки брата Володимира попытаются извести у нас сыночка, загубить семя наше царское.. Все им надежда: авось не мой род царство унаследует, а ихние пащата...

— Спрятать, увезти куда младенчика, сокрыть бы его?! — заражаясь страхом Ивана, вся побледнев, шептала царица.

— Куда спрячешь тут? На воде как на ладони. А недруги: поп и Алешка, видишь, не зря увязались... Вот приедем на Москву, иное дело... Там, покаместь Бог нам еще сына али двоих не пошлет, — мы энтаго укроем... Подменим, што ли, до поры... Чужого возьмем. Своего спрячем... Убьют подменного, отравят ли — не беда... Пройдет время, а я и скажу им: «Што, аспиды! Промахнулись?.. Вот сын мой единокровный... А то — чужак был! Напрасно брали грех на душу, проливали кровку детскую!» Ну а до тех пор надо нам с тобой личину носить. Ласково принимать своих недругов...

И Иван залился в полутьме неслышным, довольным смехом, предвкушая наслаждение видеть, как изменятся лица у одураченных, изловленных на злодействе врагов...

Но беда была ближе, чем ждали ее. За плечами, не за горами стояло горе царское.

Второй день уж плывут струга, каторги царские вверх по Шексне; второй вечер румяный догорел, вторая ночь спустилась, тихая, теплая, звездная и бледная в то же время, одна из северных белых ночей. Так пришлось, что поблизости, по берегам, — ни одной обители, ни городка не видно попутного. Прямо спустили якоря с кормы у всех судов, причалили под тем

берегом, который покруче. Словно стеной стоит темный, кудрявый от лозняка приречного берег и охраняет путников от свежего заходничка — ветерка, гуляющего ночью по воде и по степи...

Весело было костры разводить, яства варить рыбные да грибные, всякие постные... Петровки еще не отошли. Еще веселей прошла вечерняя трапеза царская прямо на траве-мураве зеленой, где ковры и скатерти браные раскрыты, камчатные, да подушки мягкие разбросаны, чтобы можно было раскинуться поудобнее за походным столом, на сырой земле-матушке... Кончили ужин. А все в шатер не уходят Иван с Анастасией: глядят, как девки молодые из провожающих царицу, сенных, — по лугу бегают, в горелки играют, песни поют звонкие... А эхо им из рощи заречной темной так и откликается...

Царевича с кормилкой — раньше на барку услали, потому как ни тепло, а воздух луговой. Младенец береженный, холеный, из горниц ночью ни разу вынесен не был. Побережь надо.

И сидит кормилка у колыбели младенца, скучает в шатре обширном, на опустелой барке, порою — песню мурлычит себе под нос, порою — не то дремлет, не то о чем-то смутно думает...

Душно в шатре, хоть и приоткрыта пола одна, где вход. Полусвет в шатре, хоть и мерцают лампы перед походным киотом в углу... А в приоткрытую дверцу — даль виднеется неясная, ночная, и небо голубое, на котором слабо выделяются звезды белой ночи, одной из последних в этом году.

Недолго оставалась одна кормилица. За стенами шатра слышались шаги. Миновав сходни, которыми барка соединена с берегом, кто-то зашагал по настилу судна... Вот в дверях — темная фигура обрисовалась, и быстро вошла сюда боярыня Курлятева, жена князя Димитрия, ближайшего друга Адашева и протопопа. Никто не помешал, да и не обратил внимания на боярыню, ехавшую в свите царицы; никто не спросил, куда идет она и зачем.

— И, чтой-то за духота какая в шатре?! — заговорила Курлятева, чуть вошла. — Так и знала я, что истомно тебе здесь, Марьюшка! Вот медку попить принесла.

Сразу просияло широкое, простое лицо кормилицы,



здоровой, мощной телом, но недалекой крестьянки из дальних вологодских волостей, где бабы самые могучие.

— Вот, дай Бог тебе, боярыня... И то, думаю: чево бы мне? Сама не разберу, а словно не хватает чево... А то испить желалось... Апосля ужина... Мед оно ничего и для младенчика, храни его Христос...

— Вестимо, ничего! — подтвердила боярыня, глядя, как жадно припала баба к сулее с медом. — А скажи мне, Марьюшка, зубки-то режутся ли у царевича нашего, сокола ясного? Чтой-то, слышно, словно блажить он стал по ночам?

— Резаться — режутся, — отдуваясь и отирая губы, отвечала кормилка, — а только ен смирный... Не блажит. Вот и таперя: не спит, лежит в колыске — и хошь бы што...

— Ну, быть не может, чтобы зубы резались и не блажил. Мои ребята по ночам и спать мне не давали... Царевичу сколь много времени? Восьмой месяц, никак? Може, и запоздает с зубками-то... А тебе бы надо поскорей царя порадовать. Знаешь, что бывает на зубок?

— Как не знать? — ухмыльнулась кормилица. — Не то у вас, бояр, и у нас, за первый зуб — кормилке подарочек... Это уж...

И, не кончив, она вдруг громко, сильно зевнула, словно сон напал на бабу.

— Подремать манится? — догадалась боярыня. — Ну, я пойду... Только все же дай взглянуть... пальцем пощупаю: зубка не нащупаю ль? Вот тебе и обновы... — не сводя глаз с осоловелой бабы, негромко проговорила Курлятева.

Подойдя близко к младенцу, она наклонилась над ним и прямо в полураскрытые губки сунула ему свой мягкий, полный палец, который блестел, словно был намазан чем-то. Почуввав прикосновение, малютка втянул в рот палец и стал сосать его с такой охотой, как будто тот был очень сладок. Незаметно боярыня и другой свой палец дала пососать царевичу, приговаривая:

— Агу-агунюшки... Вот увидим сейчас: нет ли зубка-зубочка у нашего Митеньки, у красного солнышка?

В то же время она искоса поглядела на мамку.

Та, вдруг странно захлопав глазами, так и упала на подушки, лежащие на скамье, где сидела до сих пор, сторожа колыбельку.

Внезапный и глубокий сон овладел усталой женщиной. Сонное зелье, всыпанное в мед, сделало свое дело... Мгновенно изменилось приторно-сладкое выражение лица у Курлятевой. Она огляделась. Кругом — все тихо. Малютка, проглотивший что-то, чем были намазаны данные ему пальцы, тоже странно вздрогнул, вытянулся, закрыл большие, ясные глазки и стал глухо хрипеть, словно задыхался, а чрез несколько мгновений и совсем затих.

Тогда Курлятева вынула его из люльки и лицом вниз подложила совсем под бок спавшей мертвым, неестественным сном кормилицы, нажавшей теперь всем телом на Димитрия. Под личико ребенку Курлятева подложила угол мягкой подушки, лежащей тут же; еще раз огляделась, выскользнула из шатра и быстро перешла по сходням снова на берег, а по дороге — швырнула в воду сулею, из которой угощала кормилицу.

— Заспала кормилка младенчика — да и только! Никто иного и не помыслит... А что я медом угощала ее — не скажет от страха дура, если раньше еще ее царь сонную не пришибет! — подумала Курлятева, незаметно присоединяясь к общей группе боярынь царицыных, стоявших и сидевших на лугу.

Никто даже не заметил ее отсутствия, которое длилось десять-пятнадцать минут. С лишним через час — к стругам потянули все, на покой стали укладываться. Анастасия первая поторопилась к Димитрию. Видит: спит кормилица крепко... Тяжело, громко дышит во сне.

— Экая Марья наша! — обратилась царица к боярыне, шедшей за нею. — Спит, и никого при ней... Выпасть может из люльки Митенька!

И быстро подошла к колыбели мать. Что это? Не обманывают ли ее глаза? Колыбель пуста... Кругом — нигде не видно маленького...

Задражав, с отчаянным воплем кинулась к мужу Анастасия, восклицая:

— Унесли! Украли. Митеньку нашего вороги унесли!..

Пока Иван, обезумевший от безотчетного страха, от

воплей жены, добежал до колыбели, окружающие царицу боярыни успели открыть, в чем дело.

— Где? Кто смел тронуть? — закричал, подбегая к колыбели, Иван. Он бы ужасен, с бледными трясущимися губами, с глазами, чуть не вышедшими из орбит. Царица не поспела за ним, она лежала на палубе и билась в рыданиях. Одна из боярынь, вся дрожа, не говоря ни слова, указала царю на скамью.

Там темной грудой возвышалась спящая, несмотря на общий переполох, кормилица, а из-под боку у нее белело тельце прижатого, похолодевшего уже царевича с посинелым, мертвым личиком.

Поняв, в чем дело, Иван кинулся к спящей бабе, схватил ее за горло, сдернул с малютки и продолжал держать и потрясать, пока кто-то подхватил Димития и опустил в колыбель, пока огненные круги не заплясали в глазах Ивана... Он отшвырнул полуоудушенную, но еще не совсем проснувшуюся бабу прямо наземь, а сам припал головой к трупу сына и безумно зарыдал, не находя слов, не видя исхода своей муке, своему отчаянию... И только одну мысль мог уловить он в своем смятенном сознании, один вопрос жег его страдающую душу:

— Кто это? Кто? Бог ли, за то, что не послушал я старика-монаха, или они... враги мои сумели выполнить угрозу жестокую, дьявольскую?

Пришедшая в себя кое-как кормилица — словно остолбенела, когда ей сказали, что случилось, как во сне она заспала царевича.

До утра, до допроса ее оставили под караулом одного из гребцов — на корме судна. Но как только заснул этот случайный сторож, непривычный к своей новой должности, — баба поднялась с места, где лежала и выла, колотясь о палубу головой, огляделась кругом безумными глазами, в один миг грузно слетела вниз, через борт барки, разбив зеркальную гладь реки, и, после короткой, невольной борьбы с течением, — скрылась навек под водой.

Легко вздохнула Курлятева, узнав об этом поутру. А Ивану так и не удалось решить загадочного вопроса: случай или злодейский умысел людской унес у него первого сына?.. Анастасия — ни о чем не думала. Она горевала и металась в тоске. Усопшего царевича послали в Москву, где и положили в ногах у деда, в усы-

пальнице царской, в соборе Архангельском. Объезд царский продолжался своим чередом, только похоронным он стал теперь, а не тем веселым, каким был раньше... Суеверный, тяжелый страх наполнил снова душу Ивана по отношению к двум прежним любимым советникам: Сильвестру и Адашеву. Любовь не возвратилась, как никогда не возвращается она обратно... Но им и не надо было любви царя. Довольно того, что он тих, мягок снова стал... Совета просит у них... Что и как думает этот затравленный человек? Собирается ли мстить в будущем, или разбит он последним ударом бесповоротно и навсегда? — не желали задаваться такими вопросами оба временщика.

— Раньше слушал... Заупрямился, а ныне — снова покорен стал... И хорошо. Надо стараться каждый удобный миг использовать и власть свою закреплять. А там, что дальше будет, — не все ли равно? Было хорошо. Должно еще лучше стать!

Так думали они, так и дело вели, стараясь глубже пустить корни, больше приверженцев насаждать во всем царстве, на всех местах и во всех углах земли.

А Иван, утешая горящую жену, тихо-тихо шептал ей:

— Потерплю еще... Потерпим, милая, чтобы и нас не сжили со свету. Заклятиями — жизни тебя не лишили бы. Страшно нам... Тяжко нам... Но страшно же мстить я стану нечестивцам, кои царя, как узника, держат! Клянуся: отомщу...

Содрогнулась Анастасия, так свиреп был вид у мужа, так сурово звучал его голос в минуты эти клятв...

Не успели еще на Москву вернуться царь молодой с царицей своей, чтобы там малютку-сына отпеть, а Рок и утешение им послал. Анастасия в Переяславле, где совершили преклонение у мощей св. Никиты, почувствовала, что снова будет матерью. И с каким-то пророческим видом она сказала мужу:

— Вот увидишь, Ваня, сына я тебе принесу другого... И уж сбережем мы его... Никто, никто у нас его не отымет!

Она угадала: в посту Великом следующего года, почти на Страстной неделе родился сын у них, и в честь отца — назвали его Иваном...

## ГОДЫ 7068—7071 (1560—1563)

Оправясь от ошеломления, от страшного удара, каким явилась смерть Димитрия-царевича, Иван медленно, осторожно, но верно стал приводить в исполнение свою клятву, стародавний, заветный план об освобождении ото всех прежних угнетателей, пестунов-советчиков, явных друзей и тайных врагов или просто — людей, которые могли быть опасны ему и царству, если не сейчас, так в будущем.

Обстоятельства так сложились, что он мог надеяться на полный и скорый успех.

Извне — росла и крепла власть царя Московского и всея Руси.

Через три года после взятия Казанского сильного юрта, — взято было почти без выстрела и царство Астраханское, где, как и в Казани, сидел давно московский ставленник, царь Дербиш-Алей. Вся Волга, эта широкая торговая дорога из варяг в греки и на богатый Восток, — стала русской, после небольших сравнительно колебаний. Астрахань — была много слабее Казани и держалась лишь с помощью сильных ногайских племен, кочевавших в степях за Волгой, и при поддержке хана Крымского, близкого родственника и единоверца Дербишу.

Сгубило юрт Астраханский то же самое, от чего рухнула Казань: вечное несогласие и распри отдельных родов и сильных князей мусульманских, постоянная уособица между отдельными владельцами, некогда губительная и для Руси в ее удельный период. И на собственном уроке научилась Москва, как пользоваться этим недугом у других, у врагов своих... Подарками, подкупками, привлечением ко двору московскому жадных, озлобленных и хитрых азиатов-претендентов, поджиганием страстей, подготовкой междоусобиц — Москва приводила к тому, что ногайские орды заливали степи своею собственной кровью и забывали об Астрахани... Сильнейший князь ногайский Измаил, приверженец Москвы, закупленный ею, то и дело вынужден биться и враждовать с племянниками своими, детьми зарезанного им родного брата Юсуфа. Те в свою очередь по целым неделям, как озверелые, режутся целым пле-

менем с племенем детей другого князя, Шиг-Мамая, устилая десятками тысяч трупов родную землю вокруг своих кибиток и кошей... Понятно, когда в 1554 году двинулся на Астрахань тридцатитысячный, сильный отряд русского войска, ни ногайцы-соседи, ни далекий Крым, которому Русь тоже много успела наделать хлопот, никто не пришел на помощь царю астраханскому Ямгурчею, все жены и дети которого попали в плен. Не помогли ногаи через два года и Дербишу — царю, посаженному на трон москвичами, но задумавшему изменить... 25 сентября 1556 года, когда Иван, по обычаю, праздновал день св. Сергия у Троицы, прискакал гонец и объявил, что атаман вольских казаков, Ляпун-Филимонов, выгнал из Астрахани-городка изменника — царя Дербиша, вошедшего в сношения с крымским ханом, — и воеводы московские Черемисинов и Татаринов со стрельцами своими да вятские ратные люди с главным воеводой Писемским вошли в опустелую столицу царства, засели там, укрепили «город», то есть крепость, и погнались потом за царем, который, несмотря на поддержку, полученную из Крыма и ногайских степей, не решился стать против русских. Сперва стрельцы и казаки пожгли всю флотилию, все струги астраханцев, спрятанные в плавнях, в устьях реки, а там в одном сражении окончательно разбили войско хана Дербиша, и пала Астрахань навеки как юрт мусульманский, возродясь как московская «береговая» земля, давая широкий выход в заманчивое, загадочное море Хвалынское...

Все Прикавказье, Чечня, Кабарда — были, в сущности, завоеваны бескровным образом в тот самый миг, когда Астрахань стала русским, крепким передовым городком.

И потянулись с тех пор на Москву разные князьки кабардинские, и чеченские, и шамхальские... И хивинские, и бухарские послы... Одни — принять веру московскую желают, чтобы сильнее поддержку оказал им новый, могучий сосед. Другие — просят не закрывать устья Волги для купцов из Бухары и Хивы, только и богатых, что торгом, который творится при помощи великого Волжского пути.

И замирение Казанской земли — как по маслу пошло. Теперь — нет уж поддержки тамошним племенам нагорным и лесным от враждебной Астрахани, от коче-

вых ногайцев. Все сплошь Русью стало! Только Крым еще мутит, орды высылает по-старому, города жжет, полон берет! Ну да с ним — дело впереди. Раньше — поближе, под боком надо управиться. Но и Девлет-Гирею, приятелю московскому, султану Крымской орды — досталось по пути порядком... Земля-то русская уж двинулась! Под Казань ведь было до трехсот тысяч народу собрано...

И в течение трех-четырех лет не только успевали воеводы русские отражать все набеги крымцев, но впервые за все существование этой орды — русский конь ступил за рубеж Перекопский, в заповедные Мамаевы луга, куда воевода Шереметев двинулся со своими полками в 1555 г. Девлет, желая предупредить удар, опередил русских и кинулся было на Тулу. Здесь ждал его сам Иоанн.

Весь обоз хана достался Москве: шестьдесят тысяч коней, двести чудных аргамаков, тридцать верблюдов с вьюками и многое иное. За Тулой — столкнулся хан с Шереметевым и только был спасен тем, что тяжело раненный Шереметев свалился с коня, а русские войска, лишенные воеводы, растерялись.

Но, даже одержав решительную победу над этим сильным вражеским отрядом, Девлет не стал ждать иных встреч с московской ратью и быстро, по семидесяти верст пробегая каждый день, ушел назад, в крымские степи.

На другой год, опережая Девлета, решившего отомстить новым набегом, рать московская показалась у Азова-городка, у Ислам-Кременя, оттуда все разбежались от незваных гостей. Очаков — сдался. И только когда узнала горсть москвичей и казаков, которая, собственно, одною удалю могла достичь такого успеха, — что идет на них «большой» царевич крымский, колга<sup>1</sup>, с сильной ратью, — вернулись победители той же дорогой, как пришли, по пути еще побив немало неверных мусульман, даже и турок, страшных в то время всему миру...

Устрашенный Девлет отложил свой поход на Русь, отговариваясь тем, что «мор в его земле»... Но и Москва не раз отговаривалась тем же, если надо было воевать, а духу не хватало.

---

<sup>1</sup> Наследник трона.

Таким образом, в первый раз казаки и Москва появились в турецких крымских пределах, познакомились с течением Днепра до самого моря. А уж где Русь побывала — туда скоро опять понавещается. И в 1557 году смельчак, хозяин всей Украины, староста Каневский, князь Дмитрий Вишневецкий, вступив на службу Иоанну, поставил на Хортице-острове «город» — крепостцу против Конских вод, у самых крымских кочевьев, да так там устроился, что писал своему новому господину, царю Ивану: «Приходил на меня Девлетка со своими крымскими людьми. Двадцать четыре дня к Хортице — городку моему приступал, так и ушел ни с чем, с одним большим стыдом и уроном. А пока я буду сидеть на Хортице — и хану Девлету никуды войною ходить нельзя и земель вашего маестата<sup>1</sup> тревожить ему не мочно!»

Конечно, через полгода Девлет вернулся не один, а с турками и с волошскими союзниками, — и Вишневецкому пришлось уйти. Но, получив Белев от Ивана, князь Дмитрий много крови и здоровья испортил крымцам во благо Москве.

Уже в 1558 году запросил мира грозный крымский хан, но не добился ничего, так как тон его грамот был слишком неприятен для русского уха.

Собрав сто тысяч войска, Девлет решился на крайнее дело: зимой пошел на Русь. Взманили татарина вести, что путь свободен сейчас на Москву. Царь, говорили, со всеми полками в Ливонии, Ригу воюет и беззащитен остался весь московский рубеж... Но когда полчища крымские вступили уже в пределы соседей и султан Магомет-Гирей, посланный отцом во главе войска, убедился, что страшные для татар воеводы: князь Вишневецкий и боярин Иван Шереметев ждут их со своими ратниками, один — в Белеве, другой — в Рязани, снова ринулись назад крымцы и тысячами людских и конских трупов — так и отметили зимний, тяжелый путь, каким вернулись на родину жадные ордынцы.

Весной 1559 года Даниил Адашев по Днепру, а Вишневецкий по Дону опять навестили Крым. Первый — совершил подвиг большой важности: выплыл на лодках в самое устье Днепра и взял там в плен два больших турецких корабля. Высадясь в Крыму, Адашев со своими полками прошел по берегу его такой же опустошительной грозой, какой не раз проходили

---

<sup>1</sup> Величество (титул).



крымцы по русской земле. Потом повернул и поднялся до пределов московских, следуя течению Днепра. И все время, на известном расстоянии, шел за Адашевым Девлетом, не решаясь вступить в бой.

Тут волей-неволей пришлось Девлету заключить с Иваном мир, на условиях, удобных для Москвы.

Горою встали ближайшие советчики царя.

— Не надо мира! — твердили силвестровцы и адашевы, которым трудная война, захватившая Ивана, развязала бы руки во внутреннем управлении.

— Добей неверного хана! — настойчиво твердил протопоп. — Пусть воссияет Крест православный на месте поганого полумесяца.

Воеводы и бояре, которым крымская война сулила много выгод и почестей, твердили то же самое. Но Иван — мягко, ласково, где удавалось ему, — словом, всячески стоял на своем:

— Дадим хану мир. Иные дела на череду есть!

И мир был заключен.

О чем же думал юный царь? Что замышлял Иван?

Да, он не «думал» даже, а видел, всем существом своим чуял нечто иное, что теперь делать пора.

От рожденья заложен был в нем дар правителя, хозяина земли. Недаром также часто и подолгу зачитывался Иван книгами и хартиями разными, где отмечены были деяния прежних царей, недаром часами разбирал он бесконечные столбцы и записи различных посольских приказов, где толковалось о сношениях Москвы с Литвой да с Польшей, с Крымом да с султаном турецким, могучим и грозным врагом; где отмечены были переговоры и договоры с былой данницей, Ливонской землей, с соседней Швецией, с датскими людьми и с королями да императорами Запада. Живым, внятным языком говорили царю о былом молчаливые хартии.

— Книги — зело много дают, а себе ничего не просят... Не то, что люди! — твердил нередко царь...

Во все вникал, все запоминал пытливый ум Ивана, все впитывала его чуткая, горячая душа...

Пороку после такого чтения казалось ему, что он как на крыльях поднялся высоко-высоко надо всей землей русской... И видит ее... И видит всю половину «яблока земного», где, наряду с иными царствами, и Русь необъятная синееется...

Словно живое что-то, лежит она, клубком большим

свернулась, как еж, а леса — иглы ежа... По краям у клубка того — зазубрины выщерблены... Это — чужие земли в русскую врезались углами. Все царства — к морям западным хоть одним концом придвинуты... А первая зазубрина московская — берег моря Варяжского, особенно — Ливонский рог (залив), который искони — русским был, а теперь — чужой. И ближе, скорее всего к нему можно придвинуться. Родовые права — за Иваном... Сил на борьбу тоже хватит. Легко разбить расшатанные устои орденской власти, теперь — особенно.

Вон толкуют: знатные — тонут у них в разврате и лени, а чернь — на господ глядя, тоже испоганилась. Некому будет и отпору дать, если Москва насядет хорошенько. А тогда — богатый Запад, с его сокровищами знаний, с приливом новых сил в виде ученых и искусных людей, — все это станет доступно для Москвы. И не по одним преданиям, а истинным блеском Москва, как Третий Рим, — восстановит картину всемогущего Древнего Рима, владыки... Покончив с ливонами, — с ближней и легкой добычей, — можно будет и за Крым приняться, от которого широкие степи и быстрые реки отделяют московскую Русь... Крым — не Казань, что под боком под самым у Москвы лежала. Надо широкую дорожку по степям проложить, по которой не текла бы русская кровь, а двигалась бы сила могучая, словно лапы, выпущенные из клубка. И этими лапами легко будет захватить жемчужину дорогую: столицу и власть хана крымского на гористом полуострову. А там? Раньше ли, позже ли... Но вся Литва теперешняя, которая издавна лежит на землях — вотчинах предков Ивана, и Киев святой, и дальний Краков, и Полоцк, удел древний, и Подолье, и Волынь вся, и Витебский городок... все должно вернуться под сень Мономахова скипетра, откуда вырвано было это наследье Ивана в разные годы военной грозы.

Польша? Тогда ее тоже осилить будет нетрудно, без поддержки литовской... Салтан — в Цареграде? На своем ли он троне сидит?! Нет! На троне Палеологов. А мощному царю всея Руси и крулю Литовскому и Польскому — смело западные владыки помогать станут против всеобщего тирана и врага — султана турецкого... И тогда корона Византии тоже...

Но тут обрывались мечты Ивана, так как от волнения даже дух перехватывало!

Прежде всего, значит, надо с ливонами, с люторами злыми покончить... Да тоже умненько. Они, вон, куда чище москвичей живут. Их повоевавши, не сведешь по-лоном в Москву. Надо и милость им оказать: по местам оставить, с русскими перемешать, чтобы те учились от соседей чистому житью. Пожалуй, шведы помешать захотят. Да те — не страшны! — решил Иван. И он был прав.

Когда в 1558 году крымцы напали на Литву и Польшу, Иван поторопился заключить с этими соседями сносный мир, чтобы все силы направить в Ливонию. И при этом допустил даже, чтобы ляхи не поминали в грамоте его титула нового царского, которого Литва никак не желала давать Ивану...

Старик Густав Ваза, король шведский, еще в 1554 году, придравшись к пограничным недоразумениям, затеял было войну с Москвой. Он, как и Литва, хорошо понимал, что нельзя позволить Москве проглотить Ливонию и навязать себе таким образом опасного соседа. Но сил у маленькой Швеции хватило ненадолго. Русские так опустошили край под Выборгом, столько «полону» нахватили, что плененного шведа продавали за алтын, а шведку-девушку — за гривенник, предавая их этим в вечную кабалу.

Орешек-городок между тем, теперешний Шлиссельбург, — упорно не сдавался осаждающим его шведам. Ни Польша, ни Ливонский орден не помогли своему естественному защитнику, и скоро Иван получил от Густава грамоту с униженным «челобитьем о заключении мира»... Мир заключен, унижительный, тяжелый для шведов. Да еще посмеялся Иван над стариком. Когда шведы стали просить, чтобы вперед не новгородские наместники, а сам царь вступал в сношение с их королем, им отвечали от имени царя:

— Как было из века — так и будет. Царю Московскому — неуместно сноситься с вашим государем. Первое: пригородки новгородские, Псков и Устюг, — много больше города королевского вашего, Стекольны<sup>1</sup>. Второе: наместники новгородские, один — князь Федор Даирович, внук царя Казанского, Ибрагима. Другой — Булгаков, Литовскому королю брат в четвертом колене. Князья Михайло и Борис — Суздальские

---

<sup>1</sup> Стокгольма.

князя... А про вашего государя не в укор скажем: какого он роду? Мужичьего... И как животиною, скотом торговал, и как в Свейскую землю вашу пришел недавно, — всем оно ведомо!

Стерпели и такие обиды прижатые к стене шведы...

В договоре с ними особенно выразилось желание Ивана залучить к себе ученых и мастеров западных, которых ревниво не пропускали ливонцы на Русь.

Покончив с этим препятствием, царь взялся за Ливонию.

Началось дело с требования уплатить старую, позабытую почти за полвека дань, которую Дерпт — Юрьев по-старому — еще в 1503 году обязался платить Василию Иоанновичу. Требуя этой дани, Иван, кстати, упрекнул ливонцев в отступничестве их от папы, от католичества и в приятии «Лютерской злой ереси».

Подчеркивая этими словами свое звание «главы христианства», Иван дальновидно заручился с тем сочувствием всех католических владык в походе на западное, хотя и небольшое, государство.

Три года сроку выпросили ливонцы, чтобы собрать эту дань, но, конечно, ничего не дали Ивану, а только постарались укрепиться, нанять побольше ратников во всех концах Европы и ждали войны.

Война разразилась в 1558 году с ужасной силой.

Еще в ноябре 1557 года подошло большое, грозное войско московское к границам Ливонии. Сорок тысяч ратников под начальством Ших-Алея, Адашева, Саина Бекбулатовича, Михаила Глинского и Данилы Романыча Захарьина ждали знака, чтобы войти в пределы врага. Особенно страшны были татары Ших-Алея, мордва, черемисы и черкесы пятигорские, которыми начальствовали царевич Саин Бекбулатович и князь Темрюк. Запад знал, что значит нашествие этих диких полчищ!

В декабре приехали ливонские послы к Ивану и стали молить:

— Возьми дань 45 000 ефимков, — только не начинай опустошительной войны!

Иван знал, что послы приехали без денег. Эту сумму обещали на месте им собрать богатые купцы московские, заинтересованные в торговле с Ливонией, которая потом бы и вернула долг. Царь согласился принять выкуп и не начинать войны; а в то же время под страхом смерти запретил русским купцам собирать

деньги для послов пережившего свою мощь Ордена Меченосцев. Исход понятен. Послы вернулись домой со стыдом, не имея возможности исполнить посулу; а в январе 1558 года вся лавина московской рати хлынула из Пскова на Ливонию. И где прошла она широкой полосой на двести верст, там ужас, смерть и кровь остались по ее следам; а вместо людных, богатых сел и городов лежала мертвая пустыня. В феврале вернулись полки назад, к Пскову. В мае была взята сильная Нарва. А перед тем послы ливонские вручили Ивану в Москве 60 000 недоимки и военных издержек, словно плату за разгром, произведенный русской ратью в их родной земле.

Начались переговоры о мире, причем особенно старались московские купцы, выручавшие много прибылей от заморского торгового дела с Ливонией. Они задаривали думных бояр. Те влияли на царя. Иван стал склоняться к миру. Между тем уже до двадцати городов досталось Москве в завоеванных землях Ордена. В июле пал сильный, богатый Дерпт, древний Юрьев, отчизна князя Ярослава, или Георгия Владимировича, по христианскому имени его...

Только Ревель, старая Колывань, устоял... Но в январе 1559 года новая рать московская, теперь уже в 130 000 человек, также язвой моровой, ураганом смертельным прошла в два края по немецкой земле: до моря Варяжского и до прусских и литовских границ, «не щадя младенцев во чреве матери», как пишет летописец...

Дрогнул Орден. Бессильная Швеция не могла помочь. Обратились меченосцы к Литве и к Польше. Начиная с 1549 года десять лет у Москвы — ни мир, ни война с Речью Посполитою. Все сводилось к перемириям, которые перемежались мелкими схватками. Короли литовские и польские особенно ясно понимали значение Ливонии для Москвы — и всеми силами всегда помогали Ордену против русских завоевателей... Поляки постоянно подзуживали Орден против «москалей». Сигизмунд-Август писал королеве английской: «Если нарвская навигация для Москвы не будет закрыта, беда грозит! Царь силен и всевластен в земле. А из Нарвы везут ему оружие, прибывают искусники, с помощью которых Иван покорит всех врагов».

И, конечно, магистр понимал, что в случае крайно-

сти Польша и Литва станут за него, а не за Ивана, как желал последний. Пока Иван слал послов и «задирал», склонял Литву на вечный мир, чтобы тогда покончить сразу с Орденом, магистр и правительство Ливонское в сентябре 1559 года успело заключить с крулем Сигизмундом-Августом в Вильно такой договор: круль обязуется защищать Орден от Москвы, а Ливония — в лице архиепископа и магистра Кетлера — отдала крулю своих девять волостей. После войны эти волости Орден мог получить обратно, уплатив 700 000 польских гульденов своему бескорыстному защитнику — крулю...

В таком положении застал царя Ивана конец 1559 года. Это было по царству. В семье все тоже шло не очень худо.

Анастасия сдержала обещание: кроме Вани-царевича, которому шел уже седьмой год, подарила она царю через год дочь Евдокию, а в 1558 году второго сына — Федора. Только сама, от тоски ли по Димитрию, от опасений ли за жизнь свою и мужа или от чего иного, но стала хиреть и таять царица на глазах у всех. Не слышно больше смеху ее веселого, напоминающего воркованье голубиное. Пропал румянец на щеках. Только огоньками — пятна его порой вспыхивают и гаснут тотчас снова. Но стоит войти Ивану в терем царицы — и оживляется она, шутит, улыбается ему, про детей рассказывает... Мало ли может мать про детей рассказать?! Вон с Ваней, когда ему двух лет не было, явное чудо случилось.

В полдень после трапезы спали все в терему. Ваня на руках у няньки-кормилки сидел в горнице, на скамье. На той же скамье, в углу, стоял невысокий кувшин оловянный, крышкой покрытый, в котором хранилась святая вода из колодца, что у мощей Никиты-верижника, в монастыре Переяславском зачерпнута. Тут же сидела и боярыня — вдова благочестивая, ближняя слуга царицы, Фотинья. Дремлет мамка, баюкающая царевича... А Фотинья и вспомнила: на днях подарил ей монах, пришедший из того же Никитина монастыря, крестик белый небольшой, словно из камня какого мягкого резанный и сказал:

— Вот, госпожа честная... Есть у царя сосудец некий с водой из колодезя нашего, монастырского. Ежели хочешь от царя милостей великих — окуни сей крестик в ту воду потайно... Чтобы не знал, не видал ни-

кто. И что задумаешь в сей час, все исполнится. Только, храни Господь, чтобы никто не знал о погружении. Крестик сей резан из камня при гробнице святителя. Ты сверши с верой, как говорю. А что будет, увидишь.

Взяла вдова крестик, схоронила на груди. Щедро одарила монаха.

Теперь сидит и думает:

— Как раз — пора. Мамка дремлет, не видит... Суд тут же стоит...

Приподняла крышку и, сняв с гайтана ладанку, в которой крестик заветный лежит, взяла, окунула его в воду. Что за чудо? Вскипела вода... Испугалась Фотинья, руку отдернула и крест совсем уронила в кувшин. Только успела крышкой сосуд накрыть, а вода так и забурлила в кувшине, даже мамка в испуге проснулась.

— Ой, горюшко! Не протек ли кувшинец, не прохудился ли? — кричит. — Надо позвать кого!

— Молчи! — шепнула Фотинья — чудо это... Царевичу — милость посылается... Гляди!

Смотрят обе, а вода из-под крышки — пеной через край так и бьет... Словно кипит без огня...

Подняла крышку Фотинья, черпает пену, мажет царевича с молитвой, а сама ищет: как бы пальцами крестик свой незаметно захватить — вытащить, чтобы кому не попал, улик бы не осталось.. Но того и след простыл: словно соль, растаял крест в чудесной воде...

Царицу позвали — и она видела, как без огня вода кипит, пенится... Тоже стала царевича мыть этой пеной и, шепча молитвы, твердила:

— Пошли, Боже, счастья и силы царской дитяти моему!

Немало поразило такое чудо Ивана. Щедрые вклады послал в Никитину пустынь, щедро и Фотинью одарил... А когда чудо еще дважды повторилось, богата стала совсем боярыня; прочно обстроилась милостью царской обитель в Переяславле, куда сам Иван приехал благодарить за чудо, водою монастырской явленное.

За исключением таких крупных событий — тихо тянется жизнь в теремах царицы с царскими детками.

Иван приходит — и начинает порой толковать о событиях в царстве, о планах своих. Отрывисто, смело звучит его речь. Чего он не доскажет ясно — угадает царица.

— Порадую тебя, Настя! Долго-долго не будешь Одашева видеть, — сказал он ей как-то.

Вспыхнуло от радости лицо у царицы, но она сдержалась и тихо ответила:

— Что же, государь, я для тебя толковала порой... Не прямой он слуга... Дальше — лучше его...

— Вот, вот... В Ливоны сплавил я его... Позвал к себе и ласково так говорю: «Алеша! Мне бы самому ехать надо... Да как царство оставить? Хошь какой я ни есть, — все же чин на мне царский. Замени уж меня, поезжай в Ливоны. По Ших-Алее царе первым там станешь». Много еще сулил ему разного... Ну, он и поддался. И других из ихней шайки туды же сплавил я. Выживут — ладно. А и убьют — не беда... А к ним — Данилку я нашего, брата твоего придал да черкешина, Саина-царевича... Милягу мово, друга первого... Верные те люди, все мне передадут, если станут что супротивное лифляндские наши воеводы затевать... Поняла? И нет здесь Адашева, нет Курбского... Курлятева нет же... И не обидел я никого... По следам протопота — так и сплавил всех.

Иван невольно вспомнил о Сильвестре. Вот уж около году удалился Сильвестр в Кирилловский монастырь, на покой. Гордый, всевластный временщик не мог не заметить, что потихоньку, полегоньку — но уходит власть от него, и навсегда. Все люди: и попы, и светские, раньше им на места поставленные, постепенно вытесняемы были новыми людьми, ставленниками Захарьиных, Макария, самого царя... К пустякам придерутся, жалобу поймают пустую, раздуют ее — и сместят человека, если он был сторонник Сильвестровой и Адашевской дружины.

А раньше, — что бы ни натворил ставленник этой партии, — разве смел им даже сам царь слово сказать?

Владимир Андреевич, князь Старицкий, тот раньше понял, что с неизбежным надо примириться. Двое сыновей родились у царя... Далеко стал от самого Владимира трон московский — и нерешительный удельный князь опять постарался войти в дружбу с братом-царем... Иван словно и ждал того... Радостно пошел навстречу Владимиру. Дружба завелась лучше прежнего. Искренно, нет ли? — кому какое дело. Скрыта душа Ивана от всех людей... И, лишенные знамени, понемно-



гу не только распались ряды единомышленников — бояр и князей, бунтовавших так грозно перед спальней больного царя шесть лет назад, но даже грызться стали они между собой, поддаваясь ловким проискам, наветам Захарьиных и мягкому влиянию самого царя, умеющего стравливать врагов своих или тех, кого он считал врагами.

— Дал бы тебе эту вотчину, — говорил он порою сильному просителю-вельможе, стороннику Адашева, другу старых порядков, когда царь плясал по воле бояр, — дал бы тебе, да лих шептал мне Шуйский речи негожие: будто ты на Литву бежать собираешься, нас врагам предать готов...

Возмущенный боярин начинал изливать все, что знал про Шуйского. Этому тоже немедленно сообщалось о поклепах, возводимых на него прежним соумышленником, адашевцем... Ну а что дальше было, само собой ясно: друзья становились смертельными врагами, а царь улыбался своей новой, кривой усмешкой, причем и губ не раскрывал. Словно позабыл он смех свой веселый, прежний, громкий и раскатистый...

Только царица и слышала порой тот веселый, заразительный смех, когда царь сообщал ей об удачах своих.

— Слышь, Настя, а немцев побили мы снова же... Как для меня адашевцы, вороги мои стараются! Спасибо старцу Вассьяну за совет!

И расхохочется... Лицо веселое станет, словно помолодеет оно. Тридцать лет нет царю, а выглядит он обыкновенно намного старше... И вечно злой блеск у него в глазах, даже когда смеется он или ласково с нужными людьми говорит, а сам скользит глазами мимо, мимо... Только на миг порой уставится прямо в глаза глазами — и прожжет испытующим, недоверчивым взором своего собеседника.

Да, изменился царь...

И только лаская детей и жену, становится он на прежнего, живого да веселого Ивана похож.

— Слышь, — говорит он царице, — слышь, Настасья! Своих крамольников поуспокою, с ливонами покончу и за Крым примусь. Приспее и ему время... Все боле да шире к Летню, к Югу подвигаются грани царства Московского... Не миновать нам драчи с крымцами... Лишь бы Литва на мир пошла... Тышкевич, когда

был от Литвы у нас в последний раз, — за малым делом стало...

— Ваня, голубчик, да не довольно ли? Сколько ты земель набрал? Отдохни... Со мной, с детками поживи! — нерешительно отозвалась царица. — Вон, почитай, и не видим мы тебя... Сам — на войну, в Ливоны ходил... И что перемаялась я тогда, Бог видит! Надо ли больше? Вон и отец, и дед твой столько не воевывали... Прославил ты имя свое царское — и будет...

— Будет? Ну нет! Мало, как отцы да деды мои жили! Помене дано было им Господом, поменей и спросится... У меня вон ныне один удел — Вятский, Беломорский ли — боле всей Руси, которою дед владел... Так и стол мой царский я должен иначе держать... Не по-старому! Дома не сидеть мне! Особливо как замирю здесь недругов, задушу крамолу... То-то волю дам себе! Слышь, Настя, не мимо молвится: что плохо лежит — к Москве бежит... Ливоны — дармовой кусок. Кто владыка у них? Князь — рыцарь, майстер по-ихнему, да архиепискуп — поп. Нам ли ею не завладеть?! И Крым — не силен, только боек, особливо без подмоги салтана турецкого. Сарайчик-то<sup>1</sup> крымский Казани и Астрахани не грознее: а те — наши... И ему тоже будет... Вот... Польша, Литва? Иное дело! Большие куски, не проглотнуть сразу! Рада ихняя и земщина вся, ничего, что спорят промеж собой; а не укусишь их. Пьяны, да не без разума... Шатаются, да не пали. Ну да авось! Бог один знает, что мне Он на душу кладет, какие думы посылает рабу своему... А придется на Литве подраться, так туды воевод уж не пошлешь. Свое царское величество трудить надобно будет. Да это еще далеко впереди. Говорю: с домашними крысами прежде поуправиться приходится.

Работал хозяин земли русской, но и «крысы», как он их звал, не легко давались в обиду...

Старый, дружинный, удельный строй, уместный раньше, вступил в последнюю, смертельную борьбу с новым державным укладом земли русской, где грани раздвинулись, где усложнились отношения извне и в самой земле, так что понадобилась могучая единичная воля, ведущая, под всеми парусами, вперед всенародную ладью. Не годны стали теперь те сотни поводырей, которые бе-

---

<sup>1</sup> Бахчисарай.

чевой тянули раньше широкую, неуклюжую барку по мелкому перекаату речному, у самых истоков русской государственной жизни. Все ширясь да ширясь, могучий поток этой жизни разлился потом на полмира почти!

Конечно, основа борьбы только безотчетно чуялась бойцами обоих враждующих станов... Но умирать, хотя бы и по воле судьбы, никому неохота. И боярство в последний миг отчаянно стояло за себя!

Упорная, глухая борьба началась на каждом шагу! Боярам было тем труднее бороться, что Иван сумел привлечь народ на свою сторону. И случай, и ход событий — в этом ему помогли. Земля, правда, помнила вече, но она живо помнила и татарщину! Помнила, что единение и сильная власть царская, сменившая толчею удельных прав, спасла землю от ига мусульманского. В самый разгар борьбы против Ивана, яркого носителя идеи самодержавия, сторонники боярского соуправления землей должны были сохранять внешний вид полной покорности царю, оставаться в границах законности. Поступая иначе, внося смуту в царство, недавно лишь окрепшее, бояре подняли бы руку и на самих себя, уничтожили бы плоды трехвековой борьбы Москвы за свое устройство земское. Могли бы, пожалуй, крамольные бояре и князья и попы, к ним приставшие, поднять бунт против законного царя. Предлог нашелся бы... Толки о вмешательстве Овчины-Телепнева в семейную жизнь Василия Ивановича не прекращались. Иные говорили, что, даже при несомненном происхождении Ивана от Василия, сын наследовал не одно царство, но и смертельный «гнилой» недуг отца... А это — не приведет к добру... Какие дети будут от полубольного, жестокого в детстве самом и развратного в зрелые годы царя Ивана? Начал царь сокращать самовольство грубых, порой неграмотных попов — и новый предлог к недовольству породил он в темном народе.

Но все это и многое другое тонуло за блеском военных удач царя, к которым так падок народ всегда и везде. Оставалось ждать, чтобы царь зарвался на этом пути, потерпел крупную неудачу. И тогда — нанести посильнее удар... А пока — тысячи людей тысячью способов старались помешать замыслам, планам и всем действиям Ивана. Кто успел — убегал к врагам Москвы. Сильвестр и его близкие потакали таким перебежчикам, чуть не явно помогали им... Все это видел Иван.

Тупое, упорное, молчаливое сопротивление, бранчивая распря — сменялись порой и жестокими личными ударами, наносимыми исподтишка Ивану и семье его, как мы видели. Но гнулсЯ, терпел Иван, пока не мог отплатить тем же. Обе стороны боролись упорно, молча, словно опасаясь даже сказать, за что борются.

Но они сознавали — за что.

И когда начались ужасы опричнины, бояре только упрямо спрашивали:

— Почто бьешь верных? Не предаем мы тебя, мучителя. Губителю нашему служим верой и правдой, не тебя ради, но ради земли всей, ради царства... Почто гонишь?

А Иван, криво улыбаясь, отвечал:

— Верны вы, да не на мою статью! Не на мой самодержавный лад! Я — в дому голова!

И кровь лилась без конца.

Только надо отдать справедливость боярам: все они сделали, чтобы привести к такому исходу.

Особенно ужасен, тяжел был Ивану последний их удар...

Чуя за собой вину по отношению к царице, Адашев думал, и не без основания, что она влияет на Ивана, вооружая его против советников. Сильвестр тоже видел, как сильно повлияло на Анастасию вмешательство протопопа в присягу Димитрию, когда Сильвестр хлопотал за Владимира.

И вот за предполагаемые «тихие, наветные речи» царицы — противники клеймили ее явно именем Евдокии Византийской, а Сильвестра сравнили с Иоанном Златоустом, которого старалась погубить та нечестивая императрица.

И это знал Иван, но должен был молчать и терпеть, довольный удалением протопопа в Белозерский монастырь.

Так настала осень 1559 года.

На обычную охоту в сентябре к Волоколамску уж и не поехал Иван за недосугом.

В Ливонии дела, так успешно было начатые, словно остановились. Пишет Иван наказы и письма воеводам, грозит и молит их: не тратить даром времени... Но те знают, что покорение немцев — заветная мечта царя, и не очень спешат порадовать его, чтобы труднее показалось дело, чтобы щедрее была награда...

В октябре все-таки, когда установился путь, прошли ливни осенние, поехал царь со своей семьей в объезд монастырей, на богомолье. Через месяц, на обратном пути в Москву, царский поезд уж к Можайску подъезжал, а тут снова оттепель ударила сильная, дожди пролились неожиданно-негаданно. Пришлось остановиться в Можайске, пока сюда лошадей лишних сгоняли, людей собирали, выручали из грязи колымаги тяжелые, царские, по ступицу ушедшие в размытую дорогу...

Тут продуло ли ветром царицу, случилось ли что, но сильно захворала она... Лежит на постели, разметалась, огнем горит все тело. Кровь горлом пошла.

Растерялся царь. Гонцов во все концы разослал, за лекарями, за всеми удобствами и припасами, так как плохо живут люди в Можайске. И у воеводы — обиход мужицкий. А царя не ждали сюда, ничего не готовили. Мечется Иван... Не отходит от больной жены и лекаря не отпускает ни днем, ни ночью, вот третьи сутки. Тот — с ног валится. А Иван молит:

— Спаси царицу... Озолочу!.. Целую область тебе отдам! А нет, тогда гляди...

И царь не договаривает, но холод пробегает у измученного лекаря по спине... И, одолевая смертельную усталость, борется он с недугом царицы, понимая, что борьба бесплодна...

— Что с ней? Не иначе как отрава?! Да? — допытывался царь.

Молчит лекарь, не знает, что сказать.

Отрицать догадку, — потерявший голову Иван его за сообщника сочтет... Согласиться? Как решиться на такое дело? И бормочет несчастный:

— Прости, государь: сейчас не могу еще решить... Пожди малость... Дай делу выясниться... Все тебе скажу...

На счастье бедняка — дни ясные стали, легкие морозы ударили, легче стало больной. Тут и кони подоспели, и меха теплые, и все припасы, за которыми послали гонцов. Только из бояр никто не поспешил за зов царя.

Каждый — за делами-де земскими, каждому — недосуг...

Одни Захарьины да близкие к ним как были с Иваном, так и остались на перепутье, пока не явилась возможность оправившуюся Анастасию дальше, в Москву повезти.

— Гады ядовитые! — стиснув зубы, шепчет Иван, сидя рядом с больной женою в колымаге и следя тревожными глазами, как на ней тяжелая дорога отражается. — Ишь, ни сами не явили очей своих, ни позаботились раньше, чтобы пути повыглядеть, нам дорогу лучше до Москвы уладить... Рады, если все мы с детьми и царицей повымрем, без помощи людской и Божией?! Ну ладно же!

И только бледнея, сжимает он кулаки и грозит кому-то из оконца крытой колымаги...

А царица тихо шепчет Ивану:

— Миленький мой! Ну вот, и все прошло! Дал Господь. Утешься. Совсем легче мне. Погляди, дома постарому расцвету... Прознобилась я — и все тут... Теперь — все прошло...

А сама кашляет в большой шелковый красный платок, чтобы не видел Иван струйки кровавой, которая нет-нет да хлынет горлом...

На Москве быстро угасала Анастасия. Так и сгорела на глазах у царя. 7 августа 1560 года ее не стало...

Когда стали класть в последнее жилище омытый труп единственного, неизменного друга, каким была для Ивана жена его, он словно обезумел...

— Отравили! Отняли! Убийцы! Крамольники! — кинул он ужасное слово в глаза всем друзьям и врагам своим, собравшимся на печальный обряд.

— Чадо мое, Христос с тобой! Что глаголишь? — содрогнувшись не меньше всех, стоящих здесь, едва мог произнести престарелый Макарий, который еле держался на ногах, не столько от дряхлости, сколько от непритворной скорби по этой «ангельской, чистой душе», как звал он всегда царицу.

— Да!.. Да!.. Да!.. — неистово беснуясь, неумолчно выкрикивал Иван, отталкивая старика и кидаясь к стене пораженных бояр, невольных свидетелей горя этого неукротимого человека. — Вот, они, они все... Они загубили... И Курлятевы, и Ростовские, и Шуйские... Все... Все... А всех पहले злобные внушители, враги мои: протопоп да Алешка! Митю сгубили... Ее сгубили, голубку мою...

И снова рухнул на гроб жены, как раньше лежал на трупе, не давая обмыть и одеть его...

Схоронили царицу... Кое-как образумился Иван. Все больше молчит, избегает видеть, говорить с людьми, особенно с боярами ненавистными... Только скачет, словно в прежние, юношеские годы, с доезжачими своими по полям, ночует в селах подмосковных и там вином заливает тоску, заводя позабытые, дикие пирушки, предаваясь стихийному разгулу, грубому любострастию, словно этим думает горе душевное, боль сердечную заглушить.

Шепотом передают потом спутники царя во дворцовых углах о похождениях Ивана, о вспышках безумной, бешеной злобы, жертвой которых падают и кони, и псы любимые... А недавно — и своего доезжачего ударом ножа так и уложил Иван за то только, что зверь из-под носа у царской своры ушел.

Но так же скоро, как и вспыхнул, так и прошел первый, острый приступ тоски.

Заботы о войне, о царстве — взяли верх над личным горем Ивана. Стал он снова послов и своих дьяков, воевод и бояр думных принимать. Бледные, напряженные входили они к царю, так и выходили, еще бледнее и взволнованней.

Две новости разнеслись очень скоро по Москве: царь думает сватать сестру старого, бездетного Сигизмунда, так как непристойно детям царским без опеки женской, царю без подруги жить. А еще наряжает следствие царь по поводу смерти царицыной, так как послухи нашлись, что Сильвестр с Адашевым извели заглазно, испортили царицу.

Последняя весть громом прошла по всей земле — скоро докатилась и до Сильвестра в Белозерский скит, и до Адашева.

Адашева Иван, очевидно в расчете подольше удерживать вдали от себя, в сентябре 1560 года назначил воеводой в город Феллин, незадолго перед тем взятый Иванов Федоровичем Мстиславским. Даниле Адашеву царь тоже велел быть при брате, выслал к ним и сына Сильвестрова, Анфима, которого раньше очень жаловал ради отца...

Как только решено было судить Адашева и Сильвестра, первого — перевели из Феллина в Дерпт, откуда он не мог бежать, и заключили под стражу. Симеон Бекбулатович, при крещенье названный так вместо Саина, — получив подробное письмо от Ивана, аресто-

вал своего недавнего соратника и берег, как зеницу ока.

Понял Адашев, что дни его сочтены.

Понял и Сильвестр, что не суд, а готовый приговор ждет его скоро. Но ни тот, ни другой не склонились.

Письма, просьбы об очной ставке, угрозы и увещания полетели к Ивану от обоих. Захарьины даже не допускали до очей царя эти послания.

Как один человек, поднялись все друзья обвиненных. Они кинулись к Макарию, старались влиять на царя. Макарий ответил:

— Власть моя — не от мира сего! Что могу я против воли царской? Постараюсь, да надежды мало...

Царь? Он даже не отвечал ничего... И только при имени Сильвестра или Адашева — так взглядывал на просителя, что тот умолкал невольно, шепча:

— Спаси и помилуй нас, Господи! Смягчи, Боже, сердце царя!

Настал день суда. Единственный пример на Руси, когда заочно судили двух первых людей в государстве, обвиненных в величайшем государственном и уголовном преступлении...

Сгубла, видно, сила боярская, дружинная, княжеская, если мог свершится подобный суд.

Полна народу Грановитая палата во дворце Иоанна, где суд совершается.

На царском месте один Иван сидит. Юрия нет. Он болен, доживает последние дни свои, пораженный тяжким недугом, убившим его отца, — разложением заживо... По правую руку от царя Владимир Андреевич поместился... Макарий на своем владычном престоле выделялся среди всего духовенства, которое, наравне с князьями и думными боярами, собрано сюда, так как предстоит произнести приговор над священнослужителем, над Сильвестром.

Как составлено судилище духовное, видно из того, что главою здесь является не кто иной, как Вассиан Топорков. Нарочно Иван выписал старца, всю власть ему вручил и дело вести повелел.

Из высших иерархов мало здесь лиц, расположенных к низвергнутому временщику-протопопу. Даже люди, поставленные при его помощи, не могут простить



своей долгой зависимости от простого священника, хотя бы и духовника царского... А уж те, кого чем-нибудь задел, обидел Сильвестр, надменный и прямой всю свою жизнь, о!.. Те сумеют теперь расквитаться с обидчиком, когда он не только в опале, но даже не допущен к защите.

Знают, что митрополит намерен слово замолвить за несчастного... Но знают также, что царь заранее решил вопрос о вине Сильвестра. Так не ссориться же им с Иваном. А митрополит? Стар уже Макарий. Сумел он почти двадцать лет продержаться в клобуке владыки духовного всея Руси. Но смерть не щадит ни князя, ни владыки... И близка эта гостя от кроткого старика... Все видят... Чего же считаться с голосом Макария? Многие знают, что и преемник ему намечен: тоже протоиерей Благовещенский, новый духовник царя, отец Афанасий... Оба они с Вассианом первый голос ведут среди собравшихся на судбище иерархов московских. Третий с ними — Пимен, архиепископ Новгородский. Аскет, но завистливый и жестокий человек, он давно ненавидел удачника-протопопа...

Светские судьи? В тех еще более уверен Иван.

Все молодой, не родовитый люд столпился здесь вокруг царя, им созданный, для него живущий. Немало также пришельцев восточных, князьков азиатских. И Симеон Бекбулатович в числе думных бояр... И отец его, Абдулла-Бек-Булат. Иван, за преданность и услуги сына, пожаловал отцу царство Касимовское, богато одарив при этом обоих.

И князь Михайло Темгрюкович Черкасский здесь, тот самый, который сумел посватать царю сестру-красавицу, Марию Темгрюковну, когда Польша отказ прислала Ивану. За царем — рынды стоят, молодые ребята голоусые... И среди них красавец, женоподобный, лукавый Федя Басманов, которого за последние дни Иван так и не отпускает от себя, лаская непристойно порою...

Не русские больше, незнатные, новые лица видны вокруг, вблизи самого трона. Но и старых бояр, и знатных князей немало созвал для судбища Иван. Да не просто, как случилось, а по выбору созвал.

Лишний раз еще проверить ему хочется свои наблюдения долголетние, людские толки упорные о том: кто друг, кто недруг царю московскому самодержавному? Все они тут, кого давно записал в памяти своей

Иван, про кого шепчут ему Захарьины и другие прислужники царя. И три брата здесь, бояре Сатины из рода князей Козельских, покойная сестра которых, Настасья, была женой ненавистного Адашева. Он бояр этих и в люди вывел, обогатил, земли для кормления дал, «путями» обеспечил... Вот сидит-величается красавец молодой, князь Димитрий Иванович Овчинин-Оболенский, племянник родной того самого Овчины, который так близок к княгине Елене был всю жизнь... Ненавистная близость... И теперь, недавно еще посмел мальчишка-новожен, Митька Овчина, похвастать в пьяной беседе: «Что за царь у нас! — говорит. — Я, да Иван Челяднин, боярин, одной мы с ним крови!.. Захотим завтра в цари попадем...»

Курлятевы здесь, Димитрий и Василий; первые друзья Сильвестра и Адашева — князья Прозоровские, Иван Шаховской, Щенятев Петр, Горбатый-Суздальский.

Темкин и Пронский князь, и Рыбин, Одоевские и храбрец, «слуга царский», Воротынский Михаил... Все они здесь, воеводы отважные, которые с Иваном под Казанью были, видели слезы и страх его и часто, чуть не в глаза, поминали про это. И суровый князь Репнин. Не говорит никогда ничего, упрямец старый; но так смотрит, словно в лицо бьет укорливым взглядом... И надменный князь Александр Ярославский, который кичится, что род его — старше рода Иванова. Много, много их всех... Потом имена этих людей станут длинными рядами в поминальном списке, в кровавом «синодике» набожного и жестокого царя, Ивана Грозного... А сейчас, как кошка, играющая мышью, созвал он их, говорит с ними ласково, советов их спрашивать собирается: как ему изменников судить? Пусть потешаются... людишки подлые... Недолго уж им осталось... Подготовил иных людей себе на помощь Иван, чтобы править землей. Недаром также наемные алебардщики немецкие и преданные черкесы Саиновские стоят везде на страже в царском дворе. Кроме Бога — никого теперь не боится Иван. Терять ему нечего, все взято крамольниками, до жены любимой включительно. Так сокрушит же он главу змиеву, выведет крамолу на Руси до конца и мирное царство, без мятежных бояр, передаст сыну своему с милостью Божией. Согнет и сломит он волю боярскую или — головы им всем снесет!

Улыбается криво Иван этим мыслям своим. А люди кругом шепчут:

— Доволен, весел нынче царь... Авось отвертятся от беды поп Селиверст с Алешкой Одашевым?

Плохо знают эти люди скрытую, изболевшую душу царю своего. Вместе с Анастасией — умерла у Ивана и жалость последняя к людям.

В бармах, в шапке Мономаха, в золотом облачении царском, с жезлом в руке, — сидит Иван олицетворением власти Господней на земле. Но пусто в груди этого величавого человека. Вернее, ни искры добрых чувств ни к кому в мире не осталось; а вся грудь полна подозрениями, ожесточением и страхом, который тем мучительней, чем искуснее скрывает его царь.

Кто знает: не принесено ли оружие кем-нибудь? Недохнет ли кто тонким ядом, не повлияет ли адским искусством, черными чарами, чтобы снова овладеть волей царя, как десять лет владели ею два заочно судимых человека?

И потому, окидывая беглым, подозрительным взглядом все это море голов, темнеющее перед тронном, Иван боится хотя на ком-нибудь остановить подольше глаза, чтобы не подпасть такому же влиянию, каким обладал Адашев одно время...

Еретик и колдун Адашев, даже минуя все его лихие дела! Как смел он пользоваться своею властью над царем? Убить бы, казнить бы его велеть? Сейчас же! Да нет... Подождать все-таки надо... Война кругом кипит... Все воеводы — друзья Адашева... А они — нужны... Значит, и при расправе с Алешкой — надо хоть призрака законности держаться. Надев личину, подымается царь, поклон отдает Макарию.

— Благослови, отче-господине, делу судному быти...

Встал Макарий, осеняет всех крестом. С молитвой призывает дух благодати и кротости Господней на судей, прося у Бога послать им прозрение чистое.

Низко поклонившись митрополиту, царю и Думе на все стороны, дьяк Мясоед Вислой стал читать длинный список вин и воровских дел боярина Олексея Одашева, «окольного с путем»<sup>1</sup> и воеводы царского... Много написано тут ужасов. А страшнее всего, что «вор тот Олешка мало, что не слушал и писаний царя самого,

---

<sup>1</sup> «Окольный с путем» — с городами, данными для кормления.

но, взяв град Вильян (Феллин), отпасть пожелал от службы царской, предаться замыслил Литве, как и до-прежь того князь Ростовский, Семеон, его друг и бегун ведомый, да еще неким волхованием и зельем, через людей подосланным, погубил жизнь и здравие порушил благоверной новопреставленной царицы и великой княгини Анастасии Романовны... А тому бесовскому делу — послухи и сведущие люди: такие-то и такие-то...» Все больше подкупленные Захарьиными кабальные люди черные или, обиженные Адашевым случайно, слуги и дети боярские...

Встал затем инок Мисаил Сукин и прочел такой же лист обвинений против Сильвестра. Оба обвиняются в том, «что долгое время разными чарами и прелестью бесовскою влияли они на царя самого, лишая его малейшей воли, во вред земле и царству, в нарушение правосудия и правды всенародной...»

— Твое первое слово, отче-господине! — сказал Иван, когда смолк гнусавый, монотонный, протяжный голос монаха-чтеца.

— Что скажешь нам, владыко?

Макарий все время сидел с поникшей головой и тяжело вздыхал, слушая чтение, предвидя, к чему приведет подобный суд... Правда, и сам он хотел удаления обоих временщиков. Но раз те волей-неволей да ушли — стоит ли травить их? И жестоко, и недостойно помазанника Божия, недостойно того Ивана, каким рисовал себе старый мечтатель своего воспитанника...

Тихо, но твердым голосом заговорил Макарий:

— Царь великий, чадо мое о Христе! Подобаает царю — творить волю свою. Но есть иной Владыко и свят закон Его... А по закону тому — подобаает мужам обвиненным приведенными быти пред нас zde, да, очевидно, вина их докажется по обвинению послухов... И воистину нам убо слышать надлежит, что они на то отвещати могут...

Говор пошел по всей палате.

Огнем скрытой ярости блеснули глаза Ивана из-под нахмуренных бровей, дрогнул тяжелый посох в руке его, ноздри так и раздулись, и затрепетали...

Но ни единым звуком не выдает он того, что происходит в нем. Глядит и ждет...

Недолго ждать пришлось. В разных местах — словно одною силою подняло десятки людей: все сторонни-

ки и друзья обвиненных, все честные люди, не замешанные в дрязгах дворцовых, все, любившие Макария и желавшие искренно добра Ивану, поднялись — и зашумели отовсюду их голоса, сливаясь в одну просьбу, в од. у речь:

— Царь-государь! Прикажи обвиненным предстать на суд пред лицом твоим!

Сильнее дрожит царский посох в руке Ивана.

Быстро переводит он взор от одного поднявшегося к другому и каждый раз даже прищуривает глаза, словно лучше желает запомнить наружность говорящего, выражение лица, позу и самый звук его голоса...

А сам незаметно нагнулся к печатнику, близкому советнику своему, Казарину Дубровскому, стоящему за плечом у царя, и шепчет:

— Пиши... Пиши... Всех этих запиши!

И продолжает глядеть на всех, и улыбается довольно, нечеловеческой улыбкой...

Долго звучат голоса. Ждут все, что заговорит царь, перебьет их сам, примет или отклонит их мольбу. Но Иван молчит и улыбается. И понемногу, мало-помалу — затихают голоса, словно срываются струны с гигантской арфы, зазвучавшей под налетом урагана...

Смолкли постепенно, опускаются все на места, в недоумении, смущенные, раздосадованные.

— Переписал? Хорошо... — шепчет Иван Дубровскому и только теперь подымает свой голос в ответ на умолкшие просьбы: — На суд мы сошлись, бояре, а не в храм Господен, где милость царит, где молить Всевышнего и каяться можно... И сами же вы судить, карать и миловать должны. Вижу: не все заодно с владыкой думают. Пусть и те, иные, свое слово скажут. Не милости, а правосудия жду от суда. А глас народа — глас Божий. Пусть все, здесь сидящие, голос подадут. Чьих голосов больше — тех и правда. Искони так было... Говорите, бояре, Дума моя верная...

Замолк и снова сидит, улыбается. Как ни много крамольников голосило сейчас, но четверти их нет против «своих», в которых уверен Иван.

Первый вскочил Захарьин, брат несчастной Анастасии. Ненависть, злоба — так и сверкают из глаз боярина, да он и не таит своих чувств. К чему?

— Звать? Сюды? Их, злодеев, ведунов и чарователей безбожных? Ну, это зачем же? Велика злоба и си-

ла их! Придут сюды сосуды эти дьявольские — и нас всех очаруют, невредимы сквозь стены темничные уйдут! Коли по слухам стольким уж веры нет, царю своему верьте! При светлых очах его говорю, голова моя в ответе за речь смелую. Много лет самого царя в оковах держали те ведуны проклятые. И мне, и людям разным то ведомо. Как в неволю, заточили на многие дни государя людишки те худые, чародеи лукавые. Чарами богомерзкими — очи царю закрывали, не давали ни на что глядеть самому, ежели не их волею. Аще и ты теперь, владыко, припустишь их к себе и к царю, они и тебя ослепят, а царя и детей его — загубят. Народ чарами взметут. Каменьями чернь побьет и нас, и царя, что посмели судить лукавых. Исчадие адово! Не может звать их на очи! Делами своими осудили они себя. Что же помогут речи их лживые? Даже стыд и совесть не велит сказать того, что Адашев с попом затевали, земле и царю на пагубу, на смущение души усопшей царицы — сестры моей...

Знал теперь Иван, на что намекает Захарьин, — и пятнами стыда, загробной ревности и злобы покрылось бледное лицо его.

Кончил шурин, и зашумели все присные ихней семьи, все враги двух заочно судимых:

— Так! Истинно... Воистину! Знаем, все мы ведаем: правду боярин говорит... Сам царь не таит того...

— Не потаю! — внезапно поднимаясь, громко проговорил Иван. — Отогнуть удалось мне злых тех советников с Божией помощью, — тогда лишь и раскрылись глаза... И все уразумел я... Истину сейчас боярин молвил про чародеев тех и про воровство ихнее против особы нашей царской. Глазом, и видом, и волхованием — вязали меня, аки пеленами младенца вяжут неразумна. И желал, а сказать был безгласен. Понимал, а делал против разума! Вот и мое царское свидетельство против лихих людей тех, на воровстве изловленных...

Ни звука не промолвил больше никто в защиту обвиненных. Только кривой Кирик Тыртов, юный, пылкий воевода-храбрец, потерявший глаз под Казанью, личный друг Адашева, решился заговорить, не выдержал:

— Прости, государь, спросить я хочу... Ратник я, не ученый муж какой... Знать бы хотелось... Вот видел я

сам, как Адашев Алексей в доме у себя — не то сирых, прокаженных держал, поил, кормил, сам язвы ихние обмывал порою... И знать бы хотел: может ли такой человек чародеем стать, зло умышлять на царя, землю родную губить? Отцы духовные, владыко митрополит! Разрешите душу мою...

— И я о том же ведаю... Тако же ответа молю! — поддержал Тыртова еще один голос — дьяка Ивана Выродкова, строителя пресловутой осадной башни казанской.

Так и передернуло лицо у Ивана. Никто не ответил ни звука на дерзкий вызов, каким являлся смиренный вопрос двух честных соратников опального воеводы. Только совесть заскреблась у многих в груди, и лица краской стыда вспыхнули.

Заговорил тогда Леонтий, архимандрит Чудовский, хитрый, честолюбивый и беспутный старик:

— Лукав враг человеческий... Личины приемлет всякие... И чудотворцев святых искушать поспевал. А уж тебя, воине честной, и подавно нетрудно было ему провести. Ты — прокаженных видел, а може, то ведьмы были юноподобные, любострастные, кои к ревнителю своему на богомерзкие игрища слетались?

— Да, да! Конечно, так и было! — подхватил Пимен Новгородский. — Ко мне, я знаю, в келью мою — не раз всякая нечисть под видом нищих, убогих чело-веков так и просилась... Да я сразу видел, что за птицы летят, крестом их отгонял. Как учну по башке, по башке их медным крестом большим!.. Так и разбегутся, сгинут нечистые...

— Еретики, ведуны, чародеи они оба ведомые! — зашумели все кругом...

Недолго суд тянулся.

На Соловки приговорили сослать Сильвестра. Адашеву — в Дерпте, в заключении быть, пока царь ему воли своей не объявит.

Но Адашев не стал долго ждать...

Скоро гонец прискакал к царю:

— Долго жить приказал тебе воевода твой опальный, Олешка Одашев...

Вспыхнул от досады царь.

— Как? Ведь я наказал беречь аспида?

— Берегли, государь. Он после огневицы, что с ним приключилась, поправляться было стал. А как узнал, что

приказано его из Дерпта в цепях на Москву везти, заматался... «Не хочу, кричит, на Москву! Измучат, запытают, истираният меня тамо! Здесь, при войсках своих, помру!» К вечеру, правда, взял — и помер... Пена клубом шла изо рта... И все лицо словно опаленное стало... Ровно он обжег себя чем... Так и схоронили...

— Помяни, Господи, душу раба твоего Алексея! — широким крестом осенив себе грудь, произнес только Иван.

Первый шаг на пути мести был сделан и принес много наслажденья больной душе Ивана.

Но зато, со смертью Анастасии, — прежнее счастье в мире и на войне — словно навсегда покинуло царя. Андрей Курбский, один из храбрейших и главных воевод в Ливонии, явно охладел к делу, когда на его глазах разыгралась печальная история гибели Адашева.

В то же время гроссмейстер Ордена Меченосцев, Кетлер, депутаты от всей Ливонии и Рижский архиепископ — успели привлечь Сигизмунда-Августа к борьбе против Ивана.

28 ноября 1561 года король польский был признан государем Ливонским, Кетлеру дано звание наследственного герцога Курляндского, на условии вассального подчинения Польше. Ревель-Колывань, Гаррия и половина Вирландии отошли к Швеции, а небольшой, но укрепленный остров Эзель был отдан брату датского короля Христиана, королевичу Магнусу... Так поделены были земли Ордена между врагами Москвы, лишь бы ей не достались! И Ордена Меченосцев Господних не стало...

Конечно, труднее стало бороться московским войскам против соединительных сил стольких королей, хотя бы и небольшие рати послали они на подмогу воспрянувшим духом ливонцам, колыванцам и венденцам.

Ивана злило замедление, наступившее в победном раньше передвижении русских войск по земле, чуть ли не завоеванной им...

А шептуны-Захарьины и новые люди, желавшие создать свое счастье на гибели других, не зевали...

— Милостив ты, царь! — только и твердили вокруг похлебники, соучастники пиров и разгула, заменившего теперь прежний монастырский строй жизни во дворце. — И как еще милостив! Что пишут из ратей, что толкуют люди! Вон Курбский, князь Ондрей... Прямо



изменяет тебе! С врагами сносится... С умыслом города твои врагам назад отдает. Под Невелем какую поруху тебе причинил! Горсть поляков была, всего четыре тысячи! А рати русской — видимо-невидимо, и воевода Курбский — умышленно тыл дал, опозорил тебя и землю. С умыслом не добывает он новых побед твоему царскому величеству. Все за Олешку, за друга и похлебника своєю отмщать желает. Не кроючись — поносит твою милость, всячески бранит и корит, яко Ирода-царя нечестивого...

Слушает — криво улыбается царь.

— Сочтемся... Над нами не каплет, торопиться некуда! Раньше — пусть дело сделает, землю мне завоюет люторскую, а там... Про Невель, про позор наш, вестимо, напишу я ему. Пригрожу... Он и подтянется. Хоть и изменник он нам, да воин лихой. Ради всей земли русской — постарается. Тогда уж я с ним за все: за худое и за доброе разочтуся!

Но у Курбского тоже есть друзья при царе... Написали, передали воеводе от звука до звука речи Ивана.

А вслед за тем, будто подтверждение, — и письмо пришло грозное от царя: укоряет он в бездействии воеводу, опалой грозит за трусость, за предательство родины.

— Угрозы пошли? — думает Курбский. — А скольких уж он, безо всяких угроз, так, тишком загубил, казнил, в монастыри запрятал!

Первыми пали брат и племянник Адашева; потом запытали, замучили на допросе подругу несчастного воеводы, пылкую, красивую и такую веселую, такую добрую женщину, Марину, польку родом, принявшую имя Магдалины, когда из-за любви к овдовевшему Адашему она, тоже вдова, католичка, решила в схизму перейти... Не судили ее, нет: на допросах запытали, дознаваясь, как она с покойным другом царицу извела? Пятерых детишек ее тоже не пощадили, запытали вместе с матерью.

Михаил Темрюкович Черкасский, боярин большой, не погнушался сыском заняться и без содрогания мучит, пытается русских людей. Что они ему? Давно ли он нападал на пределы московские со своими джигитами-удальцами, резал жен, стариков и детей, жег на огне, дознаваясь: где добро лучше запрятано? Теперь времена переменялись. Он русскому царю служит. А дело у него почти прежнее. Иван приказал казну и добро, ка-

кое найдут у опальных, у преступников настоящих или мнимых — все в царскую казну отбирать, в виде виры, оплаты греха, какая прежде на Руси водилась. Назначил было Иван и Саина Бекбулатовича в палачи, так тот в ноги упал; взмолился юный, добрый царевич:

— На войну пошли, воевать! А резать людей беззащитных не умею!

Не стал Иван настаивать, отпустил своего любимца...

Все вспоминает князь Курбский...

Родич Адашева, Шишкин Иван, с женой и с детьми убиты, затравлены, стерты с лица земли... А имение их богатое отошло к Ивану. Мертв брат Алексея, Данило; мертв сын последнего, Тарас, мальчуган совсем, лет двенадцати. Да еще наглумился Иван над ребенком раньше, опозорил красивого мальчика. А когда тот пришел к отцу, сказал, что с ним сделали, — Данило с воплем к царю кинулся. Тут и погибли оба!

— Хорошо, что не на Москве, что со мною детки мои! — содрогаясь думает Курбский. — И они бы в наложники попали!

А память дальше шепчет свое: убит и тесть Данилин, боярин Туров, Петр, и три брата Сатины... И много слуг и близких Адашеву либо убитым родичам его... Весь род бояр Курлятевых уж почуял на себе руки Ивана: кто убит, кто заточен в кельи, по монастырям далеким... Не иначе как за самого князя Андрея теперь приняться думает царь. Знает, какая дружба была между ними...

Нет, нельзя ждать, уходить скорей, пока не наглумился озверелый Иван, не сгубил Курбского за все труды, за раны, принятые на службе земле и царю. А умирать — неохота; тридцать пять лет всего воеводе. Он породой не ниже царя, а храбростью? Что и говорить! Зачем же шею под обух подставлять безумцу ожесточенному?

Зять воеводы, князь Прозоровский, более робкий духом, которого Курбский стал было звать за собой, нерешительно возразил:

— Ладно ли, брате? Присягу рушить? Земле — изменять? Предавать братий своих врагам? Жесток стал царь, да авось, даст Бог, одумается...

— Одумается?! Ну, брате, плохо ты знаешь царя! Только под нашей уздою зверь этот и был на человека похож. А теперь, как нет препоны ему... Когда змии и

василиски окружили солнце земли, царя православно-го, — мор да чума пойдут по земле, вместо света и радости! А я — не первый и не последний в бегунах стану. Есть и почище меня. И Бельский, и князь Воротынский и другие-прочие! Случалось, сами братья царские бегивали... Гроза идет, как не посторониться?

Перед отъездом, не зная еще, где и как примут его, явился к жене князь Андрей, спросил ее:

— Чего хочешь? Мертвым ли видеть меня либо с живым расстаться навеки? Говори прямо. Как скажешь, так и сделаю.

Залилась слезами напуганная, побледневшая женщина... Она видела, догадывалась давно, к чему дело клонится. Теперь, припав на грудь к мужу, едва проговорила от слез:

— Что ты, княже мой милый?! Не то видеть тебя мертвым, а и слышать о смерти твоей не желаю... Легче самой умереть.

— Ну, так нынче в ночь — еду я к литовцам... Стан ихний — недалеко от Юрьева, слышь, стал... А за себя и за деток — не опасайся. Не тронет вас зверь — Иван Московский. И родные не выдадут, да не повинны вы ни в чем!

И бежал князь, ушел на Литву с одним слугой надежным, с Васькой Шибановым.

Оба они через стену городскую перебрались. А ключи от ворот в воду кинул князь.

Хотя не пророком, но отгадчиком верным оказался Курбский. Как сказал он Прозоровскому — так все сбываться стало.

Разозленный, перепуганный при первой вести о побеге воеводы, Иван утроил жестокость и подозрительность. Принуждал бояр чуть не каждый месяц присягу на верность повторять! Почти всех бояр ручаться заставил друг за друга. Десять, двадцать — за одного отвечают, если тот убежит. Десятки тысяч рублей должны вносить за бегунов оставшиеся поручатели... Царская казна богатеет, бояре — беднеют. Теперь они так же волею царя связаны, как он был раньше ими скован. Меньше стали убегать бояре. Всей казны своей, всего добра не увезешь с собой... Да еще близких — друзей-поручателей в нищету ввергнешь. А на чужбине — плохо без денег. Лучше уж дома терпеть как-ни-

будь, на глаза царю, ожесточившему сердце свое, и не попадаться, по своим углам сидеть...

Но он и там находил их. И растет-удлиняется широкий столбец, на который Иван завел обыкновение записывать имена «убиенных», по приказу его царскому, для поминания о душах крамольников.

Он губит их тела, но душ грешных — губить не желает, чтобы Господь и ему отпустил все грехи, вольные и невольные, на страшном суде Своем!

Сказано ведь: какою мерою мерите, такою и отмерится вам! А бесчеловечный Иван твердо верит Откровению Господню...

Еще потеря вскоре постигла царя: тихо скончался, словно угас, Макарий, двадцать два года, с 1542 по 1564 год, умевший удержаться на престоле митрополитов Московских и всея Руси.

Правда, за последнее время Иван старался избегать умного, кроткого старца, который даже не особенно надоедал с поучениями или с заступой за опальных, а только так пристально глядел в глаза царю, словно хотел в душу ему заглянуть и угадать, погасла там последняя человеческая искра или тлеет еще... Да все поминал ему дни былые, когда царь-отрок забегал к владыке, книги читал, мечтал о славных, высоких подвигах доблести и милосердия царского.

— Давно то было, владыко! Мир да злобу его я по книжкам только и знал да по тем мукам, какие дитятей перенес. А ныне — тридцать и три года нам! Чего не знаю, чего не видел? Ужаснула меня душа человеческая... На троне сидя, всю землю под собой имея, — кроме тебя и Насти — и людей не нашел за столькие годы! Чего ж и мне их жалеть? Дело стану я делать свое царское, как Бог заповедал. Простого люду — не тронул ведь я... А крамольники? Ну, те — ходи да оглядывайся! На скота упрямого — и бич потребен тяжкий, прутья и скорпии железные...

Понял Макарий, что слова тут бессильны — да так и затих, до самой смерти уж не трогал царя.

А умирая, позвал Ивана и только сказал ему:

— Чадо, вот на память, — возьми распятие Христова! Он, Господь, доброй волею — на кресте замучен... А боле этим дела сделал Агнец жертвенный, кроткий, чем

все буи — дельцы в миру делают... Кровью Своей святою — пролитою за ны, за рабы, за мытари, за грешники, — вселенское Царство Христианское созидил, превыше всех царств на земле! Памятуй сии слова мои, царь земной, властелин земли Русской.

Задумался Иван, поцеловал руку владыки, еще имеющую силы благословить царя.

И рвалось на уста Ивану слово ответное:

— Что Богу прилично, что Христу подобало и по силам — того не подымет душа простая, смертная, хоть бы и царская душа моя!

Но промолчал он, чтобы не смутить души отходящего в иной мир старца — верного друга своего...

На короткое время смерть владыки миром повеяла в душу царя... Но скоро опять начались розыски, пытки и казни, без суда, без права, кроме воли царской.

Опьяненный первой кровью, как гончий пес, настаивающий раненую добычу и терзающий ее на куски, под ударами бича доезжачих, — так и Иван не мог уж остановиться, однажды начав кровавое дело мести и возмездия, как он говорил; дело палача и убийцы, как говорили все вокруг... Дикие оргии, которым предавался царь, несмотря на недавний брак с Марией Темрюковной, подрывали здоровье: вечной усталю и тяжестью давили мощную раньше грудь царя... Жгучая жажда мести — потрясала душу, мутила ум, сливаясь с безотчетным страхом, который вселился в Ивана скоро после первых казней, совершенных по его приказу.

Он — царь; он прав, наказуя слуг своих... Но он мстит им. Так, нет сомненья, что и холопы станут мстить ему за смерть близких, за свое разорение и унижение. Не промолчат, не стерпят они!

Этого опасался Иван — и недаром.

Курбский — первый расквитался. На другой же год после побега к Литве явился князь на Русь во главе врагов, стал под Полоцком и много бед причинил русской земле, бывшей его родине.

Среди лиц, на которых клеветали окружающие Ивана, — попадались и такие, замышляли на самом деле отплатить царю за муки близких людей, жадно искали только случая и возможности. Но таких было мало.

Большинство повторяло слова Прозоровского:

— Авось — одумается царь... А враждовать с ним, с помазанником Божиим — и совесть, и Бог не велит. Пусть лучше тело наше загубит злой царь, да душу свою мы в чистоте сбережем!

Иван понимал такое благородство и верность долгу. Сознал порою, что невинны были замученные им. В эти минуты страх еще сильнее овладевал потрясенною больною душой царя...

— Ежели ополчится Господь на меня за гонение невинных... несдобровать и мне, и детям моим! Руками врагов — накажет нас Милосердный!

И совершенно неожиданно новая мысль всецело овладевала его умом:

— Так не надо ждать! Скорее, пока жив, переловить, перегубить врагов трона и земли моей, и семьи моей. Если я погибну в борьбе с крамолой, дети мои — свободно вздохнут. Не узнают той злой доли, какую я узнал, по причине слабости отцовской. Не успел, не решился родитель вовремя крамолу известить, вот через это целую жизнь я маялся и буду маяться еще долго! Так нечего времени терять!

К чему приводило такое неожиданное заключение — само собой понятно!

Рос и удлинялся список «убиенных» по воле царя, если не рукой его властной... А последних тоже насчитывалось немало...

Охота на животных, охота на людей... В затемненном сознании Ивана — эти два занятия казались почти равнозначными.

— Гады, звери — крамольники, бояре все мои, лишь во образе человеческом! — не раз говорил Иван.

И поступал с людьми хуже, чем со скотом...

## Часть II

# ЦАРЬ-ОПРИЧНИК

### Глава I

ГОД 7372 (1564)

Подошел незаметно 1564 год. Двадцать лет уж прошло, как венчали на царство Иоанна IV.

Темные дни настали для Руси. Темные дни пришли и для царя Ивана, хотя буйно и весело проводит он бессонные свои ночи... И ночи, и дни одно и то же думает царь: врагов извести, от врагов оберечься.

Рано встал в один из вешних дней Иван, к общей молитве семейной вышел.

После молитвы ранней, на которую всегда поднимается царь, как бы поздно накануне ни ушел от стола вечернего, Иван обратился к молодой женщине, красавице Марии Темгрюковне, с обычным вопросом:

— Как детки почивали?

— Тихо, ладно, благодарение Богу! — гортанным говором ответила худощавая, смуглая дикарка-черкешенка, новая царица московская, не смея поднять глаз на повелителя и мужа, опустив голову, отягченную двумя тяжелыми косами волос, черных, как ночь. Плохо говорит она «по-московски», но понимает все... Вот обычаи здешние чужды и дики ей, хотя и напоминают обычаи родного гарема, где росла княжна у матери, у русской пленницы. Оттого и знакома ей русская речь. Но задыхается грудь царицы, привыкшей к горному, вольному воздуху. Тяжело дышит красавица в этом затхлом, спертом воздухе царских теремов, где не цветами полевыми, а ладаном пахнет и травами сухими, целебными. Давит ей лоб высокий убор головной, кика, богато расшитая жемчугами и самоцветами, жмет плечи душегрея парчовая; тяжел сарафан аксамитный, шумливый, расшитый кругом. Легче Марии, когда царю охота придет, велит он ей одеть ее платье природное, азиатское: шальвары полупрозрачные, домашние, беш-

мет длинный, разрезной и шапочку с монетами, небольшую, легкую, круглую... Порой и сам черкесом, азиатом нарядится... В непривычном наряде пугает детей, особенно — сына Федю и сестру его троюродную, восьмилетнюю Марию, дочь князя Владимира. Обе дочери от первого брака князя Старицкого, и Вася, старший сын его, недавно от отца взят из дому и во дворце с детьми Ивана поселены. Старшей княжне Старицкой, Евфимии, уже десятый, Васе, княжичу, — седьмой годок пошел.

— Что же это, брат-государь, не аманатов ли берешь у меня? — спросил было Владимир. — В залог детей — за отца?

— А хотя бы и так? — угрюмо ответил Иван. — Видели мы правду твою ко мне и к детям моим. Недавно еще. А теперь — пускай вместе растут твои девчонки с моею Дунюшкой. Горе ли, радость ли, по-родственному станут делить. Да не бойся, зла им не будет. Подрастут — замуж выдам хорошо. Васю тоже не обижу!.. Может, за мою доброту — Бог мне поможет, а ты — верней прямить станешь брату и царю своему... Да и не всех детей, вишь, беру. Сыновья твои, поменьше которые, с тобою и с матерью остаются. Расти их. А Васе и девчонкам — худа у меня не будет! Не зверь же я, как про царя своего толкуют, поди, везде людишки лихие, злобные?

— При мне не смеют, брат-государь...

— Будем думать, что так...

И покончился разговор. Старший княжич и две княжны Старицкие поселились во дворце, у царя.

Застенчивая, скрытная Евфимия понимала, что опасаться следует дяди Ивана, всегда держалась в стороне.

А Мария, хорошенькая, живая, резвая, скоро сдружилась не только с троюродной сестрой своей, царевной Дунюшкой, но и с матушкой-царицей, и с самим Иваном, который порою, после оргии пьяной, после зрелища пыток, на которых любил присутствовать, являлся в терем к царице, принимался весело шутить, играть с детьми, словно желая смыть с души грязь, нанесенную жизнью, стереть все дурное нежным прикосновением детских ручек к его пылающему лбу, к воспаленным глазам, злобно сверкающим под нахмуренными бровями...

И сейчас вот хотел бы Иван побыть с детьми, от-



дохнуть душой, послушать веселое щебетанье подростков-девочек, подразнить капризного, вспыльчивого царевича старшего, который так напоминает царю его самого в детстве... Приласкать бы надо тихого, хворого младшего сына, «Федорушку-царевну», как зовут братья и сестры плаксивого братца. И Васе-племяннику слово кинуть милостивое. Да времени совсем нет. Из Литвы, из Ливонской земли, из Крыма, отовсюду гонцы с недобрыми вестями пожаловали.

Эти гонцы с вестями дурными со всех сторон так и летят теперь, словно вороны черные. Иной такую весть скажет, что всю силу воли должен употребить Иван, только бы тут же на месте не уложить зловещего глашатая. Да ведь и то: не повинен гонец за весть, им доставленную. И не напасешься народу, если за каждую плохую весть убивать гонцов теперь. Что ни весть доходит, — то плохая. Надо идти, отписываться на донесенья...

Бегло приласкав детей, поднял царь за подбородок личико жены и говорит:

— Буде невеститься... Все очи потупляешь свои с поволокою? Али не привыкла? Или на чужих деток завидно? Погоди! И своих мы с тобой заведем. Время еще не ушло... Давно ли и повенчаны... Скажи, Маруша, хотела бы деток?

— Хотела бы, государь! — зардевшись, шепчет царица.

— Ладно. Будет по твоему прошению. А покуда — за этими приглядывай...

Поцеловал жену и ушел.

Со вздохом поглядела мужу вслед царица.

Не верит она, что даст им Бог детей. Слишком порывисты, грубы, жестоки порою ласки царя. А порой словно ему и глядеть противно на красу ее женскую. Недаром толкуют, что иные, нездешние даже, азиатские обычаи завелись у Ивана. И гарем свой есть у него, и мальчуганы-наложники...

Честолюбец-брат Михайло знал, все знал, когда принудил сестру идти за царя. Что делать! Такова доля женская, что в Кабарде, что на Москве: игрушкой, рабою быть у мужей, у братьев и у отцов своих.

Смахнув слезу, царица грустно улыбается, слушая, как подбежавшие к ней дети толкуют «матушке-царице», о новой проказе братца Ванюшки.

А царь, кончив диктовать ответы на полученные донесения, отослал своего печатника, Казарина Дубровского, который, написав тайные грамоты, тут же печать к ним царскую прикладывал. Оставшись один, Иван достал из запертого, изукрашенного ларца тетрадь толстую, большую, в переплете, с застешками серебряными, раскрыл ее, взял перо и задумался, глядя на пустую страницу, где собрался что-то писать...

В том же ларце, откуда добыта была тетрадь, — лежат свитки, хартии разные, четко исписанные рукой самого царя.

Это — род дневника, который давно ведет Иван, чуть ли не с двенадцати лет, когда его взманил пример Макария, писавшего жития царей и святых, причем из разных книг и списков владыка все собирал и записывал в одну тетрадь большую, особую.

Познакомясь с Царственной Книгой, служившей чем-то вроде ежедневника из жизни царя Василия, прочитав отрывки из Степенной книги, начатой еще митрополитом Киприаном и продолжать которую взялся Макарий, мальчик Иван захотел сам по-своему записать для будущего времени все, что помнил важного в прошлом, и то незаурядное, что впереди случиться может.

Конечно, это намерение осуществилось далеко не так полно, как думал ребенок. Но когда возмужалому Ивану прочли сперва выдержки, а там и целиком отдали завещания его отца и деда, эти большие, часто и четко исписанные хартии, где обо всем говорилось: и о соседях по царству, и о заботах государских, и о семейном укладе, — Иван порадовался своей затее: писать самому обиходную книгу, повседневную. В постепенных записях отразились не только события тревожной жизни юного царя, но и взгляды, чувства, заветные планы и думы Ивана.

— Умру, — подумал он тогда же, — вот и завещание готовое моим детям. Да такое полное, ясное, какого ни отец, ни дед не писывали!

Не знал Иван, что много раньше сослужат ему службу эти страницы, писанные порою слезами, порою желчью и кровью.

В данную минуту только было встряхнул головой Иван, сделал движение, чтобы обмакнуть перо гусиное в чернильницу, — каламар турецкий, литого золота,

стоящую здесь же, на столе, а за дверью послышался знакомый, сладенький голосок:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ны!

— Аминь! Иди, иди, Феденька! — поводя плечами и отбросив перо, проговорил Иван. И пока вошел его новый любимчик, Федор Басманов, пока отвесил обычный поклон, царь успел сложить в ларец книгу и запер его ключом, висящим у креста, на гайтане.

— Здорово! С чем пришла-приехала, Феодулия ты моя милая? — спросил Иван, хлопая Басманова по румяной, нежной щеке, покрытой пушком, словно у красной девицы.

Да и вообще, вся фигура наперсника царского, с пухлой грудью, с широкими, упитанными бедрами, вихляя которыми подходит он к Ивану, — все в Басманове дышало притворной слащавостью и женственностью. Азиат происхождением, он наследовал от своих дедов или, скорее, от бабок — миндалевидные, с наглой поволокой очи, брови соболиные дугой, полные губы, яркие, пунцовые, каким любая боярыня позавидует... Всем видом своим напоминал он мальчиков-наложников, которых много при дворах восточных владык, которых и на Русь привозили бухарские и хивинские купцы, наравне с рабынями-одалисками... Казань и ближний к Москве Касимов-городок щедро платили купцам за редкий товар...

— Счастия и долгоденствия желаю царю моему милому, любимому! — раболепно, но в то же время с неуловимым оттенком панибратства произнес Басманов, красиво и плавно сгибаясь всем телом, чтобы отдать вторичный поклон.

Казалось, испорченный юноша, влюбленный в свою же животную красоту, вечно любителю, глядит умственным взором, со стороны — на каждое свое движение, слушает каждое свое слово... Близо, гораздо ближе, чем допускает строгий обычай московский, подошел Басманов к царю и продолжал нежно:

— С чем же больше и могу прийти я к тебе, царь ты мой любименький?

Обороты речей, дышащие бабьей льстиво-заманчивой податливостью, звуки мягкого, сдобного голоса, юношеского контральто, поворот стана, выражение глаз, наглые ужимки фаворита сразу пробудили какое-

то особое настроение в Иване. Словно защекотало у него в груди... Загорелись, потемнели глаза, губы задвигались, дрогнули ноздри...

— Один ты, что ли? — спросил Иван. И голос у него звучит как-то хрипло, необычно.

— Один, один... Там — нет никого... — шепчет извращенный любимец, прижимаясь к Ивану.

— Ну, говори, что надо? — тоже негромко почему-то переспросил Иван, крепко охватив одной рукою стан любимца, а другой играя кистями его богатого пояса, словно желая развязать узлы...

Но Басманов внезапно переменял игривое, лукавое выражение лица и плаксиво, чуть не хныча, совсем уж по-бабьи, быстро зажалобился:

— Вот, вот... «Что надо?» Все так думают, что я к тебе, царечек ты мой, только по нужде и наведываюсь... Не от души-де люблю да почитаю так владыку своего земного, как писано есть: и духом и плотию да послужит раб господину своему...

— Так, так... да ты толком говори... Обидел, что ли, кто?

— Долго ли меня обидеть? У меня сердце мягкое, доброе. И красоту мне Бог дал, как на грех... Искушение послано... Вот, Митька Овчинин и стал было шутить со мною шутки негожие... Нахрапом полез...

— Митька? — сжимая кулаки, крикнул Иван.

— Он, он... Да что еще... Когда я погнал его, «прочь, говорю, дай вперед пройти»... На крыльце это было, на твоём, нынче... А он говорит: «Как же! Пройдешь ты, татарская погань, впереди меня! Ты — содомлянин гнусный! Непотребством служишь царю нашему! Я же от знаменитого рода-племени... И деды мои со славой и на прибыток царству служили... и государю моему!» Услыхал я, — ничего не сказал... Может, думаю, сам царь про меня такую славу пустил... А не стерпелось: пришел тебе плакать да жалобиться... Или, может, Митька тебе, государь, меня дороже? Так и отпусти меня лучше... Вон, Саинов батько, Абдала, давно меня в Касимов зовет. Чего-чего не сулит.

И, отирая покрасневшие от слез глаза, в искренней обиде и досаде, стоял этот выродец перед царем.

— Митька? Тебе — в Касимов? Врешь! Покажу я тебе! Нынче ж покажу, кто из вас обоим мне милее. Увидишь. От меня пойдешь, так скажи, чтобы нынче

на вечерний стол Митьку ко мне позвали... Очень-де царь просит милости хлеба-соли откусать... Романеи испить... Хе-хе-хе! Угощу!

Удушенным, больным, разбитым смехом рассмеялся Иван и стал утешать, ласкать гнусного фаворита, который, скрывая свое ликование, продолжал притворно хныкать и томно вздыхать...

Кончился долгий царский день, полный волнений, забот и труда. Обычные гости к царю, на вечернюю пирушку собираться стали. И незаметно шепнул Басманову Иван:

— Сядь, Федюля, рядом с Митькой да поласковой с ним будь, когда стану мирить вас.

— Нас мирить? — капризно начал было избалованный прихлебатель, но Иван только поглядел на него да, палец приложив к губам, произнес:

— Тсс! Молчи, помалкивай...

— Слушаю, государь! — сразу принимая самый раболепный вид, с поклоном отвечал Басманов.

Все уселись уже за столы, когда Дмитрий Овчинин заметил, что рядом с ним пустое место оставлено.

И только что подумал:

«Кого Бог в соседи пошлет?» — глядит: ненавистный ему Федька направляется сюда.

Вскочил было Овчинин, оглядывается: куда бы перейти?

А из переднего, хозяйского угла сам царь заговорил:

— Митя, что вскочил? Али от пира бежать собираешься, не солоно хлебавши? Пожди, посиди... Нонче, глянь-ко, не простая беседа у нас, все гости особливые, знатные... Вон и сам князь Михайло скудной нашей трапезой не погнушался, не побрезговал... Вот спаси ты Христос! Благодарствуй, гость дорогой!

И Иван отвесил поклон из-за стола в ту сторону, где сидел приглашенный к царю князь Репнин.

Тот, не меняя сурового выражения своего открытого мужественного лица, отдал поклон царю и произнес, поглаживая длинную седую бороду:

— Царский позыв что Божий приказ! Так нас отцы учили! Всегда твои гости, и на пиру, и в бою... Все ж надо правду молвить: на бой охочей хожу я, чем на забавы, хоша и твои бы, государские...

— Знаю, знаю... Вон, слышишь, Митя, как старые люди говорят? А ты от хлеба-соли бежать норовишь... Это — не литовцы, право...

— Я, царь, ни от литовцев, ни от татар не беги-вал! — не выдержал и, вспыхнув, ответил Овчинин, опускаясь на место.

Промолчал Иван, потемнело только все лицо у него. Понял царь намек.

А Басманов тут как тут.

— Это, государь, он от меня бежит. Мы с ним у-тром повздорили. Он и ладит не сесть бы со мной... А я и не в обиде...

— Молодец, Федя! — живо отозвался Иван. — По-христиански творишь. Тебя в ланиту, подставь и дру-гую... Лих, я не научился доселе такой великой благо-сти... Ну, слышь, Овчина, хоть ты и собирався бежать от потомка татарского, от Феди, да я помирю вас. Выпьете чару меду сладкого и прю позабудете горькую...

Видя, что Овчинин покорно склонил голову в ответ на предложение мириться, царь подал знак к началу пира. Молитва была прочитана. Блюдами обносить гостей стали. Чаши запенились медами сыченными разными, и крепкими фряжскими винами, и романеей души-стой...

Большие чары, уемистые, наливаются и выпиваются на вечеринках царя. Немало людей, кто послабее, со-знание теряет — и выносят их прочь на свежий воз-дух, для протрезвления, или увозят, полумертвых, до-мой, если не кинут где в углу, чтобы проспались они до утра тут же, на половине дворцовой, особенной, где происходят пирушки...

Быстро охмелел непривычный к вину молодой князь Димитрий. И так благодушно настроился, что совсем примирился с соседом, раньше ненавистным. Шутит с ним, хохочет, чуть что не обнимается.

— Ты прости... Може, я и обидел тебя, парень... Один Бог без греха... — бормочет Овчинин. — Ну, по-миримся, поцелуемся с тобой... Чисто по-братски... А ежели ты скот мерзкий — не мне судить... Бог всем Судия... Поцелуемся...

И целуются они.

А Иван нет-нет посмотрит — и улыбнется кривою усмешкою, которая теперь почти не сходит у него с лица.



лых, грубых гостей. Все хохочут, все довольны... Грубые картины не мутят душу, а вызывают лишь грубую чувственность... От хохота, грохота — стены дрожат!

Весело пир идет у царя Ивана...

Только не все веселы на нем.

Мрачен сидит князь Михайло Репнин. Рядом с ним — тих и сумрачен также, поместился набожный, почти аскет в мирской одежде воина, голова стрелецкий и богатый обыватель московский, Мытнов Молчан. По шерсти кличка дана Молчану. Молчалив всегда; но твердый и правдивый он, отважный в бою, не робкий в миру человек.

Трется у царского стола стольник Ивана, боярин Алексей Басманов, отец развратного Феди, и шепчет хозяину пира:

— Чтой-то, государь, гости твои не больно веселы...

— Кто? Какие?.. — уставясь на Басманова мутным, опьяневшим взором, спрашивает Иван.

— Да вон, гляди: и гостинька редкий, князь Михайло... И соседушка его, холоп Мытнов! За счастье бы почел, что к столу твоему царскому позван. А он?! Знаешь, царь, это все — семя адашевское. Награбили вместе. Теперь, видишь, и кадык поднял: я-ста, не я-ста! А на нас, поди, глядит и твердит: «Скоты, пианицы горькие!» Не ведает, лицемере, кто пьян да умен — два угодьа в том! Дух-то адашевский не вышел из подлых... Дивно, как терпишь ты только, великий государь! Казнить бы ворога твоего явного. И прибытку казне твоей немало стало бы... И тебе избыться лишнего аспида...

— Да, да... Избудемся... Избудемся... Вечер долог еще... Не торопись, пиявушка ты мой... Слуга ты мой верный... Пососешь нынче кровки, пососешь годи! Дай пиру — беседе честной разойтись малость...

И все веселей, все шумней вечеринка идет у царя.

Совсем уже пьян князь Димитрий Овчина молодой. Еле лыко вяжет...

— Федя! — вдруг проносится резкий голос Ивана. — Что ж ты друга нового, соседа милого плохо потчуешь? Гляди, и не пьет совсем... Осовел — сидит. Так не годится у нас. Ну-ка, чашу поуемистей, за здравье за мое!

Подбежал Алексей Басманов с большой чашей — кубком. Иван сам налил туда вина пенного, крепкого... Понюхать — дух перехватывает, не то что выпить.



А сквозь общий гул уже прорезается обычное честование, неизбежное, если блюдом или кубком царь жалуется.

— Жалует царь-государь и великий князь всея Руси Иван Васильевич чарой из его царских рук боярина князя Димитрия Ивановича Овчину, роду князей русских и Оболенских! Пить чару во единый дух за его царский здравие, до самого до доньшка. А кто не пьет до дна — не видать добра! На том и лихо сбудется!

Князь Димитрий еле грузно поднялся с лавки, стоит, руками за край стола держится... Ворот рубахи расстегнут, лицо пылает и от духоты, и от вина. Язык еле во рту ворочается.

— Кланяюсь низко на милости, царь-государь и великий князь. Да я уж тово, — лепечет он, — немоготу! Уволь... Уж попито во здравие твое во царское... Тово... Довольно-достаточно... Уволь, не взыщи... Иным разом.

— Да что ты, очумел! — прикрикнул даже на него Федор Басманов. — Не видишь, царь — ждет, глядит... Нешто можно не пить здоровье царское?

— Да уж принатужься, гость дорогой, — приглашает хозяин, а сам не сводит засверкавших внезапно глаз от Овчины.

— Твоя воля... Што уж... Давай, боярин... — вздохнув с искренним отчаянием, произнес князь Димитрий и с поклоном принял тяжелую, полную чару.

Но едва он поднес ее к своим губам, как сейчас же и отвел...

— У-у, Господи, Владыко Милостивый. Да ведь и не мед это.

— Да и не отравя ж? Право, гость дорогой! Пей...

— Да больно крепка, государь. Этим и начинать бы в пору, а не то пирушку кончать...

— Да уж приневолься...

— Твоя воля! Во здравие царя и государя!

И медленно, с трудом, с передышками, стал пить свой последний кубок Овчина. Но и половины не допил... Задохнулся, закашлялся, отплевываться стал...

— Ой, нет... Умру... Ой, немоготу, уволь, го...гос...сударь! — еле уж лепечет опоенный Димитрий.

— Вот уж оно как! — поднимаясь на ноги, заговорил тогда Иван. И все, кто еще мог, тоже поднялись за царем.

А он, сверкая глазами, но сдерживая еще ярость свою, так и загремел на Овчинина:

— Что же ты, гость дорогой, князьинька милый! Али поруху чести и здравью нашему царскому причинить желаешь? Али явно недоброхотен нам, что чару во здравие наше пить не соизволишь? Так ли мне, государю своему, всего блага желаешь? Тако ли мне, царю, своему милостивцу, любовь и верность показуешь свои?

— Помилуй. Не сердчай, государь... Рад бы я — душа не принимает... Утроба не велит... Больно романея твоя крепка...

— Ин быть по-твоему, гостенька... Я — хозяин не насадливый. Силком не пою людей, хоша бы и за наше царское здравие. Эта чаша крепка для тебя... Ладно... Сам в подвалы в погреба ступай мои... Недалечко тут... Испробуй, нет ли легче, по душе чего? Сам поищи, сам и нальешь себе чару свою! — каким-то загадочным жестким тоном произнес Иван и в ладоши хлопнул.

Ключник и еще один из ближних слуг царевых, которые наготове стояли, сейчас же подошли.

Шепчет им что-то Иван.

А Дмитрий стоит, низко кланяется, улыбается всем своим юным, пылающим лицом и лепечет:

— Вот спасибо... Вот царь... Вот милостивец... Сам тамо я уже погляжу... Чего полегче... на прохладе... Да и пройдуся, обеет малость... Две чары тогда за здравие твое... Уж поверь... Я ли царю не слуга...

И, шатаясь, поддерживаемый двумя спутниками, вышел он из покоя, где душно и шумно так, где копоть и чад от светильников еще больше кружит охмеленные головы...

Ничего не набросил князь молодой на себя, в рубахе, как сидел, так и вышел по переходам в небольшой внутренний дворик, где был вход в ближние погреба царские.

Свежий, ночной февральский воздух сразу благотворно подействовал на отуманенную голову Дмитрия.

Ярко светит полная луна, бросая длинные тени по талому снегу, которым покрыт весь дворик. Мягко ступает нога... Вот распахнулась тяжелая дверь подвальной, вошли туда все трое. Спустились вниз. Обширен, удобен царский дворцовый подвал. Бочки рядами стоят, сидоры, сулеи огромные, кувшины высокие с вина-

ми дорогими, заморскими. На каждом сосуде хартийка привешена: когда привезено, сколько было всего вина, когда, кому бралось и поскольку...

— Ну что же, где у вас послаще что? Полегче? — спрашивает ключника Овчинин.

— Здесь, подале, княже... — отвечает тот. — Вот, в этом бочонке. Налить? Али сам потрудишься?

— Постой, я попробую... Сам нащежу сперва...

И нагибается князь... А третий спутник уже за спиной у его... Петля мертвая ловко и сразу на шею князю наброшена... Затянут конец, навзничь упал Овчина от толчка, глаза из орбит выходят... Крикнуть, позвать на помощь... Но горло тесно перехвачено... Ни звука не вырывается оттуда, хрип один...

Руками оттянуть бечеву... Но петля так и врезалась в шею, и все глубже, глубже врезается... В борьбу бы вступить с палачом... Но тот далеко стоит, только конец аркана затягивает, причем все грузное тело юноши скользит по влажной земле... И руки Димитрия, бесплодно, нелепо сделав несколько взмахов в воздухе, вдруг задержались, словно от судороги... Заплясали и ноги. Лицо, раньше багровое, теперь синеть начало, указилось на гримасу сладострастия... Еще два-три хриплых звука, две-три судороги, и князь затих, выпив последнюю чару свою, чашу мучений, до дна!

А наверху пирушка веселая идет, шумит, продолжается без конца. «Столованье» государственное кончено. Лишние столы убраны или в углы сдвинуты, блюда с яствами унесены: в соседних горницах челядь Иванова, все прислужники остатки доедают, опивки глотают... А царь и гости его пьют без конца, на скоморохов глядят, забавляются; с девушками сенными шутят, которых Иван приказал позвать, песни чтобы петь да играть игры вольные... И среди девушек сенных, среди бабенок веселых, которые у царя под видом дворни содержатся, — ходит одна странная, невиданная... Женоподобный красавец, Федя Басманов, — подсурьмился, подбелился, подрумянился; как заправская щеголиха того времени, в богатый сарафан нарядился, в душегрею, кокошник вздел с фатой полупрозрачную и толкается между народом, наглый, бесстыдный, зазывающий... Грудью задевает, плечом трется, бедрами вертит — совсем как бабенка, от вина и страсти ошалелая...

Любо Ивану, шутит он с бабенкой невиданной, щиплет ее, хлопает, грубо стыдит, заигрывает... А Басманов визжит и хихикает гадким, пьяным бабьим смешком.

Скоро новая забава ввалилась в покой: обычная тройка скоморошья, масляничная — медведь, коза в сарафане и поводырь.

Радостно встретили любимую, наивную забаву пьяные гости, которые еще не свалились от хмеля под столы и под лавки широкие... Прошла обычная интермедия, пляс веселый идет. К нему все остальные шуты и скоморохи примкнули. У многих диковинные машкеры-личины вздеты, которыми не зря безобразные, пьяные лица свои прикрывают распутники. Ведь не одни холопы кабальные скоморошничают: бывает, купчик молодой, богатый, сын боярский, скучающий, — и они на масляной к скоморошьим стайкам пристают, по домам шатаются, ради житья веселого, ради бабьего да девичьего погляденья... Только лицо свое прячут...

И словно шабаш дикий затеялся, когда все эти люди со звериными, свинными, львиными харями, с арапскими, эфиопскими, татарскими личинами пустились в дикий, неистовый пляс. А среди них Басманов, девица красная, вихрем носится...

— Стой! — кричит хозяин. — Федюля, пройдишь разочек... Безо всех пройдишь!

Бесшабашный плясовой мотив смолк, оборвался вдруг, сразу... Домры, балалайки и дудки тихо, мерно наигрывают, словно песню выговаривают:

По улице мостовой  
Шла девица за водой...

И девица-выродок, Басманов, плавно, с платочком, грудью вперед, на пальчиках, как заправская плясунья, ходит в медленном танце перед восхищенными пьяными зрителями, которые стонут даже порой от удовольствия, грохочут от смеха при ином особенно удачном или вызывающем движении бесстыдного плясуна, даже в такой тихий скромный танец умеющего вкладывать грязный соблазн.

Чуть только начал плясать Басманов, к царю подошел палач-слуга, который ходил в подвалы с несчастным князем Димитрием, и шепнул одно слово на ухо государю.

Иван вздрогнул, дал знак слуге уйти, вскочил с места и возбужденным голосом крикнул:

— Федь! Я с тобой в чету становлюсь... Слышь: «За ней парень молодой...» — лихо подхватывая слова песни, запел Иван. — Чем я не парень? А?! Да личину мне позабавней давайте... Вот эту! — сорвав с головы скомороха, стоящего рядом, харю арапа, решил Иван и надел маску на свое лицо. — И все, гости милые, все вы — хари, личины надевайте... Все — скоморохами станем, плясать пойдем... Веселье так-то... Чтобы лица человечьего, подобия Божьего — и не видел я сейчас. Ну же, гости дорогие...

И, кинув такой приказ, пошел в пляс с Басмановым, который теперь просто из себя выходит, стараясь быть попривлекательней, позабавней, изгибается, вьется, носится по дощатому помосту, словно по льду скользит... И танцор державный, хозяин ласковый, лихо пляшет с этой лукавой тварью, с развращенным приспешником.

Недолго плясал Иван. Хмель дает себя знать даже такому мощному человеку, каков сам хозяин пирушки. Упал он на лавку, развалился, сидит, смотрит на остальных... Все нарядились, пляшут, шумят, хохочут, с девками шутики шутят вольные, не стесняясь людских очей... Все — свои здесь... Чего же стыдиться? И вдруг, еще не глядя в ту сторону, почувствовал Иван справа от себя: кто-то глядит на него...

Маску, от которой душно стало, сорвал с себя царь и прямо на лице почувствовал чей-то взгляд.

Обернулся — и побледнел. Сидит в углу, в стороне старец седобородый, князь Репнин; лицо скорбное, глаза широко раскрыты и, должно быть, — слезы на них... Близкое пламя стоящего на столе, перед князем, трехсвечника словно искрами загорается, отражаясь в раскрытых глазах Репнина...

Слезы? Сейчас? Здесь? По ком? По Овчине ли? Или по душе самого Ивана? Не смеет плакать никто! А этот... святоша, ханжа, силвестровец — меньше всех!

И поднялся Иван, «харю» в руке держит, нетвердыми шагами идет к Репнину прямо.

— О чем горюешь, князь, на пиру на моем на веселом? Вон и очи в слезах... Не по душе ли Митькиной?

— Нет, государь... Не по ней... Жива душа князя Димитрия...

— Жива ли? А вон сейчас шепнули мне: в погребу нашем — упился вконец, в вине утонул... Как пишут сказание про одного дуку англинского... В «нетях» твой Митенька. Истинно говорю. Молись за упокой души княжича.

Ничего не сказал Репнин, вздрогнул только и, широко крестясь, стал шептать молитву. А слезы еще быстрее покатались по щекам, по седой бороде.

Вздрогнул и Мытнов, сидевший совсем в тени, неподалеку от князя, и тоже стал креститься.

— Вот теперь хоть есть тебе плакать по ком, княже! — продолжает между тем Иван. — А раньше кого же оплакивал? Скажи. Правду только... От нас не по-тай...

— Всю жизнь я по правде, государь, жил... А перед царем и подавно! Образ Божий — царь на земле... Душа не велит таиться от него... По тебе я плакал... Образ Божий мрачишь, государь! Хари вздеваешь на главу помазанную, на лик свой царский пресветлый. Со скоморохами, с блудодеями пляшешь. По душе твоей — моя душа слезы льет. Прости, государь...

— Вижу, вижу: прямой слуга наш царский — князь Репнин. Режет правду-матку в глаза, хошь и колется правда его. Да не все и прав ты, старче. Нет укора царю, что бы ни творил он. Лебедь белый в каку бы грязь-тину ни попал — окунется в воду студеную, в окиян-море, — и снова снега белее, чище золота... Знаешь ли, князь?

— То — телесное осквернение, наружное царь... А ты — душу свою сквернишь...

— Этим-то? Личиной-то ничтожной, руками скомороха сотворенной? Стыдись, князь. Поумней тебя я чел... Веселье не во грех и не в осуждение... Ты — больше гресишь, что царя своего осудил, когда он по трудах, по заботах царских, усталый от борьбы с вами же, с крамольниками, сердцу волю дать пожелал, в веселье позабыться хочет... И не иначе откупишься за вину, если сам эту личину взденешь и плясать с нами пойдешь... Ну-ка, живей...

И он протянул князю свою маску.

Ни слова не отвечает старик, стоит, опустья очи в землю.

— А! — сразу меняя легкий, глумливый прежний тон на иной, суровый и зловещий, заговорил Иван. —

Сам — не хочешь? Слову царскому не повинуюешься? Так я же силой заставлю тебя...

И, двинувшись вперед, он начал своими руками надевать маску на лицо Репнина.

Живая статуя ожила.

Сильным движением вырвал старик у Ивана из рук маску, швырнул на пол, ногой придавил и, подняв гордо седую, львиную голову с растрепавшимися прядями серебристых волос, задыхаясь, заговорил:

— Царь... Негоже... негоже творишь... Не будет надо мной такого бесчиния... Безумия не сотворю... Я — советник, воин, думный боярин твой... Защитник земли... А не скоморох и блудодей позорный...

И замолк, тяжело дыша...

Замерли все кругом давно уже столпившиеся вокруг князя и царя гости, и слуги, и скоморохи царские.

Ждут: что будет?!

Первым движением — к поясу дернулась рука Ивана. Да нет там оружия... И столы опустели от ножей... До крови закусив губу, стоит Иван, в глаза глядит дерзкому. Не опускает глаз своих и Репнин. И вдруг потупился Иван, глухо проговорил:

— Добро... Ин пусть тако будет... В моем же дому гости-рабы поносят хозяина...

И снова молчание.

Но и Репнин, и все прочли приговор у него на лице.

— Царь, отпусти меня, молю! — мягче теперь, примирительным звуком заговорил старик, понявший, что и он погорячился. — Поздно уж... Прости старика, Христа ради для... Отпусти! Вон к заутрене скоро ударят... Домой бы заглянуть мне... Скинуть прочь одежду эту грязную, запоганенную... В чистой к Богу прийти хочу. Прости, государь...

— А ты мыслишь еще, княже, что после слов твоих, после того, как руку ты на нас, на царя своего, поднял, — живым еще выпустят тебя отсюда? А? Скажи, князь...

— Твоя воля, государь... Выпустят — все равно, не уйду никуда. Твердо памятую: жизнь наша в руцех Божиих... В церкви всегда найдут меня... Нет мне теперь путей иных... Враги не грозят земле... Так в церковь мне и путь-дорога одна... И домой потом!

— Ин добро! Правда твоя: такие, как ты, княже, не бегают. Терпок ты, да не лукав... Ступай, помолись, бо-

ярин, в последний раз... Благодарствуй на слове смелом да искренном...

— Не на чем, государь!

И, отдав поклон, вышел Репнин, минуя толпу людей, пораженных всем происходящим. Не ожидали они подобного исхода!

Но едва переступил Репнин порог, сопровождаемый особым спутником, без которого никого не выпускали с пирушки царской, едва начался прежний разгул и гомон, как царь мигнул князю Михайле Черкасскому:

— Гей, шурин...

Тот подошел, пьяный, черный, зверообразный.

— Нынче — поздно, гляди... Не успеешь... Завтра — людей изготовь... Где придется, пораньше, как в церковь пойдет старик этот дерзкий, схвати его... В «мешок» его, как хочешь там... Но чтобы больше не видал я его никогда!

— Ладно, государь... А там — и на двор к нему, для обыску, заглянуть можно будет?

— Э, как хочешь!

И, досадливо отмахнувшись рукой, Иван вернулся к свосму месту, взял в руки оставленный здесь посох царский, воткнул его стальным острием в доски пола и, подперши подбородок руками, глядеть стал на общее беснование, сразу потерявшее всю прелесть в глазах обозленного Ивана.

Отец и сын Басмановы подсели сейчас же к царю. И один из Захарьиных, Василий Юрьев, тут же.

— Заскучал, царенька! Ишь, старичишка поганий, как огорчил государя мово желанного! — начал было Федя.

Но Иван сидит, словно и не слышит слов наложника.

— А слышал я, — заговорил отец Басманов, — за такую поруху имени царскому и величеству его — казни дают самые жестокие.

Молчит, не откликается Иван.

— Да уж последнее дело, если гости хозяина, государя своего, в его же дому поносят... Вот, слышал я, фрязин один мне сказывал, — заговорил Василий Юрьев, — у галльского круля, что помер, почитай, в тот год, как царю нашему на царство сесть время пришло... когда преставилась великая княгиня покойная... Лудвих Первый-надесять он звался...



— Ну, знаю! — отозвался заинтересованный Иван. — Так что же фрязин твой сказывал?

— А у Лудвиха того самого так же вот крамола промеж дуков, дворян да советников его старых пошла... Когда землю, не хуже вот тебя, царь, — собирать он вздумал, порядок заводить...

— Ну, знаю, знаю... Все знаю... Дале что?

— И удумал Лудвих: ото всех, от старых, от супротивных вельможей отделаться захотел. Они там — свои дела делают, земские и ратные, как он же им прикажет, по-старому... А что новое хочет завести — новых людей набрал... Особо и зажил с ними. Что велит, вот, как ты нам, скажем, — то и сделано. *Опричь* царя никого те люди не знали. И берегли его от всяких врагов. А царь за то и жаловал их сверх меры...

— Опричь царя? Опричь круля своего Лудвиха. Знаю... Слыхал и я... Стой, стой! Как же мне доселе невдомек... Правда... Старых — не переделаешь... И без них — не проживешь же пока. Давно я то говорю... А ты сейчас... Надоумил ты меня... Спасибо, Вася... Сам не знаешь, какую службу мне да царству всему, всей земле оказал... Жди награды великой.

Просиял Захарьин, который неспроста здесь, в вихре беспутной вечеринки, зародил в голове царя мысль о новом деле великом, о московской опричнине.

Сидит, задумался Иван. Собеседники — не тревожат царя: ясно, что не до них Ивану.

Вдруг шум за дверьми раздался. Вернулся провожатый Репнина и Молчан Мытнов с ним.

Подошли оба к Ивану.

— Что такое? Что надо? — словно просыпаясь, резко спросил тот, уставясь на обоих воспаленными глазами.

— Да вот, государь, — заговорил привратник, — князя ты выпустить повелел. А этот — за ним увязался. Тоже домой, вишь, просится. А я без приказа твоего...

— Вестимо. Никто не смеет раней нас с пиру уходить. Не водится того. Молчанушка, аль ты не знаешь? И то, редко видим мы тебя на беседе веселой нашей. А слыхал пословицу: насупился молодец, зная, худое в голове... Аль не любо и тебе, как князю Репнину, глядеть на забаву нашу царскую? Так он — князь; хошь и дальний, да кровный родич наш... А ты? Что же мол-

чишь? Аль и виниться не хочешь, холоп? Все молчишь? Эй, чару сюда! Самую большую... Пусть все осушит во здравие наше, за поруху свою негожую...

Подали ту же самую, широкую, полную вина чашу которую перед смертью не допил никак Овчинин.

Но Мытнов и не принял ее. Поняв, что выхода нет, что он без вины осужден — и погиб, как осужден Репнин, как погиб сейчас князь Димитрий, о смерти которого успели все провести на пирушке, — Молчан решил хоть одно совершить перед смертью: кинуть в лицо кровопийце свой последний упрек.

— Слава царю-государю! — громко, твердо проговорил он и сильно отвел от себя поданную чашу левой рукой, так что половина влаги расплескалась на пол и на одежду пролилась чашнику, подносившему вино. — Слава владыке нашему милосердному! — правой рукой касаясь земли, повторил Молчан.

И, выпрямляясь быстро, продолжал среди зловещей тишины, воцарившейся в покое:

— Воистину, царю! Возлюбил ны, рабы свои! Ничего не жалеешь для слуг своих верных... Как сам упиваешься, тако и нас принуждаешь, окаянных, пити мед твой крепкий, мед, с кровию братьий наших, христиан православных, смешанный... Слава тебе, госу...

Но он не договорил...

Блеснуло что-то в воздухе... Поднял руку Иван, быстрее молнии — и острый конец жезла, «осно» самое, с ужасной силой вонзилось в горло Молчану... Кровь так и хлынула из раны широкой струей, когда мгновенно выдернул Иван жезл из раны и готовился второй удар нанести. Но этого не пришлось: Мытнов так и рухнул, лицом вниз, задев ноги царя головой, залив потоком алой крови его одежду и помост кругом.

Отодвинулся невольно Иван, но снова поднял руку, чтобы, сверху вниз, второй удар нанести... Вдруг за окнами прогудело в воздухе, пронеслось — разлилось волною что-то, как вздох могучий, как восклицанье тяжкое, громкое... Это — пронесся первый удар колокольный с ближайшей звонницы кремлевской и полетел, замирая, далеко в свежем, прохладном предрассветном воздухе...

Остановив руку с жезлом на полпути, царь уронил губительный посох, взглянул в передний угол, на иконы, и, зашептав молитву, стал осенять себя истовым,

размашистым крестом... И все сотворили крестное знамение.

— Убрать... вон... за порог долой пса этого... — распорядился Иван.

Пока двое прислужников волокли полумертвого Молчана во двор, где и добили его, царь обратился к присутствующим:

— Простите, гости дорогие... Не обессудьте! Угостил, чем мог. Теперь — на молитву пора... Ступайте... И я скоро приду... А вы... все прочь! Сгиньте, окаянные! — прикрикнул он на шутов, скоморохов и бабенок, которые, дрожа от испуга, уstraшенные смертью Мытнова, столпились в углу, словно стадо овец беспастушное...

Как ветром вынесло всю челядь из покоя... Гости — тоже расходились не мешкая, без-излишних прощаний, только поклон земной отвесив царю...

— Ты, Федюля, проводи меня... Отдохну малость... Да переоденусь тоже... для храма Божия... — обратился Иван к Басманову-сыну. — Ишь, кровью на кафтан брызнуло.

И, опираясь на плечо переряженного любимца, пошел в свои покои неверным, колеблющимся шагом. Хмель и кровь совсем опьянили его.

Но все же, придя в свою опочивальню, прежде всего достал из ларца Иван сверток особый, недавно заведенный, где записывал имена всех казненных, — и неверной рукой стал выводить: «И Димитрия... и... Молчана... и... Михаила... — подумав немного, приписал Иван, а сверху вывел: — Овчина, Мытнов, Репня, князь...»

— Как же, царенька? — раздался приторный, гнусный голос Басманова. — Откеда Михайло взялся? Ну, Митрий... сказали мне, как упоили голубчика... Ну, Молчан... Энто сам видел... А князь Михаила ты же здрава и невредима отпустил... Почто же причисляешь его к лику праведных? Хи-хи-хи! — довольный собственным шуткой захихикал Басманов.

— Сам он причислил себя... Не все ли равно? Заодно уж... Ныне ли, после ли? Слыхал, чай, и сам он догадался: «Не уйду!» — говорит... И не уйдет... Никто из крамольников — рук моих не уйдет... Аспиды проклятые... Так пусть красуется загодя... Не придется лишний раз — столбца доставать, в ларец лазить... Это

ведь не к бабе за пазуху? А, Федюха? Как думаешь, краса моя писаная?

И он, притянув к себе Басманова, неверною рукою стал срывать с него фату и весь женский наряд...

После блестящей, но единичной удачи с Полоцком, который был взят у Литвы при участии самого Ивана, — военное счастье в эту пору словно совсем отвернулось от царя, потерявшего душевный покой и семейное счастье.

Литва — с Крымом, со своим исконным врагом и опустошителем, сноситься стала, с султаном в переговоры вошла, шведов в союз вовлекла... Мир с Литвою, или хотя бы перемирие, пришлось Москве заключать. Ряд поражений потерпели русские войска, начиная с битвы на реке Уле, где пало трое воевод-князей: Петр Шуйский и двое Палецких, а других двое: Захар Плещеев да князь Охлябинин — в плен сдались.

Свара с боярами и воеводами все жарче разгоралась. Вельможи пытались заступиться один за другого, а Иван еще грознее карал заступников, видя в их возмущении — бунт против его власти, от Бога данной, по наследству от предков полученной. И нужны были воеводы для борьбы с внешними врагами, и не верил им Иван... Всегда не верил... А тут — еще бежавший Курбский подлил масла в огонь.

Только вышел Иван ранним майским утром из покоев, чтобы в колымагу сесть, ехать к Троице-Сергию, — как подвели к самому крыльцу стражи дворцовые какого-то человека, в пыли, усталого...

— Кто такой? Что надо?

— Не говорит, государь... Все тут тискался... Неведомо, каким путем и пришел во двор царский... Спрашивал, допытывал-допытывал: скоро ль ты, надежда, выйдешь, пожалуешь? Обыскали: нет при ем такого ничего... Как сам прикажешь? Допросить али пустить?

— Оставьте... Я знаю его... Ты, Васька? Я — у князя Андрея... у пса забеглого, у отъезжика-Курбского видал тебя... С ним, сказывали, и на Литву ты бежал, холопской ради верности... Што, али по Руси скучился? Али домой захотел? Или про хозяина имеешь сказать вести новые? Говори, мы слушаем... Вы, подале отойдите... — приказал окружающим Иван.

— Имею сказать, государь! — с поклоном ответил Васька Шибанов, глядя в лицо царю. — Только не тоска-засуха, служба господская привела меня в Москву. Вот, приказал князь, господин мой, в руки тебе, государь, цидулу его передать нарочитую...

— А-а... давай, давай... Что пишет князь? Уж не с товинной ли ползет собака к старому хозяину? Так погоди еще. Давай, подавай-ка послание! Где оно у тебя?

— Вот, государь! — рванув подкладку у шапки и доставая оттуда сложенный кусок пергамента, произнес Шибанов. И, с новым поклоном, протянул письмо князю Черкасскому, стоявшему между ним и царем на всякий случай.

Иван быстро выхватил сверток из рук шурина, взглянув на печать, увидел, что хоть и помята она дорогой, но не тронута. Быстро сорвал шнурок и стал читать. С первых же строк лицо царя, веселое и довольное раньше, потемнело. Жилы на лбу кровью налились, все черты лица так и задергались. Читает, губами шевелит. Даже пена проступила на них от внезапного прилива ярости. Остановился скоро, руку с письмом опустил, а рука ходнем так и ходит... Другая рука, в которой неизменный, неразлучный с царем посох-копье находится, так острием жезла и пронзает доски крыльца.

— А поди-ка поближе сюды к нам, гонец-посланец... Что тут писано, — знаешь ли?

— Не отопрусь, знаю, государь... Не потаил господин, с какой эпистолией шлет меня...

— Знаешь? Знаешь? — зашипел Иван.

И вдруг, вытянув конец жезла из доски, куда тот был вонжен, поднял и опустил его прямо на ступню Шибанова, который не на коленях, по-холопски, а стоя, смело говорит с царем.

— Ох, Господи! — невольно вырвалось из груди у того. Но он не двинулся с места. Только слезы, против воли, слезы, вызванные мучительной болью, покатались по запыленному, загорелому лицу верного слуги и, капая вниз, смешивались с тонкой струйкой крови, которая стала просачиваться из пробитого сапога, из пронзенной ноги холопа-мученика.

А Иван приналег всей грудью на посох, близко придвинул свое яростное, потемненное лицо к побледневшему лицу Шибанова и спрашивает:

— Поди, чай, не один у тебя и список был? Не ты один и гонцом погнан? Еще иным многим людям цидула эта ныне уж ведома, передана?

— Верно, государь... Гонцом — я один взялся быть... А здесь пришлось уже кой-кому такие ж эпистолии пораздать: знали бы люди, что тебе, царю, господин мой, князь пишет...

— Так, так... Друг ты, выходит, князю верный, не простой гонец ото пса забеглого. Ну, коли одни люди знают, пусть и все другие слышат: что холоп — царю своему пишет. Не потаимся. Сказано же: кто к небу восплует, на лицо тому же слюна его, злоба отрыгнутая вся падет. Читай погромче, дьяк...

И передал царь одному из сопровождавших его дьяков письмо Курбского.

— А ты, Васенька, тоже послушай постой... Лишний разок оно пригодится тебе...

Глядит на бледного Шибанова и улыбается.

Тот головой поник, зубы стиснул, чтобы не закричать по-бабьи, себя, господина своего не осрамить. Знал ведь, на что шел. Чего же тут выть, молить да жалобиться.

Стоит и молчит, чуя, как все глубже в ногу острие жезла вонзается, кости дробит мелкие, мясо рвет... Вот и подошву прошло, в дерево врезалось... А там, погода немного, — чудо Божие! — не слышит уж и боли никакой Шибанов.

И голову поднял, и губы не кусает. Лицо — спокойное, ясное, словно не он к полу жезлом пригвожден, как Христа римляне ко древу пригвождали.

А Иван, опершись на свой жезл, стоит, слушает, что читают, сам глаз не сводит с холопа и злится, отчего не видно муки на лице у смерда предрезкого.

Ярко сияет майское солнце с небес, озаряя всю картину.

Дьяк громко, мерно читает послание:

«Царю, от Бога препрославленному, паче же православием просиявшему, ныне же, грех наших ради, — сопротивно прежнего ставшему! Да уразумеет он совесть прокаженну имущий, ему подобного же ныне и в землях безбожных языческих не обретается... Но всего не стану глаголати даже. Толико, гонения ради твоего царского, как искал ты мне и у покрова моего, у круля повредить, — скажу тебе, мало потщуся изрещи ото

всего огорчения своего сердечного! Почто, царю, сильных во Израиле побил еси? И воевод, от Бога данных, ты различным смертям предал еси? И святую кровь их, яко недавно кровь князя Репнина, — в церкви Божией на очах митрополита-владыки, — пролил еси?

Чем провинились перед тобой, о царю! Чем прогневляли тя, христианский предстателю? Не они ли прегордя царства бусурменския разорили и покорили тебе? А ране — праотцы наши тем, неверным агарянам, работали, дани несли!

Сам Христос — Судитель меж тобой и мною. Коего зла и гонения от тебя не претерпех, коих напастей и бед не воздвиг на меня еси! Не испросих, не умолих тя слезным рыданием, ни ходатайством архиереев-заступников...

Кровь моя, аки вода, пролитая за тя в боях, вопиет к Богу — на царя моего! Потрудишься много, всегда за отечество свое стоях, мало мать свою зрех и жены не познавая... Всегда в дальних градах против врагов твоих ополчахся и нужду терпех, и нужды, им же Христос свидетель. И ранами учащен, сокрушено язвами все тело мое, но тебе, царю, все сие — аки ничто есть... Одну ярость и ненависть лютую являешь к нам! Не в похвалу то реку. Да буди тебе, царю, ведомо: не узришь в мире лица моего до дня преславного явления Христа-Спасителя... Но и молчати не стану! Со слезами стану до скончания века вопиать на тя Пребезначальней Троице... И не я один, вси, заточенные и прогнанные тобою, избиенные тобою, — они на небе, мы — на земле, — к Богу вопием день и ночь... Мучишь ты род христианский, ангельский образ попираючи, силой во схиму, в монастыри заточаючи, чин монашеский налагающе, подобно отцу своему... И ласкателей слушаешь своих, губителей души и тела своего... Они ведут тебя на дела Афродитские, детьми своими, паче жрецов Кроновых, — жертвуют тебе, дух твой развращаючи... Особливо — боярин твой, христианский губитель, от блуда зачатый, богоборный антихрист, Олешка Басманов, синклита твой, иже от прелюбодеяния рожден есть, как всем то ведомо! И шепчет ложное в уши царю, и льет кровь христианскую... И много уж выгубил! Не пригоже таким потакати, о царю! Сам ты, развращенный и прелукавый, к ранним грехам юности своя обратился. Прескверных парази-

тов и маньяков собрал к себе, како были у ты в юности — Бельский с товарищами богомерзкими, прегнуснодейными... На его место — Федька Басманов ныне... Вспомяни, царю, те дни минувшие, когда блаженно царствовал, при Сильвестре — отце нашем! При советах его... Очутися и воспряни! Многое нам зде приходящие от земли твоей поведали... Девиц, глаголют, чистых четы собираешь, за собой и на войну и всюды подводами их волочишь... Нещадно чистоту их растлеваешь... И другое многое слышно... Не губи себя и дома своего! Прибегни, царю, к раскаянию. Бог не отвергнет тебя... И Петр апостол, согрешив, со слезами покаялся... Мудрому — довлеет!

Аминь!

Писано в Вольмере, граде государя моего, Августа Жигимонта короля, от него же надеюся много пожалован и утешен быти ото всех скорбей моих, милостию его господарскою, паче же — милостию Божію, яко есть Он всем скорый помощник и утешитель!

А еще помяну: затворил еси царство русское непохвальным обычаем. Заградил свободу людям, яко души грешныя затворены в стенах адовых. И кто бы из земли твоей поехал до чужих земель, — ты называешь того изменником... А изымают его на пределе твоём — и ты казнишь смертями различными, яко изменника, то забываячи, что поневоле принуждены были крест целовать, обычай московский знаючи: кто присяги государю не даст, — горчайшею смертию умрет. О себе же поведаю! Тогда уж мнение твое грядущее на мя угадал, когда сестру мою насиліем от меня взял за того же брата, Володимира, коего мы словно на царство хотели... А еще выдумал, что царицу у тебя очаровано и тебя с ней разлучено... И от кого же? От святых мужей, правота коих — сама речет за себя! Не устранился ты притчи Хамовой. Блаженного Сильвестра, исповедника и отца своего, так облыгаешь! Может ли что прегнуснейшаго бысть? Не он ли грехи твои все на своей вые носил? Победы принес тебе сей священнослужитель, не глядя, что казнил и наказывал тебе сурово о неподобных делах твоих. Исайя же пророк писал: «Лучше лоза и жезл приятеля, нежели ласкательные целования вражии...» Помяни те дни светлые и воротися к ним! Ласкатели твои клеветали на старца, что утаивал он ты не истинными, но льстивыми видениями... И я глаголю:



воистину, лстец он был, коварец и — благо кознен при всем том. Понеже взял тя, исторгнул из сетей адовых и ко Христу-Богу привел... Так и врачи премудрые творят: дикия мяса и неудобьцелимыя гагрины<sup>1</sup> бритвами режут, а потом — заживляют недуг, когда до живаго тела дойдут... Так и сей Сильвестр-пресвитер творил над тобою... Но умолчу дале, ради сокращения писанейца сего... Не хочу бо, раб убогий, с твоею царскою высотой свáрится...

Андрей Курбский, князь Ковельский».

Замолк дьяк.

Тишина кругом. Слышно, как кони царские пофыркивают, воробьи щебечут, в пыли купаются.

С ближней площади кремлевской — голоса и гомон доносится.

Иван, протянув руку, взял у дьяка письмо, сам глядит все на Шибанова. Тот стоит — шатается, обессилен от потери крови и сразу, как мешок, осел на помост крыльца.

— Уберите-ка гонца! — вытаскивая острие жезла из ноги, произнес царь. — Да на ноги поставить его поскорей; лекаря, что ли, к нему послать. Он — живой мне надобен...

И прошел вперед.

Быстро оправился Шибанов, на другой же день — и в застенок, на допрос попал... Но никакими муками ничего не вызнали у несчастного больше того, что он царю сказал. Так и умер он под пыткой...

Более месяца прошло со дня смерти Шибанова.

Июльская знойная ночь парит над землей.

В селе своем Коломенском от летней жары спасает-ся государь.

Все спит кругом. Сторожа лишь порой перекликаются. Залает собака на селе, далеко — и смолкнет. Петух протяжно, звонко запоеет — и стихнет!

Ему рядом другой откликнется... Дальше, все дальше их перекличка звонкая пойдет, пока в самых дальних деревнях, вокруг царского села раскинутых, в не-

---

<sup>1</sup> Гагрин — гангрена.

больших поселках окрестных — последние, еле слышные зовы петушинные не протянутся... Не то — птица прокричала, не то в лесу — эхо слабое, еле внятное, отдалось... А там — с воды гоготание гуся сонного поднимается. Ему вся стая гусиная откликается, словно людная толпа — речью перекинется. И снова мертвая, немая тишина. Простор и полутьма, пронизанные лучами полной луны, которыми сыплет она с чистого неба на целый спящий мир.

Близко рассвет. Все спят. Не спит один Иван в своей прохладной светелке, в опочивальне летней.

Сидит перед столом, в легком кафтане из канауса, подбитом пестрядью домотканой. Сидит — и читает длинный свиток, лежащий перед ним. А порой возьмет перо и поправляет в нем что-то.

Это — ответ царя на письмо Курбского, на дерзкое, неслыханное послание, какого ни один из царей русских не получал еще от подвластных своих, как бы знатны те ни были!

Оно бы и не подобало царю на лай раба отвечать. Да натуру не переделаешь. «Первый ритор в премудрости словенской», царь Иван IV упустит ли случай разбить врагов и на письме, как на поле брани порой разбивал?

И, развернув свою заветную книгу, которую думал вместо завешания детям оставить, стал он выбирать оттуда и прилаживать одно к другому все, что могло покрыть стыдом голову Курбского и всех крамольников царских.

Не трудна работа... Но все-таки больше месяца ушло на нее. Тем более что захотел царь свой ответ изукрасить и мудростью церковной. Книги священные стал пересматривать, Апостолов послания, и Златоуста, и отцов церкви. И те фолианты, — историю царей, — которые он часто у Макария читал, а теперь по наследству от покойного старца в дар получил...

И выводил потом строку за строкою, в свободные часы, — даже не раз пирушки отменяя ради письма ответного-заветного. Чертит Иван четкие строки, а сам вдаль глядит, словно заранее увидеть душою желает, как смутится, как посрамлен будет Курбский, прочитав витиеватый ответ царя, полный укоров и улик тяжелых...

Тут же, на столе, лежит и послание князя. Порой и

в него заглядывает царь, чтобы убедиться, что ничего не забыл, на каждую строку возразил этому наглому холопу, который ни умом, ни саном, ничем не смеет равнять себя с Иваном, Московским царем, всея Руси, милостию Божией...

Макарий, умирая, последнюю услугу оказал царю. Хлопоча у патриарха Константинопольского о венчании Иоанна IV на царство, митрополит вывел его род, через Рюрика, от Прусса, брата императора Августа... Иван сам скоро поверил шаткой выдумке. И тем надменной и нетерпимей стал. Тем больше показались ему уколы опального князя... Сам патриарх вселенский, хоть и за большие жертвы, но признал Иоанна царем, защитой всех восточных христиан, Москву «Третьим Римом» величает...

А смерд окаянный решается?!

И мнутя, шуршат под пальцами царя края широкой, длинной ответной хартии.

«Бог наш Троица, иже прежде век бывший и ныне есть, Отец и Сын и Святой Дух, им же цари царствуют и властители пишут правду. Се пишем мы, великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, Низовской земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, государь отчинный и обладатель земли Лифляндской немецкого чину, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея Сибирской земли и Северной страны повелитель — бывшему нашему боярину и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому».

Так начинается послание царя. Но зная, что не один Курбский читать будет хартию, не везде придерживается одной истины державный сочинитель.

Всю нагую, жестокую правду написал он там, где перечислить захотел страдания, испытанные им в юности, где пытался изобразить вины бояр-расхитителей наследия Иванова, разорителей всей земли. Здесь — и происки дядьев Ивана отмечены, и измены бояр... Только касаясь самого Курбского, Сильвестра и Адашева, вышел из рамок справедливости Иван, написал, может быть, то, в чем сам не был твердо убежден.

Проглядывает обширное послание Иван, а порой и вслух перечитывает особенно удачные, по его мнению, места. Отправлять надо скоро письмо... Посол московский в Литву едет. Он и передаст. Да переписать придется несколько копий. Себе оставить, боярам здесь раздать, чтобы знали, как посрамил царь своего хулителя! Да и за рубежом, где, наверно, Курбский свое послание широко разбросал повсюду, — надо тем же холопу отплатить...

И постепенно, с одного конца сворачивает, разворачивает с другого длинную хартию и скользит по строкам глазами Иван.

«...Аще праведен и благочестив ты еси, по твоему гласу, почто убоялся неповинныя смерти, коя не смерть для души, но спасение? Апостол Павел же рече: «Всяка душа владыкам предвладующим да повинуется, несть бо владычества, еже не от Бога учинена есть! Противится кто власти — Божию повелению противится!

Како же не усрамишься раба своего, Васьки Шибанова? Он, благочестие свое соблюдая, перед царем и передо всем народом, при смертных вратах стоя, ради крестного целования, тебе данного, не отверг господина своего, но похвалял тебя и всячески за тя умереть был готов... Ты же — и того не сумел! Единого ради слова моего гневного душу свою погубил и души всех прародителей своих, кои за себя и за сынов своих присягу отцам нашим давали на верность вечную... Ты все забыл, собацким изменным обычаем, бегуном сделался...»

Читает Иван, а сам думает:

— Нет, не понять души холопшей. Не вернется он ко мне. А если бы?..

И пальцы шевелятся, крючаты у него от предвкушения: что можно бы сделать тогда с изменником!

«...Оттого ли моя совесть прокаженная, что царство свое в руках держать захотелось? А работникам своим владеть мною и царством не давал? Так изначально самого — российские самодержавцы владеют сами всеми царствами, а не бояре и вельможи у них, как в иных странах языческих... Мог ли я под властью попа, тобой помянутого, и под вашим злочестием — самодержавцем быти? И не восхотел я пребывать под вашей властью, сгубить себя не дал... Что же, собака, пинешь и болезнуешь о злобе своей? Вспомни из царей великого владыку, царя Константина. Царства своего ради и

во спасение земли от сына убил единственного своего! И во святых почитается Давид-царь, а не оный ли Иевфусеев всех побивать велел, кои не признавали его царем... Могут ли я вас миловать?

Лучше ли есть, когда царством поп, невежа обладает, а злодеи, изменники ведомые — царем повелевают? А сам знаешь: поп тот и прегордые, лукавые рабы владели, а я, царь, одним председательством и царской почестью величаем был... Властью же истинной — всякого раба похуже. А как ссадил я приставников и пестунов — все оттого и приключилось. Помнили бы, злодеи, что и в Ветхом Завете, и в Новом писано, и в Греческом, и в Римском царствии было? Илие-пророку не далось царство, но юному царю Давиду... Августа-Кесаря держава, сынам поделенная, хоть и полсвета объяла, а распалась и скудность приняла. Также и Италийские владыки, и царствие Греческое преста быти, междоусобными бранями растленное... А вы того ж для Руси хотели?! Ино дело — власть святительская, ино — царская... А и то бы, собака, рассудил: три патриарха собрались со многими святителями, нечестивому царю Феодосию многословный свиток написали, но таких хулений не изрыгнули в письме, тебе подобно, хоть и нечестив был тот царь...»

Тексты священные пестрят письмо... Их пропускает Иван.

А вот еще место... Надо перечесть...

«Не судьями и воеводами земля правится, в Божиим произволением. Нет правды в земле — и правители бессильны. Если же мы воевод своих многих различными смертями казнили, так помимо вас, изменников, множество есть и других таковых же у нас... А жаловать своих холопей мы вольны... А и казнить их — вольны же! Облыгать же нам слуг своих — не из чего. Есть их, что ли, живьем я собираюсь? Власти ли их желаем, рубища ли их жалкого? Царские, свои есть недостатки у нас. Про наш век хватит...»

— А и возьму что у рабов? — думает Иван. — Так свое же назад отберу. От меня и от отцов моих полученное или наворованное... Ну, далее... Где тут про Адашева? А, вот...

И он опять стал проглядывать хартию...

«...Алексей же, ваш начальник при дворе нашем царском, в юности нашей, не вем, каким обычаем из

батожников, из челяди водворился. Измены от вельмож наших видя, взял я его из гноища, поставил наряду с вельможами, верной службы чая... И честью, и богатствами одарил не только его, но и всех сродников его... И какую службу прямую увидел от него? Сейчас поведаю...

С Сильвестром сдружился Алексей. Потайно от нас стали они советы держать... Честь у нас отняли... Новых людей, молодых детей боярских стали в честь вести... Вотчины наши отцовские, родовые — по ветру раскидали, по рукам роздали, друзей себе созидая... Повсюду — властями угодников своих поставили... И все по своей воле творили! Аз же, что и на благо скажу — все неладно им было! Все-де я развращенно и строптиво советую... И так — до спания моего и обуви самой — во всем я им покоряться повинен был... Кто же хоть малость доброхотен нам, или покорен — тому гонения. Кто нас раздражит, утеснит ли чем — тому богатство, честь и слава! И ото дня до дня росли такие утеснения мои... И мне толковано, будто все сие на пользу мне, а не их лукавства ради!

Когда же захворал... — даже негромко, но вслух стал читать Иван, подойдя к самому больному месту для себя, — почли вы с попом Сильвестром и с начальником вашим, Алексеем, что уж не жить нам на свете... И тут от упоения самовластного восшатались, яко пьяные...

Когда же оздравели мы — злоба ваша не престала... И на царицу нашу, Анастасию, злобу воздвигли и гонение лютое... Когда же изменник старый, собака, Ростовский князь Семен литовским послам порочил нас и бежать хотел, а мы не казнили, только с глаз сослали его, поп Сильвестр и с вами, злодеями, того собаку в великом бережении держали... И все твердили, яко согрешений наших ради — болезни на нас, на царице и на чадах наших приключаются... Ради моего непослушания вам... И вспомнить тяжко горькое возвращение мое на Москву с недужной царицей из Можайска, без молитв божественных, без лекарей в помощь... Когда же отошел от двора поп Сильвестр, никого сперва я казнью не коснулся...

Лишь когда стали вы против меня больше стоять и измену творить — я захотел вас воле своей покорить, хотя бы и кровавыми казнями... Бояре же крамольные,

кои царя, Богом данного, на троне рожденного, отвергли, преступив клятву, зло всякое нам и дому нашему творили, словом, и делом, и умышлением, ужли они не стоят казней?

А и с женою моею про что вы меня разлучили? Не отняли бы у меня юницы моей — и не было бы жертв Афродитиных, и юношеских игр Кроносовых... В чем теперь упрекаешь меня — одно скажу: все мы люди, все — человеки!

Только не мните сызнава устрашишь меня, как поп Сильвестр и Алексей прежде сего *устрашали меня страшилами вздорными, детскими!* Минула та пора...»

Много еще тут написано и про *мнимые* заслуги воевод царских, а Курбского — в особенности... Про разные подвохи, им учиненные...

Вот и конец близко...

«...Лицо же свое, пишешь, не покажешь нам и до страшного суда? — так кто захочет такое эфиопское лицо видети!» — прочел и плюнул даже Иван...

— Аспид... Ехидна... Воистину, лик эфиопский...

И, dokonчив читать, он начал выводить под письмом: «Писано в нашей великой России преименитом, царствующем, престольном граде Москве, в лето от создания мира — 7072, июля в пятый день...»

Прочел Иван, бесконечно длинное, умно и сильно составленное обвинение врагов, а свое оправдание — и задумался...

Чувство удовлетворенного авторского самолюбия, сладость мести, хотя бы и такой неполной, как это жгучее письмо, — эти ощущения смешиваются с иными... Курбский, один из вернейших до сих пор, один из самых близких по крови и по положению, — бежал, нарушил присягу. Не выдержал грозы, поднятой во спасение рода царского самим царем, и бежал. Мало того: свершил неслыханное дело — привел литовские войска на Русь... И теперь вот осмелился, как правый и равный, писать царю, корить его, грозить... Грозить ему, могучему, беспощадному, грозному... Да, чувствует Иван, что он — грознее всех: грознее деда и сурового отца своего... Казалось: растет и ширится, незыблемо стоит власть царей московских. А вот какой-то Курбский... Нет, не один Курбский... Он — плоть от плоти, кость от кости всей темной, старобоярской и княжеской толпы, которая с немым осуждением, как Репнин,

или с дерзким вызовом, как Мытнов, глядит теперь на царя... Одного казни — десять новых займут место казненного... И борьба идет без конца... Правда: народ за него, за Ивана, за царя, взявшего Казань, взявшего Астрахань, повоевавшего Ливовию... Но народная толпа непостоянна... Две-три неудачи — и нового кумира изберет она...

Надо вызнать хорошенько, что думает народ? И уйти поскорее да подальше от попов, от бояр. Тогда только избавится душа Ивана от мучительного страха, каким исполнена с той самой минуты, как на крыльце, при всех, прозвучало это проклятое письмо далекого, ненавистного врага. Убийства тайного, восстания открытого — всего теперь ждет и боится царь.

Отравлены его радости, испорчены пиры, ужасны дни, мучительны ночи темные. Вот почему сейчас, окончив чтение, прижался в кресле царь, как будто ожидая удара сзади. Бледный, затаив дыхание, раскрыв широко безумные свои глаза, сидит Иван и боится с места тронуться, к постели боится подойти, пока в окно не прольется первый луч рассвета, вступая в борьбу с мерцающим, красноватым сияньем восковых, нагоревших свечей...

## Глава II

### ГОД 7073 (1565)

Николин день, 6 декабря, царь приговорил провести в селе Коломенском. Неохотно, вообще, и зимою теперь оставался он в Кремлевском дворце, из которого раньше только летом выезжал. Новые привычки Ивана требовали большего простора, какого не могли дать высокие стены садов и строений царского дворца, возведенного среди людных площадей и улиц кремлевских. Как ни таись, — все, что здесь творится, — выплывает, словно масло на воду, становится достоянием толпы народной, предметом осуждений и кривотолков людских.

Да и слишком много печальных воспоминаний пробуждают в душе царя стены, предметы, все, что он видит в старом дедовском и отцовском жилище. Тяжелые эти воспоминанья, пугающие, кошмарные образы и те-



ни хоронятся по темным углам покоев, мелькают и скользят по извилистым переходам... Из подвалов — какие-то стоны доносятся... Правда, в «мешке», в подземной темнице каменной, которая у Аргамачьих дворов устроена, под стеной городской, — там немало несчастных сидит... Стонут, гляди, воют, Бога и Дьявола призывают себе на помощь, на гибель царю, ввергнувшему их сюда. Но Аргамачьи конюшни — далеко! До покоев царя никакой звук не может оттуда долететь, от самых ворот, от Троицких. Кто же стонет и где, не давая уснуть царю?

Или шутки опять это чьи-нибудь, как тогда, на Воробьевских горах, Сильвестр с Адашевым устраивали? Нет! Никто, кроме царя, этих стонов не слышит; никто не знает про них и страхом владыки не пользуется. Льстят перед ним; наушничают все друг на друга; телом и душою готовы платить за каждую подачку царскую. А пугать, в руки брать властелина, пользуясь непонятными стонами, — никто не думает.

И не говорит Иван о ночных этих столах даже лекарю своему, с которым часто советуется о своем здоровье. Что-то странное творится с царем. Пустая, хоть и грязная хворь, захваченная Иваном от татарок еще под стенами Казани, — там же скоро излеченная, — опять вернулась к нему. Невоздержанная жизнь — помогла недугу. Медленно, но верно стал он расти...

— Родительских соков дурных много в тебе, государь! — толкует лекарь. И как-то опасливо покачивает головой, словно хочет сказать что-то и боится.

— Все говори, не бойся! — приказывает царь.

— Надо сказать... В кровь и в кости хворь твоя прошла... Надо сильнее за нее взяться... Не то — кончишь и ты свои дни, как покойный родитель твой...

Вздрогнул Иван.

Заживо распадаться?! Нет, это слишком страшно. Теперь умереть, когда ничего еще из задуманного не сделано? Когда и за сына не спокоен Иван: удержит ли Ваня трон за собою по смерти отца? Десять лет всего царевичу — и никого вокруг. У самого Ивана — княгиня-мать была, к правлению — привычная, сильными людьми окруженная. А теперешняя царица, черкешенка, Темгрюковна? Что знает она? Кто встанет за нее? Захочет ли сама она бороться ради пасынка, ради чужого ребенка? Что смогут сделать для племянни-

ка — ненавистные всем, всех ненавидящие и труслые Захарьины? Эти и тысячу других, не менее жгучих вопросов давили душу, мозг Ивана, доводя порою чуть не до безумия. Для леченья, которое, по словам врача, будет тяжело и продолжительно, и для осуществления своих последних, заветных замыслов, — порешил царь выехать из Москвы.

Зима тот год стояла теплая. Вообще, густые северные леса, покрывавшие тогда, словно шубой, Россию — делали сноснее климат средней ее полосы. Больше влаги и тепла сохранялось в воздухе круглый год. Не говоря ни слова никому о цели поездки, 3 декабря 1564 года, огромным поездом тронулся Иван из Кремлевского дворца.

Знали бояре и народ, что царь собирается престольный праздник Николы зимнего встретить в храме села Коломенского. Но если оттуда вернется он назад, — зачем такие сборы великие? Зачем этот поезд большой, словно царь снова на ливонов, за рубеж отъезжает?

Так думал народ — и волновался.

Бояре, воеводы — те еще больше волновались, так как узнали кое-что позагадочней.

Чего ради Иван изо всех соборов кремлевских, из моленных, крестовых палат и часовен дворцовых — забрал кресты с мощами и чудотворные иконы, золотом и камнями дорогими украшенные, в золотых ризах? Все забрал, какие только числились за великими князьями Московскими, в числе их родового наследства... Мало того. Из кладовых церковных и монастырских, из тайников, обширных, глубоких, устроенных под башней, которая к Москве-реке глядит, выбрать царь велел все сокровища, казну и вещи, которые хранились там от пожаров, от нашествия вражеского, неожиданного... Сосуды золотые, серебряные и иные, платье царское узорчатое, парчовое и шелковое, уборы и меха — тоже взял; сотни саней нагрузил, все за собой увез... А кто из бояр, дворян и ближних приказных людей сопровождал Ивана, тем велено целым домом ехать, с женами и детьми, со скарбом со всяким, словно на переселение вел их царь.

Одних коней за царем и его провожатыми — гонят целый табун, голов в тысячу! И коров ведут... Мелкий скот тянется... Совсем переселение Израиля из земли Иудейской в землю Ханаанскую.

Глядит Иван на все в окна своей колымаги — и

сердце радуется. За много дней — впервые вздохнул свободно больной, усталый, измученный человек. Правда, измучен он по своей вине не меньше, чем по чужой. Да ему не легче от того, еще тяжелее...

А народ глядит, поклонами провожая поезд царский, и думает:

— Быть худу... Быть бедам!

Бояре — ту же горькую думу думают.

И не ошибся народ, не ошиблись бояре.

Отпраздновали Николу зимнего, а царь и не думает в Москву возвращаться. Ждет чего-то. По направлению к Троице и дальше, за Троицу, к Александровской, далекой, крепкой слободе велит коней выгонять, подставы готовить.

Вьюги разыгрались зимние, метет метель, пути снегом засыпает, избы — доверху заносит. А на реках полноводных — кой-где не совсем и укрепнуть успел еще наст, кора ледяная... Ждет чего-то царь, дожидается. Неделю, и другую... Из Коломенского в Москву и обратно каждый день с вестями и слухами люди разного звания скачут, едут и пешком идут. Иван все слухи разузнает. Сам, при помощи приспешников своих, такие слухи сеет, какие ему на руку.

И больше всего прошел по Москве один слух: царь-де узнал про великую, про новую измену боярскую... Затеяли бояре на Москву татарина неверного, Крымского хана назвать, чтобы Девлет-Гирей грозного судью ихнего, Ивана, в плен захватил, Владимира посадил на трон Московский и всея Руси, и стал бы получать с Москвы тяжелую дань, непомерную, какую Русь Батыю платила...

Замутилась Москва... По ближним городам — смута пошла. По церквам молебны служат, плач раздается! Умягчил бы Господь сердце царя! Не дал бы царь земли в обиду, оборонил бы от бояризменников...

Попы, более ясно понимающие дело, близкие к боярам, на которых, очевидно, направлен был удар грозного, загадочного царя, — попы повсюду стали было умолять чернь...

— Чего мятетесь, безумцы? — толковали они — Ну, уйдет Иван Васильевич, государь, — настанет иной у нас царь, Владимир Андреевич, того же корню царского... Боярам и воеводам — хозяин милостивый,

вам — властелин добрый, врагам — покоритель скорый. Он же и под Казанью себя показал, и в Ливонах сколько неверных люторов поборол..

Но народ, обычно веривший попам, несмотря на бесчинства и невежество многих из ихней братии, — теперь и слушать не стал увещаний..

— Знаем мы новых царей... Знаем правду боярскую... Видели ее, пока малолетен был царь Иван... И чужие нас били, и свои трепали... Только с боку на бок поворачивайся. Один и есть царь у земли, великий князь Иван Васильевич, наш, московский... А при Владимире, гляди, Старица либо Новгород сызнова нос подымут, нас зашибать станут. Не надобно нам новых! Царь наш Иван, великий князь Московский... А речи попов — облыжные... И сами же они — изменники!

Так толковали между собой москвичи и пригородный люд. А чужаков — псковичей, владимирцев, новгородцев — и в кулаки принимали, если те, чуя смуту, пытались хоть слово против Ивана сказать...

Известно это стало царю. И все тверже зрело решение его, крепла дума, недавно задуманная. Вот только болезнь и непогода мешают... Лечение такое — ванны да припарки горячие. Оне, говорит лекарь, дурные соки из тела гонят. Мазью какою-то красной растирают тело больное. А потом сажают в горячую воду ароматную. И внутрь что-то дают. Декоктум. Вязкий, противный, горький и соленый такой. Морщится, пьет, все терпит Иван. Окрепнуть бы скорей! До цели похода добраться бы, карты свои раскрыть и наверняка обыграть бояр-противников...

Да, наверняка! Народ подал свой голос за царя, а это все, что Ивану и надобно...

Две недели прошло. Стихли вьюги. Морозцы легкие пошли. Дорога чудная стала. Лекарь говорит: надо на недельку отдых дать телу. Не сразу болезнь гнать, не то очень потрясется все тело... Тем лучше. Дальше в путь выступил царь.

В Троицу заехали. Там помолились о здравии Ивана, — и снова в путь.

Доехали до села Александровского, — остановились. Жизнь закипела, работа... На долгое житье здесь все устраиваются.

Митрополит Афанасий, преемник Макария, архиепископы все, пребывающие в Москве, не вытерпели,

послали к царю грамоту: пусть де успокоит их царь... Как его отъезд понимать?

— Болен я! Так и передайте отцам святым! — отвечал Иван посланным боярам. — Лечусь... Лекарства нужны мне особые. Излечусь — снова на Москву буду. Не исцелюсь, — Божья воля.

Передали в Москве гонцы двусмысленный ответ царя и ничем не облегчил он всеобщего смущения, уныния и страха!

Только через месяц, 3 января 1565 года — загадка разъяснилась.

В шумный базарный день — воскресный — по высокому горбатому мосту, перекинутому через Яузу, показалась кучка всадников, гонцов царских. Легко их узнать по шапкам с красным верхом, по одежде богатой, воинской, по окрикам грозным:

— Прочь с дороги! Вести царские!

Сторонится народ, чтобы не попасть под копыта скакунов, под удар тяжелой плети... Но сейчас же кидаются следом люди; кто на конях, те вдогонку скачут... Каждому хочется узнать поскорей: добрые или худые вести от царя пришли?

И все узнали.

Стотысячная толпа быстро сбежалась в Кремль. Здесь объявлено было, что из села Александровского две грамоты царь прислал: одну — на имя митрополита — духовенству и боярам; другую — люду московскому, гостям торговым, ко всему христианству православному, ко всей земле. На площадях, на перекрестках стали читать эту грамоту. Пишет царь, чтобы народ в сомнение не впадал, беды пока не грозит никакой. Не гневается на них царь, опалы не готовит. Все дело — в измене боярской, про которую и написано ныне отцу митрополиту.

Содержание второй грамоты тоже скоро стало известно. То был длинный список обид и измен, причиненных боярами Ивану и семье его за все года и все дни; список, подобный письму, посланному князю Курбскому... И дворецкие, и конюшие, и окольничии царские, и дьяки, и казначеи, и дети боярские и приказные, — все не по правде служили-де царю и земле! Казну земскую и царскую убыточили, земли — расхищали... За собой и за друзьями своими — поместья и вотчины царские держали, доходы собирали, получая и от царя

жалованье; богатели сами; а о царе и о тяглых, простых людях — ничуть не думали, угнетали народ! А захочет царь бояр, воевод или приказных, крючкодеев своих наказать за худую службу — остальные стеной встают, мешают царю, своих покрывают... Лихоимцам и взяточникам — суда даже не было! Царь земле указы да льготы давал, а начальство — нарушало их, скрывая слово царское.

«И от великой жалости сердца, не могли столь многих изменных дел боярских терпеть, порешили мы, отче-владыко, оставить свое государство, поискать поселиться инако где-либо, хотя и в чужих краях, где Бог наставит». Так заканчивал свое послание царь.

Эта грамота, которую народ узнал и подкрепил взрывом сочувствия, громкими рыданиями и стонами по обиженном царе, вечном защитнике и друге народа, она явилась смертельным ударом уже подкошенному боярству и всемогущему раньше клиру монахов и священнослужителей; она создала в народе, на много веков вперед, убеждение: «Царь льготы дает. Дворяне да подьячие — скрывают эти льготы!»

Удар был нанесен мастерски! Теперь и подумать никто из бояр не смел — предложить народу избрать иного царя...

Нет! Народ кинулся к митрополиту... Рыдания, вопли носились над многотысячной толпой.

— Горе нам! Согрешили, видно, окаянные... Прогневили государя... Милости его великие — обратили на гнев. Он ли нас, простецов, от бояр не боронил? Суд давал скорый и правый. К очам своим царским легко допускал! Самим в углах своих управляться дозволил, без насилия злого, наместничьего... Кто нас помилует? Кто избавит от нашествия ворогов? Како стадо без пастыря? Волки только и ждут того, чтобы нагрянуть... Скорей, отец митрополит, умоли государя воротиться, гнев на милость переложить! Бояре, воеводы, подьячие — изменники! Пусть их и карает! Мы ни при чем! Злодеев головой царю выдадим. Своими руками переведем их.

Так говорил народ, так говорили выборные «лучшие люди», посланные в Думу к боярам, к митрополиту.

А стрельцы, ратники и младшие воеводы? О них и говорить нечего. Никто так не умел привлечь к себе людей, если хотел, как Иван своих ратников.

— Пусть велит государь! — шумели стрельцы, чернь и купечество московское. — Своими руками на ключья разнесем лиходеев царских... А нам за них — не погибать же!

Отсутствующий Иван страшнее оказался недругам его: попам, боярам и дьякам, чем даже был, пока сидел в Москве. Царь сам указал народу на преграду, стоящую между троном и землей: на чиновный, служилый люд того времени.

Исход понятен.

В селе Александровском скоро к ногам Ивана упали все: митрополит, духовенство, бояре, воеводы, выборные от Москвы, ото всей земли — и молили униженно вернуться на трон. А условия? Пусть царь диктует!

Он продиктовал.

Те, что были с ним, да еще другие люди, из близких, которые в Москве оставались, способствуя видам Ивана, всего тысячи две человек — составили новый, исключительный двор царский, всем знакомую «опричнину, новый, дворовый царский обиход».

Двор кремлевский в Москве оставался по-старому. Хотел царь — туда мог вернуться. Но к царю в село без зову — никто не смеет ни ногой! От земли, на расходы, из большой земской казны было взято сто тысяч рублей единовременно, на подъем новому двору царскому. Это по-теперешнему — около двух миллионов рублей. И для дальнейшего содержания Иван взял, отделил от земли двадцать городов «опричных», с волостями, с доходными статьями всякими. Чтобы своих доходов с великокняжеских земель родовых не тратить на новый двор, а копить казну детям и внукам. Весь строй земли остался без изменения, как его и раньше Иван уложил: в земстве остались десятичные, пятидесячные, соцкие, городовые приказчики (потом городничие). Дальше шли дворские приказчики, целовальники земские, вроде коронных судей, и «лучшие люди», как бы присяжные заседатели и судьи... Губные старосты, сословные головы по выбору от обывателей, затем — наместники от царя, тиуны-сборщики, наместники-волостели... Все осталось. И если царь раньше заявил, что бояре изменяли ему, изменяли народу, — теперь, когда царю предоставлена полная власть и простор, не стоит смещать этих бояр, да и нечем их сразу заменить. Новых «служилых людей» — еще мало. Страх

послужит виновным вельможам во исправление. Так думал народ и успокоился. Иначе полагал Иван... Но он скоро выказал свою заветную думу.

Отныне царь считал себя лично безопасным в далеком дворце, Александровском, среди людей, преданных ему, давших клятву, страшную клятву: отца и брата резать, если царь глазом мигнет! И, смело опираясь на народ, опираясь на сознание бессилия, выказанное боярами и попами так явно, — царь принялся потоками лить кровь крамольников, это «старое вино», которым не хотел наполнить новые мехи государственной русской жизни, где старый дружинный уклад отныне заменялся самодержавием. Период опричнины врезан страшными чертами и в память народную, и в историю. Тяжек для земли был «крамольный» недуг боярский; но лечение оказалось еще ужаснее.

Мимо да идут эти ужасы!

Страшный, изможденный болезнью, лишенный волос на голове и на бороде, вышел к послам земли Иван, едва сойдя с постели, в которой держал его врач, — и продиктовал свои условия просителям, пораженным и нравственным ужасом, и пугающим видом царя.

— Вот что сделали со мною крамолы ваши! — не утерпел, с укором произнес Иван и поспешил свалить на плечи бояр-врагов даже последствия своего гнилого недуга.

Приказал, чтобы дела шли покуда своим чередом, ему докладывать только о переговорах с чужими властями, о делах войны и мира да о великих земских делах. Первым в Думе царь повелел быть своему ближнему другу, астраханскому царевичу Саину, или Симеону Бекбулатовичу. И предан царевич Ивану искренно, всей душой, и в то же время не запятнал себя теми жестокостями, которые — царь это знал — в глазах земли и народа делали отверженниками всех остальных, окружающих царя ближних слуг, бояр и князей, теперь названных «опричниками».

Но Ивану даже нравилась всеобщая к ним ненависть. Она мешала его опричникам, этим новым преторианцам, — покинуть своего вождя и перейти на сторону земли. Так гораздо спокойнее царю... Пусть оп-



ричина опасает «земских людей», пусть земщина ненавидит «опричнину».

А царь будет самовластно править ими, согласно старому, верному правилу хозяйской мудрости: «Всех перессорь, сам поживись ото всех!»

Как только дело это было улажено, начались казни, казни без конца... Дня не проходило без пыток...

И какие пытки! Вот краткое свидетельство о них летописца-современника: «И были у Иоанна мучительные орудия, сковороды, печи раскаленные, бичи жестокие, ногти железные, острые, клещи раскаленные, иглы для вонзания под ногти людям; резал он по суставам людей, перетирал, перепиливал веревками надвое не только мужчин, но и женщин из благородного сословия и много еще пыток было у него для осужденных...»

Двенадцать лет длилась гроза... 6000 человек уместилось на бесконечном свитке Ивана, кровавом Синодике, по которому должны были монахи белозерские молиться за упокой души «убиенных» — тех-то и тех-то...

Так успел выполнить свой грозный, губительный план мести — Боголюбивый раньше, теперь — Грозный царь Иван Васильевич... Быстро редели ряды людей, давно намеченных им, ряды врагов самодержавия.

Но, наряду с печальными и однотонными событиями внутри государства, где Иван дорушивал древний, великокняжеский, удельный и вечевого уклад, — совершались иные, более разнообразные и не менее важные для земли и для бояр события за пределами России.

### Глава III ГОД 7074 (1560)

Крым и Литва — вот кто теперь был опасен царству. Ливония также заботила Иоанна.

Придравшись к своему родству с князем Темгрюком Черкасским, будто для обороны тестя, приказал Иван на Тереке «город», крепостцу поставить, стрельцов астраханских и казаков украинских в городке том посадить.

Затревожились крымцы. Года три тому назад, при помощи богатых даров и подкупов удалось Москве по-

лучить от Крыма «шертную» грамоту, мирный временный договор. И, надеясь на безопасность Украины от татар, Иван все пограничные южные войска мог двинуть на борьбу в Ливонию и в Литву, у которой даже взят был Полоцк...

Тогда напуганный Сигизмунд-Август прислал даров вдвое больше — и хан крымский, нарушив перемирие, неожиданно напал на окраину русскую, появился под самой Рязанью.

Беспутный, злой, но храбрый воевода Алексей Басманов с сыном Федором, — которых Иван наскоро послал устроить оборону города, пока подойдет подмога из других городов, — оба они собрали ратников — рязанцев, вооружили боярских детей, горожан, купцов и успели отбить первые приступы татар. А там, заслышав, что близко войска московские, хан ушел назад. К нападению на Русь подбивал хана не один король. Новый «хункер» — султан турецкий Солиман II, проведав, что на Москве сейчас разлад пошел, вздумал отнять у Иоанна оба мусульманских юрта: Казань и Астрахань, и поручить их тому же хану Девлету. Но крымцы боялись своих единоверцев турок больше, чем Москвы. Султан давно жар загребал чужими руками, подбивал ханов на войны с христианами, а все плоды этих тяжелых походов, вплоть до пленников, забирал себе...

И Девлет старался только искусно лавировать между другом — султаном и врагами — Польшей да Москвой: как бы первому отдать поменьше из того, что выжмет из вторых... А выжимать удавалось прекрасно...

Пользуясь каждым случаем, видя, как важно для враждующих христианских государств невмешательство хана, Девлет нагло клал свою саблю на весы, между Русью и Литвой, и спрашивал:

— Кто даст больше?

Но, узнав, что Иван подбирается даже к Тереку, хан не на шутку озлился.

Много лет жил в Крыму посол московский, боярин Нагой, наружно — хлопоча о заключении вечного мира, а на самом деле — стараясь вызнать слабые стороны врагов, язык и нравы которых прекрасно изучил, подкупать которых мог щедрою рукою, когда это требовалось...

Хан призвал Нагого и заявил:

— Плохо делает твой царь! Вечного мира просит, а

наших мусульманских юртов нам не отдает. Поминки присылает легкие. Дани прежние не платит... И приговорили со мной все салтаны-царевичи, карачи, князья да мурзы и вся земля: «Мириться нам с Москвою никак не возможно... С царем помириться — значит, круля ему головой выдать! Сейчас царь завоюет Киев, станет по Днепру города строить и до нас доберется... Нам тогда Москвы не избыть. Ничего, что царь мурзам и мне поминки посылает, шубы дарит. Вон и казанцам тоже шубы дарились, а теперь — Казань к Москве отошла! Так нечего московским шубам радоваться...» Вот что все в Совете говорили... Да еще причина: теперь твой царь на Тереке город ставит... Так и Шамхальское ханство, и Тюмень всю возьмет.. Ты скажи: города бы он не ставил! И Астрахань с Казанью вернул бы. Да поминки большие, старинные, Магмет-Гиреевские давал бы... Тогда помирюсь... Иначе, горы золота давай, миру не быть! Из-за пустого мне с султаном не пригоже ссориться... А он — тоже велит Москву воевать.

Кое-как, подарками и посулами удалось Ивану оттянуть нападение крымцев на рубеж. Но успокоиться царь уже не мог.

С Литвой не лучше дело шло.

Дальше Полоцка не пошли завоевания Ивана. Да и то, как он узнал: шведы и крымцы — готовы прийти на помощь Литве; все средства пущены в ход, чтобы заставить русские войска убраться из Ливонии, уйти из Литвы, тогда, пользуясь временной удачей московских воевод, разбивших войска Литвы под Озерищем, под Черниговом, — с помощью нескольких православных литовских воевод, подкупленных московским золотом, решил Иван заключить мир лет на десять, на пятнадцать с Литвою.

Дело сперва наладилось. По обыкновению, послы московские запросили гибель уступок, «без которых и о мире нельзя-де говорить!». А свели все к одному Полоцку с пригородами и требовали, чтобы Литва отказалась от своих недавно приобретенных прав на Ливонию.

Усталая от войны, Литва готова была на уступки.

В Москву явились «большие послы» литовские — гетманы Тышкевич и Хотькевич.

Нежданнные вести, негаданнные объявили они. Ко-

роль и паны все, ближняя рада литовская — согласны на мир, вернее, на продолжительное перемирие, уступая Москве завоеванный Иваном Полоцк и все города внутри Ливонии, с тем чтобы Русь не двигалась там дальше, ближе к морю.

— Вот уж того не может стать! — ответил Иоанн. — Море нам нужно. Пускай Ригу отдадут да Ревель. Мы взамен всю Курляндию крулю уступим, без слова единого! Да по ту сторону Двины — границу хорошую Литве дадим, чтобы и впредь — споров не было!

На это гетманы, как они уверяли, не были уполномочены, снялись и уехали. Но почин был сделан. Иван решил немедленно своих полномочных послов отрядить на Литву, кончать с королем насчет Ливонии и повета Полоцкого.

— Так и время не затянется! — толковали в московской Думе бояре. — Не успеют поляки с германским императором и с крымским ханом столкнуться путем. А русские войска тою порою изготовятся к большому походу на Ливонию...

— Мало того, бояре! — возразил царь. — Надо ныне же накрепко порешить: мир или война с Литвой? Дело-то надвое класть не приходится! Много уж крови пролито, много казны ушло... Вон и земля жметя; жалобы я слышу: война тяжела-де! Надо о деле о великом всю землю спросить.

Не хотелось бы боярам земщину серую в дела государские путать. У вельмож это честь отымет, черни — новую силу придаст! Да — *царь сказал...* А времена такие пришли, что с ним много не потолкуешь... Сказал — исполнять надобно!

Поскакали гонцы-бирючи во все концы земли, звать выборных лучших людей на совет к царю... Ни земским боярам своим, старинным кривотолкам, продажным изменникам, ни молодой опричнине, служащей из корысти и страха Ивану, царь в глубине души не доверял. Захотелось ему узнать всенародное мнение.

Глас народа — глас Божий! Этот один завет из всех заветов Сильвестра и Адашева, преподанный тогда еще, когда не вмешались они в свару боярскую, — он один и уцелел в душе Иоанна. Видел царь, что не терял никогда, обращаясь прямо к народу. Не потеряет, наверное, и теперь.

Трех недель не прошло, стали в Москву съезжаться выборные люди ото всей земли. Из духовенства, кроме митрополита Афанасия, собралось девять архиереев, четырнадцать архимандритов и игумнов и девять старцев благочестивых, своим подвижничеством в целом народе прославленных.

Бояре, окольные, казначеи городские и царские: земские, государевы дьяки, дворяне первых родов, дети боярские и дворяне помельче, второй статьи, особенно соседние с Полоцком, помещики повета Луцкого и Торопецкого, дьяки и приказные люди всех родов, гости торговые и купцы свои, московские, лучшие, и смоленские обыватели, знающие новый, царем завоеванный край, — все съехались понемногу... И сейчас же, собираясь по чинам, о деле стали толковать.

Много собраний было, много споров-перекоров, и шуму, и гомону! Наконец на обширной площади кремлевской, у места Лобного, собрались земские послы, ждут появления царя. Веет ветерок майский, свежий и ласковый. И все-таки пот катится ручьем по красным лицам у взволнованных, непривычных к своему делу земских советников. К тому же наряжены они в лучшие наряды свои, в дедовские, тяжелые, в кафтаны расшитые, иные и в шубах жалованных... Пусть знают люди: не кто-нибудь это, а слуга верный, среди многих отличенный! Духовенство стоит на особом помосте. Бояре — на другом. Дворяне, окольные на конях сидят.

Грянул звон колокольный. Царь показался, подъехал. Слез с коня, прошел на свое место царское, минув ряды склонившихся в земном поклоне советчиков земских. Идет он не прежней быстрой поступью; тяжело ступает, медленно. На жезл окованный, людям и заглазно знакомый, опирается. Согнулся стан под тяжелыми ризами. Еще не оправился царь после недуга последнего. Да и жизнь, которую ведет теперь государь, — не красит она людей. А без веселья дикого в свободные часы не выносит жизни Иван.

Борода и волосы — снова отросли у царя, но нет уже прежних темных кудрей... И борода — жиденькая выросла, какая-то клочковатая. Брови совсем нависли над глазами, которые нездоровым, странным огнем горят и все по сторонам бегают, словно отслеживают кого или заглянуть каждому в душу хотят... Кто встретится с упорным, тяжелым этим взглядом испод-

лобья — невольно опускает глаза, а сердце сжимается от ужаса, словно на мертвеца ожившего глядит человек, на вурдалака опасного. Не человеческий взгляд стал у Ивана. Только губы, полные и красиво очерченные, по-прежнему улыбаются порой. Но бледны они и слабо искривляются от улыбки, а не раскрываются с веселым смехом, по-старому, непринужденно, широко.

Сейчас старается царь принять поласковее вид. Но не вполне удастся ему попытка. Глубокая складка меж бровей, и эти брови, никак не умеющие расправиться, — омрачают они веселую, ласковую мину царя, как тучи грозовые осенние мрачат синее, ясное небо...

Осень жизни, ранняя осень настала для царя. Сам он это чувствует.

Поклонясь на все стороны, Иван заговорил.

Но слабо, глухо, хрипловато звучит когда-то мощный и звонкий голос. Его тоже болезнь подкосила...

Все-таки внятно довольно проносится над толпой каждое слово царя. Да выборные и раньше знают, что скажет царь. Мало кто перед самым днем сейма прибыл. Большинство давно на Москве живут, успели узнать, о чем речь будет. Как отвечать им надо? — тоже столковались... Но все по порядку должно пойти.

Царь говорит:

— Король, брат наш, Жигимонт-Август хорошие вести прислал, думает мир делать на долгие годы. И немалые нам уступки чинит. Юрьев и земли тамошние ливонские, что к рубежу к русскому подошли, наши оне остаются. Полоцк — нашим же будет, как повоевали мы его своею царскою рукой. И вверх по Двине, на пятнадцать верст, и вниз — на пять верст все нам же отойдет. Только лишь за Двиной — земель ни пяди не дают. А про Ливоны толкует круль: «Рад-де я с тобой заключить мир честный и выгодный. Да без Ливонии ни чести, ни выгод нет для Литвы. Рига на Двине сбытчик наш прямой. Нельзя без Риги Литве стоять. Заберет себе Москва всю Ливонию, с гаванями да крепостями частыми, с городами богатыми, торговыми и реками судоходными, — что же Литве останется? То мы Москве пути к морю заграждали, а то — она нам заградит их. Не может того быть. Такой мир к большой войне поведет. Теперь через прусские гавани — все везут к нам лучшее, и наши товары увозят по свету. И золота, и серебра, и платья западного — всего у

нас довольно. А возьмет себе Москва те гавани, — и нам разор!» Так говорил наш брат круль. Мы же ему отвечали: «Чтобы миру промеж нас быть, отдай нам города, раньше нами повоенные, ныне тобой в оберегание взятые: Ригу, Вольмар, Ронебурх, Кокенхузен и иные с ними, которые к порубежным городам нашим Псковским и Юрьевским подошли, да заречье Полоцкое за Двиной... А мы тебе взамен — уступаем из повоенного пять городов в Полоцком повете, но за Двиной, верст на шестьдесят или семьдесят во все стороны, уступаем Озерище-городок, волость Усвятскую в Ливонской земле, шестнадцать городов по-за Двиною в Курляндской земле, с уездами, с угодьями со всеми. Полоцких пленных, полончан всех — пушу без выкупа, а русских пленных — выкупать стану. Вот все, — что дать тебе могу...» Только на те мои слова от послов великих брата нашего Жигимонта-круля — согласия не было. Наших должны мы теперь послов посылать. Только, может статься, речей наших не примет брат Жигимонт и до бою дело доведется. Так хочу знать вашу думу: в бой ли идти, снова кровь лить христианскую, казну терять, потом да кровию вашей добытую, или мир писать и еще уступать литовцам, как они прикажут? По правде Божией, по вашей совести дайте нам ответ, как крест целовали нам, сюда собравшись!

Снова отдал поклон, на сиденье опустился, здесь для него поставленное. Словно жужжанье пчелиное, говор пошел по толпе многолюдной. Речь Ивана, умно и ясно составленная, рассеяла последние сомнения, если они и были у кого, — насчет ответа царю.

...Какой тут мир, если Литва, нами же разбитая, хочет столь жирный кус — Ливонию — из-под носа отнять? Ну, повоевали, поизубыточились... Что поделаешь: в драке волос не жалеть! — пословица старая. А Литва, хоть и грозна, да не больно страшна, все это видели...

И все растет жужжанье, переговоры людские... Иван, отпив глоток из кубка, который наготове держит его врач, — глядит, ждет, что-то будет? Раньше смутно угадывал он, что не выдаст его народ. А сейчас и совсем уверился в этом, глядя на лица возбужденные, на сверкающие отвагой глаза людей, стоящих здесь, и молодых и старых...

Первое, как и следует по чину, духовенство отклик-

нулось. От лица всех заговорил болезненный, хилый митрополит Афанасий:

— Велико смирение государево! И правда его царская перед королем велика есть! Больше, как сказано государем, ничего уступить нельзя! Пригоже стоять за те города ливонские, которые отнять думает коруль у царя. Если же не стоять царю за те города, то они укрепятся за Литвой и разорение оттуда пойдет церквям православным, которых много в Ливонии. Не одному Юрьеву притеснение начнется. Пскову да Нову-городу теснота станет великая, и в иных городах торговля для русских торговых людей затворится... В ливонские города коруль — неправдой вступился. Пока Русь на ливонов не пошла, литовцы и думать не могли взять земли ливонские... А Ливонская земля от прародителей, от Ярослава Владимировича — искони русская. И наш совет государю: за те города и земли стоять. А как стоять? — в том его государская воля, как Бог вразумит. Нам должно за него Бога молить, а учить — непригоже...

Царевич Саин Бекбулатович, как первый в Думе, отвечал от лица бояр, окольничих и приказных людей, у которых голоса были опрошены в свое время, на сошествиях особых.

— Царь-государы! Как Бог и ты рассудишь! А нам сдается: нельзя и пяди земли уступать! Если у Полоцка Заречье Литве отдать — в осаде город учинится. По сю сторону Двины, в Полоцком повете — все худые места, а лучшие по-за Двиною. Стоит в годы мирные литовцам за рекой новый город поставить, — и возмут наш город враги, если сызнова брань начнется! Также и в Ливонии — нельзя ходу давать королю. Лучше тебе, государю, не давать врагам часу рать большую созвать, не мириться с корулем на высоком безмерье его. Пока Руси Бог удачу пожелает, — потоль и не пропускать ее. А еще по всем вестям: с цесарем германским у польского короля брань идет, недосуг теперь ему. И помощи Польша Литве не подаст. По всем этим делам: мириться царю с королем непригоже. А нам всем — за государя головы свои класть, видя надменность и высоту короля... и на Бога надежду держать надо. Бог гордым противится. А нам как показалось, так государю мы и являем мысли свои...

Все с поклоном отступили. Один дьяк государев



ближний, Иван Висковатов, впереди стоит, хочет слово сказать.

— А! Не согласен, видно, со всеми? Ну говори, Михайлыч: что надумал? Ты человек не глупый... Висковатый, и то сказать!

— Согласен и я со всеми, государь... Да одно, ин, прибавлю: чтобы не сразу разруху мирным задиркам учинить, и так можно бы положить: пусть на перемирие согласится круль Жигимонт. Да пусть войска свои из Ливонии повыведет... Да пусть не мешает государю нашему воевать германов неверных, изменников... Да не подмогал бы им, если года выйдут перемирные... Тогда не надобно и ждать от круля, чтобы уступал он нам то, на что сам прав не имеет...

— Да, умно! — улыбнулся Иван. — Тех же штей, да пожиге влей... Не он даст, мы сами возьмем... Любо бы... Да, лих, не захочет.

— Бог да ты, государь, — про то знаете. А я свою мыслишку холопскую сказал, как крест целовал: всю думу по правде свою говорить.

Заговорили, наконец, торопецкие и луцкие помещики, вызванные в качестве «сведущих людей».

Из густой, нарядной толпы всадников, увешанных оружием, выдвинулся один, старейший по годам и влиянию между всеми.

— Царь-государь! Мы, холопы твои, за одну десятину земли повета Полоцкого да Озерищенского головы свои сложим. Без той земли нам не жить! Отдашь их — нам в Полоцке так и помирать тощими, от врага запертыми... Вот мы сейчас на конях сидим. Так за государя с коня и помрем, на врагов кинемся. Пусть прикажет лишь... Государя нашего перед крулем правда. По-нашему: за Ливонские земли государю стоять крепко, а мы, холопы его, на государево дело и службу — все готовы! Да живет великий государь на многия лета!

И грянуло, прокатилось «Многая лета!» — по широкой многолюдной площади.

Дворяне и дети боярские — то же сказали, что и все.

— Челом бью земле за совет и за порадую... Знаю думу всенародную. А там — тому быть, чему Господь присудит! — с поклоном, громко, сверкая глазами, словно помолодевший сразу, произнес Иван.

Грянули колокола. Царь вернулся сперва во дворец Кремлевский, а потом и в свою «опричную Слободу»... А люди выборные земские разъехались по своим углам, гордые тем, что им делать пришлось, полные смелых надежд и светлых ожиданий.

Воспрянул царь после решения всенародного, думского. Не ошибся он в земле! Напрасно ему шептали, что бояре казнимые успели в народ забросить зерна недоверия и нелюбви к царю... Земля чувствует, что не во вред ей ведет царь-кормчий ладью государственную...

А в этом кроется и утешение, и сила огромная для измученной души Иоанна. Народа, любви народной терять бы он не хотел.

В покое своем, в Слободе, сидит Иоанн и толкует с послом «большим», отправляемым на Литву — с Колычевым-Умным. Последний наказ ему дает, как дело вести, чего держаться, чего избегать, чего требовать.

Почтительно склонясь, стоит Колычев и слушает отрывистую, усталую, но властную речь Иоанна, который все старается припомнить, все предугадать, как глубоко понимающий дело и знающий людей человек.

— А еще, ежели к случаю будет, брату нашему Жигимонту помяни: это ли брата правда, что ссылается со шведским против нас? А и чести своей круль не бережет: пишется шведскому брату равным. Ну да то его дело, хотя бы водовозу своему звался братом. Его воля... А какая в том правда, что пишет круль нам, будто Лифляндская земля — его вотчина, а шведскому отписывает: вступился-де он за убогих германов, за повоенную, опустошенную землю. Письма его мы те довольно видели. Значит, то не его земля выходит! Помни...

— Запомню, государь.

— А еще: епископы и паны литовские затеяли неудобную гордость! Раней боярам нашим писали и братьями нарицались с теми. А ныне отцу митрополиту пишут, с ним ссылаются, когда митрополит у нас на Москве в такой же чести, как и братья наши, цари венчаные... Так пригоже ли подданным — митрополиту братьями писаться...

— Понял, государь.

— Да еще, воеводы литовские — перемирие то и знай нарушают... А иные и более того. Как мы Тарваст взяли, так и Троицкий воевода ихний к боярскому сыну нашему... Как его?

— К князю Кропоткину...

— К нему, к нему... Грамоту зазывную подослал: князек бы от службы нашей отступился, ради нашей царской жестокости... К литовцам бы перешел... А это совсем негоже. Мечом воюй; а подсылы слать — не к чести крулевской.

— Вестимо, государь...

— Да стой, молчи! Мало того! Собаку — Козлова, отъезжика нашего, круль к себе приблизил, к нашему величеству послом посылал... И тот, собака, грамоты зазывные привез и передал боярам нашим главным... Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и конюшему боярину, Ивану Петровичу Челяднину... Так вот они ответы бояр моих верных на те грамоты... Пусть читает да почесывается. Отобьет у злобного литвина охоту — бояр наших переманивать!

Иван подал Колычеву грамоты, подписанные теми боярами, которых перечислил сейчас. Но составлял те гордые, полные брани ответы — сам Иоанн, перехвативши письма Сигизмунда. И, конечно, напуганные бояре — все подписали, еще от себя яду прибавили, только бы оправдаться от подозрения в соучастии с Козловым, соблазнявшим их к отъезду... Кой-кого, кто понужнее был, — простил Иван, а с остальными по-своему расправился... Вспомнив об этой расправе, быстрее заговорил царь:

— А если вопрос будет: за что государь казначея своего, Тютиня, и князя Щенятю, Петра, и троих Ростовских князей, да Ряполовского Димитрия с Турунтаем Пронским и с Куракиным Булгаком казнил? — скажи прямо: «За это, за самое! За письма зазывные, за измену ихнюю... Что хотели земле изменить эти бояре...»

— Так и скажу, государь...

— Так и скажи. Или мы изменников своих казнить не вольны стали? Вон Вероникина изымали у поляков, что он нам, помимо воли нашей, письма писал, службу предлагал клятвопреступную: круля обещал известить... Литовцы его казнили же? Так и мне не закажет никто.

— Помилуй, государь, кто посмеет?

— Были охотники! Ну да дело надо... Про Киев сказать можно, он-де искони вечная вотчина наша... от великого князя Владимира. Нам ею и владеть. И еще скажи: мы у его братской чести ничего не убавляем, а

брат наш в грамотах своих пишет наше царское имя не сполна. А его все государи пишут, которые и повыше будут круля... Бог нам дал его... Сам ведь знаешь, какого мы колена?

— Знаю, государь! Август-кесарь, всею вселенною возобладавший, имел брата Прусса и на берегах Вислы его постановил... До самой реки, до Немана. То и есть Пруссия ныне. А от Прусса — четырнадцатое колено, гляди, и до государя великого, до Рюрика, прадеда твоего, государь...

— Так, так... Все ты и выложи им... Да, вот еще... Если спросят ненароком: куда государь зимою из Москвы вон ездил, в запрошлой зиме? И опалу за что на людей клал? И что такая у вас за опричнина? И для чего приказал на Москве государь поставить себе двор за городом, на Арбате да на Петровке? Что скажешь, а?

— То и скажу, государь: двор за городом для государского прохладу и здоровья ради поставлен... А не для раздела, не для опалы на бояр али горожан... Делиться государю не с кем, все его!

— Так, так...

— А зимой уезжал да опалу клал за измены боярские и дворянские великие. И которые дворяне служат царю правдою — те поближе к царю живут. А которые раней неправды делали — подале от очей его светлых.

— Так, добро... А еще прибавь: мужичье, мол, не зная, зовет опричниной. Так мужичьим речам верить нечего...

— Попомню, государь!

— Вижу, вижу... По шерсти кличка... Умный Колычев... Не зря тебя прозвали... Вон, толкуют, игумен Соловецкий, Филипп, родич твой, и вовсе свят человек.

— Великого благочестия инок!

— Слыхал... Говорили нам про него... Ну так вот... Тут еще тебе для памяти, написано на хартии многое... Возьми, поглядишь... Наказ ума не портит. Наказ помни, ума не теряй... Ступай... Стой... Курбского увидишь — и говорить с изменником не смей... Слышь? А спросят про измену его, так и говори: царю изменял, над Анастасией, над детьми моими промышлял чаро дейным обычаем... Так и скажи...

— Не пожалею, государь...

— А если... Речи ходят... Если паны литовские слово закинут, чтобы сына Ивана я им на царство дал... Отмолчися... Рано об этом еще звон начинать...

— Трудно ль отмолчаться, государь?

— То-то! Ну, все. Ступай...

И он отпустил посла.

Скоро он Колычева-Умного и вести из Литвы пришли, но невеселые.

Как царь заранее знал, король не согласился на условия, предложенные Москвой. Послов приняли сурово, кормов им не дали. Задержали на Литве, а в то же время послан был вестник войны, Быковский, с «разметом»...

На пути между Москвой и Новгородом принял Иоанн посла, прискакавшего с объявлением войны.

Быковского ввели в шатер царский, где царь в доспехах боевых, окруженный своими воеводами, тоже во всеоружии, принял гонца.

— Ладно же круль, брат наш, держит мирных послов московских! — резким упреком начал царь свою речь. — Мало того, что бесчестье нашему послу нанесли, кормов им не давали, — еще и задерживают их без права и причины. Не бывало того николи! И ты не подивись, что сидим мы здесь в приправе воинской. Ведомо нам, со стрелами пришел ты от брата нашего Жигимонта... Потому мы и изготовились так...

— Творю я волю пославшего меня, государь... А что про твоих послов, про Колычева-Умного со товарищи... Сами они виной, упрямство их не по сердцу пришло королю... И король мой Сигизмунд-Август Богом Распятым свидетельствуется, что не от него война, которую я прислан объявить тебе, великий князь Московский. А вот и королевская разметная грамота. Нет более мира меж Литвой и Русью! Да здравствует круль мой, Сигизмунд-Август.

— Да здрав будет царь и великий князь Иван Васильевич на многие лета... С нами Бог! — загремел ответ вождей московских, бывших в шатре.

Началась опять война...

Быковский был взят под стражу, в оплату за Колычева-Умного, которого задержали на Литве. Имущество посла, товары купцов, ехавших под его охраной, по обычаю, отобраны в казну.

ГОДЫ 7075—7077 (1567—1569)

В самой Москве между тем дела совсем не гладко шли.

Умер, а иные толкуют: убит был митрополит Афанасий, и двух лет не посидевший на митрополии.

Избран был на его место епископ Казанский, Герман, из рода князей Смоленских, умный, образованный монах, напоминавший по складу Макария. Почуяли сразу в нем врага опричники — и через два-три дня после избрания, еще не усевшись хорошо на митрополичьем престоле, он был устранен. Ранним утром мертвого нашли его во дворе хором митрополичьих. Яд или просто петля покончила с Германом? — так и не дознались люди. Шептались только, что Алексей Басманов с сыном Федором на коленях, со слезами остерегали царя:

— Не ставь Германа. Хуже Сильвестра с Адашевым овладеет тобою монах лукавый!

На соборе духовном, собравшемся немедленно, по желанию царя избран был митрополитом Филипп, игумен далекого Соловецкого монастыря. Монастырь славился строгой чистотою жизни своих монахов, а Филипп, в миру раньше — Федор Степаных Колычев, из рода прусских выходцев, уже два века живших в России, — даже суровых монахов-соловчан дивил подвигами святости.

Зная продажность, распущенность и алчность большинства высших представителей духовничества, Иоанн и выбрал Филиппа, прославленного во всей земле, строгого, безупречного монаха, известного благочестием. Царь решил возвести аскета-инока на опустелый митрополичий престол. Хоть одного бы человека вроде Макария захотелось царю иметь возле себя. Филипп хорошо знал, что творится в Москве. Понять все пути, какими бурная, кипучая натура Иоанна пришла к последним делам своим, — этот кроткий, человеколюбивый старец не мог и не постиг бы при всем желании.

— Царство одно на земле: Божие царство! — твердил он. — А в Божием царстве — мир и благодать... И все, что не мир, не благодать, — не от Бога, от лукавого...

Действуя по своим словам, Филипп ушел от мира, от соблазнов и грехов его, удалился на скалистый остров, омываемый холодными волнами Студеного моря, и там служил усердно Богу своему — Богу любви и кротости.

Но мир нашел отшельника, вздумавшего отвергать силу мира. Жизнь подхватила на гребень своей бурливой волны аскета, ушедшего от жизни, и, взметнувшись, оставила на недосыгаемой для обыкновенных смертных высоте, на престоле митрополитов Московских и всея Руси, — «кои царем самим зовутся и пишутся братьями...».

Но Иван только говорил так, а думал иначе...

И с первой же минуты начались столкновения этих двух сил: Ивана, обладающего царским, твердым характером, тальною волей и мощной душой, Филиппа, в котором сердце трепетало мучительной любовью и жалостью к людям, душа была полна веры и кротости; но в этой кротости была так же неукротима и велика, как дух Ивана в его жестокости.

Сталь о кремень ударила. И загорелось яркое пламя. Оно сожгло душу Ивана, закрепило за ним имя «жестокоего, грозного...». И довершило, доплело сияющий венец, каким окружен кроткий лик Филиппа на всех изображениях святителя-страдальца...

Еще до избрания, едва он был вызван и явился в Москву, Филипп заявил священному собору:

— Отцы преподобные! Освободите! Оставьте мне смирение мое. Не ищу славы мира, ни жезла архипастырского... Раб Божий есмь, не надлежит мне князем церкви соделаться.

— Нельзя, святой отец! Сам царь пожелал. Надо творить волю царскую.

— Божия воля — первой всего. А желает царь, чтобы пас я стадо православное, пусть сотворит по глаголу Господню: да будет едино стадо и един пастырь. А то земля раскололась... Земщина — по сторонам; опричнина, кромешнина всякая — по ту сторону. Расколы пошли... За Волгу люд убегает. Не должно тому быть. Все люди, вся земля — дети царские, овцы стада Христова. Пусть идут вместе в царствие небесное. Раскол — он смуту множит. Люд опричный, злобный поджигает царя против земли всей. Далеко я был от мира! А и ко мне, на Соловки, дошли стоны и

вопли умученных, жалобы разоренных, слезы насильно постригаемых! Грех то великий пред Господом. И, аки верховный владыко христиан православных, аще бы принял жезл архипастырский, не могу допустить того. Так и царю скажите... Пока опричина-кромешнина есть на Руси, — не ступлю ногою во храм Христов для восприятия сана. Сами видите, отцы преподобные: лучше ж в покое оставить меня... Уж о том не говоря, что мира бегу я лукавого... Афанасия смертного часа, Германа кончины безвременной — тоже наслышан много... К чему мне сие?

Кой-как решились сказать Иоанну об отказе Филиппа, о причинах, им выставленных...

— Что? И здесь крамола? — произнес только Иван, и брови у него заходили, лицо исказилось. — Ну, пусть знают попы: если не уговорят Филиппа безо всяких пререканий, как оно досель бывало, — сан принять... Если воля моя не будет исполнена... и ему, и всем им плохо станется... Выискался старец! Клобука еще не вздел владычного, а с нами в свару вступает?! Да я! Ну, больше не стоит и толковать... Что я сказал, чтоб так и было по-моему. Меня — враги слушают... А уж попам подавно потачки не дам, невежам хмельным...

Приказ царя был передан Филиппу и собору духовному. Все знали, что значат угрозы Ивана.

Челом кинулись бить иерархи; молили, чтоб царь гнев свой отложил. А на Филиппа так и насели:

— Что ж ты, отче?! Или гибели нашей хочешь, и со чады и со домочадцы?! Ты исполни волю царя, а там — владычеству, как Бог тебе на душу положит. Хошь венец примаи мученический. Нас-то зачем подводить?

Грустно улыбнулся старец.

— И то! Довлеет миру злоба его... Не всем дано, оно ведомо. Могий вместити — да вместит... А вы...

Вздыхнул, ничего не сказал больше.

— Так принимаешь сан?

— Не сан я принимаю, вериги возлагаю на себя, крест тяжкий на рамена подъемлю. Все же душой кривить не могу. Так и скажите царю: против воли иду на заклатие. Пусть не будет той заслуги моей, что добровольно на муку сподобился.

— И, батько! Какая мука — клобук носить митро-



поличий, Московский? Всяк бы рад, да не всяк, лих, взял... А тебе, как слепому, само счастье пришло!

— Терн Христов — счастье истинное... А муки? Что есть — то видят ваши очи земные... Что будет — теми же очами увидите, как провожу я сейчас очами души моей смятенной.

— Ладно. Манатью оденешь богатую, перестанет под ей метаться душа! — пошутил один из семи святителей, совершавших избрание, архиепископ Суздальский. — И чего невестишься? Ну, кто уверует, что митрополии не желаешь? Так, вестимо, больше напускаешь на себя, отче... Умно, одно могу сказать... «Во смирении, ибо сказано...»

Совсем печальном взглядом окинул иерарха Филипп.

— Истинно скажу тебе, отче, молил я жарко Создателя: «Да минет меня чаша сия...» Не услышал Господь... Приму и стану испивать до конца. Двух годов не минет — попомнишь слова мои... Ежели и сам жив будешь...

Смутился тот, отошел и бормочет:

— Ну, прорицанья-то бы свои для царя оставил. Мы тоже сами знаем, что знаем... Провидцы немало и зря говорят!

Но Филипп не ошибся. В самое тревожное время принял он жезл и кlobук владычный. Кругом казни, ссылки, пострижения насильственные. Опричнина лютует без конца...

Перед самым посвящением своим вынужден был Филипп подписать такой договор с Иоанном:

«Лета 7074 (1566), июля 20, понуждал царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси со архиепископы и епископы и с архимандриты, и со всем собором, чтобы игумен обители во имя великих чудотворцев соловецких Зосимы и Савватия, Филипп, на митрополию бы стал. И игумен Филипп о том говорил, чтоб царь и великий князь отставил опришнину; а не отставит, — и ему в митрополитах быти невозможно. А хотя его и поставят в митрополиты, и ему затем придет нужда митрополию оставить. А соединил бы царь воедино всю землю, как и прежде было. И царю великому князю архиепископы и епископы о том били челом, о его царском гневу... И царь гнев свой отложил, а игумену Филиппу велел молвити свое слово: чтобы игумен Филипп в опричнину и

царский домовый обиход не вступался, а на митрополию бы ставился... И по поставлении царю от опришнины не отставать, и домашнего обихода не менять, а Филиппу зато от митрополии не отставляться... А советовал бы с царем и великим князем, как и прежние митрополиты с отцом и дедом его советовали...

И игумен Филипп, по царскому слову, дал свое тогда слово архиепископам и епископам, что он, по царскому слову и по их благословению, на волю дается ихнюю: стати ему на митрополию, а в опришнину ему и в царский домовый обиход не вступатися. Тако же, по поставлении, за опришнину и за царский домовый обиход митрополии не оставляти никак. А на утверждение сему приговору — нареченный на митрополию Соловецкий игумен Филипп и архиепископы и епископы руки сови приложили». И подписано: «Филипп, игумен бывый Соловецкий, смиренный митрополит Московский и всея Руси». И подписи всех остальных иерархов.

Душу, искавшую подвига, полную редких сил, думали сковать или спасти этой формальной подписью, надеялись росчерком пера избавить от венца мученического... Конечно, попытка не удалась.

Дело посла литовского Козлова с его зазывными грамотами — росло и росло. Немногие из замешанных в дело бояр, самые сильные и богатые: Бельский, воевода Воротынский и ближний родич Иоанна, Иван Мстиславский, — отделались временной ссылкой и тяжелою пеней.

Казнены были десятки бояр, загублены, сожжены сотни челядинцев и близких холопов из людей, принадлежащих опальникам...

— Что Челяднин толкует? — спросил Иоанн шурина, князя Михаила Темрюковича, когда тот пришел из застенка, где пытали осужденных.

— Привезли его только что. «Ни в чем, говорит, не повинен. Умысла на царя и на трон его царский у меня не было. И речей я пустошных не говорил, будто одной мы крови с государем. И что права у меня на царство такие же, как его права. Все — клевета и наветы вражеские...» И нас, опришнину твою верную, стал поносить... Давай честить на все корки!

— Ха-ха... Клевета? А еще что сказывал?

— «Только, говорит, и есть, что сказано было как-то спьяну: молошныя мы братья с царем... Родною мне грудью вскормлен да вспоен он был...»

— Родная ему грудь? Все не забывают они родства этого молошного... Вон и Ромулуса волчица кормила. Так волченята ж ее в царство не мешались. Овец царских беспошлинно не резали ж. Били дубьем тех волков за воровство. Так само и «родичам» кормилочьим будет моим. Довольно срамили они меня и мать мою. И здесь, на Руси, и за рубежом далеко. Попытаешь еще малость «родича» да нынче на вечеринку приведи его ко мне... Да наряд мой царский изготовь, богатый...

Поклонился князь-палач и вышел.

Окончена служба вечерняя в Слободе, в храме, где царь и все ближние опричники в черных монашеских рясах, в скуфьях стоят. Иоанн — игуном зовет себя. Келарь — князь Афанасий Вяземский, а пономарем — один из недавних, новых любимцев Иоанна: ражий, здоровый мужик, из служилых людей, Малюта Скурлятев-Бельский. Как пес хозяину, — глядит он в глаза Иоанну. Как кровожадный зверь, по взгляду, по мановению руки Ивана, терзает всех, на кого укажет царь. И, служа чужой лютости, тешит свою грубую, зверскую натуру, сам наслаждается. Истязает так мастерски, столько души влагает в дело, что свирепый азиат князь Черкасский должен уступать ему, — тот самый князь Михаил, который шашкой своей на четыре куса разрубил казначея царского Тютиня.

Хитрый, лукавый, как все выскочки из черни, чуждый жалости и самолюбия, Малюта успел понемногу втереться в доверие к царю, не только как искусный, толковый палач, но как советник... Постепенно забирает в руки всю дикую, неистовую братию Слободской обители, с Федором Басмановым во главе, — этот простой, неуклюжий с виду, краснобородый мужик, который, с таким грубым видом, — сладкой лестью умеет щекотать усталую душу Ивана.

Кончилась служба. За столы все перешли...

Только первую чару за здоровье царя и государя Ивана Васильевича всея Руси выпить успели застольники, дверь распахнулась, новый гость вошел.

В сопровождении двух приставов показался бледный, дрожащий, измученный Челяднин, со следами пытки на лице, в одежде, кое-как наброшенной на него перед тем, что его из застенка вывели и к Ивану повели.

— А, и гость дорогой пожаловал! — вскочив с места, произнес Иван. — Многая лета царю и государю Ивану Петровичу всея Руси!

— Многая лета! — заголосили опричники, еще не понимая, в чем дело, но предчувствуя забаву веселую.

— Сюды, сюды... На трон сажайте государя! — приказал Иван приставам, помогавшим Челяднину двигаться вперед.

Страдальца опустили на царское место, нарочно перед тем возведенное в горнице.

— Что, ничего государь по царству своему не приказывал? — обратился Иоанн с вопросом к Черкасскому, который тоже появился вместе с Челядниным.

— Нет, отец игумен... Молчит... Видно, гневаться на нас изволит, на слуг своих верных! — подхватывая глумливую издевку Ивана над полузамученным человеком, отвечал князь.

— Да вот оно что? Кубок вина пусть подадут государю. Авось заговорит. Да что же это: в каком рубище государь! Эй, слуги! Одеть великого царя Ивана Петровича. Что зеваете?

Малюта, посвященный в затеи Иоанна, мигом подал приготовленный царский наряд, бармы, жезл, шапку высокую, и одели и нарядили, как труп, молчаливого, замученного Челяднина, даже плохо понимающего, что творят с ним эти люди.

— Вот так... Теперь государь наш во всей славе сидит, — прохрипел Иван, которого стала бесить такая безответность, молчаливая покорность жертвы.

Если бы тот кричал, молил, проклинал, — было бы забавнее.

А молчание, такая неподвижность полутрупа, это уж как-то даже страшно становится.

— Да ты, шурин, не перепустил ли там? — обратился царь к Темрюковичу.

— Нет, самую малость! — негромко отвечал, тот понял, что речь идет о пытке.

— Что же молчишь все, царь-государь! Скажи слово ласковое? — с пеной у рта стал уж настаивать Иван, близко подойдя к трону. — Любо ли? Достиг

своего. Вот, и на трон попал наш прародительский. Любо ли? Скажи!

— Христос... пусть от... оплатит тебе... за меня... за муки мои... и жены... и детей моих... — только и мог пролепетать бессильный мученик.

Горло опять перехватило у него. Крепко сжались запекшиеся губы, на которых пена кровавая видна...

— А... Христос? Что ты, царь? За что Христа на нас призываешь? Зачем с укором таким в глаза нам глядишь? Не гляди... Слышь, не гляди... В чем вина наша? Видишь? Раб твой Ивашка Московский с людишками всеми низко тебе на царстве челом бьет, — как-то словно зверь, подвигаясь мягко вперед по ступеням трона, хрипел вышедший из себя Иван. — Да не гляди! Не гляди так, говорю... Не гляди!

Миг, нож сверкнул в костлявой руке царя — и полумертвый до того Челяднин трупом свалился с трона, с широким ножом, оставленным у него в груди рукой обезумевшего убийцы...

— Возьмите! Возьмите прочь! — крикнул Иван. — И мертвый — глядит... Не сомкнул глаз своих окаянных... Уберите скорей... Вина... Песни петь... Скорей вина! Девоч гоните сюды!

И началась шумная оргия, дикая тризна ночная по несчастному Челяднину.

А на заре на коней сели опричники, вихрем помчались прямо в богатое, родовое село Челяднина, под Москвою...

На воздух взорваны были постройки. Стоя в боевом порядке, опричники, с Иваном во главе, ждали, пока порох, заложенный в подвалах и подожженный фитилем, — совершит свое дело... Прогредел страшный взрыв, причем погибли почти все бывшие в доме, так как их перевязали и выйти не дали. С гиком, с воплями кинулись затем опричники топтать и добивать тех, кто уцелел; и по всей деревне — ураганом пронеслись! Вырезали людей, разрушили избы, сожгли их, скирды разметали... Оставя пустыню вместо богатого, людного села, захватив все, что получше и подороже, обесчестили всех девушек и баб молодых покрасивее, потом избили, изранили или совсем прирезали и обратно домой поскакали «братья Слободские», с Иваном, с царем-опричником впереди.

Немного дней спустя, на Успенье, в день престольного праздника в Успенском, древнейшем из храмов Кремля, еще Иваном Калитою воздвигнутом в 1329 году, — совершалась торжественная служба. Высокий, полутемный обычно храм — теперь залит огнями. Все паникадила тяжелые, громоздкие, словно звездами, усеяны огнями свечей... Все лампы возжены, озаряют неровным трепетным сияньем венчики местных икон, темные лики и фигуры святых и патриархов, на стенах нарисованных. Иконостас залит огнем. Свечи, тонкие и большие, тяжелые, в стальнобразных подсвечниках, — всюду горят и сверкают, колебля языки длинного красноватого пламени, которое дробится искрами в драгоценных камнях, украшающих золотые оклады чудотворных икон...

Народу видимо-невидимо... И самый храм битком набит, где служба уже подходит к концу, долгая торжественная служба митрополичья, совершаемая Филиппом соборне со всем причтом храма. Голова кружится от жара, какой дают пылающие свечи, от дыхания многотысячной толпы, напряженной, молящейся, восторженной и рыдающей. И за стенами храма — толпы, от паперти — так и тянутся, чернеют, заливая половину обширной площади.

Давно не видали царя в Кремле. Только вот на праздниках таких всенародных и появляется Иван. Одни говорят: «Болен наш сокол, солнце красное! Трудно ему поспеть повсюду!»

Другие, более сведущие люди, замечают:

— Не желает государь с митрополитом-владыкой видаться. Больно наскучает царю старик, все печалуется за крамольников владыко: «Никого не казни. Всех прости!» Царю не по сердцу печалованье, он и ладит: не встречаться бы.

— Раньше — молил... А теперя, как очень разлютовался царь, и прямо грозит ему святитель: «Не минувешь, грит, геенны огненной!» Конечно, государю докуча! — прибавляют те, что посмелее...

Глас народа — глас Божий. Так все оно и было, как толки шли.

Не выдержал долго Филипп. Сперва только молил о прощении опальных... А убедаясь, что наряду с виновными — много и невинных гибнет, стал укорять Ива-

на, помянуть ему о суде Божиим, на котором и его, Ивана, грехи взвешены будут...

— Уговор ты, видно, позабыл, владыко? Что на том суде будет, увидим мы с тобой потом. Какой суд здесь мне давать людям — я сам вижу, царь и владыко рабов моих лукавых... Оставь пустые речи!

Филипп не унимался. Когда царь не хотел допустить его к себе, Филипп пользовался каждой встречей и продолжал толковать все одно:

— Царь, помни о суде Божиим...

И требовал если не прощения, так облегчения участи кого-нибудь из осужденных, недостатка в которых не было.

Последние жестокие казни коснулись и многих из рода Колычевых, как будто Иван хотел остеречь этим Филиппа. Но кровавое предостережение не повлияло на непреклонный дух святителя. Торжественно служба идет. Ангельскими голосами звенят и поют певчие прославленной «стайки» митрополичьей, которой даже царская «стая» первенство должна уступить. Октавы архи-диаконов потрясают даже эти тяжелые вековые стены соборные, просясь на волю, дальше, на простор из-под высокго, круглого купола, куда собираются все голоса, напевы, все звуки, все клубы дыму кадильного, все струи воздуха жаркого.

Вот царь медленно, словно с неохотой, предчувствуя новое столкновение с непреклонным, упорным «печальником» — митрополитом, подходит за благословением к владыке. Царская свита вся тут же. Не в рясах черных, как в Слободе, а в богатых кафтанах, сверкая золотым и серебряным набором поясов и чеканом оружия... Народ, молящиеся, столько же и сами, столько под напором приставов царских, стеснились до невозможного, раздалися во все стороны, очищая широкий путь царю и присным его.

— Мир тебе, царь православный, защитник христианский! — твердо, громко произносит владыко, встречая с крестом царя.

— С тобою мир, отче-господине! Благослови, владыко!

— Пожди! Что так спешешь, великий государь? Редко доводится видаться с тобой. Не допускаешь и посланий, и увещаний пастырских смиренных моих до слуха своего царского. Здесь хотя, перед престолом

Всевышнего, перед ликом предстательницы Присно-Девы Честной за весь род человеческий, здесь молю: выслушай предстательство наше смиренное за чада церкви, гонимыя тобой. За мирские мужи, за священнослу...

— Постой, владыко... Не проповедь ли читать по-чал? Не время... Дай срок... Благослови и отпусти нас... Дела ждут государские... — покусывая губы, царапая концом жезла по железным плитам, устилающим храм, глухо произнес Иван.

Он чувствует, что привычный прилив холодной, ярой злобы овладевает им. Но в то же время с мучительной тоской в груди должен сознаться, что, если прав он, Иоанн, ведущий к спасению землю Русскую в бурное время нестроения всеобщего, — так прав по-своему и Филипп. Бесстрашие владыки искреннее. Жалость его к людям — непритворная, неподкупленная, никем не вымоленная. Чист и свят владыко, хоть опричники и стараются оклеветать врага своего. Но Иван знает, что они клеветают... И потому терпит от Филиппа многое, чего не потерпел бы ни от кого из окружающих. Иван — не может поступить иначе. И Филипп не может действовать иначе. Иван вот понимает это. Филипп — не хочет или не умеет понять... А если бы он мог? Как хорошо было бы тогда... Все, что осталось чистого в больной, измученной, исковерканной и загрязненной душе Ивана, — все рвется к Филиппу. И если бы тот понял! Нет, он слишком чист и свят, чтобы понять закон мирской, закон созидания и разрушения земных, преходящих царств, а не единого, запредельного царства Света и правды Божией. И при мысли, что никогда Иван и Филипп не поймут друг друга, — ярость и жалость смешанной, опьяняющей волной захватывают и несут куда-то в пропасть душу царя Иоанна.

— Дела государские — твой удел высокий, царский. А почто творишь дела диаволи, чадо? Почто окружил себя сими слугами сатаны, кои и над таинствами церковными, с тобою вкупе, — кощунствуют? Почто с ними вкупе — лиешь, яко воду, кровь христианскую? Поведай ми, царю? Покайся, припади к стопам Христа, тогда дам отпущение, благословение дланей, молитву уст моих. Тогда — душу мою отдам ти. Тело мое за тебя — терзать повелю!

Громко звучит горькая укоризна Филиппа.

Толпы народа — все дальше и дальше отступают,



чтобы не быть свидетелями тому, от чего страх наполняет их душу и холод пробегает по спине.

Иван и Филипп перед престолом Бога тяжбу, последнюю тяжбу о душе царской ведут.

И, как злые духи, стерегущие душу, много грешившую, надвинулись ближе опричники. Не то они хотят всю тяжелую сцену скрыть от народа, не то немую угрозу Филиппу выказать... Если бы не тысячи народа, которые разорвут на куски каждого, кто дотронется до риз владыки, — тут же упал бы он мертвым под ножом любого из свиты царской. Но понимают палачи, что в Успенском соборе — роли поменялись. Хозяин, судья, повелитель — Филипп. Они же, с самим царем вместе, — только духовные чада и ответчики перед митрополитом Московским и всея Руси.

А голос Филиппа звучит все тверже и укоризненной...

Словно бы стараясь заглушить эту укоризну в ушах народа, в душе царя, который даже растерялся, не ожидая ничего подобного, — опричники перекидываются между собою тревожным, поспешным говором:

— Да что же царь молчит?! Спускает монаху безумному!.. Опешил, видно, царь... А тот и рад! За народом никого не боится, ничего не пугается чернец обнагелый...

Укоры достигли ушей царя...

И правда, что это с ним? На глазах у всех холопов этих, у черни, у попов, — он, Иван, поруганье подобное терпит!

Пусть даже безупречен Филипп... Но не смеет он! Царь перед ним, владыка всей земли! Владыка тел и душ людских, милостию Божией, наравне с самим митрополитом...

Громко несется речь Филиппа:

— Покайся, царь! Омой от крови длани свои, очисти душу от скверны, отринь слуг адовых, что обступили тебя, блудодеи, и ведут к гибели. К Богу прииди, и я за тебя...

— Молчи, гей, замолчи, отец святой! — вдруг, не имея сил сдержаться больше, прогремел, всей грудью выкрикнул Иван, словно надеялся, что грозный оклик отрезвит, остановит бичевателя.

— Я замолчу — камни возопиют! И несть тебе тогда спасения!

— Только молчи! Одно тебе говорю... Молчи, пока смогу сдержать дух гнева, владеющий мною... Длань моя тяжка, ты знаешь! Так молчи... и благослови нас!

— Наше молчание архипастырское — гибель на душу твою навлечет, смерть нанесет душе твоей бессмертной, на веки вечные, с кромешниками всеми в геенне адовой! Не стану молчать! Не боюсь духа гнева твоего... Владеет бо нами — Дух Святый Господен! Ему же несть одоления от людей...

— Постой... Еще в последний раз послушай... В последний раз говорю тебе, как уж много разов тебе сказывал... Царство шатается... Сильные — слабых истязают! И не ты, не молитвы твои обуздают надменников, но мощная длань наша карательная. Ближние мои — встали на меня. Зла мне ищут сотворить. Не мешай же мне пахать государскую ниву мою для жатвы богатой, не мешай зерна сеять тяжелые, кровью орошать их горячею, чтобы жатва, великая жатва мира и мощи царственной созрела для великой Руси!

— Чума и гибель растет на нивах, кровью орошенных, не покой для земли, не величие царств. Духом созидают они: духом же разрушаются... Вспомни Вавилон, вспомни твердыни Ассурския!

— Да нет, не то совсем... Не понять тебе, владыко... Так оставь ты лучше! Какое дело тебе до наших советов царских, до путей наших властительных? Слышишь, молчи!

— Я пастырь стада Христова! Ищу заблудшую овцу свою... И радость будет велия, ежели обрету ее... Знаешь, какая радость?! Вот отчего не замолчу, покуда исходит дыхание из уст моих.

— Филиппе, не прекословь! — ударив жезлом о помост так, что погнулось острое жало стальное, властно крикнул Иоанн. — Не прекословь державе нашей, данной нам от Господа, чтобы не постиг тебя жестокий гнев мой! Лучше, владыко... Ты вон что лучше: покинй... Оставь митрополию...

— Не покину, чадо мое. И мне сан мой священный — дарован от Бога! Я — не просил, не искал через подружий своих, поминки не слал, бояр, попов, епархов не закупливал... В пустыне моей — нашел меня Господь. Ты же, о царь жестокий, извлек меня из тихого прибежища моего, мирного и сладкого. Зачем, о царь, лишил меня пустыни моей? Ввергнул зачем в пучину житейскую?!

Громко, скорбно вопрошает Филипп, а слезы, крупные слезы — так и скатываются по старческим, исхудалым щекам, темнят своей влагой светлое, блестящее облачение владыки...

И что-то в ответ словно дрогнуло в груди Ивана.. Что-то забытое, прекрасное, мучительно-жгучее вместе с тем, как первая ласка, как укор совести, как незванный прилив раскаяния... Со смерти жены не плакал Иван. Он разучился и хохотать, и плакать... Одна кривая улыбка болезненная осталась ему...

А сейчас? Нет, он не допустит... Нет! Нельзя. Заплакать теперь — значит на позор предать себя, на посмеянье...

И еще раз звонкий удар искривленного острия по железным плитам — пронесся, прозвенел под сводами храма... Постоял два-три мгновения в раздумье Иван... И от этого раздумья дыбом волосы встали, зашевелились у всех опричников, у провожатых царя...

А что, если монах — победит? Если падет Иван сейчас на колени перед владыкой и...

Тогда им из этого храма нет другой дороги, как в тюрьмы, на плахи, под топоры и на виселицы...

Или уж тогда — обоих не выпустить из храма... Не даром отдать свою жизнь?!

Без сговоров, у каждого из палачей пронеслась одна и та же мысль в смятенном уме.

Но судьба сжалилась: спасла Иоанна, временную отсрочку дала Филиппу.

Круто повернул царь и, ни слова не говоря, быстро пошел из храма. Опричники с шумом, с веселым говором теснятся за ним.

Вздрогнул Филипп. Пока царь стоял в нерешительности, владыка так и пронизывал его глазами, полными слез; в душу грешника хотел без слова пролить луч благодати... Горячо, молча молилась душа Филиппа за душу царя...

Но Иоанн ушел.

И часто-часто капают слезы из опечаленных глаз владыки на железные плиты собора, носящие следы от ударов жезла царского...

Бескровные губы аскета шепчут одно:

— Спаси, Боже, царя... Землю, Господь, защити!

О себе не молится владыка. Филипп позабыл о себе.

Заочно собор осудил Сильвестра.

Филиппа заочно осудить нельзя. И судить-то его не должны иерархи российские, как ему подчиненные. Экзарх, присланный от вселенского патриарха Константинопольского, — один может дело разобрать, судить и смещать первосвященника, епископа верховного российской церкви, греческой...

Но Ивану дела нет до уставов канонических.

Он видит, что для прекращения соблазна, толков и смуты в народе, которая грозит бедой самому Иоанну, — надо скорей сместить Филиппа, другого, более покладистого владыку избрать и, на глазах народа, — помириться с церковью, в лице нового митрополита.

А опричники, кроме того, все в дело пустили, целый ад на ноги подняли, только бы скорей низвергнуть ненавистного своего гонителя.

Нашлись предатели-Иуды, ложные послухи, ложные обвинители, наглые клеветники.

Новый настоятель Соловецкого монастыря, игумен Паисий, ненасытный честолюбец, завидуя тому, чье место он занял, упоенный обещаниями кромешников, пославших своих гонцов и на Соловки, подумал:

— Отчего бы и мне не занять места, какое занял Филипп — такой же раньше игумен, каким я сейчас?

Эта мысль усыпила совесть.

Он и духовник Ивана, Благовещенский протопоп Евстафий, открыто решились возвести клевету, кинуть груду нелепых обвинений в лицо Филиппу.

Восьмого ноября 1568 года в том же Успенском храме собрался на судбище собор духовный. Владыки Новгородский Пимен, Суздальский и Рязанский, усердные приспешники Ивана и опричников его, еще другие иерархи высшие и низшие и даже светские лица, — к великому соблазну общему, — вопреки церковным законам, преданиям и правилам, приняли участие в этой пародии суда.

Горько улыбался Филипп, глядел в лицо «судьям», царю и молчал в ответ на обвинения и клевету. А то, что говорил святитель, — конечно, не могло спасти его, только ускорило гибель.

И люди молчали кругом... Иные равнодушно глядели на позорное судилище, другим — личный, подлый

страх зажимал уста, хотя в душе жалели они Филиппа, преклоняясь пред величием старца.

А клеветники выступили вперед. Говорили громко, надменно. Только в глаза избегали они посмотреть тому, кого чуть не антихристом, «зверем из бездны» и еретиком рисовали эти отбросы человечества...

Недолго длился суд.

С гиком, свистом и хохотом вывели опричники «обвиненного» и отставленного от митрополии владыку на паперть храма.

Блестящий наряд святительский был сорван во время обряда низложения. Старая, рваная ряса монашеская, покрытая грязью, заплатами, — сменила мантию и оплечья первосвященника. Из судей многие, забежав на паперть вперед, целовали украдкой одежду осужденного ими... рыдали беззвучно...

Простые дровни стояли наготове. Сюда посадили Филиппа. Один опричник сел вместо возницы... Остальные — на конях, где у седла скалили зубы собачьи головы, сверкая стеклянными глазами, и, взяв в руки метлы небольшие, которые тоже постоянно возили за собой, поскакали палачи за дровнями, то и дело нанося удары, осыпая бранью страдальца-мученика...

Народ, собравшийся к собору, бежал издали, опасаясь оружия буйных опричников... Со слезами провожали встречные люди позорную колесницу, тянули к святителю детей своих... А он, глядя кротко на всех, не издавая ни жалобы, ни стоны, благословлял народ исхудалыми, дрожащими руками, насколько позволяли веревки, которыми опутали по рукам и по ногам старика.

Вот за подгородной рощей скрылся поезд... Подъехал к воротам ближней обители во имя Богоявления Господня — и глубокие, немые тюрьмы монастырские приняли под свои своды нового узника.

Радость царила в Слободе много дней после падения Филиппа. Но один там не радовался. Смертельная тоска овладела душой Ивана. Он ждал, что гнет с нее свалится, когда падет Филипп. А вместо того свинцовый груз навалился на грудь. Сердце так больно сжималось, так безотчетно, беспричинно, что ни вино, ни пытки, ни ласки самые дикие, небывалые — не могли развеять этой тоски, снять груз с больной души несчастного Ивана, этого зверя в человеческом образе...

Дивные вещи, как говорят современники, совершились потом...

Кротость Филиппа растрогала даже врагов его, усмирила не только медведей, но и опричников.

Игумен Богоявленской обители, не любивший владыку, боявшийся Иоанна пуще смерти, неуклонно исполнил приказ царя. На Филиппа были наложены тяжкие оковы.

Даже по поясу лег широкий обруч железный. Сами опричники, прискакавшие за дровнями, заклепали замки.

Дверь подвала, кроме тяжких засовов с большими замками, была еще забита наглухо костылями громадными. Без пищи, без воды приказал Иван оставить там Филиппа. Думал: не смирят ли старика тяжкие лишения?

Ускакали опричники. Ключи от темницы с собой увезли, как было им приказано, чтобы монахи не разжалобились, не сделали потачки Филиппу.

Но тайные тюрьмы монастырские полны чудес. Недаром толкуют, что и войти и выйти из них — легко и трудно одинаково. Все зависит от умения... Когда через три дня явились опричники проводить заключенного, думая встретить или усмиренного горделивца, или труп жалкого старика, — свершилось нечто странное.

Целы — запоры дверные. Нетронуты двери, наглухо забитые. С трудом раскрыли двери. И до слуха крошечников донеслось пение псалмов благодарственных. Стоя с руками, поднятыми к небу, стряхнув, как скорлупу, все цепи тяжелые, слабым голосом воспевал узник Господа Сих.

Азиат суеверный, князь Михайло Черкасский, и другие, с ним вошедшие в подвал, так и дрогнули. Волосы зашевелились у них от неодолимого, священного ужаса.

— Чудо! Чудо! — как из одной груди, вырвалось у всех, и мучители, бездушные, продажные грешники, — с мольбой и рыданием припали к ногам своей жертвы, шепотом или с воплем, кто как умел, молить стали:

— Благослови, владыко! Отпусти нам окаянство наше, грехи неисчислимы, тяжкие!

И он благословил. Он дал им отпущение, палачам своим.

Кинулись к царю эти звери, пережившие минуты

просветления, рассказали все. Лица — мокры от слез... Лица только с брызгами крови да вина раньше знаемые...

И дрогнул царь. Но иное слово сорвалось с его бледных, дрожащих губ.

— Чары, чары, чары! — хрипло зашептал Иван. — Недруг он мой... Изменник, предатель! Не на суд ли Божий зовет меня старец упрямый? Так давай тягаться! Эй, псарей сюда! Пусть Андрюшу с цепи возьмут, в обитель свезут да к Филиппу припустят. Опричников моих, гляди, очаровал ведун... Пусть зверя очарует, тогда уверю в правоту... или в силу его... Да не кормить Андрея до завтра. Ни крупички нынче не давать... И завтра же... В подвал Андрюшу к старцу впустить... Пусть вдвоем потолкуют.

Андрюша был бурый медведь, могучий, самый злой из всего зверинца царского, где медведи и псы-людоеды содержались для диких охот и забав Ивана, какие тот по примеру цезарей порой затевал... Имя зверю дано в честь двух Андреев: Шуйского и Курбского.

Исполнили волю Ивана. Точно ли, нет ли? — кто знает...

Ходил за медведем один только, кого не трогал свирепый зверь: псарь по имени Приезжий Обернибесов. Он и повел Андрюшу. И в подвал его загнал. При всей грубости — набожный, верующий человек был псарь. Может, и накормил раньше досыта мишку. Или на самом деле, встретясь со взором твердого человека, в полутемном подвале, слабо освещенном светом ночника, — зверь отступил, отвернул налитые кровью глаза и смиренно улегся в углу? Как было — никто не знает... Но именно так и застал обоих царь, когда наутро, терзаемый любопытством и неясным страхом, сам он явился в монастырь, дверь распахнуть приказал и заглянул в темницу.

— Глянь, государь! — забасил шедший впереди Обернибесов. — Ондрейко-то наш — приручился, видно... Лежит смиренхонько в углу. Не тронул медведь старца Божия.

— Вижу, вижу! — протяжно отвечал Иван.

— Чудо! Чудо! — зашумели все стоявшие за царем: монахи, стрельцы и опричники...

— Чары! Чары! — говорю вам... Я — говорю! Царь и властитель ваш... Плохо вы здесь сторожите, голуб-

чики... Нынче же в Тверской Отроч монастырь отвезти крамольного епископа! А тебя, приятель, обратясь к псарю-медвежатнику, тебя, Обернибесушка, я попытаю нынче же о чуде об этом!

И прочь пошел.

Филиппа в Тверь повезли. А на другое утро в Синодике новое имя стояло, Иваном вписанное: Приезжий Обернибесов... Сверху — звание проставлено: псарь...

Что ни день — то больше росла и ширилась тоска больной души, овладевшая царем после удаления Филиппа.

Видят это опричники — и хмуриться стали.

— Все, вишь, пригляделось игумну нашему... Надоть бы поновей чего, позабористее...

И они нашли.

Чтобы не было ни сроку, ни отдыха, чтобы не успевал поодуматься царь — одно средство оставалось верное, испытанное: против сильного какого-нибудь, хоть бы и выдуманного, врага домашнего натравить надо царя. Старые внешние враги теперь уже, как нечто знакомое, мало занимали Ивана.

И нашелся случай под рукою.

То ссорясь, то мирясь, но довольно сносно в последние годы жили оба брата двоюродных: Иоанн IV и Владимир Андреевич.

Именно в эту пору, летом 1569 года, Иоанн послал князя, в качестве вождя, с московскими ратями против турок. Их ожидали со стороны ногайских степей, так как хан Девлет с помощью 17000 янычар турецкого султана собирался отнять у Иоанна царство Астраханское.

Через Кострому поехал Владимир со всей семьей и остановился в Нижнем Новгороде, где, по обыкновению, назначен был сбор служилым, ратным людям, казакам и азиатским, кавказским князькам с их дружинами.

Кострома недавно отошла к Владимиру, вместо старого удела, с другими еще городами: Дмитровом, Боровским и Звенигородом.

Старый дедовский удел, с известными целями, был отнят у брата Иваном.

Костромичи, из усердия, миряне и духовенство все, желая в лице брата почтить самого царя, встретили Владимира торжественно, с царскими почестями.



Принял хлеб-соль Владимир, спасибо сказал новым оброчникам своим и проехал дальше, в Нижний, где стал к походу готовиться. Пока войска собрались, турки узнали, что отпор им сильный будет, — без боя домой вернулись.

Владимир послал вести о том брату, а сам остался жить в Нижнем, ожидая дальнейших приказов от царя. Было это уже в конце 1569 года.

Только что оставил царя гонец от Владимира и стал Иоанн разбирать, что пишет ему двоюродный брат, — как вдруг неслышно, без доклада, показался в покое Басманов. Видя, что царь в бумаги ушел, кашлянул легонько.

— А, ты? Что надо? — не оглядываясь, узнав по кашлю Федю, возмужалого, бородой пообросшего, теперь — смелого воина, спросил Иван. Хотя и не по-прежнему, но особенное расположение питает он к этому лукавому парню.

— Так. Проведать заглянул... Слышно: вести от князя Володимира. Турок, что ли, расколотил?

— Не жди турок... Не бойся, Федя... Цел останешься... Турки к нам за тобой не заглянут... Вовсе не пожалуют... Вот пишет Володимир!

— А про то, как встречали его в Костроме да везде и повсюду, с крестами-хоругвями и со звоном колокольным, ниц перед ним как падали, государем-царем величали, — о том пишет ли князь?

— Что ты плетешь? Что за притча?

— Бабы да девки на коклюшках плетут, а мне не пристало. Видишь, вон: рубчик на лбу, от сабли татарской... Это — мое плетенье ноне... А я правду говорю...

— Как царя его встретили, говоришь? С чего ж бы то?

— Э, государь... Да ноне, видно, один у нас чутье потерял: игумен наш премудрый. «С чего бы?» А с того бы самого, с чего и в некие дни былой хвори твоей — присяги князь давать не хотел усопшему царевичу Димитрию... Не кроется князь даже... Тут — и Филипп помог... И толки, что Ивана-царевича своего ты на трон литовцам отдаешь... И мало ль что... А Федор-царевич здоровьем-де слаб, толкуют... Головой некрепок, вот как твой же брат был покойный, государь Юрий Васильевич... Один и выходит царь впереди: Володимир свет Андреевич!

— Да врешь ты...

— Экий, право, царенька... Заладил одно: врешь да врешь. С чего мне врать-то? Спроси сам хотя костромичей тех... Они не скроют...

— Ладно... Свезти их сюда, всех, которые... Я с ними...

«Дело» палачами было найдено. За костромичей несчастных взялись. Свезли в Слободу самых важных из тех, кто во встрече Владимира участвовал. Напуганные бедняки и таиться не стали, поведали, как государева брата встречали торжественно, чин чином...

— Не царя ли себе в нем чаяли, милые?

— А это не наше дело! — отвечали простодушные костромичи. — Велишь — и за царя его почтем!

Кнут и пытка служили наградой за их простодушную откровенность. А пытка была такая тяжелая, что ни один из привезенных в Слободу домой не вернулся, рассказать даже не мог, что испытал, что видел он в этом чистилище.

Не привык Иван на полпути останавливаться.

Старые подозрения, ненависть к Владимиру, искусно пробужденная сворой беспутных опричников, — завладели волей и душой Ивана так властно, что ни о чем ином он больше думать не мог.

Во сне снилось, наяву — то же самое думалось: устранить опасного соперника по царству.

В Нижний гонцы поскакали, люди были посланы разузнать, как да что там... Из опричников были, конечно, те люди... Скоро вернулись и столько насаждали, что позеленело от ярости и страху лицо Ивана.

— Извести меня задумал? Откуда знаете? — спросил царь.

— А слышали. Да можно князя и с поличным поймать.. Уж как это сделать, у нас придумано!

— Ладно. Изловите мне только его. А уж я... И вашу службу не забуду.

— Что ты, государь? Мы — из усердия к тебе! — низко кланяясь, заверяли иуды.

А глаза у самих алчно сверкают, предчувствуя поживу богатую...

Затеянная опричниками ловушка проста была до наглости.

Нежданно-негаданно явился к Владимиру в Нижнем

один из поваров Иоанна, Шемёта, Пищик по прозванию, и стал просить тайного разговора.

Допустил его Владимир в свою опочивальню. Кинулся в ноги холоп, лежит — не поднимается.

— Встань, говори, что надо?

— Шемёта я, поваренок царский, государь!

— Помню... Видал тебя... Батогами тебя хлестали единова, что царю не угодил. Помню: ты за науку кланяться пришел, при мне челом бил брату-государю.

— Так, так... Истинная правда... А вот анамнясь куда было дело почище... Женка моя — дура, заартачилась, в покои дворцовые ночью идти плясать не хотела... Мастерница она плясать... Так...

— Ну, что же?

— Да уж больно смешно, осударь... Плиту принесли железную, на которой медведей плясать учат. Под плитой тою — огонь разводить бо-о-ольшой меня же заставили... Чтобы красной была плита... И...

— Говори, не тяни...

— Да, забавно больно, осударь... Женку мою на ту плиту, на самую... поставили, босыми ногами, нагую... «Пляши, говорят, здесь, коли пред царем не хотела...» А я все огонь подкладываю...

Как будто от волненья, умолк лукавый притворщик мужик.

— Ну и...

— Плясать стала... Кругом с ножами стоят... Чуть она с плиты — нож торчит... Больно... Пахнем мясом паленым... Ревет моя женка: «Шемётушка! Заступись... Пожалей моих малых детушек... Гибну я, Шемётушко!» Ну, какая заступка тут? Самого, гляди, на плиту посадят...

— Так как же?..

— Поплясала малость... Думала: потешутся и отпустят... А там пала плашмя... и... вся дожарилась... И конец...

— А ты?

— Я... Что же... Я — дрова подкладывал...

Говорит — и ни слезинки на глазах. Только дышит тяжело.

Правда, был он при такой сцене, но чужую, не его жену тогда плясать учили. Он только теперь на себя принял личину того несчастного, который с ума сошел тут же, видя муки жены.

Владимир от ужаса даже лицо руками закрыл. Но быстро опомнился.

— Ты что же это? Чтобы мне такие сказки потешные рассказывать — и пришел сюда? Или на царя жалобиться? Так я и прибавить велю, да к нему пошлю с вестью, какие слуги у него болтливые...

— Нет, храни Бог, осударь... К слову пришлось. Сам ты понукаешь: скорей да скорей... Я и рассказал... А я — за рыбкой, осударь... Как поваренок его царский...

— Так мне-то что же? Скажи дворецкому... Он велит тебе на торгу, что получше, отобрать...

— Не! Я и сам могу... А я к тебе... Слово есть тайное. Боюсь прогневаешься али не уверуешь. Тут мне и крышка... А я еще помстить должен...

— Кому мстить?

— Учителям-то... женки моей... Окаянным опишникам...

— Воистину окаянные! — невольно сорвалось с языка у вечно осторожного Владимира.

— Да, что они только против тебя, осударь, задумали? — словно ободренный этими словами, подхватил Шемёта. — Даже ужаси... Наклепали, вишь, что ты в цари — сам сесть задумал... Костромичей, которые тебя встречали, всех переказнили...

— Эй, вздору не мели, холоп! — с сердцем оборвал Владимир, не успевший еще от друзей своих из Слободы получить никакой вести. — Гляди, не было б худо...

— Твоя правда... Вздор молочу... Прости, осударь... Вот донесут тебе, кто поважней меня — тем и верь... А мне, холопу, верить можно ли? Весь-то, холоп, — копыя не стою я медного, полушки татарской, ломаной...

Задумался Владимир. Может быть, и правда... Знает он, как подозрителен, беспощаден Иван.

А Шемёта, на коленях стоя, подполз поближе, шепчет:

— Коли узнаешь, что прав я был... И пожелаешь гнев царя на милость обратить. Счастья добыть себе да ласки братней. Шемёту шепни... Я — на кухне у царя... Не все, что пьет и ест царь, — столъники пробуют. Есть корни и травы приворотные... целкующие... Мне мигни... Дай, перешли мне что надо... Прямо во уста царю попадет... И взлетишь ты надо всеми, как

солнце над землей. Любовью братской да жалованьем... — быстро подхватил предатель, заметя испуганный взор Владимира. — Тогда и меня не забудешь... Дашь с теми порасправиться, которые Анютку мою — плясать учили... Живую палили... Деток сиротами моих оставили...

— Вон! — только и мог крикнуть Владимир.

И не стало иуды в покое.

А через неделю ввели его, избитого, окровавленного, истерзанного, в опочивальню Ивана.

— Гляди! — кричал Федор Басманов. — Гляди, государь, куды дело пошло... В Нижний, за рыбой ездил этот смерд... А люди, какие были с ним, подводчики, и донесли здесь, чуть вернулись, что к себе предателя князь Владимир звал... Долго шептался с аспидом. А один Федька Наумов, холоп твой, донес: пятьдесят рублей Шемёта взял, царя бы известить. Обыск мы сделали... Гляди! Вот, что нашли... Казны: полсотни рублей серебра. И сверточек бумажный...

Показывает Иоанну в бумажке — порошок какой-то, красноватый.

— Дали псу дворовому мы зелья этого... Вмиг околел... Вот чем, царь, братец-князь твой промышляет...

Молчит Иван, дрожит, бледен весь...

Наконец заговорил.

— А сам-то... этот... сознался... Открыл ли вам что?

— Нет... Клянется, подкинули зелье-де...

— Ну так попытайте собаку...

И пнул прямо в лицо носком сапога Шемёту-предателя, который, ради обещанной награды, — даже согласился комедию пыток разыграть, когда ему пообещали с клятвой, что дело пустяками кончится.

Но на пытки — сам царь пришел... Тут уж не до шуток. И все сказал полузамученный человек, как хотели опричники, лишь бы передышку получить до приезда Владимира, против которого он должен был свое показанье давать...

Вторым свидетелем явился дьяк Савлук Иванов, посаженный некогда в тюрьму Владимиром за разные грехи, однажды успевший уже оклеветать Владимира и мать его, инокиню Евдокию, а в миру княгиню Евфросинию.

Ничего об этом не зная, получил Владимир ласковое письмо от Ивана: «Брату нашему любезному... Пи-

шем твоей милости: турки, как сведали мы, вконец назад повернули... А тебе бы из Нижняго в свой удел поспешать... Да как поедешь туды, к нам заехал бы в Слободу, для дела великого, тайного. А стоять тебе, брату нашему, не в Слободе, а в селе Москатине, что на Богане... Там уж будет все поизготовлено... И целуем тебя братски, и супругу твою с детками. А дочки твои обе у нас здоровы... Василий, княжич твой, здоров же... и с женой молодою... Службу нам в Ливонах служит верную... А как твои молодые сынки? Здоровы ль? Поглядеть мне на них охотится...»

Поверил братскому призыву Владимир, с женой и с двумя сыновьями младшими, которые росли при нем, из Нижнего выехал, со всеми челядинцами, с боярынями жены и с прислужницами ближними, которые души не чаяли в молодой, ласковой княгине Евдокии Романовне, урожденной Одоевской, второй жене Владимира.

Стали на Богане, как царь приказал.

Тут только и дошли к Владимиру вести тревожные обо всем, что было в Слободе.

Да не вернешься назад... Поздно. А и вернешься, так догонят опричники... Немало их... шесть тысяч человек теперь в Слободе скопилось, да еще другие живут по разным городам, из тех двадцати, которые на опричнину записаны...

Ждет Владимир, что-то будет.

Спасибо, недолго ждать пришлось.

Заря не занималась, а из Слободы выехали тысячи две опричников, с Иоанном во главе. Тихо подъехали к селу, где ночевал Владимир. Трубы резко прозвучали. Все село было оцеплено. Как в побежденный лагерь вступили туда нападающие. Иван занял большую избу, недалеко от той, где Владимир с семьей помещался.

С шумом, с проклятиями ворвались в покои князя и княгини два посланца Ивановых: Грязной Василий да Малюта-палач, Скурлятев рыжебородый.

— Вставай, изменник... Иди с княгиней твоей на суд, перед очи царские...

— Прочь, холопы, — обнажив меч, крикнул Владимир. — Пойдем мы сами к царю... Но вы не смейте касаться ни меня, ни княгини, ни детей наших...

Отступили оба, ждут.

Наскоро одетые, пошли за Владимиром к царю — жена его, оба сына... Ближние женщины княгинины...

Обезоруженного Владимира с семьею ввели в пустую горницу, где ждал их царь, судья и палач, все вместе. И старший сын, Иван-царевич, с отцом тут же.

— За что позоришь так брата своего, государь? — спросил было при входе Владимир.

— Молчи, предатель! Мне здесь спрашивать, тебе — ответ держать надлежит. Ты чего ради отравить меня людей подкупал, холопов моих?

— Когда? Помилуй, государь!

— Когда? Эй, ты... Шемёта... Как тебя? Уличай...

На коленях подполз предатель и, не отрывая головы от земляного пола, чтобы не встретиться с глазами Владимира своим бегающим взором, повар стал повторять заученный урок...

— Призвал князь... Денег сулил... Полста дал тут же... И зелья в бумажку отсыпал из ларца... У постели на поставце стоит... Нарядный ларец...

И повар описал подробно ларец дорогой, который приметить успел в спальне у Владимира.

— Знаю, знаю ларец... — кивая головой, произнес Иван. — Видывал его. Старинный, дедовский... Что скажешь, брате? Чем оправить себя думаешь? Чем смертный грех братоубийства и цареубийства окупишь, кроме смерти же?

— Не ради жизни, но твоей и моей души спасения ради говорить буду, государь... Только деток и княгиню увести повели... Видишь, неможется ей...

— Жена и муж — да будут воедино, — по слову апостола! Вместе умышляли на меня, заодно и ответ вам держать. Говори...

Скрепился Владимир, все рассказал, как было.

— Хитро придумано... Подослан, значит, был поваренок к тебе, так думаешь? А кто же подсылал? Скажи уж, не потаи!

— Того не ведаю, государь...

— Попытать бы тебя, — скажешь! Да, лих, крови нашей царской проливать, тела братнего мучить не хочу...

— Не пытай, государь... Ее — не пытай, княгиню мою... Только и молю тебя! Вижу: помеха мы тебе на белом свете... Так... постриг принять повели... Схиму великую... И забудешь ты об нас, и свет позабудет... Спокойно царствуй... Молю тебя, пусти нас в монастырь... И ты проси, жена... Дети, молитесь дядю...

Кинулись они к ногам царя.

Рыдают, ноги целуют мучителю... Он сидит, задумался... А что, если бы?

Но угадали минуту колебания, прочли искру сожаления на глазах у Иоанна слуги его кровожадные. Не того им хочется... Да и опасно оставить в живых такого сильного, так глубоко обиженного человека!

— Государы! — шепчет Малюта. — Слышно, инокия-то Евфросиния, на что баба, на что в монастыре уж сидит, а царюет тамо! Все бояре к ней исподтишка съезжаются, да боярыни-княгини! Словно бы на богомолье... А о чем Бога молят? И о том ты сдогадаться можешь... Так уж теперь, если этих еще в монастырь... Поди убереги их!

— Да, да, и монастырские стены — порука ненадежная от умыслов злодейских... Дощатые стены домовины, гроб трилоктный, — хоть и тоньше, а куды прочнее... Правда твоя, Малютушка! — встрепенувшись, ответил царь и оттолкнул прильнувших к его ногам детей.

— Прочь... Довольно... Стыдно валяться так... Все же кровь вы царская...

— И то, стыдно! — поднимаясь, поняв, что все кончено, прошептал Владимир, помог подняться и жене, детей к себе прижал.

Перепуганы насмерть мальчишки... Не поймут, что творится. Все перед отцом и матерью ихней ниц падали... А теперь — сидит в грязной избе страшный старик... В рясе черной... Дядя он ихний, правда, царь... Но противный... злой... И мучит отца с матерью.

— Не смей обижать тятю... Не трогай маму! — вдруг, вырвавшись из рук у отца, крикнул прямо в лицо Ивану старший, семилетний мальчуган.

Мать быстрее молнии схватила ребенка, лицом к груди прижала, молчал бы только, не губил себя и всех.

— Ого! Волчонок зубы показал! Хорошо настроили сынка... Вижу, как учили вы племянника меня, царя и дядю, почитать! — заскрипев зубами, сказал Иван. — И то, чего тянуть да зря слова терять? Слушай, брат... Жизни моей, и венца, и трона искал ты моего... Забыл крестное целование, записи многократные клятвенные... Холопав на царя подвигал, на помазанника Божия... Яд мне изготовил... Так сам его испей сейчас же... на



моих глазах... Милую тебя: без муки покараю... За мою жизнь, на кою умышлял, твою жизнь отыму, как оно и в законе сказано: око за око... Эй, подать сюда кубок меду, для меня братом сычёного... Сам пускай изопьет!

Усадили князя... В полуобмороке княгиня опустилась на лавку подле него... Кубок с ядом принесли...

— Пей!

Покачал головой Владимир.

— Нет, сам пить не стану. Вижу: час мой пришел. Предаю себя в руки Божии... Но сам не стану руки на себя налагать. Грех то смертный... Не хочу я души своей загубить, как ты, брат-государь, тело губишь мое...

— Пей, говорю, не то — за пытки примусь... Хуже будет...

Вдруг поднялась с места княгиня Евдокия, молчавшая и только рыдавшая до сих пор.

С земным поклоном обратилась она к мужу:

— Прости, княже! В годину эту лютую позволишь ли жене своей совет подать тебе? Слово сказать, как думаю?

И ласково, но твердо звучит голос измученной, прекрасной, страдающей женщины.

— Говори, милая... Говори, голубка моя... Ты ль мне не советница была? Ты ли не любая, не помощница? Говори. Как скажешь — так и сделаю! Крестом святым божусь, души спасением заклинаюсь... Говори...

И обнял крепко... По волосам гладит, в глаза нежно ей глядит.

Иван слушает, смотрит, даже с лавки привстал...

Что это? Наваждение дьявольское? Не Настя ли то воскресла? Не ее ли слова? Не она ль говорит? Не ее ли голос слышится?

А княгиня так же спокойно, громко, словно про что-нибудь по дому толкует, дальше речь ведет:

— Испей чару, как он вот велит... Откушай, князь-государь... Видит все Господь. Знает, чай, не сам ты налагаешь руки на себя... Тот губит тебя, кто отраву дает брату, без вины, без прорухи всякой... На его душу и ляжет грех... Лучше же от руки царя-брата смерть принять, чем палачу-кату подлому тело твое терзать, душу томить... А Бог отомстит на страшном суде за кровь неповинную... На нем, на проклятом, на детях на его — кровь наша и детей наших! — оборо-

тясь к Ивану с выражением ненависти и невыразимого презрения, крикнула княгиня.

И умолкла. Больше ей нечего сказать. Напрасно кинулись было палачи рот зажать Евдокии. Только посмотрела она на них — и отступили те. Стоит и молчит княгиня.

— Ну, ин так... Будь по-твоему... Жить помогала ты мне.. Умирать же научила, княгинюшка! Низкий поклон тебе! И тебе, брат-государь, за венец мученический, кой приемлю из рук твоих... Дайте чару мою смертную...

Твердой рукой взял он большой, толстого стекла стакан, полный до краев мутной, беловатой жидкости. К губам подносит...

— Постой князь! — шепнула княгиня. — Гляди, по-честному с нами поделись, не все осушай... Нас трое здесь еще... Не то знаешь, что может быть?

— Знаю, знаю... Он все может... — отвечает князь, словно и нет здесь Ивана, словно не о нем и речь. — Оставляю и на вашу долю...

Отпил спокойно больше половины.

— Вот так... Гляди — и на вас хватит!

— Как не хватит? Чай, знаешь зелье свое, которое изготовил на царя! — говорит Иван.

И смотрит: что дальше будет.

Захватило его то, что происходит перед ним. Словно это не люди живые... И не брат его яд выпил так спокойно... И не жена брата молит: на мою долю, на сыновей оставь... И сам Иван — не он теперь. Нет! Давно забытые картины выплывают перед Иоанном. Сидит он, читает о временах мучительства, какие творили кесари римские над христианами... И эта чета перед ним, — чета римлян стародавних... И пьют они смерть, словно вино сладкое... А он, Иван, кесарем ставший, любит, как люди жить и умирать умеют хорошо!

— Вот, вместо пещнаго, такое бы действие представить... — вдруг нежданная пробегает, неуместная мысль у царя.

А Евдокия тоже успела между тем отпить из стакана... И детей заставила... Честно остаток поделила. Себе — побольше. Детям — поменьше...

Смотрит дальше Иван.

Плохо влияет яд... Прием у княгини и детей — не довольно велик... Владимира — того уж поводить нача-

ло, как бересту на огне. Но он обнял жену, детей, сидит, муки пересиливает, улыбаться старается... Молитву громко читает отходную... Евдокия и дети повторяют священные слова за князем. Сами себя готовят люди в иной мир.

И невольно Иван стал вторить за жертвами своими бесконечно грустные и бесконечно утешительные слова моления страшного, последнего моления...

— Ныне отпускаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему... Упокой, Господи, души рабов Твоих... Владимира... Евдокии... Ивана да Юрия...

— Мама! Мама! — шепчет напуганный старший ребенок. — Разве ж и я умру... И братец меньшей, Юра? За что, мама? Не хочу помереть... Страшно в могилке... Видел я: клали бабушку нашу старенькую... Мама, не хочу... Жаль мне... И братца жаль...

— Нет, милый, не бойся: не смерть... жизнь тебя ждет вечная, ангельчик ты мой! — костенеющим языком отвечает мать...

— Ой, больно мне, мама! Мама, что с тятей? Упал он... Как поводит его... Ой, больно! Мама, какие глаза у тяти страшные! Ой, больно, страшно мне!

Малютка Георгий-княжич только хрипит на коленях у матери и весь извивается...

И княгиню муки осилили. С воплем пронеслось:

— Господи, помилуй... Не дай видеть муки детей моих... Господи, помилуй!

Глядит, глаз не отводит Иван, как очарованный, как к месту пригвожденный... Словно во сне, не наяву все это видит... И ни звука не говорит...

Вдруг сзади за ним, быстро, один за другим, — прогремели три-четыре выстрела...

Не вынес Иван-царевич и еще двое опричников... Дрогнули сердца косматые... Три куска свинца впились в мать и в детей, прерывая мучения.

— Спасибо! — только и прошептала княгиня — и затихла.

Детки тоже вытянулись, смирно лежат... А Владимир от яду коченеть уже стал.

Быстро обернулся Иван.

— Кто смел? — пробормотал он.

Но все позади стояли с такими измученными, печальными лицами, что не повторил царь вопроса, а, как Каин, гонимый совестью, кинулся вон из горницы...

Говорит летописец: «Призвал Иван дворню женскую всю княгини и сказал:

— Глядите, как я злодеев своих казню... И вам — то же следует... Но если станете молить о пощаде — помилую вас. Станете Бога молить о князьях ваших и о моей душе многогрешной...

С ужасом взглянули боярыни и прислужницы на тела злополучных, невинных господ своих, скрепили сердце, отогнали страх и в один голос отвечали мучителю:

— Не хотим твоей милости, кровожадный убийца нашего благочестивого господина! Лучше умрем, чтобы там, в небесах, до страшного суда вопиять на тебя к Богу, чем останемся под твоей тиранскою властью... Делай, что хочешь!

Так Господь чрез слабых жен обличил Ивана. Мучители не любят сознаваться в своих злодеяниях.

Царь закипел яростью, велел всех женщин обнажить и гонять по улицам села, между народом, как зайцев или собак, для позора. Потом — расстрелять и изрубить велел, а трупы бросить в чистое поле...»

Слова женщин успокоили Ивана.

Он убедился, что крамола гнездилась в доме Владимира и казнь постигла князя со всей семьею недаром... Кроме имен здесь погибших, дня через два Иван записал в Синодик еще имя: Княгиня-инока, Евдокия (Евфросиния Старицкая) потоплена в Горах<sup>1</sup>, в Шексне-реке... Там постиг ее гнев тирана...

Захарьины, после смерти Анастасии, после возвышения Басмановых, отошли совсем на задний план. И задумали они поправить дело. Путь для того один, всем известный. Надо только возбудить ярость полубезумевшего Ивана против какого-нибудь из заведомых ненавистных врагов... И припутать к делу Басмановых. Урок последних впрок пошел врагам их. К Захарьиным пристал и князь Михайло Темрюкович Черкасский. Незадолго перед тем умерла Мария Темрюковна. Толковали, что зачахла она в своем терему, под замком сидя, с трудом вынося дикие ласки больного

---

<sup>1</sup> Горицкий Воскресенский девичий монастырь у города Кириллова, где жила инокия, мать Владимира, Евфросиния, потом нареченная Евдокией.

царя... А князю Михайле думалось, что не без помощи Басмановых закрыла глаза царица. И он, раньше шурин царский, теперь — невольно терял значение... Особенно был ненавистен всем старик Басманов, боярин Алексей, надменностью давивший даже своих товарищей опричников.

Тихо, незримо интрига ползла... Сына успели против отца поднять... Запутали, завертели обоих... И ко всему новгородцев приплели... С этих-то, собственно, и начали. На веселом пиру вдруг упал к ногам какой-то не то холоп, не то однодворец, Петр, из волынских людей:

— Слово великое, царь, имею поведать тебе! Измена готовится всесветная!

— Какая измена еще? Говори!

— Господин Великий Новгород за Литву себя отдаст!

Что красный платок быку показать, что помянуть царю про новгородцев, закоснелых врагов его, — все одинаково...

Вскочил, дрожит Иван.

— Говори, скорей говори...

— Служил я у Бессона, у подьячева новгородского... В кабалу ему задался... И другой ошшо подьячей к ему хаживал же, Сухан... И оба толковали... И грамоту писали, как им на новгородском вече, на миру приговорено... И на совет тое грамоту носили на вселюдный... А в грамоте писано: отдать бы Новгород и все пятины новгородские, и псковские тута же, за круля польского... А на твое место Владимира-князя садить... Да признано, что казнен князь... Так поотложили. А грамоту ту писанную к крулю — до времени схоронили за образ чудотворный Софийской Божией Матери, что соборне... А потому вече за круля стоит, что он в Ливоны вошел, не нынче завтра силом земли все поберет псковские да новгородские... Людей посечет, порубит. Так лучше поране, без урону к ёму отойти. И сюды я с грамотой послан же от хозяина, про вести московские разведать... Да совесть меня зазрила... К тебе пришел. Твоя воля — казнить али миловать...

— Моя воля, холоп... Великое слово ты нам сказал. Оправдаешь слова свои, — счастье ждет тебя великое ж! Если же солгал?... Ну-ка, кажи грамоту твою, эпистолию дякову... К кому она?

Из-за пазухи Петр-волынец быстро выхватил столбчик запечатанный, отдал царю прямо в руки.

— Боярину Алексею Федоровичу Басманову... Ловко.. Добрые ж друзья и заступники у Новгорода крамольного — за моим столом сидят, хлеб мой едят, вино пьют сладкое... Ванюшка, слышь, каки дела?! — обрattился он к старшему сыну, охотно принимавшему участие в пирушках и забавах отца. — Ну, почитаем... почитаем...

Если бы гром упал с ясного неба, -- меньше оглушил и напугал бы он всех, здесь сидящих, чем заявление Петра-волынца.

Сразу все отшатнулись от старого Басманова. Одинок воевода остался в своем углу, где сидел. Да поодаль Федор виден. Отодвинулся, но не совсем отошел от отца.

Читает Иван, жилы вздулись на лбу. Пятна на лице показались. Люди и дыханье затаили кругом...

Послание ловко было составлено. Будто отвечает Басманову Новгород. Если удастся-де при помощи боярина от царя избавиться, на место Ивана литовского гетмана посадить, если Господин Великий Новгород волю прежнюю получит, так Басманову, с родом его, владеть вольным, богатым городом, в звании наместника вековечного Псковского и Новгородского...

— Ловко... Смело залетел, Алеша... Лих, промашку дал... Бога забыл... Бог — предаёт предателей-крамольников... А ты что же, Федя? К отцу так и жмешься? Али с ним заодно?

— Я? Что ты, государи! Не кори, не обижай понапрасну. Нет у меня иного отца, кроме тебя, государь... Как я крест тебе целовал... А стою, так на случай... Не прикажешь ли чего? Да гляжу: над собой бы не учинил греха изменник твой царский...

— Ай да молодец, Федя... Так помнишь клятву? Ни отца, ни родимую мать не щадить... За меня, за царя стоять за единого! Поглядим... Сейчас узнаем... Всю правду слуг моих изведаю теперь.

И, поднявшись, царь торжественно произнес:

— Федор Басманов! Опричника нашего, в вине уличенного, царю предателя, Алексея Басманова — тут же на месте казнить я повелеваю тебе!

Смотрят все, ждут... Смотрит и Алексей Басманов. Не верит он... Не думает... чтобы сын его? Чтобы Федя

в ноги царю не кинулся, молить за отца не стал... Все-таки кровь родная...

Мертвая тишина в палате.

Постоял немного Федор, короткой, быстрой судорогой лицо у него повело, словно он горькое что проглотил. И вдруг тихо стал двигаться... Все замерли.

К старику приближается сын, только не прямо глядит, а все как-то в сторону... На одно мгновение сверкнула на воздухе сталь, — и прямо в сердце широкий нож вонзился старику... Разок один только и вздрогнул тот, слабо совсем. А из горла — кровь, с пеною вместе, так и хлынула...

Федор Басманов исполнил присягу свою...

В декабре того же 1569 года со всей ратью кромешною — выступил царь к Новому-городу... Ко Пскову пошел.

Тверь по пути лежит. Высоко стоит, белеет Отроч монастырь Тверской, где заточен низверженный Филипп.

Вся Русь, весь народ православный, — чтит владыку по-прежнему, хоть носит не мантию он, а рясу инок. В монастыре — тесно всегда от богомольцев-поклонников... И братия, вопреки суровым наказаниям Ивана, чтит узника Филиппа больше, чем игумна своего.

Игумен — тоже Филиппу первое место и честь отдает.

Только молит всех:

— Потише, голубчики... Посмирнее, братчики вы мои! До Москвы бы не дошло... До Ирода лютого... До кромешнины его! До его опричнины до окаянной...

А как узнали, что мимо Иван на Новгород пройдет, сразу все изменилось. Рясу дали Филиппу старую, в подвал опять посадили.

И молят:

— На время только. Авось царь заглянет? Боязно! Потерпи, святой отче! Проедет царь — все станет по-старому, по-хорошему...

— Да Христос с вами! По мне, так вот, в подвале — и лучше еще, для души почище...

И кротко благословляет всех, утешает, успокаивает святитель.

Монахи не ошиблись... У самых ворот монастырских остановился Иван.

— Малюта, а загляни-ка к Филиппу, к старцу строптивому. Не поумнел ли? Уж давно не шлет мне грамоток грозных своих, не гласит: анафемы! Скажи: просит-де государь его благословения святительского, на врагов одоление дал бы Господь... Да, може, обмяк он? Не возьмет ли назад митрополичий посох свой в руки? Кирилка-то наш, новый владыко, — куды не на месте сидит! Пить — здоров. А кадить да в святцы глядеть не его дело!

Спустился Малюта к святителю. Передал слова царя.

— Иди за мною, сатана! — ответил ему Филипп.

Гневом, негодованием загорелись даже эти ясные, короткие глаза.

— Не торгую душою бессмертной и престолом владычным, не покупаю благ земных — погибелью души моей бессмертной, как ты, как всесветный, убийца князя Владимира неповинного. Ступай, пес, скажи господину твоему: тако рече Филипп, бывший митрополит Московский: «Царь! Услышь слово мое великое! Аще обещаешься покаяться о своих гресех и отогнати от себя полк весь сатанинский, сиречь — опришников-кромешников адовых, — то и благословлю тя, и на престол мой, послушав тя, вернуся. Аще же не слушаешь — да будешь проклят и в сем веке, и в будущем, со кромешники твоими кровоядцами, и со всеми приспешниками, во веки веков. Аминь... На пагубу христиан ты идешь, нет на то моего благословения!»

Сказал — и отвернулся от Малюты. Тяжело ему видеть такое искажение лика Божия в человеке.

— Не больно лайся, старче... Все ты изведаль, кроме пыток да смерти... А оно — не за горами, за плечами... — пробормотал обозленный палач и к царю пошел.

— Что? Смирися?

— Какое! Полагать надо, не больно тут ему плохо было... Откормился старец, сил набрался... Злобой пышет... Тебя клянёт. Ругает так, что руки чесались у меня заткнуть уста богохульные. Без приказа — не посмел... А он ладит одно: пес проклятый твой царь. И анафема, и трижды...

— Ну, молчи... Повторять еще вздумал? Ступай, в



последний раз... Слышишь? В последний раз — попытайся смирить крамольника... А если клясть начнет? Ну, ступай... Понял, Малюта?

— Младенец поймет, государь... Я давно бы... Да приказу не было твоего...

— Ну... и сейчас ничего не приказываю, — перебил Иван. — Долг свой помни...

— Не позабуду, государь...

И снова стоит Малюта перед старцем в сырой, подвальной полутемной келии, где пусто и голо все... Склеп, а не келья...

— Ошшо раз — здоров буди, старце... И не тревожил бы тебе... царь повелел... В последний раз — милости пришел я просить у тебя: благослови царя... Да и меня заодно.. Иду на дело трудное...

Глядит прямо в глаза палачу старик и отвечает:

— Благословен грядый во имя Господне! Без воли Господа волос не спадет с головы человеческой... Вижу: на что ты идешь. Господь ведет длани твои... Благословен грядый во имя Господне...

Смутился Малюта.

— Мудреный ты, старче... Выходит, меня — благословляешь? И за то спасибо... Свят ты очень. Вон, ликто у тебя... Нездешний словно... Ну да все пустое... Царя благословляешь ли? Ответа он ждет...

Говорит, а сам ближе подходит.

— Проклят твой царь от меня, от людей и от Бога, пока не покается, слышал ведь, грешник?

— Ой, не кляни царя... Ой, не кляни! — грозит Малюта, а сам совсем близко подошел.

— Не я, Господь проклинает... И род его и все пути его... и...

Но Филипп не кончил.

— Не я, — присяга моя творит! — вдруг, хватая за грудь и за тонкую сухую шею инокa, прохрипел Малюта. А сам полой рясы старенькой всю голову покрыл старику, чтобы не видать лица страдальца.

Но не пришлось и возиться долго палачу с полуживым аскетом.

Тихо стал Филипп валиться на землю.

Подождал немного Малюта. Потрогал рукой начинающее быстро остывать, бескровное старческое тело и кинулся прочь на воздух из этого подвала, из этой могилы...

Выслушав Малюту, Иван крестом осенил свою грудь, шепча:

— Ты сам, Малюта! Я не сказал. Я — ничего тебе не говорил!

И дальше ехать велел...

В Новом-городе дело шло совсем как по писаному!

Князь Богдан Бельский, новый юноша-любимец, заменяющий место Федора Басманова, теперь возмужавшего, ездил тайно в Новгород и нашел за образом, в соборе Святой Софии подложную и подложенную Петром-волынцом грамоту от имени архиепископа Пимена, бывшего прихлебника царского. Подписи владыки, лучших людей новгородских, бояр, детей боярских, богатейших гостей торговых и местных купцов, — подписи эти были подделаны до обмана хорошо на предательской грамоте. Город с поветами и всеми землями своими отдавал-де себя под высокую руку короля Сигизмунда...

Теперь, раскрыв этот мнимый заговор, словно в краю враждебном, идет грозою царь на ненавистных новгородцев. Разгром начался — от Клина от самого. Везде — сыски и казни разразились. Особенно Тверь пострадала... А 2 января 1570 года показались передовые отряды и под Новгородом. Заставой стали на всех путях ратники. Стрельцы, казаки, татарские отряды Саина и князя Черкасского... Ни в город, ни из города птице не пролететь, не то — человеку пройти.

Как в могиле, тихо в Новом-городе, в вольном некогда, великом центре вечевом.

Заикнулся было кто-то — за бердыши взяться, за ржавые мечи за отцовские... Город закрыть, отсидеться.

— Казань — отсиделась? Полоцк — отсиделся ли? Города все ливонские — покрепче Нова-города, а их все побрал Иван. Не отсидишься от него... Одно: на Бога надежда! — заговорили люди. — Послал Он испытание — надо терпеть до конца...

И стали казну собирать богатую, шлют навстречу царю... Дарят всех без конца, в ком только можно опору найти... Опричники деньги берут, чего-чего не обещают!

Но слаба оказалась опора. Безумный, ярый гнев Ивана — не слышал и не видел ничего!

Дети боярские из передового полка царского — все пригородные монастыри закрыли, казну монастырскую — запечатали, монахов, игумнов-настоятелей, сотни людей в Новгороде заперли в тюрьмах городских, пока царь дело разберет.

Весь причт новгородский, духовных людей, которые могли бы народ объединить и всегда стояли во главе всяких волнений народных, — этих под стражу отдали... В оковах держат, выкупы палками выколачивают... Казна церковная, кладовые «лучших» людей — все переписано, запечатано...

Гостям, торговым и приказным людям — тоже пощады не дали. Их взяли под стражу, с детьми и с женами...

На Крещение Иван сам пожаловал... И с царевичем, с Иваном Ивановичем...

— Гляди, как я отмщу обидчикам моим, которые с детства самого, с юных ногтей крамолы мне чинят... — сказал царь сыну. — Покончу с ними, чтобы тебе царить спокойно после меня.

— Погляжу, погляжу! Знаю я всю злобу людишек тех лихих!

И глядит юный царевич.

На Торговом конце, на Городище, остановились всем станом, Иван и две тысячи человек, провожатых его.

На другой же день приказал царь первым делом палками насмерть забить всех игуменов, всех монахов, какие в подогорных монастырях были захвачены. Неделю целую трупы иноков развозили по монастырям, откуда были взяты эти несчастные. Там и погребали их в братских могилах.

В воскресенье, восьмого января, к детинцу Новгородскому тронулся Иоанн, чтобы в кремле, в древнем храме соборном Св. Софии — обедню отстоять.

На самом мосту, на Волхове-реке, встретил царя владыко Новгородский, Пимен, как следует, с крестами и хоругвями, со всем причтом... Благословить, осенить крестом захотел. Но Иоанн уклонился, не подошел к епископу.

— Злочестивый, стой! — громко заговорил Иоанн. — Держишь ты в руке не Крест животворящий, но оружие некое... И этим оружием думаешь уязвить сердце наше! Вижу коварство твое, монах... С

иевфусеянами своими, с новгородцами, от века крамольными, отвергнуть задумали вы меня, царя своего законного... Так и я, аки Давид, покараю вы! Сотру главу змиеву! Отчину нашу, богоспасаемый град, великий Новгород — задумали вы предать врагу нашему, Жигимонту-Августу! Так знай: с этой минуты — не пастырь более, не учитель ты стада Христова, но волк хищный, губитель всенародный, изменник нашей царской багрянице и короне — досадитель! И да падет на твою голову вся кровь, которая прольется по вине твоей!

— Аминь, Господи! — только и мог ответить дрожащий Пимен. — Не отринь, Владыко, раба своего.. Не покинь меня, Господи.

— Он не покинет, он взыщет тебя... Веруй, твердо веруй... А ныне... Ступай к Святой Софии... Помолись за души всех грешных. И за свою — молись...

— Буду за тебя, государь, молить Господа! Да смягчит он сердце твое... Да пошлет кротость и милосердие владыке земному нашему...

И все вошли в собор.

Служба началась, молебен благодарственный за пришествие царское, невредимое. И обедня, и молебен на похоронный обряд походили, такая смута и печаль царили в стенах древнего храма. Слезы ручьями лились у всех новгородцев, здесь стоящих. Жарко молили они: да спасет их Бог и Святая София... Предстоит что-то страшное! А что — и представить себе боятся!

Опричники — тоже как будто молились, а сами — разглядывали, сколько богатств в храме собрано... Нельзя ли и тут поживиться немного?

После молебна — в столовой палате архиепископской за столы сел Иван. И царевич рядом. Опричники тут же. Сидит между двумя пресвитерами и Пимен на своем возвышенном месте...

Только что стали блюда разносить... Вдруг крик неистовый, громкий, пронзительный крик прорезал царящую в палате мертвую тишину:

— Гей! Лови, вяжи изменников! Бей в мою голову!

Это Иван обычным криком подал знак к нападению... Вмиг закипел грабеж, началось насилие...

Пимен — разоблачен, связан и полунагой отдан под стражу. Казну его, двор весь богатый опустошили, разграбили...

Из Святой Софии тоже забрали утварь дорогую и богатую ризницу... В монастырях, в церквях новгородских опустошение пошло...

А Иоанн, вернувшись в стан свой, на Городище, приказал суд начать... Захваченных новгородцев при нем допрашивали, на медленном огне жгли, про измену узнавали, а больше допытывались палачи, где у кого казна спрятана.

Знали все новгородцы о предстоящем погроме и, что получше, — в землю зарыли, как от татар, припрятали в соседних борах... А теперь, на пытке, — заговорили люди и про измены свои небывалые, и про тайники настоящие... Затем добивали их, полумертвых, палачи или вязали крепко и с моста прямо на Волхов кидали, в полынью большую, которая так и не замерзает с той поры! Детей, грудных ребят — привязывали к груди материнской — и вместе топили их... Кто выплывет, тех баграми под лед толкают, добивают, как на промыслах северных поморы тюленей, моржей дубинами глушат...

Пять недель уже бойня идет... Волхов трупов не пронес, вода по льду разлилась...

И все время Иван сам следит за казнями...

Пожелтел, похудел, измучился весь... Уж и не слышит он стонов... так прислушался к ним... Крови не видит, столько пролито ее... Только в лица смотрит казнимым, пытаемым. Смотрит, трясется и твердит:

— Чары... Чары проклятые!

И правда — чары... Все, кого ни пытаются перед ним, кого ни секут на куски, кого ни жгут на углях: стариков, молодых ли, женщин, детей ли, — все равно... У всех — одно и то же лицо... Кроткое, старческое... Бескровное... Лицо Филиппа, удушенного еще там, под Тверью далекой, в Отрочьем монастыре... Раскрыты широко стекловидные глаза... И прямо в сердце глядят Ивану... И жгут это сердце... Мучительно жгут... Сунул нарочно Иван свою руку к огню, на котором пытали кого-то... Куда слабее палит этот огонь, чем тот, которым грудь полна.

— Что ты, государы! Ай очумел? — басит Малюта. — Руки-то как греешь! Опалит совсем... Гляди!

А Иван и не слышит боли, не чувствует обжога... Шепчет тихо Малюте:

— Скажи, Малютушка: удавил ты его?

— Которого?..

— Ну, знаешь, того, старика... Бледного... Худого...

— Энто позавчерашнего? Вестимо удавил... Как он стал тебя лаять, со зла да от прижару, так я и тиснул его... Замолчал...

— Нет, нет... Не позавчера... А того... В Твери?

Ни за что Иван имени сказать не хочет... Как будто, сказавши имя, — он из могилы поднимет страшного мертвеца-мстителя...

— А? Про Филиппа ты? Ну, о чем и спрашивать... Похоронили, гляди, давно. Чего хватился!

— Так как же это? Зачем они? Как смеют? Зачем лица чужие у них, у крамольников? И глядят с укоризной... Его очами глядят... Напугать меня думают? Чары, чары все! — визгливо уж выкрикивает Иван... И вдруг упал на руки Малюте в сильном припадке, какие все чаще теперь у царя...

Не видно больше на пытках Иоанна. Уговорили его не ходить. Но тянется по-прежнему расправа кровавая.

Вокруг города на двести верст во все концы рассеялись отряды опричников. Там — все то же повторяется, что и в самом Новгороде происходит...

Наконец 13 февраля — шестинедельной бойне положен был конец... Среди свиты своей кромешной стоит Иоанн.

Перед ним — выборные от Новгорода, из каждой улицы лучший человек отобран... Хоть и выбирать мало кого осталось. До шести тысяч лучших людей новгородских, с женами, с детьми — лежат на дне Волхова-реки, в ямы уложены, в глубокие могилы, в общие...

Да и уцелелые горожане, призванные к царю, стоят перед ним на коленях, мертвецов бледнее, ждут, какие пытки для них приготовлены. Дрожат, как в лихорадке, глаз не смеют поднять на Иоанна.

И вдруг хрипло, но ласково, без прежней ярости зазвучал голос царя:

— Встаньте, люди мои... Вы, горожане новгородские, кого смерть не унесла... Молите Господа Бога, Пречистую Его Матерь и всех святых о нашем благочестивом самодержавстве царственном, о детях моих, царевичах Иване да Федоре, о всем нашем христолюбивом воинстве. Да дарует Господь нам победу и одоление на всех врагов, видимых и невидимых... Да свершится суд Бо-

жий общему изменнику моему и вашему, владыке Пимену, его злым советникам-мникам, и попам, и всяким соумышленным его... Кровь пролитая — сыщется на их душах изменничьих... Вы об том, что было, теперь не скорбите, живите в Новгороде моем благодарно... А на место себя — ставлю вам наместника — боярина своего и воеводу, князя Петра Даниловича Пронского.

В тот же день Иоанн выступил ко Пскову.

Притупилась жажда крови, затих огонь ужасный в груди Ивана. Немного казней и пыток увидали псковичи после того, как все, на пороге у домов своих, с иконами, с хлебом-солью в руках, разодетые в лучшее платье, с колокольным трезвонком и веселыми кликами встретили въезд царя, кидаясь ниц на снег лицом.

Пограбили только горожан опричники... А казненных почти что и не было... Под самым Псковом к тому же встреча одна Ивану была тяжелая.

Нагой, не глядя на мороз, еле рубищем да веригами прикрытый, встретил Иоанна Никола-Салос, чтимый всем народом, Христа ради юродивый. Идет к царю, а в руке — кусок сырого мяса держит.

— Куда идешь, блаженный? Зачем мясо у тебя? — спросил Иоанн.

— На могилки новгородские иду... Есть его там буду... Бери, и ты поешь малость!

— В пост Великий?! Грех, блаженный муж!

— А ты, великий царь, кровь льешь христианскую... Не грех то?

— Не говори речей пустяшных, старче... Благослови нас!

— От Везельбула благословен ты... Эй, Ивашко, Ивашко! Буде тебе христианскую кровь пить! Захлебнешься... Сыроядец ты истый ноне! Не замай, минуй нас лучше... Не иди на град наш, не то и убежать не будет на чем... Вот, не хуже его! — и юродивый показал на шута царского, который ехал рядом с Иоанном, важно сидя на быке.

Иоанн смутился, молча въехал во Псков, — но пощадил жителей...

Особенно смутило Иоанна, что конь, на котором он ехал, — мертвым пал часа через два после того, как вступил царь в город. Словно накликал эту беду юродивый...

Скоро к Слободе повернул царь с войском своим

крошечным... Но и в Слободе долго звучал раскат грозы Иоанновской, губительной грозы, вконец сломившей гордость и силу новгородскую... Узнал царь, что принимали близкие ему люди подарки от новгородцев перед разгромом, что сношения с ними вели — и пал за это отцеубийца Басманов, погибло с ним еще немало из числа дружины царской, из опричников буйных и продажных...

Шестьдесят тысяч жертв скосила эта гроза, как толковал народ... В Синодике — до трех тысяч отмечено... А было их — тысяч десять, не менее... Большая была гроза, но, к счастью, почти что и последняя...

Стоит начало апреля 1570 года. Ясный, тихий полдень. Небольшая, но людная сейчас площадь базарная в Торжке-городке так вся и тонет в вешней грязи.

По шерсти и кличка дана городку. Торжок — «подторжье» и Москве, и Новгороду, между которыми он стоит, и Пскову соседнему. Там базары великие, здесь — «подбазарок».

Недаром город на старом Ганзейском пути лежит. И на самой площади базарной высится несуразная, круглая каменная башня, Ганзою еще строенная.

Без башни площадь невелика была, а от нее теснее стало вдвое. Раньше сторожевою башня была. А под нею, в обширных, глубоких подвалах склад ганзейских товаров помещался.

Сейчас городок лишен почти всякого боевого значения. Есть в нем небольшой «двор воеводский», или княжеский, для тех лиц, которым порою за какие-нибудь заслуги Торжок со всеми прилежащими волостями пожалован бывает царем Московским.

А торг по-старому кипит и в лавочках, на базарах и площадях, и в амбарах-складах, по берегам Тверцы-реки, прихотливо бегущей мимо городка посреди лозняков да береговой заросли кудрявой.

Огромным оседающим куличом темнеет среди людной площади старая башня с ее невысокой, кое-где провалившейся от времени крышей, с узкими, беспорядочно разбросанными оконцами, пробитыми к толще стены больше в виде бойниц, чем для освещения внутреннего пространства полутемной, угрюмой «Просвирни», как прозвали башню за круглый, бесформенный вид.



Угрюмо, мрачно и темно в кельях, покоях и покойчиках, на которые кое-как, перегородками и стенами, где в два, где в один этаж разделена внутренность башни. А уж в подвалах, куда свет еле проникает сквозь отдушины, пробитые над самой землей, да еще забранные толстыми решетками, — там, в сухих, каменных мешках, темно, почти как в могиле.

Две тяжелые, железом окованные подъемные двери ведут из башни в два отделения этих подвалов.

По стертым, выбитым каменным ступеням можно опуститься туда. Первое отделение обращено сейчас в арсенал, где сложен небольшой запас оружия, старые пищали, бердыши, бочонки с «зельем», с порохом.

Второе отделение обращено в тюрьму, теперь переполненную пленными. Тут и немцы, взятые царем Иваном в Ливонии, которую он недавно так сильно разгромил, и татары, частью степные, частью из тех наемных орд, которые служили и Речи Посполитой, и Ордену, продаваемые своими беками и князьями.

Кроме трех небольших смежных помещений, сейчас битком набитых пленными, — идут от второго подвала далеко под землю еще тайники, склады, ходы потаенные, чуть ли не под Тверцой-рекой, давая выходы на другом берегу, где-то в лозняках. Так толкуют старики. И в стенах подвалов видны словно двери замуравленные или даже настоящие железные двери с тяжелыми и ржавыми замками.

Ключи от тех замков, как говорят, у воевод торжковских да у самого царя находятся, и что за теми дверями — только они и знают.

Раз как-то, много лет назад, рыл один рыбник-горожанин подвал себе при доме. А двор его неподалеку от башни раскинулся. И наткнулся он на провалину, очистил ее от земли. Коридор оказался старинными кирпичами, тонкими да звонкими, выложен. Пошел рыбник один по тому коридору. Никто из рабочих за ним не решился следовать. Огня взял с собой. Не скоро назад вернулся. Еле идет. Бледный... И говорит:

— Долог ход. В одном месте ровно покойчик, расходитя вширь он. И костей там человеческих куча. Дух — тяжелой, так что обмер я даже раз. А в покое дверь железная, запертая. И за той дверью, слышно, опять пусто...

Потом с братом вторично пошел он туда. Кости на-

ружу вынесли, похоронили их. Может быть, еще чтонибудь, кроме костей, нашел там рыбак. Только скоро в гору пошел, в Тверь сперва, а там и на Москву с братом переехал, широко торг повел.

Сухо сравнительно в подземной тюрьме. Из почвы вода не просачивается. На сухом месте башня построенная. Темно только, душно здесь.

Дыхание нескольких десятков грудей отравляет воздух, увлажняет стены и каплями собирается на потолке, где оседает также влажный воздух, проникающий сквозь отдушины извне, как дыхание грязной, тающей внешней земли.

Бледные, истомленные лица пленных носят на себе следы лишений и голода.

Не дают воздуха вдосталь, не дают хлеба, даже воды не дают вволю этим несчастным их сторожа и тюремщики.

Кормовые гроши, какие отпускаются на узников, конечно, не доходят к ним.

Они нужнее и дьякам тюремного приказа, там, в далекой Москве, и здесь, местному хозяину «Просвирни», тюремному приказчику и сторожу главному, до которого все-таки доходят оборышки казны, отпускаемой от царя на прокормление пленных.

Все-таки есть людям надо. И их выводят раза два в неделю в город; бедняки, жалкие, почерневшие от тюремного сиденья, вызывают сострадание в самых огрубелых сердцах, и им дают все, что под рукой: хлеб, яйца, сухари, остатки обеда или овощей, обрезки мяса похуже, какие залежались на лотках у торговцев... Потом это делится всеми заключенными, при участии ихней стражи, отбирающей что получше. И питаются, живут люди.

Вода, правда, ничего не стоит. Ее бы вдоволь можно давать несчастным. Но для воды нужны кадочки, ушаты... Нужно приходить, отпирать двери подвалов, водить узников к реке, где они могут набрать воды... Все проволоочки, труд, трата времени. Обойдутся и без свежей воды бусурмане-немцы и орда некрещеная. И неделями стоит-застаивается вода в большом церезе в углу одного из казематов. Порой — и совсем пуста. И томятся жаждой жалкие люди, ждут, пока другие, вольные их собратья вспомнят о заключенных, придут, поведут их воды набрать!

Выпускают и на работы заключенных. Грузят они барки казенные мукой, лесом и рудой. Городовому приказчику, тюремщику своему, разные дела справляют, на воеводском дворе тоже исполняют, что велят. Но платы за то не получают.

И мерзнут в нетопленном подземелье зимой, задыхаются в летний зной несчастные полоненные, не видя просвета в своих муках.

— Тяжко жить в неволе! Алла! Алла! — стонет порою негромко старый степной волк, Кара-Мелиль, скорчившись в своем углу, на полуистлелых стружках и соломе.

И, словно сны наяву, проходят у него перед глазами яркие картины прошлого. Степь родная... Зной... В прозрачном воздухе звон жаворонков, стрекотанье кузнечиков. Ястреб висит черной точкой в вышине или реет кругами над добычей... И волком притаился сам Мелиль за степным курганом со своими товарищами... Подстерегают врага... Налетели, заарканили, зарубили или издали сняли с коней своими меткими стрелами зазевавшихся гяуров-разведчиков рати московской... И гайда дальше новой добычи искать... Мчатся гривастые, косматые коньки, ветер свищет в ушах... Любо!

А оглянется батыр, увидит, где он, и зажмет острыми и крепкими еще зубами своими звено ржавой цепи, надетой на нем, упадет ничком на землю и глухо застонет, не то рыдает, не то воет всей грудью:

— Ы-ы-ы!

Похоронным воплем свободе звучит этот стон под сводами тесной темницы. Жутко становится от него товарищам Мелиля, таким же, как он, жалким, задавленным, измученным.

Бросают они свой тихий переговор, замолкают и сидят неподвижно, сбившись в кучу, словно стадо овец в бурю... И мигают красными, воспаленными, гноящимися глазами...

Не плачут, нет слез у них... Молчат и мигают распухшими, красными веками...

А в других двух кельях, полусводами отделенных от этой, сгрудились пленные немцы. И там выносить не могут стонов Мелиля.

— Молчи, пес татарский! — крикнет кто-нибудь злобно из темноты в темноту.

Не понимает Мелиль слов. Не понимает смысла окрика, значения звуков.

Со скрипом, еще сильнее стискивает он свою цепь зубами, сдерживая протяжный, душу надрывающий стон... И только в глубине груди, там продолжает клочкотать и звучать его прерванное рыдание...

Среди немецких пленных — человек двадцать заправских вояк, наемных рейтаров или аркебузников из отряда самого магистра. Остальные — горожане, мызники, батраки безземельные или ремесленники, оторванные от мирной жизни, завербованные почти насильно в ряды армии или просто захваченные русскими во время набегов на незащищенные посады, села, городки ливонские, люди, взятые в плен после сдачи крепостей, которых немало успел уже забрать московский царь у Ордена.

— Проклятые свиньи московские! — громко ворчит Кунц Байерлэ, крепыш-померанец, лет сорока, служивший не под одним знаменем и носящий и на лице и на теле много рубцов, следов старых ран.

Его бронзовое усатое лицо потемнело и исхудало в неволе. Одна небольшая рана на груди раскрылась и багровеет из-под изодранной рубахи. Перевязать ее нечем. Словно плотно сжатые губы с ободранной на них кожей, глядят края старого рубца.

— Скоты, живорезы! Голодом нас заморить собираются, что ли? Сегодня день сбора. Уж если эти воры подлые обируют нас, пусть не мешают кормиться хоть подаванием... И никто не является. Перепились, верно, ради своего праздника! Носороги подлые! Алло, Эверт! Брось ты свою насесть... Слезай сюда. Сыграем, что ли, партию. Может быть, голод забудем.

Тот, к кому обращался Байерлэ, юноша лет двадцати, пристроился наверху у одной из отдушин, забраных решетками. Разрезав на полосы два кожаных широких пояса, он связал их вместе; одним концом привязал к решетке, а к другому концу прикрепил толстую палку. На таких стремянках и сейчас маляры порою штукатурят стены. Ремень был короток. Эверту пришлось стать на плечи одному из товарищей повыше, чтобы привязать конец за решетку. Чтобы легче подниматься к своей перекладине, юноша выбил в стене небольшие уступы при помощи собственной цепи. Упершись ногами в палку, держась за решетку, Эверт целы-

ми часами оставался в таком неудобном положении, стараясь не отнимать у товарищей жалкого света, льющегося из оконца, и в то же время, чтобы самому увидеть уголок грязной, людной площади, крошечный клочок синего неба, для чего приходилось очень изогнуться и совсем запрокинуть назад голову.

Худощавый, с впалой грудью, Эверт служил музыкантом при отряде. Взятый в плен, брошенный в темницу, он таял у всех на глазах. И только любясь клочком далекого неба, мечтая о воле, о природе, которую юноша так любил, забывал он печальную свою судьбу. Сверкающие, окаймленные черными кругами глаза его принимали более мягкое выражение. Порою слезинки редко-редко скатывались по исхудалым щекам.

Услышав призыв товарища, он легко соскочил вниз, но сейчас же закашлялся, схватился руками за грудь.

— Голоден, товарищ? — заговорил он, отдышавшись немного. — А сегодня нас как и раз не поведут побираться. Был я вчера на кухне у нашего тюремщика. Со двора, где мы рубили дрова, зазвала меня старуха-стряпка. «Сынок, говорит, у меня был такой же... Иди, поешь да помолись за упокой его душеньки...»

— Да, тебе хорошо. Мальчишка на вид. Тебя и жалют больше... Да и говорить на ихнем собачьем языке ты умеешь... Вот тебе и везет. Но почему ты думаешь, что не выпустят нас нынче?

— Пока ел я, слышал, как толковали. Сегодня царь московский придет смотреть нас. После нашей милой Ливонии он свои собственные земли разорять стал. Во Пскове, в Твери, в Новгороде — больше 40 тысяч народу порезал, потопил или огнем пожег... Теперь на Москву через этот город возвращается. Нас смотреть и будет.

— Да что он сумасшедший или совсем зверь лютый, что собственных подданных столько извел? За что? Бунт там был или что-нибудь такое?

— Нет. Говорят, Новгород богатый ограбить захотелось ему и его приспешникам, опричникам, как их зовут, гвардии его любимой. Вот и подослали они подкупного предателя... А тот оклеветал весь народ, сказал, что новгородцы со Псковом к Литве отойти хотят... И началась потеха...

— Татары были с этим зверем-царем?

— Кажется, были...

— Ну, значит, хорошо досталось горожанам-беднякам. У, скоты проклятые! — грозя кулаком в ту сторону, где теснились татарские пленные, проворчал Кунц. — Много горя они и в нашей прекрасной Ливонии понатворили. Если бы не в плену здесь я с ними встретился, дал бы им себя знать... Но чего от нас хочет московский царь? Уж не будет ли сманывать к себе на службу? Пускай меня повесят, а не стану драться за разорителя Лифляндии!

— Я тоже нет! — так и выкрикнул Эверт. — Пускай замучат... Может быть, после смерти душа моя пролетит над милыми голубыми озерами родной Шотландии... Услышу звук волынки... увижу...

Он не договорил.

— И я не согласен... И мы... И я... — отозвались остальные пленники.

— А может быть, — вдруг прозвучал из полумрака нерешительный, дрожащий голос, — может быть, нас хотят обменять на русских пленных? Может быть, нас собираются выкупить родные? Вот царь и...

Голос оборвался, умолк.

Никто не поверил этим робким словам надежды, как не верил им и сам говорящий. Но все так и вздохнули одним общим «Может быть! Дай Бог!»

И они, столпившиеся раньше вокруг говорящих, снова вернулись на свои места, где лежали и сидели, истомленные, неподвижные...

Против окна-отдушины, на полу, куда падало пятно слабого света, было начерчено на каменной плите подобие шашечницы, лежали черные и белые камешки, подобранные у реки, заменяющие шашки.

Оба партнера освоились за время неволи с полутьмой и свободно различали клетки своеобразной игровой доски, смело двигали свои шашки, впрочем, узнавая их больше по положению и на ощупь, чем по различию цветов.

— Первую в лоб, пли! Битва началась! — побивая шашку Эверта, объявил Кунц.

— А я две за одну, — ответил юноша, и даже слабая улыбка удовольствия озарила его лицо. — Слышишь, Кунц, — продолжал он, пока тот задумался, не решаясь, как ходить, — нам плохо... Так, что уж и говорить нечего... А только и московам нехорошо... Поди, не

лучше нашего! Много и навидался я сам, пока сюда нас вели... И слышал тоже... Дорогой ценою купил ихний царь свои победы и в Ливонии, и на юге, на востоке... в Казани, в Астрахани... Сам, пожалуй, видел, как безлюдны стали их города. А в глубь страны поглядеть или на севере — прямо пустыня... От Вологды до Ярославля — недавно один торговец говорил — больше 50 сел, деревень и посадов, словно после чумы, пусты стоят. Дома новые, дворы — покинуты. Народ от наборов, от поборов в степи, на Волгу, на Дон разбежался...

— В казаки? Вольницей стали, как здесь называют?

— Да. Ходи, товарищ, не то я возьму пешку еще... Муромчанин один, торговец, другому жалобился: на целом посаде — из 600 дворов — только десять живым народом еще у них занято. Остальные разбежались... А тот ему отвечает: «И у нас, на Кошире не лучше! Полтыщи хозяев было... Приезжаю с товаром — и сотни не осталось. Кто сбежал, кто в обозе стрелецком ушел, иные разбойничать стали или сами убиты... Так и продавать товаров некому!»

— Хо-хо... Гляди, скоро приостановит московский царь свои походы, как людей не станет у него да кормить нечем войско... Да податей некому платить...

— Должно быть... Поплатится тогда Москва за все обиды, которые кругом наносит... А царь этот Иоанн ихний, «кровожадный», как у нас называют его... Он и сам непрочен... Ненавидят его попы и бояре... Теперь и простые люди стали бояться и проклинать потихоньку за избиение своих же собратий во Пскове и в Новгороде... Изведут, говорят, скоро этого царя, нового выберут они себе...

— Новый-то, пожалуй, и отпустит нас на самом деле, — в раздумье покручивая седеющий ус, проговорил Кунц...

— Может быть! — прозвенел ответ Эверта. — Я бы тогда сейчас домой, в Шотландию...

— Что? Довольно? Повидал света? Постранствовал? Хе-хе... То-то, молодозелено...

И Кунц самодовольно начал подсмеиваться над Эвертом, словно сам не был таким же неудачным пленником-бродягой, как и этот мечтатель-юноша...

Между тем Кара-Мелиль успокоился у себя в углу и занялся другим пленным, племянником своим Ибраимом, атлетом-удальцом лет двадцати двух.

Вместе были они взяты в плен — и с тех пор не разлучались. Да и не выжил бы Ибраим без старика. Взяли его с поля битвы израненного, и простреленного, и проколотого в нескольких местах.

Старик сперва на руках почти нес долгое время Ибраима, только не бросить бы его в степи на растерзание волкам.

Потом умолил обозных, и раненого не пришибли, а позволили приютиться на одном из возов. Так и дотащились оба до Торжка, где их кинули в подвал.

Дорогой от грязи у Ибраима более глубокие раны загноились, в них завелись черви. Но крепкая натура молодого татарина долго позволяла ему все выносить. Старик омывал раны, порою томился жаждой, только бы сберечь каплю чистой воды больному племяннику... За этими заботами он забывал свои страдания, свой плен.

Одно время Ибраим стал поправляться. Но вдруг, должно быть от перехода гнояного заражения в кровь, стал бредить и метался целыми часами в жару, только изредка приходя в себя...

Склонясь над Ибраимом, прислушивался теперь Кара-Мелиль к его порывистому дыханию и видел что тот скоро станет бредить.

Этого старик очень не любил. В бреду больной вскакивал. У Кара не хватало сил удержать могучего юношу. И тот метался по своей каменной клетке, тревожа остальных пленных собратьев.

Нередко попадал он и туда, где сидят немцы. Хотя они щадили больного, но все-таки довольно нелюбезно выпроваживали его обратно в «татарский» угол.

Ласково, почти с материнской нежностью поник суровый Кара-Мелиль над пылающим племянником и начал что-то нашептывать ему, словно желая заговорить, заколдовать больного от приступа бреда.

В это самое время говор, топот, лязг запоров слышался за входной дверью.

Пленные немцы, занимающие келью, первую от входа, все, кто только мог держаться на ногах, вскочили, прижались к стене, против двери, и стали ожидать.

Заскрипела на ржавых петлях тяжелая, окованная дверь. И по мере того, как она раскрывалась, потоки красноватого света от факелов и фонарей вливались в подземелье, заставляя щуриться пленных.



Немцы из второй кельи, а за ними и все татары из своего отделения сейчас же кинулись на свет, на звуки и сгрудились темной стеной между полусводами, отделяющими келью от кельи.

Первым вошел, спустившись по нескольким выщербленным ступеням, тюремный приказчик и с ним два факелоносца.

Человек восемь стрельцов протянулись затем живой стеной между пленными и царем, который появился в подземелье, окруженный ближайшими опричниками.

Как «игумен» и глава «братьи слободской», этого гнезда насильников, которое, по прихоти больного царя, подчинялось монастырскому строгому уставу и строю, — Иоанн одет в черную рясу, поверх которой темная шубка. На голове — шапка меховая, невысокая, вроде клобука. Под рясой звенит кольчуга. В руке — тяжелый посох со стальным острием на конце. За широким, иноческим поясом — дорогой восточный кинжал, — смесь монаха с воином.

Совсем близко за его плечом, справа, одетый почти так же, стоит кряжистый, широкоплечий Григорий Лукьяныч Малюта Скурлятев-Бельский. Рыжая борода беспорядочно обрамляет его простое мужицкое лицо. Понурый взгляд исподлобья и мясистые, бесформенные черты живого лица делают очень неприглядным этого первого помощника и палача царского, параклисиарха, пономаря Александровской «обители».

Рядом с этой отталкивающей маской выигрывало даже лицо Ивана, испитое, синевато-бледное, как у мертвеца, обрамленное жидкой, клочковатой бородой и повисшими усами, причем глаза так и горели, так и бегали, как у затравленного зверя, а мимолетная гримаса-судорога то и дело искажала все черты. Его сильные, желтоватые зубы оскаливались до клыков — и настоящий зверь глядел тогда на окружающих.

Иногда тяжелый, отвратительный недуг, много лет пожирающий Ивана, заставлял отекать его тело, все лицо. Тонко очерченный, красивый нос, сохраняющие еще былую правильность очертаний губы — все это искажалось, тонуло, обрюзглое, между вздутыми, отеками щеками. Тогда Иван становился ужасным, отталкивающим на вид не меньше Малюты.

Отступя немного от обоих, встал соперник и тайный враг Скурлятева, князь Афанасий Вяземский, «келарь»

братии. Стройный чернокудрый красавец, он не проигрывал даже под черным подрясником и скуфьей. А в блестящем боевом наряде чаровал и своих, и иностранных гостей.

Недаром одно время толковали, что нет и не будет у царя любимца ближе Вяземского. Но потом женоподобный Басманов, вкрадчивый, упитанный щеголь-князек Богдан Бельский заняли у Ивана то место, на которое не пошел мужественный, грубоватый подчас Вяземский.

Из думных и дворцовых бояр здесь постельничий царский, князь Димитрий Иванович Годунов и племянник его, юный Борис Федорович, царь в грядущем.

Последнего особенно отличает Иван. Недавно подарил ему даже весь московский дворец убитого брата своего двоюродного, Владимира Андреевича, последнего удельного князя Старицкого.

Но «земских» мало с царем. Все опричники, человек сотня. Иные сюда вниз протискались, другие — в башне наверху остались, на дворе пережидают, не кликнет ли их «игумен» державный? Не отдаст ли им кого на расправу, на потеху.

Еще и на пороге не показался царь, как уж приказчик тюремный крикнул заключенным: «В землю ударьте челом государю царю великому Иван Васильевичу вся Руси!» — хватил тяжелой плетью ближайшего немца, словно желая таким образом сделать русскую речь понятнее «бусурманам», и сам упал ниц.

Неохотно, один за другим, позвякивая оковами, склонились передние ряды, за ними задние.

Кто стоял в самой глубине, в темноте — те только согнули спины. Все равно не видно!

Отрывают свои головы от земли пленники, выпрямляются, не вставая с колен, глядя, слушают.

Царь стоит на верхней ступеньке, озаренный факелами, и глухой, носового оттенка, скрипучий какой-то, но внятный голос властно звучит под сводами:

— Сколько много всех их? Какие?

Также на коленях, смиренно, не подымая очей и головы, мучитель узников, тюремщик их робко, сладенко отвечает:

— Бусурман девять десят и три да татарвы — с два десятка... Али-бо-копа! Крымчаков — пяток, гляди, коли не врут... А то — ногайцы, степняки все.

— Крымских отбери. В обмен пригодятся. Из

этих, — кивнув на литовцев, отрывисто, быстро проговорил Иван, обращаясь к толмачу-дьяку, — кто «посошные»<sup>1</sup>, кто — настоящие ратники? — отделятся пушкой друг от дружки.

Толмач по-немецки крикнул прежде: «Встаньте!» — и, когда все поднялись, повторил им приказ Ивана.

Переглянулись угрюмо пленники, но ни один не шевельнулся.

— Да што же они стоят? Не понимают, што ли? Али все — одной масти? — уже с заметным раздражением сказал Иван. — Пускай же объявят: какие они? посошники? рейтары? копейщики? сыны Вельзевула проклятого?

С проклятиями, с богохульствами повторил дьяк вопрос.

Кунц, стоящий в переднем ряду, негромко, угрюмо заговорил:

— А зачем это знать вашему царю? Все равно, горожане мы, крестьяне, солдаты ли — воевать к нему против наших братий не пойдем... Мы — не татары, поганые язычники... Такие же христиане, как вы, верные слуги нашего великого Ордена. А царь ваш жестокий — губит и нас, и вас самих без пощады!

Понимающий по-немецки Иван внимательно вслушивался в простую, нескладную речь ландскнехта, очень несхожую с книжной, и понял лишь главное: раб смел отказаться и за себя, и за остальных.

Красными пятнами покрылось лицо царя. Глаза застывали. Зазвенел стальной конец посоха, ударяясь о каменные ступени.

Не успел еще толмач перевести слов Кунца, как Иван шагнул вперед, почти к самой толпе пленных, надменно выпрямил свою сгорбленную до того фигуру и негромко: но грозно заговорил:

— Не желает? Он не желает? Так я понял, Шемшура? Сам не желает и другие не хотят, ежели бы я позволил их к себе на службу взять? А?

— Так, государь, так, милостивец, родименький... Ясный со...

— А на дыбу он желает? А огоньку попробовать, чтобы других не мучил, не высказывал, в коноводы смут не совался? Ну-ка!

---

<sup>1</sup> Земское войско, милиция.

И наложил тяжелую руку на плечо Кунца: он отделил его от стены товарищей и толкнул за неподвижный ряд стрельцов, вперед к Малюте. Сам обернулся туда же и, разглядев на груди у Кунца багровую полосу старой, раскрытой раны, ткнул прямо туда острым концом своего посоха, отчего кровь закапала часто-часто, и сказал:

— Припали-ка ему это местечко, кум. Видишь, полечить надобно.

Стиснув крепко зубы, звука не издал старый солдат.

Малюта неторопливо, лениво даже как-то, взял один из факелов у провожатых.

В то же мгновение Эверт рванулся вперед к толмачу, судорожно ухватил его за рукав шубы и заговорил, задыхаясь, глотая слова:

— Скажи... скажи ему... Скажи царю... Так... так нельзя... Ему... пленных мучить... Низко... Гадко... нехорошо... Бог его накажет... Стыдно...

— Цыц, щенок! — отбросив юношу, прикрикнул дьяк. Но царь так уж и впился глазами в Эверта.

— Второй заговорил... што, паренек? Што, милый? Али не по нраву тебе расправа моя царская с холопами, с послушниками своими и чужими? Так я не сразу... Я прежде добром почал... А не захотел он, сам виноват... Молоденек ты еще... Жаль тебе, вижу, товарища... Ишь, личико-то все твое так и перекорежилось... Плачешь... Руки кусаешь... Хе-хе-хе... Гляди, локтя не достанешь ли? Ну ладно, и мне тебя жаль... Как мыслишь, Ваня: пожалеть малого? — обратился вдруг царь к царевичу Ивану, спустившемуся в это время в подвал.

Ростом чуть пониже отца, стройный, светлорусый, светлоглазый, он очень напоминал мать, покойную царицу Анастасию. Только орлиный нос, красивые, упрямые губы, ранняя складка между бровей и общее властно-презрительное выражение лица говорили, что этот розовый, кудрявый пятнадцатилетний отрок — сын одряхлелого и постарелого до срока Ивана. Царю самому всего-то было сорок лет.

Спокойно, почти безучастно поглядел царевич на своего сверстника-пленного, на раба, смевшего осуждать волю повелителя целого царства, и, слегка пожав плечом, сказал:

— Конечно, рук марать не стоит... Толков апосля

сколько будет: пленных-де ты изводишь, мучаешь, ба-  
тюшка... И то, лают больно про твое царское здоровье  
вороги и дома и в людях...

— Вороги... Истинно, вороги. Ты знаешь, Ваня, не  
зверь я... Справедливость люблю... И покорность! На то  
я и царь! Ну ладно... Слышь, Шемшура, скажи малому:  
ежели он пойдет ко мне на службу... Хошь и до-  
хлый — ну да ничего. Видать: смел паренек. Это мне  
любо. Тогда отпущу ту собаку старую, бранчливую... И  
пытать не велю.

Дьяку, очевидно, жаль стало мальчика, и он  
очень охотно и убедительно передал по-немецки  
слова царя.

— Я... я вместо... — начал Эверт и не договорил,  
остановился в тяжелом раздумье.

— Не смей... Эверт, не смей... Не хочу! — вдруг  
властно крикнул ему Кунц, внимательно прислушивав-  
шийся к речам толмача и царя. — Все равно, сам по-  
кончу с собой, но не хочу... Ни я, ни ты, никто не дол-  
жен служить этому злодею против нашей родины...  
Подлому этому мучителю, истребителю собственных  
людей... Он скоро сам...

Кунц не досказал. Малюта схватил его, зажал ему  
рот рукой, толкнул куда-то в угол, за толпу опрични-  
ков и, когда вернулся назад, стал за плечом Ивана, —  
при свете факелов видно было, что весь перед его шу-  
бы и черная ряса под ней забрызганы чем-то липким,  
влажным... И пятна, брызги крови на руках он отирал  
о ту же самую рясу.

Дико вскрикнул Эверт. Вздогнули, заволновались,  
дали отклик и все остальные пленники.

— Господи! Спаси и помилуй нас, Боже! Бог — за-  
щита наша! Проклятие мучителям! Проклятие убий-  
цам! — негромко, но сильно заголосили ливонцы.

Татары молча, в ужасе смотрели и ждали, предчув-  
ствуя беду.

— Подлый убийца! — не выдержав, прямо в лицо  
Малюте крикнул Эверт и плюнул ему в глаза.

Тот быстрым движением выхватил свой окровавлен-  
ный нож и, только обменявшись коротким взглядом с  
царем, подошел и нанес страшный удар в грудь, у са-  
мого горла, юноше.

Тот, протяжно, мучительно застонав, свалился, едва  
не потянув за собой убийцу.

Нож Малюты застрял в костях, и палач выпустил рукоять его. Так и замер в судорожных движениях Эверт с ножом в плече, заливая потоками крови пол темницы.

В диком ужасе шарахнулись немцы назад, словно желая укрыться от надвигающейся гибели в темноте подземелья.

Дернув недовольно плечом, царевич незаметно скрылся за дверью, ушел из подвала.

А из глубины третьей кельи, куда татары были отброшены напором ливонцев, послышались какие-то дикие, гортанные звуки. Кто-то хриплым, рвущимся голосом напевал веселую плясовую песню, странно прозвучавшую в этот миг в подземелье.

Ибраим, в припадке бреда, вообразил себя на веселой пирушке, вскочил, сорвал с головы повязку, прикрывающую его выбитый стрелой кровавый глаз, и, размахивая куском грязной ткани, словно кинжалом, пробился с песней и угрозами через толпу, выделявая ногами быстрые, ловкие движения танца.

За ним показался и Кара-Мелиль, напрасно стараясь удержать больного, но могучего еще «батыра» и повторяя:

— Ибраим... Ибраим! Пстой! погоди... Остановись. Ты погибнешь...

Вырвавшись из толпы на свободное место, больной прямо мимо озадаченных стрельцов кинулся в своем бешеном танце к царю.

Иван, не понимая, в чем дело, задрожал, откинулся назад, успел поднять только свой посох и ударил им безумного.

Удар слегка скользнул по руке. Ибраим словно и не заметил боли, пронесся дальше в своей пляске, не видя, что и стрельцы занесли свои бердыши, ожидая только приказа.

— Булна! Булна! — отчаянно завопил Кара-Мелиль, стараясь оттащить в толпу пленных племянника и пуская в ход свое знание русской речи. Потом быстро заговорил по-татарски:

— Безумный, больной это! Он не в себе... Он пляшет...

— Пляшет? — успокоясь повторил Иван, разобрав татарскую речь. — Больной? Ин ладно! Пусть пляшет, забавляет нас... Пустите его... — приказал он стрель-

цам, тащившим Ибраима из темной кучи пленных, куда последним усилием увлек его Мелиль.

Отбившись от стрельцов и от дяди, Ибраим, усиливая напев, опять стал носиться по свободному пространству.

Вдруг Иван, не спускавший с него глаз, проговорил:

— Ну, довольно! Не станешь другой раз пугать нас зря, собака!

В темя, как быка, поразил посох Ивана татарина, промелькнувшего в это самое время очень близко.

Взмахнув широко руками, упал танцор и забился на плитах всем своим мощным телом, обрызгивая кровью стоящих кругом.

— Ай-ай! Что сделал? Зачем сделал? — завопил старик, падая на спину племяннику и стараясь рукой, клочками одежды закрыть зияющий пролом, остановить поток крови.

Но удар был нанесен сильной, умелой рукой.

Еще несколько движений, — и Ибраим вытянулся, затих.

— Это уж, государь, стоило ль? — негромко заметил Ивану Вяземский, боевое сердце которого не могло спокойно выносить вида подобной травли.

— Што-о? — сверкнув глазами, окинув злым взглядом любимца, спросил только Иван.

Но Вяземский, начав, уж не унимался.

— Сказано же было: больной... безумный татарин. Все равно што наш юродивый... Вот я...

Он не закончил.

В этот самый миг Мелиль, убедясь, что Ибраим мертв, огляделся вокруг с растерянным, жалким видом, заметил нож, торчащий из плеча Эверта, рванул его, что было силы и, как кошка, прыгнул прямо на Ивана, стараясь угодить ему в пах.

Малюта, хотя и следил внимательно за разговором врага своего Вяземского с царем, все же как-то бессознательно заметил первое и второе движение татарина, с бранью кинулся ему наперерез, желая ухватить за вооруженную руку старика, но не успел — и нож скользнул самому Малюте по ноге, прорезал полы шубы, голенище сапога и нанес довольно глубокую рану выше колена.

Только услышав проклятие Малюты, увидя, что тот почти лежит перед ним, навалившись на татарина, а из

ноги у опричника так и льется струя крови, — только тут понял Иван, какая опасность грозила ему самому.

Близость неожиданной смерти так поразила его, что ноги подкосились и Иван опустился на ступени, весь трепеща, посинелый, безмолвный. Но сейчас же вскочил, прохрипел: «Всех... всех до единого... искрошить! Извести... окаянных бунтовщиков, а головы на колья насадить на поученье иным злодеям!» И быстро поспешил вон, звонко ударяя стальным острием своего посоха по ступеням и каменным плитам под-земелья...

А здесь, в глубине каменных мешков, в самом дальнем из них, куда кинулись одурелой толпой все — и немцы, и татары, при неверном свете факелов за-сверкала сталь, подымались и опускались бердыши... Обнажили ножи свои опричники, взялись за топо-рики...

Быстро редело обреченное на гибель беззащитное стадо людских существ... С воплями, гремя цепями, прятались они друг за друга, молили, проклинали — и падали, изрубленные, на каменные плиты пола, где но-ги убийц скользили и погружались по щиколотку в лу-жу крови...

Иные из пленных, обезумев, старались защищаться, отбивались, кидались на землю, впивались зубами в но-ги мучителям.

Те топтали несчастных, отбрасывали их под ножи товарищей и потом добивали сами, кромсая уже мерт-вые тела, шаря под трупами, чтобы посмотреть, не ук-рылся ли там еще живой кто-нибудь...

И только когда все пленные были перебиты, один за другим стали подыматься наверх палачи, унося с собой отрубленные головы.

Тюремный приказчик, сам напуганный до полусмер-ти, стоял в стороне и остался теперь последним, с дву-мя сторожами, у которых были в руках фонари.

— Что же, теперя хоронить надобно... Где их, экую ораву, повытаскивать наверх? Да и зазорно, поди... Митька, принеси кирки, лопаты... Ошшо двоих позовите... Яму тута выроем... поглыбже. Похороним всех!

И, осеняя себя крестом, он стал шептать мо-литвы.



## ГОДЫ 7078—7079 (1570—1571)

Весь 1570 год был труден для Иоанна, хотя и довольно удачен. Новые затеи и широкие планы государственные охватили неугомонную, кипучую душу царя. А с ними вместе, конечно, и новые заботы. Из себя выходил он, видя, как тупо и косно большинство окружающих его, все старые бояре и князья. Невежество считается чуть ли не доблестью, лень и тунеядство — признаком благородной крови. А дела — так много... Литва и Польша выразили явное желание призвать на трон Иоанна, когда умрет доживающий свои последние дни Сигизмунд... Да и помимо их желания — все решил сделать царь, лишь бы только уладить дело и, без крови, приковать корону Ягеллонов и Пястов к тяжелой шапке Мономаха, украшенной и без того целым рядом новых корон! Видя, что Ливонию взять труднее, чем казалось вначале, Иоанн придумал новый ход, воспользовавшись мыслью двух приближенных немцев, давно служивших на Москве. Он вызвал с острова Эзеля брата датского короля, Фридриха, — королевича Магнуса, посватал ему свою племянницу Евфимию Владимировну и объявил:

— Желаете быть королем Ливонским, с тем чтобы мы считались первой защитой вашей, а тебе — нас слушаться, как след голдовнику<sup>1</sup> — тогда всякую помощь получишь и войсками, и деньгами... И города за племянницей дадим тебе на Руси, пока в свое царство войдешь...

Без возражений согласился бедный эзельский герцог на такие блестящие условия и выступил во главе двадцатипятитысячного русского войска в походе на Ливонию. После нескольких удач осадил королевич сильный Ревель, подойдя к городу 21 августа 1570 года, да и засел здесь надолго — до 10 марта следующего года!

В то же время с востока тучи поднялись. Девлет-Гирей, как доносили, собрал стотысячное войско и шел на Русь.

Сам выступил с полками Иоанн, стал у Серпухова,

---

<sup>1</sup> Вассал.

желая встретиться с ханом и проучить хорошо... В Касимове как раз умер Абдалла, отец царевича Саин-Булата... Иоанн неизменного своего любимца посадил на место отца беречь юго-восточную окраину, пока иного дела не подойдет. Но из Думы московской — тоже его не выпускал.

Покорный, незаметный, гибкий, как воск, в руках царя, но очень неглупый человек, Саин был незаменимый помощник. И ценил его царь.

В Литве у Ивана дела так удачно пошли, что король Сигизмунд приказал уж и архивы свои вывозить из Вильно, трусливо заявив:

— Куды пошел Полоцк, — видно, и Вильне ехать за ним! Вильна — не сильнее Полоцка... А русские его взяли... Проклятые москали, за что взялись — не отступаются!

Кончилось тем, что на три года заключили перемирие враги. За Иоанном оставалось пока все, что успел он захватить у Литвы.

Но чтобы вся эта громадная машина шла, хотя бы и неровным ходом, Иоанну приходилось тратить всю мощь его души, больной, искалеченной, правда, но все-таки широкой и смелой... Царь до последней степени напрягал свой холодный, проницательный ум, вспоминал все, что прочел и услышал, что сам увидеть успел за свою жизнь — по части царского правления...

И шла машина... Скрипела, визжала... Ревела тысячью недовольных голосов... ломались тысячи негодных колес и щедро приходилось смазывать механизм горячей кровью людской, проливаемой и в боях, и на плахе... Но без битвы — не дается никакая победа... А плаха? Она тогда играла в общественной и государственной жизни не большую роль, чем теперь многолетнее заключение в одиночных тюрьмах. Тяжелая, позорная, но общепринятая кара! Грубый век если и не требовал грубой, первобытной кары, — то мирился с нею, не умея создать чего-нибудь лучшего... Только редкие люди сознавали, что их век жесток... Но они готовили миру *будущее*, а в настоящем часто сами ложились умной, отважной головой на залитый кровью обрубок дерева, на позорную плаху...

Так, в тревогах, в надеждах и полный забот, прошел весь год для Иоанна.

Хан побоялся нагрянуть, узнав, что царь лично го-

тов повстречаться с ним. Слава Иоанна как полководца невольный ужас наводила на врагов. Наводил он ужас и на своих, особенно на бояр и воевод.

— Первый враг государя — он сам! — говорили не раз про него.

— Господи, укроти дух мой! — молился и сам Иоанн не раз в часы своего душевного просветления. — Пошли мир мятежной душе моей... Утоли страсти мнози, кои от юности моей поборают меня...

Не помогала молитва.

Кровь неудержимой, кипучей волной переливалась в его жилах, порождая бурные желания, приводя к дикому взрыву страстей и похоти, так же точно, как быстро, ярко и отчетливо проносились мысли в его мозгу, работающем с лихорадочной, с нечеловеческой силой.

На смену старому пришел новый, тяжелый 1571 год. Появился голод и мор, последствия долгих войн и последней резни новгородской, когда жители пили воду, трупными ядами зараженную... Все росли и ширились по царству эти два печальных наследья борьбы человеческой, два стихийных бича.

Природа, как будто не желая отставать от людей, стараясь показать, что в истреблении, как и в созидании, всегда она превзойдет своих рабов, дохнула смертью и гибелью...

Новые леса крестов вырастали везде, где ни селился только живой люд на Руси...

Казанские, касимовские, русские рати, все полки почти двинуты в Ливонию, где особенно разгорелась борьба.

Но в марте — со стыдом, ничего не сделав, должен был Магнус отступить от Ревеля, предав огню свой укрепленный, обширный зимний стан... Смущенный крупной неудачей, напуганный восстанием в Юрьеве, которого не сумел подавить, — не решился и вернуться в Москву королевич. Тем более что обрученная с ним княжна Евфимия Владимировна тихо хирела два года, сломленная вестью о гибели ее родной семьи, явно избегала видеть палача-дядю, — да так и угасла тихо этой весной...

Но Иоанн не отступал от принятых им решений.

— Другая невеста есть у нас про тебя! — вызвав Магнуса, объявил царь. — Княжна Мария Володимировна. Молода малость: 12-й годок ей. Ну да пока за-

воюешь царство свое, годика два пройдет — и готовая будет женка тебе молодая, королева Ливонская. Гляди, какая она у меня! Что яблочко наливное!

И действительно, княжна Мария, когда увидел ее Магнус, показалась ему очаровательным, здоровым, веселым подростком, уже полуженщиной по своим формам, по разумным, вдумчивым речам... До нее не дошла весть о том, как по воле дяди погибла вся остальная семья; пощадили ребенка люди и не успели разбить молодой жизни.

Так дело и порешили. Но Иоанн сам решил пойти на ливонцев вместе с Магнусом.

Еще войска, еще орудия и припасы потянулись по псковской дороге, на место войны...

Вдруг неожиданно-негаданно удар разразился совсем не с той стороны, откуда чаяли.

Зашевелилась Крымская орда. Посол московский, Нагой, предупредил, правда, Иоанна. Царь послал воевод, князей: Шуйских двоих, Михаила Воротынского, Бельского и ближнего своего родича, Ивана Мстиславского, с 50 000 ратников к «берегу» царства, на Оку...

Но плохо служили царю бояре... Все были злы на Ивана за недавние казни, за погром новгородский... Затем гибель славных, заслуженных воевод: князя Петра Щенятева, Серебряного-Оболенского Петра, Ивана Шереметева, Салтыкова-Морозова, Овчин-Плещеева — не устрасила, ожесточила только остальных.

— Стоит ли нам кровь на войне проливать? — толковали бояре. — И без того она на плахе прольется... Пускай же сам и ведает все царь... Нелюбы слуги верные — сам пускай послужит земле! Поглядим, что будет...

А иные — и прямо вошли в сношение с Девлетом, открыли ему, что делается сейчас в Русской земле... Бояре, близкие к разгромленному Великому Новгороду, — даже людей провожатых послали к татарам. И без малейших препятствий — пробрался хан в самое сердце царства: за Окой показались бесчисленные рати татар. Больше 120 000 людей, с обозом и челядью, вел на Москву крымский разоритель.

Иван, не предупрежденный вовремя, кинулся было в Серпухов со своею опричниной, гонцов послал, чтобы стянуть сюда воевод, прозевавших нашествие хана, и здесь дать ему отпор. Но — случайно ли, умышленно

ли, кто знает? — так вышло, что Иоанн оказался отрезанным от своих воевод ратью крымскою... Правда, воеводы, не желая отдавать Москвы Гирею, поспешили впереди него к этому городу, чтобы там и отбить нападение. Бояре полагали, что урок, данный Иоанну, и так довольно суров. Они не ошиблись. Бежать был вынужден Иван сперва от Серпухова к Слободе своей, а там и на далекий Ростов, как уходили в случае внезапных нападений татарских предки царя Ивана: Дмитрий Донской и Василий Дмитриевич.

Стыд и отчаяние угнетали царя. Но это было еще не все. Не побоялся хан воевод Иоанна, когда узнал, что царя самого нет под Москвой. Донесли Девлету изменники, какой ужас царит в городе, какой разлад меж воеводами, разлад, мешающий спасти землю и действовать дружно, заодно...

23 мая, на заре, ратники русские стали станом под Москвой, готовясь к обороне... А на другой же день — татары явились за ними следом!

Дивное зрелище открылось глазам кочевников с Воробьевой горы...

Кремль и город сверкают на солнце золочеными церковными главами... А в посадах черным-черно от люда православного. Шатры без конца белеются... На 300 верст вокруг не осталось почти никого из селян и горожан у себя на местах. Все в Москву кинулись, под защиту ее крепких стен, как только прослышали весть ужасную, давно небывалую: «Татары за рубеж прорвались. К Москве идут агаряне неверные!»

Значит, море крови будет пролито, все ограблено, жены, дочери обесчещены, молодые парни в полон уведены, а старики, на куски изрубленные, лягут в степях, зверей и птиц кормить своим телом...

И все кинулись к Москве. Не на спасенье только, на погибель...

По совету русских же изменников, не решаясь идти на приступ города, — хан приказал пригородные посады поджечь... Со многих концов запылали деревянные дома... В сухой и ясный день пламя пошло гулять по тесным улицам и переулочкам... С воплем побросали люди свои дома, шатры, сарай, землянки, где ютились толпами.

Все в Кремль кинулись... А воеводы и войска, стоящие под стенами, впереди всех. От татар можно боро-

ниться. От стены пламенной не отобьешься. А на Кремль — так и пошла по ветру, изогнувшись полукругом, высокая, грозная стена пламени... По ту сторону огненной стены хан с татарами, по эту — Кремль неподвижный, словно скала, у подножья которой буквально кипит водоворот человеческих тел... В самом пламени там испепеляются дома предместий, горят живыми люди, не успевшие выбраться вовремя за черту этой подвижной, живой, губительной стены, одетой короною густого, черного дыма... Словно волосы у неведомого чудища, вьет по ветру этот дым, загибаясь и все ниже спускаясь над Кремлем... Душит он тех, кто в Кремле укрыться успел... Душит тех, кто за стенами его находится... А поток людей, бегущих прочь от огня, водоворот живых тел — все гуще кипит... Ногтями, зубами работают озверелые люди. Сперва наполнились до краев телами рвы кремлевские. Потом, по трупам собратьев, — добежали остальные до самых стен... Лезут, царапаются по отвесным стенам несчастные, обрываются в ров и служат подножием для других, которые набегают им на смену...

Одни ворота кремлевские только и раскрыты остались, Спасские ворота, самые дальние от пожара, от врага... И здесь особенно сильно кипит водоворот людских тел...

И эти единственные, тесные ворота, под их своды — рвутся сотни тысяч обезумевших живых существ...

Но ворота не раздаются, твердо стоят немые, каменные стены и своды... Холодные раньше, — они горячи теперь от жаркого дыхания людского, от напора мягких, живых тел на жесткий камень. Слишком тесны ворота... И вот на первый ряд бегущих второй ряд набежал, совсем как волна на волну нахлестывает, как волна покрывает волну во время бури, в прибой, у скалистых берегов... И этого мало: третья волна на вторую набежала... Тройным рядом, по головам друг у друга, меся ногами и давя беспощадно слабеющих, идет-убегает озверелое стадо людское от смерти, от огня, находя смерть и гибель там, где ищет спасения... Тройным рядом рвутся, бегут под защиту пушек и стен кремлевских обезумевшие люди...

Вот набежала и четвертая волна... Еще ряд взобрался на плечи, на головы тем, под которыми два слоя

живых тел уже катятся вперед, неудержимо катятся, хотя бы и самая жизнь отлетела... Живые — за собою мертвых влекут...

Но у самых ворот рассыпается в разные стороны этот четвертый верхний ряд, — что-то так и сплескивает его на землю с кипучего, тройного потока живых и мертвых тел... Четвертому ряду — места уже нет под сводами ворот... Ударяясь грудью о стены Кремля, висящие над темным проходом крепостным, — мертвыми на землю падают все смельчаки, дерзнувшие четвертым слоем лечь сверху на грозном людском потоке...

А надо всем этим ужасом царит невероятный, нестройный, дикий гул, хриплое дыхание, проклятия, вопли живых, стоны умирающих, раздавленных, затоптанных ногами — все сливается в одно...

Постоял за огнистой стеною Девлет — и назад повернул. Грабить нельзя. Глядеть — страшно... Даже ему, татарину неукротимому, врагу упорному Руси, ему страшно стало! Но ушел не с пустыми руками хан: 100000 пленных увел за собою.

Полмиллиона народу погибло в этот печальный день. Груды трупов пронести не могла быстрая, полноводная в ту пору Москва-река! Стояли долго люди вдоль по реке и отталкивали мертвецов шестами от берега, сплавляли их дальше, прямо вниз. По Оке пусть плывут, по Волге широкой вплоть до Каспия... А там, там просторно. Море слез, пучина горя людского, народного, — не глубже она все-таки бездонной пучины Божьих морей. Пусть одно в другом скроется... Бог потом рассудит в небесах у Себя!

Здесь же, на земле, царь вернулся и стал судить. За небережение Москвы были казнены бояре Сабуровы-Яковлевы, которым царь поручил охранять от врага престольный город свой.

А от победителя Девлета пришли грамоты с угрозами.

Казань и Астрахань требует себе обнаглевший татарин, грозя в противном случае немедленным новым погромом.

Смирился надменный Иоанн. Для блага земли, для спасения своей власти — сломил неукротимый нрав, свою гордыню безрассудную. Пишет хану ласково, мягко, приниженно, подарки шлет богатые, дань сулит, любимцев хана закупает, только бы время дали оправиться, оборону снова создать, прежнюю, крепкую оборону, которая столько раз от рубежа татар отбрасывала...

Астрахань сулил хану Иоанн, послам русским велит брань, даже побои выносить, обещать всякие блага татарам, поборы платить... Только бы опять война не возгорелась... А сам войска к Оке собирает, воевод шлет туда самых надежных: Бельского Богдана, Годунова Дмитрия... С Михайлой Воротынским помирился даже. Один этот воевода может сберечь рубежи. Он там и создал охрану Руси от татар. Служба сторожевая, станичники — все дело рук Воротынского.

И не ошибся в воеводе Иоанн.

Следующей же весной Девлет, видя, что по губам только мажет Москва, а глотать ничего не дает, с такой же ратью, в 120 000 человек, двинулся к Оке.

В Молодях, на берегу реки Лопасни, настиг Воротынский хана и так разбил его войска в целом ряде битв, что пришлось крымчакам поскорей назад уходить...

Вздохнул свободно Иван. Другим голосом заговорил.

И когда Девлет осторожно попросил, чтобы хоть самое малое из недавних посулов отдала Москва, Иоанн отвечал:

— Приди и бери. Не брал, что раньше давали, — теперь ни зерна не видать тебе макового!

А через год был казнен славный воевода князь Воротынский. Бельские и Годуновы, забиравшие силу при царе, — подкопались под опасного соперника.

— Зазнался уж больно старый! Раз крымского побил, думал и выше его нет на Москве... Ан нашелся: палач мой, Бузун, что голову князю снес... — так под веселую руку говорил опричникам Иван, словно не замечая, что им самим незаметно играют иные из окружающих его.

Про себя царь прибавлял в душе:



— Смекайте и вы тоже, голубчики... Кошку бьют — невестушка поглядывай.

В этом же году, развязавшись с Крымом, Иоанн сам двинулся в Эстонию, — проучить зазнавшихся шведов.

Много городов забрали русские, как и всегда при появлении царя среди войск. Но при штурме Витинштейна царь потерял немало храбрых воевод и любимца, палача неизменного, но смелого солдата Малюту Скурлятева-Бельского... Богдану Бельскому, фавориту своему, взявшему Вольмар, — цепь и гривну золотую пожаловал царь, как высшую награду.

До 1575 года тянулась война со Швецией, с переменным счастьем. И только узнав о грозном восстании черемис на востоке, царь поспешил заключить с Иоанном Вазой перемирие на два года, с тем чтобы прекратить войну в одной только Финляндии и в Новгородской земле. Эстония продолжала служить полем битвы. Города сдавались легко. Жители Габсалья утром впустили русских в город, а вечером — беспечно плясали и веселились на шумных пирушках.

Когда же московское войско, небольшой отряд героя Чихачева, после упорной защиты, проголодав три месяца, питаясь соломой и кожей, а порой и человеческими трупами, сдал крепостцу Пайдис второе сильнейшим врагам, пушкари русские удавились на своих орудиях, от стыда и отчаяния, что их пушки в руки врагу попадут!

Только такой разницей в составе народной толпы и можно объяснить успехи плохо вооруженных полков Иоанна, разбившего наголову первых бойцов Западной Европы.

Пока со шведом тянулась борьба, — новая забота Иоанну приспела.

Умер бездетным Сигизмунд-Август, последний Ягеллон, носитель двух слитых корон: сдвоенной Польши и Литвы.

Давно уже втянулся Иоанн в ту кашу, которая кипела вокруг опустелого теперь трона соседней могучей сарматской страны.

И вот настал миг, когда надо было или совсем отойти или смело расхлебать то, что давно было затеяно.

Конечно, царь Иоанн выбрал последнее.

## ГОДЫ 7080—7086 (1572—1578)

Поздно лег накануне Иоанн. Да и остаток ночи не покою был посвящен. Молодая жена у царя, четвертая по счету, царица Анна, дочь мелкого дворянина, Колтовского по прозванию.

Когда умерла, или отравлена была, как всем говорил Иоанн, его красавица-черкешенка, Мария Темрюковна, года через два он вступил в третий брак. Выбрана была им простая, но очень красивая девушка, Марфа, дочь купца новгородского Собакина. Брак этот, затеянный сейчас же после разгрома, как будто являлся связующим звеном между поруганным, растоптанным во прах Государем Великим Новгородом и его обидчиком, государем и царем Иоанном Васильичем всея Руси. Но искупляющий, примирительный шаг был свершен лишь наполовину.

Названную невесту царя, купеческую дочку, отравили завистливые боярыни еще до венца. Она тяжело захворала... Но и тут поставил Иоанн на своем, вопреки самой судьбе. Он обвенчался с больной девушкой... Венчанною царицею Московской, но девственно нетронутой — так и отошла она в иной мир через две недели после венца и увенчания своего в Архангельском соборе... А бояре, виновные и даже непричастные к этому убийству несчастной Марфы Собакиной, дорого заплатились за попытку мешать планам и решениям царя.

Затем — полгода не прошло — все царские богомольцы: архиереи, архимандриты и игумены созваны были к царю на совет.

— Челом бью молитвенникам моим и с просьбой смиренной прибегаю! — кротко заявил Иоанн. — О разрешении на четвертый брак молю... А дерзаю я на дело сие не без причин великих... Женился я первым браком, Господь благословил... тринадцать лет прожил с подружием своим, с кроткой царицею Анастасией Романовной... Но вражьим наветом, злых людей чародейством и отравами всякими царицу мою извели наши вороги... Тоже и вторую царицу Марию, с которой мы восемь лет счастливо прожили... И та вражиим коварством тайно отравлена... Избрал я себе девицу Марфу...

дочь Василия Собакина... Но лукавый воздвиг многих ближних, родных даже людей моих, враждовать с царицей Марфой... В девицах еще испортили ее... Возложив упование на всещедрое милосердие Божие, взял я за себя царицу Марфу, в надежде, что исцелее она... Но, увы! Две недели лишь пробыв за нами, так и скончалась, до разрешения девства ее преставилась! Много скорбел я о том... Мыслил облечься в образ иноческий, оставить соблазны мира сего... Но вижу христианство врагом побиваемо... Дети — сыны мои — еще молоды. Не мочно им землю держать... Ради того и дерзаю в четвертый брак вступить, противно правилу и закону церковному!

Повздыхали, покивали старцы головами и порешили:

— Простить и разрешить царя надобно на четвертый брак, ради теплого его умиления и покаяния...

Эпитимию церковную возложили на царя. Два года не среди верующих, а у входа самого, с оглашенными, должен в церкви молиться Иоанн... Но на войне эпитимия с него снимается. Тогда весь священный клир принимает грех царя на свои рамена...

И вот, в четвертый раз завел семью Иоанн. «Молодоженом» зовут его, а он — самодовольно усмехается...

Но, справляя медовый месяц с Анной Колтовской, кроткой и безличной новой царицей, Иван не забывал про дела.

Утром, прямо из терема царицы, прошел он к себе, в «казенку», род кабинета при опочивальне.

Несмотря на ранний час, там уже двое сидят и ждут: особый любимец и помощник в делах Иоанна — боярин Борис Годунов, молодой, но умный и ловкий царедворец, замеченный царем и умеющий хорошо пользоваться таким отличием. Быстро стал возвышаться Борис, особенно когда женился на дочери Малюты. Сейчас он уж кравчим у царя Иоанна числится, хотя совсем недавно, как красивый юноша, рындой был царским... Первым из Годуновых — князь Димитрий в милость царю вошел... И всю родню повел за собой, умея ладить со всеми, каждому угодить... А Борис при царевиче Федоре, ровно пестун, приставлен.

Тут же в казенке и Саин-Булат царевич дожидается.

Возмужал он, пополнил сильно, как большинство азиатских князьков. Но ум и доброта, преданность Иоанну и любовь безотчетная — по-старому видны на открытом, красивом лице.

— Ждете? Добро. Позадержался малость... Нельзя же... Жену молодую потешить хочется... Телом я стар, а душа молодая во мне. Куды, Бориско, твоей помоложе! Вон, толкуют: не столько ты с бабой своей, как за книгами ночи ночуешь. А? Правда ль? — обратился царь к Годунову.

— Пустое, государь. Знаешь наших бахарей... Им книга — что белый лунь, штука диковинная. А я все в меру люблю, государь. И бабе, и чарке, и книге — все-му своя пора да время.

— Так, так... Вижу я тебя... Не больно старых, не высоких кровей ты, не знатных родов, а глаз ясный да твердый у тебя, хозяйственный. И дух отважный! Не при мне — при сынах моих — великим кораблем станешь да поплывешь! Помяни мое слово! Только верой и правдой служи нам... И сестру Орину — на то же наставляй... Федю, царевича, береги... Научай, чему можно...

— Твой раб, государь... А сестра Арина, — сам знаешь: ровно отца родного, почитает да любит тебя, государь...

— Знаю, знаю! Знаю и то, что ей большое счастье готовится. Помалкивай лишь... Ну а сделал ты все ли, как я наказывал?

— Готово, государь...

— Ступай же, зови их, как знаешь уже... Цесарского сперва, там и литовского... А мы покамест с Саинушкой побеседуем...

Годунов ушел.

— Послушай, Саин... Садись-ка поближе... Скажи... Не думал ты когда бросить веру свою мухаммеданскую? Принять веру истинную? Ведь ты только и слова, что бесермен... А то, чай и у себя, в Касимове, редко носишь платье ваше татарское? В церквах православных, гляди, чаще, чем в ваших мечетях, бываешь?

— Сам ведаешь, государь... Не единова уж и докучал я тебе: дай русский закон принять! А ты же отказывал: не время, мол!

— Ну, радуйся ж, друг ты мой верный, радуйся, Саинушка. Спасешь душу свою... Не умрешь без про-

свещения светом истины. Крестись хошь завтра же. Теперь — время. Ране — в Касимове был ты мне надобен. А туды царя поставить крещеного — не рука. И хан крымский, и салтан турский — все на дыбы вскинулись бы. И то вякают, собаки обрезанные, будто я их Аллаха тесню, кладбища поразорил в Казани да в Астрахани... Мечети разрушил. Сам знаешь: правда ли то?

— Пустое, государь... Чиста душа твоя... Сам веришь ты Христу по совести... И всякому по совести в царстве своем великом веровать даешь...

— Оно пригодней так, Саинушка. Нет большей и тягчайшей свары, чем за веру свара. Деньги возьми у иного, жену возьми, голову с плеч сыми, все смолчит, все стерпит. А веру — не замай... И плюгавец самый Духа Святого преисполнится, грозу подымет... Давыд Голиафа поборет... Вот почему ничьей я веры в царстве своем не трогаю... Велико оно, правда твоя. Вон, говорят, вдоль идти — ходу девять месяцев... Поперек — полгода пути. Где тут всех в одну церковь гонять? Задавятся — не влезут... Так пускай каждый на своем погосте Бога молит, по старине, как отцы, деды его маливали... Честь да вера и камень всему, и разруха меж людьми самая великая...

— Мудрые слова твои, государь... Так я завтра же отцу митрополиту ударю челом: не оставил бы, просветил бы своей милостью...

— Добей челом... Ему уж сказано... А что же ты не спросишь: к чему я готовлю тебя? Али знать не хочешь?

— Думаю, государь: время пришло, — сам государь мне скажет. А без времени пошто и тревожить, докучать государю моему?

— Спасибо, Саинушка! Утешил ты меня. Был ты слуга мне прямой, друг мой сладкий, так и остался... Ни годы, ни люди, ни царство, тебе данное, не затемнили души верной.

И, привлекая Саина, Иоанн коснулся своими пересохшими, бледными губами до лба царевича.

— Так слушай же... Все тебе поведаю... Знаешь: послы у меня сейчас важные. От Польши с Литвой да от Максимилиана — кесаря германов. Поляки с Литвой на трон зовут; после Сигизмунда кролевать у них, вишь, некому. Не я — так Федор али Иван — кого пу-

щу из сыновей, пусть бы у них воцарился, — так ляхи просят. Знаешь, не раз я и сам помышлял о мирном наших царств единении. Сестру Сигизмунда, Катерину, сватал... Так ее поспешили шведскому водовозу, пастушьему сыну, гуртоправу пьяному, Иоанну отдать... Но Бог за нас! Сами полячишки опомнились. Вот, послушай, приму я их... Что толковать им буду! А ты вот для чего понадобишься... Толкуют на Литве: стар я, сил-де не хватит три царства управить... Ослы! Кесарь Август, державный предок мой, целым миром управлялся... А не помер бы, так и новые бы земли открывать стал, чтобы державу свою на все яблоко земное распростертым держать, чтобы под сенью его царской мантии весь род человеческий в мире да покое процветал... Чего прадеду Бог посылал, може, и мне, смиренному, пошлет, если молить его станем да сил не жалеть... Бог труды любит... А все же скажем: и слабым глазам человеческим не дано на лик солнца глядеть. Знаю я... Орлам одним подобает сие... Так мы для глаз человеческих отвод сделаем... Тебя заместо себя на время, пока хлопоты пойдут горячие, царем всея Руси я поставлю...

Так и подскочил Саин, на месте не усидел.

— Меня? Всея Руси?

— Да, да... Что глаза свои бараньи выпучил? Слушай сиди. Все поймешь. Первое — прикинусь, скажу, слаб я... Болен... Не могу царскими делами у себя управиться... Значит, кто в Польше мово царевича-сына хочет, не меня, — и тот за нашу персону голос подаст. «Мол, скоро помрет старик, сын и сядет на трон Пястов и Ягеллонов... А с молодым королем мы кашу сварим. Литву первой сделаем, Москву да Русь ототрем... ослабим, порушим и прежнюю силу себе вернем». Понял?

— Понял.

— Слава те, Господи... Это — раз. Доброхоты мои из ляхов не отстанут николи от меня. Золото все одну цену имеет, — царь ли Московский, великий ли князь Иоанн его пошлет... Я, слышь, просто великим князем стану величаться... Шляхта православная, мелкая, что от панов стонет, голодает, слезы кулаками трет, — та без посулов, по совести давно моя. Все знают, как я простых людей люблю... Как сильным воли не даю никогда... Головы боярам срезаю, чтобы руки у них не цапали... А кто кричит, что я о власти одной думаю —

не о благе христианства, тот и язык прикусит, как ему скажут: «Сам Иоанн Васильевич, грозный Московский царь и победитель, венец с себя снял многозубчатый да и воздел его не на главу сына юного, глупого, не навывклого еще к царству, а на главу крещеного татарина... И за что? За службу его верную, понятливую...» Вот, и тут добро выйдет... Поймут паны, что если я, отец, временно даже старшего сына, в совершенные годы и разум не пришедшего, царем не ставлю, как же им его в крули себе выбирать? А прямо им сказать: не дам сына, меня зовите! — не годится мне то... Понял?

— Ты говоришь — как не понять, государь!

— Ну, так дале слушай... Волком зовут меня... Только и дела, мол, у меня, что воевать, земли чужие у слабых соседей отымать... Того не знают, что мне Ливония дороже ока во лбу... А от трона отойдя, — я и от прежней войны ото всякой будто отошел... Каков я воевода — мир знает. Как полячишкам не пожелать меня? А я к тому же на свободе такие петли на Сейму их безбожном заплету, что все перекусаются безмозглые паны... Истомлю их до последнего... И то уж там люторы с католиками без ножа за стол не садятся, в храмах Божиих режутся... А мы еще им жару-пару наддадим... Выберут меня не выберут, а приведу я ляхов к тому, что от ветру валиться станут. Не добром, так силою, а прикреплю те две сарматские короны — к нашим всем...

— Дай Господь, государь!

— Сам плох — не даст и Бог... Знай, Саинушка... Ежели, боясь руки моей тяжелой, захотят-таки поляки Федора, — мой же он сын... Тоже от меня не отвертятся... Насулить можно врагам с три короба. А полуют лишь то, чего сами возьмут, если силы станет... И для того — нужно мне на троне нашем, для надзора верховного, для страху боярского, иметь человека верного. Иного не знаю, как тебя. Царской ты крови, хоть и агарянской, но старого рода... Твои деды — всей почитай Русью владели, ханы Золотой Орды... Большие были лыцари...

— Правда, государь!

— У-у-у! Какие большие... С пустыми руками, почитай, в кибитках пришедши, весь христианский мир под ноги себе покорили...

— Да, правда, государь!

— И если бы деды мои их, окаянных, не вздули хорошенько, о сию пору, гляди, басме бусурманской цари бы крещеные кланялись; калмыцким рожам вашим — дани несли бы да выкупы...

— Да, правда, государь... — совсем иным тоном произнес Саин.

А Иван, улыбнувшись слабо, продолжал:

— Ну, так слушай: теперь ты знаешь главное. Так и веди свое дело... Погорделивей с боярами. Чтобы боялись тебя...

— Не меня, а тебя бояться станут. Кого хочешь ты им посади, все равно! — желая поправить предыдущую ошибку, живо отозвался Саин.

— Ого, сладко поешь, царек... нет, что я?! Отныне ты — царь... как бы... Ну, Симеон, скажем, Бекбулатович, великий князь и царь всея Руси... А на место твое, в Касимов-городок, кого пока посадить, как скажешь?

— Буда-Алия-салтана — младшего брата моего, коли тебе не супротивно, государь...

— Можно бы, да молод больно. Бабы да муллы вертеть станут царством. Он ни меня слушать, ни сам править не сумеет. Погодим. Подрастет — посажу его, не мину... А покудова — Кучумова родича, Мустафу-Алия повеличаем. Сибирь теперь мои воеводы Строгановы «задирают»... Городки ставят... Инородцев к нам зовут... Вот те и пойдут охотнее, как прослышат, что ихнего Кучума родич — в таком почете на Руси, царьком на Касимове... Ну, вот на один раз — будет с тебя. Ступай, о купели хлопочи... Дело налаживай... А я и ризки тебе изготовлю золоченые... Да, чай, недолго ждать отцу с матерью твоим придется? Как окрестят тебя, из купели вылезешь, и зубки у младенчика нашего резаться почнут... Так мы и на зубок приготовим... Ха-ха-ха...

И в первый раз за много лет снова рассмеялся Иван, забытым, старым, веселым смехом своим.

И Саин смеется.

— И! Не надо, государь! Много видал я от тебя милостей. Не стою даже.

— Ты не стоишь — я стою... Кто дает, того и правда. Кто берет — тому молчать...

— Так и тебе бы, царь, не много толковать со мной надо. Богатый дар я дал тебе... Отдал ли ты? — спросил смело Саин, видя веселость царя.



— Ты? Мне? Дар? И я не отдал? Мелешь что-то несуразное! — сразу нахмурился, произнес Иоанн.

— Не угадал, государь. Душу свою всю, сердце благодарное тебе я в дар принес... Ты — землю, казною отдаешь. Не можешь ты своего сердца царского, души высокой — одному Саину, царевичу татарскому, отдать... Понимаю я... И не жду... Так и деньгами помене дарил бы... Не так бы было совестно, словно я любовь и дружбу мою на вес золота продаю...

Молча привлек Иоанн Саина, вторично коснулся его волос поцелуем и слегка оттолкнул от себя.

— Ступай... Дожидаются люди, гляди... К крестинам готовься... А там — и царем Московским посажу... Силу — себе оставлю, а заботы разные пустые, досадные, доуку царскую, — на тебя возложу, вместе с бармами... Ходи всюду, по храмам, в Думу, везде. Принимай, отпускай послов с честью... А я с ними потихоньку стану дела вершить. Что ныне мне, как царю, не пристало, — у нас тогда сойдет; как потолкуем с глазу на глаз. Ну, ступай. Зови народ ко мне.

Вышел Саин; вошел с Годуновым посол императора Максимилиана, одного из кандидатов на престол осиротелой Польши и Литвы...

— Ну, докладывай скорей, Борис! — обратился Иоанн к Годунову, который в качестве толмача явился с послом. — О чем там вы с боярами приговорили? И пускай он тогда выложит свое слово тайное... Насчет Литвы — как?

— Требуем цесарь, чтобы она нераздельна осталась с Польшей. Сам он и трона не ищет. За Эрнеста-королевича просит подмоги у нас. А Киев, мол, можно Москве отдать, когда Эрнеста на трон возведут.

— Вон оно что! На посуле, как на стуле. Дальше.

— Просит: Ливонии бы ты, государь, не воевал, покудова цесарь больших своих послов не пришлет о том деле рассудить.

— Да? А кафтана вот этого с плеч у меня еще не просят ли нейстрийцы бестолковые, да и с рубахой, и со крестом нательным заодно? Дале?

— Все, государь...

— Мало! И вовсе мало, святым Георгием свидетельствуюсь. А какие тайности у посла? Ну-ко, выкладывай...

Низко поклонясь, посол заговорил. Иван на лету

ловил слова полужнакомой немецкой речи. Борис точно и громко ее пересказывал.

— Говорит великий цесарь — Максимилиан Нейстрийский, государь, что ежели бы ты, государь, пожелал помочь сильную королевичу Эрнесту оказать, чтобы тот на трон польский и трон литовский благополучно засел, и за ту дружбу — за помощь великую — выгоды прибудут большие твоему царскому величеству...

— Ну-ка, ну-ка, слушаем... Сосчитаем ли только, ежели много чересчур?

— Говорит цесарь твоему царскому величеству: ты, государь, Максимилиан-цесарь, король Гишпанский, новый король Польский и Литовский, Эрнест-королевич, папа римский и иные государи христианские — на сухом пути и на море — нападете на главного недруга христианского, на безбожного и могучего Селима, салтана турецкого, — и прочь из Европы, в Азию неверных погоните. И по воле тех союзных государей христианских, по их уступлению — все царство Греческое, Восточное с Царьградом будет уступлено твоему царскому величеству и, ваша пресветлость, будешь возглашен великим Восточным цесарем, как есть Максимилиан-цесарь Западный...

Сперва, слышав перечисление западных католических владык, своих непримиримых соперников, Иоанн улыбнулся незаметно и подумал:

— Хороша чета выйдет... Все под масть, а я — голиком...

Но когда была сказана последняя фраза, лицо царя стало глубоко серьезным.

Неужели хитрые схизматики угадали его затаенную, любимую мечту и теперь манят ею? Врут ведь. Разве пустят они царя православного на море Средиземное, к Ерусалиму под бок, к Святой земле? Шаг тогда один...

Иоанн даже вздрогнул.

— Все? — спросил он отрывисто у Бориса.

— Все, государь...

— Ну, ладно. Слушай же, посол, что мы скажем! — взяв себя в руки, начал Иоанн.

Низко поклонился посол и слушает внимательно, что говорит московский властелин, что передают немцу на его языке...

— Скажи брату нашему, цесарю: рады мы словам его и готовы верить обещаниям. Да, помнится, обещана

была Владиславу крулю венгров, такая же помощь против турецкого; а заместо того, как пришел салтан на Владислава, — ниоткуда помощи не подали. Рать Владиславову турки разбили и сам круль — жизни лишился... Пришлют все те владыки, каких насчитал цесарь, от себя послов, дадут о том слово и подпись свою: султана воевать — тогда и делу быть. А что про Литву с Польшой? — так и про это скажи цесарю: хотим, чтобы брата нашего дражайшего сын, Ернест, князь Австрийский, был на короне польской. А Литва — великое княжество, с Киевом, — была бы нашему государю московскому. Ливонская же и Курляндская земля к нашему государству отходит, как Ливония — издавна наша вотчина. И посадили мы в ней королем вассала нашего Магнуса. Так брат бы наш дражайший, Максимилиан-цесарь — в Ливонию не вступился бы. Тогда пошлем мы к панам польским: Ернеста бы брали на царство. А не возьмут ни Ернеста, ни нас — вместе бы нам над Польшей промышлять... И за неволю заставим полячишек буйных послужить нам! Пополам поделим все царство Сарматское... На этом — кланяюсь брату моему дражайшему Максимилиану на многая лета.

Выслушал посол, откланялся и прочь ушел.

А Иоанн, сидя один, в ожидании следующего гостя, шепчет про себя:

— Вот так-то лучше... Увидим правду немецкую... Ихняя правда — угрем склизким из рук ползет. Так мы — за жабры ее.

Вошел второй посол, канцлер гетмана Литовского, Михайло Гарабурда. Не раз уж бывал он с посольством в Москве, по-русски знает. А царь и польскую речь понимает недурно.

Чтоб не мешать разговору, Годунов поодаль стоит, глядит только, не прикажет ли чего государь.

Живо заговорил Иоанн:

— Ну что? Столковался с боярами моими с думными, с умными? А?

— Без тебя — плохой толк, государь... Не хотят ли, боятся ли, а все задирают, вызнают от меня только, что можно, а сами ни слова путного не скажут...

— Да уж не погневайся: рта не разеваем, как паны на раде у вас. За версту слышно, ежели о потайности какой государской речь зайдет. Иная повадка у верных слуг моих... Знают, что болтунов не люблю... Так вот

все и повтори, что с ними толковать. А я погляжу: так ли они тебя поняли? Верно ли передают мне слова польские?

— Много было толковано... Первое слово было: крепко ли рада стоит на том, чтобы тебя, государь, али сына твоего на трон звать. Перебирать мы стали. Против твоей царской милости что?

— Ты не запинайся. Все говори. Не коня на торгу продаем, что надо прорухи скрывать. Мы, цари, как звезды на небе. Всякому вольно о нас говорить, если что не покажется. Все и валяй.

— Первое, скажем: войну ты вел от младых лет с Польшей, а у Литвы — и вовсе Смоленск и Полоцк забрал. Второе: вера твоя — греческая. А у нас все больше люторы да католики. Вашей веры — мало совсем. Дале: нрава ты сурового, к слугам, к боярам своим немилостив... А паны наши — к тому не приучены. Им короли — не владыки, а собутыльники первые... Еще: императору австрийскому да султану турецкому легче на сене колючем лежать, чем тебя под боком соседом иметь... Того и гляди, клок урвешь, отвоюешь... Они все и строят, не пустить бы тебя к нам... А поляки опасаются: в Москву ты оба трона наших перевезешь, здесь на них сидеть станешь. Города наши большие — заглохнут, Москва процветет... Вот и все, кажется...

— Не много же... А... а за Иоанна Московского в Литве что было сказано? Говори, Михайло... Мы слушаем.

— Много говорено, государь... Особливо с киевской стороны. Там все за тебя. Про мощь твою государскую великую было сказано... Про отвагу безмерную воинскую... Покойно, без страха Литва и Польша за тобой проживут... Что язык, что обычаи — сходны у нас и у твоих москалей... Погрубей только нашего малость люд у тебя, зато — попрямее. А много из наших и наряды уж стали себе на московскую стать кроить... Враги, что у нас, что у тебя, — одни: султан да император австрийский, всей Германской империи властелин... Думают паны, что, если Ягайло, став крулем польским, веру принял истинную, католическую, может, и тебя Бог наставит... А что жить на Москве ты станешь, вряд ли, потому что, имея столицу южную, прекрасную, кому охота в холодном краю проживать? Да и почище Краков Москвы, не во гнев будь твоей царской милости...

— Все может быть... Теперь дале. Так молвим: выбрали бы и взаправду меня, чего ждут тогда паны радные, на что уповают? Что обещать я должен?

— Немного, государь... Тебя ли, сына ли изберут твоего, одного из преславных царевичей твоих, — молодшего, скорей всего, Федора... Клятву ты должен дать: сохранять свободу веры нашей католической и вольности шляхетские все, как от века... И сам должен нашу веру принять святую, католическую... Или царевич твой... И в каждом царстве, если сам на трон сядешь литовский и польский, должен поочередно время проводить, чтобы везде от двора и лица твоего светлого — радость, и суд, и правда, и прибыли шли купцам и панам, и народу черному... Литве надо взятые земли вернуть, Ливонию, Смоленск и Полоцк отписать их обратно к короне Ягайлов... А если царевича дашь нам, за ним запиши земель хоть немного; вот и все.

— Правду сказал ты: немного толковано, да много наковано... Теперь — меня послушай. Веры менять нам причины нет, как не еретик, не схизматик я, по-вашему, а крещен во имя Святой Троицы, вам же подобно... Так же и сын наш, царевич Федор. Если дам вам сына, так безо всяких земель Московских. Не девка он, невеста, чтобы приданое за ним готовить... Если сам я сяду на трон, — добро вам будет. Много голов у вас в Литве и Польше, а царство — все без головы, хоть и шумят паны радные. Мы — головой вам станем, защитой крепкою... Ни Рим, ни цесарь, ни один король не устоит против нас! Вот помянул ты про суровую нещадность мою к слугам... Правда, я зол и гневлив, но против тех, кто на меня встает. А кто добр ко мне, тому я и цепь эту и это платье отдам с себя...

— Помилуй, государь! — вмешался Годунов. — Казна твоя не убога. Найдешь, чем одарить...

— Не убога, верно. Дед и отец богаты были. Мы вдвое того богаче, Божьею милостью... Умею награждать... А за что мне с боярами добрым быть? Давно ли изменой они врагов, поганных татар, навели, Москву им предали? Казнить и пришлось их — не миловать же за это... Ливония — не Литовская земля, моя она, моею и буде же... Полоцк — тоже. Смоленск — ворочу, пожалуй... Да что толковать, под моей державой — все в одно будет: Ливония, Москва, Литва и Новгород... Корону вашу — после московской короны писать станем:

король Литвы и Великой Польши всей... Если цесарь и французский Генрик вам больше сулят — их дело. Мой род — древний, царский. Кроме нас да султана турецкого — ни единого государя нет, чей бы род непрерывно через триста лет царствовал. Вольностей и прав ни в чем мы нарушать не станем ваших... Может, еще прибавлю... Глядя... Ездить в каждое царство можем же поочередно. И не помешает нам нисколько Москва... А почему — увидишь скоро... Вере нашей — быть в почете всегда. Церкви наши — вольно нам ставить, где пожелаем... Вольно нам будет в старости отойти в монастырь — тогда паны и вся земля выбирают себе из наших сыновей, кого захотят. Их воля... Еще про дворовых моих скажу.. Зовут их глупые люди — опричниками... Без них ни в Польшу, ни в Литву ехать не могу... Особливо к польским панам буйным... И ездить будем мы с сынами и со всеми детьми своими. Они по годам своим — не могут без нас еще оставаться... Да, вот еще... Слухи до нас дошли: манят будто у нас сына обманом, будто на трон; а сами хотят в залог его отдать султану турецкому... Может, и злые люди то выдумали... Но я тебе сполна сказать хочу... Все же паны должны присягу дать, что беречь и почитать нас станут, никому в обиду не дадут! А самое святое дело, скажу я тебе... Не брать вам сына... На Польше можно Ернеста посадить. А нам вручить великое княжество Литовское. Его мы особливо хотим. Ведомая нам давно та земля. И хлопот с ней будет меньше при моих преклонных годах... И православного люду больше в Литве, чем католиков. И паны, и шляхта — не такие у вас все буйные, как великопольские крикуны... Ну вот, кажись, и все тебе сказал. Запомнил ли речи мои?

— Думаю, государь... Хотя, где же уму моему простецкому до твоего светлого ума... Да авось не забуду...

— Не позабудешь... Борис, дай-ка памятку... Вот вкоротке — все прописано тут... А вот еще... Бискуп Гнезенский ваш, Яков Уханский, грамотки мне прислал на образец, как надо писать иным панам сильным, могучим на Литве, чтобы на нашу сторону привести их... Мы послушали, написали, желая скорее доброму делу сделаться... Передай о том, по дружбе к нам, кому следует... Посол наш, Новосильцов, — грамотки повезет...

— Рад душою, государь...

— Да еще помни! — уже более сурово прибавил

Иоанн, протягивая руку послу для целованья. — Больше всего мы сами, помимо сына, хотим сесть на престол литовский. Чтобы Литве — совсем от Польши отойти. Ее не бойтесь. Я помирю вас с нею... А если не нас, и не Ернеста, если Генрика-француза возьмете, — берегитесь! Знайте, что мне над вами, над Литвою — промышлять придется и силой от дурости отводить... Ступай с миром...

Так, угрозой кончив гибкую, полную недомолвок, а порой и противоречий, беседу свою, отпустил Иоанн Гарабурду.

Пышно было справлено крещение Саин-Булата, названного Симеоном по-христиански. И женил его царь на Анастасье, дочери князя Ивана Мстиславского. А там — и нечто удивительное совершилось. Иоанн объявил, что слагает с себя звание и власть царя Московского и всея Руси, передает их царевичу Касимвоскому и Астраханскому, первому думному боярину своему, Симеону Бекбулатовичу. Ему в Кремлевских палатах жить, вести обиход царский, все дело земское править, войско держать... Сам же Иоанн оставляет себе родовое имя князя Московского и, по немощи, ото всех дел отстраняется, разве не от воинских, где его заменить некому... Мира и войны без него никто объявлять не смеет... Венчать короною и бармами названного царя покуда не следует. А как дальше будет — Бог укажет...

Много видали бояре на веку своем, при Иоанне служа; много слыхали, ждали всего... Только не этого. Но царь сказал — и при живом царе-государе всея Руси другой царек на московский престол воссел, крещеный царевич татарский... А подлинный царь, почему-то пожелавший в тень на время уйти, — в простой колымаге по улицам ездил, во дворец приезжая — далеко от царского места садился и царьку, им же посаженному, кукле живой, в царское платье одетой, писал от 30 октября 1575 года:

«Великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси сию челобитную подал князь Иван Васильевич Московский и дети его: Иван да Федор Иванычи.

Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси, Иванец Васильев со своими детишками, с

Иванцом да с Федорцом, челом бьют: освободил бы перебрать лишку бояр и дворян и детей боярских и челяди всякой, по нужде своей, из людей московских, как по ряду следует...»

И «царек» Симеон разрешал царю Иоанну Грозному взять себе в обиход лишних людей против количества, какое прежде установил было сам царь для себя...

Потешался ли такой игрой расшатанный ум Ивана, или создал себе предвзятую идею государя и примерял новое положение мелкого князя, как примеряют маскарадный костюм, из политических ли целей затеял игру эту старый сердеведец и человеконенавистник, ненавидимый всеми, государь московский; но все три года, пока сидел на «царстве» царек Симеон, — настоящий царь являл пример покорности и смирения, заражая этим и всех остальных. Как будто он говорил им:

— Учитесь от меня, от повелителя, как надо уметь повиноваться!

Тогда же, еще в 1573 году, позвал Иоанн сыновей и объявил:

— Времена пришли шаткие... Я — болен и стар... Не годами, так немощью телесною... Прослушайте же завещание мое. Хочу при жизни вам прочесть, чтобы лучше залегло вам в душу слово родителя...

И он начал читать...

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Тело изнемогло, болезнует дух мой, струпы душевные и язвы телесные умножились и нет врача, который исцелил бы меня. Ждал я: кто бы со мною поскорбел — и нет никого. Утешающих я не сыскал, воздали мне злом за добро, ненавистью за любовь...»

Так начинался этот вопль душевный, эта сильная импровизация, полная лиризма, похожая скорее на покаянный псалом Давида, чем на духовную запись о посмертном разделе имущества, даже такого многоценного, как русское царство.

«Се завещаю вам: да любите друг друга, чада мои милые. Сами — живите в любви... и военному делу, сколько возможно, навывайте. Как людей держать и жаловать... и от них беречься и во всем — уметь их себе присваивать — вы бы и этому навывали же... Людей, которые вам прямо служат, жалуйте и любите, от всех берегите, чтобы им притеснения ни от кого не было... тогда они прямее служат. А которые лихи — на тех бы



вы опалу клали не скоро, порассудивши, а не в минуту ярости. Всякому делу навывайте: божественному, священному, иноческому, ратному, судебному, дворцовой жизни и житейскому всякому обиходу: как которые порядки ведутся здесь в иных государствах. И здешнее государство с иными государствами, что имеет в делах разных розни или приязни и прибыли, чтобы вы сами знали, а не от людей ваших. Также и во всяких обиходах, как кто живет и как кому пригоже быть, и в каких мерах всякого меряти — всему тому научайтесь. Тогда вам люди и не будут указывать. Вы станете людям указывать. А если сами чего не знаете, то вы не сами станете своими государствами владеть, а люди...»

Из этих строк Грозного царя так и выглядывает позднейший, еще более величавый и мощный образ царя-преобразователя, первого императора и первого работника на Руси — Петра Первого.

«А что по множеству беззаконий моих, — продолжал дальше читать Иоанн, — распростерся Божий гнев, нет пути мне и в храмы Божии... Изгнан я боярами самовольными из царства, прогнан от своего достоинства и скитаюсь, аки странник... И над моими грехами многие беды занесены... То, Бога ради, не изнемогайте в скорбях. Пока вас Бог не помилует, не освободит от бед, до тех пор вы ни в чем не разделяйтесь: и люди бы у вас заодно служили, и земля, и казна была бы одна у обоих. Так вам будет прибыльнее. А ты, Иван-сын, береги сына Федора и своего брата, как себя! Чтобы ему ни в каком обиходе нужды не было, всем был бы доволен, чтоб ему на тебя не досадовать, что не даешь ему ни удела, ни казны. А ты, Федор, у своего брата старшего, пока устроитесь, удела и казны не проси, живи своим обиходом, смекаясь, как бы Ивану-сыну тебя можно было без убытку прокормить. Оба живите заодно и во всем устраивайте, как бы повыгоднее. Ты бы, сын Иван, своего брата младшего Федора, берег и любил и жаловал, везде был бы с ним один человек, в хуе и добре. А если в чем пред тобой и провинится, ты бы его понаказал — и пожаловал, а до конца б его не разорял, а ссоркам бы отнюдь не верил, потому что Каин Авеля убил, а сам не наследовал же! А даст Бог, будешь ты на государстве, ты удела от брата Федора не подыскивай, напрасно его не задирай и людским вракам не потакай, помни, если кто и мно-

жество земли и богатства соберет, но трилокотного гроба не может избежать, и тогда все останется.

А ты, сын мой Федор, держи сына моего, Ивана, в мое место отца своего, и покорен будь ему во всем и добра ему желай. И во всем будь в его воле до крови и до смерти! — читал Иоанн новые, необычные слова, еще ни разу не стоявшие на завещании русских государей. — И ни в чем ему не прекословь, если разгневадается или обидит тебя как. И тут старшему брату не противься, рати не поднимай, сам не обороняйся, бей челом, чтобы тебя пожаловал, как я приказываю теперь вам. А пока, по грехам Иван государства не достигнет, а ты — удела своего, вместе будьте заодно... И ты, Федор, лиходеев не слушай, из Ивановой воли не выходи, ничем не прельщайся, куда брат пошлет — на службу иди и людей своих посылай...»

Этими строками рушен был старый уклад, который давал право младшему сыну требовать своей доли от старшего. Отныне — все отдавал Иоанн старшим сыновьям в роду Рюрика. А младшие становились не прежними равноправными сонаследниками, а первыми слугами своего державного брата-первенца.

«Нас, родителей своих и прародителей, не только что в государствующем граде Москве, или где будете в другом месте, но если даже в гонении и в изгнании будете, — вдруг ударила в души царевичам грустная нота, — если и свержены будете — в божественных литургиях, панихидах и линиях, в милостынях к нищим и в пропитаниях, сколь возможно, не забывайте...»

Слезы сверкнули на глазах у чтеца... Слезы текут по лицам у царевичей.

«Что я учредил опришнину, то на воле детей моих, Ивана и Федора. Как им прибыльнее, так пусть и делают, а образец им готов для земского и дворового устройства и для людского управления многообразного. А суд вести, как я уложил, народу — право и правду давать неумытную... А удел сына моего Федора — его я не в род Федору отдаю, а по воле сына Ивана, все сыну Ивану же...»

Затем шел длинный перечень земель, отчин и городов и казны, что братьям поделить меж собой и сестрою следовало...

Прочел — и клятву взял отец с сыновей, что все будет исполнено.

В этом завещании так и сказался весь Иоанн, — хозяин и строитель земли русской на новый лад, каким хотел он быть смолоду, каким был все время, хотя и не без порываний в сторону.

Читая сам заупокойную молитву по себе, великий книжник и ритор земли русской, Иван IV разыграл ту же комедию, как и великий затворник монастыря св. Юста Карл V, меланхолик и философ по душе, приказавший отпеть себя заживо и подпевавший из гроба напеву «*de profundis*», звучавшему над его головою. Но восточный причудник отличался от западного собрата тем, что в бездне, которая зовется пресыщением жизнью и властью, — Иван не утопил жажды к делу и любви к царству своему, к родной великой земле...

Да и пресыщение жизнью у Ивана было больше внешнее. И щеголь-красавец Богдан Бельский, тайный фаворит, и те три жены, не считая множества наложниц, которых, заточив в монастырь Анну Колтовскую, дряхлеющий Иван осчастливил своим вниманием, — все это служит признаком, какая неукротимая, кипучая натура была создана в свет под именем Иоанна IV, Грозного царя всея Руси.

Все темные предчувствия полубольного Иоанна скоро сбылись, хотя, конечно, и не по отношению к Руси.

Пока старый, нерешительный Максимилиан медлил у себя в Вене, пока царь Иоанн жалел денег на расходы, так как не верил в прочный успех, а сам вел войну за Варяжское побережье и с Литвою и со шведами, — был избран на трон Сарматии — француз, Генрих, неудачо процаривший в Кракове с полгода, затем бежавший оттуда, чтобы надеть блестящую корону Франции. При новых выборах голоса на Сейме разделились. Более влиятельная, литовская партия объявила королем Максимилиана. А поляки — призвали Стефана Батория, бана Седмиградского, за которого стоял султан.

Отважный, прославленный воин, прекрасный полководец, бан должен был жениться на дочери Сигизмунда, королевне Анне, и с ее рукой получить Польшу и Литву: 14 декабря 1575 года Анна панами вельможными была провозглашена королевой, вопреки желанию всей земли, ожидавшей Ивана Московского. 18 апреля Стефан принял послов Рады Польской, подписал пред-

ставленные ему условия. Первого мая он уже был обвенчан с Анной и короновался в Краковском древнем соборе на королевство Польское и великое княжество Литовское. Молодой, полный свежих сил боец быстрым неожиданным ходом нанес шах и мат старому, усталому бойцу — Иоанну.

Наскоро заключив мир со шведами, ссадив с трона московского Симеона, как ненужную более куклу, Иоанн ответил венгерскому удалцу сильным ходом из другой партии. Он залил войсками Польшу и Ливонию, Эстонию, брал один город за другим, исключая вторичной неудачной осады Ревеля. Магнус, видя, что его будущее королевство уже почти завоевано, хотя бы и чужими руками, вздумал было требовать у Иоанна обещанную власть, причем заперся в Вендене.

Послов Магнуса, доставивших послание от этого «короля без королевства», Иоанн приказал высечь, а Венден — осадил. Магнус вышел из города, кинулся к ногам царя и вымолвил унижительное прощение.

— Если бы ты не был королевским сыном, — сказал Иоанн, — не был мужем моей племянницы — показал бы я тебе, как мои города забирать!

Магнуса взяли под стражу, потом — отослали в маленький Каркус-городок, под бок к жене. Немцы, которые заперлись в кремле венденском, не хотели сдаваться. Одно ядро едва не уложило самого Иоанна. Тогда город был взят штурмом. Защитники крепости, сидевшие там со всеми семьями, взорвали себя на воздух, чтобы не отдать жен и детей на бесчестие татарской орде Иоанна.

Горожане не избегли этой злой участи, а в довершение были вырезаны до последнего.

Не слышно стало теперь о казнях в Москве. Только на полях битв свирепствовал еще Иоанн.

Но и здесь скоро юный Баторий, собравшись с деньгами, с войсками и заручившись союзниками, стал наносить царю удар за ударом.

Снова согнулся Иоанн. Как недавно Девлету, так теперь Баторию стал писать он смиренные грамоты.

И, по-обычному, едва улыбнется где счастье Москве против Литвы — снова надменный тон звучит в словах и посланиях Иоанна. Так и потянулась долгая Литовско-Ливонская война. Баторий появился на русской земле, взял Полоцк назад у царя. Забрал Холм, Озери-

ще. После страшной резни — взял Сокол — и зазимовал лишь подо Псковом, который так успели укрепить, заняв гарнизоном в шестьдесят тысяч человек, что сто-тысячная, испытанная рать Батория напрасно теряла последние силы, стараясь взять у Иоанна эту крепость.

В Эстонии, в Ливонии — всюду Иоанн терпел урон. Так хуже все и хуже шли дела на Руси.

## Глава VII

### ГОД 7089 (1581)

*Ноябрь*

Годы, недуги, муки душевные и телесные, наконец, подломили могучую натуру Иоанна.

Не слышно опал и казней на Руси. Войска за рубежом не видят больше царя со стягом победным за собою. А надо бы Иоанну двинуться с места. Всю зиму Псков, врагами окруженный, стоит, уж и голодать начинают люди, затворившиеся в крепости и отражающие приступы войск Батория.

Но Иоанн духом упал. Царевича Ивана тоже не пускает от себя. А вдруг и сына старшего собьют враги с пути, против отца научат восставать.

Никому не верит старый сердцеводец, потому что хорошо знает самого себя, знает, что ему тоже нельзя ни капли верить, если только земли и царства касаются.

И живут в мрачной Александровской слободе по-старому отец с двумя сыновьями взрослыми, с новой молодой мачехой-царицей, Марией Нагих в девичестве. Матерью скоро готовится стать молодая царица. Не попусту в седьмой раз женился Иоанн, отягченный годами, болезнями и распущенностью своею.

И другая обитательница мрачного дворца в Слободе, третья жена царевича Ивана, юная царевна Марина, тоже носит ребенка. Внука готовит державному деду.

Так и блаженная Аленушка говорит, любимица царевны Марины.

— Раньше да выше будет твой царевич ее царевича! — тыкая пальцем в царицу Марию, бормочет дурочка царевне Марине.

Та — алеет. А царица-мачеха бледнеет и брови сжимает грозно. Зла царица Марья, в свой род, в Нагих пошла.

И порой, пересилив отвращение, какое внушает ей старый, больной мучитель-сладостлюбвец Иоанн, — ластится к мужу царица и жалуется:

— Слышь, бают, наш сын будет ниже сына этой дуры, бабенки Ваниной, снохи-то твоей! Может ли быть то?

— Пока я жив, — не может...

— Ну то-то! А зачем она дразнит меня? Видит, что ты, старый грешник, заглядываться стал на сноху-преlestницу... Даром, что на сносях баба... Не хуже вот меня — полным-полна! Прочь поди! Не люблю такого...

И делает вид, что хочет оттолкнуть мужа.

А тот тянется за женой и шепчет:

— Постой, погоди минутку... Еще... минутку... Малость самую... А уж я... Я проучу ее...

И взглядом ищет старый, привычный посох свой с острым наконечником. Не расстается с ним и доньне царь. Часто гуляет жезл по спинам рабов нерадивых...

— А уж какая охальница да срамница баба. Нагишом чуть не при людях ходит. Да с парнями все бы ей. Гляди, внучок-то твой богоданный — так только, по имени роду вашего царского, а не взаправду... Грехи! Поганая бабенка. Каждому на шею готова кинуться.

— Что ты?

— Вот тебе Бог... Сама сколько раз видела; по сенничкам в уголках, по переходам стоит, прячется, да не одна, а все с мужиками. Я и подойти боялась. Ну прибьют? А что творили они: козни ли супротив нас с тобой строили, так ли хороводились, как узнаешь?

— Козни? Марина? С кем? С кем же?

— Ну, нешто разобрать лица? Видать, что боярин. А какой, поди разбери! Более тыщи охальников их здесь у тебя, в Слободе.

Хмурится царь и ласкаться к жене перестал.

Козни?! Все быть может. Добра не видал он от людей. А козни? Их только и знает всю жизнь. Иван, сын его старший, мрачный что-то ходит. И на пирушках невесел сидит. А это — дурной знак. Видно, совесть не чиста. И в дела царские все норовит, щенок, впутаться.

Надо приглядеться будет. Вовремя зло захватить. А то? Долго ль придавить его, старика?! А умирать еще не хочется. Тяжело жить. Но умирать? Нет, умереть — рано!

И быстро поднялся Иван с лавки, где после обеда на мягких подушках с женой шутил, отдыхал.

— Пойду-ка, сына проведу, словом с ним перекинусь. Да и про невестку скажу. Научил бы жену не грубить царице, матери своей, супруге нашей. Ты погоди... Я скажу...

И, стуча по настилу покоя жезлом, пошел из горницы Иоанн.

Душно в невысоких покоях мрачного, обширного Слободского дворца. Осень на дворе, ноябрь прохладный, румяный. А в горницах везде жарко-прежарко натоплено ради царя. Зябок он стал, словно дитя малое.

Скоро Иоанн добрался до покоев, в которых царевич старший живет.

Проходит одну, другую горницу — нет никого. Отдыхают, видно, после трапезы.

Вдруг, войдя в летнюю опочивальню, в светелку, наверху, он увидел на широкой лавке свою невестку спящую.

Оставя мужа внизу, царевна поднялась сюда, где попрохладнее, разделась, кинулась на мягкий ковер, которым прикрыта лавка, под голову подушку притянула — и сладко спит. Одна сорочка тонкая, шелковая, ровно вздымается на груди. Горят румяные щечки, рдеют во сне. Брови соболиные как по шнурку рисованы. Ресницы густые, длинные, осеняют закрытые глаза. Алые, детские губы полураскрыты. Раскинулась небрежно во сне царевна, полуребенок, готовый через четыре месяца стать уже матерью... пятнадцать лет всего царевне.

Глядит Иван. Хороша. Дивно хороша. Куда лучше Нагой. Та баба совсем. Высокая, крупная. А эта как хмелевинка, стройна и гибка.

Осторожно с пересохшими губами подошел к спящей старик. И про жутьбу забыл. Левою рукою слегка по волосам провел. Густые, шелковистые пепельные волосы распущены. Волнами падают на грудь, такую нежную, полусозревшую, как бутоны весной на розовых кустах. Коснулся руки, закинутой над головой. Теплая, мягкая кожа, совсем атласистая.

И наклонился грозный свекор, припал с поцелуем к губам невестки.

Та сразу проснулась и в полусне еще спросила:

— Ты, Ванюшка?

— Ванюшка, Ванюшка... — улыбаясь и отклоняясь немного, проговорил Иван. — Угадала невестушка.

В испуге вскочила сноха.

— Ты, государь-батюшка? Прости, помилуй. Не ждала тебя. Жарко. Истомилась, недуга моего ради. Прости! — вся алея от стыда, бормочет растерянная женщина. Потом к тому концу лавки кинулась, где одежду бросила.

Схватила сарафан, им прикрывается.

— Жарко? Еще б не жарко. Да брось сарафан. Брось. Не чужой ведь я... Свекор родной... Брось...

И он взялся за край одежды, чтобы вырвать и отбросить ее.

Безотчетно, изо всех сил держит измятую ткань, прикрыла ею грудь царевна. Рвется, не дает сарафана, сама из рук старика безумного скользит.

А в том уже зверь заговорил.

Ему противиться? Ему не уступать? Царю, отцу державному! Девчонка спорит с Иоанном! Да если бы он кожу стал срывать с нее, с дочери богоданной, с подданной его — и то молчать, терпеть, смиренно стоять должна.

В приливе ярости, смешанном с ощущениями дикой, страстной злобы, вступил в борьбу озверелый старик с обезумевшей от страха женщиной. И не кричит она, только рвется из рук у него, сарафана не дает, к дверям порывается.

— Нет, не уйдешь! — хрипит старик. — Еще с такою — справлюсь. Поставлю на своем! Нечего невеститься!

И правда, одолевать начинает. Чувствует женщина, что руки слабеют. Сейчас выскользнет сарафан из судорожно сжатых пальцев, и опять она полунагая будет стоять перед этим страшным человеком.

С последним усилием, забыв, кто перед ней, — рванулась в сторону царевна, так в грудь толкнула старика, что отпустил он сарафан.

Свободна, спасена, наконец. К дверям бросилась.

Но разъяренный свекор уж перерезал дорогу. Поднят тяжелый посох и тяжкий удар ложится на плечо



несчастной. С криком у самого порога свалилась она, руки над головой подняла, еще ударов ждет.

И посыпались удары. Но не жезлом — рукой.

Согнувшись над упавшей, почти прильнув к ней, — обеими руками наносит удары по нежному телу обезумевший старик, и все то же смешанное чувство ярости и страсти безудержной — слепит его воспаленные глаза, неподвижно уставленные в лебяжью шею этого полурбенка, полуженщины. Не видит и не слышит он ничего. Только чувствует, что чья-то сильная рука схватила его за плечо и сразу отбросила от жертвы, над которой так мучительно хорошо чувствовал себя Иван, терзая ласками хрупкое создание.

— Кто смеет? — взмахнув поднятым с полу смертоносным жезлом, вскрикнул было старик. Но тут же сразу умолк.

Царевич Иван проснулся внизу, услышав крик жены, прибежал в испуге и стоял теперь перед царем.

— Ты... ты что же делаешь, отец? Убить ее собрался или?.. Что же делать мне? Господи, Боже мой! Зверь ты или человек? Гляди, что сделал-то?

Подняв жену и видя, как избита бедная, царевич сам бледнее смерти стал...

— Ну, будет... Не беда... Чего скулишь? Поучил невестушку. Неучтива больно. Гляди, как отца... как царя своего встречает... Словно ведьма, простоволосая... раздетая... Да еще грубить затеяла... Ну, и поучил... А теперь будет...

И, чувствуя, как он не прав, старик к дверям уж двинулся.

— Нет, стой, батюшка... Так не уйдешь теперь отсюда! — сложив на лавку бесчувственную жену, заговорил царевич.

— Не уйду? Так и правда: козни с этой распутницей строишь супротив меня? Ждать наскучило, пока умрет старик... Думаешь: скорей бы за бармы схватиться... Так берегись!

— Не знаю, о чем говоришь ты, государь, а я душу свою выложу! Третью жену ты губишь у меня... Одну сосватал, да пожить с нею не дал, в келью заточил ни за что ни про что... Вторую — тоже... И третью отнять хочешь... Да еще младенца во чреве губишь моего! За что же? Что же это? Бога ль нет на небе? Как живешь ты? Ведь, если правда то, что я подумал сейчас, так...

мало казней за грех такой... Сноху губишь... Внука губишь... За что? Можешь ли?! Изверг ты!

— Что, что? — шепчет старик, а сам озирается.

В дверях стоит Иван-царевич. Не пройти.

Взвесил тяжелый посох в руке старик, изготовился.

— Да, мало казней лютых тебе за такое дело! Русь гибнет... Стыд над нами навис... Пскову бы помочь поддать... А ты... Меня не пускаешь... Сам не идешь.. Беспутством живешь здесь... Не то чужую, — родную кровь пить готов, лих, сил не хватает... Не жить такому лучше! Раздавить тебя надо...

И в безумном порыве, царевич, неоглядчивый сын безудержного отца, сделал движение вперед, невольное, роковое движение.

Просвистало что-то в воздухе. Посох, с тяжелым, стальным жалом на конце, пущенный привычной, хоть и старческой рукой, так и впился, как дротик прямо в голову, в место над левою бровью царевича...

Широко, словно птица крылами, взмахнул руками царевич — и рухнул к ногам отца.

Посох, раздробив висок, отскочил, лежит на полу...

Мертвенно бледна, на лавке широкой царевна уложена. Сомкнуты глаза... Не видит она, как вдруг над упавшим мужем ее наклонился дрожащий старик, к свету раной голову сына повернул, рукой зажимает широкий пролом, из которого вместе с волнами крови и жизнь отлетела, жизнь такого могучего, красивого юноши... наследника великого царства Московского...

Иссиня-бледно лицо старика. Сквозь пальцы сухие, узловатые, которыми охватил он голову сына, — кровь льется густая, липкая. Безумными глазами глядит старик на пурпурные, липкие струи, шепчет невнятно:

— Да нет же... Не может быть. Не хотел же я... Он... Шутит он все, прикинуться вздумал... Ваня... Ваня... Сын... Царевич мой ненаглядный... Да идите ж, идите скорей все сюды... Скажите ему, чтобы встал он. Чтобы не пугал он меня... А-а-а!

И с диким воем, в судорогах повалился убийца-старик на труп убитого сына своего.

Говор, смятение за дверью светлицы, но войти... войти никто не решается.

## ГРОЗА ОТБУШЕВАЛА

ГОД 7092 (1584)

*18 марта*

Заключен мир с Литвой. Хоть и тяжелый, — но мир. Все лучше всякой ссоры. Заключен мир со шведами. С ханом крымским мир заключен, с Солиманом — падишахом и с цесарем. Со всеми — мир. Сознает старик: рано для Руси бороться с Западом! Последним ударом не только сына, и себя добил Иоанн.

Во время долгих дней безумия, овладевшего отцом — невольным сыноубийцей, бояре ближние, с Годуновым во главе, правили царством. Около двух лет прошло. Оправился Иоанн — и дал всему дальше идти тем же чередом. Идет дело — ладно. Двигается огромная машина, перестроенная и в ход пущенная могучим строителем — хозяином земли. Ни прибавить ей ходу теперь нельзя без особых, нечеловеческих сил, какие были раньше у Иоанна, ни замедлить слишком нельзя размахов тяжелого маховика русской народной жизни. Веком раньше, веком позже — все придет. Все, о чем мечтал лишь Иоанн в лучшие, творческие минуты свои, — все станет действительностью...

Иные мечтатели на троне явятся, ускорят век, на два хода огромной машины... И опять ровней задвигутся колеса, тише зашуршат шестерни и валы.

Отдых и народам целым нужен, как каждому человеку в отдельности. Пути проторены. Ермак — Сибирь принес, если не к ногам царя, как пишут в реляциях, так отдал в руки славянскому народу... Оттеснили Москву от Ливонии, от Эстляндии... Но Москва цепка. Где раз побывал, придет, чтобы покрепче взяться за дело, — и осилит его...

Польша, Литва? Все дело времени... И Крым... И Цареград далекий... И город, где кроткий Спаситель за всех был распят... А пока доживает Иоанн свои пе-

чальные дни, пережив былую доблесть и славу... Не без дела живет он все-таки. Племянницу помоложе у Елисаветы Английской сватает... На вторую невестку свою, на Арину-красавицу заглядывается, на сестру Бориса Годунова, и вспоминает: как раньше хорошо жилось! С доктором ученым, с Робертом Якобусом, которого сестра Елисавета прислала, о своем тяжелом недуге все толкует...

Раньше, после гибели царевича Ивана, долго в себя не приходил Иоанн. По ночам с постели вскакивал, вырывался из рук окружающих его людей, метался по дворцу и страшно вопил. Чудилось ему, что, весь окровавленный, идет за ним, гонится убитый им царевич... А за царевичем — бесконечная вереница таких же окровавленных признаков... Все, кто в Синодике записаны... И внук-малютка, которого не доносила невестка избитая... И она — тут же, от родов безвременных погибшая... Все гонятся за стариком... И мчался он из покоя в покой, вверх и вниз по безмолвному дворцу Слободскому, ужас наводя на всех своими воплями ужаса... Кое-как излечившись, оправившись, созвал царь бояр всех и объявил:

— Окаянный я грешник. Кровью сына руки обогрил. Не достоин скипетра касаться царского... Сын мой Федор умом и духом для царства слаб. Изберите кого из своих князей али бояр... На трон пусть сядет... Либо Ернесту Австрийскому, сыну брата и друга нашего наследье упрочим. Решайте... подумайте!

Переглянулись бояре, старые времена вспомнили:

— Не ловушка ли это, чтобы вызнать их думы?

И зашумели все:

— Царь-государь, не один царевич у тебя... Вон и Димитрия-царевича второго Господь вам с царицей Марией послал. Старший не пожелает на отцовский стол воссесть, погодим, пока младшенький выровняется... Было так, знаем мы...

— Было, было. Со мной так было... — задумчиво сказал Иван.

Понял, что лукавят бояре, — и отпустил их с миром... А сам царице Марии Нагих говорит:

— Слушай, как умру, сокрой, убери куда-нибудь дитя наше... Загубят, изведут семя царское, как первого Митю извели моего. Как меня извести пытались... Клянись, что слушаешь меня!

— Клянусь, государь... Богом заклинаю! И то, чуется сердечушко недоброе... Таково-то плохо я тебя нонеча во сне видела...

— Молчи, дура-баба! Прочь пошла... — И сам отвернулся, прочь пошел, отплевывается все...

Только духом окреп Иоанн, тело разрушаться стало... Заживо распадается... Как у отца... Изнутри гангрена поедает Иоанна. Снаружи — весь отек он... Руки, ноги... Бывает полегче временами, да недолго. О женской ласке уж и думать нечего. Тварь неразумная, Зорюшка, любимая гончая царя, — и то теперь с визгом убегает, едва он руку протянет приласкать ее... Чует пес дыхание смерти!

Одна кроткая Арина, жена Федора, приходит порой, приглядит за умирающим, подаст, что надо, не грубой чужою рукой челядника, а нежной и ласковой, дочерней рукою...

Март стоит на дворе... весной повеяло. Солнце стало чаще и дольше светить в окна опочивальни больного старика, словно вливая жизнь и бодрость в его холодеющее, изможденное тело.

— С весною и ты, царь-батюшка, оздоровеешь, гляди, — ласково улыбаясь, сказала больному Арина, входя в середине марта в опочивальню царя поглядеть, не надо ли чего старику.

Добрая, отзывчивая женщина искренно жалела свекра, о котором порою забывали и самые приближенные люди.

Сейчас, сияющая, свежая, как дитя весны, как луч солнечный, появилась она в опочивальне и своими темными, лучистыми глазами стала вглядываться в лицо больного.

Смуглая, тонкая, хотя и меньше, чем брат Борис, выдавала лицом Арина свое восточное происхождение, все-таки видно, что не русского корня она. А голос — пленительный, бархатный, говор с легким нерусским носовым оттенком — душу ласкали они всем, больному же старику в особенности...

Порою запевала негромко сноха песни печальные, протяжные... И отрадные, светлые слезы катились по его дряблым щекам, туманя воспаленные, вечно бегающие, подозрительно и злобно выглядывающие глаза...

Призраки и тени по ночам носились перед этими

глазами... И тогда, окончательно лишаясь рассудка, он метался в покое и кричал, сам молил:

— Орину, скорее... Пусть молит Господа... Пусть голос подаст... споет мне.. Разгонит духов злых...

И он сам шел к снохе, или она являлась к нему... Говором, голосом, песенкой, прикосновением нежной, прохладной руки отгоняла тьму безумия, то и дело налетающую на этот мощный когда-то дух.

И вот сейчас, в полуденную пору, когда ушли все в трапезную, явилась Арина проведать, не забыт ли совсем больной.

Отекший, огромный, как колода, он уже несколько дней и двигаться не мог, не вставал с ложа.

Увидя Арину, ослабил Иван свой рот, теперь почти лишенный зубов, несмотря на то, что только 53 года ему.

— Оринушка, касатка... Солнышко... Правда моя... Авось оздоровлю... Сам чую: силы прибывают. Хошь свадьбу играть... Што же? Хвор я, да не мертвец вовсе... И не престарок... вона бояре мои, Сицкой да Куракин.. Обоим за седьмой десяток. А бабы их пузаты. Не от полюбовников, бают... Мне же и на два десятка поменей старцев тех... Хе-хе...

— Пошто же, осударь, царицу-осударыню не зовешь к себе? — отозвалась Арина, оправляя ложе больному, приводя в порядок сбившиеся покровы.

— Нейдет, сука... Получше нашла, гляди... Да ей ошшо лекаря подлые нашептали, што от меня занедужить может. Клеплют все. Жили же... и Митю от меня прижила, — не сталося с ней худо... Ошшо мне бает: «Самому, муженек, не след тебе к бабам ластиться...» Сам я не знаю, што ли, след али не след? Подлая...

И, ухватя за руку Арину, он вдруг умильно зашептал:

— Оринушка, пожалей старика... Хошь девку свою, которую ни на есть, приведи... Поубрала бы у меня... Ишь, не ладно как... Сорно... пыльно... А?

И, не ожидая ответа, которого не умела даже дать стыдливая женщина, он вдруг взял ее и за другую руку и с неожиданной силой, полуприподнявшись на ложе, зашептал, прижимаясь головой к пышной груди царевны:

— Слышь, дозволю сама... Поцелую... Сюда вот... Грудку твою лебяжью... белую... Только... Оздоровлю...

Чую, што здоров стану от тово... Меня ли не пожалеешь... Не рвися... Стой... Не пушу... Никого там... И не ори... Не услышат... Не пушу...

И всей силой стал он тянуть к себе напуганную, дрожащую Арину, которая отбивалась, как могла, и громко звала на помощь.

Ослабевать уже стала женщина, когда на пороге появился врач царя. Услышав крики, прибежал из дальнего покоя, где отдыхал после бессонной ночи, и этим спас Арину. С проклятием выпустил руки царевны Иван и, проклиная, кощунствуя, с пеной на губах, повалился на ложе. А женщина, закрывая руками лицо и грудь, на которой сарафан был разорван стариком, стрелой пронеслась мимо пораженного немчина...

Ночи особенно царю тяжелы... Все голоса какие-то... Храм ему видится темный... Читают имена всех, им внесенных в Синодик, и полон храм этими самыми людьми, по ком панихиды поют... Царевич старший впереди... А за ним — все Филиппы, Филиппы, Филиппы... Большие и малые, мужья и жены... Разные... Только лица у всех — такие точно, как у Филиппа было, когда его из собора гнали с позором: кроткое, незлобивое... Да и не Филиппа это лик, а Другого... Того... Распятого за людей... И Иоанн начинает понимать, что он тоже Его распинал... Распинал в лице всех этих призраков, которые были живыми людьми когда-то...

Облитый холодным потом, с диким воплем просыпается Иоанн. А наяву — все то же. Опочивальня его полна призраками, и чей-то голос читает Синодик бесконечный... И кровь леденеет в жилах...

И только, когда часы боевые прозвонят рассветный час, — дрогнут тени, побледнеют и скроются... Ненадолго, до завтра... До первой темноты ночной... Умереть легче, чем эти ночи переживать... А днем? Днем совсем иное... Люди, шуты... Попугаи... Послы приходят... Бояре, дьяки... Не все помимо царя делается... И днем вспоминает Иоанн то доброе, что сделать успел для Руси.

Учить стал народ, людей простых и бояр надменных... В уме вспоминает Иоанн: какую принял Русь, какую оставляет ее... И радуется, и спокоен! Днем — ум работает... Ночью — совесть говорит. Не уснула в царе эта гостья докучная.

Медленно, но неудержимо идет разрушение... И ле-

карей, и колдунов, и ведуный призывал к себе Иоанн... Ниоткуда нет помощи. По монастырям послал умирающий царь просьбу самую смиренную: пусть молят Бога о помощи, о чуде! Молятся попы и монахи... Усиленно моления шлют... Народ? Он как-то затих, напуган. И не ждет ничего доброго... И желать боится... Но попы усиленно молятся.

И правда, легче стало Иоанну...

18 марта 1584 года проснулся он, словно совсемправляться готов. Грудь не давит. Спал всю ночь покойно... Видел Настю и Митю во сне... Своего первенца-царевича... Свою первую жену, первую и последнюю любовь. Все же другие? Ну, известно, чем были они... Спустились с небес будто оба к нему. Митя по лбу ручонкой водит... Свежесть, прохлада в самую душу проникла от этой нежной, легкой ласки, от мягкой детской руки, пальчики которой, как лепестки розы, легли на пылающий лоб Иоанна...

А Настя шепчет... Тихо, кротко шепчет:

— Соскучилась. Позабыл ты, видно, о нас, государь... Грех... Ждем... Побывай на досуге...

И скрылись тут же. Не хотели дольше побыть...

— Знаешь, Якобус, добрый сон мне снился нынче, — говорит врачу-англичанину государь...

— То-то, говорили мне, что спали вы спокойно, ваше величество, нынче всю ночь! — с довольной миной, кивая головой, отозвался тот.

Щупает пульс, глядит язык больного...

Встал Иоанн... Легко, хорошо ему... День весенний за окном. Должно быть, прохладно, свежо, но не очень. Вон на солнце какие лужицы от снегу...

— А не сыграть ли нам в шашки с тобой, Якобус? Давно не побивал я тебя...

— Сыграем, государь... Рад служить...

Принесли дорогую тафельницу... Сели играть... Вдруг дернулось судорогой, потемнело лицо Иоанна.

— Скорей, за царицей... За попами! — крикнул только Якобус...

И стал около больного хлопотать, бормоча:

— Так и знал... Не нынче завтра следовало ждать...

Над полумертвым царем совершили обряд пострижения, как он давно приказывал, а к вечеру — не стало инока Ионы, в миру — Иоанна IV, Грозного. Свободно вздохнула земля. Свободно



вздохнули бояре, войско... Все. И только спрашивали друг друга:

— Как вынесли мы? Как раньше не сдогадались?

Не умели понять, что их же взаимная свара и рознь делали могучим и страшным этого тирана, который при жизни получил имя Грозного и на Руси, и за рубежами ее... Кровавой, пылающей кометой много лет горело на горизонте имя Ивана. Теперь закатилось это светило, такое тусклое, утопающее в ореоле кровавом под конец...

Воцарился Борис Годунов, именем свояка-царя принявший власть и землю в свои руки...

Ярко заблестела звезда этого умного счастливца-боярина. Светлее заблистали и многие другие звезды на беспредельном горизонте русской государственной жизни.

Но день еще не загорался! Не взошло над многострадальной русской землею ясное солнце свободной и разумной жизни, правды и права общеземского!

# НАСЛЕДИЕ ГРОЗНОГО

ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ПОВЕСТЬ  
ИЗ ЭПОХИ  
САМОЗВАНЩИНЫ





# Часть I

## ДИМИТРИЙ-СИРОТА

### I. ГОРОСКОП

Глубокая осень стоит. Октябрь на дворе. Печальная пора для всех. А печальнее всего теперь — во дворце царей московских, в палатах и жилых горницах царя Ивана Грозного, как его прозвали потомки, мучителя, тирана, как звали современники на Руси и за пределами ее.

Печально тянутся дни и в теремах дворцовых, на половине молодой царицы, Марии Федоровны, из семьи Нагих, — хотя именно теперь и есть причина веселиться и ликовать ей самой и всему роду ее.

Больше двух лет тому назад обвенчался Иван с молодой царицей. И не давал им Бог детей, не благословил этого брака.

Тоска овладела царицей. Плохие вести стали доходить к ней.

По старым обычаям, — царь может свободно расторгнуть брак, если нет у царицы потомства. А Иван даже и переговоры завел с Елисаветой, королевой Англии, просит у нее в супружество племянницу, тоже Марию, Гастингс родом.

Посол Ивана, дворянин Федор Писемский, еще в августе 1582 года отправился ради этого сватовства и иных дел в Англию. В ноябре он представился в Виндзоре Елисавете, а в половине декабря, на втором приеме, повел речь и о сватовстве.

Но на счастье русской Марии, ее далекая тезка заболела, в оспе слегла, по словам самой Елисаветы, и послу не могли показать принцессы.

Да еще вопрос ему задали:

— А правда ли говорили наши купцы, только что прибывшие из Архангельска, что у вашей царицы Марии — сын родился?

Знал, не знал ли об этом Писемский, — но он решительно отрицал такое событие, причем пояснил:

— Государь Иван Васильевич по многим государственным посылал, чтобы невесту приискать. Да не случилось. И взял за себя государь в своем государстве простую боярскую дочь, не по себе. А ежели случится доброму делу быть, так государь наш, свою царицу оставя, — сговорит за королевскую племянницу.

Но только месяца четыре спустя показали ему издали в саду Марию Гастингс.

Между тем купцы-англичане сказали правду.

В печальное осеннее утро, когда только занимался мутный день, когда потоки размывали колеи на остывшей земле, а порывистый ветер колыхал и трепал деревья дворцовых садов, — 19 октября, на рассвете, — родился у царицы давно желанный и жданный ребенок, мальчик. По имени святого, память которого празднуется в тот день, Уаром назвали царевича и дали потом, на молитве, второе, родовое царское имя: Димитрия, удельного князя Углицкого.

Сам царь-отец заботами угнетен, враги зарубежные его стеснили. Едва с Баторием помирился на очень тяжелых и унижительных условиях, а тут шведы насели...

Сына старшего, женатого царевича Ивана, — совсем недавно убил он своею рукой в припадке безумного гнева, какие еще находят порой на больного царя.

Дома — тоже непокойно, внутри царства башкиры, черемисы бунтуют, ближние бояре не оставляют «крамолы», куют заговоры... Турки грозят, татары напасть готовятся... Царевич Федор, наследник, — такой неудачный, что Иван даже переговоры завел, нельзя ли принца Эрнста Габсбурга посадить на трон Московский.

Телом ослабел Иван... Болезнь, давно пожирающая его внутри, теперь готова наружу прорваться...

Духом совсем упал он, утомился. Руки опустились.

А тут — сына судьба послала царю, как бы в утешение, — крепкого, здорового!

Правда, не на него, больше на мать похож малютка. Но такой плотный, крупный. Крикун неугомонный. И звонкий голос ребенка готов, кажется, вспугнуть чер-

ную, огромную птицу тоски и заботы, отчаянья и страха, которая опустилась на кровлю царского дворца, осенила свинцовыми крыльями сады и дворы кремлевские... всю землю русскую, от края до края...

Почти разучился смеяться царь Иван за последние годы. Даже любимые шуты, уродцы и карлики не тешат его.

Только детский лепет и смех быстро растущего крепыша-царевича, его ясная улыбка, от которой двумя огоньками загораются темные, бойкие глазки, — только они и могут еще порою вызвать улыбку на хмуром лице царя.

Берет он мальчика, пытливно вглядывается в смуглое личико, словно хочет что-то прочесть там, узнать о чем-то затаенном...

О чем? Кто знает!..

Роберт Якоби, доктор, присланный царю Ивану королевой Елисаветой, оказался не только врачом, но и астрологом. В самую ночь перед появлением на свет Димитрия он улучил час, когда порывы ветра очистили немного небо, записал положение звезд и планет и, на основании этих наблюдений, составил гороскоп новорожденного царевича.

Когда Якоби явился для обычного утреннего осмотра к царю, первым вопросом Ивана было:

— А что, звездочет, готово ли твое начертание звездное для царевича моего?

— Царевича?.. — смущенный, даже как будто опечаленный, ответил доктор. — Неудача, как назло, приключилась, государь. Сам знаешь, какая непогода и сейчас бушует. А ночью — руки своей не увидел бы никто в темноте, не то что светил небесных. Не вышло ничего, государь.

Слушает нахмурясь Иван.

За сорок лет своего правления, принимая всяких послов иноземных, а больше всего — немецких и английских, подучился он чужой речи, почти все понимает, только сам не умеет говорить.

Не успел Богдан Бельский, служащий переводчиком, заговорить, как Иван, хмурясь, возразил:

— Ничего не вышло, говорит? Лжет! Скажи: уж мне доложено... знаю я от Ягана, которого он для помощи брал... Там больно нерадостные знамения обозначились. Что поделалаешь, воля Божия. Скажи: меня уж трудно

чем поранить. Все тело, душа вся в язвах... Места живого нету... Так пусть говорит. Доброе не знать — тяжело, чем дурное услышать. Знать все хочу! Скажи.

— Ну, коли так, — я повинуюсь! — с поклоном произнес осторожный прорицатель, добыл из кармана небольшой сверток, развернул его перед царем и стал говорить, водя по чертежу бородкой гусиного пера, взятого с чернильницы, стоящей тут же: — Вот Арес, иначе Марс называемый. Кровавая планета — выше всех поднялась. Много крови вокруг ребенка вижу... И сам он целые моря крови прольет... Красное блистание Ареса превосходило всех. Кровавое дитя родилось, как думать я могу. Тут Геракл и Венус в треугольном сочетании с первой звездой. Войнами прославится дитя больше всего и от любви много приключений узнает, но печальный конец их ждет. Вот Сатурн сторожит на одной линии с этими двумя — и тем всякую добрую надежду отымает. Два раза переkreщается линия Хроноса с Альдебараном и Альфой Овна. Будет дважды на троне сидеть царевич, дважды достигнет высоты, дважды родится... Дважды умрет...

Иван сначала слушал предсказателя с легкой улыбкой недоверия, но при последних словах слегка вздрогнул и насторожился.

Суеверный, как все люди его времени, Иван часто замечал, как люди надувают других, пользуясь такою слабостью, и это делало его очень недоверчивым.

Что бы ни делали и ни говорили ему, он прежде всего старался понять: с какой целью говорится это? Чего ожидают от него, какими расчетами вызваны известные действия?

В настоящем случае, как понимал царь, Якоби хотел блеснуть своими познаниями, побольше почета, внимания и денег надеялся заслужить.

Неожиданно — пришлось говорить не то, что ласкает слух покровителя. Средство угождения, каким является счастливый гороскоп, — могло обратиться в источник разлада с ним, с Иваном.

И все-таки — пришлось сказать то, что шептали звезды.

Но почему именно такие странные вещи предсказывает «немчин»? Не мог же он читать в душе Ивана...

А между тем, только зная планы царя, можно было заговорить о двойной смерти... о двойной жизни ребенка...

Именно двойственную жизнь задумал Иван создать для Димитрия. И никому еще не говорил об этом. Пора не настала. Откуда же проведаль иноземец?

Или в самом деле далекие, тихо мерцающие светила, звезды небесные — связаны таинственной нитью с жизненными путями, с судьбой жалких созданий, живущих на этой темной земле?

Задумался об этом царь и уже почти не слушает прицателя.

Да тому немного и договаривать осталось. Обычные для всех царственных гороскопов предсказания сообщает Якоби:

— Принцессу очень могущественную в супруги получит царевич. Много союзов важных заключит. И завоюет большое царство. А под конец жизни — сам против себя войною пойдет... Вот эта линия — снова прямо к Аресу возвращается. И очень юным от меча падет царевич.

— На свое царство — войною? Падет от меча? — снова, вслушиваясь в речь Якоби, переспросил Иоанн. — Постарался, начертил, вещун долговолосый... Спасибо молвить бы, да не за что! Все ли? Может, еще что нашел? Дальше чем порадуешь?

— В пустоте обрывается последняя линия. Некуда перекинуть ее... Не оставит потомства дитя по себе...

— Пресечется род, значит? Э-эх, стоило бы твой бусурманский корень вывести за карканье, козел длиннобородый... Да сам я выложить правду дочиста приказал... не твоя вина, что и светила небесные против нас и рода нашего ополчаются... А и то сказать: от слова — не сбудется. Ты черти свои чертежи, лай что хочешь. А мы себя и наследье наше — предаем воле Божией. Вражье лепко, — что говорить, — да Божье крепко!

И, вставая, Иван осенил себя сугубым крестным знаменем.

Якоби, видя, что прием окончен, с низкими поклонами удалился.



## II. У ЦАРИЦЫ

Несколько месяцев прошло с этого утра.

Крепнет малютка и веселит отца.

То было совсем почти не заглядывал Иван к царице, а теперь и на дню раза по два заходит он к ней, навещает опочивальню, отведенную для царевича, всегда окруженного целым женским штатом.

Здесь и мамушка-боярыня Василиса Волохова, пожилая, дородная, чванная такая.

Ребенка держит на руках кормилица, Арина, Жданова по отцу, жена боярина Тучкова, — некрасивая, но молодая, здоровая, кровь с молоком, женщина тихая, добрая. Скучает только: своего сына пришлось на чужие руки сдать ради чести царевича выкормить.

Берет на руки малютку царь и все всматривается в смуглое, живое, круглое личико. Уж не ищет ли на нем признаков, отметок роковых, говорящих о том же, о чем сказали звезды? Или иное что хочет узнать государь?

А ребенок тянется ручонками к отцовской бороде, к поределым, но длинным еще усам, теребит их, смеется, лепечет что-то...

И прежней, забытой, ласковой улыбкой озаряется угрюмое лицо Ивана. Так осенью сквозь тяжкие тучи прорывается порою закатный солнечный луч и озаряет рдеющим отблеском темные, влажные от непогоды кресты на печальном кладбище...

Приласкав ребенка, — прошел с царицей Иван в ее повалушу.

Жарко, душно здесь.

Молода, красива собою царица, но уж чересчур ленива. Полнота ли тому причиной, или от природы она такова, — а не любит передвигаться, шагу лишнего не ступит без особой нужды.

Впрочем, это общий недостаток знатных женщин ее времени. За полноту, за дородность ценят мужья их больше всего. А чем меньше двигаться, чем чаще и больше есть, тем тело скорее нагуливается.

Уселся Иван, выслал прислужниц, жене сесть поближе приказал.

— Что, Марьюшка, словно невесела ты нынче? — спрашивает он ее. — Гляди, так потончаешь... Ха-ха...

— А с чево и веселой быть, государь? Кажись, только и мысли и думы моей: тебе бы угодить, свет-батюшка. Вот и господь молитвы услышал мои грешные: какого царевича нам послал, на многие лета ему, нам на утешение! А ты, государь мой, все о том мыслишь: избыться бы меня... Вон, слышно, все за бусурманку сероглазую сватаешься. Меня и вон погонишь!.. Бедная я, горемычная... Куды с младенчиком денуся, где приклоню голову, сирота бесталанная, вдовица убогая?..

— От мужа от живого?.. Полно, буде. Уж запричитала, захныкала. Не стану и ходить к тебе, коли ты так... Молчи! Вот... и ладно... Оботри слезы-то. Улыбнися лучше. Знаешь меня: не сношу я реву бабьего. Тошно мне от плачу, от писку вашего! Не думаю я гнать тебя. Толкуем мы с Лизаветой с королевной. Да на то — особливые причины есть. Не твоего тут разума дело. Государское строительство вершится. Сказать — много можно. Пускай думает, что уж так я к ней душой тянуся. А она на ответ многое сделает, что мне надобно. Поняла? Что глядишь! Ничего не поняла. Э! да все равно. В Думу тебя не посажу. И здесь, в повалуше, хороша живешь. А вот об ином деле потолковать с тобою надо, которое ближе к тебе, чем та принцесса... О сыне сказать хочу...

— Слушаю, государь... ох, слушаю... Да только ты, гляди, чего страшного не скажи. Я и обомру начисто. Уж коли у тебя брови хмурятся... да вот так подмаргивать ты зачнешь, наперед знаю: либо гневаешься, либо что особливое сказать хочешь. Сон я ноне плохой ви...

— Ну, буде! Сны еще станешь мне тут... на бобах не разложишь ли? Говорю: дело важное. Знаешь ты небось, как недруги, свои предатели-крамольники злобою пышут... только и думают извести бы им меня, государя, и весь род наш...

— Ох, ведаю, государь, ведаю... Сама я сбиралась сказать тебе: боярыня Пра...

— Стой! Слушай, что скажу... да помалкивай хоть малость. Ну и язык у тебя, Марья! Толстый такой, а как ворочается. В нем у тебя вся прыть и сидит, как я вижу... Цыц! Слушай... Чай, знаешь, какое прорицание звездное начертил Робертус-лекарь Димитрию нашему?

— Тьфу, тьфу, тьфу! Чур меня, чур! Наше место свято! На его бы голову, бусурмана окаянного! Беду накликает, нечистая сила! И тебя, государь, с пути сбивает!

— Ну, еще чего придумаешь! Ты слушай! Слыхала, поди, был уж у меня первенец, Митя тоже... от покойницы, от Настасьи... Помяни, Господи, душу рабы Твоея!..

— О-ох, знаю... И то мне уж боязно, что имя-то такое неудачливое моему сыночку дадено... Тот Димитрей чуть и годочку не пожил... помер...

— Помер? — вдруг бледнея и сжимая зубы, как будто от ощущения внезапной боли, проговорил Иван. — Не помер! Загубили... отравили... со свету сжили, окаянные... В те поры — брата, Володимира, в цари на мое место ладили. Так не хотели и корня моего оставить... Окаянные!..

— Господи! Неужто ж на младенчика, на душу ангельскую, рука у людей поднялася!

— Поднялася! Почитай, у меня да у Насти на очах все и свершили... Чужой я уж беду. С покойницей мы сговаривались: как приеду на Москву — укроем подале царевича. Чтоб никто не прознал, — себе иное дитя, чужого возьмем... А как окрепнет наш — привезу его да покажу недругам: вот, мол, ваш государь будущий... Чужого если бы извести им удалось — так не жалко! Ха-ха-ха!.. Все было надумано... Да упредили вороги, в пути младенца извели. Ваню удалось поднять мне... так напустили на меня же порчу... своей рукой его...

Он не договорил, закрыл лицо и долго оставался так без движения.

Сидела и царица не шевелясь, напуганная, бледная.

### III. ЛУЧИ ЗАКАТА

Когда, наконец, царь, тяжело дыша, открыл лицо, покрытое крупными каплями пота, и стал отирать его, Марья спросила робко:

— А как же... Федя? Вот, не причинилось же ему ничего... Живет царевич, дал Бог милости...

— Этот-то? Что он им! И живет — как не живет. Кто захочет, тот и будет царем при Феде... Разве это

мой отрод?! Так, Божие наказание... за все окаянства за мои... Молчи, говорю... Не поминай мне лучше. Слушай, ты, — смиловался Господь. Дал нам дитя здоровое, смышленное. Видна уж вся складка у малого. Скоро весна придет. От солнца, от воздуху вольного он и краше расцветет, поди, чем ныне...

— Ох, расцветет мой цветик, даст Господь, расцветет мой аленький... Ангелы Бо...

— Ну вот... и надумал я... — Иван сразу понизил голос. — Не дадут наши вороги и этому жить, как Мите первому не дали... Я молчу уж, а вижу все... Куют ковы бояре неугомонные... Пуще всего — Шуйские... да Сицкие, да Шереметевы, да все присные с ими!.. И удумал я теперь так наладить, как в давние годы надумано было. Возьмем где-либо схожего младенчика... За своего выставим. А родного, Митю, — укрою до времени, пока вырастет. Изведут если вороги наши чужого, так не жаль. А там, сам буду жив, — выведу царевича, посмеюсь над лиходеями. А помру без времени — и того лучше, ежели укроем мы до поры сыночка... Разумеешь, Марьюшка?..

— Разумею, как не разумею, государь! Дура я, да уж не такая, чтобы про дите свое ничего не понять. Разумом не смогу — сердце матери вещун. Оно скажет. Отнять у меня сына надумал, государь... убрать его, куды — неведомо?! Самому бы вольнее было на Машке на Гастинковой ожениться! Так, ежели при царевиче, — и отец митрополит с отцами святыми, и бояре, гляди, скажут: «Негоже жену, ни в чем не повинную, вон гнать!» А не станет царевича — на что и я нужна? Уразумела, государь...

Стоит, даже словно выше ростом стала царица, последний поясной поклон отдала, выпрямилась — и застыла так: горящих глаз не сводит с мужа.

С досадой поднялся и царь, сердито посохом стукнул. Так и впилась сталь острия в половицы...

Тот самый посох в руках Ивана, которым он Ивану-царевичу нанес смертельную рану около году тому назад.

— Слушай! — начал было Иван.

Но, взглянув в лицо Марье, он прочел в нем такую решимость, такое ограниченное, но неодолимое упорство, какое можно встретить только в душе у женщины, живущей больше инстинктом, чем

сознанием, — убить можно такую женщину, но не переубедить.

Опостылела кровь и убийства самому Ивану.

С досадой махнул он рукой и вышел, ни слова больше не сказав царице.

А Марья Федоровна с места, с необычной живостью и быстротой направилась к Димитрию, взяла его из рук у кормилицы, стала целовать, прижимать к груди и шепотом запричитала:

— Не отдам я тебя, ненаглядного моего, никуда, никому на свете... Ото всякого зла и напасти оберегу... Миленький, солнышко ты мое, дитяtko мое роженое! Ото всех бед укрою... Жизнь на то положу...

Подойдя к иконам, упала на колени и, подымая ребенка к лику Богоматери, зашептала:

— Охрани Ты его и меня, Пречистая Матерь Бога Нашего, за всех перед Богом Заступница!..

Но не удалось царице осуществить своего решения, не помогли ей ни молитвы, ни обеты, которые она твердила перед ликами святых день и ночь.

Попытался было Иван с другой стороны повлиять на царицу. Брату ее, Михайле, самому рассудительному из всей родни Нагих, он открыл свои замыслы, просил потолковать с упрямою сестрою.

— Не бывать тому! — ответила царица Марья. И повторила все то же, что говорила мужу.

— Дура ты, хоть и царицей стала, — отрезал ей раздраженный Нагой. — Ты о том бы хотя помыслила...

— Хоть дура, да умнее тебя! Обо всем я помыслила...

— Досказать дай! Твое царское величество о том бы подумала: сын, хоть и другой, — останется при тебе. Никто знать не будет, что не Митя это твой... И отец митрополит, и иные, кого поминаешь ты, — не скажут же, что бездетна ты, коли царское дитя при тебе! Ну, уразумела?..

— А-ах, чем порадовал! А ты не знаешь, каков у нас государь? Не слыхал? Глазами не видал своими? Я уж додумалась... Он не то станет ждать: не изведут ли бояре младенчика, — сам повелит своему лекарю, бурсурманину какому-либо... Живо уберут чужое дите. Вот я и ни при чем... И вон меня...

— Господи, хитра как ты стала! Да коли бы так, он и теперь может...

— Что? Младенца убить? Своего — пожалеет. И греха великого побоится. Буде с него, что одного сына забил... Как поминает его, трясется весь, ровно Иуда, пес старый... А чужого не пожалеет... Свой пусть где-нибудь растет! И от меня руки его будут развязаны... Выходит, ты — глупей меня, дуры, братец родимый... Каково дело-то!

Пришлось и Нагому зубы сжать, чтобы не разразиться бранью, и уйти без всяких результатов.

— Не хочет? Ну и Бог с ней... Материнское сердце, оно и то сказать, — добродушно заметил Иван, выслушав доклад Нагого. — Пусть по ее будет!

Не понравилось это добродушие, такая уступчивость Нагому, который успел понять Ивана; он знал, что новый, более сильный ход придумал царь для выполнения своей воли. И захотелось вызнать Нагому: в чем дело.

— Твое дело, государь, — вкрадчиво заговорил он, — а моя такая дума: коли решил супруг и государь, — как же она смеет поперек что молвить?! Приказать бы изволил... Мне скажи... Я вырву у ей...

— Это чтобы крику не то что на всю Москву — на полземли слышно было? Нет, прискучили мне все крики да причитанья. Покоя я хочу, Михайлушка... Стар стал... ослаб, сам видишь. Баба, жена богоданная, — и та меня не слушает... А прежде бывало... Э, Бог с ней! Так, видно, надо... Иди с Богом, Михайлушка. За службу спасибо. Не забуду и я тебя... Ступай себе.

Так еще несколько недель прошло.

Опасение за царевича, желание укрыть его — стали теперь почти единственными чувствами и стремлениями царя.

— Эх, Малюты нет у меня; вот уж сердечный был раб! Вернее пса, кремня надежнее. Он бы живо уладил все!

Так думал нередко Иван.

Больше десяти лет тому назад, в 1572 году при осаде эстонской крепости Витгенштейна был убит этот самый лютый из опричников царских. Теперь его заметил более знатный родом человек, князь Богдан Бельский.

К нему и решил обратиться Иван. Бельский же и отец крестный Димитрия.

Князь Бельский с дьяком Андреем Щелкаловым явились для обычного доклада царю.

Обсудив все дела, Иван, сделав надлежащие распоряжения, не выпустил их, как бывало обычно.

— Пождите оба, — пригласил он их, — хочу еще одно дело обсудить теперь...

— Хорошо надумал, государь, — первым отозвался Богдан, выслушав планы его, — и самому мне думалось... Да не одних Шуйских. Иные тоже есть... Вот хоть Годуновых, к примеру, взять...

— Что? Кого ж бы это? Не Федорыча ль? Он в роду умнее всех.

— Хотя бы Федорыча, государь. Самому тебе ведомо: царевич наш, свет Федор Иванович, не то — верит своему пестуну, — глядит его очами, ест из его рук! Скорее Слову Божию не поверит, в Святом писании усумнится, чем в шурыке в своем любезном. Может, тебе, государь, оно и по сердцу... А мне сдается все да кажется...

— Крестное знамение сотвори, Богдаша. Вот оно и казаться не будет. Ничего пускай не кажется. Первое дело, — зелен и Федорыч твой, и весь род его... Наполовину и доселе татаре они. Еще, поди, кумысом да кониной от их пахнет. Так мне ли, урожденному деду и отчину всех земель и царств моих, — страшиться мурзы полукрещеного? Чай, все помнят, каков их род, сами они откудова? Верю, он бы, может, и душою рад... Да не было того и не бывать вечно, чтобы на Руси татарское семя землей владеть стало... К себе приближаем мы восточных царей и царевичей... Мало того, дед, отец мой и я сам, из Москвы куда выходя, — сдавали царство им на время. Татарский клин в московскую стройку не затешется. А свой, познатнее, — сядет, да, гляди, уж и слезать с престола не захочет потом... Сажал я и сам князя Черкасского и друга своего Семена Бекбулатовича — в цари ставил... и прочь выставил, как пора пришла... Нет, Годунова мне и роду моему бояться нечего... И то я знаю: ни единого слова, ни малого шагу он без воли моей, без приказа не ступал и не ступит... Как луны лик от солнца, так и эти вельможи азиатские — от нас, от нашего величия свет и силу берут... От нас

все и теряют. Не бойся Годунова, как я его не боюсь!

— В час добрый... Тебе с горы виднее, государь, чем нам, малым людишкам, холопам твоим. Как же теперь быть? С чего начинать, государь, в деле в твоём? Поведай.

— А вот что надобно... Мальчонку сыскать подходящего... Не трудно, поди. Году Мите нету. В эту пору они, ребята, все один с другим похожи. Моя Марья и не почует ничего!

— Достать можно, государь... И царица не всполошится. А вот с мамкой как? Мамки не обманешь. Да без нее и дела не сладишь, государь...

— Стой! Что на ум мне пришло... Кормилицы Оринки... Тучковой пашенка и взять можно... Совсем пойдет дело...

— Так ли, государь? Чай, будет знать Орина: на какой конец берут ее дитя? В том роде, как бы отвод громовой... Пожалее ли? Потерпит ли сердце материнское?..

— А зачем ей знать про то, чего и мы сами не знаем? Может, так, одне думы у нас черные... А Господь — ведро пошлет... Простит нам грехи... Это — первое. А второе... Ей ты так сказать можешь... Я уж ломал котелок-то свой... Надумал... Скажешь ты Орине: «Думается государю, — мне, значит, — что не соблюла верности царица, как Бог приказал. Того ради не желает, чтобы Димитрий царицын, как плод греха, — свою часть в царстве имел. Лучше хочет твоего сына, дитя честное, — родным назвать, дать ему долю в наследьи своем...» Гляди, поверит баба. Оне свою натуру женскую лучше нас ведают. Так все и сладится... Мол, желает государь все без шуму, чтобы толков про него не было. Понял, Богдаша?

— Все понял, государь... Дивиться лишь надо: откуда што берется у тебя, батюшка ты наш?!

— Эх-эх, брось. Не до похвал теперь... Ну, с тобой речь поведу, Андрей, — обратился Иван к Щелкалову. — Ты слышал? Твоя забота какая будет, не скажешь ли?

— Найти, куда бы укрыть царевича, да чтобы можно было глаз за ним иметь... Да заботу всякую: всего бы у него вдосталь хватало во всяк час. Не иначе что об этом думал приказывать мне, государь.



— Сказал, что печатью пропечатал, Андрюшенька, — совсем довольный похвалил Иван. — Так видите, ладыте поскорее, как порешено тут. В час добрый...

Оба вышли от царя.

— Слышь, Андрей Ивановыч, — обратился в раздумьи Бельский к Щелкалову, — что за новина такая приспела? Двоих сыновей вырастил... При себе! Все было ладно... А ныне?

— А ныне — зима на дворе... Годы к концу подходят. Вот, вот и вспоминает человек поговорочку: дальше положишь, ближе возьмешь... Не боится государь Годуновых... Шуйские ему с присными спать не дают... А мне так...

— Да, да... И я от Годуна беды скорее чаю, чем от двора Шуйского... Но — царевич-то при чем? Больно все не по-обычному... Словно из книги читаешь сказание.

— Ну, зачем из книги? Мало ль и на наших очах такого бывало? Взять хотя бы родич твой, князь Иван Бельский... Как стали его изводить с чадами и домочадцами, он и послал сынка самого меньшого, княжича... Гавриилом, сдается, звали, не помнишь ли?

— Да, да... Гавриилом, — как будто смутясь, ответил Бельский.

— Так! Послал его в Старицу с холопом верным. Там и вырос княжич, да имя другое и прозвище взял, простым делом занялся, сапожным ремеслом... А как овдовел — иноком объявился в Вологде. Целую киновию завел — Духову-то обитель... Совсем подвижником стал... Галактион ноне слывет... Да мало ли таких делов мы видели?

— Правда твоя... Может, и на благо Господь государя на дело на это навел... Будем исполнять волю царскую!

Отдали поклон и разошлись по своим делам оба ближайших пособника Ивановых. Осторожно стали они готовиться к выполнению задуманного царем плана.

Но Ивану не удалось при жизни увидеть свершение этого дела.

Быстро стала развиваться смертельная болезнь, водянка стала душить царя. Сердце так плохо работало,

что не помогали самые сильные снадобья, которыми лечили царя Ивана его доктора-иноземцы. И 18 марта 1584 года, на пятьдесят третьем году жизни, скончался царь Иван Васильевич, государь обширных земель и многих народов, — в конце концов сокрывшись навсегда в узком, глухом склепе, где занял места не больше, чем самый жалкий бедняк во всем подлунном мире...

Не успели еще забыть Иоанна, как предчувствия Бельского сбылись: закипел мятеж по всей Москве... Против него главным образом направила удар рука Годунова, Шуйских и других бояр, их сторонников. Нагих — тоже звала к ответу чернь за мнимое покушение на жизнь юного царя, Федора, на место которого они будто бы решили возвести малютку Димитрия и править его именем.

В Углич, в удельный город, немедленно под стражей увезли царевича Димитрия с матерью-царицей и со всей его родней...

#### IV. В МОНАСТЫРСКОЙ КЕЛЬЕ

Семь лет прошло после смерти царя Ивана. Умирая, он назвал Верховную Думу, пятерых бояр, которым вручил управление царством и опеку над болезненным, почти слабоумным от природы сыном Федором, которому было двадцать семь лет в это время.

Второму царевичу, годовалому Димитрию, обычный удел — Углич с областями — был назначен, как все давно знали.

Первым из «пяти» являлся самый знатный, Гедиминич родом, воевода, князь Иван Мстиславский, осторожный, не злой, но безвольный вельможа. За ним стоял красивый, умный и прямой нравом Никита Романович, Захарьиных роду, родной дядя царский по его матери. Иван Петрович Шуйский, потомок Рюрика, хотя и не главной ветви, прославил себя военными подвигами. Эти трое — составляли показную сторону нового органа власти, Верховной Думы.

Князь Богдан Бельский, любимец покойного царя, Борис Годунов, шурин молодого царя, особенно хорошо знакомый со всем внутренним ходом государственной машины, — дополняли картину, внося в нее деловитость и являясь главной рабочей силой.

Но присутствие Бельского слишком живо напоминало об усопшем грозном господине, которому князь Богдан служил чересчур усердно.

Годунову, хотя он и притворялся лучшим другом князя, — не хотелось делить работы и власти ни с кем... Шуйским давно был ненавистен князь... Они нажали на скрытые пружины...

Вспыхнул народный мятеж. Десятки тысяч москвичей, простых людей и ратников, кинулись в Кремль... Мятежники требовали смерти «изменника Бельского», обвиняя его, как и Нагих накануне, в желании извести Федора и самому воцариться...

Едва успокоили толпу, объявив, что царь налагает опалу на князя.

Первосоветника царского послали воеводой в Нижний Новгород, где он долго тосковал, благодаря Бога, что еще дешево отделался... После этого убрали пушки, стоящие на площадях столицы, скрылись со всех улиц патрули сильные.

А власть в царстве мало-помалу начал забирать в свои руки один Годунов, для чего попытался привлечь на свою сторону обоих влиятельных, хотя и безродных людей, — двух братьев, дьяков думных, Андрея и Василия Щелкаловых. Даже в «названные сыновья» пошел к старшему брату, Андрею.

Ближайшие к царю Ивану люди, они отличались умом и глубокими познаниями во всей русской государственной жизни, которою заправляли немало лет.

Сначала в сторону Романовых тянулись Щелкаловы. Но те оказались скромнее, не так честолюбивы, как Годунов. И последний сумел перетянуть к себе обоих братьев. Так казалось по виду.

Венчался на царство Федор, сначала даже желавший отказаться от трона, — и явился государем по имени. Невенчанным царем на Руси стал Борис Годунов, при помощи сестры овладевший окончательной волей Федора. Вопреки убеждению царя Ивана, потомок мурзы татарского правил Московским царством, как хотел. Умно, удачно правил, по общему показанию.

И так — семь лет прошло.

На богомолье в отпуск проехал дьяк Андрей Щелкалов, отпросясь у царя, вернее, у Годунова, в самую

тихую пору, в июле и до конца августа, когда снова закипает обычная работа в московских двенадцати Приказах, включая сюда Разрядную Палату, Земский, Казанский дворец, Таможенную Избу и Челобитный Разряд.

Стар уж очень дьяк Андрей.

Большой выпуклый лоб изрезан морщинами. Какие-то шишки выдаются и на облыселем черепе, обрамленном реденькими волосами. Полное лицо маловыразительно. На нем только краснеют под нависающими усами еще не совсем поблеклые, полные, красиво очерченные губы да двумя живыми огоньками поблескивают довольно большие, навывкате, глаза; отсутствие бровей и мясистый, сильно рдеющий нос придают странное выражение всему лицу: смесь чего-то бабьего с признаками сильной мысли и упорного желания.

Но при первом взгляде на этого воротилу-приказного, вершителя многих думных, государственных дел, можно без ошибки сказать, что он не рожден быть ни аскетом, ни мучеником за самое правое дело.

Иначе, конечно, не смог бы он много лет оставаться правой рукой царя Ивана, не усидел бы на своем месте при Годунове, который правит теперь, прикрываясь именем Федора Иоанныча.

Побывав в Кирилло-Белозерской обители, посетив еще по пути несколько монастырей, где были приятели у набожного старика, Щелкалов накануне Успеньева дня поспел и в Старицкий Успенский монастырь, с настоятелем которого был связан даже дальним родством.

Сейчас сидят они оба — хозяин и гость — в настоятельской келье и беседуют.

Игумен, отец Варлаам, хотя не носит такого земного, чувственного облика, как гость его, но и на строгого аскета не похож.

Высокого роста, довольно благообразный, со склонностью к дородству, — Варлаам, благодаря сидячей монастырской жизни, выглядит много степеннее: не такой юркий, настороженный. Нет в нем холопских добродетелей, какие давала служба у Ивана-царя, но нет зато и широты, зоркости взгляда и мысли.

Здравый, ясный ум и невозмутимое добродушие созерцателя освещают внутренним огнем его серые глаза.

Вечерняя служба отошла. Свободен теперь Варлаам. Может в беседе душу отвести с приятным, редким гостем.

— Слышишь, чадо, — обратился он прежде всего к своему келейнику, послушнику лет семнадцати, простоватому, бесцветному на вид, — покличь питомца нашего, Митю. Хочу показать сиротинку боярину. Не будет ли милости какой малому? А ты, чадо, просился ноне к родне на часок... Так благословляю тебя... Иди. Погости тамо. Хочешь, так и заночуй. Знаемы мне твои сродники: люди простые да богомольные... Худа тебе не будет. А к празднику наутро и придешь с ними... Ступай со Христом!..

Послушник ушел.

— Ну, теперь свободно. Толкуй, брате: что нового в миру творится? Как русскую землю Господь милует? Были слушки у нас, да разные... Одна надежда: ты очи откроешь. А не ты, так кто больше? Сказывай, брате!

— Эх, много говорить, мало слушать, отец честной! Того не слышно, что при покойном государе творилось. Реками кровь не течет... Да пролилась зато ныне одна струйка малая... и может от нее больше потоку быть, чем от всего Бела-озера.

— Слыхал, знаю... Осмелился-таки... поднял руку! Ужли такую силу забрал? Мнит, что уж скоро и до конца добежит, трона коснется рукою нечистою, татарскою?

— Мыслит... Да вот, слушай...

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — раздался за дверьми детский, звучный, как-то бодро звучащий голос.

— А, вот и сиротка Митя наш... Пусть войдет, послушает. Как мыслишь, брате?

— Пускай, пускай... Ему-то боле всех дела знать надобно. Пригодится, гляди, когда ни есть... Зови, погляжу я... давно не видал...

— Аминь, — громко сказал Варлаам, — входи, Митя. Звал я тебя.

Степенно вошел в келью мальчик лет восьми-деяти по внешнему виду.

Он был высок ростом, но широкоплеч и крепко сложен для своих лет.

Средних размеров, квадратно очерченный лоб вы-

ступал над глазами, которые так и горели из глубоких орбит и поражали каждого своим выражением, каким-то тяжелым, сверкающим взглядом, который замечается у эпилептиков или людей, вдохновленных, охваченных какой-нибудь великой идеей.

Довольно широкий рот с тонкими, хорошо очерченными губами казался меньше оттого, что мальчик был довольно полон и боковые мускулы вокруг рта как-то выдались наружу, вздулись немного, как будто они постоянно находились в сильном напряжении. От этого и губы имели слегка капризный вид, а раздувающиеся ноздри нервного, широкого носа говорили об упрямстве мальчика, об его порывистой натуре.

Темные, почти черные, густые волосы падали назад, открывая довольно большие, мясистые, правильно сложенные уши. Верхняя часть ушной раковины глядела вперед, выдавая музыкальность ребенка. Лицом он был смугл. Редкие, широкие, но крепкие, блестящие зубы при улыбке скрашивали немного дикое выражение лица у мальчика.

Хотя и правильно сложенный, он бросался в глаза одной особенностью, когда стоял прямо перед кем-нибудь: одна рука была у него много короче другой, хотя обе были развиты очень сильно. Да на лице, под правым глазом, у самого носа, — на смуглой коже лица выдавалась розоватая круглая бородавка.

Но и без этой отметины лицо мальчика трудно было забыть каждому, кто видел его хотя бы однажды...

Когда мальчик отбил обычный поклон, Варлаам привлек его ближе к себе и, держа за руку, сказал:

— Добей хорошенько челом боярину Андрею Ивановичу, ближнему думному дьяку царскому. Толковал я боярину, как ты, при своих младых летах, — в грамоте, в письме да в чтании научен. Как Бога чтить, Матерь Его Пречистую и всех святых Божиих, как любишь горячо молитвы творить, что порой, дитя малое, — и про еду, и про сон забываешь... Как послушен и добронравен был и у стариков, где жил ранней, и у меня, с той поры, как Бог велел мне приютить тебя, сироту... Все я сказал... Да уж не стыдись, не рдей, словно свечка зажженная. И про то не скрывай, что порою себя сдерживать не можешь, неоглядчив в спору да в игре приключаешься... Горяч больно, не по доле по

твоей, сиротской, — взглядывая с какой-то загадочной улыбкой на Щелкалова, укорительно произнес Варлаам, грозя мягкой рукой мальчику. — Ты бы свой норов помнил. От худого отвыкал по малости. Тогда и вовсе парень славный станешь. Гляди, иноком посвятишься... Годы пройдут, на мое место, на игуменское попадешь... Из сирот бездомных... Бог — все может, помни, Митя...

Мальчик зарделся больше прежнего, как будто старик нечаянно проник в самые сокровенные его мысли. В то время — не было другого исхода для честолюбия у самого умного и чистого сердцем сына народа, как монастырь и клобук игумена.

— Я... я не стану более, отче святой... Игры брошу... не стану обижать никого... Ну их. Они сами виноваты. А меня во грех вводят. Неотесы, непонятливые... А я с ними и водиться-то не буду. Позовут играть, а я не пойду, на молитву стану... И скуки не будет... и без греха.

— Так, так... Рассудил какво? И живо! Кабы всю жизнь ты так... Ну, что Бог даст... Слушай, Митя: ежели впрямь свое сердце горячее смирить, гордыню обуздать... Так не то игуменом, в монастырке, в обители какой невеликой... Слыхал, поди, отцы-владыки, митрополиты всея Руси — из нашей же братии, из иноков смиренных бывают, кого изыщет Господь... Только много труда и муки надо ранней принять, чтобы благодать земную пролил Он на помазанника Своего... Терпение, послушание... Слова никогда не молвить лишнего. Для себя жить перестать, об людях, о братьях своих думать и молиться... Несчастных — жалеть... Сильным — претить зло делать, слабым чтобы не обижати. На таком пути, ранней, чем митры святительской, и терниев мученических достать можно... Как Бог пошлет... А и от владычного трона вселенского та узкая тропочка вовсе мимо, близенько идет...

## У. ЗЛОЕ ДЕЛО

На мальчика так повлияла картина, неожиданно развернутая перед ним умным иноком, что он совсем онемел, застыл в напряженном созерцании, будто уж видел перед собою все будущее; но не венец мучени-

ка, — а золотые палаты митрополитов московских и их сверкающее алмазами и жемчугом одеяние.

— Гляди, боярин, сиротка-то наш: ровно галчонок, даже рот приоткрыл, как кус увидел покрупнее... Закрой рот-то, чадо! — с ласковой насмешкой коснулся Варлаам розовейших губ мальчика.

Тот совсем смутился, тихо отошел к окну.

— Ну, Бог с тобой. Показал я тебя боярину. А теперь как думаешь? На волю пойдешь али послушаешь, что боярин про Москву да про иные дела токовать станет?

— Послушаю, отче... Благослови уж...

— Ладно. Только... гляди! — тон Варлаама сразу изменился. Он заговорил торжественно, властно, как пастырь, господин над детьми своими: — Гляди, может, то услышишь, чего другим знать не надобно. Что и мне, и боярину доброму горе может принести, коли пронесешь единое лишнее слово... Так помни: слышал и умерло. Ты уж понимать можешь, девятый годок тебе... Слыхал, Митя?

— Слыхал... Господь меня побей...

— Стой. Али забыл: не призывай имени Господня всуе, не клянися без нужды. Сказал слово, — чтобы оно тебе тверже стали было! Сказал «нет», — чтобы уж иначе не случилось... Это тоже помни, если неохота тебе рабом остаться, ежели господином людей и душ быть тебе манится... Ну, сиди, слушай... Да после и забудь, что слышать тут привелось. Говори, боярин. Знаю мальчика: умрет с ним...

Щелкалову даже не требовалось этого подтверждения со стороны монаха. Он все время не сводил глаз с мальчика и убедился, что с ним можно говорить как с равным. Только опыта не хватает, а от природы — богато одарен «сирота»...

И, погладив седую редковатую бородавку, Щелкалов заговорил:

— Так, так... По-старому все идет, катится, словно воз с горы. Никто не тянет, да и помехи ему нет прежней. Вот и ладно оно кажется. Государь наш благоверный, видать, и сам в митрополиты али в патриархи возжелал, как теперь на Руси учреждается, все по воле нашего преславного правителя... Раненько подымается государь, чуть не до свету. Тут — молитва. Отец духовный со крестом приходит. Икону выносят,



какого святого чтут в сей день... Водой святою совершают кропление царя и покоев его. Там к царице идет царь со здорованьем и вместе к заутрени шествуют. Часу в шестом утра — служба кончается. Бояре ждут государя ближние, кто на поклон явиться может, в покои царские. Тут до девяти время проходит. В девять сызнова к обедне, до одиннадцати. Там трапеза большая, после отдыху, от полудня до часу. Сон после трапезы до трех часов. В баню потом либо куда на реку, поглядеть боев кулачных, медвежьей травли изволит государь. Отдых потом до службы до вечерней. По вечерне — с царицей сидит государь сызнова, в покоях в своих. Песни поют сенные девушки, шуты тут, карлицы забавляют государя, тешат пресветлого. А тамо — и на опочив пора...

— Так без отмены безо всякой изо дня в день? Когда же царь дела свои делает?

— И, чего захотел! А правитель у нас на что же? Его светлая мочь, ближний боярин, великий конюший, наместник царства Казанского и Астраханского... Он все ведает.

Знаешь сам: шести дней по смерти Грозного царя не минуло, сумел он к Шуйским подбиться, дружка нашего, князя Богдана Бельского далече сослал... А там — и Шуйским черед пришел... Всех, почитай, с Москвы сослали. Ивана Петровича в пути изловили, не чаявши, да на Белоозеро, стратига, воеводу преславно-го... А Андрея Иваныча в Каргополь... Да там скоренько и отошли обое. Сказывают, удавить их повелел потихоньку боярин-правитель... Без суда, Бога не бояся, людей не стыдяся... И весь род ихний, Татевых князей, Урусовых, Быкасовых, Колычевых — кого куды послали, по городам, от Астрахани до Вологды. Простых людей казнили много...

Да на что уж князя милого, Ивана Мстиславского, кого и Грозный царь всю жизнь свою щадил, иным не в пример, — и того зачернил перед царем Годунов, сослал, насильно постриг в обители Белозерской, Кирилловской... Головиных, Воротынских — всех развеял... Один стоит у трона, когда послы к царю являются. Бояре и князья — поодаль сидят. Царь — тот безгласен на троне, все яблоко державное да скипетр разглядывает да улыбается... Борис привет принимает и ответ на него послам дает... Да чего... знаешь сам: митропо-

лита — старца Дионисия, столь ученого и праведного мужа, за его заступку перед царем, что о Шуйских жалобился, правителя обличить смел, — и святителя Годунов с престола согнал; его вместе с тезкой твоим, с Варлаамом Крутицким, — по монастырям заточил! Как смели заодно с ним не петь! И дружка своего, Иова Ростовского, потаковщика ведомого, не то в митрополиты — теперь и в патриархи усадил... Задарил патриархию Константинопольскую, — добился чести. Может не то владыкой-митрополитом — патриархом всея Руси по-своему править... А сам и жен не щадит... Княжну Мстиславскую заточил безвинно в обители, малютку Евдокию, дочку Марии Владимировны Старицкой, — умертвил, а мать постричь велел... Да и не перечесть всего... Только шито да крыто свои дела делает... По-воровски, не по-царски, как покойный... Вот и не знают многие, славят правителя за его благочестие, за доброту фарисейскую...

— Господи, Господи! — с сокрушением вздохнул Варлаам. — Слыхали мы тут много. Да все не верилось. А уж коли ты говоришь...

— Зря слова не молвлю, знаешь меня. И на очах у меня все творится. От кого-кого, от нас с братом концов не схоронить... Иные тоже знают многое, да молчат. Нет в царстве сильнее человека, чем правитель. Он с родом своим может в месяц единый сто тысяч ратников на поле выставить... Казной — мало чем царя беднее... Половину доходов земли именем царским себе пожаловал... И задумал он тут свое дело последнее, самое богопротивное!..

— Сказывай, сказывай... Охота знать, как оно там было? И верно ли все, что тут молва доносила в обитель нашу тихую?..

Варлаам даже ближе подвинулся к гостю, и глаза его загорелись огнем любопытства.

Митя-сирота все ловил своим молодым острым слухом, хотя и не двигался с места, как будто застыл, окаменел там.

— Всем давно явно обозначилось, чего желает Бориса душа ненасытная. Мало ему власти царской, отродью татарскому, коего все в рындах давно ли видели, в самом рабском унижении! Теперь и бармы, и шапку Мономахову норовит похитить, как власть над землей в руки взял.

Нужды нет, что писать, читать плохо смыслит, лукавством все взял! Очистил путь перед собою. Между тронem и Борисом — один царь стоял, хилый, слабумый, да отрок во Угличе... Потому, по всякому правилу, Димитрий — наследник трона, коли не дал Бог государю сыновей доселе... Вот и надо было последнюю былинку затоптать... Чиста чтобы дорога стала... А в Угличе государыня вдовая уж и совсем притихла. Ранней от сыновнего имени пыталась было образумить Бориса. Писала, как бы от царевича: уймись-де, кровопийца! А тут, как взял Борис власть непомерную, совсем напугалась государыня, вдовица сирая. Притихла. Видит, на пасынка плоха надежда: обошел его правитель! Недаром все с волхвами да со звездочетами яхшается... Только уж теперь он на Углич походом пошел. Будь не такое дело его высокое, что рядом с царем стоит, — сам, поди, не побрезговал бы, руки в крови неповинной смочил бы. Да не под стать. Пришлось своих на совет звать: как от «углицкой помехи» — как сам называет — им, Годуновым, поизбавиться? Тогда, мол, и в царстве покой настанет. А умрет Федор — смуты не станет никакой... И порешили они на совете своем дьявольском — то, что и совершилось потом... Изo всех — один нашелся Годунов не разбойник: Григорий Васильич, дворецкий царский. Стал другим навстречу говорить: «Что-де, мол, удумали? Царское семя губить! Извести младенца невинного!..» А ему Борис на ответ: «Вот, слышал, поди: строит из снега младенец изображения наши... Твое и других, а меня — выше всех... И сабелькой рубит руки, ноги тем «боярам снеговым», а мне — все по шее норовит... И приговаривает: «Подрасту, так и будет всем Годуновым, когда на царство сяду... А Бориске — первее всех!..» Или того хочешь? Выбирай! А уж если не помощник ты роду, то прочь иди. Да не мешай хотя!» Так и отошел от них Григорий Васильевич... А Борис еще прибавил: «Недели нет, как похвалялся царевич: «Еду сам на Москву, челом стану бить брату-государю, на Годунова пожалуюсь. Погляжу: меня задавить не прикажет ли, как Шуйских князей?!» Коротко сказать, так все поджег, что терпеть нельзя. И стали искать: кто бы на злое дело пошел?

— Нашли, злодеи?

— Как не найти! И служить правителю охота, и на-

град посулил немало за дело диавольское... Да слушай, что дале было... Есть дворянчика два: Загрязский Володька да Ченчугов Никешка. Воистину благодетелем им явился правитель, когда плохо приключилось молодчикам. Любит людей закупать Борис. Вот и призвал он их, поведал, чего ждет. Какой услуги просит... И много наград сулил. Да побоялись греха обое. Не пошли на злое дело. Взял с них клятву Борис, что молчать станут про тайну страшную, — и с глаз прогнал... Уж выручил тут из заботы дядька царский Андрей, окольный, Лупп прозванием, Клешниных роду. Задарил, закупил дядька нашего московского Михайлу Битяговского, который с сыном Данилкой послан был на Углич — хозяйство вести царицы и царевича, казну отпускать, службу служить всякую... Жаден на золото оказался Михайло. А сынок на посулы пошел, что будет ему много прибыли и чести от дела... Мамку-боярыню Волохову да сынка ее беспутного, бражника, зернщика, круговую голову Оську, прихватили... Да еще одного, Микитку Качалова... И пытались они ранней дите царское, сироту круглую, — ядом изводить. Да была и от князя Богдана, с Нижнего, и с Москвы царице-матери весть дадена. Оне две, с мамкой, с Ориной, ровно орлицы над орлятами, — над дитей висели. Сами не отведавши, куска ему не давали, глотка не пропускали...

И дворян вся, челядь, за царицу и царевича душу готова была положить. Угличане — утром-вечером Бога молили: дал бы доли скорее царевичу, на царство сести... Пришлось злодеям нагло, середь бела дня свое дьявольское дело порешить...

— Хватило духу у окаянных...

— Хватило... И улещал, и грозил правитель, скорее бы по приказу делали... А сам — поверишь ли? Стороной повестил матушку-царицу: стереглась бы тех извергов, словно бы по умыслу Шуйских они на царевича подкуплены. Его такая дума была: повершат рабы дело зверское — родня царевича будет знать, кого винить, не утерпит, чтобы не расправиться с извергами. Тогда не станет никого, кто бы на него, на Бориса, слово обличения сказал.

— О-ох! — легким вздохом донеслось невольное восклицанье, которое вырвалось из груди мальчика, теперь уже стоящего почти за плечом Варлаама.

## VI. КОГО УБИЛИ?

Словно не слыша восклица детского ужаса, Щелкалов продолжал, как будто читая по свитку знакомую запись:

— В пятнадцатый день мая это было... Горестный час! К полдню близко. Люди по хатам разошлись... И в терему у царицы, вверху ее, столы накрыли. С поварни вот-вот еду понесут.

Разморило, сказывают, государыню вдовую... Истомила от зною, сидя и вздремнула в горенке в своей... А всему делу заводчица, Волохова, и наmani дите обреченное: «Ишь-де, не скоро еще столы! Парнишки каково весело во дворе зыкают, игру завели... Ты бы шел, роженный!» Кормилка, Тучкова, и не пускать, — так она облаяла: все-де в покоях в пору такую дите держать не след. Добра-де дитяти не желаешь... И лекарь-де, Волошин, бает: «На вольной прохладе пусть дите резвится!»... — «Какая, мол, прохлада: солнце палит, все попряталися!»... И-и, свару завели обе боярыни... Тут, на крыльце на нижнем стоят и спорятся, как оно и допрежь много раз бывало. Знала Василиса проклятая, что делала... А царевич — шасть во двор, к паренькам норовил пройти, которы там в свайку бавились, в кольцо попадали.

Только глядь — ему навстречу, отколь ни взялся, — Оська Волохов, который у матери в светелке целое утро сидел, время стерег... Поклон отдал царевичу... И тянет ему орехов горсточку: «Не пожелаешь ли, мол, орешки свежие». А дите охоче было на них. Берет, спасибо молвит... Убрусец свой в одну руку взял, орехи щелкать хочет, к парнишкам пройти... Те видят издали дите. А Оська и пытается: «Никак, царевич, ожерелко у тебя новое?»

— Так, так, и нам так сказывали... Царевич-то что же?... — перебил Варлаам.

— Известно, дите! Оська Волохов — свой человек, почитай, родной... Всегда тута... Он ему и шейку протянул тоненькую... головку поднял и бает: «Нет, все то же... старое, Осенька...» А Осенька, ровно змий ядовитый, ножом блеснул — и по шейке по ангельской... Да, видно, рука дрогнула, что на младенца поднял нож, Каин окаянный... Мало кольнул... Ронил нож, сам закрыл голову руками — прочь побежал, как Иуда, за

которым бесы гонятся... А они тут, за плетнем, и ждали: Данилко Битяговский да братан его, Качалов... Сродники они. И напустились: «Ты что это? Всех губишь! Не дорезал... Гляди, на крыльцо он побежал, кровь роняет... Добивай ступай, не то!..» Сами ножи вынули. А Оська рванулся и из глаз пропал.

— Господи...

— Грех великий... Дите-то уязвленное ко крыльцу бежит, а племянник Орины, Бажанка Неждан, Тучковых, его опередил, кричит: «Царевича режут! Оська царевича сгубил!» Орина навстречу дитю... скатилась, скazujeет, себя не помня... Сам понимаешь, больше матери жалела малого... Он бежит, ручонками машет... Кровь льется по кафтанчику... Рубашонка намокла в крови, в горле клокотит... От страху — слова сказать не может, сердечный... Добежал — и на землю пал тут, перед мамою перед своею... Она, дура, чтобы людей позвать поразумнее, доктора кликнуть, который в своей избе спал, пообедавши, только и сумела — упала на дитя, телом прикрыла его, орет: «Не стало царевича... Сгубили дитя мое роженое!» Вопит, как без ума!.. Да пусто кругом... Какая челядь в сениях была, — напугались все, врознь кинулись... а тут, как из земли, — те двое, с ножами в рукаве... «Что орешь! Молчи... Кого зарезали? Какое дитя твое? Может, и пустое все... Может, оздоровеет? Дай взглянуть!» Швырнули ее прочь, мало ребра не изломали... Да подошли, огяделись: пусто кругом... И полосанули дите, словно агнца невинного... Дорезали... Сами — к Орине: «Правда твоя, не встанет!..» Данилко говорит: «Побегу отцу скажу, како дело... Не уберегли вы дите... Сам он себя, видно, в падучей заколол... А вы на людей клеплете!..» А это их так Борис на Москве учил, когда к себе позвал да поручил дело адское... Сказали — и убежали оба... Недалеко ушли!

Только они к воротам, а на их беду — сторож, Максимка-кузнец, двором шел — злое дело видел, на колоколенку забрался, в набат ударил... Церковь тут рядом, близехонько, Спаса, дворовая... Царица на гомон с крыльца бежит... увидала, что Орина на руках дитя держит, все кровью залитое... И трепыхается оно, словно голубь подстреленный... А мамка, Волохова, словно не в себе, на крыльце присела, воеет... сама с места не сдви-

нется. Тут ей Орина все и поведала... И кузнец-сторож, который завидел, что пономарь Спасовский бежит, — с колокольни слез... А тут и в других церквах набат подхватили... В полсотни колоколов звон пошел... Дядя сам Михайло Нагой скачет: «Что, пожар, что ли, во дворце?» И Григорий Иваныч... Почернело кругом от людю всякого... Данилко-то Битяговский с Качаловым уж и бежать не смогли, в избу съезжую юркнули, отмолчаться вздумали... А Оська сгоряча верст 12 пробежал... И назад поворотил... Думает: отстоят его Битяговские именем Борисовым, как было обещано... Тут и сам главный делу заводчик, Михайло Битяговский, пожаловал... Как увидала его царица и народ весь, на месте и убили... Особливо как задумал он было всем глаза отвести, клялся да божился, что поклеп идет со стороны Нагих... Сами не поберегли царевича, боятся, что царь к ответу позовет за нерадение, — и сваливают на других свой же грех... Озверели люди... Что в руках было, крюки, топоры, с чем бежали, полагая, что пожар во дворце, — с тем на злодея и кинулись, — в дробь издробили... Царица кричит: «Злодеи-то где же? Кто резал, где изверги! Данилко, Никитка да Оська треклятый?!» Нашли и тех двух в избе... Двери прочь... Им дорога туда же, за старым душегубом... А Оську ажно в доме Битяговского сыскали. Схоронился там... Женка Михайлова укрыть его задумала... Привели обоих к царице... Прямо наверх, где в церковке в дворовой лежал царевич, теплый еще... И как привели Оську — из раны из запекшейся кровь нанова полилась... Бог суд свой дал злодею... Тут и доби́ли его... И еще из своры Битяговского — восемь душ погибло... Только к ночи еле вошел в себя народ, как ко всеобщей ударили... В субботу грех случился... А от Михайлы Нагого да от земских старост углицких — гонца погони́ли... Лист ему дали, все, как дело было, царю отписали...

— Ну и что же?

— Вестимо — что?! И обычно все цидулки из Углича прямо в руки Борису принашивались. А тут вестей добрых ожидали, так еще за стеной за городскою московскою переняли гонца... Проводили к Годунову. Прочел он доношение, а там так и стоит: «От Годунова люди подосланные извели царевича...» Видел бы ты, как перекосило лицо Борисово... Взял столбчик, глядит в него... губы дергаются, руки ходенем ходят, раздрал

край бумаги-то... Да тут же по ней приказал иное написать доношение для царя. А в нем и писано, что «сам-де в припадке черной немочи ножом поколол себя царевич и скончался в одночасье... А Нагие-де, чтобы от себя провинность отвести, — Битяговских под обух подвели, на них наклепали, народ подняли». Так все и прочитано было царю. Горько плакал добрый государь. И поручил правителю дознаться: чья правда. А Борис на сыск послал...

— Того же Клешнина Андрея, да Шуйского Василия, да дьяка продажного Вылузгина... — знаю!

— Ну, так знать можешь, как они до правды доходили! Старый лукавец, Шуйский, змий, в пяту жалящий, поди, и сам бы рад был убрать последнего от корня Иоаннова. Да духу не хватало. А тут — Борис постарался... Так и он ему пособил. Плакал, Бога призывал... О грехе поминал... «Грех-де на мертвых клепать! Вам-де, Нагим, родичам царским, ничего не станет; а коли вы станете Годунова облыгать, — и вам голов не сносить! Мол, владыко-митрополит повыше вас стоял, а куды слетел? И другие князья и бояре первые... Грех уж совершен. Так не колите очей никому! Мол, надо писать: все вышло от воли Божией... Сам покололся, ножом за черту метал, припадок пришел, царевич-де и накололся на ножик на свой!..» А там дело предадут забвению...

К царице с этим он и сунуться, вестимо, не посмел. Так ее и не спрашивали, Михайло Нагой тоже уперся. Говорит: «Все едино пропадать. Так не стану кривде потакать! Хоть запытайте, окаянные!.. Так и записал, что подосланы от врагов были убийцы: Битяговский с товарищами, — и зарезали племянника-царевича. Один он не уступил. Другие все от первых слов своих отреклись, по Шуйского уговору показывать стали и руку прикладывали, кто умел... А митрополит Крутицкий Геласий тут же с Шуйским и Клешниним во храм Преображения прошли, где убиенный младенец пятый день лежал, судей праведных дожидался... У Луппа у единого душа заговорила, как сказывают. Недвижный стоял он, ко гробу не смея подойти, глаз не поднял на жертву невинную. А Шуйский таково-то пристально стал смотреть... Да где признать! Пять дней в пору жаркую лежало дите... Кровью облитый сперва. А там, хоть и обмыли, — все не узнать в нем было того царевича,



которого Шуйский года четыре назад тому видал. Все же уверовал, толкует, что подлинно царевич перед ним зарезанный... Горло-то вот как перехвачено!.. Куды бы самому дитяти, хоть и в припадке, такое над собою сотворить? Да судьям праведным горя мало. Записали тех, кто по-ихнему дело показывал, других обошли, тело отпели да поскорее земле предали, мол, вконец бы не испортилось... А дума другая: вдруг сам царь наедет? Либо повелит брата на Москву везти! А Шуйский в ту пору и то проговорился: «Как, говорит, по смерти поиначилось личико царевича. Видно, крови вовсе не стало в нем... Смуглый был, а тут — беловатый лежит...» Вошло ему, значит, на ум... Да спохватился, умолк... А царица вдовая таково-то плачет, причитает... Жаль ей, вестимо... А про Орину и говорить не надо. Только сына родного так провожать можно, как она убитого. Двадцатого числа приехали, в четверг, бояре, в пятки — и уехали. А там, на Москве, собор собрали целый: дело рассудить великое. Ну, долго не думали. Иов, владыко, Борисом ставленный, все уладил... «Нагие-де виноваты!» Прозвонил; бояре в подголоски ударили... Нагих присудили по местам разослать... Угличан бедных — в корень чуть не извели... Полсибири ими населить надумали; гляди, тысяч тридцать людей было! Меней половины остались... Жгли, пытали, топили, вешали... А царицу-вдову, дважды осиротелую, постригли насильно... На Выксе в дальней пустыни заточили вдову Иоанна-царя!

— Да как... как они смели... как могли это... Как смел он?! — вдруг рвущимся голосом, весь дрожа, заговорил мальчик, который давно уже едва стоял на ногах от горя, от жалости...

И, протянув руки вперед, словно отгоняя кого-то, мальчик упал, забился в припадке «черной немочи», обычной детской болезни в эти времена.

— Ишь, кровь сказалась!.. За старуху как встал, — негромко проговорил Варлаам Щелкалову, подымая с его помощью Митю и относя в соседний небольшой покой, где стояло жесткое, узкое ложе келейника.

На него положили ребенка и покрыли черной мантией игумена. Полагали тогда, что этим облегчается припадок.

Затем снова перешли оба в келью, сели на свои места.

Долго никто не начинал разговора.

— Вот так-то оно и содеялось все! — наконец проговорил гость.

— Злое дело... И верю: пошлет Господь возмездие власти похитителю, — эхом откликнулся инок. Поведя глазами на Митю, лежащего рядом, в покое, он добавил: — Этот отмстит... Видел сам, брате: каков малый? Рожденный господин...

— Видел уж, видел... Сберечь бы нам его. Толкуют, что Шуйский... может, для острастки Годунова, а шепнул ему о думах своих насчет того: «Подлинно ли царевича сгубили слуги подосланные?» Мол, в этом, в мертвеньком, — отличку нашел он от того, который родился у Марии... А Борис ему и ответил: «Тот ли, другой ли, а Димитрия схоронили...» Из могилы, гляди, не встанет! Он не Лазарь, и Христа ноне нет!

— Гляди, не встал бы! Каин окаянный... Вот поглядеть бы на него, коли донесут ему в ту пору, что «встал»!..

— Доживем — увидим. А пока — остерегаться надо... Отселева пора убрать хлопчика. В Рязань я его свезу... Там Игнатий — грек, митрополит, дружок наш, старый, верный... Оттуда и на Москву направим. Пусть все увидит, узнает своими глазами, не из речей людских... Повидает своего «приятеля», гляди, полюбит его!.. Хе-хе! А там — и дальше дело поведем... За грань его... Пускай к военному делу приучается... А там... Ну да там уж Бог что даст, то и будет... Только я исполню волю государя покойного, на чем крест целовал с Богданом-князем вместе: вырастим чадо — и к трону подведем. Сумеет взять и воссесть, — значит, такова власть Господня!

— Амины! А скажи ты мне... как вы подмену-то сделали? Что и не заметил, почитай, никто. Когда это?

— Давно уж. Как стало видимо, куды гнет Борис, тут мы с князем Бельским и приступили к Орине. Она давно была подговорена... Мол, твой сын пускай поцарствует. Федор, мол, некрепок... А сын царицы — не от государя-супруга. И приказывал он своего Димитрия до трона не допускать! Баба и сдалася... Потайно родного сына мы ей привезли; тут захворал царевич... Изменился от недуга... Его в ночи нам отдал доктор — Волошин, паренька Арины взял, положил... Дети ма-

лые, еле лепечут... Что им понять? Так и осталось. Тот — там... Этого — увезли, на посадке на вашем старикам в приемыши сдали... Мол, сироту, роду честного... Поберегите... Казны малость прибавили... А как подрост, да ты его взял, — сам дальше знаешь!..

— Так, так... Доселе — все хорошо было! Пускай же и далее хранит десница Божия отпрыск царственный!

И Варлаам с теплой верой осенил благословением мальчика, который лежал рядом и от тяжелого забытья болезни перешел к укрепляющему тело спокойному детскому сну...

## VII. ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

Ярко сияют светила и звезды небесные в беспредельной глубине, своим или отраженным светом озаряя мрак мировых пространств.

Вечно одиноки и далеки они друг от друга. Но пути их постоянно пересекаются между собою, и самые далекие звезды, разделенные миллионами миллионов верст, — влияют на другие светила, испытывают их влияние; только силой этого взаимного влияния и могут они вечно длить свой быстрый, размеренный путь в темных безднах вечности.

Так и в жизни людской.

Размеренно, мощным ходом движется общая человеческая жизнь. Как бы тесно ни сошлись, ни слились люди в шумной толпе, — они одиноки... Как далеко ни отстоит одна душа человеческая от всех других, — она влияет на них и сама испытывает их влияние, тайное, могучее воздействие на себя, на каждое движение свое...

Давно еще — при зарождении сознания в первых людях — неясно наметилась у них в уме, зашевелилась в их душах эта мысль, отпечатлелся тайный мировой закон.

И выразили люди свое неясное сознание двумя заветами: учением «о свободе воли» и учением о «Всесильном Роке», покорность которому неизбежна для всего живущего, даже для мертвой, бездушной природы.

«Сами боги на Олимпе трепещут при имени Рока,

этого предвечного, всевластного божества!»... Стиксом, рекою предвечной, всепоглощающей тьмы, — клялись бессмертные боги. Так учили эллины.

Вера в Рок — рано овладела душою Димитрия-сироты и руководила каждым движением, каждым помыслом ребенка, юноши... и после, до самого конца!

Для этого, конечно, были свои причины. Ничем не выделялся он из этой среды, в которой проходили его дни.

Никому не ведомый сирота, без казны, без явных друзей или сильных защитников и покровителей — мальчик видел, что путь его идет не так, как у всех других сверстников, нищих, одиноких сирот, каких немало всегда на Руси и по мирским углам, и во дворах монастырских.

Были мальчики не глупее его, более проворные, красивее гораздо... Легче жилось им, правда, чем остальным, неудачливым детям, пасынкам Судьбы.

Но никто из них не испытывал таких странных приключений, как Митя, в свои девять-двенадцать лет.

Из тихого, далекого угла, из скромной обители, — частью пешком, частью с попутными подводами доставил мальчика в Рязань инок старицкий, которому по делам семейным пришлось побывать в этой стороне.

Потолковал инок с монахом на митрополичьем дворе, сдал ему отрока и ушел. Сирота получил тут угол со всеми другими детьми, которых еще несколько воспитывалось в рязанском монастыре. Пел Митя, как и раньше, на клиросе, сидел часами в просторной, светлой горнице, переписывая священные книги своим четким, красивым почерком, скорописью или вязью выводил буквы владычных посланий... Как-то чаще других давали ему переписывать толстые тетради с изложением исторических событий Московского царства от зачатия его до последних дней царения Ивана Васильевича.

Инок брат Корнилий, которому под начало отдан был Митя, заведовал штатом писцов и переписчиков, взрослых и мальчиков, проживающих во дворе у митрополита Игнатия, человека большой учености, как греческой, его родной, так и славянской.

И так вышло просто, незаметно, что бойкий, хоро-

шо выполняющий свое дело, Митя был «замечен» владыкой и призван к нему.

Строго, важно глядел Игнатий. Но особое какое-то внимание и забота, как показалось чуткому сироте, — сквозили в словах и во взглядах князя церкви.

— Ты откуда сам родом? — протяжным, гортанным, явно нерусским говором спросил Игнатий. — Сколько лет тебе? Издалека ли тебя к нам привезли? Давно ли грамоту узнал? Хорошо ли тебе здесь?

Быстро, один за другим следовали эти вопросы, которыми засыпал ребенка владыка, несмотря на показную важность и величавость, не отрешившийся от обычной греческой живости и словоохотливости.

Не смутился нисколько мальчик.

По-монастырски, смиренно сложил он руки, но глаза глядят прямо, смело.

И внятно, словно сам впервые отдавая себе отчет, говорит Митя:

— Откуда родом, и сам не знаю. Говорят, нашли меня старики, у которых жил я до времени. По шестому году к отцу Варлааму привели меня. Теперя, по осени вот, тринадцатый пойдет... На Уара на мученика родился я... От отца Варлаама сюда и приведен. Грамоту, почитай, лет шести узнавать стал... в обители в Старицкой. А жить мне у твоей владычной милости дюже хорошо... Челом бью за все милости!

И мальчик, по наставлению, преподанному ему раньше братом Корнилием, отдал земной поклон владыке. Выпрямился, ждет: что дальше будет?

Не сводит с него испытующих глаз Игнатий. Строго-строго сдвинул брови и говорит:

— Откуда ты знаешь, что на Уара рожден? Кто сказывал? Почему Димитрием крестили, а не святым по дню рождения?! А? Путаешь что-то... Ты прямо мне, как на духу. Знаешь, кто я? Пастырь твой духовный... Глава! Могу вязать и разрешать здесь, в этой жизни, и в будущей. Так бойся мне что-либо облыжно сказать. Почему все сие? Может, слышал, знаешь: какого ты роду-племени? А? Никого тут нет, видишь. Все прямо говори!

— Так я и сказываю все, что мне ведомо, святой владыко. Когда рожден, про то старики часто сказывали. Словно бы грамотка на мне была. С грамоткой най-

ден я. И что крестили меня Димитрием. Мол, «в другое не окрестил бы кто». Так было писано. А самое граматку затеряли старики... Думалось им, был мой род не из простых. Опала пришла, так они меня и отдали добрым людям, чтобы сберечь от опалы... Мол, часто бывало так и ранней... А знать о себе больше ничего не знаю. И не слышал ничего... Как перед тобой, святой владыко, так и перед Богом!.. Страху во мне нет, злого не умыслил ничего. И лукавства во мне нету.

— Вижу, вижу, чадо... Прямо в очи глядишь с умом, но без дерзости. Так и впредь живи. Ни перед кем очей не опускай, если душа чиста. Пусть уж другие... Ну, теперь иди с Господом. Трудись, учись... Может, Бог тебе долю пошлет, — как будто повторяя слова доброго Варлаама, сказал этот строгий на вид владыка, благословил Митю, руку ему для поцелуя протянул, сам другую на голову мальчику возложил.

— Расти, крепни! Да благословит тебя Всевышний, — каким-то иным, теплым дружелюбным голосом произнес Игнатий и отпустил Митю.

Долго потом звучал в ушах мальчика этот ласковый, бархатистый звук голоса, все слышалось горячее благословение:

— Расти, крепни!..

Больше года с этого дня прошло.

Игнатий пышно выезжал, если случалось покидать свой двор. Как у светских владык, были у него свои верховые слуги, вершники. Сильный, ловкий, смелый Сирота попал в число этих провожатых и мог потешить свое чувство, любовь к быстрой езде, к скачке, к хорошим лошадям.

Увидав Митю на коне, владыко ласково, одобрительно кивнул ему головой, велел ехать у дверцы колымаги и потом сказал:

— Хоть ты и в иноки готовишься, а уметь не мешает и светские дела. Были времена и у вас на Руси, и на Востоке у нас, когда иноки не только Слово Божие — меч брали в руку, главу покрывали шишаком стальным и боронили от неверных крест и веру Христову... Ничего, ничего! Коли любишь — и узнавай мирское дело незазорное. Молод ты еще. Лучше, коли смолоду больше силу свою изведает, чем под

старость потом будет она тревожить тебя, подвигу мешать...

Если приходилось в грязь, в распутицу человека верхом послать куда-либо, уж за это обязательно брался Митя. Молодых лошадей, приводимых на двор владыке, — он тоже любил объезжать и успевал в этом легко, если не по уменью, так благодаря своей отчаянной отваге.

Когда он подходил к коню и глядел ему своим ястребиным, упорным взором в глаза, — казалось, он умел одним этим покорять, успокаивать необъезженное еще животное, гипнотизировал его.

Общим любимцем был во дворе у владыки Митя.

И не удивился никто, когда в конце 1595 года Игнатий, отправляясь в Москву, взял в числе провожатых и переписчика своего, Сироту.

Много друзей нашлось у Игнатия среди греческих изгнанников, проживающих в Москве по нежеланию видеть родину, подавленную игом Османов.

Уезжая в Рязань, Игнатий не взял с собой Митю, а устроил ему место у вельможного выходца из Солуни, кир-Димитрия.

Тут мальчик, уже начинающий превращаться в юношу, справлял четырнадцатую годовщину своего рождения.

Неспокойно, невесело прошли на Руси и на Москве тысяча пятьсот девяносто пятый и шестой года. Пожар случился сильный в стольном городе.

Часты были пожары в старой деревянной Москве, а в этот раз так выгорела она, что от Китай-города следов не осталось.

Хлопотать стал Борис-правитель, наново, камнем пустое место обстроили.

Сильный мор проник в царство, и от него Псков вымер почти до последнего человека, так что пришлось из других мест туда людей переводить, отдавая им пустые дома и выморочные дворы посадские и торговые...

Крымцы, забыв неудачу, испытанную всего три года тому назад, — снова двинулись на Москву. Но у рубежа успели их перенять и отправить русские рати под начальством окольного Михайлы Безнина, воеводы Калужского.

Случилось и другого рода горе, незначительное на

вид. И хотя люди не пострадали при этом случае, но он взволновал почти всех верующих русских даже более, чем отбитое нападение татарское.

Старинный Печерский монастырь близ Нижнего славился в народе как место подвигов святого Дионисия Суздальского, Макария Унженского и Евфимия.

И вековая гора, царящая над обителью, размытая подпочвенными водами, загрохотала, заколебалась... Медленно поползла по скату береговому вниз, к Волге, и засыпала на пути своем всю чтимую обитель, сровняла ее с землею.

— Великая поруха будет в царстве! — в один голос заговорили по всему царству и в самой Москве, где очень мало было просвещенных людей и большинство духовенства оставалось совсем малограмотным, как и полвека назад, когда решительно начал бороться с этим грозный царь Иоанн Васильевич.

И другая, потаенная, но самая тревожная весть разнеслась шепотом, негромко по Москве, но скоро разлилась, покатилась и дальше по городам, как все плохие вести: царь Федор очень недомогать стал. И без того слабый, он совсем захирел в последнее время. Обмороки чаще и чаще повторяются. Даже молиться так долго и усердно, как прежде, не может этот инок и подвижник в царском венце, в бармах Мономаха.

Бояре, воеводы, старейшие служилые люди насторожились, стали подумывать: кто примет власть по смерти этого последнего из рода Рюрика?

Партии и раньше были при дворе. А теперь их больше стало и яснее они определились.

При дворе старались, чтобы за рубеж страны не проникла весть — на радость враждебным ляхам, литовцам и татарам со шведами.

Но сами бояре враждовали между собою и готовили подкопы, рыли ямы, хуже отъявленных, заклятых врагов.

Вести, слухи и намерения сильных людей особенно были подробно и хорошо известны при патриаршем дворе, в Чудовской обители, постоянном пребывании московских первосвятителей.

В ней как раз к этому времени очутился и Димитрий.

Как-то само собой это случилось.



Из Старицкого Успенского монастыря приехал в Москву один из иноков к патриарху с каким-то челобитьем от игумена Варлаама. Конечно, по поручению последнего, он разыскал юношу, позвал его к себе, в Чудово, где сам гостил у инока, старца Паисия.

Последний уже знал, очевидно, о Сироте и принял его очень дружелюбно.

Между прочим старицкий инок от имени Варлаама задал Мите вопрос:

— А что, чадо: хотел бы знать отец игумен, совсем ты раздумал о пострижении? В мирское житье ушел, обителей чуждаешься...

— Нет, отче. Воля была владыки Игнатия меня приставить в услужение к господину моему... А я не оставил помысла постоянного. Кроме, как у Бога, нет мне надежды и пристанища. Сирота ведь я в мире!..

— Верно, сыне! Так и думай, так и уповай... Ежели не прочь, так вот тебе и случай. По прошению отца Варлаама и моему — брат Паисий может тебя в патриаршую обитель преславную принять. Про мастерство твое скорописное он наслышан... Дело дадут тебе знакомое... А уж где лучше Богу послужить, как на очах патриарших... Может, и заметит кир-владыко, благословит тебя и усердие твое... Удостоишься и пострижения, как только года твои придут... Желаешь ли? — инок ласково взглянул на юношу.

Низко поклонился Митя:

— Молю о том, отцы преподобные!

— Вот и ладно. Я потолкую с братом Косьмой, который писцову палату патриаршую ведает. А ты загляни по времени, чадо! — ласково сказал Сироте Паисий.

Недели не прошло, как Сирота явился к кир-Димитрию, прощаться стал с господином, который тоже к нему был добр и внимателен, как к редкому из челядинцев. Предупрежденный управителем, грек не расспрашивал юношу ни о чем, протянул ему руку для поцелуя и сказал на ломаном русском языке:

— Заль, заль... Кароси... Тупаи Боком! Бок прастии... Цаслива!

И полтиной одарил уходящего слугу.

...Быстро миновал 1567 год. Особых бед не было, но и радости не слышно было.

## VIII. ПО РУСИ

Если за гранями царства Русь получила новое значение при умном, изворотливом правителе Годунове, то у себя все его начинания как-то оказывались неудачны, хотя на первый взгляд вызваны они были истинным желанием помочь народу, были подсказаны государственной мудростью, которую даже враги признавали в многолетнем правителе царства.

Особенно много толков, жалоб и молчаливого недовольства, а порою и явных проявлений негодования вызвала в народе отмена Юрьева дня.

В день этого святого все «черные» люди, безземельные крестьяне, работающие на чужой, помещичьей земле, могли менять своих господ, если были недовольны теми, у кого застал их «вольный день».

Правда, такая смена редко вела к лучшему. Часто меняли «кукушку на ястреба».. Но все же призрак воли был дорог темной душе бездомного пахаря, поработленного невежеством и нуждою, но свободного хотя бы по букве закона.

Правда, люди бессердечные, зная, что кабальная запись действительна только до Юрьева дня, на один год, — старались за это время выжать все, что можно, из пахаря-оброчника. Десятки и сотни тысяч крестьян с семьями, не имея угла и гнезда своего, кочевали ежегодно из имения в имение вечными батраками-бродягами.

Но более благоразумные хозяева, собрав подходящих работников-пахарей, старались привязать их к себе и к своему хозяйству на более долгие времена и переписывали «записи» из года в год. Люди богатые, многоземельные помещики — даже пускали в ход всякие посулы и льготы, чтобы притянуть побольше рабочих рук на свои пустующие угодья.

Случалось, что переманивали людей друг у друга, ссорились из-за этого... До стычек между целыми отрядами «дворцовой челяди» доходило порою.

Но в общем выработались средние условия, при которых и господа, помещики разной величины, и хлебопороды жили сносно. Каждый надеялся, что время вырабатывает новые, еще более удобные для всех условия и рамки взаимных отношений.

Но в это большое, народное дело внес свое личное решение Годунов.

После ужасного события в Угличе, когда он не побоялся выжечь пол-Москвы, он решился допустить нашествие татар на эту столицу, — только бы отвлечь Федора от проклятого Углича, от останков зарезанного ребенка, лишь бы заставить народ забыть, хоть на время, этот кошмар... Как раз тогда, в 1592 году, именем Федора был издан указ, которым вводилась вечная кабала на Руси.

Было уничтожено право ежегодного перехода крестьян на другие земли...

Отменен был Юрьев день, и пахарь прикрепился к тому полю, где застал его новый закон.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — вырвалось из народной груди скорбно-насмешливым криком... И перешел этот крик навеки в потомство.

На двести семьдесят лет, — как показала история, — приковал Борис к земле несколько миллионов людей, только бы угодить сильным помещикам, властным князьям и боярам, больше всего страдавшим от частых переходов крестьян от господина к господину.

Но оказалось, никому не угодил Борис.

Мелкие владельцы, правда, почувствовали себя спокойнее. Прочнее все строить смогли теперь, ровнее хозяйство у них пошло. Но крупные «господари» негодовали, что нет возможности, по-старому, на пустые земли скликать людей, от соседей их сманивать, издали подзывать...

Эти и другие, более мрачные, толки идут о Годунове. Но долготелая привычка — повиноваться ему — сильна во всех, и дальше толков дело пока не идет.

Гуляют и более темные слухи в народе и об Угличе, о царевиче, от злодея убиенном, о том, что сам назвал татар окольными путями правитель, дав им знать через мнимых предателей, будто свободы пути к Москве и некому защищать столицу царства...

Но за такие рассказы целый город Алексин, где впервые зародились они, — весь город был «на поток» отдан судьями и палачами; и не лучше Углича обезлюдел городок, веселый, населенный до этого.

На Москве — особенно шпыни и доносчики шныряют, каждое слово ловят...

Сболтнет кто не без дурного умысла, по оплошности, против правителя слово скажет, весть повторит недобрую, — и хватают ночью неосторожного, из теплой хаты тащут в приказ, к допросам, на пытку ставят... А там, глядишь, — и сгинул человек.

Свои и то не смеют дознаться: жив ли, умер ли? Сослан куды далеко или в воду брошен, замученный, запятанный...

Все это слышит и знает Митя.

Много, много еще слышит он, что шепчут даже здесь кругом, на дворе патриарха Иова, друга Годунова, им поставленного и в митрополиты, и в патриархи Московские.

Толкуют, что Федору пора умирать, по расчетам Годунова, именно теперь.

Скоро пятьдесят лет минет самому Борису. Десятки годов он медленно, осторожно подбирался к престолу... Столько греха явно и тайно принял на душу, что страшно подумать!

Будь его пора, его правление не после царя Ивана, который кровь, как воду, лил, — еще страшнее показались бы дела Бориса. А теперь, умея надевать личину благочестия и смирения, удачно справляясь с внешними врагами, лаская всех, подкупая их царской казной, — он кажется агнцем белым перед багровой, окровавленной тенью Грозного царя...

Все это слышит Митя.

И чувство негодования, какое давно шевелится в груди юноши против лукавого вельможи, — начинает становиться все острее, переходит в чувство какой-то личной ненависти, глубокой, беспощадной вражды, на какую только способна чистая, горячая душа пятнадцатилетнего отрока.

Настал веселый праздник — Святки.

Широко, шумно справляют дни Рождества по всей Руси. А на Москве — особенно торжественно празднуют их.

Заливаются все московские колокола, которых до пяти тысяч насчитывается, если взять и посады с пригородами. Загудят они все, — так не то, что на улице, — в домах плохо слышат люди друг друга: так потрясают воздух медные груди колокольные, потрево-

женные ударами тяжких, сильно раскачиваемых языков.

Пусты кельи, и сени, и переходы в Чудовом монастыре. Даже в черных избах дворовых, на поварнях, всюду — темно и безлюдно.

Только сторожа сидят и дремлют у ворот, у калиток, кой-где по внутренним дворам и дворикам. Прокинется иной со сна и заколотит громко в свое избитое по краям, засаленное от прикосновения многих рук ручное било.

— Таки-таки-таки-так!.. — застучит, выбивая сухую, отчетливую дробь, деревянная колотушка... Собака залает, словно давая ей ответ. Другие ответят ей, все дальше и дальше подавая звонкие голоса замирающим лаем.

И стихнет все снова.

По церквам разошлись теперь люди. Иные у себя, дома, в монастырском храме, по неволе либо по охоте — отстаивают долгую праздничную службу.

Люди свободные, не иноки, не служилые, а проживающие только при обители, при дворе патриаршем, — по другим храмам пошли молиться. Интересно им поглядеть и соборное служение, и древний чин в церкви Василия Блаженного... И в иных местах незнакомых — святыню поглядеть, помолиться другим иконам и мощам, не тем, которые всегда тут, под рукою в Чудовом находятся.

Димитрий не пошел в церковь. Сам Паисий благословил его пропустить службу, когда юноша попросил благословения навестить в келье больного приятеля, инок Григория, уже второй год диаконствующего в обители.

— Благослови, Господь, на благое дело, доброе. Недужного навестить, помочь брату в болезни — все равно что службу отстоять. Еще и более зачтется ангелом твоим хранителем, дитятко! Иди, иди... Да только, слышь, поостерегайся. Брат Меркурий был у Григория. Сказывали: не может еще сказать, что за хворь у бедняги. Кабы что не вредное и для тебя вышло. Передается иная хворь. Поостерегайся. Близко не садись, не касайся недужного. Разве уж помощь какую нужно оказать...

— Слушаю, отче! Поостерегуся. А думается: как ни остерегаться, коли воля Божия, — не минует доли

своей никто... А суждено здоровым быть, так и не допустит он до другого...

— Ну, уж ты у меня ведомый «ритор», «вир элоквентус», как говорят латыняне. Ты там, кажись, у солунца-то, и по-латыни стал мараковать?.. Ладно, все ладно... Что человек ни познает, все на пользу душе его... Кроме зла познания, как сам разумеешь. Зло познать — рая лишиться... Только теперь уж, как земного нету, — душевного лишает нас Господь за наши прегрешения... Охо-хо-хо! Иди с Богом... А как я вернусь, скажи мне: что брат Григорий? Душевный он и не глуп. Чудной малость... А тоже, в книжной премудрости силен... Люблю я толковать с ним. И все-то он слышал, знает обо всем, что где по углам на Москве таится... Занятный инок! Иди...

В тесной, небольшой келье на простом иноческом ложе лежит больной.

Это — человек лет тридцати, с простым, русского типа лицом, каких можно встретить часто в средней полосе России: сероглазый, скуластый слегка, с реденькой бородой и темноволосый.

Инок — хорошего роста, плотный, очевидно не ведущий аскетической жизни в богатом и шумном монастыре, где живет сам патриарх, где много князей и бояр числится среди иноков, вольно и невольно одевших рясу и мантию, принявших обет смирения и нищеты только на словах. Юрием, Богдановым сыном, Отрепьевым звали в миру монаха-диакона. Теперь он взял имя Григория. Но по старой памяти часто Юшкой его зовут.

Связи и родня есть у него даже при дворе. Дядя его, Смирной, Иванов сын, Отрепьев служит в Приказах, подъячим числится. Он и устроил племянника при дворе патриаршем.

Тихо, осторожно вошел в келью к больному Димитрий.

Инок спал. Его довольно полное, сейчас как будто припухлое лицо было бледно. Черные круги окаймляли закрытые глаза. Пересохшие губы были полуоткрыты. Дышал спящий тихо и ровно. Когда юноша заглянул сюда днем, — инок метался в жару, бредил порою и выглядел очень плохо.

Сейчас, заметя перемену к лучшему. Димитрий мол-

ча перекрестился и, подняв глаза в угол, где перед иконою горела небольшая лампадка, — стал беззвучно молиться, нервным, порывистым жестом осеняясь усердно крестом.

Кончив молитву, Сирота сел у небольшого, узкого окна, похожего на бойничный пролет, через которое в келью проникали лучи полного месяца.

До половины это окно обледело и снегом было занесено. Заглядевшись на причудливые узоры, выведенные морозом на стеклах, юноша как будто задремал.

Мысли его унеслись куда-то далеко. И не в прошлое. Там — мало отрадного и блестящего, мало того, что особенно любит Димитрий: силы, раздолья, красоты и радостей. Неясно, сам не давая себе отчета, но именно этого желает, это любит, к этому стремится всегда юноша.

Иногда ему даже снится, или наяву грезится, — он и не разберет: не монах, а воин вышел из него... И в стальном шишаке, в золоченой кольчуге несется он на коне против неверных турок, поражает их, как поражали сарацин галльские витязи, о которых он читал... Как поражал любимый его царь, Александр Македонский, — несметные полки Дария-царя...

Наверное, и Александр, и даже Дарий — вовсе не такие были, каков Московский государь, — бледный, с одутловатым, невыразительным лицом и женски-мягким, невыразительным взглядом мутных глаз... Да еще эта робкая, словно виноватая улыбка, которая никогда не покидает лица Федора... Совсем блаженный, юродивый, Христа ради, а не царь...

Не похож на повелителя и Годунов, хоть с виду и важен, осанист. Был долго, потерся около Грозного царя, вот теперь и хочет под него подделаться... Да плохо ему удастся. Словно он сам не верит: так ли все это, что он делает? Невольно и окружающие начинают сомневаться и думать: прав Борис или не прав?..

Ясно Димитрий, конечно, не представляет себе всего этого. Но что-то такое носится в его уме. Сам он не знает почему, но мысли его постоянно возвращаются к Борису, к царству... к вопросам, казалось бы, таким далеким и чуждым, бесполезным для бедного послушника, для сироты-писца.

Но время такое на Руси, что о царстве и делах

правления, о государственных путях многие думают с напряжением, не меньшим, чем в другие времена толковали и думали о вопросах религии, о том: ходить ли вокруг алтаря «посолонь», либо против солнца? кадить прежде образам или владыке? — и тому подобное.

Какое-то загадочное предчувствие прокрадывается в душу его: что ему придется вмешаться в общую кашу, если не теперь, так позднее. Вот станет он иноком заправским... Прославится подвигами святости... взойдет на митрополичье место... А там, гляди, и на патриарший престол. Иов, «смирренный богомолец», — как он сам величает себя, — тоже не больно знатного рода и великого ученья либо ума человек. Однако дошел!.. Почему же ему, Димитрию, не достигнуть того же?!

А тогда он не станет гнущся, подобно теперешнему пастырю всех христиан славянских, — перед сильными и дающими выгоду людьми. Себя не пожалеет тогда Димитрий, а много добра народу родному принесет... Он слышал в течение многих лет, чего просит народ, он видел в разных углах: чего не хватает, что ждут, кого любят, чего боятся простые бедные люди, страдники русской земли...

Он, конечно, не царь... Он будет только духовным пастырем. Но станет говорить царям, заставит их тоже прислушаться к робкой мольбе народной, к его затаенным, горьким слезам, к вековечному стону, который встречает в ответ одни пытки да кнут порою...

## IX. МЕЧТЫ

Какой-то шум, долетевший от постели, заставил сильно вздрогнуть мечтателя, позабывшего даже, где он сейчас сидит.

Больной, проснувшись, приподнялся на локте, а правой рукой стал шарить на простом деревянном столе, который стоял в головах, недалеко от кровати.

Там, задев за солонку, он скинул ее на пол и крикнул слабым, недовольным голосом:

— Эка, лукавый...

— Проснулся, брат Юша? — подымаясь быстро со скамьи у окна и направляясь к постели, спросил Сирота.

— Фу-ты, нечистая! Прости, Господи... Темненько



тута... И не разглядел я тебя... Снова пришел? Сторожишь? Ну, сторожи... Спаси ты, Христос, братан... Вот, ковша нашарить не могу... С квасом стоял ковшик тут у меня... Есть? Благодарствуй... Ничего, не держи... я и сам посижу, напьюся... Ф-фу... Легче стало... Отпустило теперь. А было, думал, плохо дело... Капут башка моя пречестная, зело преподобная... Ф-фу!.. Ишшо хлебну... Словно на свет сызнова нарождаюсь я теперь...

— И впрямь лучше тебе! И так разом? Что такое, брат Юшенька? Напущено, что ли, было?

— Напущено?! От кого? Царь я али бо казначей чудовский, что корысть от меня какая и надо порчу напускать! Сам на себя напустил. Как на Украине жил, в Киеве славном, на Днепре... Да и дальше... Камыши тамо, болота... От них — зело ядовитая лихоманка прилучается, как лекаря там мне сказывали. А я больно рыбку ловить люблю... Бреднем и на червя... с наживкой... Вот и накачал себе... Который год выгнать не могу, лихоманка бы взяла эту лихоманку мою!..

От раздражения больной даже закашлялся.

— Молчал бы ты лучше, брат Юшенька... Ишь, после хвори, словно раздуло тебя... Может, уснул бы? Я посижу, посторожу... Нужно чего — скажи, подам, принесу... Либо светец зажгу... Хочешь, почитаю тебе чего... Гисторию либо Божественного Писания...

— Ну, начитался, наслушался. Из горла назад прет! Уж лучше я полежу, подремлю, правда... А ты посиди, коли охота. Все не один... Больно не люблю я один оставаться. И не убил вот еще никого, и церковного добра не хитил, — а неохота одному оставаться... Вот-вот станет перед тобой... не то «он», лукавый... не то — думы твои же, затаенные, нечистые, черные-черные, лукавого чернее...

— Ну, зачем же? Можно и об чем ином... Зачем черные думы в себе носить...

— Зачем? А затем, что тебе наполовину того нет, сколько я на свете прожил, чего не вытерпел, другим чего не подковыривал, коли случай был... Вон читал я во временнике об одном малом... Царь-то Иван и спать не спал покойно, коли не читал ему кто вслух книги разные... И громко, чтобы сквозь сон да слышал он живой голос человеческий... Сладко, видать, спалось царю, легко на душе было: а ни сучка ни задоринки. Сплошь один клубок нечисти адовой!

— Должно, что и так... Прости, Господи, упокой душу грешную раба твоего, царя Иоанна.

— Ловко. А за Каина да за Иуду Искарюота ты ныне не молил еще Господа? Али бо за Годунова, за нашего правителя доброго, благочестивого? Оно бы уж заодно...

— Что же, за всех молиться надо... И за мучителей наших, и за проклинающих нас... Сказано же...

— Сказано, да не доказано... Коли бы так было, сама бы каждая овца несла волку сенца: «Съешь, мол, меня, да пасть утри!»... А есть такие бараны, что не идут, упираются, сами с волками бодаются... Как кому, а мне — такие любы... Пить дай...

— Вот, возьми, да не тормозишь так... Не спорю я с тобою. А у тебя одно: как заговорил, так и заспорил, хотя бы и не с кем... Экой ты какой... Еще меня учил, что надо меньше яриться, про себя все больше думать... А сам...

— Сам с усам, лихо, нос не оброс. Где — и молчи, а где и попищи... У себя я в келье; с тобою, почитай, что с самим собою... Э-эх, жаль, силы мало... Песню бы завел новую. Лежал я вот, жаром меня палило... А песня такая раздольная, прохладная из души потекла... вот ровно бы Волга-река разлилася! Про нее и песню стал складывать... Хочешь, так тебе ее... полуголосом... «Ка-ак...» Нет, силы мало... Ишь, ровно петушок молодой, заверещал гласом-то!.. Потом уж, как оздоровею совсем... А что у нас слышать? Умер царь?

— Что ты? Господь с тобою! Да нешто... Да с чего?

— С хвори со своей с тяжкой... А то — и с Годунова, с его любви да ласки родственной... Который день я лежу? Постой... Шестой уж... Да!.. Да молчал больше... От жару, слышь, сказывали, только и бормотал, нес околесицу... А теперь — хочу время навестать... Говорю, кажись, толком... Не сбавил еще шурина добрый боярин, Борис Федорыч?.. Треклятый... Не забуду ему, как по его приказу, лет с десятков назад, — выпороли меня его разбойники, челядь буйная... Дороги ему скоро не уступил, с дарами ехал... У-ух, Ирод!.. Что же он, дает еще дышать государю милому? Святому молитвеннику московскому? Али уж капут? Говори...

— Жив еще государь. Лучше ему, слышал я нынче наверху, у владыки в покоях.

— Лучше? Ну, значит, скоро хуже буде... Это уж так... Не зря в Москву вся родня Годуновская собрана... Полки в Кремле и кругом стоят такие, которые ему в защиту... Посулы сыпать стал, так и возом не увезешь... За день до хвори до моей... слышал я... от келейника, от владычного... Приятели мы... Толковал Борис с самим... с патриархом... И бает: «Всем повестить надо, не дам церкви в обиду; монастыри — украшать надо, а не земли от них отнимать, крестьян отписывать! Божье брать негоже!» Видишь, куды гнет! По примеру по Иванову — надоумил он же царя: поубавить бы дармоедам земель для рабочих... А как на дыбы поднялись обитатели, он и подыгрываться стал. Может, для того и отбирать начал, чтобы после дать да повеличаться: какой-де я, мол, доброхот вам! И хитрый, Годун энтон... Не дай Бог, тебе с ним столкнуться... Бояр всех — кого запугал, кого задарил, кого — посулами обошел. Помяни мое слово: скоро его дума старая сбудется: царем у нас сядет сам Борис свет Федорович! Годунов, мурза татарский родом, Ирод по прозванию, который детей кровь неповинную проливать приказывал... Увидишь...

Димитрий хотел было сказать, возразить что-то... Но напоминание об углищом злодействе, об умерщвлении Годуновым малютки Евдокии Ливонский, которое было известно многим, — остановило Митю.

В самом деле, не случайно же, не без затаенных целей приказал Годунов совершить целый ряд убийств и казней... Все говорят, все это знают... Люди почтенные, надежные... Любит Сирота веселого Юшку-диакона. Но уважать не может этого скорее гуслира самовольного, чем инока честного... Но все толкуют заодно.

— Что? Не поешь «аллилуйя»? Не творишь молитвы, не тянешь акафисты! Уж это, чтобы про Бориску кто слово доброе зря молвил, — кажись, не бывает это... А все же придется ему крест целовать... Чует моя душенька... Да нет... я сбегу лучше, а не стану... Ироду... кровопийце... детоеду окаянному... Тьфу!

Больной даже плюнул от раздражения и гадливости.

Эти чувства многие разделяли с иноком в то время.

Сирота сидел, смотрел на ярко озаренное луной узкое окно и почти уже не слышал, как продолжал браниться и толковать о деяниях Годунова ненавидящий его инок.

Много таких же рассказов слышал Сирота во время странствий по Руси, и здесь, на Москве. И большее всего казалось юноше слышать общий припев:

— А все же, опричь правителя, некому и землей править...

Да так ли это?

— Слушай, ты лучше меня, брат Юша, знаешь Москву, бояр и воевод всех. Неужто нет ни одного, чтобы мог с ним потягаться?.. Земле помог бы... Стыда чтобы не было, если душегуб, грешник такой, венца похититель, — государем станет...

— Бояры?.. Воеводы-князья? Ха-ха-ха! Чего захотел, приезжий ты, сейчас видимо! Есть дельцы у нас: дьяки думные да приказные, старые: Щелкалов Василий... Ондрей и поумнее был, да стар больно, отошел... Гляди, и сам в обитель сядет... Ступин есть, тоже роду невысокого... Иные там... Лядящий их знает, как их там... Все — чернота, умом да горбом выперлись, без роду, без племени. Нешто можно таким на царстве быть. Они и так служат. А бояры, князья?! Что выше, то хуже! Мстиславский — тряпка, бабий подол, не боярин... Фур-р-рть, фыр-р-рть... Сюды-туды, никуды. Вот и весь он... Шуйские — сумы переметные. Им бы урвать кусок да к себе в вотчины свезти. Царского корня, да мелко плавают... Духу в их мало... Придет пора, что некому будет, тогда и они вперед выйдут... А пока, где свалкой пахнет, их не вызовешь... Могильники они: любят хоронить приходиться да остатки собирать... Там — Бельский?.. Его сторожит Годунов. Сослан был... Теперь — снова призван... А там — опять в дыру, за приставы... Терпит поруганье князь, — значит, и не будет из него ничего. Такому не носить шапки Мономаховой... Есть тут хорошая фигура. Пристали бы ему уборы царские... Да тих, осторожен больно, мало резвости.

— Ты про кого? Про Романова?

— Во-во, про Никиту Федорыча... И любят его все... Вон, швецы, мастера-портные, коли похвалить стан кого надо, и то толкуют: «Второй Федор Никитыч у нас...» Видишь... А это — дело немалое... Да стеснил их тоже Годун. Ровно коршун, над всем родом вьется. Стоит им пикнуть, голос подать, руку к бармам протянуть, — отхватит и с плечиком, уж ты верь моему слову... Знаю я всю здешнюю братию: и святых, и греш-

ных, и Годуновых крошечных! Недарма он на Малютинской на доченьке женат... Много она ему делов понаделала, много пива наварила, много душ на тот свет убирать помогла, ведьма лютая. Чаровница она. От ее отнаговоров и снадобий так головою стал скорбен государь... При покойном царе был он не больно боек, да все же пояснее глядел... А ныне... Эх! Она же, сказывают, с бабкой царицыной стакнулась... Как время пришло царице Ирине, — они на всякий случай девчонку у нищенки украли малую, двух-трехдневальную. А царице Ирине — сына вовсе Бог послал... Они сына-то унесли... куда-то отдали... Задушить приказали... А царю с царицею — нищенкину дочку подкинули... Мол, не дал Господь наследника!..

— Да неужто?.. Грех какой...

— Грех! Кому грех, а Годунову — смех... А ныне, слышал, жив остался царевич-то Иринин... Не поднялась рука у конюха, которому «убрать» дите приказано было... И сдал он его чете одной. Та чета — далеко съехала... А царевич у них растет... поры дожидается, возрасту своего... Отпоет он тогда обидчику людскому, хищнику царскому! За всех воздаст... Только каково глотать Иуде сладко будет? Доживу ли, увижу ли?

При мысли, что когда-нибудь может совершиться возмездие, и поруганная справедливость, злодеем задавленная правда, узнает, наконец, миг торжества, — при одной мысли этой инок залился довольным, тихим смехом...

Тут, от усталости и волнения диакон сразу почувствовал, что глаза его тяжелеют. Он закрыл их — и мгновенно заснул...

А Сирота долго еще сидел и думал обо всем, что слышал сейчас от пронырливого, всеведущего инок... Думал о, может быть, и не существующем царевиче, о сыне Ирины... Шептал:

— Вот хорошо бы было... Вырос бы.. Пришел бы, сказал, кто он!.. И покарал злодея... Радость принес бы всем несчастным, обиженным! Как хорошо быть на месте этого несбыточного, но желанного царевича! Вот если бы он это, Митя?..

Тут светлые круги и точки стали носиться перед глазами юноши...

Так долго грезил он о том, о чем грезили многие, молодые и старые, в эту тяжелую пору, наставшую для Руси.

Когда Димитрий вернулся к Паисию с известием о больном, старец весь был погружен в какую-то работу.

Своим старинным, твердым, сжатым почерком выводил он на листке строку за строкою. И горели оживлением глаза инок, как будто он вел живую, горячую беседу с другом, подобно Сироте с Григорием, а не выводил ровные, черные строки на гладкой, холодной поверхности чистого листка.

Выслушав юношу, инок благословил его на сон грядущий, а сам еще долго сидел и писал. Потом свернул свою работу и спрятал на самое дно ящика, в котором хранились у старца разные книги, отпечатанные недавно и рукописные, как водилось по старине.

Сирота знал, что пишет старец: он собирал все летописи о былых годах...

Но они остановились на смерти Иоанна. И сам старец начал вести дальше правдивый рассказ — от воцарения Федора... Все время вел записи... Собирал длинные документы, записывал слухи и вести, стараясь осторожно отсеять мякину лжи и прикрас от ценного зерна истины.

Иногда удавалось юноше и заглядывать в эти записи. Случайно, а может быть, и умышленно — старец позабывал на час-другой свои листки и уходил куда-нибудь, оставляя в келье Сироту...

Тот жадно принимал к листкам... И находил в них сплошные ужасы, мало светлых точек, громкий клич о возмездии, смелое обвинение того же Годунова... А за последние разы — нашел нечто новое.

Прочел — и почему-то волосы зашевелились на голове у юноши.

Вот что было записано: «А как стало плохо государю Федору, стали бояре рядить и судить: кому царствовать? Одна царица остается наследница. А того и не бывало, чтобы женский пол на престоле сидел. Ольга была, так княгиня... И до возраста сына. Тоже Елена Глинская. И повели советы: кому из князей и бояр крови царской али иных на царстве сидеть по общему выбору? И никак не решили бояре.

Оставили на время, когда Бог пришлет по душу царскую, тогда и подумать.

А тут, неведомо отколе, и слух слыть стал, будто не царевича извели злодеи на Угличе, а иного, подставленного, с царевичем схожего. Да верного пока тот

слух ничего не оказал. Однако бояре все, кто прослышал, — всполошились. Особливо главный самый один».

Тут запись обрывалась.

Раза два или три прочел эту запись юноша. И лишь услышав шаги Паисия, он отошел в свой угол, принялся за свое дело...

А старец, сев на место, заметил что рукопись была тронута, осторожно кинул взор на Сироту, усмехнулся ласково про себя и снова взял в руки перо, чтобы продолжать работу.

Заскользило, заскрипело перо старцево по шероховатой поверхности синееющего на свету плотного бумажного листа.

Близился вечер.

## Х. БОРИС — ЦАРЬ

Прислал Господь по душу царственную.

В первом часу утра, седьмого января 1598 года гулко, протяжно ударили в Успенской колокол — большой, возвещающий всегда о случаях смерти в царской семье.

Умер тихо, незаметно, как уснул, этот добрый, безвольный государь, которому посчастливилось так процарствовать, что даже доброта его не принесла народу несчастья или непоправимого зла, не считая того, какое успел сотворить Годунов, в виде крепки кабальной да ряда личных преступлений, вызванных его неукротимым стремлением к царскому трону.

На другой же день, с неподдельными горькими слезами, проводила Москва в могилу кроткого царя.

А между тем огласили и завещание его. Вот оно в двух словах: «Вручаю державу и все царства свои царице Ирине; как она повелит с ним, так да и будет. А душу свою приказываю — великому святителю, патриарху Иову, Федору Никитичу Романову — Юрьевых да шурина, Борису Федоровичу Годунову...»

Так написано было.

Но перед самой смертью пожелал наедине поговорить с женою умирающий царь. И не посмели отказать в этом. Даже Годунов не втерся третьим в это предсмертное собеседование сестры с ее мужем-царем...

Слукавил, как настоящий праведник, в первый раз

тут Федор: уговорил жену отказаться после его смерти от царской власти, избрать достойного в цари.

Остерегал ее, не посадила бы брата: и царству, и Годунову не ждал он от того добра. Перед смертью — словно провидеть начал этот далекий от мира и злобы его, кроткий сердцем, бедный умом человек...

Умер Федор. Схоронили его.

Ирина свято исполнила словесное завещание, вопреки писанному, которое заготовил Годунов и заставил подписать Федора в свое время.

Не слушая настояний брата, Ирина переехала немедленно в Новодевичий монастырь, — и через день не стало царицы Ирины: была инока честная Александра...

Борис из себя выходил, но был неотлучно при сестре, опасаясь, чтобы кто-нибудь не овладел ее волей, как он это сам делал не раз... И тогда она, согласно писанному завещанию, может посадить на трон другого, не его... Подумать не мог об этом даже Годунов...

И сидели они там, как два обреченных преступника, привязанные к одной тяжелой цепи...

Жадно ловил все вести, долетающие в Чудово, Сирота.

Он, заодно с целой Москвой, понимал, что дело как раз на переломе стоит. Качается стрелка державных весов: на одной чашке сидит правитель, Годунов, давно уже добиравшийся до краев роковой чаши...

А за другую — ухватились уже чьи-то руки... Но еще не видно, чьи... Не поднялась еще голова над уровнем чаши... Только и другая, годуновская, не опускается, висит, колеблется на воздухе... Качается державный маятник... И кто опустится первый, кто перетянет, тот и займет древний, золотой трон Московских державцев, оденет бармы, осенит себя шапкою Владимира Мономаха.

Совсем окрепший после болезни — инок-дьякон Григорий днями дома не сидит, бродит по московским монастырям и дворам знакомым боярским, собирает вести и слухи, несет их домой. Здесь Димитрию передает, с Паисием делится...

Сидят они вечером втроем в келье у старца.

Григорий, не остывший от дневного волнения, стоит и говорит, порывисто поясняя жестами торопливую, даже слегка удушливую речь:



— Не бывало такого! Сестра она, правда, да царица же, помазанница Господня... А он — что сегодня... Увещал ее: «Не для себя, мол, хочу царства! Не почета, не радости ради вериги на себя налагаю, подвига ищу... А должен земли ради власть в руки взять... Не знаешь, мол, ты... А уж враги проведали... Татары сызнова надвигаются. Литва и ляхи снаряжаются... Бояре не о земле думают, местами считаются, перекосятся одни с другими... Потому царя, хозяина нету на земле... Пропадает земля... Народ, царство христианское... И на тебе, мол, грех...» А она ему: «Господь до греха не доведет, как и доныне берег меня! Какова Его воля, Он явит... Кому укажет по голосу всенародному, тому и вручу наследие ангела моего, государя усопшего. Клялась я так ему, так и будет... А тебя прямо он указал: на трон не сажать бы!..» Как сказала, он и затрясся весь: «А, с врагами ты с моими, с Шуйскими, с Бельскими, с Нагими, поди! Им царство отдать собираешься...» Тогда царица уж и заплакала, ужасом объята, руки тянет к нему и молит: «Нагих не поминай! Покарает Господь... И покойный говорил: покарает тебя Господь...» — «Как, ты с царем и про такие дела говорила?.. Меня порочила... Ах ты змея подколотная, не сестра мне... Прочь!..» Да посохом ее... в грудь прямо... Пала государыня, только «ох» негромко молвила... Старицы, что под дверьми стояли, — хотят на помощь кинуться, а не смеют. Ноги у них подкосились. Увидит он, кто речи их слышал страшные, — так со свету сживет... Но, видно, самому не по себе стало, выбежал из кельи царицой... К себе прошел. Тут старицы царице на помощь и поспели...

Слушают, молчат оба: старик и юноша. Тяжелое это молчание...

Конечно, во многих местах по Москве разносились эти же вести, шли такие же толки, как и в келье старца Паисия. Тысячи людей все лучше и лучше узнавали комедианта высшей марки, лицемера-правителя.

Но пока еще докатится волна до глубины царства, разольется по всему простору его, — Годунов работает неумоимо, быстро соображает ходы противников, делает свои выпады, неотразимые, прямо ведущие к цели...

Месяц и десять дней минуло со смерти Федора, а уже успели гонцы развезти грамоты с приглашением

на всенародной земский собор, для избрания нового царя, взамен Ирины, ушедшей в келью... И собрались «избранники всей земли» — попы, служилые, посадские и торговые люди...

Чернь слепо привыкла идти за «вяшшими людьми». А те — давно задарены, посулами закуплены от Годунова или запуганы клевретами его... Новопоставленный первосвященник, патриарх Московский Иов не отстал от тех, которые предавали на смерть Праведника, лишь бы угодить правителю и претору...

Все было пущено в ход. Толпы народные стояли на коленях, плакали, звали на царство Бориса, который теперь заявлял, что недостойн взять «наследье Федора»...

Этой смертельной иронии только и не хватало.

Наконец крестным ходом с чудотворными иконами двинулись выборщики во главе с Иовом в Новодевичий монастырь, где Борис сторожил Ирину.

Народ, согнанный приставами со всех концов и сам поспешивший поглядеть на редкое зрелище, ударил в землю челом... Рыдания слышались вокруг...

И уговорили не только Бориса, но также вдовую царицу, которая неожиданно для всех проявила столько твердости и силы воли.

— Берите брата на царство, если Господь того желает и вы просите сами! Да заступит мое место на престоле!

И, стоящий давно наготове, на самых верхних ступенях, — радостно, грузно опустился Борис на заветное место, на царский престол...

Лицемеря до последней минуты, Борис с наружным сокрушением громко заявил:

— Не дерзал я возносить взора до высоты престола. Но вижу: нельзя противиться мне больше. Буди же святая воля твоя, Господи! Настави меня на путь правый и не вниди в суд с рабом Твоим! Повинуюсь Тебе, исполняя желание народа!..

Мало кто обратил внимание на это скрытое, но всенародное покаяние нового царя. Душа ему подсказала, что Бог станет судить, — так и свершилось...

Но пока — торжествовал Борис, царь теперь и по имени, как раньше был — по власти... Ликовал народ, призванный на бесконечные пиры новым щедрым царем, Годуновым, основателем второй династии царей

на троне полночного государства, занятом больше 700 лет потомками Рюрика.

Торжественно, оглушительно гудели тысячи московских колоколов, как в день великого праздника...

Был со всеми в толпе народа и Димитрий Сирота...

— Да как же это? Почему так? И Господь допустил! — шептал он про себя...

И широко раскрыл он глаза свои, в которых так и застыл немой вопрос...

А Романовы, Бельские, Шуйские, Нагие и простые, не закупленные Борисом люди, дьяк Василий Щелкалов и другие, как бы в ответ на этот не слышимый для них вопрос, — думали:

— Видно, не пришла еще пора... Пусть повеличается... Выше взмоет, — ниже упасть придется кречету залетному, который в орлиное гнездо не по праву засел!.. Дурным обычаем укрепился там. Орленка царственного заклевать решился...

— Так тяжело тебе, говоришь, на Москве стало жить, чадо мое? И безо всякой причины особой? Верю, верю... Молод ты еще... Знаешь многое, что и мы, люди старые... Да, терпеливо ждать, пока пробьет час воли Божией, придет возмездия пора... Не можешь ты этого с горячим юным сердцем... Вижу, понимаю. Не держу тебя, сыне.

Да благословит Господь все пути твои... В Киев собираешься? Дело. И сам я подумывал на время отпустить тебя в те края... Кое-что кой-кому передать бы надобно... Вот теперь и подошла самая пора... Бог, видно, старый хозяин, лучше нас, грешных, все дело ведет.

Мы — черви слепые в руце Божией... Поезжай. Лошадку возьми... Граматку я тебе выправлю подорожную... Да слышь ты... вот еще... Стар уж я... Увижу ли тебя, чадо мое, приведет ли Бог? Кто знает... А по душе ты мне пришелся. Хочу благословить тебя... Да с уговором... Вот тут, видишь, — две ладанки... Побольше и поменьше... На гайтане на крепком, на груди храни их. Береги пуще глаза. Ты уж парень рослый... Шестнадцатый год пошел, слава те, Господи... У царских детей — и лет совершение в эти годы... А ты умом и от княжеских детей не ушел, а то и перешел иных...

Помни же. Носи ладанки. Не гляди их, не трогай. Только тогда открой, когда я весть пришлю, или сам скажу, или писать буду, хотя бы и не прямо, без моего имени... Только напомним — вот, день тут надписываю. «Вторник, февраля дня 28-го, року 1598»... И на грамотке на моей — будет только это число и год стоять. Дадут тебе таку грамотку, — открывай мои ладанки. Там уж знать будешь, что делать с ними надобно. Так обещаешь ли? Клятву дай!

— Клянусь! Слово даю, коему не изменял и не изменю, отче святой: так и сделаю!

## Часть II

# ЦАРЬ ИЗ МОГИЛЫ

### XI. ЗА ГРАНЯМИ

Давно уж это так повелось, что немало беглецов московских за гранью, в Польше да на Литве живет. Особенно — в этом последнем княжестве. Много тут православных своих помещиков и крестьян. Мало чем и отличается местная жизнь от московской, особенно — окраинной.

На Литве жил и умер знаменитый воевода Иоанна Грозного, князь Андрей Курбский. И в мире, и на войне, пером и мечом хорошо умел князь сводить счета с великим «хозяином Московского царства», которому изменил, спасая собственную жизнь, но оставляя на жертву целое гнездо: жену с детьми...

И до, и после Курбского — немало знатного и простого люда московского спасалось за этими гранями от опалы и гнева, от суда или бессудных казней московских владык, царей милостию Божиею, но немилостиных чаще всего и по рассудку, и по собственной склонности.

Сейчас живет там родовитый боярин Михайло Головин, близкий родич казнохранителя Иоаннова, который и по смерти его служил царю Федору по вере и правде. Но смели Головины пойти об руку с другими вельможами, стараясь обуздать властолюбие Годунова, — и поплатились опалой. Еле головы целыми унесли. А Михайло, повторяя, что «бережного — Бог бережет!» — все-таки за рубеж кинулся, собрав все, что мог из своего, большого раньше, богатства.

Вокруг него, как цыплята под крылом наседки, — собрались и другие, менее значительные русские выходцы, которые или бежали навсегда с родины, или по делам на долгое время появились в пределах Польши и Литвы.

В постоянных сношениях находятся эти добровольные изгнанники со своей покинутой родиной. Послов ли посылает Речь Посполитая, либо сам литовский князь от себя, купцы ли собираются к Смоленску ехать товары менять, торг вести, — потому что дальше не пускают «литовских соглядатаев», как окрестили их братья на берегах Москвы-реки, — с каждой оказией идут и возвращаются цидулочки, безымянные по большей части, а порою — и цифирью, загадочным шифром начертанные...

Как раз в пору, когда направился к Киеву Сирота со своим приятелем Юшкой, или Григорием-дьяконом, — неведомо откуда пронеслась странная весть среди московских выходцев, а от них — проникла и в польские, в литовские круги простых и знатных людей...

Заговорили вдруг, пока еще неопределенно, без подробных указаний и объяснений, что царевич в Угличе, на которого послал убийц Годунов, — не погиб. Близкие люди предвидели замыслы Годунова, успели заранее скрыть настоящего царевича, сына Ивана Васильевича, а пал от ножа безымянный ребенок, подставленный вместо Димитрия Углицкого.

Схоронили в могилу убитого. А живого — спрятали добрые люди подальше от глаз и рук Годунова.

Теперь — мальчик подрос, надежды большие подает, и собираются его покровители всему миру открыть тайну, хранимую больше семи лет...

Многих сильно всполошила эта весть. Как-то очень скоро и на Украину проникла она, как будто кто-нибудь нарочно с нею побывал в главных, людных городах и поселках тамошних.

А может быть, иначе даже это вышло. Может быть, в разных местах земли сам по себе народился волнующий слух. Никто не любил Бориса. Все видели, что под прикрытием царских одежд Федора прокрался он к трону, ухватившись за мертвеца, — успел взойти и на престол, когда еще не успели снять с него полуостывший труп последнего Рюриковича. Оставить трон пустым — нельзя было. Думы боярской — как предлагали московскому люду в первый день смерти Федора — признать не захотели, опасаясь многовластия, засилья наглых бояр больше, чем захвата власти одним умным заговорщиком дворцовым.

И Борис воцарился. Не было времени найти иного.

Он не дал опомниться никому... Предупредил всякие попытки.

И Борис сидел на троне. Но он был ненавидим равными и старейшими по крови. Боялись его все. Куда направлял правитель, а после — царь свой тяжелый, сверкающий умом и волей взор, — там хотел он видеть полное повиновение, как бы тяжело ни казалось окружающим исполнять волю умного тирана, даже во благо себе, на пользу общую... Даже сильные чувствовали, что новый царь хочет и может стереть всякую личность в окружающих, уравнивать всех: умных и глупых, добрых и злых, дать им корм и кров, как стаду, и быть надо всеми одним всевластным господином, тем более неугодным никому, что не по праву крови, не волею судьбы, а своей личной энергией достиг Борис высоты величия и власти на земле.

Этого больше всего не прощали ему окружающие, завистливые, ленивые, ограниченные бояре, которые по себе судили и Годунова и говорили, что только одними преступлениями и кознями удалось ему то, к чему стремились многие из них... Ум правителя, его труды и навык государственный сводили на нет.

При таких предзнаменованиях воцарился Борис.

Память о Дмитриии Углицком за семь лет не могла изгладиться в народе. Почти все желали чуда, желали, чтобы этот царевич был жив... Чего горячо желаем, то иногда и мерещится... А что мерещится, чувствуется, — то и сбывается порою, хотя очень редко...

Поэтому возможно, что к концу первого же года царствования Годунова сам собою в разных местах мог народиться зловеший для царя слух о воскресшем из мертвых Дмитриии-царевиче...

Но, во всяком случае, очень и очень многие люди, только охраняя свою безопасность, старались тайно сеять такие вести...

Сидя за рубежом, обеспеченный и от приставов, и от доносчиков годуновских Михаил Головин первый стал разглашать опасный слух... Его подхватили, — а там и пошло...

В игру сейчас же вмешалось католическое высшее духовенство, как будет видно дальше.

Но пока — затрепетали тысячи грудей, услышав радостную, хотя и невероятную, чудесную весть:

— Царевич Дмитрий жив! Объявится скоро и на

Москву пойдет, у душегубца Годунова трон и царство отбирать...

Около месяца спустя после ухода из Москвы двух друзей: диакона патриаршего монастыря и неведомого сироты-переписчика, юного послушника той же обители, — Иову донесли об исчезновении двух человек, состоявших в его свите.

— Писец просился-де, послушник, в Старицу, к родне. А Гришка-диакон и ранней, бывало, гуливал... А тут, говорят, с первым за дружбу пошел... Как дружки они...

Этим докладом подневольные люди хотели снять с себя ответственность на всякий случай... А сами они знали, что оба приятеля уже далеко, в Киеве самом, если не дальше.

Сначала Иов не обратил внимания на доклад. Бродячие иноки были заурядным явлением тогдашней жизни. Пришли к нему случайно, неведомо как, побыли, послужили, а там — и ушли в иное место, когда поманила их мечта...

Только позже, когда до Иова докатился опасный слух о царевиче, — он насторожился и тоже, как человек «подневольный», оберегая себя и друга-царя, поспешил с сообщением к Борису, которого милость и сила возвеличила безличного старика, бывшего владыку Ростовского, в достоинство первого из князей российской церкви.

Был конец 1599 года.

Когда Иов вошел к Борису, тот сидел мрачный, с горящими глазами и, едва ответив на обычный привет, показал столбец, измятый, скомканный в сильных, судорожно стиснутых пальцах:

— Слыхал, отче? Чем промыслять вороги наши стали?.. Лежебоки все эти, козней строители лукавые, недруги земли и царства погубители! Романовы с Нагими, Бельские с Трубецкими да с Шереметевыми... Шуйские главные всему злу заводчики с Суровыми да с Куракиными... Вся эта орда несытая, московские захребетники, дворовые приживальщики! Другие — лямку тяни, а им — пеночки сымать! Что удумали! Как царство замутить хотят... Слухи воровские пускают... Слыхал, чаю, о них?

— Нет, государь, о чем сказывать изволишь, невдомек мне, — слукавил осторожный старик.



Этим он показал, что слухи еще очень слабы, если не дошли до него, до патриарха Московского. Да и с себя снимал ответственность за то, что вовремя не сообщил об уходе двух своих слуг.

Почему-то вдруг подумалось теперь Иову, что между слухами и этим бегством есть какая-то несомненная, хотя бы и отдаленная, связь.

— Ладно, добро... Пусть сеют ветер... На голову свою! Бурею крыши с ихних же палат высоких, а то... и головы с плеч снесет... Милостив я был доселе... Прощал, дарил, не зря сказал при венчаньи, что последнюю рубаху снять готов, только бы люди в моем царстве нужды да зла не знали... Они мешать желают в этом... Так я мозги ихние, тупые, лукавые с придорожною грязью смешаю! Царя Ивана припомню для них. Да гляди, не так слепо стану разить. По выбору... Да пытаться велю, похитрее Малюты... Положу над водою — и жаждой заморю. Детей ихних...

Тут вдруг Борис остановился, вспомнил о своих детях и огромным усилием воли укротил порыв.

— Пусть же берегутся нам вредить и губить царство! Землею всюю, Богом избран я. На Бога идут. Он их и покарает... С чем ты, святой отче, припожаловал? С добром али с худом? Что-то лицо у тебя великопостное, хоша и не та пора сейчас?

— Так, повидать тебя пожелалось, а тут заодно вести, говоришь ты, пришли. Какие, государь, сын мой возлюбленный?

— Про Димитрия, про царенка Углицкого... Неведомой женки седьмой, женищи незаконной беззаконное дите. И жив бы он был, — не царевич, не трону наследник. Мало ль их, таких, у государей бывает? Всех и на трон сажать? Места не станет... А умер, допустил Господь, сам себе конец положил, — и буде. О чем толковать? Нет, вишь! Оживить мертвеца надумали, из могилы поднять хотят. Не умер-де. Другого-де убили злодеи подосланные. А кому подсылать надо было, а?!

— Вестимо, некому было, государь, чадо мое. Ясно дело: не нужен и не страшен был им для кого мальчонка, седьмой жены сын.

— Ну вот, дело говоришь, отче! А они... У-у, треклятые... «Жив Димитрий»... Слыхал?

— Да что ты! Да неужто!.. Творец Небесный. Вот она, злоба дьявола! О-ох...

— Да, диаволы, верно, отче-владыко святой... Диаволы! Мертвецом пугать задумали. Поиспужаю я их... живыми палачами... Ну да ладно... Так про что ты, владыко?

— Да дело и пустое вовсе! Был диакон у меня на подворьи, лядаший человечина. Грамотей только бойкий. А иные сказывали — и чернокнижьем не брезговал. Да я не верю. Нет того дела, милостию Божией, у нас на Москве. И раньше, бывало, загуливал он. Пропадал на время.

— Ну, ну, что же? Не тяни, отче.

— А ныне — и вовсе сгинул.

— Молодой, старый? — словно соображая что-то новое, важное, спросил быстро Борис.

— Так, средних лет. Тридцать два либонь тридцать три ему... за тридцать, скажем. Не более. А в Старицу к родне отпросился он, сказывают. Я там расспросы завел: сказывают, не было их там и не приходили вовсе они.

— Они?! Кто еще там «они»?

— Да с ним, с диаконом, с Гришкой с Отрепьевым, паренек еще увязался. Писцом у меня сидел. Больно четко да скоро писать был мастак. Вот и он за тем, за Гришкой, увязался. Обоих нет... Поискать бы не велишь ли... про всяк случай...

— Он, за тем?.. Парнишко, говоришь? А велик ли?

— Годов семнадцати, поди, или больше годком... На возрасте парнишко. Смышленный такой...

— Звать как? Собою каков?

— Димитрием звать, Сиротою... Крепкой такой... лицо широкое, прият... Да что с тобой, государь? Григорь Васильич, дохтура зови... Что с государем!

Григорий Годунов, бывший тут же, сам уже кинулся за дверь, испугавшись того, что стало с царем.

Вскочив с кресла, Борис взмахнул руками, ухватился за ворот рубахи и разорвал его, как будто воздуху не стало в покое. Лицо его приняло багрово-синеватый оттенок, глаза выкатились из орбит, побелелые сразу, пересохшие губы ловили воздух, судорожно раскрываясь и сжимаясь. Глухой удушливый хрип послышался из груди, которая поднялась высоко и не могла никак опуститься, заработать с обычной силой и ритмом.

Несколько мгновений продолжалось это, затем грудь стала порывисто дышать, лицо потеряло свой

ужасный мертвенный оттенок, глаза снова вошли в орбиты.

Когда Григорий Годунов вошел обратно со Щелкаловым, не ожидая доктора, за которым послали людей, — царь махнул им рукой.

— Не зови никого... не надо... Бывает это со мной. Удушье мое обычное... Пустое.

Хриплый, усталый голос Бориса звучал так странно. Он избегал встретиться взглядом с окружающими, как будто поднялись в нем воспоминания о каком-то постыдном, никому не ведомом, полузабытом деле, совершенном в прошлом и не искупленном еще.

— Добро, владыко святой... Мы тут подумаем. Звать как... тово... парнишку? Ты сказывал, кажись? Да не расслышал я... Кровь в голову вступила. Прозванье его какое? Знать нам надобно.

— Звать?.. А вот невдомек, верно ли сам я памятую? Так, был... самый невидный паренек. Твердо и не вспомню... Мишка ли? Митька ли? Митька и есть. А прозвание? Да, Сирота! Так прозвание одно и было ему — Сирота.

— Безымянный! Димитрий? Добро. И на том спаси ты Бог, отче-владыко, что в пору нам сказал... о Сироте... о Мишке ли... Митьке ли? — снова овладевая собой, обычным властным, слегка укорливым тоном заговорил Борис. — Час добрый... Со Христом!..

Проводя патриарха, Борис обратился к дьяку Щелкалову:

— Ты тут дожидался? Добро. Слушай: вести знаешь? Конечно, к тебе первому дошли. Отец святой нас порадовал... Спусти лето — по малину послал... А все же на грани на все, на Украину, на Крымскую череду, а особливо на Литву, на проезды и проходы к ляхам, в их сторону объезды послать большие... Ни туды, ни оттуда никого бы без обыску не пускали, хотя бы и с нашими листами подорожными. Приметы обоих тех... беглых из Чудова, узнать хорошо да списать вели. Может, еще тут они, у нас... Изловить — и ко мне. А ежели там — и там их найдем: рука у меня длинная... О Григорье, об этом, об Отрепьеве, написать можно будет в розыске... А про того — молчок!.. Поймать надо... Безымянного! Его — пуще всего! А называть не надо. Чтобы толков лишних не было... Хитро: Димитрий Сирота. Понимай как хочешь... Ловко!.. Ну да пусть не

веселятся дружки-бояре... Я их подстегну почище, чем они меня собираются. Я их!.. О-ох, Господи, прости мне грехи моя тяжкие! Бог не допустит до зла земли своей христианской... Иди, Вася. Да чтобы тихо все... Без говору без лишнего. А то еще и у нас, и за гранью помыслит кто, что я тени, призрака глупого испугался... Затеи хитрой, вражеской боюсь. Я! Ха-ха-ха... Ступай, делай. Ты, Вася, бывалый, умный мужик. Сам смекнешь, как все надобно.

— Уж будь покоен, свет-государь. При тебе делу привык, как лучше. Спокоен будь. Челом бью, государь. Спаси ты Богородица и вси святии ангелы, с царицей и с царевичем и с царевной, красотою нашею. В другое челом бью!

Пятясь, вышел из покоя Щелкалов.

— Дети, дети мои! — прошептал скорбно Борис и, ни слова не сказав Григорию, вышел и направился на половину сына Федора, чтобы взглянуть на детей.

Борис знал, что, что бы ни случилось, как бы тяжело ни было на его старой, источенной грехами душе, — один взгляд на детей вселял отраду, исцелял все душевные язвы, приносил ему желанное забвенье.

## ХII. ГОНЕЦ ОТЦА ПАИСИЯ

— Хе-хе-хе! Почуял занозу в лапе! Кольнуло в грудь железом. Взревел! Теперя сам ползет на рогатину... Рвать и метать учнет кругом... Сам первый и надорвется! Слушок единый прослышал — и уж не свой стал. А что будет, как дело въявь объявится? — заметил Шуйский, когда дьяк Щелкалов улучил время и передал ему, что произошло у царя во время посещения Иова.

— И то уж собирается. Бельским бы шепнуть, стереглися бы... И Романовым, Федору с роднею. На них опалился больше всего. Тебя не тронет он, боярин... Опасается, что люди все московские торговые за тебя. Да и с патриархом с отцом дружен тоже живешь... А уж других перебирать почнет! Я уж знаю... Гляди, почнем на днях и указы опальные писать, в ссылку готовить...

— Ништо, пускай! А мы его еще подстрочим маленько. Вот, я сейчас туды и метнуся. Ровно бы не

знаю ничего. На кого он сам думает, еще его наусь-каю. Все одно, беды не избыть. Чем он лютее, тем ему конец скорее, татарве проклятой... Еще нет ли вестей каких?

— Да так, ничего. Разве вот... — дьяк совсем понизил голос, словно опасаясь, чтобы стены покоя Шуйского не услышали ничего. — Брат Паисий в Киев, к иноку одному печерскому писаньице шлет братское... Може, и от тебя что будет передать?

— Нет. Покуда ничего. Бельских спросить надо. Им ближе дело... Да Романовых... с подружием своим, со всеми чады и домочадцами. Челом бью...

— Ладно, спросим уж. Здоров будь пока, боярин, свет Василь Васильевич.

Так закипела Москва при вести о первом отблеске тени Димитрия Углицкого, которая и сама реяла еще где-то за пределами телесного взора людей, в области их надежд, мечтаний и дум...

Как пишут современники-летописцы, еще до появления в Украине первых вестей о воскресшем углицком царевиче, до обнаружения хотя бы следов его на Руси или за гранями, Борис, не говоря, что вызывает такую ярость, стал преследовать несколько боярских родов и вообще «страшен являшеся», по выражению одного из самых добросовестных и снисходительных историков Бориса, Авраама Палицына.

Было это как раз в 1600-м и в следующих годах.

Тень тени Димитрия смяла все планы хитрого государственного мудреца; как карточный замок, сдунула все плоды многолетних трудов и тайных преступлений.

В самой Польше и на Литве, где суждено было разыграться первому акту исторической трагедии, толком не знали ничего. Только год спустя послал Жигимонт пана Пильгржимовского к Борису с дружеским упреждением о волнующих вестях...

Только два года еще спустя, в 1604 году, Борис устами своих пограничных, черниговских воевод князей Михаила Кашина, — Оболенских и Татеева — в первый раз громко заявил, что он знает о существовании самозванца, знает даже, кто этот дерзкий, а именно — «чудовский расстрига-диакон, Гришка Богданов Отрепьев, Юшко по-мирскому».

Но лживое слово Борисом было сказано, имя названо, — когда молчать дольше оказалось невозможным.

Большое войско стояло наготове перед русской гранью и собиралось судом Божиим, кровавым поединком выяснить, кто прав, кто виноват из двоих: похититель власти, Борис, или неведомый юноша. Самозванец, Лжедмитрий, как его называли при Московском дворе, «царевич Углицкий», — как звали вождя его рати и весь народ русский.

Между тем, даже до начала 1600 года, тот, чьим именем смутили покой мудрого царя Бориса, мир двух соседних народов, — сарматского и московского, — юноша Димитрий Сирота слышал разные вести о воскресшем Иоанныче, волновался ими наравне со всеми... Даже предчувствовал что-то великое, страшное своей юной, чуткой душой. Но наверное не знал ничего.

Те, кто незримо охранял дитя от колыбели, — еще медлили, выжидали таких дней, когда последний удар явится страшным, неотразимым, смертельным. Они знали Бориса, знали свой народ...

1600 год застал Сироту в Печерском Киевском монастыре.

И здесь, как и раньше, хотелось ему вскрыть ладанки, полученные в Москве от старца-учителя, узнать, какая тайна скрывается за этой сероватой холщовой обложкой, такой плотной, прочной.

Но юноша вспоминал свою клятву, говорил себе, что нельзя быть неблагодарным, надо верить человеку, который был всегда добр, оказал столько услуг бедному, безымянному мальчику.

«Но здесь, в этих свертках, наверное, и кроется тайна моего имени, моего рождения...» — думал юноша. Рука уже тянулась разорвать, разрезать крепкую ткань... Взглянуть, увидеть, понять...

И тут же падала обратно.

Неукротимый во всех своих желаниях, Сирота умел обуздать себя в настоящем случае.

— Наверное, для моей же пользы приказал мне ждать честной отец... Он не похож на остальных — объедал, опивал монастырских... Святой души старец. Послушаю его. Клятвы не сломаю, чтобы Бог не покарал меня...

Обе ладанки остались нетронутыми больше года.

Живой, понятливый, Димитрий успел за это время ознакомиться с украинской речью, схожей во многом с общим русским говором и в то же время совсем свое-

образной, певучей, мягкой такой. Молодая, богатая память помогла юноше сделать большие успехи за очень короткое время. А затем еще скорее овладел он и польским языком. На людных улицах, на шумных площадях веселого торгового города прислушивался Сирота и к немецкой речи, какую можно было здесь слышать чаще, чем на Москве.

Тысячи сильных новых ощущений наполнили душу юноши, на время как бы отвлекая его от одной неустанной мысли, от желания узнать: кто он сам? Есть ли кто-нибудь в мире у него близкий, или на самом деле он — круглый, бездомный сирота?

Приютился юноша у того же монаха Гервасия, к которому направил его из Москвы наставник-инок.

Особняком, беленькой веселой мазанкой с камышовой крышей стояла келья инок, тоже ведающего монастырские книги и рукописи, составляющего хроники, как его московский приятель.

Здесь — свободнее все говорится про Москву и больше можно узнать, чем живя там, на месте. Правда, и ложных слухов немало кругом носится. Да кто знает московских людей и дела ихние, — сразу поймет, что правда, а что прибавлено в каждом слухе, в каждой вести, идущей из-за рубежа московского.

Мирно, в молитве, в работе, в прогулках текло время Димитрия. Он еще был слишком юн, чтобы изведать и другие стороны жизни — кутить или вздыхать по темным очам, по вишневым губкам киевских красавиц, «дивчат и молодиц», как они здесь называются.

Южная зима настала... Крещение близко.

Вдруг неожиданный, дорогой гость появился в келье Гервасия, поздоровался с ним по чину, поклоны отбил и после обратился к остолбенелому Сироте.

— Что же стоишь, чадо, ровно Лотова жена посолонелая? Али не признал?! Челом бью!

Гость, инок Чудовской обители, отдал поклон Сироте. Тот прямо на шею к нему кинулся.

— Отец Авраамий!.. Вот не ждал! Как тебя Господь занес? Да как выехал с Москвы? Надолго ль к нам? Что отец Паисий?.. Наши все? Господи, вот радости Бог послал!..

И даже слезы радости выступили из глаз, покатались по рдеющим щекам Сироты.

— Все, слава те, Господу. Челом тебе бьют, шлют

благословение свое, навеки нерушимое, сиротке бедному...

И старик благоговейно осенил голову юноши своею дрожащей рукою. Очевидно, он был очень взволнован, как будто не знал, с чего ему начать, как приступить к делу, ради которого явился сюда с далекой Москвы, да еще зимою.

Передохнув немного, инок продолжал:

— Приставы с Москвы на Смоленск выехали. Послов тамо будут встречать больших: Сапеху Катцлея со товарищи. Едут в нашу сторону для мирного договора на вечные времена... Вот я с ими, с приставами, и увязался, выпросился у игумена... И по монастырским делам, к Смоленскому отцу игумену... И для своих нужд... В Смоленске приставы-то долго еще поджидать послов будут... Я сюды и пробрался с обратными, с попутчиками, по ямам по проезжим... Близко, благо, тут... Тебя повидать... и братьев иных в обители... Недалеко, толкую...

— Совсем рукой подать, коли Долгоруких взять, — кланяясь инокам, подхватил диакон Гришка, вошедший на эти слова, — с приездом али с прилетом! Как челом бить, не скажешь ли, брат Авраамий?

— Здорово, брат Григорий... Вот ты тут! Тебя и не хватало... Все балагур мирской, по-старому?

— Нет. Тута моложе стал. Видишь: браду отпустил, наусие, обмирщился, чернечий кафтан скинул, казацкий жупан вздел. Ладно ли? Что скажешь?

— А мое ли то дело? Чем плохим чернецом, лучше добрым мирянином быть, так я думаю. А там, Богу знать...

С приходом Отрепьева Авраамий стал иной, словно сжался весь, каждое слово взвешивает.

— Так, так, умное слово. И сам я так думаю. А что на Москве нового слышать? Как царенька, милостью Божией да пищалью стрелецкою? Слышно, лютует теперь, не хуже покойничка Грозного царя, Ивана Васильевича?

— Ох, Гришка, ох, худой твой умишко! Висеть тебе на дубовой на перекладине! Уж больно ты востер, как вижу. И был таков, да и стал не хуже...

— Не охай, брате мой, друже. Коли висеть мне к судье задом, так и тебе — со мною рядом. Так мы всюду: заодно и вместе. Выкладывай лучше свои вести!



— Да ты что? И впрямь в скоморохи записался, круговая твоя голова?

— Нету. Собираюсь к пану воеводе Острожскому в челядинцы. Все бы готово, да он сам не идет, меня к себе не ведет... За малым дело стало. Вправду, не томи, говори, что творится в Белокаменной? Хоша и горем полна, да все родная сторона, своя мать, а не мачеха... Как там у вас?

— Слушай, дай слово молвить... Я скажу все... Не жалко. Тут шпыней, чай, нет Борисовых, от которых житья не стало никому, от самого владыки и до смерда последнего... Беды у нас, ох какие беды! А как прошел слушок один...

— Какой такой? Про царевича?.. М-да, энто Борису не мед!.. Что еще будет! Донцы тут есть по обителям... По обещанью, с молитвой пришли. Толкуют: только бы им, казакам, себе получить того царевича! Все как один станут... Имя какое, что твоя хоругвь Пречистая, которая Димитрию Донскому на татар помогла. А этот, из мертвых воскресший Димитрий, поди, с одним татаринном — легко управится... Да еще туда отцы ксендзы всполошились... Бывает, что и с ними сводит меня Господь... Говорят, что за истинного царевича и Литва и Речь вся Посполитая заступится. Больно уж наш московский государь скороспелый надоскучил им всем. Сердит, да не милостив!.. Дале что?

— Да ты, почитай, половину сказал. А от другой — немного и осталось... И прежде чисто было круг царя Феодора. А круг Бориса — еще чище стало. Мало и бояр-князей осталось на Москве. Кто в ссылке, кто в петле, иные под лед спущены, на вечное успокоение... Ни тебе Сицких, ни Быкасовых либо Шереметевых... И Романовых, и Мстиславских... Бельского Богдана было вернул, а ноне опять упрятал... Ровно в склепе, тихо во дворце царском... Из чужих — одни Шуйские уцелели покамест... да и то не все...

— Шуйские? Первые вороги его... Особливо Васенька, кот-мышелов, ласковый, тихенькой, коготочки востренькие, лапочки бархатеньки... Он — жив, не сослан? Не «выбыл», как покойный царь про убиенных писать приказывал? Иван Васильевич государь?..

— Жив! Заручка у него сильна. Московские люди все... Новгород, его буйная дедина и отчина... А тут еще сестра царицы Марьи, Катерина Григорьевна, —

замужем, как ведаешь, за Димитрием Васильевичем Шуйским, за родным братом князя Василия. Она их дюже и выручает...

— Угу... Одно я в толк взять не могу: коли всем так нелюб Борис, чем он держится? Народ — одна сила на Москве... Не сотня наемников иноземных. Свои ратники не пойдут против народа... Что же бояре дремлют? Взять да и...

— А ежели взять пока нечего? Убрать одно — другое надо на место ставить; пусто место чтобы не было. Не подобает того в царстве. Боярам волю дать, каждый себя выставит. Особливо — Шуйские. Мстиславский и Романовы. Все один другого опасаются; а царя — пуще всех. Вот друг дружку и сшибают, руки вяжут один другому... А чего иного еще не приготовлено...

— Угу! Не приготовлено... разумею... А слышь, Митя, гляжу я на тебя... Чай, Евангелия не так ты слушаешь чтение, как наши речи житейские, про дела царские? Что, ежели бы бояре шутку сшутили? И годами и видом ты подошел... Парень хоть куда... Тебя бы в эти, в Димитрии постановили... Имя и то одинаковое. Перекрещивать не надо.

От неожиданности Сирота как сидел, так и застыл, откинувшись немного назад, будто призрак встал перед ним, пугающий, грозный...

Бледный, с расширенными глазами, он стал красив и странен, как никогда.

А гость, заметив волнение юноши, ворчливо заговорил:

— Слышь, ты, челядинец Острожный, Острожский ли, не ведаю, как сказать. За такие шутки на Москве — оба вы на первой осине качались бы! И он, безвинный, с тобою. Да и здесь за негожие речи не похвалят. Убери язык в подполицу, коли во рту ему тесно...

— Ну буде, не бранись! И то, зря сболтнул. Вон, Митя испужался от слова от глупого. Что ж бы это, коли бы... Молчу, молчу... Дале что?

— А дале — устал я... Отдохнуть бы где, брат Гервасий, у тебя можно ли? Здесь?

— Добро... А ты что же все молчал, Митенька? И не спросил ни о чем.

— Да я слушал... А скажи, отче, проводить тебя можно ли будет, как на Смоленск повернешь?

— Что, али по Москве соскучился? Не знаю, подумаю... Тут надо мне вам с Григорием еще слово сказать... Слышь, о вас, об уходе вашем и до царя вести дошли... Как уж, не ведаю. И сам приказывал он: ловить вас обоих... Наговорено на вас, будто черно-книжием займаться вы надумали. Для того и за рубеж ушли... Так дело ли теперь нос в капкан совать?

— Ого! И до нас милость царская докатилась!.. Какие мы птицы стали важные, слышь, Митя... Ну, уж ты один Москву проведать сбирайся. Я тебе не подорожник! Слышал? Что молчишь, правда, нынче? Али обещанье Богу дал? Молчальником стал?

— Нет, Гриша... Ладно, я потолкую с тобой, отче, подумаем. А охота была отца Паисия повидать! Как живет святой старец?

— Бог милует. Видел я его перед самым выездом перед моим. Он и сказал: помни брат Авраамий, спроси Митеньку, записан ли день у него, который я ему сказывал... Пожди, припомню я... Кажись так: «авторник, февраля». Да, стой! Память у меня девичья... Вот тут есть написано. Рукою старцевой. Поминанье, какое он заказал тебе править по усопшим. «Вторник, февраля, 28 дня, 1598 року». Вот бери, помятуй... Помолися, сыне!

Дрожащей рукой, молча принял Сирота листок и быстро спрятал его на груди.

Брат Гервасий и Гришка-диакон, толковавшие о чем-то, мало обратили внимания на то, что произошло.

Авраамий скрылся в соседней каморке, где улегся, кряхтя и отдуваясь.

А Сирота, отдав поклон, быстро вышел из кельи, оставя в небольшом недоумении друга и инока печерского.

### ХІІІ. СИРОТА — ЦАРЕВИЧ

Холодный воздух, охвативший юношу за дверьми кельи, оказал ему большую услугу. Он смог овладеть тем вихрем ощущений и мыслей, от которых сейчас там, в келье, огненные круги и пламенные языки закружились у него в глазах.

Так вот оно, наконец... Тайна раскроется. Кто же он? Кто?.. Чьего роду-племени?

Кинулся было Димитрий в один-два уголка, где можно было бы на свободе открыть ладанки. Зашел в одиноко стоящую баню, сейчас совершенно пустую.

Никто не заметил, как он туда пробрался. Но окна низенькие в ней. Завесить их изнутри — покажется кому-нибудь странным, что в праздник окна закрыты в этом помещении. Да и заглядывали сюда порой люди за водой.

Вздумал было в церковном алтаре, опустелом после службы, укрыться... Но туда сторож может войти.

Кинулся в глубь монастырского сада, забрался в заросли, полужасыпанные снегом, хотел уже достать свой клад.

И молнией озарила его мысль: широкий след остался на снегу, когда он бежал сюда. В праздники много народу в саду бывает. Увидят следы, Бог знает что подумают и накроют его...

Дрожа от волнения и от холода, — вылез Димитрий и пошел озираясь, словно Каин, гонимый всевидящим оком мстителя.

И внезапно новая мысль озарила его:

«В школу. Там уже совсем пусто... А он возьмет Евангелие старинное, большое, бумаги, перьев. Будто по обещанию, переписывает Слово Божие. Если кто набежит — ничего не увидит. И посмотрит там он свои ладанки. Бумаги лежат внутри. Он уж нащупал давно. А в меньшей — еще что-то твердое, будто кусок железа. Инока, верно, благословение. От матери, от отца. Кто они? Кто?»

С этим вопросом он забрался в просторный, светлый покой, опустелый, как и все это крыло обители, отведенное под школу.

Целая горка книг заслонила Сироту от взоров каждого, кто мог бы неожиданно войти сюда. На столе лежали куски бумаги и раскрытое Евангелие.

Выведа дрожащею рукою несколько строк на всякий случай, Димитрий огляделся еще, прислушался. Кругом царила глубокая тишина. Только за окнами ярко светило зимнее солнце и слышался праздничный говор и шум...

Складным ножом быстро и ловко вскрыл Димит-

рий обшивку меньшей ладанки, а губы его все шептали:

— Кто же, кто они? Моя мать... мой отец?

Сунув за пазуху оболочку ладанки, Димитрий развернул толстый кусок пергамента, лежащий внутри.

Что-то блестящее, круглое покатилося со звоном по столу, выпав из свертка.

Димитрий быстрым движением перехватил предмет, не допустив его упасть на пол, и увидел у себя в руках — золотую гривну средней величины.

На ней четко выделялся знакомый Димитрию профиль царя Иоанна Васильевича. Кругом — шел титул царский и полное имя государя.

— Что это? Казна мне, что ли? Дар от родителей? Видно, жалованная была им гривна от царя. Большой был, значит, человек отец мой. Дальше погляжу.

Он совсем развернул пергамент.

В нем лежала завернутая в хлопки и тонкую тафту еще какая-то вещь.

Сняв оболочку, Димитрий увидел довольно большой тельный крест, литой из золота, тяжелый, осыпанный крупными изумрудами и рубинами. Несколько больших жемчужин заменяли сияние над изображением Распятого, тонко вырезанного из золота же.

«Да это царская святыня», — подумал Димитрий. Быстро расстегнул ворот и надел на шею цепочку, на которой висел крест.

Теперь Димитрий стал разглядывать странную пожелтелую хартию, в которой лежали оба дара, словно из гроба кем-то посланные ему.

Станный чертеж с изображениями звезд и планет был представлен на пергаменте. Надписи поясняли чертеж.

Внизу было написано красивым почерком что-то по-немецки. А еще ниже помещен был перевод, старинным почерком, с завитушками: «Гороскопиум, сиречь звездочетное начертание жизни, предстоящей княжичу Углицкому, царевичу Димитрию Московскому и всея Руси. 19 дня месяца октемврия, 7090 году».

Дальше шло изъяснение предсказания Якоби, как он давал его царю Ивану.

По мере того, как Димитрий читал и начал все понимать, когда поверил тому, что не сразу понял, — неодолимый страх овладел душой юноши.

Он готов был бросить все, что хранил так долго и свято... Хотел кинуться, убежать... чтобы не нашли его никогда... Чтоб он сам не нашел путей ни сюда, ни на Москву, которую вдруг так живо увидел перед собою, словно бы раздвинулась стена этой комнаты и за нею стоял далекий, огромный, пугающий его город, столица его отца, царя Ивана... Его столица, царевича Димитрия! Конечно, это он — Димитрий Углицкий... Что будет? Что теперь будет с ним... и с Русью?

Вдруг ужас схлынул. Неукротимая радость залила душу юноши. Он вскочил, потряс руками, словно хотел обнять кого-то. Слезы брызнули из глаз, лились неудержимо, быстро... струей... Едва мог удержаться Димитрий, чтобы не зарыдать громко-громко и радостно.

Но вот новая мысль, как ледяной водой, обдала его с ног до головы.

Да есть ли основание думать, что этот царевич, убитый, как все знают, в Угличе, и он, Димитрий Сирота, — одно и то же лицо? Как могли спасти его? Об этом никто не говорил ничего верного... Да и не узнает никто. Стоит указать, как и кто спасал царевича, так царь Борис живо вознаградит за усердие этих людей...

Почему же он, Сирота, и есть спасенный? Не сказано тут этого... Вещи?.. Бумаги? Они, может, так, для какого иного дела ему переданы... Еще есть ладанка. В нее надо заглянуть. А пока этот гороскоп снова сложить и спрятать в его прежнюю оболочку, на старое место, на крест... На этот царский, драгоценный клейнод!

Достав холщовый мешочек, Димитрий там нащупал теперь еще какую-то бумажку.

Быстро достал, раскрыл сложенный пополам узенький клочок бумаги и прочел на нем знакомым почерком начертанные несколько слов, всего две строки: «Челом бью князю Углицкому, царевичу Московскому и всея Руси».

Подписи не было. Но Димитрий знает руку Паисия...

Снова огни и звезды закружились в глазах.

Так это, значит, он — спасенный Димитрий!..

Но как же его спасли?

Спрятав первую, кое-как сложенную ладанку на груди, — Димитрий лихорадочно вскрыл второй, больший сверток.

Здесь он нашел полный список с завещания царя Иоанна Васильевича, список с дознания об углищом злодеянии, где все места, противоречивые и явно нелепые, все, что говорило о пристрастном допросе, — было подчеркнуто и пояснено; тут же лежали показания тех, кто говорил не по желанию Шуйского и Клеши-на, и все были подписаны. Третий документ представлял как бы рассказ о завещании Иоанна «некоторым своим боярам и служилым людям», без означения их имени, осторожности ради...

Завещание это касалось царевича Димитрия, которого следует скрыть от возможных покушений со стороны врагов... Дальше шел рассказ о выполнении царского завета, о том, как был подменен царевич, куда отослали ребенка, сдав на руки чете старых, благочестивых однодворцев в Старице.

Имена снова были опущены. Но Димитрий знал эти дорогие имена... Конечно, их не следует называть. Если старики умерли, а Борис проведает, так кости ихние выроет, всю родню изведет... Хорошо, что нет имен. И он, Димитрий, пока не сядет на свой трон, до поры полного своего торжества, поклялся не называть ни одного имени, чтобы не повредить кому-нибудь из тех, кто берег его, заботился о нем столько лет, неутомимо, осторожно и так успешно. Эти же люди, конечно, и дальше позаботятся о нем, доведут его до трона. Он теперь уверился в этом.

Больше в рукописи ничего не было. Но дальнейшее знал и сам Димитрий.

Бережно сложил бумаги, спрятал их на груди, как было.

Огляделся, прислушался — кругом прежняя тишина.

Но сейчас она наполнилась для юноши какими-то голосами, звуками, звоном оружия, ржанием коней, как он видел не раз, при появлении царя или правителя перед рядами московских ратей... Он видел торжественные выходы... Слышал какую-то дивную музыку...

Звучали хоры, звенели арфы... Грозные полки сшибались на просторе зеленых полей... Высокие дворцы с золочеными кровлями темнели над зубчатыми стенами...

Бесчисленные толпы народа радостно встречали кого-то и падали ниц...

Устремив глаза за окно, где солнце стало уже опускаться к горизонту огромным, багряным шаром, — сидел Димитрий и видел сны наяву...

— Что с тобою? Где ты был, Митя? Я уж некоторое время ищу тебя... — встретив товарища, стал спрашивать было Гриша-диакон. И остановился.

Лицо Димитрия было какое-то измученное, черные круги обозначились под глазами. Но оно все сияло и светилось, как у праведника!

— Да что с тобой? Скажи на милость!

— Ничего, Гриша... Я уснул... долго спал... Снилось мне, что я умер... вознесся в небеса, к Богу... Дивно было мне там... И так не хотелось ворочаться сюда, на землю... где муки и горе... и страх...

#### ХIV. ИСПОВЕДЬ

Странное чувство овладело Димитрием.

Его неудержимо потянуло в Москву, в его Москву, в его столицу! Он знал этот большой, крепкий Кремль с его дворцами, эти посады, торговые концы, шумливые и грязные, зеленеющее Замоскворечье и Занеглинье... Все знал, всюду выходил... И все же он совсем не знал их.

Только теперь он увидит «свой», настоящий город, столицу могучего, богатого царства, одного из обширнейших на земле!

Авраамий не стал отговаривать Димитрия, очевидно догадываясь, что это делается не зря. Что же касается опасности попасть в руки врагов, — вероятности для этого было слишком мало. За два года Димитрий выровнялся, изменился, особенно пополнил и казался много старше своих восемнадцати лет.

Наконец, дело так устроилось, при помощи брата Гервасия и других, что Димитрий очутился в свите литовского канцлера, посла Льва Сапеги, в коротком казакине, в шапке набекрень, — бравым конюхом, а не смиренным, бледным послушником, каким его знали и помнили на Москве...

И он побывал там... Видел гробницы своих предков, целовал их, обливал слезами... Видел старых друзей:



Паисия, Игнатия, — издали, не выдавая себя, не тревожа их напрасным страхом.

Но долго он не оставался в Москве. Только в августе 1601 года выехал обратно посол. А Димитрий, теперь — Игнаций Лешко, умчался на Литву, как провожатый одного из членов посольства, которого отправлял с некоторыми сообщениями на родину Сапега.

Побывал в Польше Димитрий и у боярина Михайлы Головина, не открывая еще своей тайны.

Изредка, через разные руки, получал он наставления, писанные знакомой рукой: что делать, кого повидать, как говорить, если о чем спросят.

Прочитав и запомнив грамотку, Димитрий сжигал ее сейчас же.

И точно поступал согласно указаниям далеких, даже неведомых ему друзей.

У Головина нашла его одна такая грамотка, где говорилось, что надо скорей оставить эти места. Тут уже нащупали кое-что клевреты Бориса, которых за деньги царь имел повсюду...

Ему советовали побродить по дворам знатных польских панов, указывали имена таких беспокойных, честолюбивых панов, которые не откажутся от самого опасного предприятия, лишь бы оно сулило побольше выгод и почестей.

Там Дмитрий должен прислушаться: что толкуют о появлении царевича? И если представится удобный случай, — он уже сам может воспользоваться им. Дан был совет опасаться католических ксендзов.

Сообщали Димитрию, что в текущем 1601 году прибыл в Москву нунций папы, легат Дидак Миранда и Фра-Коста. Просят они проезда в землю персидскую. Но, как удалось узнать, очень занял папу Климента, нового первосвященника Римского, слух о воскресении царевича Димитрия. Он и поручил своим послам разведать повернее: в чем дело? Где этот царевич? Нельзя ли использовать чудесного обстоятельства, прийти на помощь новому царю и заручиться за это влиянием на Москве?

Много писали Димитрию. Много он и сам узнавал...

Особенно когда попал ко двору князя Адама Вишневецкого. Здесь кипели вести и слухи. Пань открыто говорили:

— Не явись этот Димитрий, его надо было бы создать, как Бога для людей... Вот — бич, наконец, на Выскочку, на Годунова!..

То же говорили и при дворах других литовских и польских вельмож, где удалось побывать Димитрию то в виде слуги, то под рясою нищенствующего, бродячего монаха, бредущего за сбором из Киевской Печерской обители...

У Адама Вишневецкого слугою решил пожить подольше Димитрий, пока придут вести из Москвы, что можно начинать, что настал час столкнуть с престола наглого захватчика.

А эту весть можно было ожидать со дня на день.

Как будто судьба сама, не только люди — вооружилась на преступного Годунова.

Когда Димитрий был с Сапегою в Москве, уже и тогда голод охватил целую область Московскую.

Ужасы рассказывали про озверелых от голода людей. Матери пожирали своих младенцев. На рынках продавали пироги, начиненные человеческим мясом. Заманивали в дома людей, убивали и поедали их... Люди питались навозом, солому жевали и гибли тысячами... И трупы находили могилу в желудках своих же собратьев-людей...

Множество трупов коченело зимою кругом Москвы, по течению реки, в соседних, окрестных селах и городах...

Весною трупы стали разлагаться...

Лисицы, волки набежали из лесов на даровой, обильный корм, забегали даже в города.

Зараза, мор — пришли на помощь голоду, который длился и второй, и третий год...

Борис выходил из себя. Старался смягчить бедствие, раздавал огромные суммы денег, отыскивал и привозил запасы старого хлеба, сберегаемого много лет в скирдах...

Но это не приобрело ему любви и благодарности ни от кого.

— Не свое дает небось... Царскую казну захватил — и сыплет... Да и то — не полной рукой. Горсточку кинет каждому, думает — и дело сделал! — говорили те, кто получил что-нибудь от щедрого царя: человеку никогда не бывает довольно того, что посылает ему судьба...

А те, которым почему-нибудь Борис не мог или не успел помочь, — роптали еще с большим основанием, кричали о несправедливости, о злых намерениях царя: убавить народа, чтобы легче было справляться с остальными...

Много всего говорилось... И мало — в пользу Бориса. Все — в осуждение и в укор новосозданному, свежеиспеченному царю.

Очень не любит славянский народ «новичков» нигде и ни в чем; а уж на древнем троне своем — и подавно...

Всякие беды, по словам народа, послал на Русь Господь — за тайные грехи Бориса, за Углич — особенно. Так стали толковать открыто в народе, хотя годуновские сыщики и тащили неосторожных в застенки.

Димитрию сообщали обо всем.

И казалось ему, что пора...

Скоро и неведомые друзья тоже прислали ему только одно слово: «С Богом, начинай!..»

Это было при дворе Адама Вишневецкого, в конце 1602 года.

Брагино, или — Бражня по-польски, называлось поместье.

Как назло, захворал здесь Димитрий.

Должно быть, от постоянного внутреннего напряжения — упорная, сильная лихорадка овладела им, жар лишал порою сознания, и юноша бредил, бормоча странные, малопонятные окружающим речи... Может быть, и просто та же жестокая болотная лихорадка, которою страдал дьякон Григорий, — привязалась и к Димитрию, всюду побывавшему за последние годы, — и в плавнях днепровских, и в болотах на Волыни.

Когда жар спадал и сознание прояснялось, — ужас охватывал Димитрия: а вдруг он умрет, не изведав до конца того великого жребия, который выпал на его долю здесь, на земле?

— Нет, не может быть! Не должно так случиться, — сам себе возражал он. — Не для того Господь хранил и вел меня много лет, чтобы я кончил дни свои в этой казарме для панской челяди, на жестком ложе, где пришлось в мешке с соломой, заменяющем матрас, прятать царские клейноды!.. Я оправлюсь... Должен

скоро оправиться, чтобы приниматься за дело! Мне уже двадцать лет... я зрелый муж, не юноша, не ребенок... Пора за дело!..

И это могучее желание как будто на самом деле осилило недуг.

Димитрий почувствовал, что ему становится лучше...

Но тут же новая мысль блеснула ему в тиши ночной, когда он лежал с широко раскрытыми глазами и думал, думал без конца: как это начнется? Чем это кончится? Где и когда?..

«Пожалуй, мне могут не поверить, хоть и сами желают видеть меня... Вон, готовы «создать» Димитрия, если бы не явился он... А все же могут усомниться!.. Лучше, если сразу поверят...»

И он надумал.

Дня три или четыре все больше стонал и жаловался больной, когда кто-нибудь появлялся у его постели... Голос его звучал все слабее и слабее.

Наконец, он подозвал одного из пахолков-сослуживцев и попросил:

— Стас, сердце, не позовешь ли мне попа... Либо инока здешнего из монастыря? Помираю... Надо душу освятить, причаститься, исповедаться, как велит наша вера...

Желание умирающего было исполнено. Явился настоятель Брагинского монастыря, где пришлось слечь Димитрию, — и приготовился слушать исповедь отходящего конюха князя Адама Вишневецкого.

— Во имя Отца и Сына... Можешь ли говорить, чадо мое? А то я дам немую исповедь и причащу тебя... Бог облегчение посылает со своим святым причащением... Веруешь ли, чадо мое?

— Верую... Сам исповедь принести желаю, — еле слышно заговорил Димитрий. — Великая тайна давит меня, ровно жернов, навалилась на грудь. Может, от нее и вся моя хворь, святой отец...

— Тайна? Великая? Говори все, чадо... Я слушаю тебя...

И любопытный инок ближе подвинулся к Димитрию, оглядевшись только: нет ли кого тут поблизости?

Но они были одни.

И слабым, рвущимся голосом повел Димитрий свой рассказ... Сначала передавал по тем сообщениям, какие были в присланной ему рукописи... Потом —

и дальше, что сам он помнил и пережил с шестью-семи лет...

По мере того как разворачивалась нить рассказа, инок-исповедник менялся и в лице, и в позе своей.

Нижняя губа тряслась теперь от волнения, любопытства и страха... Он сел не по-прежнему, развалившись, а подтянулся, подобрал полы рясы, поджал на поясе руки и слушал, склонив на правое плечо голову, приоткрыв рот с отвислыми, полными губами.

Когда Димитрий кончил и слегка застонал, словно от боли, — инок вскочил, отвесил низкий поклон и забормотал было:

— Милостивый государь, твое царское ве...

Но вдруг сдержался, опомнился...

— Постой... Ну, помираешь ты... Лгать не станешь... А все же, какие у тебя есть еще доказательства? Может, морочили тебя самого, а ты теперь людей и Бога обмануть собираешься, помимо своей души и воли? Есть ли что?

— Есть... для того и звал тебя, отче... Приими завещание мое... Вот тут, под изголовьем в сеннике — свертка два... Взял? Гляди: бумаги все тут, о коих говорил... И крест царский... Цены ему нет... Не украл я его... Мой он... И гривна золотая. Краденое — сбыл бы с рук... Вот и приметы все: видишь, на лице родинка бородавчатая... Синеверхая вся... А вот... под сосцом — и знак царский... Видишь: пятно красное, словно орел двоголовый... Вот, все тут со мною... А есть и люди, у вас тут, на Литве, скажу, ежели спросят, укажу их... Они, поди, видели меня и на Москве, и в Угличе. Под присягой покажут, кто я таков: моего ли отца сын али обманщик злой, самозванец, как на Москве враги мои толкуют... Вот...

И, словно ослабев, Димитрий умолк, закрыл глаза. А сам из-под ресниц выглядывает: что скажет инок?

— Ну, видно, правда... Челом тебе бью, царевич Димитрий Иоаннович! Дай тебе, Господи, на царство на твое сесть невредимое... Меня помяни тогда... Ты уж не посетуй... Я должен теперь все князю Адаму довести... Дело не малое... Тут — головою пахнет...

— Не надо, отче святой... Жил я в рабстве, так и помру! Благодарение Богу, что увел Он меня от ножа

злодейского... Я не стану брани подымать, идти войною на родную землю... Так и помру, как жил, питаюсь от трудов своих...

— Ну, это уж как хочешь... Хотя и вовсе не питаюсь. Твоя царская воля. А я повестить должен...

И вышел прочь исповедник.

## ХV. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Прошел час, другой... Игумен не вернулся. Никто другой не являлся к Димитрию.

Ночь настала... ночь прошла...

Много передумал за это время Димитрий.

Порой чудилось ему, что крадутся во сне люди с ножами, хотят напасть, вонзить сталь в грудь ему, покончить с царевичем и со всеми последствиями, какие могут явиться, если Димитрий останется жив.

То он как будто видел, что послали кругом вестников... И собираются толпы простых и знатных людей. Они придут, ударят в землю челом и воскликнут:

— Здрав буди, царь Димитрий Иоаннович Московский и всея Руси на многая лета..

А иногда ему казалось, что где-то собрались судьи и решают: убить его или заточить навеки, ослепив сперва, как это было с Василием Темным...

И Димитрий уже подымался, чтобы одеться, вывести потихоньку коня и ускакать во тьме ночной далеко-далеко отсюда...

И, переходя от надежды к отчаянию, — не свел всю ночь очей Димитрий, потрясаемый к тому же сильным ознобом, снова овладевшим телом юноши.

К утру только слегка забылся Димитрий. И увидел он причудливый сон.

Видит он себя ребенком, там, в Старице. По свежему майскому лугу гоняется дитя за мотыльками. И очутился на берегу озера.

Как в зеркале, отразилось его изображение в спокойной, чистой воде, — только не в светлой, белой одежде, а в чем-то, словно залитом пурпурной влагой.

— Кровавый мальчик! — говорит чей-то голос.

Отражение ребенка в воде исчезает. Он стоит перед темной пещерой. И сразу вырос, возмужал. На нем бо-

гатое снаряжение витязя, все с золотой насечкой, осыпанное самоцветами. И тяжелое копье в руке, меч — в другой...

А из пещеры с шипением, со свистом выбрасываются на длинных шеях головы громадных змей... Огнем пышет от них...

Он ударяет мечом, колет копьем... Головы скрываются. Крутая лестница мимо пещеры ведет на вершину высокой горы... Лес темнеет по сторонам... Начинает подниматься Димитрий. Чудища выходят на дорогу, извиваются, бьют крыльями, грозят когтями, жалят, скалят зубы и отступают перед витязем... Ратники в черных доспехах с тусклым взглядом мертвецов выходят и нападают на него... Сталь звучит о сталь... Уже трудно стало витязю.

Вдруг он догадался, берет меч за острие, рукоять крестообразную показывает страшным ратникам, — и те распадаются пылью...

Выше идет витязь... Вот и вершина горы. Лес исчез. Даль необъятная видна, веселая, ясная, как с высоты днепровского берега, там, в Киеве...

Но сразу темнеет ясное небо... Черная, большая птица с железным клювом и когтями летит на витязя, окутанная тучами...

Ударил в птицу мечом витязь... Сломился меч... с жалобным звоном пало на землю в куски разлетевшееся лезвие... Копьем ударил — вдребезги расщепилось копье... За шею гибкую, змеиную схватил витязь птицу... Душит, а она снялась и полетела с ним... Все выше, выше... Уж и горы не видно...

Руки отнял Димитрий от шеи зловещей птицы... А сам не падает на землю, выше, выше летит... И только видит, внизу — на ложе царском — лежит нагой кто-то, сложив руки на груди, смежив глаза... Это — тело его, Димитрия... И жаль ему того, который там... И чужд ему тот, внизу оставленный...

А сам он выше летит... Себя уж не чувствует... Вдруг — выстрел, как раскат грома, разбудил его.

С удивлением огляделся Димитрий.

Дверь избы, где он лежал, была широко раскрыта. За ней стояло несколько человек челяди, его сослуживцев. Игумен стоял у постели.

— Ты спишь, чадо? Лежи, лежи... Лучше, что ли, тебе дал Господь? Приказал господин твой, князь

Адам, перенести тебя в другую горницу, почище. Больно неприглядно тут... Несите, детки...

Люди вошли, не понимая: отчего такая честь простому конюху? — и понесли ложе с Димитрием, поставили его в одном из запасных покоев флигеля, предназначенного для приезжих гостей. Светло и чисто было здесь. Когда Димитрия переложили на удобную постель и челядь вышла, инок передал юноше все, что взял у него день тому назад.

— Вот твои клейноды, сын мой. Береги их... Что будет с тобою — увидим... Ты сам скоро услышишь. А покуда — поправляйся! Христос с тобою...

Благословил и ушел.

Еще несколько дней пролежал почти одиноким Димитрий. Заглянул доктор князя, лысый, старый итальянец, дал что-то принять, пощупал пульс, посмотрел язык, подавил бока больному и пробормотал:

— Мalaria гравыссима... Теперь — хорошо... Теперь — пройдет...

И сам ушел.

Уж когда совсем стал поправляться Димитрий и сидел на постели, бледный, исхудалый, — появился тут и сам князь Адам, веселый, беспутный кутила, игрок и мот, известный по всей Речи Посполитой, но добрый, простой малый.

— День добрый, вась пане, — обратился он радушно и вежливо к своему недавнему слуге, — как чувствуете себя, ксенже Деметриус?.. Так нужно звать вас, как вы говорите?

Димитрий удивился немного.

— Благодарю вельможного пана за ласку и внимание, — по-польски заговорил Димитрий. — Меня действительно так зовут — Димитрий, князь Углицкий... И я извиняюсь, что вводил в заблуждение вельможного князя, приняв роль слуги... Прошу принять мою благодарность за хлопоты и внимание, оказанное мне теперь...

— Служу вельможному князю! Рад буду, если и дальше чем буду пригоден. Я уж дал знать брату моему, князю Константину... От него был гонец... Если пожелаете, оправясь конечно, — поедem к нему... Это недалеко...

— Служу пану вельможному, князю Адаму... Хоть завтра готов. Теперь мне лучше.



— Хвала пану Иисусу и Пречистой Матери Божьей Ченстоховской! А не позволит князь позвать сюда ксендза Игнатия? Нам обоим было бы интересно выслушать от вас все то, что открыли вы на исповеди вашему игумену...

— Прошу вельможного князя... Я готов...

Скоро появился духовник князя Адама, ксендз Игнатий Ронцевич, высокий, тонкий, гибкий, как рапира, патер с бесстрастным лицом и глазами ищейки.

Им обоим повторил Димитрий свой рассказ.

У патера в руках была какая-то книжка, вроде записной. Во время рассказа он часто заглядывал туда, словно проверяя что-то.

Когда Димитрий умолк, ксендз мягко заметил:

— У вас, пан, чудесная память... Так слово в слово почти передавал рассказ и отец Кондратий, игумен Брагинский... Так само...

Князь Адам, очевидно, остался доволен.

— Теперь мы дадим вам покой, вельможный княже... А там... если будете в силах... У нас все готово...

С поклоном оба оставили Димитрия.

С небольшою свитой, словно бы безо всякой особенной цели, выехал князь Адам к своему прославленному брату Константину. Тут же и Димитрий, одетый шляхтичем средней руки.

Вообще, все так делается, чтобы и прилично было, и шуму поменьше. Если что неприятное выйдет, нетрудно и отречься: мол, все ложь и наветы — не возили никакого царевича никуда...

Недоверчиво принял Димитрия Константин. Не так он покладлив, как брат его. Но тут случай помог. Нашелся углицкий выходец, Петровский некий. Услыхал он, что воскреснувшего царевича привезли, пришел взглянуть — и в ноги ему кинулся:

— Государь, солнышко ты мое! Привел Бог увидеть! Сразу признал я тебя, свет ты мой!

Конечно, это был самообман. Почти шестнадцать лет прошло, и трудно было сказать: тот ли это юноша, которого видел ребенком угличанин?

Но ему поверили... Явились скоро и другие свидете-

ли, поважнее. Головин подтвердил истину слов Димитрия...

Оставшись с братом и двумя ксендзами, князь Константин обратился к своему духовнику:

— Как вам кажется, святой отец: лжет или нет молодчик?

— Может быть, он сам обманут... Но нет обмана в его речах... Верит глубоко юноша, что он — Димитрий, царевич спасенный... Все возможно. Царство Московское такое, где все тайной покрыто... Там и раздолье всяким подменам...

— И обманам...

— Пожалуй! Но... подумать бы стоило, если бы знать даже, что это ловкий обман... Такую бомбу бросить под московские башни... Чего это стоит!.. А вдруг — удача улыбнется юноше... И мы — первые поможем ему достичь этой удачи! Какие услуги должен он взамен оказать и вере католической святой, и Речи Посполитой, и тем людям, которые возвеличили его? Подумайте, князь Константин...

— Хорошо, я подумаю... Брату Адаму то же самое пан ксендз Игнатий толковал... Я подумаю. А пока — дальше вези его, пан брат. Вербуй ему друзей и союзников. Поглядим, как шляхта вся отзовется на речи этого сладкого говоруна.

— Добре, пане брате... Повезу...

Дальше поехали князь Адам и Димитрий.

У Юрья Мнишка, воеводы Сандомирского, больше удачи нашел Димитрий. Гостил тут и воевода Острожский, Михаил Ратомский. Еще немало панов съехалось.

Старшая дочь Мнишка, Урсула, была княгиней Вишневецкой, женою Константина.

Младшая, Марина, еще ждала женихов. И немало их съезжалось в замок радушного хлебосола, пана Юрия.

Здесь все к сердцу приняли рассказы и надежды Димитрия. А больше всех — старик воевода.

Дали знать в Вильно, легату папскому, который немедленно приехал ради такого важного случая.

Гонцы скакали во все концы... Приезжали и уезжали паны... Судили, рядили: есть ли надежда поднять дело и довести до конца?

Все решили, что успех почти обеспечен.

Вести одна другой чернее доходили сюда из Москвы, со всей Руси...

Тогда Мнишки — старик воевода и сын его, Ян, староста Саноцкий с Павлом, кузеном, воеводой Лукомским, — выпытывать начали осторожно: что бы Димитрий дал людям, которые быстро помогут ему достигнуть Московского трона?

— Полцарства отдам! — ответил сразу Димитрий.

— Ну, это много. Пожалуй, и на меньшем сговориться можно... Вот, первое: царица нужна царю Московскому. Думал ли об этом царевич Димитрий?

Вспыхнул Димитрий. Воспитанный иноками, он всеми силами подавлял в себе врожденное влечение к красивым девушкам.

Вопрос, поставленный так прямо, причинил даже некоторую боль чуткому юноше. Но дело шло о короне, о царстве Московском. Надо отбросить всякие предрассудки.

— Конечно, жениться я не прочь... На ком только?

— Мало ли невест на Литве и в Великой Польше? Не первый раз Московские государи берут подруг себе в нашей земле... София Витовтовна, прабабка вашего высочества, ваша родная бабка, Елена Глинская — наши родички, с нами были одной веры... Но, конечно, в старое, грубое время должны были менять ее... Вы же поживете с нами, познаете истинную католическую религию, мать всех других... Сдается, и сами не захотите оставаться в вашей схизме, вельможный царевич...

Дух перехватило у Димитрия. Вот куда они ведут! Изменить вере?! Но он не спорит, слушает внимательно.

Долгая, подневольная жизнь инок, потом — слуги научила его выдержке, терпению с людьми.

— Я погляжу, подумаю... Готов ознакомиться с верой вашей, как уже знаю язык. Что дальше?

— Если Бог даст, вы остановите выбор на одной из девиц, какие будут предложены вам, — за нею придется записать на вечные времена Новгородскую землю и Псков, старинное наследие Литвы... А за тестем будущим — Смоленск с его землею, то, что недавно еще было нашим... Согласны ли?

— Согласен. Дальше!

— В этих областях — свобода вере нашей полная... А также и на Москве — должны, по примеру всех просвещенных великих западных потентатов, — дать свободу католическим ксендзам и монахам всех орденов... И кроме того, если сами озарите душу свою светом истинной веры, — должны обязаться в течение года или двух — ввести католическое исповедание по всей земле... Верьте, не трудно будет это совершить. Народ ваш темен...

— Хорошо, я подумаю... Наверное, соглашусь, — сказал Димитрий, сделав усилие над собой и видя, что пять пар зорких глаз впиваются в него.

А про себя, в душе, дал клятву: никогда не исполнить этого, если бы даже теперь пришлось дать для виду обещание...

## XVI. ПРИЕМ У СИГИЗМУНДА

Много дней держали Димитрия в Самборе, как в почетном плену.

Скоро и невеста была ему найдена.

Панна Марина сразу пошла в атаку на неопытного Димитрия.

Он потерял голову от ее взглядов, рукопожатий, от ее постоянной близости...

Несколько свиданий в тишине немого, тенистого парка — довершили быструю интригу...

Марина привела Димитрия к отцу и сказала:

— Царевич делает мне честь: просит моей руки. Что скажете, батюшка, и вы, и вся родня наша?

— Спросить недолго. А я — благословлю от души... Не сейчас, конечно... Немного погодя, когда у царевича Димитрия вырастет царская корона на голове... Не так ли?

Дело было быстро порешено, и торг завершился.

Не довольствуясь словом, Димитрия заставили присягнуть при легате папском, при многих знатных паннах.

Он внятно произнес свою клятву...

Но, хорошо усвоив уроки иезуитов, которые несколько недель уже заботились просветить его душу, — Димитрий буквально произнес, а потом написал по-польски следующее:

«Клянусь и обещаюсь, — если Бог допустит, когда я сяду на трон царей Московских, предков моих, — дать за нашею царскою печатью на вечные времена грамоту супруге-царице нашей, Марине Мнишек, в полное владение область Новгородскую и Псковскую со всеми землями, принадлежащими к ним. А тестю нашему — Смоленск, тоже со всеми землями, и миллион золотых деньгами немедленно по вступлении в Москву. И в тех областях вольно ей, супруге нашей, царице Марине, исповедовать свою правую католическую веру, и пускать ксендзов, храмы и часовни ставить, и в Смоленской земле, а также по всей остальной земле Московской и во всех царствах, какие под нашей рукой. И если через год не введем католической веры в царстве нашем — вольна царица Марина от нас уйти и развод получить, али бо если пожелает, то еще один год потерпит. Два года всего. И в том клянусь и крест целую. Деметриус, царь».

Ликуют Мнишки.

Даже не сразу внимание обратили, что не так говорил и писал Дмитрий присягу, как было написано в ее проекте.

Там стояло: «Клянусь и обещаюсь, когда допустит Бог и сяду я на трон...»

А Дмитрий, — словно по ошибке, говорил и написал: «Клянусь и обещаюсь, если допустит Бог, когда я сяду»... и т.д.

— Что это значит, яснейший царевич? Как будто иной смысл носит присяга, слово ваше царское? — задал ему даже вопрос отец Марины.

— В чем, вельможный пане? — с невинным видом задал, с своей стороны, вопрос Дмитрий.

Полууспокоенный этим ясным, невинным лицом, Мнишек, словно мимоходом, заметил:

— Так тут что-то... Стилистика... Ошиблись вы просто, яснейший царевич... Ну да не беда!..

Ликовал Дмитрий! Теперь — он свободен от клятвы. Не может допустить русский Бог до того, чтобы православную веру народ заменил католической!

И его душа чиста перед небом. Клятва дана так, что он может ее по-своему понимать и выполнить.

Получив такую запись, — Мнишки и Вишневецкие — в начале 1603 года в Краков, к королю повезли

Димитрия. А раньше собрали там же всех русских дворян и простых людей, которые за это время приходили поклониться Димитрию и твердо повторяли, что узнают Иоаннова сына в этом порывистом, отважном юноше...

Отсюда же, из Самбора, были посланы Димитрием первые точные вести на Украйну, к мятежным казакам.

Шляхтич Феликс, или по-польски — Сченсный, Свирский, литвин, — поехал посланцем на Дон, на Украйну...

— Поезжай, Сченсный, вези счастье мое! — сказал ему Димитрий на прощанье.

И другие подсылыщики, запрятав грамоты Димитрия в подошвы лаптей, в дорожные посохи, в рваную одежду нищих, под видом которых они проникали в Московскую землю и дальше, до Украйны, — все эти люди сеяли теперь полными горстями вести о Димитрии, семя возмущения против царя Бориса...

Немало дней в Кракове пришлось прождать Димитрию, пока паны и главные сановники католической церкви, с легатом Ранкони в качестве застрельщика, — уговорили Жигимонта III принять царевича Димитрия Углицкого на частной аудиенции.

— У нас мир с Москвой, мир с Борисом, — отвечивался Жигимонт, — а я стану принимать явного врага царствующего там государя! Идет ли это? Достойно ли меня самого и всей Речи Посполитой?

— Благо народа — высший закон для государей! — ответил уклончиво, поговоркой, умный легат. — А польза для народа вашего несомненная получится из этого свидания. Будет оно неофициальное, как и все сношения вельмож наших с этим отважным юношей.. За него — все: и реликвии, клейноды царские, которыми он владеет, приметы, наружность, которую признают живущие здесь москвичи и жители Углича... Он получает часто вести из Москвы, очень важные вести. Значит, и там у него сильные друзья... А держава Борисова слабеет день ото дня. Казаки идут на подмогу этому Димитрию. Свои его встретят, чуть он явится, с колокольным звоном. Мы имеем верные сведения о том... Только военные рати Бориса немного будут помехой. Но и то, надо думать, ненадолго. Словом, это — будущий царь Московский... Надолго, нет ли,

сказать сейчас нельзя. Но он им будет! Здесь и там все этого желают... И он годится в цари... Лучшего — создать нельзя было... Молод, решителен... Умен и — гибок, когда надо... Теперь он гнется в пользу Речи Посполитой. Но если Речь Посполитая ему не поможет... За что же он станет платить или давать что-либо? Он захочет взять... А Стефан Баторий, в его годы, — был именно таким, каков сейчас наш гость из Московии, Димитрий, князь Углицкий. Я это говорю вам, ваше крулевское величество.

Первые сановники короны поддержали нунция.

И назначен был день приема.

Просто совершилось все, как просто делалось остальное дело, как тихо ковался трон здесь, в Польше, для Димитрия.

— Вы будьте свободнее с королем, — учил Димитрия легат, у которого перед аудиенцией обедал Димитрий. — Он важен на вид, осторожен, как надо быть мудрому государю, но он очень добрый человек... У него мягкое сердце... Я вам расскажу его историю...

И иезуит дал целый урок царевичу, незаметно для него самого...

Карета, в которой привезли во дворец нунция и Димитрия, остановилась у маленького подъезда; замеченные только дежурными и часовыми, проследовали оба гостя на собственную половину короля.

Пройдя ряд красиво, богато убранных покоев, Димитрий с нунцием очутился в кабинете короля.

Жигимонт с мало свойственной его важному лицу ласковой улыбкой стоя встретил гостей. Один только королевский секретарь, Александро Чили, был при этом свидании.

Монсиньор представил Димитрия.

Король дружелюбно протянул ему руку, которую впечатлительный юноша прижал к своим губам.

Стараясь отнять руку, король с отеческим поцелуем коснулся лба своего гостя.

Все сели.

Димитрий начал теперь перед Жигимонтом говорить, чуть ли не сотый раз, свою чудесную повесть спасения и дальнейших событий жизни.

Необычайный слушатель придал особенное воодушевление рассказчику.

Ничего не изменяя, Димитрий вложил столько огня, убедительности и силы в свою печальную повесть, что король неподдельно был растроган.

Димитрий кончил. Настало небольшое молчание.

Секретарь осторожно дал знать царевичу, что теперь надо на время удалиться, оставить на свободе Жигимонта и монсиньора Ранкони.

Едва вышел царевич, Жигимонт заговорил:

— Он убедил меня... Он не лжет. Но...

— Еще есть «но», ваше величество? Какое, не могли ли узнать...

— Вы нам говорили, что он втайне принимает католичество, оставаясь по виду схизматиком до той поры, пока можно будет открыть правду московскому народу?

— Вот его запись. Папа шлет ему свое папское благословение...

— Вот-вот... Значит, и другие католические владыки будут помогать этому Димитрию, не я один?.. И, если победит Борис, — я не останусь лицом к лицу с разозленным, опасным, бешеным медведем? Верно, монсиньор?

— Никогда. Разве надо гласно идти в эту авантюру? Нисколько. Можно дать денег, помочь советом, не мешать вербовке солдат... А там по времени... Ну, вы уж сами решите тогда...

— Да, да, вы правы... Так будет хорошо. *Vivat Demetrius... Pereat Borissus... Moscovia — atque, — Deigratia...* Пане Чили, зовите гостя.

Волнуясь, как перед казнью, появился Димитрий.

— Не имеете ли еще чего-либо нам сказать, — обратился к нему Жигимонт.

— Немного, ваше королевское величество, — бледный, сжимая свои похолодевшие пальцы, заговорил Димитрий. — Вы сами знали неволю... Родной дядя заточил в темницу отца и матушку вашу, Катерину Ягеллонку... Вы — родились в тьме тюрьмы, и Господь поставил вас в сиянии и блеске, на высоте трона... Вам ли не знать, что значит изгнание, нужда, лишение законных прав, царства и рода!..

Слезы вдруг невольно задрожали в голосе, брызнули из глаз у Димитрия.

— Я ничего больше не скажу. Буду просить только: помогите мне, как вам Господь помог! Гонимый, жду от вас спасения и помощи...



Димитрий умолк, отирая слезы, склонив смиренно голову.

С веселой, ласковой улыбкой приподнял свою шляпу Жигимонт и заговорил:

— Да поможет вам Бог, Московский князь Димитрий! А мы, выслушав вас, рассмотрев ваши свидетельства, несомненно видим в вас сына Иоаннова! В доказательство искреннего благоволения нашего, назначаем вам 40 000 злотых на содержание и другие расходы. Сверх того, как истинный друг Речи Посполитой, — вы вольны сноситься с нашими панами, пользоваться их услугами и вспоможением. Накройтесь, садитесь и поговорим еще с вами о делах поподробнее...

## ХVII. ПОБЕДА

С этой минуты удача как будто окончательно подрядилась служить Димитрию.

Взяв королевскую субсидию, он кинулся на Украину. Меньше чем через год под его знаменами собралось до полутора тысяч всадников, казаков, литовских витязей и польских шляхтичей да человек 500 пехотинцев, не считая значительного обоза, нескольких легких пушек и мортир.

Борис, судя по его действиям, от страха потерял всякое соображение.

Он посылал воевод с отрядами, приказывая им «брать на поток», ровнять с землею свои же города, как было с полуразоренным Угличем, жители которого смели-де в свое время спасти, укрыть Димитрия.

Смоленскую область также выжгли и разорили воины Борисовы, когда этот древний город перешел во власть нового претендента на трон Московский...

Борис сам писал и заставил духовенство писать различные грамоты, чтобы убедить Русь и целую Европу в самозванстве Димитрия.

Грамоты эти противоречили одна другой и не достигали цели, — наоборот, подрывали последнее доверие к московскому царю, Борису...

Нового государя открыто ждали на Москве.

И скоро дождались... Лавиной шел со своими вой-

сками Димитрий от границ царства в самое сердце его и остановился только на короткое время в Туле.

В один год совершил он почти бескровное покорение обширного Московского царства, которое только однажды удалось покорить хану Батю и больше никому!

С августа 1604 по май 1605 года совершалось это победное шествие Димитрия, омраченное лишь поражением при Добрыничах, 10 января 1605 года.

13 апреля, в три часа пополудни, не стало на свете царя Бориса.

По общемуговору, видя, что все погибло, — Годунов сам осудил себя и собственной рукой привел в исполнение суровый приговор: принял яд.

Похищенную им корону и царство он завещал сыну — Федору Борисовичу, юноше шестнадцати лет.

Но это роковое наследие принесло только гибель юноше.

В конце мая на Лобной площади большими толпами стал собираться московский торговый и служилый люд.

Бояре и приказные из Кремля тоже постепенно собирались, узнав о стечении народном.

На Лобном месте стояли два посланца от Димитрия. Запыленные, усталые, — они были окружены толпой жителей пригородной Красной слободы, куда, собственно, приехали прежде всего.

Там объявили посланцы, что истинный царь, Димитрий Иоаннович, уже подошел к Москве и шлет грамоту своим людям.

Обычно Годуновы перехватывали всех посланцев Димитрия и тут же казнили их, не давая возможности обратиться к народу.

Теперь вышло иначе.

Грозные посланцы, окруженные толпами защитников, были вне власти годуновских клеветов.

И с высоты Лобного места прозвучала грамота Димитрия. Димитрий писал:

«Посылали мы не раз в царственный град Москву гонцов своих с нашими грамотами, милость и прощенье обещали, если придут к нам верные подданные наши, весь люд московский, челом добьют и заключат в узы семью похитителя Годунова, неправо завладевшего царством, наследием нашим от покойного брата царя

Федора и отца, Иоанна Васильевича. Но не было ответа, — видно, потому, что перенимали Годуновы посланцев наших. Ныне в последний раз шлем слово наше царское и ждем изъявления покорности добровольной от нашего престольного города, чтобы не пришлось кровью залить непокорное упорство рабов».

Таков был смысл обширной, витиевато составленной граматы.

Но не надо было Димитрию ни грозить, ни обещать льгот. Вся Москва, как один человек, готова была его встретить.

Тут же, при чтении его письма — это ярко обозначилось. На паперти церкви Василия Блаженного собралась кучка бояр. Кроме одного из Годуновых — тут был Василий Шуйский и еще несколько из главных бояр.

Народ окружил посланцев и закричал:

— Ведите нас в Тулу! Хотим видеть царя Димитрия! Дадим ему присягу!..

Боярин Годунов уговорил священника церкви Василия Блаженного, и тот решился на смелую попытку: остановить расходившуюся толпу.

— Чада мои, — громко обратился он к толпе, — внемлите, что сказать хочу!..

— Што, што? Слушай, ребята! Отец протопоп слово молвить собирается... Про царя Димитрия, слышь! И он знает, что Димитрий — подлинный царь, не отродье годуновское...

— Слушать... Тише... Не орать!

Кое-как толпа немного затихла.

— Не про то, дети мои, сказать вам хочу... Одно лишь напому: присягу несли все бояре, и вы с ними, что будете верой-правдой служить юному царю Федору Борисовичу... Все вы крест целовали... Вспомните! А ныне что задумали? Ранней хотя бы дознались путем: кто вас к себе зовет? Царь ли истинный либо смутитель лютый, прельститель, к пагубе ведущий души христианские?.. О вас стражду, вам добра хочу... Поспрашайте, доведайтесь... Вот, и тут бояре стоят... Хоть их спросите!

— Кого?! Годуновых? Отродье змеиное! Вон один тут... Бей его... Веди его, робя, к Димитрею... Царь сам с им расправится!..

Несколько человек уже двинулось было вперед, чтобы схватить боярина Годунова и кинуть его в толпу.

Но бледный, растерянный боярин успел скрыться в храме и, задними дверьми выбравшись на площадь, вскочил на коня и ускорился...

— Вот боярин Шуйский тут, робя! — крикнул кто-то. — Ен и в Углич ездил... Пусть поведает: кого там хоронил? Кого сгубил Ирод Годунов? Царевича Димитрия али иного, подставленного на место царевича?.. Говори, боярин! Не бойся. Годуновы тебе не причинят зла! Не дадим в обиду!.. Правду валяй!.. Как спасли царевича от рук Каиновых, от злодеев годуновских? Тебе лучше других-то знать!..

Князь Василий Васильевич как будто и ждал этого вопля народного.

— Уж коли народ пытается меня, всю правду скажу! — ответил он, отвесив низкий поклон на все три стороны. — Только здесь плохо слышно... На Лобное перейду... Тамо способнее...

Торжественно повели лукавого старика и почти внесли на Лобное место. Часть людей стала внизу, охраняя боярина от натиска остальной толпы.

— Пусть Господь простит мне мои прежние вины вольные и невольные! — смиренно начал старый лукавец. — Сами ведаете: при покойном царе Борисе — и думать не мог никто по воле своей, не то — слово прямо молвить!.. И я виновен в грехе тяжком. Утаил истину страшную... Челом бью перед всем крещеным миром! Простите, братие, вводил вас и целый мир в обман! Первое — убито было дитя во Угличе, не само ножом покололся! Вот, крест святой с мощами на мне! Его поднимаю, на нем присягаюся, целую Животворящий Крест на том, что убиен был младенец некими людьми, — по общему говору, из Москвы посланными... На покойного царя, на Бориса Федоровича, все говорили заодно. Сами разумеете, люди добрые: мог ли я это тому же Борису в очи вымолвить? И облыжно показал перед собором и царем Федором, что сам покололся младенец. Простите окаянного!..

— Бог простит! Покаялся — и ладно! А убит-то кто? Царевич али иной, как сказывали?

— И про то скажу... В другое крест целую, что видел я убиенного младенца... Сугубо приглядывался — и

не познал в нем того царевича, который у покойного царя Ивана от царицы Марии Нагих родился! По правде моей — пусть Бог меня судит. И на ней крест сызнова целую!..

Взрыв криков пролетел над всей площадью, вырвавшись из тысячи грудей:

— Другой убит в Угличе... Жив остался царевич... Спасен был царевич!.. Сам теперь Димитрий к нам идет! В Тулу... К царю Димитрию! Все иди...

И закипела площадь, пока один крик не покрыл всех голосов, сливая в себе все возгласы и звуки:

— Жив буди на многия лета царь Димитрий Иванович! Ж-и-и-в буди!..

Двадцать шестого мая явились в Тулу, на поклон Димитрию, все бояре московские, духовенство и Дума царская с Василием Шуйским во главе...

А царь по имени Федор Борисович, с сестрой и матерью были отданы под стражу в ожидании дальнейших событий.

В конце июня — состоялся торжественный въезд в Москву нового царя, Димитрия Иоанновича.

А накануне удушена была вдова Бориса Годунова и трехнедельный повелитель московский, юный царь Федор Годунов. Только царевна Ирина осталась в живых и после была насильно пострижена.

Пяти-шести дней не прошло, как по Москве новая весть прокатилась:

— Шуйский, трижды ломавший присягу и клятву, народу приносивший покаяние, Борису изменивший, сына его предавший, — теперь против нового царя, против сына Иоаннова козни завел... Стал слухи непригожие распускать, что не истинный это сын царя Иоанна. Прознал про заговор царь Димитрий — и судить приказал хитрого боярина. Собрал судей из духовного звания, и бояр, и простых людей позначнее. Как те сами решат.

Слухи были вполне верны.

Не успели похоронить труп несчастного Федора и матери его, как только Шуйский увидел, что Годуновы стерты с лица земли, уничтожены именем Димитрия, — он попытался вырыть яму и для самого Димитрия, начал при помощи своих друзей сеять новые вести, баламутить Москву, надеясь, что и вовсе не допустят нового царя въехать в столицу...

Но игра не удалась. И бояре, на поддержку которых надеялся вечный смутяня, — слишком устали от безвластия, и народ слишком уверовал в Димитрия.

Уже в Тулу поскакали гонцы, передали новому царю о всех кознях Шуйского. И едва въехал Димитрий в свой дворец, как ему были представлены письменные доказательства заговора, затеянного князем Василием.

— Пусть земля рассудит нас с Шуйским! — сказал Димитрий.

Так и было сделано. 30 июня состоялся этот суд.

Зрелище было совершенно необычное не только для Кремлевских палат, в которых веками тянулась твердо установленная, неколебимая жизнь царей Московских, невзирая ни на какие внешние события...

Нет, во всей истории царствующих династий не бывало случая, чтобы победитель-государь явился как бы на суд, стал тягаться с своим подданным, уличающим его в неправом обладании тронном.

## ХVIII. ДВЕ КАЗНИ

Изменника Шуйского, по обычаям и законам того времени, следовало только обличить в преступлении, представить виновному свидетелей и письменные доказательства, на основании которых он признан предателем, бунтовщиком, — и те же несколько бояр обязаны были вынести ему смертный приговор, который царю оставалось лишь утвердить.

Но Димитрий, знакомый с западными приемами суда и желая, должно быть, выказать не только свое настоящее могущество, но и глубокую внутреннюю правоту, поступил иначе.

Сначала оглашены были перед собранными представителями земли доказательства, выяснившие до конца вину Василия Шуйского, его клеветы на Димитрия, сношения с боярами и простыми людьми для организации ополчений, которые должны были помешать новому царю вступить в Москву или, в случае неудачи, — ворваться во дворец и там убить его.

И Василий Шуйский молчанием своим подтвердил, что все обвинения справедливы.

Теперь оставалось лишь обратиться к сидящим тут

духовным лицам, боярам, выборным от московских жителей и от других городов, которые оказались налицо. Стоило лишь спросить их:

— Чего достоин изменник?

— Смерти! — конечно, был бы общий ответ.

Но вместо такого вопроса — выступил Федор Басманов и заговорил:

— Не кончено еще дело, отцы-владыки, князья, бояре и вы, люд православный, землю избранный и созданный сюда его царским величеством для решения дела столь важного! Изменяли князья и бояре царям своим, кару несли за то. Но там — дело явное было. Ни соблазну, ни сомнений не крылось ни в чьей душе. Господин и царь наш, государь Димитрий Иванович клятву дал: понапрасну не проливать родной крови, ежели доведет его Господь до престола прародительского. И за вины тяжкие казни не хотел бы, коли есть малая надежда, что загладить может вину свою злодей. А в деле, которое судим теперь, и другое мыслимо. Может, сам не знал боярин-князь, что творил. Может, веровал облыжным, злодейским словам своим. Царя, Богом данного, отпрыска прямого Иоаннова — поносил, величал «расстригой», Гришкой Отрепьевым называл... Правда, и в грамоте патриаршей много лжей писано было про такого же диакона, Григория Расстригу. И рознились они от бранных грамот, разосланных Борисом Годуновым... Не в одно пели враги царя нашего пресветлого еще и тогда, как вся сила и власть была у них в руках... Но, думать желаемо, что с пути сбился князь-боярин... Вот пускай и ответит: почему царя Расстригой, Гришкой Отрепьевым называли.

— Все тут ранней думали, — неслышно ответил бледными губами Шуйский, когда пристав стал понуждать его к ответу.

— Все?! Ответ, достойный первого советника государева... А видал ли князь-боярин в Туле, когда на поклон туда ездил, вот этого человека?

По знаку выступил вперед диакон Григорий, который давно примкнул к войскам Димитрия и шел за ним от Путивля до самой Москвы.

— Видел! — беззвучно, одними губами пролепетал Шуйский.

— А не слыхал ли, как звать его, князь-боярин?

Шуйский только утвердительно кивнул головой.

— Скажи, как звать тебя, — обратился к диакону Басманов.

— Григорием... Юшкой звали в миру, Юрием, сире-чи. Богданов сын, Отрепьев прозвищем.

— Что же молчишь, князь-боярин?

— Да и я так сказывал... А тут мне все напротив, что иного человека возит за собою царь, и имя дал ему — Гришкино...

— Так, ведомо нам и то. Вот, теперь к вам, отцы духовные, владыки, речь велит держать государь. Кто из вас знавал сего человека до настоящей поры? Не будет ли такового среди нас?

— Я знаю Григория, — заявил митрополит Крутицкий, — видывал его порою в келье у низложенного патриарха Иова... Так он и слыл: Отрепьев родом, диакон Гришка.

— И я его видывал, — подтвердил слова товарища протопоп Благовещенский.

— И я... И я... — еще раздалось два-три голоса из рядов духовенства.

— Слышишь, князь-боярин! Как дело просто. Стоило пойти тебе да спросить: отцы бы и поведали тебе правду чистую. Не дали бы поносить имя царское... Теперь — другое... Сам же ты повестил народ московский, — вот, недавно еще, — что не царевича убили злодеи в Угличе, что истинный царь идет на Москву, сын Грозного царя, Димитрий Иоаннович...

— Сам, сам, — торопливо запричитал старик, словно почуяв надежду на спасение в этом напоминании после той бездны отчаяния, куда он был погружен за мгновенье перед тем. — Сам все сказывал... И снова крест целовать могу: не признал я в убитом царевича Углицкого. Иным, чужим казал мне он себя... Как думал, так и народу сказал. Вот, пусть царь о том помнит, не судит строго меня, грешного.

— Не царь, — земля судит тебя, князь-боярин! Перед Божьим судом стоишь ты, как и сам государь стать готов в каждый миг, по правоте своей! А тут, вдруг — сызнова на иное ты речь повернул: самозванием лаял царя! Как же это, князь-боярин? Не молчи. Все может тебе на пригodu быть, слово самое смелое... Только не молчание. Тебе оно смерть принесет, да и дела не раскроет до корени. А государю — только



правда и дорога. Осиять светом желает перед всей землей дело свое царственное, спасение чудесное и воцарение, Богом посланное. Говори, князь-боярин: с чего думы свои поизменил? Али только и одно, что сам на трон сесть задумал, как тут послухи говорили?

— Спаси, Господи, и помилуй... Я уж все скажу... Только бы такой напасти не возвели на меня, на царского верного слугу... Старый я человек, слабый, недужный. Помирать пора, не о бармах царских, не о тяготе такой умышлять... О-ох... Испить бы. Уж все поведаю...

Отпив из ковша, который подал ему пристав, — Шуйский медленно заговорил:

— Вот так думалось: Бог счастья послал! Царь крови Иоанновой к нам идет... Спас его Господь. Я так народу и говорил, чтобы замирились все, брат бы на брата войною не пошел. Это — первой всего, по мне. Тихо бы да ладно бы все было в царстве нашем богоспасаемом... Вот... И в Тулу срядился. И грамоту подписывал, кою Дума боярская постановила полякам послать: что истинный царь у нас объявился, Димитрий Иоаннович... Вот... А тут, как съездил в Тулу... поглядел... Уж не посетуй, государь... все скажу... Лукавый меня попутал... Гляжу: мало лицо царское схоже с тем, какое у младенца, у царевича Углицкого видел еще до убиения... когда на Москве с покойным Иваном царица и царевич проживали. Того не помыслил, старый, что с годами и лик меняется... Взяло меня сомнение... А тут, на Москве, — новые речи: как мог уцелеть столько лет царевич? Кто порукой? Може, тот мертв давно, а вороги чужим подменили? Вон, слышь, литву с собой, ляхов ведет новый царь... Веру отнять старую, отцову задумал... Новую, ляхскую навязать думает... Прости, государь, говорю, как сам велел... Всю правду истинную... Вот, и я всколебался... Стал за людьми говорить... И в том — вина моя... И писал... А как прослышал, что хотят братья на братьев войной пойти, рать собирают, чтобы к Москве царя с его полками не допустить, тут, души людские жалеючи, — иное присоветовал: впустить лучше царя... Да ежели правда, что клепят на него... Лучше ж пусть малое число душ загинет, мол, меньше бы крови пролилося, ежели бы тут что случилось с царем да с ближними к нему, с ляхами с его... Каюсь и милости прошу царской...

Тяжело отозвалась на всех покаянная речь Шуйского, во всем ее смирении — полная яду.

Неожиданно, словно почуяв, что думали сидящие вокруг люди земли, — заговорил сам Димитрий.

— Не все еще сказал ты нам, князь Василий. Горшее стерпел бы и ты, и каждый из вас, кабы твердо веровали, что я — истинный сын Иоаннов... Отец мой — кровь вашу проливал, не то ручьями — потоками... И после долгих лет, после Новгорода, после злой опричнины деяний — царил еще немало лет, слова не услышав ни от кого, не то чтобы нож из-под полы готовил на царя своего — боярин и князь прирожденный!

Вот что горько, что невыносно сердцу нашему... Почему и суд мы назначили всенародный. Почему и пришли на него, вопреки обычаю вековому... Невместно бы царю Московскому тягаться с холопами его, хоша бы и княжецкого рода, первого в земле... Но ради душ смятения, ради умов колебания — пришли мы сюда свое слово сказать великое. Писали мы грамоты: как избавил нас Господь от ножа годуновских подсыльников... И тут объявить желаем: как то дело было!..

Своим подкупающим, искренним, молодым голосом, который также порою рвался и дрожал от волнения, как старческий голос Шуйского, — повторил Димитрий старый рассказ о своем спасении. О жизни сперва в России, потом — за границами ее.

— Вот, как дело было! — закончил он речь свою. — Коли самозванцем меня величают, где отец и мать мои родные? Пусть назовут мне род мой, имя мое. Сам того хочу. Не покараю никого, кто бы ни пришел с этим словом ко мне. Как верю я в то, что есмь сын Иоаннов, о чем вам сейчас и свидетельства дал мои, — так верю я в спасение в свое и в то, что не явится человека, который мог бы делом уличить неправду слов моих... А клеветы... наносы... изветы... измены! Вам, отцы-владыки, вам бояре, вам, выборные земские, пуще всего — ведомы происки врагов наших и врагов земли! Пришел я и сел на трон прародительский, волею Господа сел! Сижусь на нем — для блага земли и детей моих, коими вас всех почитаю, до самого последнего. Как Бог повелел, стану править и владеть вам... А князя — судите, как вам Бог и совесть велят. Мы все сказали.

Вышел Димитрий. И сейчас же, как ответ на его

смелую, открытую речь, прозвучал ответом тяжкий приговор князю Василию Шуйскому:

— Смерти повинен изменник и бунтовщик!

Бубны гремят бирючей... Сзывают они народ к месту казни первого боярина, князя Василия Шуйского.

Но там уж, на всей площади вокруг Лобного места, и без того черно от толпы.

Едва протиснуться может отряд стрельцов, окружающий телегу, на которой везут осужденного к месту расплаты за все его ковы и вины...

Вот он и на помосте. Трясется весь мелкой дрожью... Вот уж и руки связали... Кафтан сняли парчевой... Рубаху разорвал на шее помощник палача.

А сам заплочный мастер стоит, лезвие топора пальцем пробует.

Шепчет последние молитвы Шуйский...

Вот уж и к обрубку роковому подвели его...

Мысли мутятся в старческой голове... Все пролетает вихрем: и воспоминания о далекой юности, и многолетняя борьба за почет, за власть, и надежды на царские бармы, на обладание землей... Вот-вот, сейчас, тот, за плечами, что-то режет, ударит глухо, переломит, перехватит позвонки, гортань... Кровь хлынет струями из перерубленных жил... И — всему конец... Да что же так медлят... Скорее бы... Скорее!..

Крикнуть готов был это слово Шуйский, лежа ниц лицом на плахе...

Но иное он слышит:

— Не руби! Стой... Слово царское... Милость злодею... Прощение Шуйскому...

Гонец пробивается сквозь толпу, которая стихийно раздвигается, путь дает вестнику милости и прощения...

Взял Басманов, бывший главным распорядителем, указ царский, читает:

— Жизнь дарует царь Димитрий Иоаннович изменнику-князю. В ссылку ссылает его навсегда...

Заволновались толпы.

— Да живет царь милостивый! Многи лета жив буди, царь Димитрий!

Гроном прокатились клики... Подняли Шуйского, который омертвел совсем, на ногах не держится. Кафтан одевают ему, шубой окутывают...

Тело — ослабло совсем у старика. А ум — не

угас... Работает мысль... И в сознании ярко шевелится мысль:

«Помиловал... Живым меня оставил... Так не жить же тебе, мальчишка, за эти минуты смертельные, тяжкие, какие я изведal по милости твоей! Ссылка — не смерть... А смерть — вот тебе ссылка будет от меня единая!..»

И Шуйский сдержал свое слово!

Все, казалось бы, шло так хорошо для Дмитрия.

В конце июля приехала на Москву вдова Иоанна, царица Мария, в иночестве старица Марфа, и перед всем народом обняла, признала в новом царе своего воскресшего сына.

Торжественно венчался Дмитрий на царство и даже ради этого — простил сосланного злейшего врага своего, князя Василия Шуйского, к себе приблизил по-старому...

Блестяще начал свое правление юный царь — милостями, дарами щедрыми, при всеобщей радости и добрых предзнаменованиях природы.

8 мая 1606 года короновал он Марину Мнишек, первую из женщин, — священной короной русского царства и венчался с нею...

Весело справлялась свадьба!..

А через девять дней, 17 мая, рано утром, — толпа мятежников с князем Василием Шуйским во главе, ворвалась во дворец, и час спустя — нагой труп Дмитрия, изуродованный, поруганный, валялся на Лобном месте... Во рту у него была дудка скомороха, на животе — грязная маска...

Потом тело выбросили в грязный ров...

Но московские жители, не участвовавшие в убийстве, введенные в заблуждение соумышленниками Шуйского, — начали волноваться. Рассказы чудесные пошли кругом, связанные с мертвым Дмитрием...

Тогда Василий Шуйский, уже избранный царем голосами нескольких десятков бояр и воевод, — приказал разыскать тело.

На Москве-реке стояла башня потешная, выстроенная Дмитрием для военных забав, низ которой изображал геенну огненную. В этой башне сожгли тело Дмитрия.

Но и того показалось мало мстительному, трусливому старику.

Собрали пепел, лежащий кучей после сожжения, зарядили им пушку, глядящую на запад от Москвы, и выстрелом — по ветру развеяли самый прах человека, который называл себя Дмитрием Иоаннычем и так быстро воцарился на Руси...

Быстро вознеслась, ярко загорелась и еще быстрее закатилась эта крупнейшая падучая звезда на темном горизонте московской истории.

Но не умер в памяти и в душе народной Дмитрий и после того, как развеяли по ветру легкий пепел его. Второго «убиенного царевича», Лжедмитрия Тушинского создал сейчас же себе народ.

Так сильно любил он загадочный облик несчастного Углицкого царевича.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Т. Прокопов*

«САМЫЙ ЧИТАЕМЫЙ» ЛЕВ ЖДАНОВ

5

### ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ

*Историческая хроника в двух романах*

#### ТРЕТИЙ РИМ

*Роман-хроника*  
(1526—1552 гг.)

9

*От автора*

11

Часть I. Детство царя

14

Часть II. Светлая пора

101

#### ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ

*Роман-хроника*  
(1552—1584 гг.)

331

*От автора*

333

749

Часть I. Царь Грозный и царек Симеон

335

Часть II. Царь-опричник

486

*Эпилог*

Гроза отбушевала

634

**НАСЛЕДИЕ ГРОЗНОГО**

*Историческая повесть из эпохи самозванщины*

641

Часть I. Димитрий-сирота

643

Часть II. Царь из могилы

700

## ЛЕВ ЖДАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

---

ТОМ 1

Редактор *Т. Прокопов*

Художественный редактор *И. Сайко*

Технический редактор *Г. Шитоева*

Корректор *Г. Горбачева*

ЛР № 030129 от 02.10.91. Подписано в печать 10.10.94.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Печать высокая.  
Усл. печ. л. 39,48. Уч.-изд. л. 41,5. Тираж 25 000 экз.  
Заказ № 1038.

Издательский центр «ТЕРРА».  
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

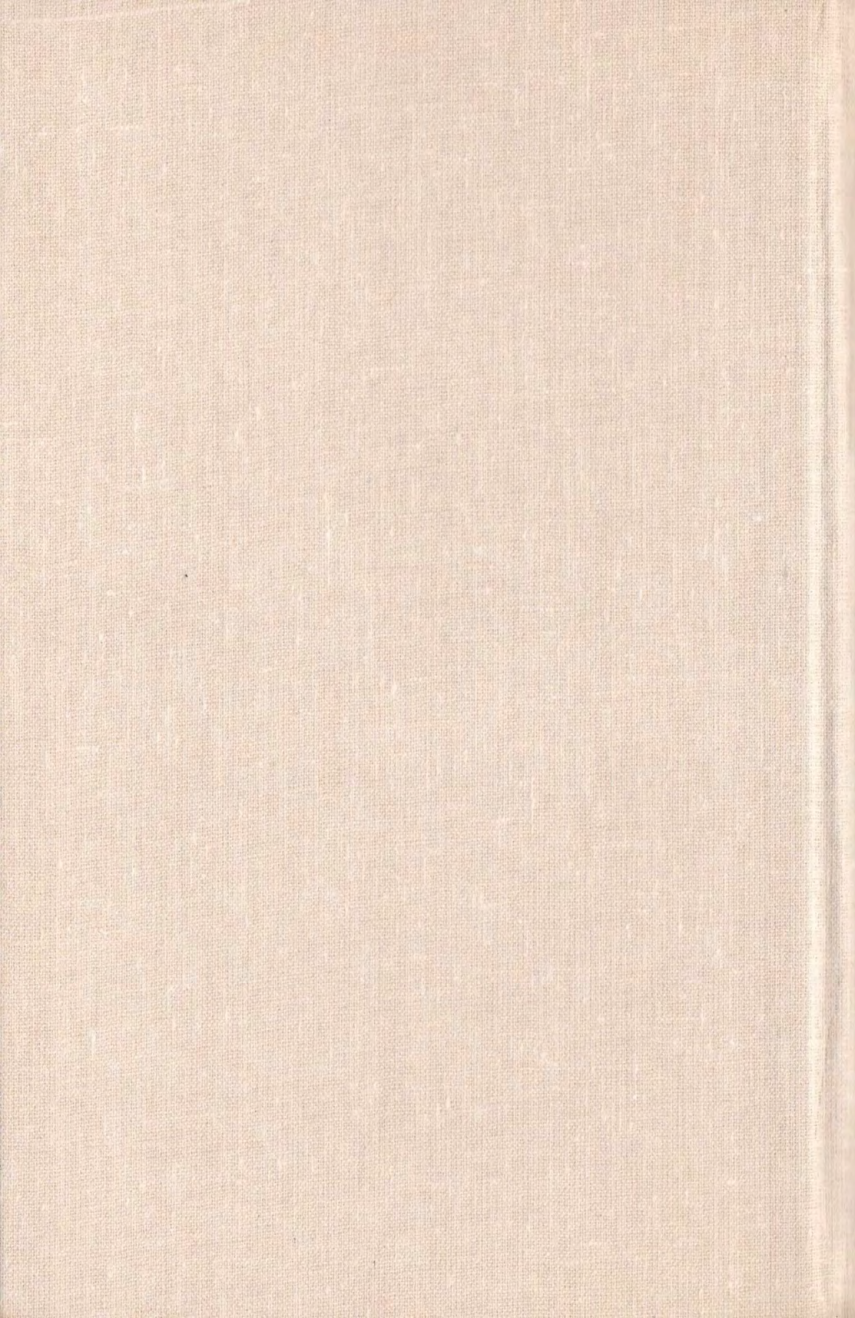
АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».  
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.



Scan Kreyder - 24.05.2018 - STERLITAMAK









1.000 А.  
3А 670А06

Лев Жданов (1864—1951) — автор интереснейших исторических романов. Его произведения пользовались огромной популярностью в начале века. К сожалению, современный читатель мало знаком с блистательными романами Л. Жданова, мудрого и талантливого писателя. В собрание сочинений вошли лучшие, на наш взгляд, романы и повести, посвященные прошлому нашего отечества.

Том I. Царь Иоанн Грозный. Историческая хроника в двух романах.

Том II. Стрельцы у трона. Историческая хроника. Венчаные затворницы. Историческая повесть-хроника.

Том III. Во дни смуты. Историческая повесть. Былые дни Сибири. Роман-хроника.

Том IV. Последний фаворит (Екатерина и Зубов). Роман-хроника. В сетях интриги (Два потока). Исторический роман. Крушение богов. Роман-хроника.

Том V. Цесаревич Константин (В стенах Варшавы). Роман-хроника.

Том VI. Осажденная Варшава. Роман-хроника. Сгинула Польша! (Finis Poloniae!). Роман-хроника.

ЛЕВ  
ЖДАНОВ

1



ЛЕВ  
ЖДАНОВ

